

Ги де Мопассан Лунный свет (сборник)



Ги де Мопассан
(1850 – 1893)

Ги де Мопассан: из света жизнелюбия в сумерки безумия

«Я ворвался в литературу как метеор – я исчезну из нее с ударом грома».

Ги де Мопассан

В декабре 1891 года сорокалетний писатель Ги де Мопассан, любимец публики и женщин, пишет: «Мне кажется, что это начало агонии... Голова моя болит так сильно, что я сжимаю ее ладонями и мне кажется, что это череп мертвеца [...] Я поразмыслил и окончательно решил больше не писать ни рассказов, ни новелл; все избито, конечно, смешно»... Мало кто из *его* знакомых и друзей мог бы предположить, что такие строки выйдут из-под пера Мопассана, который сам себя называл «гурманом жизни», – этого любителя розыгрышей, веселого общества и физических нагрузок, с неутомимой энергией в течение десяти лет производившего на свет одно произведение за другим. Лишь немногие обращали внимание на склонность Мопассана к меланхолии («печальным бычком» называл Мопассана критик Ипполит Тэн); замечали, вероятно, и то, что писатель иногда жаловался на здоровье и часто бежал от светского шума, будь то общество Парижа или Ниццы. Но наблюдения эти тонули в славе покорителя женских сердец, репутации трезвого скептика, анекдотах о его проделках, а главное – в неимоверном потоке замечательнейших рассказов и романов, который, казалось, не иссякнет никогда.

Но знакомые Мопассана не в первый раз ошибались на его счет: десятью годами ранее парижские литераторы не могли разглядеть в нем и тени таланта. Молодого Мопассана хорошо знали благодаря его неизменному присутствию на воскресных обедах Флобера, на которых бывали Альфонс Доде, Эдмон де Гонкур, Иван Сергеевич Тургенев, Эмиль Золя. Именитые гости Гюстава Флобера пока видели в Мопассане только здорового и жизнерадостного юношу из Нормандии, скромного министерского служащего, единственным серьезным опытом в жизни которого была

недавно закончившаяся Франко-прусская война. Мопассана не выделяло ничто, кроме особой, почти отеческой привязанности великого писателя. Еще долгое время люди неосведомленные считали Ги де Мопассана племянником Флобера (ходили слухи и о тайном отцовстве), но никто не задумывался, что Мопассан может стать его учеником и преемником.

В действительности Ги де Мопассан не приходился Гюставу Флоберу племянником, но между семьями Мопассана и Флобера существовала более тесная связь, чем между многими родственниками. Лора де Мопассан, в девичестве Ле Пуатвен, знала Гюстава Флобера с детства: это был самый близкий друг ее брата, Альфреда. По сути, дружба двух семей началась на поколение раньше, и дети росли вместе: особый мир существовал в бильярдной дома Флоберов, на веранде дома Ле Пуатвенов в Руане. Альфред, который был старше Гюстава Флобера и сестры Лоры на пять лет, рано заинтересовался литературой, освоил латынь и английский; младшие тянулись за ним. Юные Альфред и Гюстав писали пьесы, в то время как Лора, при помощи маленькой Каролины Флобер, кроила и шила костюмы для домашних спектаклей. Подростающий Гюстав Флобер и Ле Пуатвены много читали, испытывали жажду творчества, верили в Искусство и Красоту. Годы дружбы с Альфредом Ле Пуатвеном остались в памяти Флобера как яркие, наполненные особым внутренним смыслом. Но затем последовал отъезд Альфреда на учебу в Париж, его женитьба на Луизе де Мопассан, болезнь и ранняя смерть. Лора де Пуатвен и Гюстав Флобер остались навсегда связаны воспоминаниями о рано умершем брате и друге.

Лора Ле Пуатвен, выросшая в обществе одаренных и мыслящих молодых людей, слыла девушкой эксцентричной: она ездила верхом, читала Шекспира в оригинале, курила. Для дочери нормандских буржуа, она имела необычайно широкий кругозор, богатое воображение и нервную натуру; независимость ее характера часто принимали за высокомерие. Лора Ле Пуатвен отказала нескольким претендентам, прежде чем согласиться на брак с красавцем Гюставом де Мопассаном (незадолго до этого ее брат, Альфред, женился на сестре Мопассана, Луизе). Избранник Лоры, тезка и ровесник Флобера, хотел стать художником (именно эта профессия значилась в 1840 году в его паспорте), но после трех лет учебы в Париже Гюстава де Мопассана поразила глазная болезнь. Флобер, считавший, что недуг происходил не от неумеренного усердия к живописи, со смесью жалости и иронии писал сестре: «Он как все великие художники: „умер молодым, оставив неоконченные картины, внушавшие большие надежды“. Однако Гюстав де Мопассан умер лишь для искусства. Флобер немного подтрунивал над зятем лучшего друга, которого он прозвал „желторотый птенец“ за некоторое легкомыслие и фатоватость. Так, неудавшийся художник, а ныне рантье, явно не был безразличен к атрибутам аристократического происхождения: благородная частица „де“ исчезла из его фамилии после революции, но Гюстав де Мопассан отстоял в суде право вернуть ее. Так или иначе, именно он стал избранником Лоры Ле Пуатвен. Молодые совершили путешествие в Италию и обосновались в замке Миромениль, неподалеку от Дьеппа. Что касается слухов об отцовстве Флобера, то они малообоснованны: задолго до того, как для Лоры де Мопассан началось ожидание первенца, великий писатель отбыл в долгое путешествие на Восток.

Итак, Анри Рене Альберт Ги де Мопассан, первенец Гюстава и Лоры де Мопассан, действительно родился в Нормандии, в особенном краю, где запахи земли – пастбищ и яблочных садов – смешиваются с солоноватым морским ветром. Рассказывали, что доктор, принимавший роды, жёстами скульптора обмял голову младенца и придал ей особенную круглую форму, приговаривая, что это непременно даст ему быстрый ум. Океанское побережье, с его пляжами и живописными отвесными скалами, было всего в десятке километров от Шато-Блан – первого жилища, сохранившегося в детских воспоминаниях Ги де Мопассана. Это было «одно из тех высоких и просторных нормандских строений, напоминающих одновременно ферму и замок, построенных из посеребрившегося белого камня и способных приютить целый род...». Вскоре у Мопассанов родился второй сын, Эрве, но счастье в семье было шатким: Гюстав де Мопассан скучал с женой и детьми и по-прежнему слишком интересовался женским обществом...

Семья часто выезжала в прибрежные городки – в Этрета и Гранвилль, в Фекан, где жила бабушка Ги. В гости к госпоже Ле Пуатвен привозили и маленькую племянницу Флобера, Каролину.

По ее воспоминаниям, вид у маленького Мопассана был «отчаянный и взъерошенный». Несмотря на то что Каролина была на четыре года старше, в играх она всегда подчинялась указаниям мальчика: он решал, что скамейка на газоне – это корабль, и твердым голосом командовал: «Лево руля, право руля, спустить паруса». Настоящий будущий мореплаватель. Дети вместе искали всевозможных зверьков, птиц и насекомых, и Ги пугал бабушку и приглашенных дам пойманными пауками. Каролина пишет: «Он, однако, не был злым ребенком, но был избалован и необуздан, со странными капризами, такими, как, например, нежелание есть. Если ему рассказывали истории, он решался, или же я была рядом и болтала, чтобы его развлечь; и тогда он ел не задумываясь...» Иногда капризы Ги были менее заурядны и выдавали необычайную прозорливость мальчика. Так, однажды Ги потребовал от отца, чтобы тот обул его, – иначе он отказывался ехать на детский праздник. И мальчик добился своего: он, верно, догадывался, что отец втайне не прочь оказаться на этом утреннике, в обществе молодых женщин...

Переезд семьи Мопассан в Париж окончательно разрушил супружеские отношения. Ги с прежним дьявольским лукавством комментировал поведение отца: «Я был первым по сочинению: в награду мадам де Х. отвезла нас с папа в цирк. Кажется, что она награждает и папа, но я не знаю за что». Гордость Лоры де Мопассан не позволяла ей жить под одной крышей с человеком, полностью потерявшим ее уважение и доверие. Ги было десять лет, когда мать увезла обоих сыновей обратно на нормандское побережье, в городок Этрета. Еще два года спустя развод был оформлен окончательно. Отец имел право видеться с детьми и в любое время приезжать в дом жены. Маленькая семейная трагедия, несомненно, наложила отпечаток на представления Ги о браке и отношениях между мужчиной и женщиной, а вот возвращение в родные края оказалось для мальчика счастьем: дом с просторным садом, море, меловые скалы и обнажаемые отливом пляжи... В то время Этрета перестал быть заурядным рыбацким городком. Знаменитая скала в форме арки и другие живописные виды привлекли внимание художников, а затем и богатых отдыхающих: парижане стали приобретать в Этрета виллы и коттеджи, снимать дома на лето. Пейзажи, среди которых проходило детство Мопассана, станут любимым местом работы художников-импрессионистов – и фоном многих произведений будущего писателя.

Лора де Мопассан полностью посвятила себя воспитанию сыновей: она занималась с ними не меньше, чем их учителя, и прививала детям любовь к литературе, поэзии, театру. Присланный Флобером экземпляр «карфагенского» романа «Саламбо» Лора читала вслух вечерами и так передавала реакцию сына в письме автору: «Твои описания [...] зажигают молнии в его черных глазах, и мне действительно верится, что шум битв и крики слонов звучат в его ушах». Лору де Мопассан радовала восприимчивость сына и его успехи в учебе. С другой стороны, она считала нужным давать детям свободу и возможность расти на вольном воздухе, а не в тепличных условиях. Мать позволяла Ги выходить в море с местными рыбаками на целый день, играть с детьми крестьян. Ги де Мопассан рос здоровым, румяным, крепким и ловким – лучшим в гимнастическом зале и в лазании по скалам. Особое чувство справедливости Мопассана проявлялось в отношении к «простонародным» друзьям. Однажды, когда Ги собрался на прогулку с двумя друзьями – сыном рыбака и мальчиком из приличного общества, – мать последнего объявила, что корзину с провизией понесет маленький рыбак. Мопассан ответил: «Мадам, мы понесем корзину по очереди; я буду первым!»

Вскоре возможности домашнего образования были исчерпаны, и Лора де Мопассан приняла решение отправить сына в лицей Ивто: строгое религиозное заведение, дававшее отличное классическое образование и отличавшееся аскетизмом и железной дисциплиной. Мопассан учился довольно прилежно и терпеливо переносил скуку и суровый режим, сочиняя первые стихи и мечтая о каникулах в Этрета: о том, как на скопленные деньги он купит у местных рыбаков настоящую лодку и получит от матери томик Расина в подарок за хорошую учебу. Каникулы проходили на воде, причем Мопассан часто складывал весла и открывал книгу, доверяя контроль над курсом верному псу. Эту подростковую страсть к литературе и водным прогулкам будущий писатель сохранил навсегда.

Во время одной из таких прогулок Мопассан впервые соприкоснулся с миром литераторов. Мальчик завидел с берега утопающего и бросился на помощь. Спасенным оказался английский

поэт Алджернон Суинберн, а благодарностью за искренний порыв стало приглашение в дом эксцентричного литератора. Этот визит надолго сохранился в памяти Мопассана со всеми его тревожными и мрачными деталями: прыгающей по дому обезьяной, высушенной рукой мертвеца – любимой игрушкой хозяина, упоминаниями о маркизе де Саде... Повторных приглашений юный Мопассан не принимал, но через несколько лет, во время распродажи имущества Суинберна, купил ту самую странную безделушку, которая дала название одной из его первых новелл – «Рука».

Возвращение в лицей становилось с каждым разом все мучительнее. «В нем пахло молитвой, как пахнет рыбой на рынке», – писал Мопассан, и где-то в этих стенах, среди бесстрастных священников, зародился внутренний бунт Мопассана против религии и Бога. Вскоре мальчишеская жажда воли выразилась в том, что лицеисты организовали тайное общество под названием «Оазис», в негласный устав которого входило обязательное чтение «скандальной» литературы («Новая Элоиза» Вольтера, «Опасные связи» Шодерло де Лакло и, возможно, книги маркиза де Сада), а также внесение денежного пая на покупку шампанского, вин, сладостей. Однажды «кружковцам» удалось завладеть ключами от кладовой: все захваченные горячительные напитки были перенесены на крышу, и мальчишки веселились до самой побудки – до четырех утра... Эта проделка привела к раскрытию «тайного общества», и все его участники были исключены. Ги наконец обрел свободу.

Обучение, однако, необходимо было окончить, и Лора записала восемнадцатилетнего Ги в Руанский королевский лицей. В Руане робеющий Мопассан решился представиться поэту Луи Буйле, близкому другу и «литературному советчику» Флобера, не признанному Литературной академией, но почитаемому кучкой пылких юношей. В ту пору Мопассан встречается и с Флобером: в одном из писем великий романист сообщает Лоре де Мопассан о приятном впечатлении, произведенном на него молодым человеком, так похожим на нее и на покойного Альфреда. Но для того, чтобы это доброжелательное внимание выросло в настоящее покровительство и требовательное обучение писательскому мастерству, должно было пройти время. А пока молодой Мопассан испытывает робость перед Флобером и свои первые литературные опыты показывает Буйле: у него поэтическая пора, он рифмует без усталости и без разбора. Мудрый писатель преподает ему первый урок, неустанно повторяя, что для репутации поэта достаточно и сотни стихотворных строк, но безупречных, в которых выразилась бы вся самобытность его таланта. К несчастью, особый вес этому уроку придавала скорая кончина Луи Буйле, потрясшая одновременно юного Мопассана, впервые потерявшего почитаемого учителя, и Флобера, оплакавшего еще одного близкого друга.

Вероятно, уже в эту пору Ги де Мопассан поверил в свое литературное призвание, но едва он успел записаться на факультет права в Парижский университет, как разразилась Франко-прусская война. Мопассан записался добровольцем в первые же дни войны – скорее ради возможности выбирать место службы и подразделение, чем из горячего патриотизма. Тем не менее он сначала принял на веру пламенные речи о предрешенности победы Франции, противоречившие реальному соотношению сил: прусская армия была оснащена и организована гораздо лучше. Последовало сокрушительное поражение при Седане. Сам Мопассан считал, что лишь закалка и привычка к пешим прогулкам спасли его от плена в 1870 году, во время отступления от Руана по направлению к Гавру. В тот день Мопассану было поручено доставить распоряжения интенданта из авангарда в арьергард. Он прошел пешком около 60 километров, переночевал на голом полу в ледяном погребе. «Если бы не мои быстрые ноги, меня бы, наверное, схватили», – писал он матери.

Мопассан осознал не только ужас оккупации родных мест, но и страшное разлагающее действие войны на людей. В сентябре 1871 года, после событий Французской коммуны, Ги де Мопассан ушел с военной службы. Много лет спустя он напишет: «Мы видели войну. Мы видели, как люди, озверевшие, обезумевшие, убивали из удовольствия, из страха, из хвастовства [...] мы видели, как расстреливали невинных, найденных на дороге и вызвавших подозрение, потому что они боялись. Мы видели, как убивали собак перед дверью хозяев, чтобы испробовать новые револьверы, мы видели, как расстреливали ради удовольствия коров в поле, без всякой причины, чтобы пострелять, чтобы посмеяться. [...] резали человека, защищающего свой дом, потому что он одет в блузу и на нем нет фуражки, жгли без колебаний несчастных, у которых больше нет хлеба, ломали мебель или ее крали, пили вино, найденное в погребах, насиловали женщин, найденных на улицах,

сжигали до золы миллионы франков и оставляли за собой нищету и холеру».

Война внешне не сильно повлияла на жизнь Мопассана: она лишь отделила новый парижский период жизни от детства и юности, проведенных в Нормандии. Однако обучение на юридическом факультете Мопассан так и не продолжил. Гюстав де Мопассан, потерявший наследственную ренту, был не в состоянии обеспечивать сына. Отец еще некоторое время выплачивал юноше небольшое пособие и приложил все усилия, чтобы добиться для него должности в Министерстве морского флота и колоний. В это же время произошла первая настоящая беседа Мопассана с Гюставом Флобером после смутных детских эпизодов со сломанной трубкой и мимолетных встреч в Руане. Писателя до слез растрогало сходство Ги де Мопассана с покойным дядей, отзвуки знакомых интонаций в голосе и искреннее восхищение другим ушедшим другом, поэтом Буйле. Молодой человек воскрешал для Флобера целый потерянный мир; с тех пор их встречи и переписка не прекращались.

Новоиспеченный чиновник изнывал от монотонности служебных обязанностей, от невозможности видаться со светскими знакомыми и «работать» для себя, т. е. писать литературные произведения. Он считал, что служба отупляет его. «Я делаю меньше ошибок в вычислениях, а это свидетельствует о том, что я очень глуп», – иронизирует он в письме к Флоберу. Строгий покровитель, в свою очередь, подозревает, что от литературных трудов Мопассана отвлекает не столько служба, сколько стремление к развлечениям и любовь к физическим упражнениям. Молодой человек действительно проводил все свободное время в пригородах Парижа, занимаясь греблей на Сене, совершая пешие прогулки, катая на лодке девушек не очень строгих нравов... Все это на время заменяло радости жизни на океанском побережье, куда отныне Мопассану удавалось вырваться лишь в редкие дни отпуска.

Чтобы представить себе «министерского служащего» Мопассана в выходные дни, достаточно взглянуть на картину Огюста Ренуара «Завтрак гребцов»: не Мопассан ли это, усатый и загорелый, в соломенной шляпе-канотье и белой майке, стоит на террасе прибрежного кафе в обществе друзей и миловидных женщин? Ги де Мопассан никогда не был денди и мало заботился о собственном костюме. Единственным своим украшением он считал развитые греблей мускулистые руки, которые с удовольствием демонстрировал во время речных прогулок. Что касается роскошных усов – символа успеха у женщин, – то они появились, а вернее, остались на его лице после чрезвычайного происшествия. В октябре 1875-го Мопассан неосторожно склонился над свечой, борода загорелась... Проворно потушив пламя, молодой человек был вынужден сбрить обгоревшее украшение. С этого момента Мопассан ограничивается усами, что его совсем не портит. Надо сказать, что здоровый и цветущий вид Мопассана внушал уверенность в его полной заурядности и часто обманывал даже людей проницательных: по расхожему мнению, настоящий писатель конца века должен быть бледен, болен и измучен неврозами...

Флобер тем временем наставлял Мопассана: «Нужно, слышите ли, молодой человек, нужно больше работать. Я начинаю подозревать, что вы порядочный лентяй». Загородные прогулки, однако, не были бесполезны для Мопассана-литератора: он слушал занимательные рассказы лодочников, наблюдал за пестрой публикой – буржуа, выехавшими на прогулку с дамами, крестьянами, матросами, железнодорожниками, прачками... В его стихах появились необычно смелые нотки и более свежие темы. К несчастью, легкомысленные мужские развлечения и загородные прогулки не только обогатили Мопассана бесценными наблюдениями и непосредственным знанием жизни: вероятнее всего, именно они наградили его страшной болезнью... Врачи долго не решались поставить окончательный диагноз, а Мопассан уже храбрился. «У меня сифилис! Наконец-то! Настоящий! – объявлял он другу. – Сифилис, от которого умер Франциск I. И я этим горжусь, черт побери, и я больше всего презираю буржуа...»

Служба тяготила Мопассана все больше. Отношения с начальством складывались плохо: читать для себя в служебное время было невозможно; с трудом удавалось получить отпуск, чтобы навестить мать в Этрета; жалобы на здоровье вызывали только подозрения в недобросовестности. Наконец Флоберу удалось добиться перевода Мопассана в Министерство образования. Расхожая легенда о снобизме Мопассана гласила, что он заказал себе визитную карточку с помпезным указанием должности: «Атташе при министре народного образования, культа и изящных искусств,

ответственный за переписку министра и администрации по делам культа, высшего образования и финансов». Самолюбование или скорее самоирония? Новые начальники относятся к литературным склонностям служащего снисходительно, но присутствие в министерстве не перестает быть для него обременительной обязанностью.

Мопассан еще держится за должность, даже если первые творческие опыты не всегда совместимы с нравственным обликом чиновника от просвещения. В феврале 1880-го, перелистывая журнал «Эвенман», Мопассан узнает о том, что 9 января (!) его вызывали в суд по обвинению в «оскорблении общественной и религиозной нравственности». Поводом стала публикация рассказа под названием «Проститутка». Флобер был серьезно обеспокоен начавшимся процессом, тем более что он грозил его протекцией потерей места. Он с готовностью откликнулся на просьбу написать статью о самоценности искусства и его независимости от норм морали. Сам Флобер прошел через аналогичный судебный процесс в связи с романом «Мадам Бовари», был оправдан и признан непререкаемым литературным авторитетом. Статья вышла в журнале «Голуа» под названием «Гюстав Флобер и литературные процессы», кроме того, Флобер задействовал всех знакомых, могущих поспособствовать закрытию злосчастного дела.

Лишь почувствовав в себе подлинную силу литератора, Мопассан перестанет появляться в министерстве, бесконечно продлевая отпуск под предлогом слабого здоровья. Его окончательно уволят после публикации едкой статьи «Служащие», которая содержала следующие строки: «На дверях министерств следовало бы написать знаменитую фразу Данте: „Оставь надежду, всяк сюда входящий“. А вот надежду войти в литературу Мопассан не оставил...

Парижская пишущая элита знала, что молодой человек сочиняет стихи и пьесы, пробует перо в литературной критике, но широкой публике его имя по-прежнему ничего не говорило. Флобер просматривал черновики первых произведений Мопассана, критиковал и частенько советовал их разорвать. Его, правда, очень позабавила любительская постановка, которую Мопассан осуществил с молодыми друзьями: фривольная, если не сказать скабрзная пьеса «Турецкий дом, или У розового лепестка» (1875), в которой сам Мопассан исполнял женскую роль. Гюстав Флобер присутствовал на премьере и рекомендовал ее всем знакомым. После просмотра он восклицал: «Ах, как это свежо!», а Гонкур ужасался: «Это мрачно!» – и удивлялся полному отсутствию всякого стыда у ее автора... Мопассан писал и пьесы более приемлемые для официальных театров: например, небольшая драма «Сцена из старых времен», постановки которой Флобер пытался добиться через посредство Сары Бернар. Он следовал путем, обычным для писателей XIX века: принято было начинать с жанров «благородных» – поэзии и театра.

Было ясно: несмотря ни на что, Мопассан твердо намерен построить литературную карьеру – в этом терпеливом упорстве были все признаки заурядности, а то, что Мопассан представлял на суд, пока не отличалось оригинальностью: стихи не были достаточно хороши, пьесам не хватало глубины. Когда Мопассану намекали, что он мог бы попробовать себя в других жанрах, начинающий писатель спокойно отвечал: «Торопиться некуда, я учусь своему ремеслу». Позднее он утверждал, что никогда не обладал особым даром к литературе, но со своим упорством и целеустремленностью мог бы преуспеть в любом деле... А пока не он, а Тургенев вздыхал: «Бедный Мопассан! Какая жалость – у него никогда не будет таланта»... Что касается Флобера, кто знает, не прививал ли он Мопассану любовь к литературе как единственную известную ему вакцину от жизненных невзгод?

Так или иначе, одним из этапов «ученичества» Мопассана была литературная критика – и стоит ли говорить о том, что первая статья была посвящена Гюставу Флоберу. Затем последовала статья «Бальзак в письмах», которую Флобер счел безупречной по стилю, но слишком короткой и слишком сентиментальной. Мопассан защищался: издатель просил «чего-нибудь занимательного» для дам и господ читателей. Три последующие статьи директор журнала по различным причинам не принял, и Мопассан утвердился во мнении, что в прессе невозможно публиковать по-настоящему серьезные литературные статьи.

Мопассан не раз служил «подмастерием» Гюстава Флобера: описывал соответствующие замислу романиста места на нормандском побережье, искал другие необходимые писателю сведе-

ния. Как-то раз Флобер попросил Мопассана переслать ему книгу Герберта Спенсера «Введение в социальную науку» и новые документы об Артуре Шопенгауэре. Выполняя это поручение, Мопассан познакомился с учением английского философа-эволюциониста, утверждавшего существование универсальных законов природы, вечность материи и непрерывность движения, и с трудами немецкого философа-пессимиста, описывавшего человеческую жизнь как чередование тоски и стремления к иллюзорному счастью. Эти две доктрины во многом определили мировоззрение Мопассана.

Посвящение в писатели предполагает роли учителей и последователей. Флобер и его «воскресные гости» остаются учителями. Помимо этого, Мопассан поддерживает отношения с группой молодых литераторов, объединившихся вокруг Золя: Поль Алексис, Жорис-Карл Гюисманс, Анри Сеард, Леон Энник. Журналисты прозвали эту группу «хвостом Золя», а в историю литературы она вошла как ядро новой школы – «натурализма». Мопассан изначально признавался в своих сомнениях по поводу литературного течения, к которому примкнул: он не верил в школы как таковые – и в натурализм не больше, чем в романтизм или реализм. В искусстве, по его мнению, важна прежде всего оригинальность, самостоятельность и новизна. Кружок натуралистов, однако, представлял собой отличный трамплин в мир литературы, а со временем осознанное стремление к оригинальности позволило Мопассану не остаться навечно в «хвосте Золя».

Но для того, чтобы парижские литераторы осознали степень писательской одаренности Ги де Мопассана, понадобилась яркая вспышка таланта. Воспоминания о Франко-прусской войне, накопившиеся в душе, как порох, позволили Мопассану дать этот залп. С момента окончания Франко-прусской войны прошло почти десятилетие, когда в 1880 году вышел сборник «Меданские вечера», созданный с целью описать ее события без «крикливого шовинизма» и «фальшивого энтузиазма». Идея подобного сборника зародилась у Эмиля Золя, когда он прочел в русском журнале «Слово» новеллу Сеара «Перемирие» и мысленно связал ее с собственным «Эпизодом вторжения 1870 года» (опубликованным двумя годами раньше в «Вестнике Европы» и, по предложению Тургенева, позднее переименованным в «Атаку мельницы»), а также с новеллой Гюисманса «Заплечный мешок». Золя попросил Поля Алексиса, Леона Энника и Ги де Мопассана написать по рассказу, чтобы дополнить сборник. Одним из стимулов было то, что имя Золя гарантировало успех книги и каждый из авторов мог рассчитывать на гонорар в сто франков. Мопассан немедленно принялся за работу. В течение холодного декабря 1879 года «пятерка» молодых писателей часто собиралась. Наконец был назначен день, когда каждый должен был прочесть свое произведение. Мопассан читал последним – и это было настоящее потрясение. Когда он закончил, все встали, движимые единым порывом, и без громких фраз поприветствовали его как настоящего Мастера.

Реакция публики подтвердила это признание: «Пышка» затмила даже произведение Золя. Рассказ Мопассана отличал как дерзкий выбор главной героини – девушки легкого поведения, так и умение в коротком анекдоте вскрыть серьезные проблемы – столкновение фальшивого и истинного патриотизма, лицемерия и чувства чести. Преемственность некоторых тем (нормандский колорит, насмешки над буржуа) и превосходный, выверенный литературный стиль породили слухи о том, что настоящий автор «Пышки» – Флобер. Сам Гюстав Флобер пришел в восторг от произведения питомца. Наконец прозвучала долгожданная похвала: «Еще десять таких историй, и ты будешь совсем мужчиной», прозвучала как эхо наставлений покойного Луи Буйле...

Менее чем через месяц после выхода «Меданских вечеров» Гюстав Флобер скончался от апоплексического удара. На похороны приехали многие знаменитости, но именно Мопассан собственными руками приготовил тело великого писателя к погребению. Он больше не мог укрываться в тени великого учителя – началась пора самостоятельного роста.

Успех «Пышки» указывал Мопассану на сильные стороны собственного таланта и сулил возможность наконец жить литературным трудом. В свет не так давно вышел первый (и единственный) сборник стихов с незамысловатым названием «Стихи», а Ги де Мопассан уже работал над сборником рассказов «Заведение Телье», продолжающих щекотливую тему домов терпимости. Но выбор темы не был просто попыткой добиться скандального успеха: Мопассан по-своему отстаивал свободу художника, которую утверждали многие значительные французские авторы на протяжении XIX века. Писатели из окружения Флобера оценили сборник: Эмиль Золя хвалил

«проницательный анализ» писателя и его «уравновешенный и здоровый темперамент», а И.С. Тургенев, которому сборник был посвящен, рекомендовал его Л.Н. Толстому. Что касается блюстителей общественной морали, то они всюду клеймили «отвратительную книжонку» и «мерзость». Издательство «Ашет», обладавшее монополией на продажу книг и журналов на вокзалах по всей Франции, отказалось распространять сборник – что не помешало ему разойтись большим тиражом (два года спустя на полученные от продажи книги деньги Мопассан сможет построить дом в Этрета). Ги де Мопассан столь же уверенно вел свои дела с издателями и директорами журналов, как управлял лодкой на Сене. Он твердо осознавал, насколько выгодно издателям его сотрудничество, – и умел вовремя напомнить, что другие могут заплатить ему больше. Но успех Мопассана-литератора измерялся не только в тиражах и денежных суммах.

Начинается золотое десятилетие в жизни Мопассана. В 1883-м писатель завершает первый большой роман под названием... «Жизнь». Многие говорят о том, что это произведение, описывающее разочарования молодой замужней женщины, вместило в себя печальный опыт Лоры де Мопассан. Так или иначе, за несколько лет до того замысел романа был одобрен автором «Мадам Бовари». В целом, за десять лет Мопассан написал шесть больших романов (еще два, «Чужая душа» и «Анжелюс», так и остались незавершенными), а также свыше трехсот новелл и три тома путевых заметок. Любители статистики подсчитали, что за 1885 год Мопассан написал больше, чем такие плодовитые авторы, как Бальзак, Диккенс или Дюма-отец. Известность Мопассана вышла за пределы Франции; от Тургенева он получает письмо, сообщающее о шумном успехе его книг в России: «Перевели все, что было переводимо». Роман «Милый друг» (1885) русская публика прочла раньше, чем французская: он публиковался в виде фельетона в «Вестнике Европы» быстрее, чем на страницах журнала «Жиль Блаз»... К романам и новеллам необходимо добавить многочисленные статьи Мопассана в парижских журналах.

Журналистика, по сути, была лучшим способом зарабатывать пером в Париже конца XIX века: периодические издания публиковали всевозможные заметки, рассуждения на злободневные темы, литературную и театральную критику, портреты знаменитостей, путевые заметки – все, что могло заинтересовать как светского читателя, так и обывателя. Мопассан долгое время отказывался от этой возможности, не желая ставить свою подпись «под страницей, написанной за два часа». Но после смерти Флобера он принял предложение редактора журнала «Голуа», который готов был платить ему пятьсот франков за одну статью в месяц (что в год составляло сумму в два раза больше ставки министерского служащего). Отказываясь от одного из флюберовских принципов – кропотливой работы над каждой строчкой, – Мопассан в первых же статьях спешил обыграть образы, унаследованные от Флобера. Первый цикл его журнальных статей был озаглавлен «Воскресения парижского буржуа»: главный герой звался Патиссот и, очевидно, приходился родственником флюберовским образцовым обывателям Бувару и Пекюше... В этих первых хрониках нашлось место «плернерным зарисовкам» Мопассана, сделанным в парижских пригородах в выходные дни...

В дальнейшем Мопассан-журналист начинает говорить от первого лица – о политике и живописи, о финансах и нравах парижского общества, о бессмысленности дуэли, о проблемах брака и воспитании девушек. В статье «Честь и деньги» Мопассан-журналист иронизирует над причудливыми изменениями в общественной морали: «Кража десяти су – по-прежнему кража; а вот исчезновение ста миллионов вовсе нет». На примере обострения отношений между Италией и Францией из-за североафриканских колоний он рассуждает о механизме разжигания ненависти: это «качели шовинизма», на которые пресса подсаживает целые нации. Мопассан играл роль журналиста с азартом: когда в конце июня 1880 года вспыхнули восстания в Тунисе и Алжире, Мопассан отбыл в Магриб с твердым намерением составить собственное мнение о происходящем. Оттуда он отправляет «Письма из Африки», в которых высмеивает необдуманную политику в колониях, высокомерие поселенцев и ангажированность французских журналистов...

Имея эксклюзивный контракт с «Голуа», Мопассан не отказывался писать и для другого популярного журнала – «Жиль Блаз», скрываясь под псевдонимом Мофриньез. Завидное умение Мопассана получать хорошие деньги за свои сочинения породило слух о том, что он якобы готов продать даже свою подпись. Однако статьи в прессе всегда были для Мопассана лишь дополнени-

ем к создаваемым рассказам и романам.

Стефан Малларме как-то определил Ги де Мопассана как «лучшего литературного журналиста». В устах поэта это выражение было окрашено иронией (для него самая чистая литература стояла неизмеримо выше прессы), но в нем отражены важные свойства произведений Мопассана: они обладали для читателя притягательной силой газетной заметки – в них была злободневность и правдивость. Злободневность на поверку временем оказалась неизменной актуальностью, а правдивость была заложена в самом творческом методе Мопассана.

Ги де Мопассан писал лишь о том, что знал и видел. По свидетельству руанского литератора Шарля Лапьера, Мопассан «изменял, группировал, развивал, но ничего не изобретал. Он завладевал фактом, сразу же схватывал его мораль – всегда ироническую – и при помощи своего безупречного стиля придавал ему необычную рельефность. Большая часть его рассказов [...] – достоверные повествования, за исключением некоторых деталей». Можно считать это формулой того особого, независимого и самобытного реализма, который исповедовал Мопассан. Часто знакомые Мопассана указывали на тот или иной подсказанный ему сюжет. Но для самого писателя, очевидно, важны были не столько факты или события, сколько стоящие за ним закономерности человеческой жизни. Он утверждал, что верит не в «анализ», а в «ощущение»: «Каждый раз, когда мне удавалось хорошо изобразить человека, – это мне удавалось потому, что я на минуту становился им. Романист не должен отказываться ни от какого опыта, он должен становиться охотником с охотниками, моряком с моряками, крестьянином с крестьянами, буржуа с буржуа». Известный критик Поль Бурже вспоминал необыкновенную способность Мопассана естественным образом вписываться в любой круг, в любое общество, – и незаметно наблюдать, никогда не делая записей, но позволяя происходящему запечатлеться в памяти, как на пластинке фотоаппарата.

Чем бы Мопассан ни занимался, где бы ни бывал – его впечатления позднее отливались в литературные формы. Детство в Нормандии питало рассказы о крестьянах, такие, как «Нормандская шутка», «Сабо» и другие, а воспоминания о войне возвращались в новеллах «Дуэль», «Мадемуазель Фифи», «Брак лейтенанта Ларэ» и т. д. Общение с парижскими журналистами и литераторами дало детали для романа «Милый друг», выход в большой свет – для романов «Сильна как смерть» и «Наше сердце», знакомство с полусветом – для новеллы «Иветта» и многих рассказов. Вынужденные поездки в курортные городки в горах позволили написать роман «Монт-Ориоль», а наблюдения во время путешествий на яхте вошли в сборник «На воде». Следуя традиции Мериме, автора «Кармен» и «Коломбы», Мопассан написал несколько «экзотических» новелл с корсиканским и арабским колоритом – каждый раз опираясь на собственные впечатления от описываемого края. Иногда Мопассан намеренно собирал необходимые элементы для литературных произведений: он выезжал в определенное место, чтобы точнее запечатлеть пейзаж, понаблюдать за поведением людей – или просто выбрать подходящее лицо для героини. Так, работая над историей сумасшествия героя повести «Орля», Мопассан слушал лекции Шарко о «мужской истерии» и «психическом параличе». Для него это был очередной литературный опыт, исследование состояния беспричинного страха – ощущения, которое было знакомо ему самому...

Отточенную форму произведений Мопассана принимали за свидетельство бесстрастности и отсутствия сомнений. В его стиле видели воплощение французской «ясности», продолжение традиций Лафонтена в эпоху неврозов и литературного маньеризма. Мопассан рассуждал: «Меня, без сомнения, считают одним из наиболее равнодушных людей на свете. Я же скептик, что не одно и то же, скептик, потому что у меня хорошие глаза»...

Как совместить работу над рукописью и наблюдение за жизнью? Как успевать видеть и писать? Мопассан чаще всего работал по утрам – в эти часы он не принимал даже самых близких друзей. В качестве оправдания он писал поэту Казалису: «Никто в мире, даже мой отец, не может войти ко мне утром. [...] Вы писатель [...] – Вам знакомо ощущение безопасности, которое дает уверенность в непреодолимости вашего порога». Зато во второй половине дня Мопассан становился радушным хозяином, хотя чаще в одиночестве предавался одному из любимых развлечений: плаванию, охоте, стрельбе из пистолета... Полученные от 37 переизданий романа «Милый друг» деньги Мопассан употребил на покупку двухмачтового парусника, «прелестного, как птичка, маленького, как гнездышко». Теперь писатель мог в любое время выходить в море, что он и делал,

невзирая на погоду и поражая своей дерзостью даже опытных моряков.

Казалось, Мопассану ничего не оставалось желать: он много путешествовал (Италия и Англия, Алжир и Корсика, Антибские острова и Лазурный берег...), упорно работал и умел отдыхать от напряжения. И все же молодой писатель признавался в мучительной раздвоенности: «По временам я осознаю ужас существующего с такой силой, что желаю смерти. А иногда, напротив, всем наслаждаюсь, как животное». От избытка жизненной энергии или от скуки затевал Мопассан бесчисленные розыгрыши? Так, например, однажды писатель изображал в мирном французском поезде русского нигилиста-анархиста: он громким шепотом с отменным русским акцентом произносил крамольные речи, и соседи по купе слышали, как что-то тикало в свертке, который он бережно держал на коленях. Но когда предупрежденный перепуганными попутчиками жандарм заставил Мопассана продемонстрировать содержимое свертка – это оказались обыкновенные часы. В другой раз Ги де Мопассан представил знакомым мнимый проект казино на «острове Железной Маски» (о. Св. Маргариты). При помощи цифр он убедил состоятельных потенциальных акционеров, что проект стоит участия, а затем предложил осмотреть остров. Тут-то и выяснилось то, что Мопассан знал заранее: остров является собственностью государства и продаже не подлежит. Светских знакомых Мопассан втягивал в развлечения менее рафинированные, чем беседы, литературные игры и шарады: крикет, вошедший в моду теннис и шумные полудетские игры с толкотней и смехом...

Общение с женщинами – безразлично, большого света или полусвета – писателя занимало, несмотря на то что он слыл женоненавистником. Мопассан действительно часто рассуждал о зависимости и слабости женского характера, о несамостоятельности женских мнений, о жалкой роли женщины в современном обществе – исключением признавая лишь собственную мать, Лору де Мопассан, с которой его по-прежнему связывали тесные узы нежности и взаимопонимания. Однако писатель постоянно виделся с целым кругом капризных красавиц – отъявленной мучительницей мужчин графиней Потоцкой и ее лучшими подругами, Женеви́ев Бизе (не вполне безутешной вдовой композитора Жоржа Бизе) и Мари Канн (любовницей писателя и критика Поля Бурже). Заметим, что знакомство с сестрой Мари Канн, Лулией Канн, открыло Мопассану двери в салоны богатейших парижских банкиров еврейского происхождения, в том числе и Ротшильдов. В одной из журнальных хроник Мопассан иронизировал над увлечением светских дам творческими людьми: мода требовала, чтобы каждая из них имела знакомого художника, поэта или писателя. Мопассан придает черты этих четырех женщин героине своей последней повести «Наше сердце», в которой он попытался запечатлеть женщину конца XIX века. Ранее Мопассан уже рассуждал в журнальных хрониках о ее неспособности любить: женщина с развитым умом и шаткими нервами уже неспособна обмануться мечтой, но по-прежнему лихорадочно жаждет счастья... Но можно ли говорить о женоненавистничестве Мопассана? Кто глубже, чем этот писатель, проник в закоулки женской души? Зоркий и проницательный взгляд Мопассана делает невозможным безоговорочное поклонение женщине, но сродни сочувствию то пристальное внимание и безграничное понимание, которое выразилось в рассказе «Украшение», повести «Наше сердце» или романе «Жизнь».

Сам Мопассан видел в любви самообман, прикрывающий естественные человеческие инстинкты (сказывалось влияние Шопенгауэра и Спенсера). Признания в любви – или, скорее, повествование об испытанном зыбком ощущении влюбленности – встречаются в редких письмах к близкой и доверенной подруге, Эрмин Леконт де Ноуи, хрупкой женщине с голубыми глазами, оставившей книгу воспоминаний «Влюбленная дружба». Но и Эрмин остается одной из фигур в бесконечном «донжуанском списке» Мопассана – человека, о котором близкие говорили, что он никогда не добивался благосклонности женщин: это женщины приходили к нему, и он принимал их, никогда не считая себя обязанным жертвовать своей свободой. Ничто, даже рождение незаконных детей, не могло привязать его к женщине.

О популярности и «востребованности» Мопассана свидетельствует история некой простой девушки, которая, прочтя одно из его произведений, твердо решила с ним познакомиться и несколько месяцев работала не покладая рук, чтобы достойно одеться и прийти к Мопассану. Писателя она дома не застала, но увидела некую даму и поспешила уйти. Многие не решались предстать перед ним лично и выбирали переписку. Итак, Мопассан писал романы и повести, а ему

писали женщины и девушки, как поодиночке, так и целыми пансионами. Некоторых привлекала писательская слава Мопассана, некоторых – пикантные слухи, которые сам писатель с удовольствием поддерживал. В результате одной переписки любовницей Мопассана стала эксцентричная женщина-скульптор Мари-Поль Паран-Дебаррес, коротко стриженная в подражание Жанне д'Арк, одевавшаяся то мужчиной, то школьником, стрелявшая из пистолета и упражнявшаяся на трапеции... Другие «корреспондентки» изначально ставили условие никогда не искать встреч. Так, в начале 1884 года неизвестная предложила Мопассану стать «поверенной его прекрасной души – если, конечно, эта душа прекрасна». Незнакомка следила за свежими публикациями Мопассана и позволяла себе критиковать писателя (например, она находила, что рассказ «Месть тетушки Соваж» – банальность). В ответ Мопассан утверждал, что не питает особых литературных претензий, и представлял себя без прикрас: «...две трети времени я провожу в глубокой скуке. Оставшуюся треть я употребляю на написание строк, которые я продаю как можно дороже, сожалея, что обязан заниматься этим отвратительным ремеслом». Как это ни странно, Мопассан, не всем и не сразу открывавшийся, с готовностью писал о себе этой неизвестной женщине. Переписка оборвалась после того, как знакомка в очередной раз заявила, что ее не интересует «земная оболочка» писателя: «Неужели вы не хотите немного фантазии посреди парижской грязи? Не хотите бестелесной дружбы?» – вопрошала она. Незнакомкой была 24-летняя русская аристократка Мария Башкирцева, талантливая художница, замеченная на Парижском салоне в 1883 году и умершая от туберкулеза 31 октября 1884-го, оставив после себя интереснейший дневник на французском языке. По совпадению, последний автопортрет Ги де Мопассан дал в письме-отказе другой русской барышне, некоей госпоже Богдановой: «Я держу свою жизнь в такой тайне, что никто ее не знает. Я разочарован, одинок и дик. [...] Я два раза отказывался от ордена Почетного Легиона и в прошлом году – от места в Академии, чтобы быть свободным от всяких уз и всякой признательности и не держаться ни за что в жизни, кроме работы». Мопассан действительно твердо отказался от ордена Почетного Легиона и от места во Французской академии, которого отчаянно и безуспешно добивался, например, Эмиль Золя. Это был отказ от всякой зависимости, от всякой привязанности – от любых уз.

Уединение Мопассана со временем становится все более полным. Он непрестанно переезжает с места на место: Этрета, Ницца и Канны, курортный городок Экс-ле-Бен или шале в Альпах, Италия, Антибские острова и Корсика... Временами Мопассан был вынужден возвращаться в Париж, чтобы уладить дела и окунуться в светскую жизнь, но эти приезды утомляли его, и он спешил прочь. В этот период о местонахождении Мопассана знал только всюду сопровождавший его слуга Франсуа и мать, которой он постоянно писал (скрывая, однако, истинное состояние своего здоровья). Воспоминания Франсуа Тассара, несмотря на неточности и опущения, позволяют немало узнать об этой тщательно скрываемой от посторонних глаз жизни. Постоянная смена места все больше напоминала бегство – Мопассан бежал от мигреней, болей и недомоганий; он надеялся наконец найти оздоравливающий климат, подходящее место, идеальные условия. Но недуг каждый раз настигал его. На палубе яхты солнце слепило его и вызывало нестерпимую резь в глазах – не спасал ни специально сооруженный навес, ни очки с синими стеклами. В курортных городках лечебные души не были достаточно мощными и бодрящими...

Борьба с болью не была нова для Мопассана: первые признаки болезни проявились еще в 1877-м, а с 1883-го они становились все более многочисленными и разнообразными: головные боли, запоры, боли в желудке, бессонные ночи... В 1883 году Мопассан сообщал Эмилю Золя, что вот уже шесть месяцев, как он наполовину слеп – пишет на ощупь и вынужден был нанять чтеца, чтобы знакомиться с интересующими книгами... Зрение возвращалось и пропадало; зрачок одного глаза был расширен, другого – сужен. Много из написанного Мопассан выводил на бумаге и правил, преодолевая боль, прорываясь сквозь сумерки. Лечение по последнему слову медицины помогало мало: Мопассан проводит дни и ночи в мучениях, «поглощая салицилат натрия, бромистый калий, хлороформ и т. д.». Доктора прописывают больному писателю хинин, антипирин, опиумную настойку, морфий, хлорал, уколы кокаина... Головные боли Мопассан уже много лет лечил эфиром.

Но с некоторых пор уже ничто не помогало собраться с силами и возобновить работу. Боль-

шим ударом и мрачным предсказанием стала в 1889 году смерть младшего брата Эрве, помещенного в психиатрическую лечебницу. Для самого Мопассана бессонница становится пыткой, головные и зубные боли не прекращаются. Из-за отеков ему тесно в собственной одежде. Но страшнее всего мгновения, когда он внезапно перестает понимать, где находится и что с ним происходит. Мопассан с трудом подбирает точные слова, его письма пестрят помарками. В 1891 году, показывая другу начатую рукопись романа «Анжелюс», Мопассан с горечью произнес: «Вот уже год, как я не могу написать ни страницы больше. Если через три месяца книга не будет окончена, я покончу с собой».

Когда Мопассан возвращается в Париж в апреле 1891 года, ему остается только совершать медленные прогулки по Булонскому лесу: из опасения за его зрение доктор категорически запрещают писать. Невоплощенным остается замысел собрать в единый том литературную критику: статьи о Флобере, Буйле, Золя, Тургеневе. Знакомые были поражены худобой Мопассана, которую не могла скрыть непривычная элегантность костюма. Писатель понимал, что почти неузнаваем, и с иронично-притворным удивлением отвечал на приветствия. В разговоре с поэтом Жозе-Мария Эредиа он признался, что измучен тоской, болями, а главное – невозможностью писать: что может быть ужаснее, чем провалы в памяти и неспособность подобрать необходимое слово? Они расстались на слове «Прощай». Мопассан добавил: «Мое решение принято. Я не задержусь. Я не хочу пережить самого себя. Я ворвался в литературу как метеор – я исчезну из нее с ударом грома».

Мопассан верно предугадывал свою судьбу. «Удар грома», предсказанный им, прогремел в начале января 1892-го. В канун нового года Мопассан гостил у матери в Нормандии. По рассказам Лоры де Мопассан, вечером он внезапно загорелся идеей куда-то ехать, и как мать ни отговаривала его, как ни пыталась удержать, он вырвался из ее объятий и исчез в ночи – «возбужденный, безумный, охваченный бредом, направляющийся неизвестно куда». В действительности последнее свидание писателя с матерью было чуть менее драматичным. Ги де Мопассан спокойно вернулся к себе на квартиру, съел гроздь винограда, выпил на ночь травяного чая и поднялся в спальню... Посреди ночи Франсуа Тассар, верный слуга Мопассана, услышал страшный шум и бросился наверх. Он нашел хозяина посреди комнаты с лезвием в руке и зияющей раной на горле. Ящик стола, где хранился пистолет, был раскрыт – но оружие в доме было предусмотрительно разряжено. Был ли это последний сознательный жест перед лицом надвигающегося безумия? Или неистовое движение, навеянное галлюцинациями о преследованиях загадочного двойника, злодея Подофилла, которым Мопассан будет непрестанно бредить с этого дня?

Спустя неделю поезд Ницца – Париж прибывает на Северный вокзал. Покорному и измученному Мопассану – в смиренной рубашке, прикрытой полосатым пледом, – помогают спуститься на перрон. Его встречают издатель Оллендорф и доверенный врач Казалис. Отец писателя успел составить необходимое официальное письмо с просьбой о помещении Мопассана в психиатрическую лечебницу. Ги де Мопассана доставили в знаменитое образцовое заведение доктора Бланша в Пасси – аккуратные павильоны в парке с видом на Эйфелеву башню, – где писателю предстоит провести последние полтора года жизни... Сначала были галлюцинации и причудливые монологи, в которых навязчиво возвращались отдельные темы: пропитавшая все тело соль, мнимое присвоение денег издателями, преследования загадочного Подофилла, мучения брата Эрве, необходимость есть яйца или принимать морфий, чтобы вылечить желудок, – и снова миллионы, брат Эрве, яйца, Подофилл, морфий, искусственный желудок, соль... Вскоре Мопассан перестал узнавать знакомых, речь стала бессвязной, и через некоторое время больной впал в прострацию. Он не писал и даже не читал; лишь однажды взял перо и лист бумаги, вывел несколько неведомых слов – ничего не значащий набор слогов... Доктор Бланш лично писал Лоре де Мопассан успокоительные и лживые отчеты о стабильном состоянии больного: мать писателя сама была слишком слаба, и родственники предпочитали ограждать ее от излишних волнений.

За оградой клиники газеты и журналы пережевывали новость: намекали на автобиографичность повести «Орля», вспоминали рассказы Мопассана о сумасшедших, рассуждали о связи гения и безумия, задавались вопросом о том, когда именно появились первые признаки болезни Мопассана и каковы были ее причины... Поразительно, но в хоре искренних сожалений звучали и зло-

радные голоса: в этом несчастье видели возмездие писателю, который никого и ничто не любил и не имел истинных друзей – кроме издателя Оллендорфа...

Ги де Мопассан скончался 5 июня 1893 года, в возрасте сорока трех лет, после одного из участвовавших приступов судорог. Когда-то писатель просил не хоронить его в свинцовом гробу, чтобы тело могло воссоединиться с землей: его похоронили в обычном по тем временам тройном гробу из сосны, цинка и дуба. Ни мать, ни отец Мопассана не смогли приехать на похороны: Гюстав де Мопассан медленно оправлялся от апоплексического удара, а обессиленная и больная Лора осталась в Ницце. Речь над могилой Ги де Мопассана Эмиль Золя завершил словами: «Те, что узнают его лишь по произведениям, будут любить его за вечный гимн любви, который он пел жизни».

Э. Абсалямова

Наше сердце

Часть первая

I

Однажды Масиваль, музыкант, прославленный автор *Ревекки*, тот, кого уже лет пятнадцать называли «знаменитым молодым маэстро», сказал своему другу Андре Мариолу:

– Почему ты не попросишь, чтобы тебя представили госпоже де Бюрн? Уверю тебя, это одна из интереснейших женщин современного Парижа.

– Потому что я вовсе не создан для этого общества.

– Дорогой мой, ты не прав. Это очень своеобразный, очень современный, живой и артистический салон. Там много занимаются музыкой, там ведут беседу не хуже, чем в салонах лучших сплетниц прошлого столетия. Тебя в этом доме оценили бы, – прежде всего потому, что ты превосходный скрипач, во-вторых, потому, что там о тебе было сказано много хорошего, наконец, потому, что ты слынешь человеком не банальным и не расточительным на знакомства.

Мариоль был польщен, но, все еще противясь и к тому же предполагая, что это настойчивое приглашение делается не без ведома молодой женщины, проронил: «Ну, меня это мало интересует»; и в этом нарочитом пренебрежении уже звучала нотка согласия.

Масиваль продолжал:

– Хочешь, я представлю тебя на днях? Да ты, впрочем, уже знаешь ее по рассказам друзей; ведь мы довольно часто говорим о ней. Ей двадцать восемь лет, это очень красивая женщина, большая умница; она не хочет вторично выходить замуж, потому что в первом браке была крайне несчастлива. Она сделала свой дом местом встреч приятных людей. Там не слишком много клубных завсегдатаев и светских пошляков. Ровно столько, сколько требуется для придания блеска. Она будет в восторге, если я тебя приведу.



Побежденный Мариоль ответил:

– Пусть будет по-твоему. Как-нибудь на днях.

В начале следующей недели композитор зашел к нему и спросил:

– Ты завтра свободен?

– Да... пожалуй.

– Отлично. Пойдем обедать к госпоже де Бюрн. Она мне поручила пригласить тебя. Впрочем, вот и ее записка.

Подумав несколько мгновений для приличия, Мариоль ответил:

– Пойдем.

Андре Мариолу было лет тридцать семь, он был холост, ничем не занимался, был достаточно богат, чтобы позволить себе жить, как ему вздумается, путешествовать и даже собрать прекрасную коллекцию новой живописи и старинных безделушек; он слыл человеком остроумным, немного сумасбродным, немного нелюдимым, чуть прихотливым, чуть высокомерным, разыгрывающим отшельника скорее из гордости, чем от застенчивости. Богато одаренный, тонкого ума, но ленивый, способный все понять и, быть может, многое сделать, он довольствовался тем, что наслаждался жизнью в качестве зрителя или, вернее, знатока. Будь он беден, он, несомненно, стал бы выдающимся человеком и знаменитостью, но, родившись богатым, он вечно упрекал себя за то, что не сумел ничего добиться. Правда, он предпринимал ряд попыток, но слишком нерешительных, в области искусств: одну – на литературном поприще, издав путевые заметки, интересные, живые и изысканные по стилю; другую – в области музыки, увлекаясь игрой на скрипке, – и тут он приобрел, даже среди профессиональных исполнителей, славу одаренного дилетанта; и, наконец, третью попытку – в области скульптуры, того искусства, где прирожденная ловкость и дар смело намечать обманчивые контуры заменяют в глазах невежд мастерство и выучку. Его глиняная статуэтка *Тунисский массажист* принесла ему даже некоторый успех на прошлогодней выставке.

Говорили, что он не только прекрасный наездник, но и выдающийся фехтовальщик, хоть он никогда не выступал публично, вероятно, из-за той же робости, которая заставляла его избегать светских кругов, где можно было опасаться серьезного соперничества.

Но друзья единодушно хвалили и ценили его, быть может, потому, что он не затмевал их. Во всяком случае, о нем говорили как о человеке надежном, преданном, отзывчивом и приятном в обращении.

Роста выше среднего, с черной бородкой, коротко подстриженной на щеках и образующей на подбородке острый клин, со слегка седеющими, но красиво выющимися волосами, он отличался открытым взглядом ясных, живых карих глаз, недоверчивых и чуть суровых.

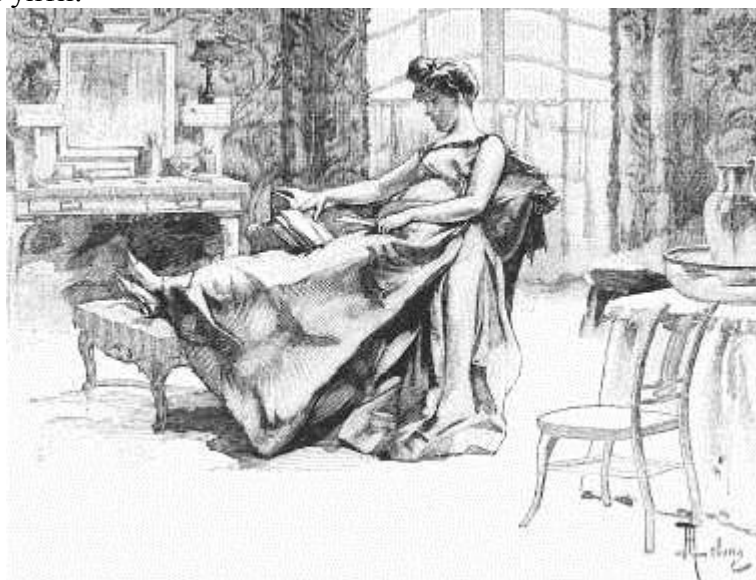
Среди его друзей преобладали деятели искусства – романист Гастон де Ламарт, музыкант Масиваль, художники Жобен, Риволе, де Модель, которые, казалось, высоко ценили его дружбу,

его ум, остроумие и даже его суждения, хотя в глубине души они с высокомерием людей, достигших успеха, считали его неудачником – пусть очень милым и очень умным.

Его надменная сдержанность как бы говорила: «Я ничто, потому что не захотел быть чем-либо». И он вращался в узком кругу, пренебрегая великосветским флиртом и модными салонами, где другие блистали бы ярче и оттеснили бы его в толпу светских статистов. Он посещал только такие дома, где могли правильно оценить его неоспоримые, но скрытые качества; и он так быстро согласился быть представленным г-же Мишель де Бюрн лишь потому, что лучшие его друзья, те самые, которые всюду рассказывали о его скрытых достоинствах, были постоянными гостями этой молодой женщины.

Она жила в первом этаже прекрасного дома на улице Генерала Фуа, позади церкви Сент-Огюстен. Две комнаты – столовая и та гостиная, где принимали всех, – выходили на улицу, две другие – в прелестный сад, находившийся в распоряжении домовладельца. С этой стороны помещалась вторая гостиная, очень просторная, скорее длинная, чем широкая, с тремя окнами, откуда были видны деревья, листья которых касались ставен; она была обставлена исключительно простыми и редкими предметами безупречного, строгого вкуса и огромной ценности. Стулья, столы, прелестные шкафчики и этажерки, картины, веера и фарфоровые статуэтки в горке, вазы, фигурки, громадные настенные часы, обрамленные панно, – все убранство дома молодой женщины влекло и приковывало взоры своим стилем, стариной или изяществом. Чтобы создать себе такую обстановку, которой она гордилась почти так же, как самой собою, она воспользовалась дружбой, любезностью и чутьем всех знакомых ей художников. Они с охотничьим азартом выискивали для нее, богатой и щедрой, вещи, отмеченные тем неповторимым отпечатком, которого не улавливает вульгарный любитель, и благодаря этим людям г-жа де Бюрн создала знаменитый, малодоступный салон, где, как ей представлялось, гости чувствовали себя лучше и куда шли охотнее, нежели в заурядные салоны других светских женщин.

Одна из излюбленных ее теорий заключалась в том, что оттенок обоев, занавесей, уютность кресел, приятность форм, изящество целого нежат, чаруют и ласкают взоры не меньше, чем обворожительные улыбки хозяев. Привлекательные или отталкивающие дома, говорила она, богатые или бедные, пленяют, удерживают или отвращают в такой же мере, как и населяющие их существа. Они будят или усыпляют сердце, воспаляют или леденят ум, вызывают потребность говорить или молчать, повергают в печаль или радуют. Словом, они внушают гостю безотчетное желание остаться или уйти.



В этой несколько сумрачной гостиной, между двумя жардиньерками с цветами, на почетном месте стоял величественный рояль. Дальше высокая двустворчатая дверь вела в спальню, за которой следовала туалетная, тоже очень элегантная и просторная, обитая персидской материей, как летняя гостиная; здесь г-жа де Бюрн обычно проводила время, когда бывала одна.

Выйдя замуж за светского негодяя, за одного из тех семейных тиранов, которым все должны подчиняться и уступать, она вначале была очень несчастна. Целых пять лет ей приходилось тер-

петь жестокость, требовательность, ревность, даже грубость этого отвратительного властелина; и, терроризованная, ошеломленная неожиданностью, она безропотно покорила игу открывшейся перед нею супружеской жизни; она была подавлена деспотической, гнетущей волей грубого мужчины, жертвой которого оказалась.

Однажды вечером, возвращаясь домой, муж ее умер от аневризма, и когда принесли его тело, завернутое в одеяло, она долго вглядывалась в него, не веря в реальность освобождения, чувствуя глубокую, сдерживаемую радость и боясь обнаружить ее.

От природы независимая, веселая, даже экспансивная, обворожительная и очень восприимчивая, с проблесками вольнодумства, которые каким-то образом появляются у иных парижских девочек, словно они с детских лет вдыхали пряный воздух бульваров, куда по вечерам через распахнутые двери театров врывается тлетворная атмосфера одобренных или освищенных пьес, – она все же сохранила от своего пятилетнего рабства какую-то застенчивость, сочетающуюся с прежней смелостью, постоянную боязнь, как бы не сделать, не сказать лишнего, жгучую жажду независимости и твердую решимость уже никогда больше не рисковать своей свободой.

Ее муж, человек светский, заставлял ее устраивать приемы, на которых она играла роль бессловесной, изящной, учливой и нарядной рабыни. Среди друзей этого деспота было много деятелей искусства, и она принимала их с любопытством, слушала с удовольствием, но никогда не решалась показать им, как хорошо она их понимает и как высоко ценит.

Когда кончился срок траура, она как-то пригласила нескольких из них к обеду. Двое уклонились, трое же приняли приглашение и с удивлением нашли в ней обаятельную молодую женщину с открытой душой, которая тотчас же безо всякого жеманства мило призналась им в том, какое большое удовольствие доставляли ей прежние их посещения.

Так постепенно она выбрала среди старых знакомых, мало знавших или мало ценивших ее, несколько человек себе по вкусу и, в качестве вдовы, в качестве свободной женщины, желающей, однако, сохранить безупречную репутацию, стала принимать наиболее изысканных мужчин, которых ей удалось собрать вокруг себя, присоединив к ним лишь двух-трех женщин.

Первые приглашенные стали близкими друзьями, образовали ядро, за ними последовали другие, и дому был придан уклад небольшого монаршего двора, куда каждый приближенный приносил либо талант, либо громкое имя; несколько тщательно отобранных титулов примешивалось здесь к светлым умам разночинной интеллигенции.

Ее отец, г-н де Прадон, занимавший верхний этаж, служил как бы блюстителем нравственности и защитником ее доброго имени. Старый волокита, чрезвычайно эlegantный, остроумный, он уделял ей много внимания и обращался с ней скорее как с дамой сердца, чем как с дочерью; он возглавлял обеды, которые она давала по четвергам и которые вскоре приобрели в Париже славу, став предметом толков и зависти. Просьбы быть представленным и приглашенным все учащались; их обсуждали в кружке приближенных и часто отклоняли после своего рода голосования. Несколько острот, сказанных в этом салоне, облетели весь город. Здесь дебютировали актеры, художники и молодые поэты, и это было для них как бы крещением их славы. Лохматые гении, приведенные Гастоном де Ламартом, сменяли у рояля венгерских скрипачей, представленных Масивалем, а экзотические танцовщицы изумляли здесь гостей своей волнующей пластикой, прежде чем появиться перед публикой Эдема или Фоли-Бержер¹.

Г-жа де Бюрн, сохранившая тяжелое воспоминание о своей светской жизни под гнетом мужа и к тому же ревниво оберегаемая друзьями, благоразумно воздерживалась слишком расширять круг знакомых. Довольная и в то же время чувствительная к тому, что могли бы сказать и подумать о ней, она отдавалась своим немного богемным наклонностям, сохраняя вместе с тем какую-то буржуазную осторожность. Она дорожила своей репутацией, остерегалась безрассудств, была корректна в своих прихотях, умеренна в дерзаниях и заботилась о том, чтобы ее не могли заподозрить ни в одной связи, ни в одном флирте, ни в одной интриге.

Все пытались обольстить ее; но никому, как говорили, это не удалось. Они исповедовались друг другу и признавались в этом с удивлением, ибо мужчины с трудом допускают – и, пожалуй,

¹ Эдем, Фоли-Бержер – парижские театры, превратившиеся к концу XIX века в кафешантаны.

не без оснований – такую добродетель в независимой женщине. Вокруг нее создавалась легенда. Говорили, будто ее муж проявил в начале их совместной жизни столь возмутительную грубость и такие невероятные требования, что она навсегда излечилась от любви. И ее друзья часто обсуждали это между собой. Они неизбежно приходили к выводу, что девушка, воспитанная в мечтах о любовных ласках и в ожидании волнующей тайны, которая представляется ей как что-то мило-постыдное, что-то нескромное, но утонченное, должна быть потрясена, когда сущность брака раскрывается перед нею грубым самцом.

Светский философ Жорж де Мальтри добавлял с легкой усмешкой: «Ее час еще пробьет. Он никогда не минует таких женщин. И чем позднее, тем громче он прозвучит. Наша приятельница, с ее артистическими вкусами, влюбится на склоне лет в какого-нибудь певца или пианиста».

Гастон де Ламарт придерживался другого мнения. Как романист, психолог и наблюдатель, изучающий светских людей, с которых он, кстати сказать, писал иронические, но схожие портреты, он считал, что понимает женщин и разбирается в их душе с непогрешимой и непревзойденной проницательностью. Он причислял г-жу де Бюрн к разряду тех нынешних сумасбродок, образ которых он дал в своем любопытном романе «Одна из них». Он первый описал эту новую породу женщин, породу рассудительных истеричек, которых терзают нервы, беспрестанно томят противоречивые влечения, даже не успевающие стать желаниями, женщин, во всем разочарованных, хотя они еще ничего не испытали по вине обстоятельств, по вине эпохи, условий момента, современных романов; эти женщины, лишенные огня, неспособные на увлечение, сочетают в себе прихоти избалованных детей с черствостью старых скептиков.

Как и другие, он потерпел неудачу в своих попытках увлечь ее.

А в г-жу де Бюрн один за другим влюблялись все ее приближенные, и после кризиса они долго еще бывали растроганы и взволнованы. Мало-помалу они образовали как бы маленькую общину верующих. Эта женщина была для них мадонной, и они без конца говорили о ней, подвластные ее обаянию даже издали. Они чтили ее, восхваляли, критиковали или порицали, смотря по настроению, в зависимости от обид, неудовольствия или зависти, когда она выказывала предпочтение кому-нибудь из них. Они постоянно ревновали ее друг к другу, немного друг за другом шпионили, но всегда держались вокруг нее сплоченными рядами, чтобы не подпустить какого-нибудь опасного соперника. Самые преданные были: Масиваль, Гастон де Ламарт, толстяк Френель, молодой философ, весьма модный светский человек Жорж де Мальтри, известный своими парадоксами, красноречием и разносторонней образованностью, всегда пополняемой последними научными достижениями, непонятный даже для самых горячих его поклонниц; он славился также своими костюмами, такими же изысканными, как и его теории. К этим выдающимся людям хозяйка дома прибавила несколько светских друзей, слывших остроумными: графа де Марантена, барона де Гравиля и двух-трех других.

Самыми привилегированными среди избранных были Масиваль и Ламарт, обладавшие, казалось, даром всегда развлекать молодую женщину, которую забавляла их артистическая непринужденность, их болтовня и умение подтрунивать над всеми и даже над нею самою, когда она позволяла. Но ее желание – то ли естественное, то ли нарочитое – не оказывать ни одному из поклонников длительного и явного предпочтения, шаловливый, непринужденный тон ее кокетства и подлинная справедливость в распределении знаков внимания поддерживали между ними дружбу, приправленную враждой, и умственное возбуждение, делавшее их привлекательными.

Иной раз кто-нибудь из них, чтобы досадить другим, представлял своего знакомого. Но так как этот знакомый обычно не бывал человеком особенно выдающимся или особенно интересным, остальные, объединившись против него, вскоре его выживали.

И вот Масиваль ввел в дом своего товарища, Андре Мариоля.

Лакей в черном фраке доложил:

– Господин Масиваль! Господин Мариоль!



Под огромным пышным облаком розового шелка – непомерно большим абажуром, который отбрасывал на старинный квадратный мраморный столик ослепительный свет лампы-маяка, укрепленной на высокой колонне из золоченой бронзы, над альбомом, только что принесенным Ламартом, склонились четыре головы: женская и три мужских. Писатель переворачивал страницы и давал пояснения.

Женщина обернулась к входившим, и Мариоль увидел ясное лицо слегка рыжеватой блондинки, с непокорными завитками на висках, пылавшими, как горящий хворост. Тонкий вздернутый нос, живая улыбка, рот с четко очерченными губами, глубокие ямочки на щеках, чуть выдающийся раздвоенный подбородок придавали этому лицу насмешливое выражение, в то время как глаза, по странному контрасту, обволакивали его грустью. Они были голубые, блекло-голубые, словно синева их выгорела, стерлась, слиняла, а посередине сверкали черные, круглые, расширенные зрачки. Этот блестящий, странный взгляд как бы свидетельствовал о грезах, навеянных морфием, если не был вызван просто-напросто кокетливым действием белладонны.

Г-жа де Бюрн, стоя, протягивала руку, здоровалась, благодарила.

– Я уже давно прошу моих друзей привести вас, – говорила она Мариолу, – но мне всегда приходится по несколько раз повторять такие просьбы, чтобы их исполнили.

Это была высокая, изящная, немного медлительная в движениях женщина; скромно декольтированное платье чуть обнажало прекрасные плечи, плечи рыжеватой блондинки, бесподобные при вечернем освещении. Между тем волосы ее были не красноватыми, а того непередаваемого оттенка, какой бывает у опавших листьев, опаленных осенью.

Потом она представила г-на Мариоля своему отцу, который поклонился и подал ему руку.

Мужчины, разбившись на три группы, непринужденно беседовали, как у себя дома, в обычном своем кругу, которому присутствие женщины придавало оттенок галантности.

Толстяк Френель беседовал с графом де Марантенем. Постоянное присутствие Френеля в этом доме и предпочтение, которое оказывала ему г-жа де Бюрн, часто возмущало и сердило ее друзей. Еще молодой, но толстый, как сосиска, надутый, сопящий, почти безбородый, с головой, осененной зыбким облачком светлых и непокорных волос, такой заурядный, скучный, он в глазах молодой женщины имел, несомненно, заслугу, неприятную для остальных, но существенную для нее, – а именно то, что любил ее без памяти, сильнее и преданнее всех. Его окрестили «тюленем». Он был женат, но никогда не заикался о том, чтобы ввести в дом г-жи де Бюрн свою жену, кото-

рая, по слухам, даже издали очень ревновала его. Особенно Ламарт и Масиваль возмущались явной симпатией их приятельницы к этой сопелке, но когда они не выдерживали и упрекали ее в дурном вкусе, эгоистичном и заурядном, она отвечала, улыбаясь:

– Я люблю его, как славного, верного песика.

Жорж де Мальтри рассказывал Гастону де Ламарту о последнем, еще не изученном открытии микробиологов.

Де Мальтри сопровождал свои рассуждения бесконечными тонкими оговорками, но романист Ламарт слушал его с тем воодушевлением, с той доверчивостью, с какою литераторы, не задумываясь, воспринимают все, что кажется им самобытным и новым.

Великосветский философ, со светлыми, как лен, волосами, высокий и стройный, был затянут во фрак, тесно облегавший его талию. Тонкое лицо его, выступавшее из белого воротничка, было бледно, а светлые плоские волосы казались наклеенными.

Что касается Ламарта, Гастона де Ламарта, которому частица «де» внушала некоторые дворянские и великосветские притязания, то это был прежде всего литератор, неумолимый и беспощадный литератор. Вооруженный зорким взглядом, который схватывал образы, положения, жесты с быстротой и точностью фотографического аппарата, и наделенный проницательностью и врожденным писательским чутьем, похожим на нюх охотничьей собаки, он с утра до ночи накапливал профессиональные наблюдения. Благодаря двум очень простым способностям – четкому восприятию внешних форм и инстинктивному постижению внутренней сущности – он придавал своим книгам оттенки, тон, видимость и остроту подлинной жизни, причем они отнюдь не обнаруживали тенденций, обычных для писателей-психологов, а казались кусками человеческой жизни, выхваченными из действительности.

Выход в свет романов Ламарта вызывал в обществе волнения, пересуды, злорадство и негодование, так как всегда казалось, что в них узнаешь известных людей, едва прикрытых прозрачной маской, а его появление в гостиных неизменно влекло за собою тревогу. К тому же он опубликовал том своих воспоминаний, где набросал портреты некоторых знакомых мужчин и женщин, хотя и без явного недоброжелательства, но с такою точностью и беспощадностью, что многие были задеты. Кто-то прозвал его «гроза друзей».

Об этом человеке с загадочной душой и замкнутым сердцем говорили, что он страстно любил когда-то женщину, причинившую ему много страданий, и что теперь он мстит другим.

Ламарт с Масивалем прекрасно понимали друг друга, хотя музыкант и был совсем другим человеком – более открытым, более увлекающимся, быть может, менее глубоким, зато более экспансивным. После двух крупных успехов – оперы, сначала исполненной в Брюсселе, а потом перенесенной в Париж, где ее восторженно встретили в Опера-Комик, и другого произведения, принятого и тотчас же поставленного в Гранд-Опера², где его высоко оценили, как предвестие прекрасного таланта, – он переживал своего рода упадок, который, как преждевременный паралич, постигает большинство современных художников. Они не стареют в лучах славы и успеха, как их отцы, а кажутся пораженными бессилием уже в самом расцвете сил. Ламарт говорил: «Теперь во Франции встречаются лишь неудавшиеся гении».

В то время Масиваль казался сильно увлеченным г-жой де Бюрн, и кружок уже поговаривал об этом; вот почему, когда он с благоговением целовал ее руку, все взоры обратились на него.

Он спросил:

– Мы опоздали?

Она ответила:

– Нет, я еще поджидаю барона де Гравиля и маркизу де Братиан.

– Ах, маркизу? Чудесно! Значит, мы займемся музыкой?

– Надеюсь.

Запоздавшие приехали. Маркиза была женщина, пожалуй, слишком полная для своего роста, итальянка по происхождению, живая, черноглазая, с черными бровями и ресницами, с черными волосами, столь густыми и обильными, что они спускались на лоб и затеняли глаза; она славилась

² Опера-Комик – парижский театр оперетты; Гранд-Опера – парижский театр оперы и балета.

среди светских женщин своим замечательным голосом.

Барон, человек с безупречными манерами, со впалой грудью и большой головой, казался вполне законченным лишь с виолончелью в руках. Страстный меломан, он посещал только те дома, где ценили музыку.

Доложили, что кушать подано, и г-жа де Бюрн, взяв под руку Андре Мариоля, пропустила перед собою гостей. Когда она осталась с Мариолем последнею в гостиной, она, прежде чем последовать за остальными, искоса взглянула на него, и ему показалось, что в этих светлых глазах с черными зрачками он улавливает какую-то более сложную мысль, более острый интерес, чем те, которыми обычно утруждают себя красивые женщины, принимая гостя за своим столом в первый раз.

Обед прошел несколько уныло и однообразно. Ламарт нервничал и держался враждебно – не открыто враждебно, ибо всегда старался быть корректным, а он заражал всех тем почти неуловимым дурным настроением, которое леденит непринужденную беседу. Масиваль, мрачный и озабоченный, мало ел и исподлобья посматривал на хозяйку дома, мысли которой, казалось, витали где-то далеко. Она была невнимательна, отвечала с улыбкой, но тут же умолкала и, видимо, думала о чем-то хотя и не особенно увлекательном, но все же более интересном для нее в этот вечер, чем ее гости. Она старалась быть как можно предупредительнее к маркизе и Мариолю, но делала это по обязанности, по привычке, была явно рассеяна и занята чем-то другим. Френель и г-н де Мальтри спорили о современной поэзии. Френель придерживался на этот счет ходячих великосветских мнений, а г-н де Мальтри разъяснял суждения самых изощренных версификаторов, непостижимые для обывателей.



За обедом Мариоль еще несколько раз встречал пытливый взгляд молодой женщины, но уже более рассеянный, менее упорный, менее сосредоточенный. Только маркиза де Братиан, граф де Марантен и барон де Гравиль болтали без умолку и успели рассказать друг другу множество новостей.

Позднее Масиваль, который становился все сумрачнее, подсел к роялю и взял несколько аккордов. Г-жа де Бюрн словно ожила и наскоро устроила небольшой концерт из своих любимых произведений.

Маркиза была в голосе и, воодушевленная присутствием Масиваля, пела с подлинным мастерством. Композитор сопровождал ее с меланхолическим видом, который он всегда прини-

мал играя. Его длинные волосы ниспадали на воротник фрака, смешиваясь с курчавой, широкой, блестящей и шелковистой бородой. Многие женщины были в него влюблены и, по слухам, преследовали его и сейчас. Г-жа де Бюрн, сидевшая около рояля, всецело погрузилась в музыку и, казалось, одновременно и любовалась музыкантом, и не видела его, так что Мариоль почувствовал легкую ревность. Он не ревновал именно ее и именно к нему, но, видя этот женский взгляд, зачарованный знаменитостью, он почувствовал себя уязвленным в своем мужском самолюбии, понимая, что женщины оценивают нас в зависимости от завоеванной нами славы. Не раз уже он втайне страдал, сталкиваясь со знаменитостями в присутствии женщин, благосклонность которых служит для многих высшею наградой за достигнутый успех.

Часов около десяти одна за другой приехали баронесса де Фремин и две еврейки из высших банковских сфер. Разговор шел об одной предстоящей свадьбе и о намечающемся разводе.

Мариоль смотрел на г-жу де Бюрн, которая сидела теперь у колонки, поддерживавшей огромную лампу.

Ее тонкий, слегка вздернутый нос, милые ямочки на щеках и подбородке придавали ей детски-шаловливый вид, несмотря на то что ей было уже под тридцать, а ее глаза, напоминавшие по блеклый цветок, были полны какой-то волнующей тайны. Кожа ее в ярком вечернем освещении принимала оттенки светлого бархата, в то время как волосы, когда она поворачивала голову, загорались рыжеватыми отблесками.

Она почувствовала мужской взгляд, устремленный на нее с другого конца гостиной, и вскоре встала и направилась к Мариолу, улыбаясь, словно в ответ на его призыв.

– Вы, должно быть, соскучились? – сказала она. – В непривычном обществе всегда немного скучно.

Он запротестовал.

Она пододвинула стул и села около него.

И они сразу же разговорились. Это произошло внезапно, как вспыхивает спичка, поднесенная к пламени. Казалось, они уже давно знали взгляды и чувства друг друга, а одинаковая природа, воспитание, одинаковые склонности, вкусы predisposed их к взаимному пониманию и предназначили им встретиться.

Быть может, тут сказалась и ловкость молодой женщины, но радость при встрече с человеком, который слушает, угадывает твои идеи, отвечает и, возражая, дает толчок к дальнейшему развитию мысли, воодушевила Мариоля. Польщенный к тому же оказанным ему приемом, покоренный ее влекущей грацией, чарами, которыми она умела окутывать мужчин, он старался обнаружить перед ней особенности своего ума, немного приглушенного, но самобытного и тонкого, привлекавшего к нему тех немногочисленных, но истинных друзей, которые его хорошо знали.

Вдруг она сказала:

– Право, сударь, с вами очень приятно беседовать. Мне, впрочем, так и говорили.

Он почувствовал, что краснеет, и дерзнул ответить:

– А меня, сударыня, предупреждали, что вы...

– Договаривайте: кокетка? Да, я всегда кокетничаю с теми, кто мне нравится. Это всем известно, и я этого отнюдь не скрываю, но вы убедитесь, что мое кокетство совершенно беспристрастно, и это дает мне возможность сохранять... или возвращать себе друзей, никогда не теряя их окончательно, и удерживать их всех около себя.

Ее затаенная мысль, казалось, говорила: «Будьте спокойны и не слишком самоуверенны; не обольщайтесь, вам ведь достанется не больше, чем другим».

Он ответил:

– Это называется откровенно предупреждать своих гостей о всех опасностях, которым они здесь подвергаются.

Она открыла ему путь для разговора о ней. Он этим воспользовался. Он начал с комплиментов и убедился, что она их любит; потом подстрекнул ее женское любопытство, рассказав о том, что говорят на ее счет в различных кругах общества, где он бывает. Она слегка встревожилась и не могла скрыть, что это ее интересует, хотя и старалась проявить полное равнодушие к тому, что могут думать о ее образе жизни и вкусах.

Он рисовал ей лестный портрет женщины независимой, умной, незаурядной и обаятельной, которая окружила себя талантами и вместе с тем осталась безукоризненно светской.

Она отклоняла его комплименты с улыбкой, потому что, в сущности, была польщена; она слегка отнекивалась, но от души забавлялась всеми подробностями, которые он сообщал, и шутя требовала все новых и новых, искусно выпытывая их с какою-то чувственной жадностью к лести.

Он думал, глядя на нее: «В сущности, это просто дитя, как и все женщины». И он закончил красивой фразой, воздав хвалу ее подлинной любви к искусству, столь редкой у женщин.

Тогда она неожиданно приняла насмешливый тон в духе той французской лукавой веселости, которая, по-видимому, является самой сущностью нашей нации.

Мариоль ее перехвалил. Она дала ему понять, что она не дурочка.

– Право же, – сказала она, – признаюсь вам, я и сама не знаю, что я люблю: искусство или художников.

Он возразил:

– Как можно любить художников, не любя самого искусства?

– Они иной раз интереснее светских людей.

– Да, но зато и недостатки их сказываются резче.

– Это правда.

– Значит, музыку вы не любите?

Она вдруг опять стала серьезной.

– О, нет. Музыку я обожаю. Я, кажется, люблю ее больше всего на свете. Тем не менее Масиваль убежден, что я в ней ровно ничего не понимаю.

– Он вам так сказал?

– Нет, он так думает.

– А откуда вы это знаете?

– О, мы, женщины если чего-нибудь и не знаем, то почти всегда догадываемся.

– Итак, Масиваль считает, что вы ничего не понимаете в музыке?

– Я в этом уверена. Я чувствую это хотя бы по тому, как он мне ее объясняет, как подчеркивает оттенки, а сам в то же время, вероятно, думает: «Все равно бесполезно; я это делаю только потому, что вы очень милы».

– А ведь он мне говорил, что во всем Париже не бывает таких прекрасных музыкальных вечеров, как у вас.

– Да, благодаря ему.

– А литературу вы не любите?

– Очень люблю и даже осмеливаюсь думать, что хорошо в ней разбираюсь, вопреки мнению Ламарта.

– Который тоже считает, что вы в ней ничего не понимаете?

– Разумеется.

– И который тоже не говорил вам об этом?

– Простите, он-то говорил. Он полагает, что некоторые женщины могут тонко и верно понимать выраженные чувства, жизненность действующих лиц, психологию вообще, но что им совершенно не дано ценить самое главное в его мастерстве: искусство. Когда он произносит слово «искусство», не остается ничего другого, как гнать его вон из дома.

Мариоль спросил, улыбаясь:

– А ваше мнение, сударыня?

Она немного подумала, потом пристально посмотрела на него, чтобы убедиться, что он действительно расположен ее выслушать и понять.

– У меня особое мнение на этот счет. Я думаю, что чувство... чувство – вы понимаете меня? – может раскрыть ум женщины для восприятия всего, что хотите; но только обычно это в нем не удерживается. Поняли меня?

– Нет, не совсем, сударыня.

– Я хочу сказать, что для того, чтобы сделать нас такими же ценителями, как мужчины, надо прежде всего обращаться к нашей женской природе, а потом уже к уму. Все то, что мужчина пред-

варительно не позаботится сделать для нас привлекательным, мало нас интересует, потому что мы все воспринимаем через чувство. Я не говорю «через любовь», нет, а вообще через чувство, которое принимает различные формы, различные оттенки, различные выражения. Чувство – это наша сфера, которая вам, мужчинам, не понятна, потому что чувство вас ослепляет, в то время как нам оно светит. О, я вижу, что для вас все это очень неясно, но что же делать! Словом, если мужчина нас любит и нам приятен, – а ведь нужно сознавать себя любимой, чтобы быть способной на такое усилие, – и если этот мужчина человек незаурядный, – он может, если постарается, заставить нас все угадать, все почувствовать, во все проникнуть, решительно во все, и в иные мгновения он может по частям передать нам все свое духовное богатство. Конечно, обычно это потом исчезает, гаснет, потому что мы ведь легко забываем, – да, забываем, как воздух забывает прозвучавшие слова! Мы наделены интуицией и прозрением, но мы изменчивы, впечатлительны и преобразуемся под влиянием окружающего. Если бы вы только знали, как часто сменяются во мне душевные состояния, как я становлюсь совершенно другой женщиной в зависимости от погоды, здоровья, прочитанной книги или увлекательного разговора! Право, иногда у меня душа примерной матери семейства, хоть и без детей, а иной раз – почти что душа кокетки... без любовников.

Он был очарован и спросил:

– И вы думаете, что почти все умные женщины способны на такую активность мысли?

– Да, – сказала она. – Только они постепенно коснеют, а окружающая среда безвозвратно увлекает их в ту или иную сторону.

Он снова спросил:

– Значит, в сущности, музыку вы предпочитаете всему?

– Да. Но то, что я вам сейчас говорила, так верно! Конечно, я не любила бы ее настолько и не наслаждалась бы ею в такой мере, если бы не этот ангел Масиваль. Во все произведения великих композиторов, которые я и без того страстно любила, он вдохнул душу, играя их для меня. Как жаль, что он женат!

Она произнесла последние слова шутливо, но с таким глубоким сожалением, что они заглушили все – и ее рассуждения о женщинах, и ее восторг перед искусством.

Масиваль действительно был женат. Еще до того, как достигнуть успеха, он заключил один из тех союзов, нередких в мире искусства, которые впоследствии приходится влечь за собою сквозь славу до самой смерти.

Впрочем, он никогда не говорил о своей жене, не вводил ее в свет, где сам постоянно бывал, и хоть у него было трое детей, об этом почти никто не знал.

Мариоль засмеялся. Решительно, это милая женщина, редкостного типа, очень красивая, полная неожиданностей! Он настойчиво, не отрываясь, вглядывался в нее, – это, видимо, ее ничуть не стесняло, – вглядывался в это серьезное и веселое лицо, чуть-чуть своенравное, с задорным носиком, с теплым оттенком кожи, осененное белокурыми волосами яркого, но мягкого тона, в это лицо, пламеневшее разгаром лета и зрелостью такой безупречной, нежной и упоительной, словно она именно в этом году, в этом месяце достигла полного расцвета. Он думал: «Не красится ли она?» – и старался уловить у корней волос более темную или более светлую полоску, но не находил ее.

Глухие шаги по ковру заставили его встрепенуться и повернуть голову. Два лакея вносили чайный столик. В большом серебряном приборе, блестящем и сложном, как химический аппарат, тихо бурлила вода, подогреваемая синим пламенем спиртовки.

– Можно предложить вам чашку чая? – спросила она.

Когда он согласился, она встала и прямой походкой, изысканной в самой своей твердости, не раскачиваясь, подошла к столику, где пар шумел во чреве этого прибора, среди цветника пирожных, печенья, засахаренных фруктов и конфет.

Теперь ее силуэт четко вырисовывался на обоях гостиной, и Мариоль обратил внимание на тонкость ее талии, изящество бедер в сочетании с широкими плечами и полной грудью, которыми он только что любовался. А так как ее светлое платье, извиваясь, раскинулось за нею и, казалось, бесконечно растягивало по ковру ее тело, у него мелькнула грубая мысль: «Вон оно что: сирена! Одни обещания!»

Теперь она обходила гостей, с чарующей грацией предлагая лакомства.

Мариоль следил за нею глазами, когда Ламарт, блуждавший с чашкою в руке, подошел к нему и спросил:

– Уйдем вместе?

– Разумеется.

– Сейчас же, хорошо? Я устал.

– Сейчас пойдем.

Они вышли.

На улице писатель спросил:

– Вы домой или в клуб?

– Зайду в клуб на часок.

– К «Барабанщикам»?

– Да.

– Я провожу вас до подъезда. На меня такие места наводят тоску; никогда там не бываю. Я состою членом, только чтобы пользоваться экипажем.

Они взялись под руку и пошли по направлению к церкви Сент-Огюстен.

Пройдя несколько шагов, Мариоль спросил:

– Какая странная женщина! Какого вы о ней мнения?

Ламарт громко рассмеялся.

– Это уже начинается кризис, – сказал он. – Вы пройдете через него, как и все мы; теперь я излечился, но и я переболел в свое время. Друг мой! Кризис выражается в том, что, собравшись вместе или встретившись где бы то ни было, ее друзья говорят только о ней.

– Что касается меня, то я говорю о ней в первый раз, и это вполне естественно, раз я еле знаком с нею.

– Пусть так. Поговорим о ней. Знайте же: вы влюбитесь в нее. Это неизбежно; через это проходят все.

– Значит, она так обворожительна?

– И да и нет. Те, кому нравятся женщины былых времен, женщины душевные, сердечные, чувствительные, женщины из старинных романов, – те не любят и даже ненавидят ее до такой степени, что начинают говорить о ней всякие гадости. Ну а мы, ценящие обаяние современности, мы вынуждены признать, что она восхитительна, – пока не привяжешься к ней. А вот все как раз и привязываются. Впрочем, от этого не умирают, да и страдают не очень; зато бешутся, что она такая, а не иная. Если она захочет – и вы это испытаете. Да она уже расставила вам сети.

Мариоль воскликнул, выражая свою затаенную мысль:

– Ну, я для нее – первый встречный. Мне кажется, она ценит прежде всего титулы и отличия.

– Да, это она любит! Что и говорить! Но в то же время ей на них наплевать. Самый знаменитый, самый модный и даже самый выдающийся человек и десяти раз не побывает у нее, если он ей не нравится; зато она нелепейшим образом привязана к этому болвану Френелю и противному де Мальтри. Она почему-то нянчится с беспардонными идиотами, – может быть, оттого, что они забавляют ее больше, чем мы, а быть может, и потому, что они, в сущности, сильнее ее любят: ведь женщины к этому чувствительнее, чем ко всему остальному.

И Ламарт стал говорить о ней, анализируя, рассуждая, начинал сызнава, чтобы опровергнуть самого себя, и на вопросы Мариоля отвечал с искренним жаром, как человек заинтересованный, увлеченный темой, но и немного сбитый с толку, и высказал много удачных наблюдений и ложных выводов.



Он говорил: «Но ведь она не единственная; в наше время похожих на нее женщин найдется полсотни, если не больше. Да вот хотя бы тоненькая Фремин, которая сейчас приехала к ней, — совершенно такая же, но более смелая в повадках; она замужем за странным субъектом, и это делает ее дом любопытнейшим домом сумасшедших во всем Париже. Я и в этой кунсткамере часто бываю».

Они, не замечая, прошли бульвар Мальзерб, улицу Руаяль, аллею Елисейских Полей и уже подходили к Триумфальной арке, когда Ламарт вдруг вынул часы.

— Друг мой, — сказал он, — вот уже час десять минут, как мы говорим о ней; хватит на сегодня! В клуб я вас провожу в другой раз. Идите-ка спать, и я тоже.

II

Это была просторная, светлая комната, потолок и стены которой были обтянуты чудесной персидской тканью, привезенной знакомым дипломатом. Фон был желтый, словно ее окунули в золотистые сливки, а рисунки — разных оттенков, среди которых выделялась персидская зелень; они изображали причудливые, с загнутыми крышами, домики, вокруг которых рыскали диковинные львы в париках, бродили антилопы, украшенные чудовищными рогами, и летали птички, словно выпорхнувшие из рая.

Мебели было немного. На трех продолговатых столах с зелеными мраморными досками находилось все необходимое для дамского туалета. На среднем — большие тазы из толстого хрусталя. Второй был занят целой батареей флаконов, шкатулок и ваз всевозможных размеров, с серебряными крышками, украшенными вензелями. На третьем были разложены бесчисленные приборы и инструменты, созданные к услугам современного кокетства и предназначенные для сложных, таинственных и деликатных целей. В комнате стояло всего лишь две кушетки и несколько низеньких табуреток, обитых мягкой стеганой материей, для отдыха уставшего обнаженного тела. Дальше целую стену занимало огромное трюмо, раскинувшееся, как светлый горизонт. Оно состояло из трех створок, причем боковые, подвижные, позволяли молодой женщине видеть себя одновременно и прямо, и сбоку, и со спины, замыкаясь в собственном своем изображении. Справа, в нише, обычно затянутой драпировкой, помещалась ванна, или, вернее, глубокий водоем, тоже из зеленого мрамора, к которому спускались две ступеньки. Бронзовый Амур, сидящий на краю ванны, — изящная статуэтка работы Предолэ — лил в нее холодную и горячую воду из двух раковин, которыми он играл. В глубине этого убежища поднималось венецианское зеркало из наклонно поставленных стекол с гранеными краями; образуя круглый свод, оно защищало, укрывало и отражало в каждой своей частице и водоем и купальщицу.

Немного дальше стоял письменный стол превосходной, но простой современной английской

работы, усеянный разбросанными бумажками, сложенными письмами, разорванными конвертами с блестящими золотыми вензелями. Здесь она писала и вообще проводила время, когда бывала одна.

Растянувшись на кушетке, в китайском кашемировом капоте, г-жа де Бюрн отдыхала после ванны; ее обнаженные руки, прекрасные, гибкие и упругие, смело выступали из глубоких складок материи, а подобранные кверху и туго скрученные рыжеватые волосы лежали на голове тяжелой массой.

В дверь постучалась горничная и, войдя, подала письмо.

Г-жа де Бюрн взяла его, посмотрела на почерк, распечатала, прочла первые строки и спокойно сказала камеристке: «Я позвоню вам через час».

Оставшись одна, она радостно и победоносно улыбнулась. Первых слов было достаточно, чтобы понять, что это — долгожданное признание в любви Мариоля. Он сопротивлялся гораздо дольше, чем она могла предполагать, потому что вот уже три месяца, как она его обольщала, пустив в ход все свое обаяние, всю свою чарующую прелесть и оказывая ему знаки внимания, каких еще не расточала ни перед кем. Он казался недоверчивым, предубежденным, настороженным против нее, против постоянно расставленных сетей ее ненасытного кокетства. Потребовалось немало душевных бесед, в которые она вкладывала все свое внешнее очарование, всю покоряющую силу своего ума, и немало музыкальных вечеров, когда возле еще звучащего рояля, возле страниц партитуры, полных певучей души композитора, они содрогались от одних и тех же чувств, — чтобы она наконец заметила во взгляде этого покоренного человека униженную мольбу изнемогающей любви. Она-то, кокетка, хорошо разбиралась в этом! Она так часто с кошачьей ловкостью и неутомимым любопытством вызывала в мужчинах, которых ей удавалось пленить, этот сокровенный и жестокий недуг! Она радовалась, видя, как постепенно заполоняет их, как покоряет, властвует над ними, благодаря непреодолимому женскому могуществу, как становится для них Единственной, становится своенравным и властным Кумиром. Инстинкт войны и завоеваний развился в ней постепенно, как развиваются скрытые инстинкты. Быть может, еще в годы замужества в ее сердце зародилась потребность возмездия, смутная потребность отплатить мужчинам за то, что она вытерпела от одного из них, одержать верх, сломить их волю, сокрушить их сопротивление и, в свою очередь, причинить боль. А главное, она была рождена кокеткой, и, едва почувствовав себя свободной, она стала преследовать и укрощать поклонников, как охотник преследует дичь, — просто ради удовольствия видеть их поверженными. Но сердце ее не жаждало волнений, как сердца нежных и чувствительных женщин; она не искала ни всепоглощающей страсти одного мужчины, ни счастья взаимной любви. Ей только нужно было видеть вокруг себя всеобщий восторг, внимание, преклонение, фимиам нежности. Всякий, кто становился ее постоянным гостем, должен был стать также и рабом ее красоты, и никакой духовный интерес не был в состоянии надолго привлечь ее к тем, кто противился ее кокетству, пренебрегал любовью вообще или любил другую. Чтобы стать ее другом, надо было влюбиться в нее; зато к влюбленным она проявляла необычайную предупредительность, чарующее внимание, бесконечную ласковость, чтобы сохранить возле себя тех, кого она покорила. Тот, кто однажды был зачислен в свиту ее поклонников, принадлежал ей как бы по праву войны. Она управляла ими с мудрым умением, сообразно с их недостатками, достоинствами и с характером их ревности. Тех, кто предъявлял чрезмерные требования, она изгоняла, когда находила нужным, а после того, как они смирились, вновь допускала их, поставив им суровые условия, и, как избалованная девочка, настолько тешилась этой игрой обольщения, что ей казалось одинаково упоительным и сводить с ума стариков, и кружить головы юношам.

Можно было бы даже сказать, что она сообразовала свое расположение с внушенной ею любовью; и толстяк Френель, бесполезный и неповоротливый статист, был одним из ее любимцев только потому, что она знала и чувствовала, какую неистовую страстью он одержим.

Она не была вполне равнодушна к мужскому обаянию; но она испытала лишь зачатки увлечений, известные ей одной и пресеченные в тот момент, когда они могли бы стать опасными.



Каждый новичок привносил своим любовным славословием новую нотку, а также неведомую сущность своей души – особенно люди искусства, в которых она чуяла более яркие и тонкие оттенки, изысканность и изощренность чувств, периодически пробуждавшие в ней мечту о великих страстях и продолжительных связях. Но, находясь всегда во власти страха и осторожности, нерешительная, колеблющаяся, недоверчивая, она всегда сдерживала себя, пока наконец поклонник переставал ее волновать. Кроме того, она, как дочь своего времени, была наделена тем скептическим взглядом, который быстро свлекает ореол даже с самых великих людей. Как только они влюблялись в нее и в сердечном смятении утрачивали свои торжественные манеры и величественные привычки, они начинали казаться ей все одинаковыми – жалкими созданиями, над которыми она властвует силою своего обаяния.

Словом, чтобы такая совершенная женщина, как она, могла полюбить мужчину, он должен был бы обладать неслыханными достоинствами.

А между тем она очень скучала. Она не любила светского общества, в котором бывала, лишь подчиняясь предрассудку, и где терпеливо просиживала долгие вечера, подавляя зевоту и сонливость; она забавлялась там только изощренной болтовней, своими задорными причудами, своим переменчивым любопытством к тем или иным вещам и людям, она увлекалась тем, чем любовалась и что ценила, лишь настолько, чтобы не слишком скоро почувствовать к этому отвращение, но не до такой степени, чтобы найти истинную радость в привязанности или в прихоти; терзаемая нервами, а не желаниями, чуждая волнений, обуревающих простые и пылкие души, – она жила в веселой суете, без наивной веры в счастье, ища только развлечений и уже изнемогая от усталости, хотя и считала себя удовлетворенной.

Она считала себя удовлетворенной потому, что находила себя самой обольстительной и щедро одаренной женщиной. Гордая своим обаянием, могущество которого она часто испытывала на окружающих, влюбленная в свою своеобразную, причудливую и пленительную красоту, уверенная в тонкости своего восприятия, позволяющего ей предугадывать и понимать множество вещей, которых не видят другие, гордясь своим умом, высоко ценимым столькими выдающимися людьми, и не сознавая ограниченности своего кругозора, она считала себя существом, ни с чем не сравнимым, редкостной жемчужиной в этом пошлом мире, который казался ей пустым и однообразным, потому что она была для него слишком хороша.

Никогда в ней не возникало даже подозрения, что она сама – неосознанная причина постоянной скуки, которая томит ее; она винила в этом окружающих и возлагала на них ответственность за свою меланхолию. Если им не удавалось забавлять ее, веселить, а тем более восхищать –

так только потому, что им не хватало привлекательности и подлинных достоинств. «Все убийственно скучны, – говорила она смеясь. – Терпимы только те, которые мне нравятся, и только потому, что они мне нравятся».

А нравились ей преимущественно те, которые находили ее несравненной. Прекрасно зная, что успех не дается без труда, она прилагала все старания, чтобы обольщать, и не знала ничего приятнее, как наслаждаться данью восторженного взгляда и умиленного сердца – этого неистового мускула, который приходит в трепет от одного слова.

Она очень удивлялась, что ей так трудно покорить Андре Мариоля, потому что с первого же дня ясно почувствовала, что нравится ему. Потом мало-помалу она разгадала его недоверчивую природу, втайне уязвленную, очень глубокую и сосредоточенную, и, играя на его слабостях, стала оказывать ему столько внимания, такое предпочтение и искреннюю симпатию, что он в конце концов сдался.

Особенно за последний месяц она стала чувствовать, что он смущается в ее присутствии, что он покорен, молчалив и лихорадочно возбужден. Но он все еще удерживался от признания. Ах, признания! В сущности, она не очень-то любила их, потому что, если они бывали чересчур пылки, чересчур красноречивы, ей приходилось проявлять жестокость. Два раза она даже была вынуждена рассердиться и отказать от дома. Но она обожала робкие проявления любви, полупризнания, скромные намеки, тайное преклонение; и она в самом деле проявляла исключительный такт и ловкость, добиваясь от своих поклонников такой сдержанности.

Вот уж месяц, как она ждала и подстерегала на губах Мариоля слова, в которых изливается томящееся сердце, – ясные или только намекающие, в зависимости от характера человека.

Он не сказал ни слова, зато он пишет ей. Письмо было длинное, целых четыре страницы! Она держала его в руках, охваченная радостным трепетом. Она растянулась на кушетке, скинула на ковер туфельки, чтобы устроиться поудобнее, и стала читать. Она была удивлена. Он в серьезных выражениях говорил ей, что не хочет из-за нее страдать и что уже достаточно хорошо знает ее и не хочет быть ее жертвой. В очень учтивых фразах, преисполненных комплиментов, в которых всюду прорывалась сдерживаемая страсть, он признавался, что ему известна ее манера вести себя с мужчинами, что он тоже пленен, но решил сбросить с себя грозящее ему иго, уйти от нее. Он просто-напросто возвращается к своей прежней скитальческой жизни, он уезжает.

Это было прощание, красноречивое и решительное.

Она была искренне удивлена, читая, перечитывая, вновь возвращаясь к этим четырем страницам такой нежно-взволнованной и страстной прозы. Она встала, надела туфли, стала ходить по комнате, закинув назад рукава и обнажив до плеча руки, которые прятала в кармашки халата, комкая письмо.

Она думала, ошеломленная таким непредвиденным признанием: «А человек этот пишет превосходно: искренне, взволнованно, трогательно. Он пишет лучше Ламарта: его письмо не отзывается романом».

Ей захотелось курить, она подошла к столику с духами и взяла папироску из саксонской фарфоровой табакерки. Закурив, она направилась к зеркалу и увидела в трех различно направленных створках трех приближающихся молодых женщин. Подойдя совсем близко, она остановилась, слегка поклонилась себе, слегка улыбнулась, слегка, по-дружески, кивнула головой, как бы говоря: «Прелестна! Прелестна!» Она всмотрелась в свои глаза, полюбовалась зубами, подняла руки, положила их на бедра и повернулась в профиль, слегка склонив голову, чтобы как следует разглядеть себя во всех трех зеркалах.

И она замерла во влюбленном созерцании, стоя лицом к лицу с самой собою, окруженная тройным отражением своего тела, которое она находила очаровательным; она восторгалась собою, была охвачена себялюбивым и плотским удовольствием от своей красоты и смаковала ее с радостью, почти столь же чувственной, как у мужчин.

Так любовалась она собою каждый день, и ее камеристка, часто заставлявшая ее перед зеркалом, говорила не без ехидства: «Барыня так глядится в зеркала, что скоро их насквозь проглядит».

Но в этой любви к самой себе и заключался секрет ее обаяния и ее власти над мужчинами. Она так любовалась собою, так холила изящество своего облика и прелесть всей своей особы, вы-

искивая и находя все, что могло еще больше подчеркнуть их, так подбирала неуловимые оттенки, делавшие ее чары еще неотразимее, а глаза – еще необыкновеннее, и так искусно прибегала ко всем уловкам, украшавшим ее в ее собственном мнении, что исподволь находила все то, что могло особенно понравиться окружающим.

Будь она еще прекраснее, но более равнодушна к своей красоте, она не обладала бы той оболстительностью, которая внушала к ней любовь почти всем, кому не был чужд от природы самый характер ее очарования.

Вскоре, немного устав стоять, она сказала своему изображению, все еще улыбавшемуся ей (и изображение в тройном зеркале зашевелило губами, повторяя ее слова): «Мы еще посмотрим, сударь». Потом, пройдя через комнату, она села за письменный стол.

Вот что она написала:

«Дорогой г. Мариоль, зайдите поговорить со мною завтра, часа в четыре. Я буду одна, и, надеюсь, мне удастся успокоить Вас относительно той мнимой опасности, которая Вас страшит.

Я Вам друг и докажу Вам это.

Мишель де Бюрн».

Как скромно она оделась на другой день, чтобы принять Андре Мариоля! Простое серое платье – светло-серое, чуть лиловатое, меланхоличное, как сумерки; и совсем гладкое, с воротником, облегающим шею, с рукавами, облегающими руки, с корсажем, облегающим грудь и талию, и юбкой, облегающей бедра и ноги.

Когда он вошел с несколько торжественным выражением лица, она направилась ему навстречу, протянув обе руки. Он поцеловал их, и они сели; несколько мгновений она молчала, желая удостовериться в его смущении.

Он не знал, с чего начать, и ждал, чтобы она заговорила.

Наконец она решилась.

– Ну, что ж! Приступим прямо к главному вопросу. Что случилось? Вы мне написали, знаете ли, довольно дерзкое письмо.



Он ответил:

– Знаю и приношу вам свои извинения. Я бываю и всегда был со всеми чрезвычайно, до грубости откровенен. Я мог бы удалиться без тех неуместных и оскорбительных объяснений, с кото-

рыми я к вам обратился. Но я счел более честным поступить сообразно со своим характером и положить на ваш ум, хорошо мне известный.

Она возразила с состраданием, но втайне довольная:

– Пойдите, пойдите! Что это за безумие?...

Он перебил ее:

– Лучше об этом не говорить.

Тут она с живостью прервала его, не давая ему продолжать:

– А я пригласила вас именно для того, чтобы поговорить об этом. И мы будем говорить до тех пор, пока вы вполне не убедитесь, что вам не грозит решительно никакой опасности.

Она засмеялась, как школьница, и ее скромное платье придавало этому смеху что-то ребяческое.

Он прошептал:

– Я вам написал правду, истинную правду, страшную правду, которая пугает меня.

Она опять стала серьезной и ответила:

– Пусть так; мне это знакомо. Через это проходят все мои друзья. Вы написали мне также, что я отчаянная кокетка; признаю это, но от этого никто не умирает, никто даже, кажется, особенно не страдает. Случается то, что Ламарт называет «кризисом». Вы как раз и находитесь в состоянии кризиса, но это проходит, и тогда впадают... как бы это сказать... в хроническую влюбленность, которая уже не причиняет страданий и которую я поддерживаю на медленном огне у всех моих друзей, чтобы они были мне как можно преданнее, покорнее, вернее. Ну, что? Согласитесь, что я тоже искренна, и откровенна, и резка. Много ли вы встречали женщин, которые осмелились бы сказать то, что я вам сейчас говорю?

У нее был такой забавный и решительный вид, такой простодушный и в то же время задорный, что и он не мог не улыбнуться.

– Все ваши друзья, – сказал он, – люди, уже не раз горевшие в этом огне, прежде чем их воспламенили вы. Они уже пылали и обгорели, им легче переносить жар, в котором вы их держите. Я же, сударыня, еще никогда не испытал этого. И с некоторых пор я предвижу, что если я отдамся чувству, которое растет в моем сердце, это будет ужасно.

Она вдруг стала непринужденно простой и, немного склонясь к нему, сложив на коленях руки, сказала:

– Слушайте, я не шучу. Мне грустно терять друга из-за страха, который кажется мне призрачным. Вы полюбите меня – пусть так. Но нынешние мужчины не любят современных женщин до такой степени, чтобы действительно страдать из-за них. Поверьте мне, я знаю и тех и других.

Она замолчала, потом добавила со странной улыбкой, как женщина, которая говорит правду, воображая, что лжет:

– Полноте, во мне нет того, за что можно было бы влюбиться в меня без ума. Я слишком современна. Поверьте мне, я буду вам другом, хорошим другом, к которому вы по-настоящему привяжетесь, но и только, – уж я об этом позабочусь.

И она прибавила более серьезно:

– Во всяком случае, предупреждаю вас, что сама я неспособна по-настоящему увлечься никем, что я буду относиться к вам так же, как ко всем остальным, как к тем, к кому я отношусь хорошо, но не больше того. Я не выношу деспотов и ревнивцев. От мужа я вынуждена была все переносить, но от друга, просто от друга, я не желаю терпеть никакой любовной тирании, отравляющей сердечные отношения. Видите, как я мила с вами, я говорю по-товарищески, ничего не скрывая. Согласны вы на честный опыт, который я вам предлагаю? Если из этого ничего не выйдет, вы всегда успеете удалиться, как бы серьезен ни был ваш недуг. А с глаз долой – из сердца вон.

Он смотрел на нее, уже побежденный звуком ее голоса, ее жестами, всей опьяняющей прелестью ее существа, и прошептал, совсем покоренный и трепещущий от ее близости:

– Я согласен, сударыня. И если мне будет тяжело, тем хуже для меня. Вы стойте того, чтобы ради вас страдали.

Она прервала его.

– А теперь не будем больше говорить об этом, – сказала она. – Не будем никогда.

И она перевела разговор на темы, уже не волновавшие его.

Через час он вышел от нее, терзаясь – потому что любил ее, и радуясь – потому что она просила его, а он ей обещал не уезжать.

III

Он терзался, потому что любил ее. В отличие от заурядных влюбленных, которым женщина, избранница их сердца, предстает в ореоле совершенств, он увлекся ею, взирая на нее трезвым взглядом недоверчивого и подозрительного мужчины, ни разу в жизни не плененного до конца. Его тревожный, проницательный и медлительный ум, всегда настороженный, предохранял его от страстей. Несколько увлечений, два недолгих романа, зачахнувших от скуки, да оплаченные связи, прерванные от отвращения, – вот вся история его сердца. Он смотрел на женщин как на вещь, необходимую для тех, кто желает обзавестись уютным домом и детьми, или как на предмет, относительно приятный для тех, кто ищет любовных развлечений.



Когда он познакомился с г-жой де Бюрн, он был предубежден против нее признаниями ее друзей. То, что он знал о ней, интересовало его, интриговало, нравилось ему, но было ему немного противно. В принципе ему были непонятны такие никогда не расплачивающиеся игроки. После первых встреч он стал соглашаться, что она действительно очень своеобразна и наделена особым, заразительным обаянием. Природная и умело подчеркнутая красота этой стройной, изящной белокурой женщины, казавшейся одновременно и полной и хрупкой, с прекрасными руками, созданными для объятий и ласк, с длинными и тонкими ногами, созданными для бега, как ноги газели, с такими маленькими ступнями, что они не должны бы оставлять и следов, казалась ему символом тщетных упований. Кроме того, в беседах с нею он находил удовольствие, которое раньше считал невозможным в светском разговоре. Одаренная умом, полным непосредственной, неожиданной и насмешливой живости и ласковой иронии, она порою поддавалась, однако, воздействию чувства, мысли или образа, словно в глубине ее игривой веселости еще витала тень поэтической нежности наших прабабушек. И это делало ее восхитительной.

Она оказывала ему знаки внимания, желая покорить его, как и других; и он бывал у нее так часто, как только мог: возраставшая потребность видеть ее влекла его к ней все больше и больше. Им словно завладела какая-то сила, исходящая от нее, сила обаяния, взгляда, улыбки, голоса, сила неотразимая, хоть он и уходил от нее часто раздраженный каким-нибудь ее поступком или словом.

Чем больше он чувствовал себя захваченным теми непостижимыми флюидами, которыми заполняет и покоряет нас женщина, тем глубже он разгадывал, понимал ее сущность и мучился, так как горячо желал, чтобы она была иною.

Но то, что он осуждал в ней, обворожило и покорило его, вопреки его воле, наперекор разуму, пожалуй, даже больше, чем истинные ее достоинства.

Ее кокетство, которым она откровенно играла, словно веером, раскрывая или складывая его

на виду у всех, смотря по тому, кто ее собеседник и нравится ли он ей; ее манера ничего не принимать всерьез, которая сначала забавляла его, а теперь пугала; ее постоянная жажда развлечений, новизны, всегда неутолимая в ее усталом сердце, – все это иной раз приводило его в такое отчаяние, что, возвратясь домой, он принимал решение бывать у нее реже, а потом и вовсе прекратить посещения.

На другой день он уже искал повода пойти к ней. И по мере того, как он все больше и больше увлекался, он все острее сознавал безнадежность этой любви и неизбежность предстоящих страданий.

О, он не был слеп; он погружался в это чувство, как человек, который тонет от усталости, – лодка его пошла ко дну, а берег слишком далеко. Он знал ее настолько, насколько можно было ее знать, потому что ясновидение, сопутствующее страсти, обострило его проницательность, и он уже не мог не думать о ней беспрестанно. С неутомимым упорством он старался разобраться в ней, осветить темные глубины этой женской души, это непостижимое сочетание игривого ума и разочарованности, рассудительности и ребячества, внешней задушевности и непостоянства – все эти противоречивые свойства, собранные воедино и согласованные, чтобы получилось существо редкостное, обольстительное и сбивающее с толку.

Но почему она так обольщает его? Он без конца задавал себе этот вопрос и все же не мог понять, так как его, наделенного рассудительной, наблюдательной и гордо-сдержанной натурой, должны были бы привлекать в женщине старинные, спокойные качества: нежность, привязанность, постоянство, которые служат залогом счастья мужчины.

В этой же он находил нечто неожиданное, какую-то новизну, волнующую своею необычностью, одно из тех существ, которые кладут начало новым поколениям, отличаются от всего известного ранее и излучают, даже в силу своих несовершенств, страшное обаяние, таящее в себе угрозу.

Страстных, романтических мечтательниц Реставрации³ сменили жизнерадостные женщины Второй империи⁴, убежденные в реальности наслаждения, а теперь появляется новая разновидность вечно женственного: утонченное создание, с изменчивой чувствительностью, с тревожной, нерешительной, мятущейся душой, испробовавшее как будто уже все наркотики, успокаивающие или раздражающие нервы – и дурманный хлороформ, и эфир, и морфий, которые возбуждают грезы, заглушают чувства и усыпляют волнение.

Он наслаждался в ней прелестью тепличного создания, предназначенного и приученного чаровать. Это был редкостный предмет роскоши, притягательный, восхитительный и хрупкий, на котором задерживается взор, возле которого бьется сердце и возбуждаются желания, подобно тому, как возбуждается аппетит при виде тонких яств, отделенных от нас витриной, но приготовленных и выставленных напоказ именно для того, чтобы вызвать в нас чувство голода.

Когда он вполне убедился в том, что катится по наклонной плоскости в бездну, он с ужасом стал размышлять об опасностях своего увлечения. Что станет с ним? Как поступит она? Она, конечно, обойдется с ним так же, как, по-видимому, обходилась со всеми: доведет его до того состояния, когда следуешь всем прихотям женщины, как собака следует по пятам хозяина, а потом определит ему место в своей коллекции более или менее знаменитых друзей. Но правда ли, что она поступала так со всеми остальными? Неужели нет среди них ни одного, ни единого, которого бы она любила, действительно любила бы – месяц, день, час, – в одном из тех быстро подавляемых порывов, которым отдавалось ее сердце?

Он без конца говорил о ней с другими после ее обедов, где все они воспалялись от общения с нею. Он чувствовал, что все они взволнованы, недовольны, измучены, как люди, не получившие подлинного удовлетворения.

Нет, она не любила ни одного из этих героев, вызывающих любопытство толпы; но он, бывший ничем по сравнению с ними, он, чье имя, произнесенное на улице или в гостиной, не застав-

³ Реставрация – период истории Франции с 1814 по 1830 год.

⁴ Вторая империя. – Здесь имеется в виду период Второй империи (1852–1870).

ляло никого оборачиваться и не привлекало к нему ничьих взглядов, — чем станет он для нее? Ничем, ничем; статистом, знакомым, тем, кто для таких избалованных женщин становится заурядным гостем, полезным, но лишенным привлекательности, как вино без букета, вино, разбавленное водой.

Будь он знаменитостью, он еще согласился бы на такую роль, потому что его слава сделала бы ее менее унижительной. Но он не пользовался известностью, а потому не соглашался на это. И он написал ей прощальное письмо.

Получив несколько слов в ответ, он был взволнован, словно его посетило счастье, а когда она взяла с него обещание, что он не уедет, он ликовал, точно избавился от какой-то беды.

Прошло несколько дней, ничего не изменивших в их отношениях; но когда миновало успокоение, следующее за кризисом, он почувствовал, как желание растет и сжигает его. Он решил никогда ей больше ни о чем не говорить, но он не давал обещания не писать ей. И вот как-то вечером, когда он не мог сомкнуть глаз, когда ее образ владел им в его мятежной бессоннице, вызванной любовным волнением, он почти против воли сел за стол и стал на листке бумаги изливать свои чувства. Это было не письмо, это были заметки, фразы, мысли, страдальческие содрогания, превращавшиеся в слова.

Это его успокоило: ему казалось, что он немного избавился от своей тоски; он лег и мог наконец уснуть.

На другое утро, едва проснувшись, он перечел эти несколько страниц, нашел, что они полны трепета, вложил их в конверт и надписал адрес, но отправил письмо на почту только поздно вечером, чтобы она получила его при пробуждении.

Он был уверен, что эти листки не возмутят ее. К письму, в котором искренне говорится о любви, даже самые целомудренные женщины относятся с безграничной снисходительностью. И письма эти, написанные человеком, у которого дрожат руки, а взгляд опьянен и околдован одним-единственным видением, имеют непреодолимую власть над сердцами.

Вечером он отправился к ней, чтобы узнать, как она его примет и что ему скажет. Он застал у нее г-на де Прадона, который курил, беседуя с дочерью. Он часто проводил так возле нее целые часы, обращаясь с ней скорее как с обаятельной женщиной, чем как с дочерью. Она придавала их отношениям и чувствам оттенок того любовного преклонения, которое питала к самой себе и которого требовала от всех.

Когда она увидела входящего Мариоля, на лице ее блеснуло удовольствие; она с живостью протянула ему руку; ее улыбка говорила: «Я рада вам».

Мариоль надеялся, что отец скоро уйдет. Но г-н де Прадон не уходил. Он хорошо знал свою дочь и давно уже не сомневался в ней, считая ее лишенной сексуальности, но все-таки следил за нею с настороженным, тревожным, почти супружеским вниманием. Ему хотелось знать, какие шансы на длительный успех имеет этот новый друг, знать, что он собою представляет, чего он стоит. Окажется ли он просто прохожим, как столько других, или станет членом привычного кружка?

Итак, он расположился надолго, и Мариоль тотчас же понял, что удалить его не удастся. Он примирился с этим и даже решил попытаться обворожить его, считая, что благосклонность или хотя бы безразличие все-таки лучше, чем неприязнь. Он изощрялся в остроумии, был весел, развлекал, ничем не выдавая своей влюбленности.

Она была довольна и подумала: «Он неглуп и прекрасно разыгрывает комедию». А г-н де Прадон рассуждал: «Вот милый человек! Ему моя дочь, по-видимому, не вскружила голову, как прочим дуракам».

Когда Мариоль счел уместным откланяться, он оставил их обоих очарованными.

Зато сам он выходил из ее дома с отчаянием в душе. Возле этой женщины он уже страдал от плена, в котором она держала его, и сознавал, что будет стучаться в это сердце так же тщетно, как заключенный стучится в железную дверь темницы.

Она завладела им — это было ему ясно, и он не пытался освободиться. Тогда, не будучи в силах избежать рока, он решил быть хитрым, терпеливым, стойким, скрытным, ловко завоевать ее преклонением, которого она так жаждет, обожанием, которое ее пьянит, добровольным рабством,

которое он примет.

Его письмо понравилось. Он решил писать. Он писал. Почти каждую ночь, возвратясь домой в тот час, когда ум, возбужденный дневными волнениями, превращает в своего рода галлюцинации все, что его занимает или волнует, он садился за стол, у лампы, и предавался восторгам, думая о ней. Зачатки поэзии, которым столько вялых людей по лености дают заглухнуть в своей душе, росли от этого увлечения. Он говорил все об одних и тех же вещах, все об одном и том же – о своей любви – в формах, которые обновлялись потому, что ежедневно обновлялось его желание, и распалял свою страсть, трудясь над ее литературным выражением. Целыми днями он подыскивал и находил неотразимо убедительные слова, которые чрезмерное возбуждение высекает из ума подобно искрам. Этим он сам раздувал пламя своего сердца и превращал его в пожар, потому что подлинно страстные любовные письма часто опаснее для тех, кто пишет, чем для тех, кто их получает.

Он так долго поддерживал в себе это возбужденное состояние, так распалял кровь словами и так насыщал душу одной-единственной мыслью, что постепенно утратил реальное представление об этой женщине. Перестав воспринимать ее такою, какой она представлялась ему вначале, он видел ее теперь лишь сквозь лиризм своих фраз; и все, что бы ни писал он ей каждую ночь, становилось для него истиной. Эта ежедневная идеализация делала ее приблизительно такою, какой ему хотелось бы ее видеть. К тому же прежняя его предубежденность исчезла благодаря явному расположению, которое выказывала к нему г-жа де Бюрн. В настоящее время, хоть они ни в чем и не признались друг другу, она, несомненно, предпочитала его всем другим и открыто давала ему это понять. Поэтому он с какою-то безрассудной надеждой думал, что, быть может, она в конце концов и полюбит его.

И действительно, она с простодушной и неодолимой радостью поддавалась обаянию этих писем. Никогда никто не боготворил и не любил ее так, с такой молчаливой страстью. Никогда никому не приходила в голову очаровательная мысль посылать ей ежедневно к пробуждению этот завтрак любовных чувств в бумажном конверте, который горничная по утрам подавала ей на серебряном подносе. А самым ценным было то, что он никогда не говорил об этом, что он, казалось, сам этого не знал и в ее гостиной всегда был самым скромным из ее друзей, что он ни единым словом не намекал на этот поток нежностей, который втайне изливал на нее.

Конечно, она и раньше получала любовные письма, но в другом тоне, менее сдержанные, скорее похожие на требования. В продолжение целых трех месяцев – трех месяцев своего «кризиса» – Ламарт посвящал ей изящные письма, письма сильно увлеченного романиста, облекающего свои изысканные чувства в литературную форму. Она хранила в секретере, в особом ящике, эти тонкие и обворожительные послания к женщине, написанные искренне взволнованным стилистом, который баловал ее письмами до тех пор, пока не утратил надежду на успех.

Письма же Мариоля были совсем другие; они отличались такой силой и сосредоточенностью желания, такой непогрешимой искренностью выражений, таким полным подчинением, такой преданностью, сулящей быть долговечной, что она их получала, распечатывала и наслаждалась ими с радостью, какой не доставлял ей ни один другой почерк.

Это усиливало расположение, которое она чувствовала к нему, и она тем охотнее приглашала его к себе, что он держался безупречно скромно и, беседуя с нею, сам, казалось, не знал, что когда-либо писал ей о своей любви. К тому же случай казался ей незаурядным, достойным послужить сюжетом для романа, и она находила в глубоком удовлетворении от близости этого человека, так любившего ее, какое-то властное начало симпатии, заставлявшее ее подходить к нему с особой меркой.

До сих пор, несмотря на тщеславие кокетства, она чувствовала во всех плененных ею сердцах посторонние заботы; она царила в них не одна: она обнаруживала, видела в них властные интересы, не связанные с нею. Ревнуя Масиваля к музыке, Ламарта к литературе, а других еще к чему-нибудь, она была недовольна таким полууспехом, но бессильна изгнать все чуждое из сердец этих тщеславных мужчин, знаменитостей или людей искусства: ведь их профессия для них – любовница, с которой никто и ничто не может их разлучить. И вот она впервые встретила человека, для которого она была всем! По крайней мере, он клялся ей в этом. Один только толстяк Френель

любил ее, вероятно, не меньше. Но то был толстяк Френель. Она чувствовала, что еще никогда никто не был настолько одержим ею; и ее эгоистическая признательность тому, кто доставил ей этот триумф, принимала видимость нежности. Теперь он был ей нужен, нужно было его присутствие, его взгляд, его покорность, нужна была эта прирученная любовь. Он менее других льстил ее тщеславию, зато больше льстил тем властным требованиям, которые управляют душою и телом кокеток: ее гордости и инстинкту господства, хищному инстинкту бесстрастной самки.

Подобно тому, как покоряют страны, она завладела его жизнью постепенно, последовательными мелкими набегам, учащавшимися со дня на день. Она устраивала приемы, выезды в театр, обеды в ресторанах, чтобы он участвовал в них; она влекла его за собою с жестокой радостью завоевательницы, не могла уже обходиться без него, или, вернее, без раба, в какого она его превратила.

Он следовал за нею, счастливый сознанием, что его балуют, ласкают ее глаза, ее голос, все ее причуды; и теперь он жил в постоянном неистовстве желания и любви, которое сводило с ума и сжигало, как лихорадка.

Часть вторая

I

Мариоль приехал к ней. Ему пришлось дожидаться, потому что ее еще не было дома, хотя она утром назначила ему свидание городской депешей.

В этой гостиной, где он так любил бывать, где все ему нравилось, он все-таки, очутившись один, всякий раз чувствовал стеснение в груди, слегка задыхался, нервничал и не мог спокойно сидеть на месте до тех пор, пока она не появлялась. Он ходил по комнате в блаженном ожидании, опасаясь, как бы не задержало ее какое-нибудь непредвиденное препятствие и не заставило отложить их встречу до завтра.

Услышав, что у подъезда остановился экипаж, он восторженно от надежды, а когда в передней раздался звонок, он больше уже не сомневался, что это она.

Она, против обыкновения, вошла в шляпе, с возбужденным и радостным видом.

— У меня для вас новость, — сказала она.

— Да что вы, сударыня!

Она засмеялась, глядя на него.

— Да. Я на некоторое время уезжаю в деревню.

Его охватила внезапная глубокая печаль, отразившаяся на его лице.

— И вы сообщаете мне это с таким веселым видом?

— Вот именно. Садитесь, сейчас все расскажу. Не знаю, известно вам или нет, что у брата моей покойной матери, г-на Вальсази, главного дорожного инженера, есть имение около Авранша, где он служит и где с женой и детьми проводит часть года. А мы каждое лето навещаем их. В этом году я не хотела ехать, но он обиделся и устроил папе сцену. Кстати, скажу вам по секрету: папа ревнует меня к вам и тоже устраивает мне сцены, считая, что я себя компрометирую. Вам придется приезжать пореже. Но вы не огорчайтесь, я все улажу. Итак, папа меня разбил и взял с меня обещание, что я дней на десять-двенадцать съезжу в Авранш. Мы уезжаем во вторник утром. Что вы на это скажете?

— Скажу, что вы приводите меня в отчаяние.

— И это все?

— А что же вы хотите? Ведь не могу же я вам воспрепятствовать.

— И не находите никакого выхода?

— Да нет... нет... не нахожу. А вы?

— У меня есть идея, а именно: Авранш совсем близко от горы Сен-Мишель. Вы бывали на Сен-Мишеле?

— Нет, сударыня.

– Так вот: в будущую пятницу вам взбредет в голову осмотреть эту достопримечательность. Вы остановитесь в Авранше, а, скажем, в субботу вечером, на закате, пойдете гулять в городской сад, который возвышается над бухтой. Мы случайно там встретимся. Папа разозлится, ну и пусть! На другой день я устрою поездку всей семьей в аббатство. Воодушевитесь и будьте очаровательны, как умеете быть, когда захотите. Очаруйте мою тетюшку и пригласите нас всех пообедать в таверне, где мы остановимся. Там мы переночуем и, таким образом, расстанемся только на другой день. Вы вернетесь через Сен-Мало, а неделю спустя я буду уже снова в Париже. Хорошо придумано? Не душка ли я?

В порыве признательности он пролепетал:

– Вы – единственное, чем я дорожу на свете.

– Тш! – прошептала она.

И несколько мгновений они смотрели друг на друга. Она улыбалась, выражая этой улыбкой всю свою благодарность, признательность своего сердца, а также и расположение, очень искреннее, очень горячее, почти нежное. А он любовался ею, пожирал ее глазами. Ему хотелось упасть перед нею, броситься к ее ногам, целовать ее платье, кричать, а главное – выразить то, чего он не умел выразить, что захватило его всего, и душу его, и тело, то, что было несказанно мучительным, потому что он не мог этого проявить, – свою любовь, свою страшную и упоительную любовь.

Но она понимала его и без слов, подобно тому как стрелок угадывает, что его пуля пробила самую сердцевину мишени. В человеке этом не осталось ничего, кроме нее. Он принадлежал ей больше, чем она себе самой. И она была довольна, она находила его очаровательным.

Она ласково спросила:

– Итак, решено? Мы устроим эту прогулку?

Он ответил прерывающимся от волнения голосом:

– Конечно, сударыня, решено.

Потом, опять помолчав, она сказала, не считая нужным извиняться:

– Сегодня я не могу вас больше удерживать. Я вернулась домой только для того, чтобы сказать вам это, я ведь уезжаю послезавтра. Весь завтрашний день у меня занят, а до обеда мне надо еще побывать в четырех-пяти местах.

Он тотчас же встал, охваченный печалью: ведь единственным его желанием было не разлучаться с нею. И, поцеловав у нее руки, он ушел с немного сокрушенным сердцем, но полный надежды.

Четыре дня, которые ему пришлось провести в ожидании, показались ему очень долгими. Он провел их в Париже, ни с кем не видясь, предпочитая тишину – шуму голосов и одиночество – друзьям. А в пятницу утром он выехал с восьмичасовым экспрессом. В эту ночь он почти не спал, возбужденный ожиданием путешествия. Его темная, тихая комната, куда доносился только грохот запоздалых экипажей, как бы звавших его в дорогу, угнетала его всю ночь, как темница.

Едва сквозь спущенные шторы забрезжил серый и печальный свет занявшегося утра, он вскочил с постели, распахнул окно и посмотрел на небо. Он боялся, что будет плохая погода. Погода была хорошая. Реял легкий туман, предвестник зноя. Он оделся скорее обычного, был готов за два часа до отъезда, его сердце снесло нетерпение уехать из дому, быть уже в дороге; и, едва одевшись, он послал за извозчиком, так как боялся, что позже не найдет его.

При первых толчках экипажа он ощутил радостную дрожь, но на Монпарнасском вокзале снова разволновался, узнав, что до отхода поезда осталось еще целых пятьдесят минут.

Одно купе оказалось свободным; он купил его целиком, чтобы уединиться и вволю помечтать. Когда он почувствовал, что едет, что устремляется к ней, влекомый плавным и быстрым движением экспресса, его возбуждение не только не улеглось, но еще более возросло, и у него явилось желание, глупое, ребяческое желание – обеими руками подталкивать обитую штофом стенку, чтобы ускорить движение.

Долгое время, до самого полудня, он был подавлен надеждой и скован ожиданием, но постепенно, после того как миновали Аржантон, пышная нормандская природа привлекла его взоры к окнам.

Поезд мчался по обширной волнистой местности, пересеченной оврагами, где крестьянские

фермы, выгоны и фруктовые сады были обсажены высокими деревьями, развесистые вершины которых сверкали в лучах солнца. Кончался июль, наступила пора изобилия, когда нормандская земля, могучая кормилица, предстает во всем своем цветении, полная жизненных соков. На всех этих участках, разделенных и связанных высокими лиственными стенами, всюду на этих свежих лугах, почва которых казалась плотью и как бы сочилась сидром, без конца мелькали тучные серые волы, пегие коровы с причудливыми узорами на боках, рыжие широколобые быки с отвислой мохнатой кожей на шее; они стояли с вызывающим и гордым видом возле изгороди или лежали, отъевшись на тучных пастбищах.

Тут и там, у подножия тополей, под легкой сенью ив, струились узенькие речки; ручьи, сверкнув на мгновение в траве и исчезнув, чтобы подальше снова появиться, наполняли эту местность благодатной свежестью.

И восхищенный Мариоль пронес свою любовь сквозь это отвлекающее, быстрое и непрерывное мелькание прекрасного яблоневого сада, в котором паслись стада.

Но когда он на станции Фолиньи пересел в другой поезд, нетерпение вновь овладело им, и в последние сорок минут он раз двадцать вынимал из кармана часы. Он беспрестанно высовывался из окна и наконец увидел на высоком холме город, где Она ждала его. Поезд опаздывал, и всего лишь час отделял его от той минуты, когда ему предстояло случайно встретить ее в городском саду.

Он оказался единственным пассажиром в омнибусе, высланном гостиницей; карета поднималась по крутой дороге Авранша, которому расположенные на вершине дома придавали издали вид крепости. Вблизи это оказался красивый древний нормандский городок с небольшими однообразными домами, сбившимися в кучу, похожими друг на друга, с печатью старинной гордости и скромного достоинства, придававших им средневековый и сельский вид.



Оставив чемодан в комнате, Мариоль тотчас же спросил, как пройти в Ботанический сад, и хотя времени у него было еще много, торопливо направился туда, в надежде, что, быть может, и она придет раньше назначенного часа.

Подойдя к воротам, он сразу увидел, что сад пуст или почти пуст. В нем прогуливались только три старика, три местных обывателя, по-видимому, проводившие здесь ежедневно свои последние досуги, да резвилось несколько маленьких англичан, тонконогих девочек и мальчиков, в сопровождении белокурой гувернантки, сидевшей с рассеянным и мечтательным видом.

Мариоль шагал с бьющимся сердцем, всматриваясь в даль. Он достиг аллеи высоких ярко-зеленых вязов, которая наискось пересекала сад, образуя над дорожкой густой лиственный свод; он миновал аллею и, подходя к террасе, возвышавшейся над горизонтом, внезапно отвлекся мыслью от той, ради кого явился сюда.

У подножия возвышенности, на которой он стоял, простиралась необозримая песчаная равнина, сливавшаяся вдаль с морем и небом. Речка катила по ней свои воды, а многочисленные лу-

жи выделялись сверкающими пятнами и казались зияющими безднами второго, внутреннего неба.

Среди этой желтой пустыни, еще пропитанной спадавшим приливом, километрах в двенадцати-пятнадцати от берега, вырисовывались величественные очертания остроконечной горы – причудливой пирамиды, увенчанной собором.

Единственным его соседом в необъятных дюнах был обнаженный круглый утес, утвердившийся среди зыбкого ила: Томблен.

Дальше из голубоватых волн выступали коричневые хребты других скал, погруженных в воду, а справа, пробегая по горизонту, взор обнаруживал за этой песчаной пустыней обширные пространства зеленой нормандской земли, так густо поросшей деревьями, что она казалась бескрайным лесом. Здесь вся природа являлась сразу в одном месте, во всем своем величии, в своей мощи, свежести и красоте; и взгляд переходил от леса к гранитному утесу, одинокому обитателю песков, вздымавшему над необъятным взморьем свои причудливые готические очертания.

Странное наслаждение, уже не раз в былые времена испытанное Мариолем, – трепет при виде неожиданных красот, когда они открываются взорам путника в незнакомых местах, – теперь так сильно захватило его, что он замер на месте, взволнованный и растроганный, забыв о своем плененном сердце.

Но послышался удар колокола, и Мариоль обернулся, вновь охваченный страстным ожиданием встречи. Сад был по-прежнему почти пуст. Маленькие англичане исчезли. Только три старика продолжали свою унылую прогулку. Он последовал их примеру.

Она должна появиться сейчас, с минуты на минуту. Он увидит ее в конце дорожки, ведущей к этой чудесной террасе. Он узнает ее фигуру, ее походку, потом лицо и улыбку и услышит ее голос. Какое счастье! Какое счастье! Он ощущал ее где-то здесь, близко, неуловимую, еще невидимую, но она думает о нем и знает, что сейчас увидит его.

Он чуть не вскрикнул. Синий зонтик, всего лишь купол зонтика, мелькнул в отдалении над кустарником. Это, несомненно, она! Показался мальчик, кативший перед собою обруч; затем две дамы – в одной из них он узнал ее; потом – двое мужчин: ее отец и какой-то другой господин. Она была вся в голубом, как весеннее небо. О, да! Он узнал ее, еще не различая лица; но он не осмелился пойти ей навстречу, чувствуя, что станет бессвязно лепетать, будет краснеть, не сможет под подозрительным взглядом г-на де Прадона объяснить эту случайность.

Однако он шел им навстречу, поминутно смотря в бинокль, весь поглощенный, казалось, созерцанием горизонта. Окликнула его она и даже не потрудилась изобразить удивление.

– Здравствуйте, господин Мариоль! – сказала она. – Восхитительно, не правда ли?

Ошеломленный такою встречей, он не знал, в каком тоне отвечать, и пробормотал:

– Ах, вы здесь, сударыня? Какое счастье! Мне захотелось побывать в этой чудесной местности.

Она ответила, улыбаясь:

– И вы выбрали время, когда я здесь? Как это мило с вашей стороны!

Потом она его представила:

– Это один из лучших моих друзей, господин Мариоль. Моя тетушка, госпожа Вальсази. Мой дядя, который строит мосты.

После взаимных поклонов г-н де Прадон и молодой человек холодно пожали друг другу руки, и прогулка возобновилась.

Она поместила его между собою и тетей, бросив на него молниеносный взгляд, один из тех взглядов, которые свидетельствуют о глубоком волнении. Она продолжала:

– Как вам нравится здесь?

– Мне кажется, я никогда не видел ничего прекраснее.

На это она ответила:

– А если бы вы провели здесь, как я, несколько дней, вы почувствовали бы, до чего захватывает эта красота. Этого не передать никакими словами. Приливы и отливы моря на песчаной равнине, великое, непрерывное движение воды, которая оmyвает все это два раза в день, и притом наступает так быстро, что лошадь галопом не успела бы убежать от нее, необыкновенное зрелище, которое щедрое небо устраивает для нас, – клянусь, все это приводит меня в неистовство! Я сама

не своя. Не правда ли, тетя?

Г-жа де Вальсази, уже пожилая, седая женщина, почтенная провинциалка, уважаемая супруга главного инженера, высокомерного чиновника, спесивого, как большинство воспитанников Политехнической школы⁵, подтвердила, что никогда еще не видела своей племянницы в таком восторженном состоянии. Подумав немного, она добавила:

– Впрочем, это и не удивительно: ведь она ничего не видела и ничем не восхищалась, кроме театральных декораций.

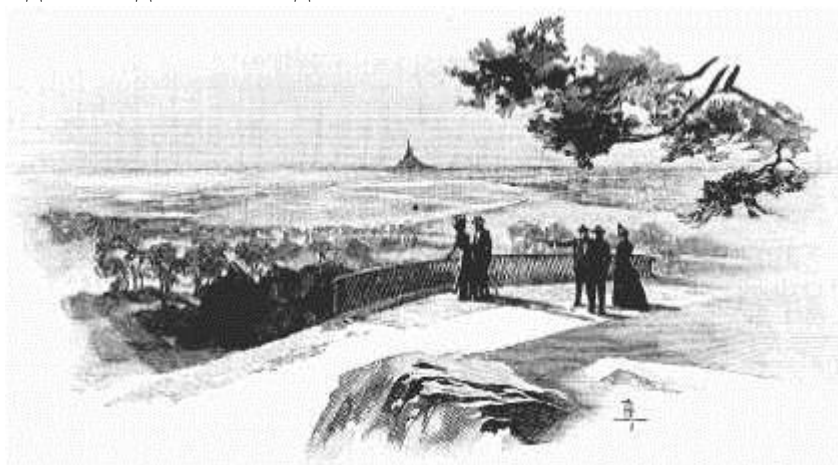
– Но я почти каждый год бываю в Дьеппе или Трувиле.

Старая дама засмеялась:

– В Дьепп или Трувиле ездят только ради встреч с поклонниками. Море там лишь для того и существует, чтобы в нем купались влюбленные.

Это было сказано совсем просто, вероятно, без задней мысли.

Теперь они возвращались к террасе, которая непреодолимо влекла к себе всех. К ней невольно устремлялись со всех концов сада, подобно тому как шары катятся по наклонной плоскости. Заходившее солнце расстилало тонкий золотой полог за высоким силуэтом аббатства, которое все больше и больше темнело, напоминая огромную раку на фоне ослепительного занавеса. Но теперь Мариоль смотрел лишь на обожаемое белокурое создание, шедшее рядом с ним и овечное голубым облаком. Никогда еще не видел он ее такой восхитительной. Она казалась ему в чем-то изменившейся; от нее веяло какой-то свежестью, которая разлилась во всем ее теле, в глазах, в волосах и проникла в ее душу, свежестью, присущей всей этой местности, этим небесам, свету, зелени. Такою он ее еще никогда не видел и никогда не любил.



Он шел рядом с нею, не находя, что сказать; прикосновение ее платья, касание локтя, а иногда и руки, встреча их взглядов, столь красноречивых, окончательно превращали его в ничто, сводили на нет его личность. Он чувствовал себя подавленным в присутствии этой женщины, поглощенным ею до такой степени, что уже перестал быть самим собою, а обратился в одно только желание, в один призыв, в одну любовь. Она уничтожила всю его прежнюю сущность, как пламя сжигает письмо.

Она отлично заметила, она поняла свое полное торжество и, трепещущая, растроганная и к тому же оживленная морским и деревенским воздухом, полным солнечных лучей и жизненных соков, сказала, не глядя на него:

– Как я рада видеть вас!

И тотчас же добавила:

– Сколько времени вы пробудете здесь?

Он ответил:

– Два дня, если сегодняшний день может идти в счет.

Потом он, обернувшись к тетке, спросил:

– Не согласится ли госпожа Вальсази с супругом оказать мне честь и провести завтрашний

⁵ Политехническая школа – высшее учебное заведение в Париже.

день вместе на горе Сен-Мишель?

Г-жа де Бюрн ответила за родственницу:

– Я не позволю тете отказаться, раз уж нам посчастливилось встретить вас здесь.

Жена инженера добавила:

– Охотно соглашусь, сударь, но при условии, что сегодня вечером вы у меня отобедаете.

Он поклонился, принимая приглашение.

Тогда в нем вспыхнула неистовая радость, радость, которая охватывает нас при получении самой желанной вести. Чего он добился? Что нового случилось в его жизни? Ничего. И все же его окрылял упоительный восторг, вызванный каким-то смутным предчувствием.

Они долго гуляли по этой террасе, дожидаясь, пока зайдет солнце, чтобы как можно дольше любоваться черною узорчатою тенью горы, выступавшей на огненном горизонте.

Теперь они вели разговор об обыденных вещах, ограничиваясь тем, что можно сказать в присутствии посторонних, и изредка взглядывали друг на друга.

Они вернулись на виллу, которая была расположена на окраине Авранша, среди прекрасного сада, возвышавшегося над бухтой.

Из скромности, к тому же немного смущенный холодным, почти враждебным отношением г-на Прадона, Мариоль ушел рано. Когда он подносил к губам руку г-жи де Бюрн, она сказала ему два раза подряд, с каким-то особым выражением: «До завтра, до завтра».

Как только он удалился, супруги Вальсази, давно уже усвоившие провинциальные привычки, предложили ложиться спать.

– Ложитесь, – сказала г-жа де Бюрн, – а я пройдуся по саду.

Отец ее добавил:

– И я тоже.

Она вышла, накинув шаль, и они пошли рядом по белым песчаным аллеям, освещенным полной луной и похожим на извилистые речки, бегущие среди клумб и деревьев.

После довольно долгого молчания г-н де Прадон сказал тихо, почти шепотом:

– Дитя мое, будь справедлива и согласись, что я никогда не докучал тебе советами.

Она поняла, куда он клонит, и, готовая к этому нападению, ответила:

– Простите, папа, по крайней мере один совет вы мне дали.

– Я?

– Да, вы.

– Совет относительно твоего... образа жизни?

– Да, и даже очень дурной. Поэтому я твердо решила: если вы мне еще будете давать советы – им не следовать.

– Что я тебе посоветовал?

– Выйти замуж за господина де Бюрна. Это доказывает, что вы лишены рассудительности, проницательности, не знаете людей вообще и вашей дочери в частности.

Он помолчал несколько секунд от удивления и замешательства, потом медленно заговорил:

– Да, тогда я ошибся. Но я уверен, что не ошибусь, высказав тебе сегодня свое отеческое мнение.

– Что ж, говорите! Я воспользуюсь им, если пригодится.

– Еще немного, и ты себя скомпрометируешь.

Она рассмеялась, рассмеялась слишком резким смехом и досказала за него:

– Разумеется, с господином Мариолем?

– С господином Мариолем.

– Вы забываете, что я уже скомпрометировала себя с Жоржем де Мальтри, с Масивалем, с Гастоном де Ламартом, с десятком других, к которым вы меня ревновали; стоит мне назвать человека милым и преданным, как весь мой кружок приходит в ярость, и вы первый, вы, которого небо даровало мне в качестве благородного отца и главного руководителя.

Он горячо возразил:

– Нет, нет, до сих пор ты ни с кем себя не компрометировала. Наоборот, ты проявляешь в отношениях со своими друзьями много такта.

Она ответила заносчиво:

– Дорогой папа, я уже не девочка и обещаю вам, что скомпрометирую себя с господином Мариолем не больше, чем с кем-либо другим, не беспокойтесь. Однако признаюсь вам, что это я просила его приехать сюда. Я нахожу его очаровательным, таким же умным, как все те, но меньшим эгоистом. Таково было и ваше мнение до того, как вы обнаружили, что я немного предпочитаю его остальным. Ох, не так-то уж вы хитры! Я тоже вас хорошо знаю и многое могла бы вам сказать, если бы захотела. Итак, господин Мариоль мне нравится, и поэтому я решила, что было бы очень приятно совершить с ним невзначай небольшую прогулку, что глупо лишать себя удовольствия, если это не грозит никакой опасностью. А мне не грозит опасность скомпрометировать себя, раз вы здесь.

Теперь она смеялась от души, зная, что каждое ее слово попадает в цель, что она держит его в руках благодаря этому намеку на его подозрительность и ревность, которые она давно почуяла в нем, и она забавлялась этим открытием с затаенным, злорадным и дерзким кокетством.



Он замолчал, пристыженный, недовольный, рассерженный, сознавая, что она угадала под его отеческой заботой скрытую враждебность, в причине которой он не хотел признаться даже самому себе. Она добавила:

– Не беспокойтесь. Вполне естественно в это время года совершить поездку на гору Сен-Мишель с дядей, тетей, с вами, моим отцом, и со знакомым. К тому же об этом никто не узнает. А если и узнает, тут нечего осуждать. Когда мы вернемся в Париж, этот знакомый займет свое обычное место среди остальных.

– Пусть так, – заключил он. – Будем считать, что я ничего не говорил.

Они прошли еще несколько шагов. Г-н де Прадон спросил:

– Не пора ли домой? Я устал, хочу лечь.

– Нет, я еще немного погуляю. Ночь так хороша!

Он многозначительно сказал:

– Далеко не уходи. Мало ли кто может встретиться.

– О, я буду тут, под окнами.

– Спокойной ночи, дитя мое.

Он быстро поцеловал ее в лоб и вошел в дом.

Она села немного поодаль на простую скамью, врытую в землю у подножия дуба. Ночь была теплая, напоенная ароматами полей, дыханием моря и светлой мглой; полная луна, поднявшись на самую середину неба, лила свет на залив, окутанный туманом. Он полз, как клубы белого дыма, заволакивая дюны, которые в этот час должен был затопить прилив.

Мишель де Бюрн, скрестив на коленях руки, устремив взор вдаль, старалась проникнуть в собственную душу сквозь непроницаемую дымку, подобную той, что застилала пески.

Сколько уже раз, сидя в туалетной перед зеркалом в своей парижской квартире, она спрашивала себя: что я люблю? чего желаю? на что надеюсь? чего хочу? что я такое?

Помимо восхищения самой собою и глубокой потребности нравиться, которые доставляли ей действительно много наслаждения, она никогда не испытывала никаких чувств, если не считать быстро потухавшего любопытства. Она, впрочем, сознавала это, потому что так привыкла разглядывать и изучать свое лицо, что не могла не наблюдать также и за душой. До сих пор она мирилась с этим отсутствием интереса ко всему тому, что других людей волнует, ее же может, в лучшем случае, немного развлечь, но отнюдь не захватить.

И все же всякий раз, когда она чувствовала, что в ней зарождается более острый интерес к кому-то, всякий раз, когда соперница, отвоевывая у нее поклонника, которым она дорожила, тем самым разжигала ее женские инстинкты и возбуждала в ее крови горячку влечения, она испытывала при этом мнимом зарождении любви гораздо более жгучее ощущение, нежели простую радость успеха. Но всегда это длилось недолго. Отчего? Она уставала, пресыщалась, была, быть может, излишне проницательной. Все, что сначала нравилось ей в мужчине, все, что ее увлекало, трогало, волновало, очаровывало в нем, вскоре начинало казаться ей уже знакомым, пошлым, обыденным. Все они слишком походили друг на друга, хоть и не были одинаковыми; и еще ни в одном из них она не находила тех свойств и качеств, которые нужны были, чтобы долго ее волновать и увлекать ее сердце навстречу любви.

Почему так? Была ли то их вина или ее? Недоставало ли им того, чего она ожидала, или ей недоставало того, что повелевает любить? Потому ли любишь, что встретил наконец человека, который представляется тебе созданным для тебя, или просто потому, что ты рожден со способностью любить? Временами ей казалось, что у всех сердце наделено, как тело, руками – ласковыми и манящими, которые привлекают, льнут и обнимают; а ее сердце – безрукое. У него одни только глаза.

Часто случается, что мужчины – и мужчины незаурядные – безумно влюбляются в женщин, недостойных их, лишенных ума, обаяния, порой даже красоты. Почему? Как? Что за тайна? Значит, этот человеческий недуг вызывается не только роковым предопределением, но также и каким-то зерном, которое мы носим в себе и которое внезапно прорастает? Она выслушивала признания, она разгадывала секреты, она даже собственными глазами наблюдала внезапное преображение, вызванное в душе этим дурманом, и много размышляла об этом.

В свете, в повседневной суете визитов, сплетен, всех мелких глупостей, которыми забавляются, которыми заполняют досуг богачи, она иногда с завистливым, ревнивым и почти что недоверчивым удивлением обнаруживала людей – и женщин и мужчин, – с которыми явно происходило что-то необычайное. Это проявлялось не ярко, не бросалось в глаза, но она угадывала и понимала это своим врожденным чутьем. На их лицах, в их улыбках, и особенно в глазах, появлялось нечто невыразимое, восторженное, восхитительно счастливое – душевная радость, разлившаяся по всему телу, озарившая и плоть и взгляд.

Сама не зная почему, она относилась к ним враждебно. Влюбленные всегда раздражали ее, и она принимала за презрение ту глухую и глубокую неприязнь, которую вызывали в ней люди, пылающие страстью. Ей казалось, что она распознает их благодаря своей необычайно острой и безошибочной проницательности. И действительно, нередко ей удавалось почуять и разгадать любовную связь прежде, чем о ней начинали подозревать в свете.

Когда она думала о том сладостном безумии, в которое повергает нас чье-то существование, чей-то образ, звук голоса, мысль, те неуловимые черты в близком человеке, которые неистово волнуют наше сердце, – она сознавала, что не способна на это. А между тем сколько раз, устав от всего и мечтая о неизъяснимых уладах, истерзанная неотступной жаждой перемен и чего-то неведомого, которая была, возможно, лишь смутным волнением, неосознанным стремлением любить, – она с тайным стыдом, порожденным гордыней, желала встретить человека, который ввергнул бы ее – пусть ненадолго, на несколько месяцев – в эту волшебную восторженность, охватывающую все помыслы, все тело, ибо в эти дни волнений жизнь, вероятно, приобретает при-

чудливую прелесть экстаза и опьянения.

Она не только желала этой встречи, но даже сама чуть-чуть подготовила ее, совсем чуть-чуть, проявив немного своей ленивой энергии, которую ничто не занимало надолго.

Все ее мимолетные увлечения признанными знаменитостями, ослеплявшими ее на несколько дней, кончались тем, что кратковременная вспышка ее сердца неизменно угасала в непоправимом разочаровании. Она слишком много ждала от этих людей, от их характера, их природы, их чуткости, их дарований. При общении с каждым из них ей всегда приходилось убеждаться, что недостатки выдающихся людей часто ощущаются резче, чем их достоинства, что талант – некий дар, вроде острого зрения или здорового желудка, дар особый, самодовлеющий, не зависящий от прочих приятных качеств, придающих отношениям задушевность и привлекательность.

Но к Мариолу ее с первой встречи привязывало что-то иное. Однако любила ли она его? Любила ли настоящей любовью? Не будучи ни знаменитым, ни известным, он покорила ее своим чувством, нежностью, умом – всеми своими подлинными и простыми достоинствами. Он покорила ее, ибо она думала о нем беспрестанно; беспрестанно желала, чтобы он был возле нее; ни одно существо в мире не было ей так приятно, так мило, так необходимо. Это-то и есть любовь?

Она не чувствовала в душе того пламени, о котором столько говорят, но она впервые испытывала искреннее желание быть для этого человека чем-то большим, чем обворожительной подружкой. Любила ли она его? Нужно ли для любви, чтобы человек казался преисполнен привлекательных качеств, выделялся среди окружающих и стоял выше всех, в ореоле, который сердце обычно возжигает вокруг своих избранников, или же достаточно, чтобы человек очень нравился, нравился настолько, что без него почти уже нельзя обойтись?

Если так, то она любила его или, по крайней мере, была к этому очень близка. Глубоко, с пристальным вниманием поразмыслив, она в конце концов ответила себе: «Да, я люблю его, но мне недостает сердечного порыва: такую уж я создана».

Между тем сегодня она слегка почувствовала в себе этот порыв, когда увидела его идущим ей навстречу на террасе парка в Авранше. Впервые в ней проснулось то невыразимое, что толкает, влечет, бросает нас к кому-нибудь; ей доставляло большое удовольствие идти рядом с ним, чувствовать его возле себя сгорающим от любви и смотреть, как солнце садится за тенью Сен-Мишеля, напоминающей сказочное видение. Разве сама любовь – не сказка для душ, в которую одни инстинктивно верят, о которой другие мечтают так долго, что иной раз тоже начинают верить в нее? Не поверит ли в конце концов и она? Она почувствовала странное и сладостное желание склонить голову на плечо этого человека, стать ему более близкой, искать той «полной близости», которой никогда не достигаешь, подарить ему то, что тщетно предлагать, потому что все равно всегда сохраняешь это при себе: свою сокровенную сущность.

Да, она ощутила влечение к нему и в глубине сердца ощущает его и сейчас. Быть может, стоило только поддаться этому порыву, чтобы он превратился в страсть? Она всегда слишком сопротивлялась, слишком рассуждала, слишком боролась с обаянием людей. Разве не было бы упоительно в такой вечер, как сегодня, гулять с ним под ивами на берегу реки и в награду за его любовь время от времени дарить ему для поцелуя свои губы?

Одно из окон виллы распахнулось. Она обернулась. Это был ее отец, несомненно, искавший ее.

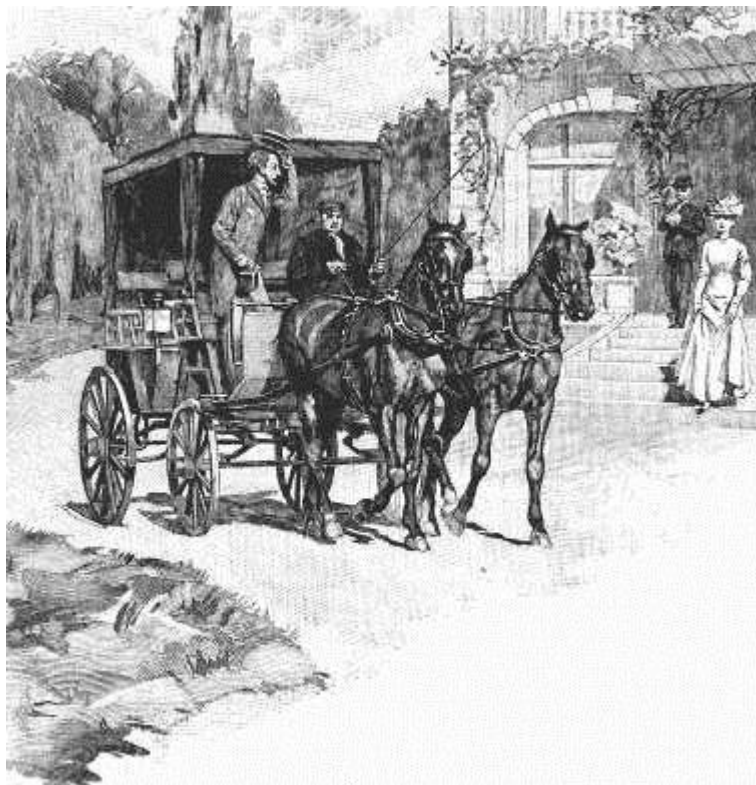
Она крикнула ему:

– Вы еще не спите?

Он ответил:

– Ты простудишься.

Она встала и направилась к дому. Вернувшись к себе, она раздвинула шторы, чтобы еще раз взглянуть на туман над бухтой, становившийся все белее от лунного света, и ей показалось, что и туман в ее сердце светлеет от восходящей любви.



Однако спала она крепко, и горничной пришлось разбудить ее, так как они собирались выехать рано, чтобы завтракать на горе.

Им подали большое ландо. Услышав шум колес по песку у подъезда, она выглянула в окно и тотчас же встретила взгляд Андре Мариоля, устремленный на нее. Ее сердце слегка забилося. Она с удивлением и испугом ощутила непривычное и странное движение того мускула, который трепещет и быстрее гонит кровь только оттого, что мы увидели кого-то. Как и накануне ночью, она спросила себя: «Неужели я влюблена?»

Потом, увидев его перед собою, она поняла, что он так увлечен, так болен любовью, что ей в самом деле захотелось открыть объятия и дать ему поцеловать себя.

Они лишь обменялись взглядом, а он был и этим так счастлив, что побледнел.

Лошади тронули. Стояло ясное утро, сиявшее всюду разлившейся юностью; щебетали птицы. Экипаж стал спускаться по склону, миновал реку и проехал несколько деревень по каменистой дороге, такой неровной, что ездовых подбрасывало на скамьях. После длительного молчания г-жа де Бюрн стала подшучивать над дядей по поводу плохого состояния дорог; этого оказалось достаточно, чтобы сломить лед, и реявшее в воздухе веселье передалось всем.

Вдруг, при выезде из одной деревушки, вновь показалась бухта, но уже не желтая, как накануне вечером, а сверкающая от прозрачной воды, которую было покрыто все: дюны, прибрежные луга и, по словам кучера, даже часть дороги немного подальше.

Затем целый час ехали шагом, выжидая, когда этот поток схлынет обратно в море.

Кайма дубов и вязов вокруг ферм, мимо которых они проезжали, то и дело скрывала от глаз очертания монастыря, возвышавшегося на горе, которую в этот час со всех сторон окружало море. Потом он снова мелькал между фермами, все ближе и ближе, все более и более поражая взор. Солнце окрашивало в рыжеватые тона узорчатый гранитный храм, утвердившийся на вершине скалы.

Мишель де Бюрн и Андре Мариоль любовались им, потом обращали друг на друга взоры, в которых сочетались – у нее едва зарождающееся, а у него уже буйное – смятение сердца с поэтичностью этого видения, представшего им в розовой дымке июльского утра.

Беседовали с дружеской непринужденностью. Г-жа Вальсази рассказывала трагические истории, ночные драмы вzybучих песках, засасывающих людей. Г-н Вальсази защищал плотину от нападков художников и расхваливал ее преимущества, подчеркивая, что она дает возможность в любое время сообщаться с горою и постепенно отвоевывает у моря дюны – сначала для пастбищ, а

потом и для нив.

Вдруг экипаж остановился. Дорога оказалась затопленной. С виду это был пустяк: тонкий водный покров на каменистом грунте, но чувствовалось, что местами образовались рытвины и ямы, из которых не выбраться. Пришлось ждать.

– Вода быстро схлынет, – утверждал г-н Вальсази, указывая на дорогу, с которой тонкий слой воды сбегал, словно его выпивала земля или тянула куда-то таинственная и могучая сила.

Они вышли из экипажа, чтобы посмотреть поближе на это странное, стремительное и бесшумное отступление моря, следуя за ним шаг за шагом. На затопленных лугах, кое-где холмистых, уже проступили зеленые пятна, которые все росли, округлялись, превращались в острова. Эти острова постепенно принимали очертания материков, разделенных крошечными океанами, и наконец на всем протяжении залива стало заметно беспорядочное бегство моря, отступавшего вдаль. Казалось, что с земли сдергивают длинный серебристый покров – огромный, сплошь искромсанный, рванный покров, и, сползая, он обнажал обширные пастбища с низкой травой, но все еще застилал лежащие за пастбищами светлые пески.

Все опять вошли в экипаж и стояли в нем, чтобы лучше видеть. Дорога впереди уже просыхала, и лошади тронули, но все еще шагом, а так как на ухабах путники теряли равновесие, Андре Мариоль вдруг почувствовал, что к его плечу прильнуло плечо г-жи де Бюрн. Сперва он подумал, что прикосновение это вызвано случайным толчком, но она не отстранилась, и каждый скачок колес отзывался ударом в плече Мариоля, волновал его сердце и вызывал в нем трепет. Он уже не решался взглянуть на молодую женщину, скованный блаженством этой неожиданной близости, и думал, путаясь в мыслях, как одурманенный: «Возможно ли? Неужели возможно? Неужели мы теряем рассудок оба?»

Лошади снова пошли рысью, пришлось сесть. Тогда Мариоля внезапно охватило властное, непонятное желание быть особенно любезным с г-ном Прадоном, и он стал оказывать ему самые лестные знаки внимания. Чувствительный к комплиментам почти в такой же мере, как и его дочь, г-н де Прадон поддался лести, и вскоре его лицо снова приняло благодушное выражение.

Наконец доехали до плотины и покатали к горе, возвышавшейся в конце прямой дороги, проложенной среди песков. Слева ее откос омывала речка Понторсон, справа тянулись пастбища, поросшие низкой травой, которую кучер назвал морским гребешком, а дальше пастбища постепенно уступали место дюнам, еще пропитанным сочащейся морской водой.

Высокое здание вздымалось на синем небе, где теперь четко вырисовывались все его детали: купол с колоколенками и башенками, кровля, ошетилившаяся водостоками в виде ухмыляющихся химер и косматых чудищ, которыми наши предки в суеверном страхе украшали готические храмы.

В гостиницу, где был заказан завтрак, приехали только около часу. Хозяйка, предвидя опоздание, еще не приготовила его; пришлось подождать. Поэтому за стол сели очень поздно; все сильно проголодались. Шампанское сразу же всех развеселило. Все были довольны, а два сердца чувствовали себя на грани блаженства. За десертом, когда возбуждение от выпитого вина и удовольствие от беседы разлили в телах ту радость бытия, которая одушевляет нас к концу хорошей трапезы и настраивает со всем соглашаться и все одобрять, Мариоль спросил:

– Не остаться ли нам здесь до завтра? Как чудесно было бы вечером полюбоваться луной и вместе поужинать!

Г-жа де Бюрн тотчас же приняла предложение, согласились и двое мужчин. Одна только г-жа Вальсази колебалась – из-за сына, который остался дома, но муж уговорил ее, напомнив, что ей уже не раз приходилось так отлучаться. Он тут же, не сходя с места, написал телеграмму бонне. Ему очень нравился Мариоль, который, желая польстить, похвалил плотину и высказал мнение, что она вовсе не настолько вредит красоте горы, как обычно говорят.

Встав из-за стола, они пошли осматривать аббатство. Решили идти вдоль укреплений. Городок представляет собою кучку средневековых домов, громоздящихся друг над другом на огромной гранитной скале, на самой вершине которой высится монастырь; городок отделен от песков высокой зубчатой стеной. Эта стена круто поднимается в гору, огибая старый город и образуя выступы, углы, площадки, дозорные башни, которые на каждом повороте открывают перед изумленным взором все новые просторы широкого горизонта. Все приумолкли, слегка разомлев после обиль-

ного завтрака, но всё вновь и вновь изумлялись поразительному сооружению. Над ними, в небе, высился причудливый хаос стрел, гранитных цветов, арок, перекинутых с башни на башню, – неправдоподобное, огромное и легкое архитектурное кружево, как бы вышитое по лазури, из которого выступала, вырывалась, словно для взлета, сказочная и жуткая свора водосточных желобов со звериными мордами. Между морем и аббатством, на северной стороне горы, за последними домами начинался угрюмый, почти отвесный склон, называемый Лесом, потому что он порос старыми деревьями; он выступал темно-зеленым пятном на безбрежных желтых песках. Г-жа де Бюрн и Андре Мариоль, шедшие впереди, остановились, чтобы посмотреть вниз. Она оперлась на его руку, оцепенев от небывалого восторга. Она поднималась легко и готова была всю жизнь так подниматься с ним к этому сказочному храму и даже еще выше, к чему-то неведомому. Ей хотелось, чтобы этот крутой склон тянулся бесконечно, потому что здесь она в первый раз в жизни чувствовала почти полное внутреннее удовлетворение.

Она прошептала:

– Боже! Какая красота!

Он ответил, глядя на нее:

– Я не в силах думать ни о чем, кроме вас.

Она возразила, улынувшись:

– Я женщина не особенно поэтичная, но мне здесь так нравится, что я не на шутку потрясена.

Он прошептал:

– А я... я люблю вас безумно.

Он почувствовал, как она слегка пожала его руку, и они продолжали путь.

У ворот аббатства их встретил сторож, и они поднялись между двумя громадными башнями по великолепной лестнице, которая привела их в караульное помещение. Затем они стали переходить из залы в залу, со двора во двор, из кельи в келью, слушая объяснения, дивясь, восхищаясь всем, всем любуясь: склепом с его толстыми столбами, прекрасными мощными, огромными колоннами, поддерживающими алтарь верхней церкви, и всем этим чудом – грандиозным трехэтажным сооружением, состоящим из готических построек, воздвигнутых одна над другой, самым необыкновенным созданием средневекового монастырского и военного зодчества.



Наконец они дошли до монастыря. Когда они увидели большой квадратный двор, окруженный самой легкой, самой изящной, самой пленительной из монастырских колоннад всего мира, они были так поражены, что невольно остановились. Двойной ряд тонких невысоких колонн, увенчанных прелестными капителями, несет на себе вдоль всех четырех галерей непрерывную гирлянду готических орнаментов и цветов, бесконечно разнообразных, созданных неисчерпаемой выдумкой, изящной и наивной фантазией простодушных старинных мастеров, руки которых во-

площали в камне их мысли и мечты.

Мишель де Бюрн и Андре Мариоль, под руку, не спеша обошли весь двор, тогда как остальные, немного утомившись, любовались издали, стоя у ворот.

– Боже, как мне здесь нравится! – сказала она, остановившись.

Он ответил:

– А я уже совсем потерял представление о том, где я, что я вижу, что со мной происходит. Я только чувствую, что вы подле меня, – вот и все.

Тогда она, улыбаясь, взглянула ему прямо в лицо и прошептала:

– Андре!

Он понял, что она отдается ему. Они не сказали больше ни слова и пошли дальше.

Продолжался осмотр здания, но они уже почти ни на что не глядели.

На мгновение их, однако, отвлекла заключенная в арке кружевная лестница, перекинутая прямо по воздуху от одной башенки к другой, словно для того, чтобы взбираться на облака. И снова они были изумлены, когда дошли до «Тропы безумцев» – головокружительной гранитной дорожки без перил, которая вьется почти до самой вершины последней башни.

– Можно по ней пройти? – спросила она.

– Запрещено, – ответил сторож.

Она вынула двадцать франков. Сторож заколебался. Все семейство, и так уже ошеломленное отвесной кручей и безграничным пространством, стало возражать против такой неосторожности.

Она спросила Мариоля:

– А вы пойдете, правда?

Он засмеялся:

– Мне удавалось преодолевать и более трудные препятствия.

И, не обращая внимания на остальных, они отправились.

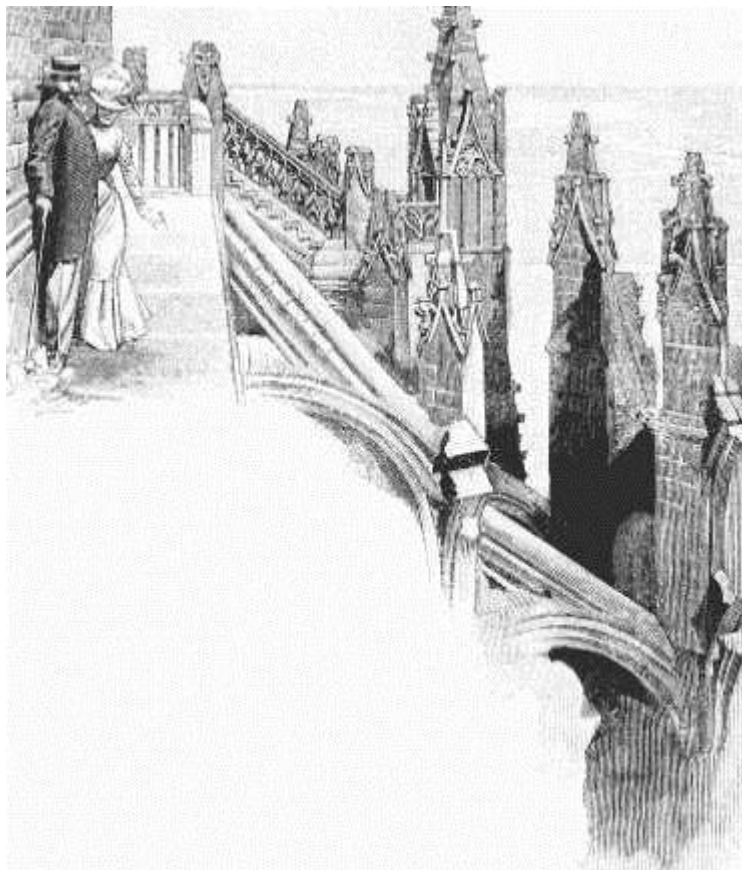
Он шел впереди, по узкому карнизу у самого края бездны, а она пробиралась за ним, скользя вдоль стены, закрыв глаза, чтобы не видеть зияющей у ног пропасти, взволнованная, почти теряя сознание от страха, вцепившись в руку, которую он ей протягивал; но она чувствовала, что он непоколебим и не упадет в обморок, что он уверен в себе, ступает твердой поступью, и она с восхищением думала, несмотря на страх: «Вот настоящий мужчина!» Они были одни в пространстве, на такой высоте, где парят лишь морские птицы, они возвышались над горизонтом, по которому беспрерывно проносились белокрылые чайки, всматриваясь в даль желтыми глазками.

Почувствовав, что она дрожит, Мариоль спросил:

– Голова кружится?

Она прошептала:

– Немного. Но с вами я не боюсь.



Тогда, приблизившись к ней, он обнял ее одной рукой, чтобы поддержать, и она почувствовала такое успокоение от этой грубоватой мужской помощи, что даже решилась поднять голову и посмотреть вдаль.

Он почти нес ее, а она вверялась ему, наслаждаясь мощным покровительством человека, который ведет ее по воздуху, и чувствовала к нему признательность, романтическую женскую признательность за то, что он не портит поцелуями этот полет, полет двух чаек.

Когда они вернулись к своим спутникам, ожидавшим их в крайней тревоге, г-н де Прадон вне себя сказал дочери:

– Что за глупости ты делаешь!

Она ответила убежденно:

– Это не глупость, раз она удалась. То, что удастся, папа, никогда не бывает глупо.

Он пожал плечами, и они стали спускаться. Задержались еще у привратника, чтобы купить фотографии, и когда добрались до гостиницы, наступало уже время обеда. Хозяйка посоветовала совершить еще небольшую прогулку по пескам, чтобы полюбоваться горою со стороны моря, откуда, по ее словам, открывается самый восхитительный вид.

Несмотря на усталость, все снова отправились в путь и, обогнув укрепления, немного углубились в коварные дюны, зыбкие, хоть и твердые на вид, где нога, ступив на разостланный под нею прекрасный желтый ковер, казавшийся плотным, вдруг глубоко погружалась в обманчивый золотистый ил.

С этой стороны аббатство, внезапно утратив вид морского собора, который так поражает, когда смотришь на него с берега, приобрело, как бы в угрозу океану, воинственный вид феодального замка с высокой зубчатой стеной, прорезанной живописными бойницами и поддерживаемой гигантскими контрфорсами, циклопическая кладка которых вросла в подошву этой причудливой горы. Но г-жу де Бюрн и Андре Мариоля уже ничто не интересовало. Они думали только о себе, оплетенные сетями, которые расставили друг другу, замурованные в той темнице, куда ничего уже не доносится из внешнего мира, где ничего не видишь, кроме одного-единственного существа.

Когда же они очутились за столом перед полными тарелками, при веселом свете ламп, они очнулись и почувствовали, что голодны.

Обед затянулся, а когда он кончился, то за приятной беседой забыли о лунном свете. Нико-

му, впрочем, не хотелось выходить, и никто об этом не заговаривал. Пусть полная луна серебрит поэтическими переливами мелкие волны прилива, уже наступающего на пески с еле уловимым жутким шорохом, пусть она освещает змеящиеся вокруг горы укрепления, пусть среди неповторимой декорации безбрежного залива, блистающего от ползущих по дюнам отблесков, кладет романтические тени на башенки аббатства – больше уже не хотелось смотреть ни на что.

Еще не было десяти часов, когда г-жа Вальсази, одолеваемая сном, предложила лечь спать. Все без возражений согласилось с ней и, обменявшись дружескими пожеланиями спокойной ночи, разошлись по своим комнатам.

Андре Мариоль знал, что не заснет; он зажег две свечи на камине, распахнул окно и стал любоваться ночью.

Все тело его изнемогало под пыткой бесплодных желаний. Он знал, что она здесь, совсем близко, отделенная от него лишь двумя дверями, а приблизиться к ней было так же невозможно, как задержать морской прилив, затоплявший все кругом. Он ощущал в груди потребность кричать, а нервы его были так напряжены от тщетного, неутоленного желания, что он спрашивал себя, что же ему с собою делать, – потому что он больше не в силах выносить одиночество в этот вечер неосуществленного счастья.

И в гостинице, и на единственной извилистой улице городка постепенно затихли все звуки. Мариоль все стоял, облокотясь на подоконник, глядя на серебряный полог прилива, сознавая только, что время течет, и не решался лечь, словно предчувствуя какую-то радость.

Вдруг ему показалось, что кто-то взялся за ручку двери. Он резко повернулся. Дверь медленно отворилась. Вошла женщина; голова ее была прикрыта белым кружевом, а на тело накинута одна из тех свободных домашних одежд, которые кажутся сотканными из шелка, пуха и снега. Она тщательно затворила за собою дверь, потом, словно не замечая его, стоящего в светлом пролете окна и сраженного счастьем, она направилась прямо к камину и задула обе свечи.

II

Они условились встретиться на другой день утром у подъезда гостиницы, чтобы проститься. Андре Мариоль спустился первым и ждал ее появления с щемящим чувством тревоги и блаженства. Что она скажет? Какою будет? Что станет с нею и с ним? В какую полосу жизни – то ли счастливую, то ли гибельную – он ступил? Она может сделать из него все, что захочет, – человека, погруженного в мир грез, подобно курильщикам опиума, или мученика, – как ей вздумается. Он беспокойно шагал возле двух экипажей, которые должны были разъехаться в разные стороны: ему предстояло закончить путешествие через Сен-Мало, чтобы довершить обман, остальные же возвращались в Авранш.

Когда он увидит ее вновь? Сократит ли она свое пребывание у родственников или задержится там? Он страшно боялся ее первого взгляда и первых слов, потому что в минуты краткого ночного объятия не видел ее и они почти ничего не сказали друг другу. Она отдалась без колебаний, но с целомудренной сдержанностью, не наслаждаясь, не упиваясь его ласками; потом ушла своей легкой походкой, прошептав: «До завтра, мой друг».

От этой быстрой, странной встречи у Андре Мариоля осталось еле уловимое чувство разочарования, как у человека, которому не довелось собрать всю жатву любви, казавшуюся ему уже созревшей, и в то же время осталось опьянение победою и, следовательно, надежда, почти уверенность, что вскоре он добьется от нее полного самозабвения.

Он услышал ее голос и вздрогнул. Она говорила громко, по-видимому, недовольная какой-то прихотью отца, и когда она показалась на верхних ступеньках лестницы, на губах ее лежала сердитая складка.

Мариоль направился к ней; она его увидела и стала улыбаться. Ее взгляд вдруг смягчился и принял ласковое выражение, разлившееся по всему лицу. А взяв ее руку, протянутую порывисто и нежно, он почувствовал, что она подтверждает принесенный ею дар и делает это без принуждения и раскаяния.

– Итак, мы расстаемся? – сказала она.

– Увы, сударыня! Не могу выразить, как мне это тяжело.

Она промолвила:

– Но ведь не надолго.

Г-н де Прадон подходил к ним, поэтому она добавила совсем тихо:

– Скажите, что собираетесь дней на десять в Бретань, но не ездите туда.

Г-жа де Вальсази в большом волнении подбежала к ним.

– Что это папа говорит? Ты собираешься ехать послезавтра? Подождала бы хоть до будущего понедельника.

Г-жа де Бюрн, слегка нахмурившись, возразила:

– Папа нетактичен и не умеет молчать. Море вызывает у меня, как всегда, очень неприятные невралгические явления, и я действительно сказала, что мне надо уехать, чтобы потом не пришлось лечиться целый месяц. Но сейчас не время говорить об этом.

Кучер Мариоля торопил его, чтобы не опоздать к поезду.

Г-жа де Бюрн спросила:

– А вы когда думаете вернуться в Париж?

Он сделал вид, что колеблется.

– Не знаю еще; мне хочется посмотреть Сен-Мало, Брест, Дуарненез, бухту Усопших, мыс Раз, Одиерн, Пенмарк, Морбиган – словом, объездить весь знаменитый бретонский мыс. На это потребуется...

Помолчав, будто высчитывает, он решил преувеличить:

– Дней пятнадцать-двадцать.

– Это долго, – возразила она, смеясь. – А я, если буду чувствовать себя так плохо, как в эту ночь, через два дня вернусь домой.

Волнение стеснило ему грудь, ему хотелось крикнуть: «Благодарю!», но он ограничился тем, что поцеловал – поцеловал как любовник – руку, которую она протянула ему на прощание.

Обменявшись бесчисленными приветствиями, благодарностями и уверениями во взаимном расположении с супругами Вальсази и г-ном де Прадоном, которого он несколько успокоил, объявив о своем путешествии, Мариоль сел в экипаж и уехал, оглядываясь в сторону г-жи де Бюрн.

Он вернулся в Париж, нигде не задерживаясь и ничего не замечая в пути. Всю ночь, прикорнув в вагоне, полускрыв глаза, скрестив руки, с душой, поглощенной одним-единственным воспоминанием, он думал о своей воплотившейся мечте. Едва он оказался дома, едва кончилось его путешествие и он снова погрузился в тишину своей библиотеки, где обычно проводил время, где занимался, где писал, где почти всегда чувствовал себя спокойно и уютно в обществе своих любимых книг, рояля и скрипки, – в душе его началась та нескончаемая пытка нетерпения, которая, как лихорадка, терзает ненасытные сердца. Пораженный тем, что он не может ни на чем сосредоточиться, ничем заняться, что ничто не в силах не только поглотить его мысли, но даже успокоить его тело, – ни привычные занятия, которыми он разнообразил жизнь, ни чтение, ни музыка, – он задумался: что же сделать, чтобы умерить этот новый недуг? Его охватила потребность – физическая необъяснимая потребность – уйти из дому, ходить, двигаться; охватил приступ беспокойства, которое от мысли передалось телу и было не чем иным, как инстинктивным и неукротимым желанием искать и вновь обрести кого-то.

Он надел пальто, взял шляпу, отворил дверь и, уже спускаясь по лестнице, спросил себя: «Куда я?» И у него возникла мысль, над которой он еще не задумывался. Ему нужно было найти приют для их свиданий – укромную, простую и красивую квартиру.

Он искал, ходил, обегал улицы за улицами, авеню и бульвары, тревожно приглядывался к угодливо улыбавшимся привратницам, хозяйкам с подозрительными лицами, к квартирам с сомнительной мебелью и вечером вернулся домой в унынии. На другое утро, с девяти часов, он снова принялся за поиски и наконец, уже в сумерках, отыскал в одном из переулков Отейля⁶, в глубине сада с тремя выходами, уединенный флигелек, который местный обойщик обещал ему обставить в два дня. Он выбрал обивку, заказал мебель – совсем простую, из морёной сосны, – и

⁶ Отейль – в старину один из пригородов Парижа, в эпоху действия романа – XVI округ французской столицы.

очень мягкие ковры. Сад находился под присмотром булочника, жившего поблизости. С женой его он сговорился насчет уборки квартиры. Соседний садовод взялся сделать клумбы.

Все эти хлопоты задержали его до восьми часов, а когда он пришел домой, изнемогая от усталости, его сердце забилось при виде телеграммы, лежавшей на письменном столе. Он вскрыл ее.

«Буду дома завтра вечером, – писала г-жа де Бюрн. – Ждите указаний. Миш.»

Он еще не писал ей, боясь, что письмо пропадет, раз она должна уехать из Авранша. Сразу же после обеда он сел за письменный стол, чтобы выразить ей все, что он чувствовал. Он писал долго и с трудом, ибо все выражения, фразы и самые мысли казались ему слабыми, несовершенными, нелепыми для передачи его нежной и страстной признательности.

В письме, которое он получил на другое утро, она подтверждала, что вернется в тот же вечер, и просила его не показываться никому несколько дней, чтобы все верили в его отсутствие. Кроме того, она просила его прийти на следующий день, часов в десять утра, в Тюильрийский сад, на террасу, возвышающуюся над Сеной.

Он явился туда часом раньше и бродил по обширному саду, где мелькали лишь ранние прохожие, чиновники, спешившие в министерства на левом берегу, служащие, труженики разных профессий. Он сознательно отдавался удовольствию наблюдать за этими торопливо бегущими людьми, которых забота о хлебе насущном гнала к их притупляющим занятиям, и, сравнивая себя с ними в этот час, когда он ждал свою возлюбленную, одну из владычиц мира, он чувствовал себя таким баловнем судьбы, существом столь счастливым, столь далеким от жизненной борьбы, что ему захотелось возблагодарить голубые небеса, ибо провидение было для него лишь сменой лазури и ненастья, в зависимости от Случая, коварного властелина людей и дней.

За несколько минут до десяти часов он поднялся на террасу и стал всматриваться.

«Опаздывает», – подумал он. Не успел он расслышать десять ударов, пробивших на одной из соседних башен, как ему показалось, что он узнает ее издали, что это она идет по саду торопливым шагом, как продавщица, спешащая в свой магазин. Он сомневался: она ли это? Он узнавал ее походку, но его удивляла перемена в ее внешности, такой скромной в простом темном платье. А она в самом деле направлялась к лестнице, ведущей на террасу, и шла уверенно, словно бывала тут уже много раз.



«Вероятно, – подумал он, – ей нравится это место и она иногда гуляет здесь». Он наблюдал,

как она подобрала платье, поднимаясь на первую каменную ступеньку, как легко прошла остальные, а когда он устремился к ней, чтобы ускорить встречу, она с ласковой улыбкой, таившей беспокойство, сказала ему:

– Вы очень неосторожны. Не надо ждать так, на самом виду. Я увидела вас почти что с улицы Риволи. Пойдемте посидим на скамейке, вон там, за оранжереей. Там и ждите меня в другой раз.

Он не мог удержаться и спросил:

– Значит, вы часто здесь бываете?

– Да, я очень люблю это место. Я люблю гулять рано по утрам и прихожу сюда любоваться этим прелестным видом. Кроме того, здесь никогда никого не встречаешь, в то время как Булонский лес нестерпим. Но никому не выдавайте этой тайны.

Он засмеялся:

– Еще бы!

Осторожно взяв ее руку, маленькую руку, прятавшуюся в складках одежды, он вздохнул:

– Как я люблю вас! Я истомился, ожидая вас! Получили вы мое письмо?

– Да, благодарю. Оно меня очень тронуло.

– Значит, вы не сердитесь на меня?

– Да нет. За что же? Вы так милы.

Он подыскивал пламенные, трепетные слова, чтобы высказать свою признательность и волнение. Не находя их и слишком волнуясь, чтобы выбирать выражения, он повторил:

– Как я люблю вас!

Она сказала:

– Я предложила вам прийти сюда, потому что здесь тоже вода и пароходы. Конечно, это не то, что там, но и здесь неплохо.

Они сели на скамеечке, у каменной балюстрады, тянувшейся вдоль Сены, и оказались почти одни. Два садовника да три няньки с детьми были в этот час единственными живыми существами на обширной террасе.

У ног их по набережной катили экипажи, но они не видели их. Совсем близко, под стеной, спускающейся от террасы, раздавались шаги, а они, не находя еще что сказать друг другу, смотрели на этот красивый парижский вид, начинающийся островом Сен-Луи и башнями собора Богоматери и кончающийся Медонскими холмами. Она повторила:

– Как здесь все-таки хорошо!

Но его вдруг пронзило вдохновляющее воспоминание об их восхождении в небеса с вершин аббатства, и, терзаемый сожалением о пронесшемся порыве чувства, он сказал:

– Помните, сударыня, наш взлет у Тропы безумцев?

– Еще бы... Но теперь, когда я вспоминаю об этом, мне становится страшно. Боже, как закружилась бы у меня голова, если бы пришлось это повторить. Я тогда совсем опьянела от воздуха, солнца и моря. Взгляните, друг мой, как прекрасно и то, что у нас сейчас перед глазами. Я очень люблю Париж.

Он удивился, смутно почувствовав, что в ней уже недостает чего-то, мелькнувшего там, на вершине.

Он прошептал:

– Не все ли равно где, лишь бы быть возле вас!

Она молча пожала ему руку. Это легкое пожатие наполнило его большим счастьем, нежели сделали бы ласковые слова; сердце его избавилось от стеснения, тяготившего его до сих пор, и он мог наконец заговорить.

Он сказал ей медленно, почти что в торжественных выражениях, что отдал ей жизнь навеки, что она может делать с ним, что захочет.

Она была ему благодарна, но, как истая дочь своего времени, отравленная сомнениями, как безнадежная пленница подтачивающей иронии, она, улыбнувшись, возразила:

– Не берите на себя таких больших обязательств.

Он совсем повернулся к ней и, глядя ей в самые глаза, глядя тем проникновенным взглядом,

который кажется прикосновением, он повторил ей только что сказанное – более пространно, более пылко, более поэтично. Все, что он ей писал в стольких восторженных письмах, он выражал теперь с такой пламенной убежденностью, что она внимала ему, как бы паря в облаках фимиама. Всем своим женским существом она ощущала ласку этих обожающих губ, ласку, какой она еще никогда не знала.

Когда он умолк, она ответила ему просто:

– И я тоже вас очень люблю.

Теперь они держались за руки, как подростки, шагающие бок о бок по проселочной дороге, и затуманенным взором наблюдали, как по реке ползут пароходики. Они были одни в Париже, среди смутного, немолчного, далекого и близкого гула, который носился над ними в этом городе, полном жизни, они были здесь в большем уединении, чем на вершине воздушной башни, и на несколько мгновений действительно забыли, что на земле есть еще что-то, кроме них.

К ней первой вернулось ощущение реальности и сознание, что время идет.

– Хотите опять встретиться здесь завтра? – спросила она.

Он подумал несколько секунд и смутился от того, о чем собирался просить:

– Да... да... разумеется. Но... разве мы никогда не увидимся в другом месте?... Здесь уединенно... однако... всякий может сюда прийти.

Она колебалась.

– Вы правы... А кроме того, вы не должны никому показываться еще, по крайней мере, недели две, чтобы все верили, что вы путешествуете. Будет так мило и так таинственно встречаться с вами, в то время как все думают, что вас нет в Париже. Но пока что я не могу вас принимать. Поэтому... я не представляю себе...

Он почувствовал, что краснеет, но сказал:

– И я не могу просить вас заехать ко мне. Может быть, есть другая возможность, другое место?

Как женщина практическая, свободная от ложной стыдливости, она не удивилась и не была возмущена.

– Да, конечно. Но об этом надо подумать.

– Я уже подумал...

– Уже?

– Да.

– И что же?

– Знаете вы улицу Вьё-Шан в Отейле?

– Нет.

– Она выходит на улицы Турнмин и Жан-де-Сож.

– Ну а дальше?

– На этой улице, или, вернее, в этом переулке, есть сад, а в саду – домик, из которого можно выйти также и на те две улицы, которые я назвал.

– Ну а дальше?

– Этот домик ждет вас.

Она задумалась, потом все так же непринужденно задала два-три вопроса, подсказанных ей женской осторожностью. Он дал разъяснения, по-видимому, удовлетворившие ее, потому что она сказала, вставая:

– Хорошо, завтра приду.

– В каком часу?

– В три.

– Я буду ждать вас за калиткой. Дом номер семь. Не забудьте. Но когда пойдете мимо, постучите.

– Хорошо. До свидания, мой друг. До завтра!

– До завтра. До свидания. Благодарю! Я боготворю вас!

Они стояли рядом.

– Не провожайте меня, – сказала она. – Побудьте здесь минут десять, потом идите набереж-

ной.

– До свидания.

– До свидания.

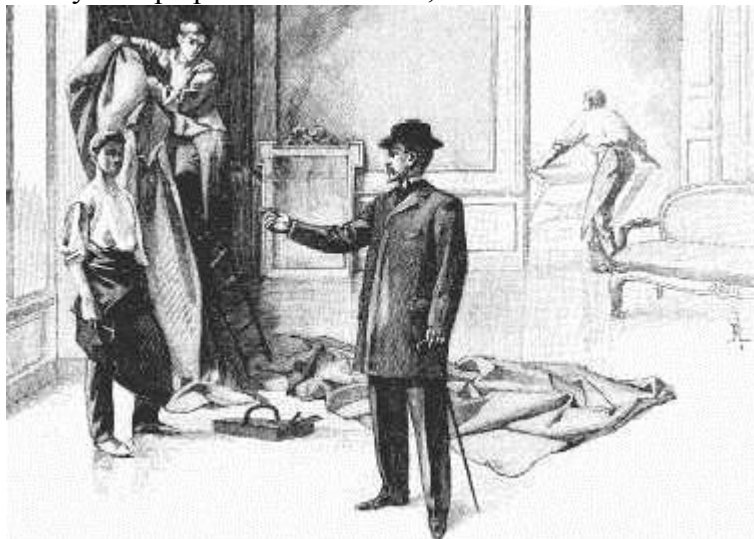
Она пошла очень быстро, с таким скромным, благонравным, деловым видом, что была совсем похожа на тех стройных и трудолюбивых парижских девушек, которые утром бегут по улицам, торопясь на работу.

Он приказал везти себя в Отейль; его терзало опасение, что квартира не будет готова завтра.

Но она оказалась полна рабочих. Стены были уже обиты штофом, на паркете лежали ковры. Всюду мыли, стучали, вбивали гвозди. В саду, остатках старинного парка, довольно обширном и нарядном, было несколько высоких и старых деревьев, густых рощиц, создававших видимость леса, две лиственных беседки, две лужайки и дорожки, вившиеся вокруг куп деревьев; местный садовник уже посадил розы, гвоздику, герань, резеду и десятка два других растений, цветение которых можно путем внимательного ухода ускорить или задержать, чтобы потом в один день превратить неводеланную землю в цветущие клумбы.

Мариоль был рад, словно добился нового успеха; он взял с обойщика клятву, что вся мебель будет расставлена по местам завтра до полудня, и пошел по магазинам за безделушками, чтобы украсить этот уголок внутри. Для стен он выбрал несколько превосходных репродукций знаменитых картин, для каминов и столиков – дэковский фаянс и несколько мелочей, которые женщины любят всегда иметь под рукой.

За день он истратил свой двухмесячный доход и сделал это с огромным наслаждением, подумав, что целых десять лет он экономил не из любви к сбережениям, а из-за отсутствия потребностей, и это позволяло ему теперь роскошествовать, как вельможе.



На другой день он уже с утра был во флигельке, принимал доставленную мебель, распоряжался ее расстановкой, сам развешивал рамки, лазил по лестницам, курил благовония, опрыскивал духами ткани, ковры. В этой лихорадке, в этом восторженном возбуждении, охватившем все его существо, ему казалось, что он занят самым увлекательным, самым упоительным делом, каким занимался когда-либо. Он поминутно глядел на часы, вычислял, сколько времени отделяет его от мгновения, когда войдет она; он торопил рабочих, волновался, стараясь все устроить получше, расставить и сочетать предметы как можно удачнее.

Из предосторожности он отпустил рабочих, когда еще не пробило двух часов. И в то время, как стрелки медленно обходили последний круг по циферблату, в тиши этой обители, где он ожидал величайшего счастья, на какое когда-либо мог рассчитывать, наедине со своей грезой, переходя из спальни в гостиную и обратно, разговаривая вслух, мечтая, бредя, он наслаждался такой безумной любовной радостью, какой не испытывал еще никогда.

Потом он вышел в сад. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, ложились на траву и как-то особенно пленительно освещали клумбу с розами. Значит, и само небо старалось украсить это свидание. Затем он притаился за калиткой, но временами приотворял ее, боясь, как бы г-жа де Бюрн не ошиблась.

Пробило три удара, на которые тотчас же отозвалось несколько фабричных и монастырских башенных часов. Теперь он ждал с часами в руках, и когда раздались два легких удара в дверь, к которой он приложился ухом, он встрепенулся от удивления, потому что не уловил ни малейшего звука шагов.

Он отворил; это была она. Она смотрела на все с удивлением. Прежде всего она тревожным взором окинула ближайшие дома, но сразу успокоилась, так как у нее, конечно, не могло быть знакомых среди тех скромных мещан, которые ютились здесь; затем она с любопытством и удовольствием осмотрела сад; наконец, сняв перчатки, приложила обе руки к губам своего возлюбленного, потом взяла его под руку.

Она твердила на каждом шагу:

– Боже! Вот прелесть! Какая неожиданность! Как очаровательно!

Заметив клумбу с розами, расцвеченную солнцем, пробившимся сквозь ветви, Мишель воскликнула:

– Да это как в сказке, мой друг!

Она сорвала розу, поцеловала ее и приколола к корсажу. Они вошли в домик; у нее был такой довольный вид, что ему хотелось стать перед нею на колени, хотя в глубине сердца он и чувствовал, что ей следовало бы, пожалуй, побольше заниматься им и поменьше окружающим. Она глядела вокруг, возбужденная и радостная, словно девочка, которая забавляется новой игрушкой. Не чувствуя смущения в этой изящной могиле ее женской добродетели, она хвалила изысканность обстановки с восторгом знатока, вкусам которого угодили. Идя сюда, она боялась найти пошлую квартиру с поблекшей обивкой, оскверненной предшествующими свиданиями. Тут же, наоборот, все было ново, неожиданно, кокетливо, создано нарочно для нее и обошлось, вероятно, очень дорого. Человек этот, право же, совершенство!



Она повернулась к нему и подняла руки чарующим призывным движением; закрыв глаза, они обнялись, слившись в поцелуе, который дает странное и двойственное ощущение – блаженства и небытия.

Три часа провели они в непроницаемой тишине этого уединения, тело к телу, уста к уста, и душевное опьянение Андре Мариоля слилось наконец с опьянением плоти.

Перед разлукой они прошли по саду и сели в одной из лиственных беседок, откуда их нельзя было видеть. Восторженный Андре говорил с нею благоговейно, как с кумиром, сошедшим ради него со священного пьедестала, а она его слушала, истомленная усталостью, отражение которой он часто замечал в ее взгляде после затянувшегося визита докучливых гостей. Она все же была приветлива, лицо ее освещалось нежной, несколько принужденной улыбкой, и, держа его руку, она сжимала ее долгим пожатием, скорее невольным, чем сознательным.

Она, по-видимому, не слушала того, что он ей говорил, потому что, прервав его в середине фразы, сказала:

– Решительно мне пора идти. В шесть часов я должна быть у маркизы де Братиан, и я уже сильно запаздываю.

Он бережно проводил ее до двери, которую отворил ей при входе. Они поцеловались, и, бросив на улицу беглый взгляд, она пошла, держа как можно ближе к стене.

Как только он остался один, как только почувствовал внезапную пустоту, которую оставляет в нас женщина, исчезая после объятий, и странную царапину в сердце, наносимую удаляющимися шагами, ему показалось, что он покинут и одинок, словно он ничего не сохранил от нее. И он стал шагать по песчаным дорожкам, размышлял о вечном противоречии между надеждой и действительностью.

Он пробыл здесь до темноты, постепенно успокаиваясь и отдаваясь ей издали с большим самозабвением, нежели отдавалась она, когда была в его объятиях; потом вернулся домой, пообедал, не замечая того, что ест, и сел ей писать.

Следующий день показался ему долгим, вечер – нескончаемым. Он снова написал ей. Как это она не ответила ему, ничего не велела передать? На второй день, утром, он получил краткую телеграмму, назначавшую свидание на завтра, в тот же час. Этот клочок голубой бумаги сразу излечил его от недуга ожидания, который уже начинал его терзать.

Она явилась, как и в первый раз, вовремя, приветливая, улыбающаяся, и их встреча во флигельке ничем не отличалась от первой. Андре Мариоль, сначала удивленный и смутно взволнованный тем, что не ощущал в их отношениях той восторженной страсти, приближение которой он предчувствовал, но еще более влюбленный чувственно, понемногу забывал мечту об ожидаемом обладании, испытывая несколько иное счастье в обладании обретенном. Он привязывался к ней узами ласк, самыми опасными, неразрывными, теми единственными узами, от которых никогда уже не освободиться мужчине, если они крепко обхватят его и так вопьются, что выступит кровь.

Прошло три недели, таких сладостных, таких мимолетных! Ему казалось, что этому не будет конца, что он всегда будет жить так, исчезнув для всех и существуя для нее одной; и в его увлекающейся душе, душе художника, ничего не создавшего, вечно томимого ожиданием, рождалась призрачная надежда на скромную, счастливую и замкнутую жизнь.

Мишель приходила раза два в неделю, не сопротивляясь, привлекаемая, должно быть, столько же радостью этих свиданий, очарованием домика, превратившегося в оранжерею редких цветов, и новизною этих любовных отношений, отнюдь не опасных, раз никто не имел права выследживать ее, и все же полных тайны, – сколько и почтительной, все возрастающей нежностью ее возлюбленного.

Но как-то она сказала ему:

– Теперь, друг мой, вам пора снова появиться в свете. Приходите ко мне завтра днем. Я сказала, что вы вернулись.

Он был в отчаянии.

– Ах, зачем так скоро! – воскликнул он.

– Потому что, если бы случайно узнали, что вы в Париже, ваше уединение показалось бы слишком необъяснимым, возбудило бы подозрения.

Он согласился, что она права, и обещал прийти к ней на другой день. Потом спросил:

– Значит, у вас завтра приемный день?

– Да, – ответила она. – И даже маленькое торжество.

Это было ему неприятно.

– Какое торжество?

Она смеялась, очень довольная.

– Я при помощи разных ухищрений добилась от Масиваля, чтобы он сыграл у меня свою Дидону⁷, которую еще никто не слышал. Это поэма об античной любви. Госпожа де Братиан, считавшая себя единственной обладательницей Масиваля, в полном отчаянии. Впрочем, она тоже будет, она ведь поет. Не молодчина ли я?

– Много будет гостей?

– О нет, только несколько самых близких. Вы почти со всеми знакомы.

– Нельзя ли мне уклониться от этого концерта? Я так счастлив в своем уединении.

– О нет, друг мой. Поймите же, вы для меня самый главный.

Сердце его забилося.

– Благодарю, – сказал он. – Приду.

III

– Здравствуйте, дорогой господин Мариоль.

Он обратил внимание, что теперь он уже не «дорогой друг», как в Отейле. И последовавшее за этим краткое рукопожатие было поспешным рукопожатием женщины, занятой, озабоченной, поглощенной светскими обязанностями. Он направился в гостиную, в то время как г-жа де Бюрн пошла навстречу прекраснейшей г-же Ле Приёр, чуть-чуть иронически прозванной «богиней» за смелые декольте и притязания на скульптурность форм. Ее муж был академик по разряду Надписей и Изящной Словесности.

– А, Мариоль! – воскликнул Ламарт. – Где вы пропадали? Мы уже думали, что вас нет в живых.

– Я путешествовал по Финистеру⁸.

Он стал делиться впечатлениями, но романист прервал его:

– Вы знакомы с баронессой де Фремин?

– Нет, знаю ее только в лицо. Но я много о ней слышал. Говорят, она очень интересна.

– Это королева заблудших, но она упоительна, от нее веет самой изысканной современностью. Пойдемте, я вас представлю ей.

Он взял Мариоля под руку и повел его к молодой женщине, которую всегда сравнивали с куколкой, бледной и очаровательной белокурой куколкой, придуманной и сотворенной самим дьяволом на погибель большому бородатому детям. У нее были продолговатые, узкие, красивые глаза, немного подтянутые к вискам, как у китайцев; взгляд их, отливавший голубой эмалью, струился между век, редко открывавшихся совсем, меж медлительных век, созданных, чтобы что-то скрывать, чтобы беспрестанно опускать завесу над тайной этого существа.

Ее очень светлые волосы отливали серебряными шелковистыми оттенками, и изящный рот с тонкими губами был, казалось, намечен миниатюристом, а затем обведен легкой рукой чеканщика. Голос ее кристально вибрировал, а ее неожиданные острые мысли, полные тлетворной прелести, были своеобразны, злы и причудливы.

Развращающее, холодное очарование и невозмутимая загадочность этой истерической девчонки смущали окружающих, порождая волнение и бурные страсти. Она была известна всему Парижу как самая экстравагантная и к тому же самая остроумная светская женщина из подлинного света, хотя никто в точности не знал, кто она такая и что собою представляет. Она покоряла мужчин своим неотразимым могуществом. Муж ее тоже был загадкой. Благодушный и барственный, он, казалось, ничего не замечал. Была ли то слепота, безразличие или снисходительность? Быть может, ему нечего было замечать, кроме экстравагантностей, которые, несомненно, забавляли и

⁷ Дидона – одна из героинь «Энеиды» Вергилия, легендарная основательница Карфагена. Во время своих странствий герой поэмы Эней попал в Карфаген и стал возлюбленным Дидоны, но затем бросил ее, и царица, страстно влюбленная в него, полная безутешного отчаяния, покончила жизнь самоубийством.

⁸ Финистер – один из северо-западных бретонских департаментов Франции.

его самого? Впрочем, мнения о нем сильно расходились. Передавали и очень дурные слухи. Доходило до намеков, будто он извлекает выгоду из тайной порочности жены.

С г-жой де Бюрн ее связывало взаимное смутное влечение и дикая зависть; периоды их близости чередовались с приступами иступленной вражды. Они нравились друг другу, друг друга боялись и стремились одна к другой, как два заядлых дуэлиста, из которых каждый высоко ценит противника и мечтает его убить.

В настоящее время торжествовала баронесса де Фремин. Она только что одержала победу, и крупную победу: она отвоевала Ламарта, отбила его у соперницы, разлучила и приблизила к себе, чтобы приручить его и открыто записать в число своих завязанных поклонников. Романист был, по-видимому, увлечен, заинтересован, очарован и ошеломлен всем тем, что обнаружил в этом невероятном создании; он не мог удержаться, чтобы не говорить о ней с первым встречным, и это уже стало вызывать толки.

В тот момент, когда он представлял Мариоля, г-жа де Бюрн бросила на него взгляд с другого конца гостиной, и он улыбнулся, шепнув своему другу:

– Посмотрите, как недовольна здешняя повелительница.

Андре взглянул, но г-жа де Бюрн уже повернулась к Масивалю, показавшемуся из-за поднятой портьеры.

Почти сразу же вслед за ним появилась маркиза де Братиан, и это дало Ламарту повод сострить:

– А знаете, мы ведь будем присутствовать при втором исполнении *Дидоны*. Первое, как видно, состоялось в карете маркизы.

Г-жа де Фремин добавила:

– Право, очаровательная Мишель теряет лучшие жемчужины своей коллекции.

В сердце Мариоля вдруг пробудилась злоба, почти ненависть к этой женщине и внезапная неприязнь ко всему этому обществу, к жизни этих людей, к их понятиям, вкусам, их мелочным интересам, их пустым развлечениям. И воспользовавшись тем, что Ламарт склонился к молодой даме и стал говорить ей что-то вполголоса, он повернулся и отошел.

Прекрасная г-жа Ле Приёр сидела одна, в нескольких шагах от него. Он подошел поздороваться с ней. По словам Ламарта, в этой передовой среде она была представительницей старины. Молодая, высокая, красивая, с очень правильными чертами лица, с каштановыми волосами, сверкавшими огненными искрами, приветливая, пленяющая своим спокойствием и доброжелательностью, невозмутимым и в то же время умным кокетством, великим желанием нравиться, скрытым за внешне искренней и простой сердечностью, она снискала себе верных поклонников, которых тщательно оберегала от опасных соперниц. Ее салон состоял из близких друзей, которые, впрочем, единодушно восхваляли также и достоинства ее мужа.

Между нею и Мариолем завязался разговор. Она очень ценила этого умного и сдержанного человека, о котором мало говорили, в то время как он стоил, пожалуй, больше многих других.

Входили запоздавшие приглашенные: толстяк Френель, запыхавшийся, проводил в последний раз платком по всегда влажному, лоснящемуся лбу; великосветский философ Жорж де Мальтри; потом, вместе, барон де Гравиль и граф де Марантен. Г-н де Прадон с дочерью встречали гостей. С Мариолем г-н де Прадон был очень любезен. Но Мариоль с сокрушением смотрел, как г-жа де Бюрн переходит от одного к другому, занятая всеми больше, чем им. Правда, два раза она бросила на него быстрый взгляд, как бы говоривший: «Я думаю о вас», но взгляд столь мимолетный, что он, быть может, ошибся в его значении. К тому же он не мог не замечать, что настойчивое ухаживание Ламарта за г-жой де Фремин раздражает г-жу де Бюрн. «Это, – думал он, – всего лишь досада кокетки, зависть светской женщины, у которой похитили ценную безделушку». Тем не менее он страдал от этого; особенно когда замечал, что она беспрестанно бросает на них украдкой беглые взгляды, но отнюдь не беспокоится, видя его возле г-жи Ле Приёр. Ведь его-то она крепко держит, в нем она уверена, между тем как другой ускользает от нее. В таком случае что же значит для нее их любовь, их только что родившаяся любовь, которая из его души вытеснила все прочие помыслы?

Г-н де Прадон призвал к вниманию, и Масиваль уже открыл рояль, а г-жа де Братиан, снимая

перчатки, подходила к нему, чтобы спеть любовные восторги Дидоны, как дверь вновь отворилась и вошел молодой человек, привлечший к себе все взоры. Это был высокий стройный блондин, с завитыми бакенбардами, короткими выющимися волосами и безупречно аристократической внешностью. Даже на г-жу Ле Приёр он, видимо, произвел впечатление.

– Кто это? – спросил ее Мариоль.

– Как?! Вы его не знаете?

– Да нет.

– Граф Рудольф фон Бернхауз.

– Ах, тот, у которого была дуэль с Сижисмоном Фабром?

– Да.

История эта наделала много шума. Граф фон Бернхауз, советник австрийского посольства, дипломат с большим будущим, прозванный «изящным Бисмарком», услышав на одном официальном приеме непочтительный отзыв о своей государыне, вызвал оскорбителя, знаменитого фехтовальщика, на дуэль и убил его. После этой дуэли, ошеломившей общественное мнение, граф фон Бернхауз в один день стал знаменитостью, вроде Сары Бернар⁹, с той разницей, что его имя было окружено ореолом рыцарской Доблести. Впрочем, это был очаровательный, безукоризненно воспитанный человек, приятный собеседник, Ламарт говорил о нем: «Это укротитель наших прекрасных львиц».

Он с почтительным видом занял место возле г-жи де Бюрн, а Масиваль сел за рояль, и его пальцы пробежали по клавиатуре.

Почти все слушатели пересели, устроились поближе, чтобы лучше слышать и видеть певицу. Ламарт оказался плечом к плечу с Мариолем.

Наступила глубокая тишина, полная напряженного внимания, настороженности и благоговения; потом пианист начал с медленного, очень медленного чередования звуков, казавшегося музыкальным повествованием. Сменялись паузы, легкие повторы, вереницы коротких фраз, то изнемогающих, то нервных, тревожных, но неожиданно своеобразных. Мариоль погрузился в мечты. Ему представлялась женщина, царица Карфагена, прекрасная своей зрелой юностью и вполне расцветшей красотой, медленно идущая по берегу моря. Он понимал, что она страдает, что в душе ее – великое горе; и он всматривался в г-жу де Братиан.

Неподвижная, бледная под копной черных волос, как бы окрашенных ночным мраком, итальянка ждала, устремив вперед неподвижный взгляд. В ее энергичном, немного суровом лице, на котором темными пятнами выделялись глаза и брови, во всем ее мрачном облике, мощном и страстном, было что-то тревожное, как предвестие грозы, таящейся в сумрачном небе.

Масиваль, слегка покачивая кудрявой головой, продолжал рассказывать на звучных клавишах надрывающую сердце повесть.

Вдруг по телу певицы пробежал трепет; она приоткрыла рот и издала протяжный, душераздирающий вопль отчаяния. То не был крик трагической безнадежности, какие издают на сцене певцы, сопровождая их скорбными жестами, то не был и красивый стон обманутой любви, вызывающий в зале восторженные восклицания; это был вопль невыразимый, исторгнутый не душою, а плотью, похожий на вой раздавленного животного, – вопль покинутой самки. Потом она смолкла, а Масиваль все продолжал трепетную, еще более взволнованную, еще более мучительную повесть несчастной царицы, покинутой любимым человеком.

⁹ ...в один день стал знаменитостью, вроде Сары Бернар. – Своим первым и сразу же чрезвычайно шумным успехом знаменитая французская артистка (1844–1923) была обязана своему выступлению в пьесе Франсуа Коппе «Прохожий», поставленной в 1869 году.



Затем снова раздался голос женщины. Теперь она говорила, она рассказывала о невыносимой пытке одиночества, о неутолимой жажде утраченных ласк и о мучительном сознании, что он ушел навсегда.

Ее теплый вибрирующий голос приводил сердца в трепет. Казалось, что эта мрачная итальянка с волосами темнее ночи выстрадала все, о чем она поет, что она любит или, по крайней мере, может любить с неистовым пылом. Когда она умолкла, ее глаза были полны слез; она не спеша стала вытирать их. Ламарт склонился к Мариолу и сказал, весь трепеща от восторга:

– Боже, как она прекрасна в этот миг, дорогой мой! Вот женщина, и другой здесь нет!

Потом, подумав, добавил:

– А впрочем, как знать. Быть может, это только мираж, созданный музыкой. Ведь, кроме иллюзии, ничего нет. Зато какое чудесное искусство – музыка! Как она создает иллюзии! И притом любые иллюзии!

В перерыве между первой и второй частями музыкальной поэмы композитора и певицу горячо поздравляли с успехом. Особенно восторгался Ламарт, и притом вполне искренне, потому что он был одарен способностью чувствовать и понимать и был одинаково чуток к любым проявлениям красоты. Он так пылко рассказал г-же де Братиан о том, что переживал, слушая ее, что она слегка покраснела от удовольствия, в то время как другие женщины, присутствовавшие при этом, испытывали некоторую досаду. Быть может, он и сам заметил, какое впечатление произвели его слова. Возвращаясь на свое место, он увидел, что граф Рудольф фон Бернхауз садится рядом с г-жой де Фремин. Она тотчас же сделала вид, что говорит ему что-то по секрету, и оба они улыбались, словно эта душевная беседа привела их в полный восторг. Мариоль, все больше и больше мрачневший, стоял, прислонясь к двери. Писатель подошел к нему. Толстяк Френель, Жорж де Мальтри, барон де Гравиль и граф де Марантен окружили г-жу де Бюрн, которая стоя разливала чай. Она была как бы в венке поклонников. Ламарт иронически обратил на это внимание своего друга и добавил:

– Впрочем, венок без драгоценностей, и я уверен, что она отдала бы все эти рейнские камеш-

ки за один недостающий бриллиант.

– Какой бриллиант? – спросил Мариоль.

– Да Бернхауз! Прекраснейший, неотразимый, несравненный Бернхауз! Тот, ради которого и устроен сегодняшний концерт, ради которого было совершено чудо: Масиваля уговорили привезти сюда его флорентийскую Дидону.

При всем своем недоверии Андре почувствовал, что сердце его разрывается от горя.

– Давно она с ним знакома? – спросил он.

– О, нет, дней десять самое большее. Но какие усилия она сделала за эту краткую кампанию и какую развернула завоевательную тактику! Если бы вы были здесь – посмеялись бы от души!

– Вот как? Почему?

– Она встретила его в первый раз у г-жи де Фремин. В тот день я там обедал. К Бернхаузу в этом доме очень расположены, в чем вы можете убедиться, – достаточно взглянуть на него сейчас; и вот, едва они познакомились, как наш прелестный друг, госпожа де Бюрн, принялась пленять несравненного австрийца. И ей это удастся, ей это удастся, хотя малютка де Фремин и превосходит ее циничностью, подлинным бездушием и, пожалуй, порочностью. Зато наш друг де Бюрн искуснее в кокетстве, она более женщина, – я хочу сказать: женщина современная, то есть неотразимая благодаря искусству пленять, которое теперь заменяет бывшее естественное очарование. И надо бы даже сказать, не искусство, а эстетика – глубокое понимание женской эстетики. Все ее могущество именно в этом. Она прекрасно знает самое себя, потому что любит себя больше всего на свете, и она никогда не ошибается в выборе средств для покорения мужчины, в том, как показать себя с лучшей стороны, чтобы пленить нас.

Мариоль стал возражать:

– Мне кажется, вы преувеличиваете; со мной она всегда держалась очень просто.

– Потому что простота – это прием, самый подходящий для вас. Впрочем, я не намерен о ней злословить; я нахожу, что она выше почти всех ей подобных. Но это вообще не женщины.

Несколько аккордов, взятых Масивалем, заставили их умолкнуть, и г-жа де Братиан спела вторую часть поэмы, где она предстала подлинной Дидоной, великолепной своей земною страстью и чувственным отчаянием.

Но Ламарт не отрывал глаз от г-жи де Фремин и графа фон Бернхауза, сидевших рядом. Как только последний звук рояля замер, заглушенный аплодисментами, он сказал раздраженно, словно продолжал какой-то спор, словно возражал противнику:

– Нет, это не женщины. Даже самые порядочные из них – ничтожества, сами того не сознающие. Чем больше я их узнаю, тем меньше испытываю то сладостное опьянение, которое должна вызывать в нас настоящая женщина. Эти тоже опьяняют, но при этом страшно возбуждают нервы; это не натуральное вино. О, оно превосходно при дегустации, но ему далеко до бывшего, настоящего вина. Дорогой мой, ведь женщина создана и послана в этот мир лишь для двух вещей, в которых только и могут проявиться ее подлинные, великие, превосходные качества: для любви и для материнства. Я рассуждаю, как господин Прюдом¹⁰. Эти же не способны на любовь и не желают детей; когда у них, по оплошности, родятся дети – это для них несчастье, а потом обуза. Право же, они чудовища.

Мариоль, удивленный резким тоном писателя и злобным огоньком, блестевшим в его глазах, спросил:

– Тогда почему же вы полжизни проводите возле них?

Ламарт ответил с живостью:

– Почему? Почему? Да потому, что это меня интересует. И наконец... Что же, вы запретите врачам посещать больницы и наблюдать болезни? Такие женщины – моя клиника, вот и все.

Это соображение, казалось, успокоило его. Он добавил:

– Кроме того, я обожаю их потому, что они вполне современны. В сущности, я в такой же мере мужчина, в какой они женщины. Когда я более или менее привязываюсь к одной из них, мне

¹⁰ Я рассуждаю, как господин Прюдом – то есть с банальной наставительностью. Образ Прюдума, напыщенного, дидактического и ограниченного буржуа, был создан французским писателем-сатириком Анри Монье (1799–1877).

занятно обнаруживать и изучать все то, что меня от нее отталкивает, и я занимаюсь этим с тем же любопытством, с каким химик принимает яд, чтобы испытать его свойства.

Помолчав, он продолжал:

– Поэтому я никогда не попадусь на их удочку. Я пользуюсь их же оружием, притом владею им не хуже, чем они, может быть, даже лучше, и это полезно для моих сочинений, в то время как им все то, что они делают, не приносит никакой пользы. До чего они глупы! Это все неудачницы, прелестные неудачницы, и тем из них, которые на свой лад чувствительны, остается только чахнуть с горя, когда они начинают стареть.

Слушая его, Мариоль чувствовал, как его охватывает грусть, гнетущая тоска, словно пронизывающая сырость ненастных дней. Он знал, что в общем писатель прав, но не хотел допустить, чтобы он был прав вполне.

Поэтому он стал, немного раздражаясь, спорить, не столько чтобы защитить женщин, сколько для того, чтобы выяснить, почему в современной литературе их изображают такими изменчиво-разочарованными.

– В те времена, когда романисты и поэты восхваляли их и возбуждали в них мечтательность, они искали и воображали, что находят, в жизни эквивалент того, что сердца их предугадывали по книгам. Теперь же вы упорно устраняете все поэтическое и привлекательное и показываете лишь отрезвляющую реальность. А если, друг мой, нет любви в книгах, – нет ее и в жизни. Вы создавали идеалы, и они верили в ваши создания. Теперь вы только изобразители правдивой действительности, и вслед за вами и они уверовали в пошлость жизни.

Ламарт, любивший литературные споры, стал было возражать, но к ним подошла г-жа де Бюрн.

В этот день она была обворожительно одета и как-то особенно хороша, а сознание борьбы придавало ей смелый, вызывающий вид.

Она села.

– Вот это я люблю, – сказала она, – застигнуть двух беседующих мужчин, когда они говорят, не рисуясь передо мною. К тому же вы здесь единственные, которых интересно послушать. О чем вы спорите?

Не смущаясь, тоном светского насмешника Ламарт объяснил ей сущность спора. Потом он повторил свои доводы с еще большим воодушевлением, подстрекаемый желанием понравиться, которое испытывают в присутствии женщины все жаждущие славы.

Она сразу заинтересовалась темой спора и с увлечением приняла в нем участие, защищая современных женщин очень умно, тонко и находчиво. Несколько фраз, непонятных для писателя, о том, что даже самые ненадежные из них могут оказаться верными и любящими, заставили забиться сердце Мариоля. Когда она отошла, чтобы сесть возле г-жи де Фремин, которая упорно не отпускала от себя графа фон Бернхауза, Ламарт с Мариолем, очарованные ее женской мудростью и изяществом, единодушно признали, что она, бесспорно, восхитительна.

– Посмотрите-ка на нее! – добавил писатель.

Шла великая дуэль. О чем говорили они, австриец и две женщины? Г-жа де Бюрн подошла как раз в тот момент, когда продолжительное уединение двух людей, мужчины и женщины, даже если они нравятся друг другу, становится однообразным. И она нарушила это уединение, пересказав с возмущенным видом все, что только что слышала из уст Ламарта. Все это, конечно, могло относиться и к г-же де Фремин, все это шло от последнего завоеванного ею поклонника, все это повторялось при человеке очень тонком, который сумеет понять. Снова разгорелся спор на вечную тему о любви, и хозяйка дома знаком пригласила Ламарта и Мариоля присоединиться к ним. Потом, когда голоса зазвучали громче, она подозвала всех остальных.

Завязался общий спор, веселый и страстный; каждый вставил свое слово, а г-жа де Бюрн, приправляя даже самые потешные свои суждения крупницей чувства, быть может, притворного, сумела показать себя самой остроумной и забавной, ибо в этот вечер она действительно была в ударе, была оживленна, умна и красива, как никогда.

IV

Как только Мариоль расстался с г-жой де Бюрн и стали ослабевать чары ее присутствия, он почувствовал в самом себе и вокруг себя, в теле своем, в душе и во всем мире исчезновение той радости жизни, которая поддерживала и воодушевляла его с некоторых пор.

Что же произошло? Ничего, почти ничего. Она была очень мила с ним в конце этого вечера, раза два сказала ему взглядом: «Для меня здесь нет никого, кроме вас». И все же он чувствовал, что она призналась ему в чем-то, чего он предпочел бы не знать. Это тоже было ничто, почти ничто; тем не менее он был поражен, словно человек, обнаруживший, что его мать или отец совершили неблагоприятный поступок, когда узнал, что в течение последних трех недель, тех трех недель, которые он считал без остатка отданными, посвященными ею, как и им, минута за минутой столь новому и столь яркому чувству их расцветшей любви, – она вернулась к прежнему образу жизни, сделала множество визитов, начала хлопотать, строить планы, возобновила отвратительную любовную войну, побеждала соперниц, завоевывала мужчин, с удовольствием выслушивала комплименты и расточала свое очарование перед другими, а не только перед ним.

Уже! Она уже увлекалась всем этим! О, позже он не удивился бы. Он знал свет, женщин, чувства, он был достаточно умен, чтобы все понять, и никогда не допустил бы в себе ни чрезмерной требовательности, ни мрачной недоверчивости. Она была прекрасна, была создана, чтобы нравиться, чтобы принимать поклонение и пошлые похвалы. Среди всех она выбрала его, отдалась ему смело и гордо. Он все равно по-прежнему остался бы признательным рабом ее прихотей и безропотным свидетелем ее жизни – жизни красивой женщины. Но что-то страдало в нем, в том темном уголке, на дне души, где таятся самые сокровенные чувства.

Конечно, он был не прав и всегда бывал не прав с тех пор, как себя помнил. Он проходил по свету с излишней настороженностью. Оболочка его души была слишком нежна. Отсюда та своего рода отчужденность, в которой он жил, опасаясь трений и обид. Он был не прав, ибо эти обиды почти всегда вызываются тем, что мы не терпим в окружающих черт, несвойственных нам самим. Ему это было известно, он это часто наблюдал в других и все же был не в силах унять свое волнение.

Разумеется, ему не в чем было упрекнуть г-жу де Бюрн. Если она в течение этих дней счастья, дарованного ею, и держала его в затворе, вдали от своего салона, так только для того, чтобы отвлечь внимание, обмануть соглядатаев, а затем безмятежно принадлежать ему. Откуда же эта печаль, закравшаяся в сердце? Откуда? Да ведь он воображал, что она отдалась ему всецело, теперь же он понял, почувствовал, что никогда ему не удастся завладеть и безраздельно обладать ее разносторонней и общительной натурой.

Правда, он прекрасно знал, что вся жизнь построена на зыбких основаниях, и до сего времени мирился с этим, скрывая свою неудовлетворенность под нарочитой нелюдимостью. Но на этот раз ему показалось, что он наконец обретет «полную меру», которую беспрестанно ждал, на которую беспрестанно надеялся. Но «полная мера» – не от мира сего.

Вечер прошел тоскливо, и Мариоль старался доводами рассудка побороть свое тягостное впечатление.

Когда он лег, это впечатление, вместо того чтобы рассеяться, еще возросло, а так как он всегда пристально изучал самого себя, он стал доискиваться малейших причин своих новых душевных мук. Они проходили, уносились, вновь возвращались, как легкие дуновения ледяного ветра, примешивая к его любви боль – еще слабую, отдаленную, но мучительную, похожую на те неопределенные невралгии, вызванные сквозняком, которые грозят жестокими страданиями.

Прежде всего он понял, что он ревнует, – уже не только как неистовый влюбленный, но как самец-обладатель. До тех пор пока он снова не увидел ее среди мужчин – ее поклонников, он не знал этого чувства, хотя отчасти и предвидел его, но представлял его себе иным, совсем не таким, каким оно теперь обернулось. Когда он вновь увидел свою любовницу, которая в дни их тайных и частых свиданий, в пору их первых объятий, должна была бы замкнуться в уединении и в горячем чувстве, – когда он вновь увидел ее и заметил, что она не меньше, а, пожалуй, даже больше прежнего увлекается и тешится все тем же пустым кокетством, что она по-прежнему расточает самое себя перед первым встречным, так что на долю ее избранника могут остаться лишь крохи, – он по-

чувствовал, что ревнует телом еще больше, чем душою, и теперь это было чувство не смутное, как назревающий недуг, а вполне определенное, потому что он усомнился в ней.

Сначала он усомнился инстинктивно, благодаря глухому недоверию, проникшему скорее в его кровь, чем в мысль, благодаря почти физической боли, которая охватывает мужчину, когда он не уверен в своей подруге. Усомнившись, он стал подозревать.

Что он ей, в конце концов? Первый любовник, десятый? Прямой преемник мужа, г-на де Бюрна, или преемник Ламарта, Масиваля, Жоржа де Мальтри и, быть может, предшественник графа фон Бернхауза? Что ему известно о ней? Что она восхитительно красива, что она изящна, умна, изысканна, остроумна, зато изменчива, быстро утомляется, охладевает, пресыщается, что она прежде всего влюблена в самое себя и безгранично кокетлива. Был ли у нее любовник – или любовники – до него? Если бы их у нее не было, разве отдалась бы она ему так смело? Откуда взялась бы у нее дерзость войти к нему в комнату, на постоялом дворе, ночью? Пришла бы разве она потом так легко в отейльский флигелек? Прежде чем принять его приглашение, она только задала несколько вопросов, вполне естественных для опытной и осторожной женщины. Он ответил ей как человек осмотрительный, привычный к таким свиданиям; и она тотчас же сказала «да», доверчивая, успокоенная, вероятно, уже умудренная опытом прежних похождений.

С какой сдержанной властью постучалась она в дверцу, за которой он ждал ее, ждал изнемогающий, с бьющимся сердцем. Как уверенно она вошла, без малейших внешних признаков волнения, желая только убедиться в том, что ее не могут увидеть из соседних домов. Как она сразу почувствовала себя дома в этом подозрительном убежище, снятом и обставленном для ее греховных утех. Могла ли женщина – пусть смелая, стоящая выше житейской морали, презирающая предрассудки – так спокойно погрузиться в неизвестность этой первой встречи, будь она не искушена в таких делах?

Разве не испытала бы она душевного смятения, нерешительности, инстинктивной робости, ступая на этот путь, разве не почувствовала бы она всего этого, если бы не имела некоторого опыта в этих любовных вылазках, если бы привычка к таким вещам уже не притупила ее врожденной стыдливости?

Разгоряченный терзающей, невыносимой лихорадкой, которую душевные страдания рожают в тепле постели, Мариоль метался, увлекаемый цепью своих предположений, как человек, скользящий по наклонной плоскости. Временами он пытался остановить их поток и разрушить их последовательность, он подыскивал, находил, лелеял разумные и успокаивающие мысли, но в нем таился зачаток страха, и он не мог воспрепятствовать его росту.

А между тем в чем он мог бы ее упрекнуть? Разве только в том, что она не вполне похожа на него, что она понимает жизнь не так, как он, и что чувствительные струны ее сердца не вполне созвучны с его струнами?

На другой день, как только он проснулся, в нем стало расти, словно голод, желание вновь увидеть ее, восстановить возле нее свое поколебленное доверие, и он стал ждать положенного часа, чтобы отправиться туда с первым официальным визитом.

Когда он вошел в маленькую гостиную, где она в одиночестве писала письма, она встала ему навстречу, протянув обе руки.

– Здравствуйте, милый друг, – сказала она с такой живой и искренней радостью, что все дурные мысли, тень которых еще витала в его уме, мгновенно улетучились.

Он сел возле нее и сразу стал говорить о том, как он ее любит, потому что теперь он ее любил уже не так, как прежде. Он ласково объяснял ей, что на свете существуют две породы влюбленных: одни безумствуют от вожделений, но пыл их остывает на другой же день после победы; других обладание покоряет и привязывает; у этих последних чувственной любви сопутствуют духовные, неизъяснимые призывы, с которыми мужское сердце иной раз обращается к женщине, и это порождает великую порабощенность, порабощенность всепоглощающей и мучительной любви.

Да, мучительной, всегда мучительной, какою бы счастливой она ни была, потому что ничто не может утолить, даже в мгновения наибольшей близости, ту потребность в ней, которую мы носим в своем сердце.

Г-жа де Бюрн слушала его очарованная, благодарная и воодушевлялась его словами, как воодушевляется зритель, когда актер с увлечением играет роль и когда эта роль трогает нас, отзываясь эхом в нашей собственной душе. А это действительно звучало как эхо, волнующее эхо искренней страсти; но не в ней кричала эта страсть. Однако она была так довольна тем, что зародила подобное чувство, так довольна, что это случилось с человеком, который может так его выражать, с человеком, который ей положительно очень нравится, к которому она начинает очень привязываться, который становится ей все более и более необходим – не для тела ее, не для плоти, а для ее таинственного женского существа, всегда жаждущего ласки, поклонения, покорности; была так рада, что ей хотелось поцеловать его, отдать ему свои губы, отдать всю себя, чтобы он не переставал боготворить ее.



Она отвечала ему без притворства и жеманной стыдливости, с большим искусством, каким одарены некоторые женщины, и дала понять, что и он многого достиг в ее сердце. И, сидя в этой гостиной, где в тот день случайно никто не появлялся до самых сумерек, они пробыли вдвоем, беседуя об одном и том же и лаская друг друга словами, которые имели неодинаковое значение для их душ.

Уже внесли лампы, когда приехала г-жа де Братиан, Мариоль откланялся; г-жа де Бюрн проводила его до большой гостиной, и он спросил:

- Когда же мы увидимся там?
- Хотите в пятницу?
- Разумеется. В котором часу?
- Как всегда – в три.
- До пятницы. Прощайте. Я боготворю вас!

В течение двух дней, отделявших его от этой встречи, он обнаружил в себе, он почувствовал такую пустоту, какой не испытывал еще никогда. Ему недоставало этой женщины, и ничто, кроме нее, для него не существовало. А так как эта женщина была недалеко, была доступна и только светские условности мешали ему видеть ее в любой момент, даже жить возле нее, он приходил в отчаяние от своего одиночества, от бесконечного потока мгновений, которые порою так медленно ползут, от полной невозможности осуществить такую простую вещь.

В пятницу он пришел на свидание за три часа до назначенного времени; но ему нравилось ждать там, куда она должна прийти; это успокаивало его после того, что он выстрадал, мысленно ожидая ее в таких местах, куда она прийти не могла.

Он стал за дверью задолго до того, как должны были пробить три долгожданных удара, а услышав их, задрожал от нетерпения. Он осторожно, чуть высунув голову, выглянул в переулок. Там не было ни души. Минуты казались ему мучительно долгими. Он беспрестанно вынимал часы, а когда стрелки добрались до половины, ему стало казаться, что он стоит на этом месте с незапамятных времен. Вдруг он различил легкие шаги на тротуаре, и когда она рукою в перчатке по-

стучала в деревянную дверцу, он забыл пережитую муку, растворившуюся в благодарности к ней.

Немного запыхавшись, она спросила:

– Я очень опоздала?

– Нет, не очень.

– Представьте себе, что мне чуть было не помешали. У меня был полон дом, и я решительно не знала, как всех их спровадить. Скажите, вы сняли этот домик на свое имя?

– Нет. А почему вы спрашиваете?

– Чтобы знать, кому послать телеграмму, если будет какое-нибудь непреодолимое препятствие.

– Я – господин Николь.

– Отлично. Я запомню. Боже, как хорошо здесь в саду!

Цветы, за которыми садовник заботливо ухаживал, обновляя и приумножая их, так как убедился, что заказчик платит щедро, не торгуясь, теперь пестрели среди лужайки пятью большими благоухающими островками.

Она остановилась у скамьи, возле клумбы с гелиотропом, и сказала:

– Посидим здесь немного. Я расскажу вам препотешную историю.

И она поделилась с ним совсем свеженькой сплетней, под впечатлением которой она еще находилась. Говорили, будто г-жа Масиваль, бывшая любовница композитора, на которой он впоследствии женился, проникла, потеряв голову от ревности, к г-же Братиан в самый разгар вечера, когда маркиза пела под аккомпанемент композитора, и устроила дикую сцену; в итоге – ярость итальянки, изумление и злорадство гостей.

Растерявшийся Масиваль пытался вывести, вытащить супругу, но та осыпала его пощечинами, вцепилась в бороду и волосы, кусалась, рвала на нем платье. Она впиалась в него, связала его движения, в то время как Ламарт и два лакея, прибежавшие на крик, старались вырвать его из когтей этой взбесившейся фурии.

Спокойствие водворилось лишь после того, как супруги уехали. С тех пор музыкант нигде не показывается, а романист, свидетель этой сцены, всюду рассказывает о случившемся с неподражаемым остроумием и фантазией.

Г-жа де Бюрн была так взволнована и поглощена этой историей, что только о ней и говорила. Имена Масиваля и Ламарта, не сходявшие с ее губ, раздражали Мариоля.

– Вы только что узнали об этом? – спросил он.

– Ну да, какой-нибудь час тому назад.

Он с горечью подумал: «Так вот почему она опоздала».

Потом он спросил:

– Пойдемте в комнаты?

Она рассеянно и покорно прошептала:

– Пойдемте.

Когда она час спустя рассталась с ним, потому что очень торопилась, он один вернулся в уединенный домик и сел на низенькую табуретку в их спальне. Во всем его существе, в его сердце осталось впечатление, что он обладал ею не больше, чем если бы она вовсе не пришла, и в нем раскрылась черная бездна, в глубь которой он теперь глядел. Он ничего там не видел, он не понимал. Он перестал понимать. Если она и не уклонялась от его объятий, то она уклонилась от его нежной любви, потому что в ней странно отсутствовало желание принадлежать ему. Она не отказалась отдаться, она не отстранялась, но сердце ее, по-видимому, не вошло в этот дом вместе с нею. Оно осталось где-то далеко-далеко, блуждающее, занятое мелочами.

Тогда он ясно понял, что теперь любит ее телом так же, как и душой, – быть может, даже больше. Разочарование, оставшееся после тщетных ласк, зажигало в нем неистовое желание броситься ей вслед, вернуть, вновь обладать ею. Но зачем? К чему это? Раз ее изменчивая мысленная сегодня чем-то другим! Значит, надо ждать, ждать дня и часа, когда этой вечно ускользающей любовнице среди других прихотей придет прихоть чувствовать себя влюбленной в него.

Он пошел домой не спеша, тяжелой поступью, очень утомленный, понурый, уставший от жизни. И тут он вспомнил, что они не назначили следующего свидания – ни у нее, ни в другом ме-

сте.

V

До наступления зимы она была более или менее верна их свиданиям. Верна, но не точна.

Первые три месяца она приходила с опозданием от сорока минут до двух часов. Так как из-за осенних дождей Мариоль приходилось теперь ждать ее за калиткою сада, у забора, в грязи, дрожа от сырости, он велел поставить деревянную будку, вроде сени, с крышею и стенами, чтобы не простужаться при каждой их встрече. Деревья стояли обнаженные, на месте роз и других растений теперь раскинулись высокие и широкие клумбы с белыми, розовыми, сиреневыми, красными, желтыми хризантемами, которые распространяли свое терпкое и пряное, немного печальное благоухание крупных, благородных осенних цветов в сыром воздухе, пропитанном грустным запахом дождя, струящегося на опавшие листья. Их редкие разновидности умело подобранных и искусственно подчеркнутых оттенков образовали перед входом в домик большой мальтийский крест нежных переливчатых тонов, и когда Мариоль проходил мимо этой клумбы, придуманной его садовником, где распускались все новые изумительные цветы, его сердце сжималось от мысли, что этот цветущий крест как бы обозначает могилу.



Он познал теперь долгие часы ожидания в будочке за калиткой. Дождь лил на солому, которую он распорядился покрыть крышу, и стекал с нее по дощатым стенам; и каждый раз, стоя в этой часовне ожидания, он перебирал в душе все те же думы, повторял те же рассуждения, проходил через те же надежды, те же тревоги и то же отчаяние.

Для него это была непредвиденная, беспрестанная нравственная борьба, ожесточенная, изнуряющая борьба с чем-то неуловимым, с чем-то, быть может, даже вовсе не существующим; борьба за сердечную нежность этой женщины. Как странны были их встречи!

То она являлась смеющаяся, горящая желанием поболтать, и садилась, не снимая шляпы, не снимая перчаток, не поднимая вуалетки, даже не поцеловав его. В такие дни ей нередко и в голову не приходило его поцеловать. В уме ее роилось множество посторонних мыслей, более заманчивых, чем желание протянуть губы возлюбленному, которого снедает отчаянная страсть. Он сажал

ся возле нее, с сердцем и устами, полными жгучих слов, не находивших исхода; он слушал ее, от-вечал и, с виду очень заинтересованный тем, что она рассказывала, временами пробовал взять ее за руку. И она давала ее бессознательно, дружески и хладнокровно.

То она казалась более нежной, более принадлежащей ему; но, бросая на нее тревожные взгляды, пронизательные взгляды влюбленного, бессильного покорить ее всецело, он понимал, догадывался, что эта относительная нежность объясняется тем, что сегодня ее мысль не взволнована и не отвлечена никем и ничем.

К тому же ее постоянные опаздывания говорили о том, как мало стремилась она на эти свидания. Торопишься к тому, что любишь, что нравится, что влечет к себе, но никогда не спешишь к тому, что мало привлекает, и все тогда служит предлогом, чтобы замедлить или прервать поездку, чтобы оттянуть тягостный час. Странное сравнение с самим собою беспрестанно приходило ему в голову. Летом влечение к холодной воде заставляло его спешить с утренним туалетом, чтобы поскорее принять душ, в то время как в сильные холода он находил столько мелочей, которые надо было сделать перед уходом, что приходил в ванное заведение часом позже обычного. Отейльские встречи были для нее тем же, что душ зимою.

С некоторых пор, впрочем, она стала пропускать свидания, откладывая их на другой день, в последнюю минуту присылала депешу – казалось, выискивая препятствия и всегда находя вполне благовидные предлоги, но они все же повергали его в невыносимую душевную тревогу и физическое изнеможение.

Если бы она хоть чем-нибудь проявляла охлаждение к нему, малейшее утомление от его страсти, которая, как она видела и чувствовала, все возрастала, он, пожалуй, мог бы рассердиться, потом оскорбиться, потом впасть в уныние и, наконец, успокоиться. Она же, напротив, казалась как никогда привязанной к нему, как никогда польщенной его любовью, дорожащей ею, но отвечала ему лишь дружеским предпочтением, которое начинало возбуждать ревность остальных ее поклонников.

Как бы часто он ни бывал у нее, ей всегда этого казалось мало, и в той же телеграмме, в которой сообщала Андре о невозможности приехать в Отейль, она всегда настойчиво приглашала его прийти к обеду или посидеть часок вечером. Сначала он принимал эти приглашения за желание вознаградить его, но потом ему пришлось понять, что ей просто очень приятно его видеть, приятнее, чем остальных, что действительно он ей нужен, нужны его влюбленная речь, боготворящий взгляд, близость, как бы обволакивающая привязанность и сдержанная ласка его присутствия. Они были ей нужны, подобно тому, как идолу, чтобы стать истинным богом, нужны чьи-то молитвы и вера. В безлюдной часовне он всего лишь точеная деревяшка. Но если хоть один верующий войдет в святилище, станет поклоняться, взывать, повергаться ниц, стенать от усердия в упоении своей верою, идол станет равным Бrame, Аллаху или Христу, ибо всякое любимое существо – своего рода бог.

Г-жа де Бюрн больше, чем всякая другая, чувствовала себя созданной для роли фетиша, для миссии, которую природа предназначила женщинам, – быть предметом поклонения и искательства, торжествовать над мужчинами своею красотой, изяществом, очарованием и кокетством.

Она действительно была той женщиной-богиней, хрупкой, высокомерной, требовательной и надменной, которую любовное преклонение самцов, точно фимиам, возвеличивает и обожествляет.

Между тем свое расположение к Мариолу и явное предпочтение ему она проявляла почти открыто, не боясь сплетен и, быть может, не без тайного умысла раздражить и воспламенить других. Теперь уже почти нельзя было прийти к ней, чтобы не застать его здесь сидящим в большом кресле, которое Ламарт называл «жреческим тронem», и ей доставляло искреннее удовольствие проводить целые вечера с ним наедине, беседуя и слушая его.

Ей все больше нравилась та сокровенная жизнь, которую он открывал перед ней, и беспрестанное общение с приятным, просвещенным, образованным человеком, принадлежащим ей, ставшим ее собственностью, как безделушки, валяющиеся у нее на столе. Она и сама мало-помалу все больше раскрывалась перед ним, делясь с ним своими мыслями, своими затаенными мечтами в дружеских признаниях, которые так же приятно делать, как и выслушивать. Она чувствовала себя

с ним свободнее, искреннее, откровеннее, непринужденнее, чем с другими, и любила его за это больше других. Как всякой женщине, ей было отрадно чувствовать, что она действительно дарит что-то, доверяет кому-то всю свою внутреннюю сущность, чего она никогда еще не делала.

Для нее это было много, но мало для него. Он ждал, он все надеялся на великую, окончательную победу над существом, которое отдает в ласках всю свою душу. Однако ласки она, по-видимому, считала излишними, докучными, даже тягостными. Она покорялась им, не была безразличной, но быстро уставала; а за этой усталостью, несомненно, следовала скука.

Даже самая легкая, самая незначительная ласка, по-видимому, утомляла и раздражала ее. Когда он, беседуя, брал ее руку и один за другим целовал ее пальцы, слегка вбирая их губами, как конфеты, ей, видимо, всегда хотелось отнять их, и он чувствовал в ее руке невольное сопротивление.

Когда, уходя от нее, он припадал долгим поцелуем к ее шее, между воротничком и золотистыми завитками на затылке, вдыхая ее аромат в складках материи, касающейся тела, она всегда слегка отстранялась и еле заметно ускользала от прикосновения его губ.

Он ощущал это, как удар ножа, и уносил с собою, в одиночество своей любви, раны, которые потом еще долго кровоточили. Почему ей не дано было пережить хотя бы тот краткий период увлечения, который следует почти у всех женщин за добровольным и бескорыстным даром своего тела? Часто он длится недолго, сменяясь сначала усталостью, потом отвращением. Но как редко случается, что он вовсе не наступает – ни на день, ни на час! Эта женщина сделала его не любовником, а каким-то чутким свидетелем своей жизни.

На что же он жалуется? Те, которые отдаются совсем, быть может, не дарят так много?

Он не жаловался: он боялся. Он боялся *другого* – того, который появится неожиданно, кого она встретит завтра или послезавтра, кто бы он ни был – художник, светский лев, офицер, актриса, того, кто рожден пленить ее женский взор и нравиться ей только потому, что он – тот самый, который впервые внушит ей властное желание раскрыть свои объятия.

Он уже ревновал ее к будущему, как временами ревновал к неизвестному прошлому; зато все друзья молодой женщины уже начинали ее ревновать к нему. Они говорили об этом между собою, а иногда даже осмеливались на осторожные, туманные намеки в ее присутствии. Одни считали, что он ее любовник. Другие придерживались мнения Ламарта и утверждали, что она, как обычно, забавляется тем, что кружит ему голову, а их доводит до ожесточения и отчаяния, – вот и все. Заволновался и ее отец; он сделал ей несколько замечаний, которые она выслушала свысока. И чем больше рос вокруг нее ропот, тем с большей настойчивостью она открыто выказывала свое предпочтение Мариолу, странным образом противореча своему обычному благоразумию.

Его же несколько беспокоили эти глухие подозрения. Он сказал ей о них.

– Какое мне дело! – ответила она.

– Если бы вы хоть действительно любили меня настоящей любовью!

– Да разве я не люблю вас, друг мой?

– И да и нет. Вы очень любите меня у себя дома и мало – в другом месте. Я предпочел бы обратное – для себя и даже для вас.

Она рассмеялась и прошептала:

– Каждый старается по мере сил.

Он возразил:

– Если бы вы знали, в какое волнение повергают меня тщетные старания воодушевить вас!

То мне кажется, что я стремлюсь схватить что-то неуловимое, то я словно обнимаю лед, который замораживает меня, тая в моих руках.

Она ничего не ответила, потому что недолюбливала эту тему, и приняла тот рассеянный вид, который часто бывал у нее в Отейле.

Он не посмел настаивать. Он смотрел на нее с тем восхищением, с каким знатоки смотрят в музеях на драгоценные предметы, которые нельзя унести с собой.

Его дни, его ночи превратились в бесконечные часы страданий, потому что он жил с навязчивой мыслью, больше того – с неотступным ощущением, что она его и не его, что она покорена и непокорима, отдалась и не принадлежит ему. Он жил около нее, совсем близко, но она оставалась

все такой же далекой, и он любил ее со всем неутоленным вожделением души и тела. Как и в начале их связи, он стал писать ей. Один раз он уже преодолел чернилами ее добродетель; быть может, чернилами же ему удастся преодолеть и это последнее – внутреннее и тайное сопротивление. Он стал посещать ее реже, зато почти ежедневно твердил ей в письмах о тщете своего любовного порыва. Время от времени, когда они бывали особенно красноречивы, страстны, скорбны, она отвечала ему.

Ее письма, нарочно помеченные полуночным часом, двумя и даже тремя часами ночи, были ясны, определены, хорошо обдуманы, благосклонны, ободряющи, но приводили в отчаяние. Она прекрасно рассуждала, вкладывала в них ум, даже фантазию. Но сколько бы он их ни перечитывал, какими бы ни считал их справедливыми, умными, хорошо написанными, изящными, лестными для его мужского самолюбия – он не находил в них души. Души в них было не больше, чем в поцелуях, которые она дарила ему в отейльском флигельке.

Он доискивался причин. И, твердя эти письма наизусть, он в конце концов так хорошо их изучил, что постиг эту причину: ведь в письмах узнаешь людей лучше всего. Слова ослепляют и обманывают, потому что их сопровождает мимика, потому что видишь, как они срываются с уст, – а уста нравятся, и глаза ободряют. Но черные слова на белой бумаге – это сама обнаженная душа.

Благодаря уловкам красноречия, профессиональной сноровке, привычке пользоваться пером для решения всевозможных повседневных дел мужчине часто удается скрыть свой характер за безличным – деловым или литературным – слогом. Но женщина пишет почти только для того, чтобы поговорить о себе, и в каждое слово вкладывает частицу своего существа. Ей неведомы ухищрения стиля, и в простодушных выражениях она выдает себя целиком. Он припоминал письма и мемуары знаменитых женщин, прочитанные им. Как отчетливо выступали там все они – и жеманницы, и остроумные, и чувствительные! А письма г-жи де Бюрн его особенно поражали тем, что в них никогда не заметно было ни крошки чувствительности. Эта женщина мыслила, но не чувствовала. Он вспоминал другие письма. Он получал их много. Одна мешаночка, с которой он познакомился во время путешествия, любила его в течение трех месяцев и писала ему прелестные письма, полные трепета, остроумия и неожиданностей. Он даже удивлялся гибкости, красочному изяществу и разнообразию ее слога. Чем объяснялся этот дар? Тем, что она была очень чувствительна, и только. Женщина не выбирает выражений: их подсказывает ее уму непосредственное чувство; она не роется в словарях. Когда она сильно чувствует, она выражается очень точно, без труда и ухищрений, под влиянием своей изменчивой искренности.

Именно неподдельную сущность своей любовницы и старался он обнаружить в строках, которые она писала ему. Она писала мило и тонко. Но почему у нее не находилось для него ничего другого? Он-то ведь нашел для нее слова, правдивые и жгучие, как уголья.

Когда камердинер подавал ему почту, он взглядом отыскивал на конверте желанный почерк и, узнав его, испытывал невольный трепет, сердце его начинало биться. Он протягивал руку и брал письмо. Снова смотрел на адрес, потом распечатывал конверт. Что она ему скажет? Будет ли там слово «любить»? Ни разу она его не написала, ни разу не произнесла, не добавив «очень». «Я вас очень люблю». «Я вас горячо люблю». «Разве я не люблю вас?» Он хорошо знал эти выражения, теряющие значение от того, что к ним прибавляется. Могут ли существовать различные степени, когда находишься во власти любви? Можно ли судить, хорошо ли ты любишь или дурно? Очень любить – как это мало! Когда любишь, – просто любишь, ни более, ни менее. Это не нуждается ни в каких дополнениях. Сверх этого слова невозможно ничего ни придумать, ни сказать. Оно кратко, оно самодовлеюще. Оно становится телом, душой, жизнью, всем существом. Его ощущаешь, как теплоту крови, вдыхаешь, как воздух, носишь в себе, как Мысль, потому что оно становится единственной Мыслью. Кроме него, ничего не существует. Это не слово – это невыразимое состояние, изображенное несколькими буквами. Что бы ты ни делал, ты ничего не делаешь, ничего не видишь, ничего не чувствуешь, ничем не наслаждаешься, ни от чего не страдаешь так, как прежде. Мариоль стал жертвою этого коротенького глагола; и его глаза пробегали по строчкам, ища хоть признака нежности, подобной его чувству. Но он находил там только то, что позволяло сказать самому себе: «Она очень меня любит», но никак не воскликнуть: «Она любит меня!» В своих

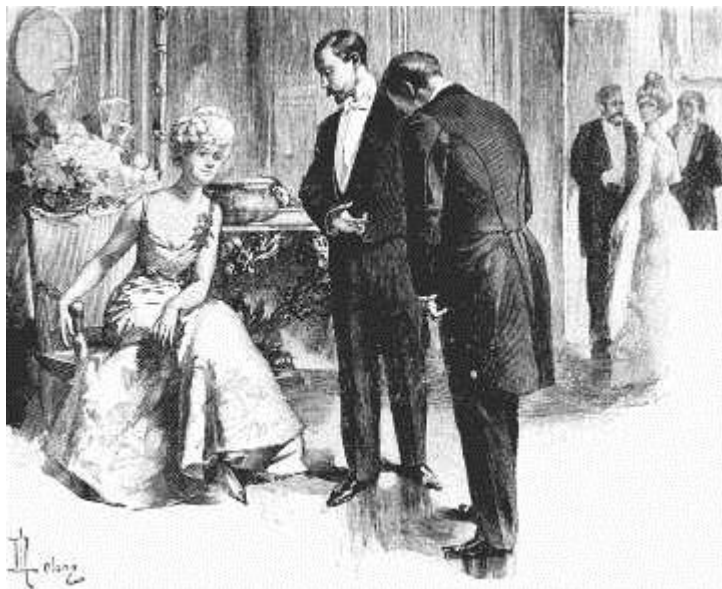
письмах она продолжала красивый и поэтический роман, начавшийся на горе Сен-Мишель. Это была любовная литература, а не любовь.

Кончив читать и перечитывать, он запирал эти дорогие и доводящие до отчаяния листки и садился в кресло. Он провел в нем уже немало тягостных часов.

Со временем она стала отвечать реже, по-видимому, устав слагать фразы и повторять все одно и то же. К тому же она переживала полосу светских волнений, и Андре чувствовал это с той острой болью, которую причиняют страждущим сердцам мелкие неприятности.

В эту зиму давалось много балов. Какой-то вихрь развлечений охватил и закружил Париж, и все ночи напролет по городу катили фиакры, кареты, за поднятыми стеклами которых мелькали, как белые видения, облики нарядных женщин. Все веселились; только и было разговору, что о спектаклях и балах, утренних приемах и вечерах. Эта жажда удовольствий, словно какое-то поветрие, внезапно захватила все слои общества и коснулась также и г-жи де Бюрн.

Началось это с балетного представления в австрийском посольстве, где ее красота имела шумный успех. Граф фон Бернхауз познакомил ее с женою посла, княгиней фон Мальтен, которую она сразу и окончательно пленила. Она в короткий срок стала ближайшим другом княгини и через нее быстро расширила свои связи в самых изысканных дипломатических и великосветских кругах. Ее изящество, обаяние, ум, элегантность, ее редкое остроумие способствовали ее быстрому триумфу, сделали ее модной, выдвинули в первый ряд, и самые знатные женщины Франции пожелали бывать у нее.



Каждый понедельник целые вереницы карет с гербами выстраивались вдоль тротуара на улице Генерала Фуа, и лакеи теряли голову, путая герцогинь с маркизами, графинь с баронессами, когда провозглашали эти громкие имена в дверях гостиных.

Все это пьянило ее. Compliments, приглашения, знаки внимания, чувство, что она стала одной из тех любимых, одной из тех избранниц, которых Париж приветствует, обожает, боготворит, пока длится его увлечение, чувство радости от сознания, что ее лелеют, зовут, приглашают, что ею любят, что она всюду желанна, вызвали в ее душе острый приступ снобизма.

Ее артистический кружок попробовал было бороться, и этот бунт объединил всех ее старых друзей. Даже Френеля они приняли, зачислили в свои ряды, и он стал силой в этой лиге; а возглавил ее Мариоль, так как всем было известно его влияние на г-жу де Бюрн и ее расположение к нему.

Но сам он, наблюдая, как она уносится в вихре головокружительных светских успехов, испытывал чувство ребенка, который видит, как улетает красный воздушный шар, выпущенный им из рук.

Ему казалось, что она ускользает в нарядной, пестрой танцующей толпе, уходит далеко-далеко от сладостного тайного чувства, которого он так жаждал, и он ревновал ее ко всем и ко всему, к мужчинам, к женщинам, к вещам. Он ненавидел весь ее образ жизни, всех, кто ее окружал, все празднества, где она бывала, балы, музыкальные собрания, театры, потому что все это по

частицам отнимало ее, поглощало ее дни и вечера, и для общения с ним у нее оставались лишь редкие свободные часы. Его так мучила эта затаенная обида, что он едва не заболел, и он стал являться к ней с таким осунувшимся лицом, что она как-то спросила:

– Что с вами? Вы так изменились, так стали худеть!

– Со мною то, что я слишком люблю вас, – ответил он.

Она бросила на него признательный взгляд:

– Нельзя любить слишком, друг мой.

– И это вы так говорите?

– Разумеется.

– И вы не понимаете, что я умираю оттого, что люблю вас тщетно?

– Прежде всего, вы любите меня не тщетно. Кроме того, от этого не умирают. Наконец, все наши друзья завидуют вам, и это доказывает, что, в конечном счете, я отношусь к вам не так уж плохо.

Он взял ее руку:

– Вы не понимаете меня.

– Нет, отлично понимаю.

– Слышите вы отчаянные призывы, с которыми я беспрестанно обращаюсь к вашему сердцу?

– Слышу.

– И что же?

– И... мне это очень грустно, потому что я искренне люблю вас.

– Другими словами...

– Другими словами, вы ко мне взываете: «Будьте такою, как я: мыслите, чувствуйте и выражайтесь, как я». Но, бедный друг мой, этого я сделать не могу. Я такая, как есть. Нужно принимать меня такою, какой я создана; такою я вам отдалась, и не жалею об этом, и не хочу отступать: ведь вы для меня – самое дорогое существо на свете.

– Вы не любите меня.

– Я люблю вас самую большую любовью, на какую способна. Если она такая, а не иная и не может быть сильнее, – моя ли в том вина?

– Будь я в этом уверен, я, может быть, удовольствовался бы тем, что есть.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что считаю вас способной любить иначе, но уже не верю в то, что могу внушить вам настоящую любовь.

– Нет, друг мой, вы ошибаетесь. Вы мне дороже, чем кто-либо когда-нибудь был и будет. По крайней мере, я в этом совершенно убеждена. У меня большая заслуга перед вами в том, что я не лгу, не подделываюсь под ваш идеал, в то время как многие женщины поступили бы иначе. Цените же это, не волнуйтесь, не терзайтесь, верьте в мою привязанность, которая отдана вам искренне и безраздельно.

Он тихо возразил, понимая, как далеки они друг от друга:

– Какое странное понимание любви и какая странная манера говорить о ней! Я действительно тот, кого вам часто бывает приятно видеть сидящим возле вас. Для меня же вы весь мир: я знаю в нем только вас, ощущаю вас одну, нуждаюсь в вас одной.

Она благосклонно улыбнулась и ответила:

– Я это знаю, чувствую, понимаю. Я в восторге от этого и говорю вам: любите меня так всегда, если возможно, потому что для меня это – истинное счастье. Но не заставляйте меня разыгрывать перед вами комедию, мне это было бы тяжело, да и недостойно нас. С некоторых пор я уже чувствую, как назревает этот кризис; он для меня очень мучителен, потому что я глубоко привязана к вам, но я не могу переломить свою натуру до такой степени, чтобы она стала подобною вашей. Берите меня такою, какая я есть.

Он вдруг спросил:

– Предполагали ли вы, думали ли хоть один день, один час, до или после, что можете полюбить меня иначе?

Она несколько мгновений помолчала, затрудняясь ответить.

Он мучительно ждал, потом проговорил:

– Вот видите, вы сами отлично сознаете, что мечтали совсем о другом.

Она медленно прошептала:

– Я могла одно мгновение и ошибаться в себе самой.

Он воскликнул:

– Ах, какие тонкости, какая психология! О сердечных порывах так не рассуждают.

Она все еще думала, занятая собственной мыслью, этим самоанализом, самоизучением, а потом добавила:

– Прежде чем полюбить вас, как я теперь вас люблю, быть может, мне действительно на один миг поверилось, что я буду сильнее... сильнее увлечена вами... но тогда я, безусловно, была бы не так проста, не так откровенна... может быть, не так искренна впоследствии.

– Почему не так искренна впоследствии?

– Потому что вы заключаете любовь в формулу: «Все или Ничего», а это «Все или Ничего», по-моему, означает: «Сначала Все, а потом Ничего». И вот, когда наступает это «Ничего», женщины начинают лгать.

Он возразил в сильном волнении:

– Значит, вы не понимаете, какой ужас, какая пытка для меня думать, что вы могли бы любить меня иначе? Вам это почудилось – значит, так вы полюбите кого-то другого.

Она, не колеблясь, ответила:

– Не думаю.

– А почему? В самом деле, почему? Если у вас было предчувствие любви, если вас коснулось веяние неосуществимой и мучительной надежды слиться всей своей жизнью, душою и телом с другим существом, исчезнуть в нем и принять его в себя, если вы почувствовали возможность этого невыразимого душевного состояния, то рано или поздно вы испытаете его.

– Нет. Я была обманута своим воображением, и оно обманулось во мне. Я отдаю вам все, что могу отдать. Я много размышляла над этим с тех пор, как стала вашей любовницей. Заметьте: я ничего не боюсь – даже слов. Право, я вполне убеждена, что не могу любить ни больше, ни лучше, чем люблю сейчас. Видите, я говорю с вами, как сама с собой. Я поступаю так потому, что вы очень умный, что вы все понимаете, во все вникаете и что ничего не скрывать от вас – лучший, единственный способ связать нас крепко и надолго. Вот на что я надеюсь, мой друг.



Он слушал ее так, как пьет умирающий от жажды; он бросился на колени, прильнув лицом к ее платью. Он прижимал к губам ее маленькие ручки, твердя: «Благодарю, благодарю!» Когда он

поднял голову и посмотрел на нее, на глазах ее были слезы. И, обвив руками голову Андре, она тихо привлекла его к себе, наклонилась и поцеловала его в глаза.

– Сядьте, – сказала она. – Не очень-то благоразумно становиться предо мной на колени здесь.

Он сел, и после того как они несколько мгновений молча смотрели друг на друга, она спросила, не проводит ли он ее как-нибудь на днях на выставку скульптора Предолэ, о котором так восторженно отзываются. У нее в будуаре стоит прелестная статуэтка его работы, бронзовый Амур, льющий воду в ванну, и ей хочется видеть все собрание произведений этого восхитительно-го мастера, который вот уже целую неделю сводит Париж с ума.

Они назначили день, и Мариоль встал, собираясь уходить.

– Хотите встретиться завтра в Отейле? – спросила она шепотом.

– Еще бы!

И он ушел, одурманенный радостью, опьяненный тем «быть может», которое никогда не умирает в сердце влюбленного.

VI

Карета г-жи де Бюрн, запряженная парой, крупной рысью катила по улице Гренель. Стояли первые дни апреля, но запоздалый дождь со снегом и градом шумно барабанил в стекла экипажа и отскакивал на мостовую, всю покрытую белыми зернами. Пешеходы под зонтиками шли торопливо, прячась в поднятые воротники пальто. После двух недель прекрасной погоды вернулся противный предвесенний холод и снова леденил и пощипывал кожу.

Поставив ноги на грелку с кипятком и зарывшись в пушистые и тонкие меха, которые согревали ее сквозь платье своей вкрадчивой и нежной лаской, упоительно приятной ее коже, так боявшейся прикосновений, молодая женщина с огорчением думала о том, что самое большее через час ей придется нанять извозчика и отправиться к Мариолу в Отейль.

Острое желание послать ему телеграмму преследовало ее, но уже два месяца тому назад она дала себе обещание прибегать к этому возможно реже, всеми силами стараясь любить так же, как была любима сама.

Она была тронута его страданиями и после того разговора, когда она в порыве подлинной нежности поцеловала его в глаза, действительно стала с ним нежнее и ласковее.

Удивляясь своей невольной холодности, она спрашивала себя, не полюбит ли она его в конце концов, как многие женщины любят своих любовников? Ведь она чувствовала к нему глубокую привязанность, он нравился ей больше всех.

Причиной такого беспечного равнодушия в любви могла быть только лень ее сердца, которую, как всякую лень, быть может, удастся преодолеть.

Она пробовала. Она пыталась воспламенить себя, думая о нем, пыталась воодушевлять себя в дни свиданий. Иной раз ей это действительно удавалось, вроде того как иногда пугаешь самого себя ночью, думая о ворах или привидениях.

Она даже заставляла себя, немного увлекаясь этой игрой в страсть, быть ласковее, быть нежнее. Сначала это у нее выходило, и он безумствовал от восторга.

Тогда ей почудилось, что и в ней разгорается пыл, подобный тому, какой, она чувствовала, сжигает его. Ее былая, то вспыхивавшая, то угасавшая надежда на любовь, которая показалась ей осуществимой в тот вечер, когда она, мечтая в молочно-белом ночном тумане у бухты Сен-Мишель, решила отдалиться, вновь возродилась, менее соблазнительная, менее овеванная поэтической дымкой фантазии, но зато более определенная, более человеческая, освобожденная от прежних иллюзий опытом этой любовной связи.

Тщетно призывала она и подстерегала в себе те властные порывы, которые неудержимо и безраздельно влекут все существо к другому существу и рождаются будто бы вслед за тем, как сольются тела, охваченные душевным волнением. Порывов этих она так и не испытала.

Все же она упорно притворялась увлеченной, часто назначала свидания, твердила ему: «Я чувствую, что люблю вас все сильнее и сильнее». Однако ее постепенно охватывала усталость и

сознание, что нет сил продолжать обманываться и обманывать его. Она с удивлением убеждалась, что его поцелуи мало-помалу начинают ее раздражать, хоть она и не вполне к ним бесчувственна. Она убеждалась в этом по тому странному изнеможению, которое испытывала с самого утра в те дни, когда им предстояло встретиться. Почему в эти дни не ощущала она, как столько других женщин, что тело ее, наоборот, охвачено волнующим ожиданием желанных ласк? Она подчинялась им, принимала их с нежной покорностью, потом сдавалась, уступая грубой силе, и невольно трепетала, но без упоения. Неужели ее тело, такое изящное, такое хрупкое, исключительно утонченное и аристократическое, таит в себе некое неведомое целомудрие – целомудрие, присущее высшему, священному существу и еще не осознанное ее столь современной душой?

Мало-помалу Мариоль понял это. Он видел, как убывает этот искусственный пыл. Он догадался о ее самоотверженной попытке, и смертельная, неутешная тоска закралась в его душу.

Теперь ей стало ясно, как и ему, что опыт не удался и всякая надежда утрачена. Сегодня же, тепло укутанная в меха, поставив ноги на грелку, уютно поеживаясь и наблюдая, как град хлещет в стекла кареты, она даже не находила в себе мужества выйти из этого тепла и пересест в холодную извозчичью пролетку, чтобы ехать к своему бедному другу.

Впрочем, ей ни на минуту не приходила мысль отступить, порвать с ним, отвергнуть его ласки. Она слишком хорошо знала, что для того, чтобы окончательно поработить влюбленного и сохранить его для себя одной, не опасаясь соперничества других женщин, нужно отдаваться ему, нужно опутать его той цепью, которая сковывает тела. Она знала это, потому что это извечный закон, логичный, неоспоримый. Этого требует и порядочность, а она хотела быть с ним порядочной, быть по отношению к нему безупречно честной любовницей. Следовательно, она опять отдастся; будет отдаваться всегда; но зачем так часто? Ведь если их свидания будут реже, они станут для него еще желаннее, приобретут прелесть обновления, превратятся в бесценные и редкостные минуты счастья, которые она будет дарить ему и которые не следует расточать.

Каждый раз, когда она ездила в Отейль, ей казалось, что она несет ему драгоценнейший дар, неоценимое приношение. Когда так дарят – радость дарить неотделима от мысли, что это жертва; это не опьянение от того, что отдаешь себя, а гордость от сознания своей щедрости и удовлетворение от того, что можешь осчастливить человека.

Ей даже подумалось, что любовь Андре может продлиться дольше, если она будет немного чаще отказывать ему, потому что пост всегда усиливает голод, а чувственное желание – всего лишь голод. Придя к этому выводу, она решила, что поедет в Отейль, но скажется больной. Теперь поездка, представлявшаяся ей за минуту перед тем такой тягостной в этот дождливый, холодный день, сразу представилась ей совсем легкой; и она поняла, посмеиваясь над собою и над этой внезапной переменой, почему ей так трудно выносить столь естественные, казалось бы, отношения. Только что она противилась, теперь ехала охотно. Она противилась потому, что заранее представляла себе множество неприятных подробностей свидания. Она вечно колола себе пальцы булавками, потому что не умела с ними обращаться; она не находила вещей, которые разбрасывала по комнате, когда поспешно раздевалась, ее бесила несносная необходимость вновь одеваться без посторонней помощи.

Она задержалась на этой мысли, впервые осознав ее как следует, впервые вникнув в нее. Нет ли все же чего-то пошлого, чего-то отталкивающего в такой любви, назначенной на определенный час, предусмотренной за день или за два, словно деловая встреча или визит врача? После нежданного долгого свидания наедине, непринужденного и пьянящего, вполне естественно срывается с губ поцелуй, соединяющий уста, которые друг друга очаровывали, призывали, соблазняли нежными, горячими словами. Но как не похожи на это отнюдь не неожиданные, а заранее намеченные поцелуи, за которыми она ездила раз в неделю с часами в руках! Она понимала это так ясно, что иногда в неурочные дни у нее вспыхивало смутное желание поехать к нему, между тем как она почти совсем не испытывала такого желания, отправляясь туда украдкой, заматавая следы, как преследуемый вор, в грязном фиакре, когда все эти досадные мелочи отвлекали от него ее мысли.

Ах, этот час в Отейле! Она следила за его приближением на часах всех своих приятельниц; она видела, как он наступает минута за минутой – у г-жи де Фремин, у маркизы де Братиан, у прекрасной г-жи Ле Приёр, когда она убивала послеобеденное время, порхая по Парижу, чтобы не

оставаться дома, где неожиданный гость или другое непредвиденное обстоятельство могли ее задержать.

Вдруг она решила: «Сегодня, в день воздержания, я поеду как можно позже, чтобы не дразнить его». И она открыла в передней стенке кареты незаметный внутренний шкафчик, скрытый под черным шелком, которым была обита карета, как настоящий дамский будуар. Когда распахнулись крошечные дверцы этого тайника, в нем показалось зеркало на шарнирах; она выдвинула его, подняв на уровень лица. За зеркалом, в атласных углублениях, выстроилось несколько маленьких серебряных предметов: пудреница, карандаш для губ, два флакона с духами, чернильница, ручка, ножницы, прелестный нож для разрезания книги – последней новинки, которую читаешь в пути. К обивке были прикреплены прелестные часы, крохотные и кругленькие, как золотой орех; они показывали четыре.

Г-жа де Бюрн подумала: «В моем распоряжении еще по крайней мере час» – и нажала кнопку, чтобы выездной лакей, сидевший на козлах рядом с кучером, взял слуховую трубку и выслушал распоряжение.

Она взяла другой конец трубки, скрытый в обивке кареты, и, приблизив к губам рупор из горного хрусталя, сказала:

– В австрийское посольство.

Потом она погляделась в зеркало. Она посмотрелась, как смотрелась всегда, с тем чувством удовлетворения, которое испытываешь при встрече с самым любимым существом, затем немного распахнула шубу, чтобы взглянуть на свой наряд. На ней было теплое платье, рассчитанное на последние зимние дни. Воротник был оторочен полоской тонких и легких перьев такой белизны, что они как бы светились. Они слегка склонялись на плечи и принимали сероватый оттенок, напоминая крылья. Талия ее была опоясана такой же пушистой гирляндой, и это придавало молодой женщине причудливый вид лесной птицы. На шляпе вроде берета тоже вздымались перья – задорная эгретка более ярких оттенков; и все это прелестное белокурое создание, казалось, разукрасилось так для того, чтобы улететь вслед за чирками в серое ненастное небо.



Она еще любовалась собою, когда карета круто свернула в широкие ворота посольства. Г-жа де Бюрн запахнула мех, сложила зеркало, закрыла дверцы шкафчика, а когда экипаж остановился, сказала кучеру:

– Поезжайте домой. Вы мне больше не нужны.

Потом спросила у ливрейного лакея, который вышел ей навстречу на ступеньки подъезда:

– Княгиня принимает?

– Принимает, сударыня.

Она вошла, поднялась по лестнице и направилась в крошечную гостиную, где княгиня фон Мальтен писала письма.

При виде своей приятельницы посланница встала с чрезвычайно довольным видом, с сияющими глазами, и они поцеловались два раза подряд в щеки, в уголки губ.

Потом они уселись рядом на низеньких стульях у камина. Они очень любили друг друга, бесконечно друг другу нравились, прекрасно во всем одна другую понимали, потому что это были женщины одного типа, почти одинаковые, выросшие в одинаковой атмосфере и наделенные одинаковыми чувствами, хотя г-жа фон Мальтен и была родом шведка, вышедшая замуж за австрийца. В каждой из них заключалась для другой какая-то странная и таинственная притягательная сила, и отсюда то искреннее чувство уюта и глубокого удовлетворения, которое они испытывали, когда бывали вместе. Они могли без умолку болтать по целым часам о всяких пустяках, интересных обоим просто потому, что они беспрестанно убеждались в общности своих вкусов.

– Видите, как я люблю вас, – говорила г-жа де Бюрн. – Вечером вы у меня обедаете, а я не могла удержаться, чтобы не навестить вас днем. Это какая-то страсть, друг мой.

– Так же, как и у меня, – ответила, улыбаясь, шведка.

И по привычке они рассыпались друг перед другом в любезностях и кокетничали не меньше, чем с мужчинами, но по-иному, так как воевали уже не с противником, а с соперницей.

Разговаривая, г-жа де Бюрн поглядывала на часы. Было почти пять. Он ждет уже целый час. «Этого достаточно», – подумала она, вставая.

– Уже? – воскликнула княгиня.

Гостья решительно ответила:

– Да, я спешу, меня ждут. Я, конечно, предпочла бы побыть с вами.

Они опять поцеловались; г-жа де Бюрн попросила, чтобы послали за извозчиком, и уехала.

Прихрамывающая лошадь с бесконечным трудом тащила старый экипаж; и эту хромоту, эту усталость животного г-жа де Бюрн чувствовала и в себе самой. Как и этой кляче, переезд казался ей долгим и тягостным. Порою ее утешала радость увидеть Андре; минутами огорчало то, как она собиралась с ним поступить.

Она застала его совсем прозябшим за калиткой. Густой мокрый снег кружился в ветвях деревьев. Пока они шли к флигельку, ледяная крупа барабанила по зонтику. Ноги их вязли в грязи.

Сад казался печальным, унылым, безжизненным, грязным. Андре был бледен. Он очень страдал.

– Боже, какой холод, – сказала она.

А между тем в обеих комнатах жарко горели камин. Но их развели только в полдень, и пропитанные сыростью стены еще не успели просохнуть; от холода по телу пробежали мурашки.

Она добавила:

– Мне не хочется снимать шубу.

Она только слегка распахнула ее и обнаружила украшенное перьями платье, в котором она казалась одной из тех зябких перелетных птиц, которые беспрестанно странствуют с места на место.

Он сел рядом с нею.

Она продолжала:

– Сегодня у меня очаровательное общество за обедом, и я заранее предвкушаю удовольствие.

– Кто же будет?

– Гм... прежде всего вы; затем Предолэ, с которым мне так хочется познакомиться.

– Вот как? Будет Предолэ?

– Да, его приведет Ламарт.

– Но Предолэ вовсе вам не подходит. Скульпторы вообще не так созданы, чтобы нравиться хорошему женщинам, а этот в особенности.

– Нет, друг мой, не может быть. Я от него в таком восторге!

За последние два месяца, после выставки в галерее Варена, скульптор Предолэ завоевал и

покорил весь Париж. Его и раньше высоко ценили, перед ним благоговели, о нем говорили: «Он лепит чудесные статуэтки». Но когда художники и знатоки были приглашены высказаться о его творчестве в целом, о произведениях, собранных в залах на улице Варена, последовал подлинный взрыв восторга.

Тут открылось такое неожиданное очарование, такой исключительный дар передавать изящество и грацию, что казалось, будто присутствуешь при рождении новой красоты.

Он специализировался на полуодетых фигурках, нежные и едва прикрытые очертания которых он передавал с бесподобным совершенством. Особенно его танцовщицы, которых он изображал в многочисленных этюдах, обнаруживали в движениях, позах, в гармоничности положений и жестов всю неповторимую и гибкую красоту, таящуюся в женском теле.

Уже целый месяц г-жа де Бюрн делала настойчивые попытки привлечь его к себе. Но скульптор был, по слухам, увалень, даже немного дикарь. Наконец ей это удалось благодаря содействию Ламарта, который чистосердечно и неистово рекламировал скульптора, за что тот был ему очень признателен.

Мариоль спросил:

– А еще кто будет?

– Княгиня фон Мальтен.

Он был недоволен. Эта женщина ему не нравилась.

– А еще?

– Масиваль, Бернхауз и Жорж де Мальтри. Вот и все – только самые избранные. А вы ведь знакомы с Пределэ?

– Да, немного.

– Он вам нравится?

– Это чудесный человек; я еще не встречал никого, кто был бы так влюблен в свое искусство и так увлекательно говорил бы о нем.

Она в восторге повторила еще раз:

– Будет очаровательно!

Он взял ее руку, прятавшуюся под мехом. Он слегка пожал ее, потом поцеловал. Тогда она вдруг спохватилась, что забыла сказать больно, и, тут же подыскивая другую причину, прошептала:

– Боже, какой холод!

– Да что вы!

– Я продрогла до костей.

Он встал, чтобы взглянуть на градусник; в комнате действительно было прохладно.

Потом он снова сел возле нее.

Она сказала: «Боже, как холодно», и ему казалось, что он понимает смысл этих слов. Последние три недели он при каждой их встрече замечал, как неуклонно ослабевают ее усилия быть нежной. Он догадывался, что она настолько устала от этого притворства, что уже не в силах его продолжать, а сам он был в таком отчаянии от ее холодности, так терзало его тщетное и неистовое желание, что в часы беспросветного одиночества он решал: «Лучше порвать, чем продолжать такую жизнь».

Он спросил, чтобы убедиться в ее намерениях:

– Вы сегодня даже шубу не снимаете?

– Нет, нет, – ответила она, – я немного кашляю. От этой ужасной погоды я простудилась. Боюсь совсем расхвораться.

Помолчав, она пояснила:

– Мне очень хотелось вас видеть, а то я бы не приехала.

Так как он ничего не ответил, охваченный горем и бешенством, она добавила:

– После того как целых две недели стояла такая чудная погода, это похолодание очень опасно.

Она глядела в сад, где тающие снежинки кружились в ветвях деревьев, уже почти совсем покрывшихся зеленью.

А он смотрел на нее и думал: «Вот ее любовь!» Впервые в нем поднималась к ней ненависть обманутого мужчины, к этой неуловимой душе, к этому лицу, к этому женскому телу – столь желанному и постоянно ускользающему.

«Она говорит, что ей холодно, – думал он. – Ей холодно только потому, что я здесь. Если бы речь шла о каком-нибудь развлечении, об одной из тех нелепых причуд, которые заполняют бесполезное существование этих пустых созданий, она ни с чем не посчиталась бы, она рискнула бы самой жизнью. Ведь выезжает же она в самые холодные дни в открытом экипаже, чтобы выставить напоказ свои наряды. Ах, теперь все они такие!»

Он смотрел на нее, такую спокойную в сравнении с ним. И он знал: эта головка, эта маленькая обожаемая головка обдумывает, как бы прервать свидание, потому что оно становится слишком уж тягостным.

Неужели существовали, неужели еще существуют на свете страстные женщины, которых потрясают чувства, которые страдают, плачут, отдаются с упоением, обнимают, лелеют и воркуют, которые любят телом столько же, как и душой, выражают любовь словами и взглядами, женщины с пылким сердцем и ласкающей рукой, которые решаются на все, потому что любят, которые идут, днем ли, ночью ли, несмотря на преследования и угрозы, бесстрашные и трепещущие, к тому, кто примет их в свои объятия, изнемогающих и обезумевших от счастья?

О, как страшна такая любовь, какую он теперь скован, любовь без исхода, без конца, без радости и без победы, изнуряющая и гложащая тоской; любовь без улады и упоения, рождающая только предчувствия и разочарование, муку и слезы и дающая познать восторги разделенных ласк лишь в мучительном сожалении о поцелуях, которые нельзя пробудить на устах холодных, бесплодных и сухих, как мертвые листья.

Он смотрел на нее, обворожительную в плотно облегающем платье, украшенном перьями. Не являются ли эти наряды – ревнивые хранители, кокетливые и драгоценные преграды, которые скрывают и таят от него его любовницу, – теми могучими врагами, которых еще труднее победить, чем женщину?

– У вас чудесное платье, – сказал он, не желая говорить о том, что его мучит.

Она ответила, улыбаясь:

– А вот увидите, какое будет вечером!

Потом она кашлянула несколько раз подряд и сказала:

– Я окончательно простужаюсь. Отпустите меня, друг мой. Солнце скоро опять засветит, и я последую его примеру.

Он не стал настаивать; он пал духом, понимая, что теперь уже ничто не в силах преодолеть равнодушие этого существа, лишенного порывов, что все кончено, надо оставить, оставить навеки надежду, не ждать больше ни взволнованных слов от этих бесстрастных уст, ни огня от этих спокойных глаз. И вдруг в нем родилось неистовое желание избавиться от ее мучительного владычества. Она распяла его на кресте; кровь струями сочилась из его тела, а она смотрела, как он умирает, не понимая его страданий и даже радуясь, что он мучается из-за нее.

Но он оторвется от этого смертного столба, оставив на нем ключья своего тела, куски кожи и все свое растерзанное сердце. Он убежит, как зверь, смертельно раненный охотниками, он скроется где-нибудь в глуши, и там, быть может, его раны зарубцуются и он будет чувствовать только глухую боль, от которой до самой смерти содрогается искалеченный человек.

– Что ж, прощайте, – сказал он.

Ее поразила грусть, звучавшая в его голосе, и она поправила:

– До вечера, мой друг.

Он повторил:

– До вечера... прощайте.

Он проводил ее до калитки, а вернувшись, сел в одиночестве у камина.

В одиночестве! Как в самом деле холодно! И как ему тяжело. Всему конец! О, какая страшная мысль! Конец надеждам, ожиданиям, мечтам о ней и тому сердечному пламени, благодаря которому мы мгновениями живем настоящей жизнью на этой сумрачной земле, словно веселые костры, зажженные в темные вечера. Прощайте, ночи, проведенные в одиноком волнении, когда он

почти до рассвета шагал по комнате, думая о ней, и пробуждения, когда он, едва открыв глаза, говорил себе: «Сегодня я ее увижу в нашем домике».

Как он любил ее! Как он любил ее! Как трудно будет исцелиться от этого и как много нужно на это времени! Она ушла, потому что ей было холодно. Он все еще видел ее перед собою, видел как живую, и она смотрела на него и очаровывала, очаровывала для того, чтобы легче пронзить его сердце. О, как метко она его поразила! Поразила насквозь, одним-единственным ударом! И он ощущал эту боль; теперь это уже старая рана, раскрывшаяся, потом перевязанная ею, а теперь ставшая неизлечимой, потому что она погрузила в нее, словно нож, свое губительное равнодушие. Он ощущал даже, будто кровь из пронзенного сердца сочилась в его внутренности, наполняла его тело, подступала к горлу и душила его. Тогда, закрыв глаза руками, словно для того, чтобы скрыть от себя эту слабость, он залился слезами. Она ушла, потому что было холодно! А он пошел бы нагим по снегу, лишь бы встретиться с нею. Он бросился бы с высокой крыши, лишь бы упасть к ее ногам. Ему припомнилась старинная история, превращенная в легенду и связанная с горою Двух влюбленных, мимо которой проезжаешь по пути в Руан. Одна девушка, в угоду жестокой прихоти своего отца, который не соглашался выдать ее за любимого человека, пока она не отнесет своего жениха на вершину крутой горы, дотащила его туда, доползла на руках и коленях, и тут же умерла. Значит, любовь теперь только легенда, годная лишь для того, чтобы ее воспевали в стихах или описывали в лживых романах?

Не сказала ли его любовница сама во время одной из их первых встреч фразу, которая всегда ему вспоминалась: «Нынешние мужчины не любят современных женщин до такой степени, чтобы действительно страдать из-за них. Поверьте мне, я знаю и тех и других».

И если она ошиблась в нем, то отнюдь не ошибалась в себе, так как при этом она добавила: «Во всяком случае, предупреждаю вас, что сама я никем не способна по-настоящему увлечься...»

Никем? Так ли это? Им она увлечься не могла. Теперь он в этом убедился, но другим?

Почему она не могла его полюбить? Почему?

Тогда мысль, что его жизнь не удалась, мысль, уже давно тяготевшая над ним, обрушилась и придавила его. Он ничего не свершил, ничего не достиг, ни в чем не преуспел, ничем не овладел. Искусства привлекали его, но он не нашел в себе ни мужества всецело отдаться одному из них, ни той упорной настойчивости, которая необходима, чтобы победить. Ни разу успех не порадовал его, ни разу восторг перед чем-то прекрасным не придал ему благородства и величия. Единственное его мощное усилие завоевать сердце женщины рухнуло, как и все остальное. В конце концов — он просто неудачник.

Он все еще плакал, закрыв лицо руками. Слезы текли по его щекам, капали на усы; он чувствовал на губах их соленый вкус.

И горечь их еще усиливала его горе и безнадежность.

Когда он поднял голову, он увидел, что уже темно. Он едва успеет заехать домой и переодеться, перед тем как отправиться к ней на обед.

VII

Андре Мариоль приехал к г-же Мишель де Бюрн первым. Он сел и стал смотреть вокруг себя, на стены, на вещи, на портьеры, на безделушки, на мебель, которые стали дороги ему, потому что принадлежали ей, на эти привычные для него комнаты, где он познакомился с нею, обрел ее и вновь обретал столько раз, где научился ее любить, где обнаружил в своем сердце страсть и чувствовал, как она растет день ото дня, вплоть до часа бесплодной победы. С каким пылом он ждал ее, бывало, в этом нарядном уголке, созданном для нее как прекрасное обрамление этого восхитительного существа. И как знаком ему был запах этой гостиной, этих тканей — нежный запах ирисов, благородный и простой. Здесь он столько раз трепетал от ожидания, столько раз содрогался от надежды, здесь испытал столько волнений и под конец — столько мук. Словно прощаясь с другом, сжимал он локотники широкого кресла, сидя в котором так часто говорил с нею, любуясь ее улыбкой и упиваясь ее голосом. Ему бы хотелось, чтобы никто не входил, даже она, хотелось бы просидеть так, одному, всю ночь в раздумье о своей любви, подобно тому, как бодрствуют у смертно-

го одра. А с рассветом он ушел бы надолго, может быть, навсегда.

Дверь отворилась. Она вошла и направилась к нему, протянув руку. Он овладел собою и ничем не выдал своего волнения. То была не женщина, а живой букет, букет невообразимой прелести.

Пояс из гвоздик обхватывал ее талию и, змеясь, спускался к ногам. Обнаженные плечи и руки были обвиты гирляндами из незабудок и ландышей, а три волшебные орхидеи словно возникали из ее груди, и розово-красная плоть этих сверхъестественных цветов, казалось, ласкала ее белую кожу. Белокурые волосы были усыпаны эмалевыми фиалками, в которых светились крошечные бриллианты. В отделке корсажа, как капли воды, тоже сверкали бриллианты, трепетавшие на золотых булавках.

— У меня будет мигрень, — сказала она. — Ну что ж, зато это мне к лицу!

Она благоухала, как весенний сад, она была свежее своих гирлянд. Андре смотрел на нее в восторге, думая, что обнять ее сейчас было бы таким же варварством, как растоптать великолепный цветник. Значит, тело современных кокеток лишь повод для украшений, лишь предмет для убранства, а вовсе не для любви. Они похожи на цветы, они похожи на птиц, они столь же похожи на множество других вещей, как и на женщин. Их матери, женщины былых поколений, прибегали к искусству кокетства как к пособию красоты, но прежде всего старались пленить непосредственным соблазном тела, природным могуществом своей грации, неодолимым влечением, которое возбуждает в самце женское тело. Теперь же кокетство стало всем; искусственные ухищрения стали главным средством и в то же время целью: ведь к нему прибегают даже не столько для того, чтобы покорять мужчин, как для того, чтобы дразнить соперниц и подстрекать их ревность. На кого же рассчитан этот наряд? На него, любовника, или на уничижение княгини фон Мальтен?

Дверь отворилась; доложили о ее приезде.

Г-жа де Бюрн бросилась к ней и, бережно охраняя свои орхидеи, поцеловала ее, приоткрыв губы с гримаской нежности. Это был милый, желанный поцелуй, поцелуй, данный обеими от всего сердца.

Мариоль содрогнулся. Ни разу она не подбегала к нему с такой порывистой радостью, никогда не целовала его так; мысль его сделала резкий скачок, и он с отчаянием подумал: «Эти женщины уже не для нас».

Появился Масиваль, а вслед за ним г-н де Прадон, граф фон Бернхауз, потом блистающий английским лоском Жорж де Мальтри.

Поджидали только Ламарта и Предолэ. Когда заговорили о скульпторе, все голоса слились в единодушных похвалах.

«Он воскресил изящество, восстановил утраченную традицию Возрождения и добавил к ней нечто новое: совершенную искренность». По мнению Жоржа де Мальтри, он «достигал дивных откровений, воплощая гибкость человеческого тела». Эти фразы вот уже два месяца повторялись во всех гостиных, переходя из уст в уста.

Наконец появился сам скульптор. Все были поражены. Это был тучный человек неопределенного возраста, с мужицкими плечами и большой головой; у него были резкие черты лица, крупный нос, мясистые губы, в волосах и бороде виднелась легкая проседь. Вид у него был застенчивый и смущенный. Он как-то неуклюже оттопыривал локти, что объяснялось, по-видимому, громадными размерами его рук, торчавших из рукавов. Широкие, толстые, с волосатыми и мускулистыми пальцами, как у мясника или атлета, они казались неловкими, нескладными, как бы стыдились самих себя и не знали, куда деваться.

Но лицо его освещалось ясными, серыми, пронизательными и необыкновенно живыми глазами. Только они и жили, казалось, в этом грузном теле. Они смотрели, пронизывали, шарили, метали всюду быстрые, острые и подвижные лучи, и чувствовалось, что этот пытливый взгляд одушевлен живым и сильным умом.



Г-жа де Бюрн, слегка разочарованная, любезно указала ему на кресло, в которое он и сел. Так он и не сходил с места, видимо, смущенный тем, что попал в этот дом.

Чтобы разбить лед, Ламарт, как ловкий посредник, подошел к своему приятелю.

– Дорогой мой, – сказал он, – я вам сейчас покажу, где вы находитесь. Вы уже видели нашу божественную хозяйку, теперь посмотрите, что ее окружает.

Он обратил его внимание на подлинный бюст Гудона¹¹, украшавший камин, на двух обнявшихся и пляшущих женщин Клодиона¹² на секретере работы Буля¹³ и, наконец, на четыре превосходнейшие танагрские статуэтки¹⁴.

Тут лицо Предолэ внезапно прояснилось, точно он в пустыне обрел родных детей. Он встал и подошел к античным глиняным статуэткам; он взял их по две сразу в свои огромные руки, созданные, казалось, для того, чтобы валить быков, так что г-жа де Бюрн даже испугалась за свои сокровища. Но, прикасаясь к статуэткам, он словно ласкал их – с такой изумительной бережностью и ловкостью он обращался с ними, поворачивая их толстыми пальцами, которые сразу стали проворными, как пальцы жонглера. По тому, как он рассматривал их и ощупывал, видно было, что в душе и руках этого толстяка живет редкостная, возвышенная и чуткая нежность ко всем изящным вещам.

– Хороши? – спросил Ламарт.

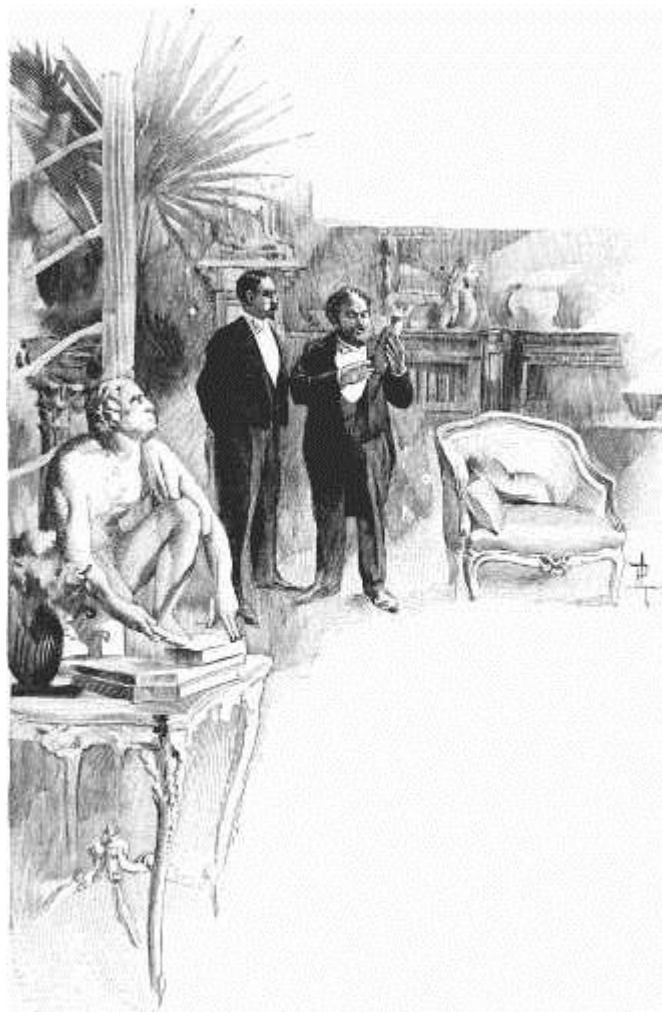
Тогда скульптор стал их расхваливать, как бы приветствуя их, и заговорил о самых замечательных из числа тех, какие ему довелось видеть; он говорил немногословно, глуховатым, но спокойным, уверенным голосом, выражая ясную мысль и зная цену словам.

¹¹ Гудон (1741–1828) – французский скульптор.

¹² Клодион (1738–1814) – французский скульптор.

¹³ Буль (1642–1732) – французский резчик по дереву, особенно славившийся как мастер художественной мебели.

¹⁴ Танагрские статуэтки – античные статуэтки из раскрашенной глины, полные изящества и жизни, найденные при раскопках древнегреческого города Танагры.



Потом он вместе с писателем осмотрел другие редкости и безделушки, собранные г-жой де Бюрн по совету друзей. Он воздавал им должное, радуясь и удивляясь, что находит их здесь; он неизменно брал их в руки и бережно переворачивал во все стороны, словно вступая с ними в сладостное общение. Одна бронзовая статуэтка, тяжелая, как пушечное ядро, стояла в темном углу; он поднял ее одной рукой, поднес к свету, долго любовался ею, потом так же легко поставил на место.

Ламарт сказал:

– Вот силач! Он для того и создан, чтобы воевать с мрамором и камнем.

На него смотрели с симпатией.

Лакей доложил:

– Кушать подано.

Хозяйка дома взяла скульптора под руку и направилась в столовую; она предложила ему место справа от себя и из учтивости спросила, как спросила бы потомка знаменитого рода о точном происхождении его имени:

– Ведь за вашим искусством, сударь, еще и та заслуга, что оно самое древнее, не правда ли?

Он спокойным голосом ответил:

– Как сказать, сударыня. Библейские пастухи играли на свирели, следовательно, музыка как будто древнее. Но, по нашим понятиям, настоящая музыка существует не так уж давно, зато начало настоящей скульптуры теряется в незапамятных временах.

Она продолжала:

– Вы любите музыку?

Он ответил с серьезной убежденностью:

– Я люблю все искусства.

– А известно, кто был первым скульптором?

Он подумал и заговорил с нежными интонациями, словно рассказывал трогательную исто-

рию:

– По эллинским преданиям, творцом искусства ваяния был афинянин Дедал¹⁵. Но самая красивая легенда приписывает это открытие сикионскому горшечнику по имени Дибутада. Его дочь Кора стрелой обвела тень от профиля своего жениха, а отец заполнил этот контур глиной и вылепил лицо. Так родилось мое искусство.

Ламарт заметил:

– Прелестно.

Потом, помолчав, продолжал:

– Ах, Предолэ, не согласитесь ли вы...

И обратился к г-же де Бюрн:

– Вы представить себе не можете, сударыня, до чего увлекателен бывает этот человек, когда он говорит о том, что любит, как он умеет это выразить, показать и внушить восторг!

Но скульптор, по-видимому, не был расположен ни рисоваться, ни ораторствовать. Он засунул уголок салфетки за воротничок, чтобы не закапать жилет, и ел суп сосредоточенно, с тем своеобразным уважением, какое питают крестьяне к похлебке.

Потом он выпил бокал вина и оживился, постепенно осваиваясь с обстановкой и чувствуя себя непринужденнее.

Он несколько раз порывался обернуться, так как видел отраженную в зеркале статуэтку современной работы, стоявшую за его спиной, на камине. Она была ему незнакома, и он старался угадать автора.

Наконец, не вытерпев, он спросил:

– Это Фальгиер¹⁶, не правда ли?

Г-жа де Бюрн рассмеялась:

– Да, Фальгиер. Как вы узнали это в зеркале?

Он тоже улыбнулся:

– Ах, сударыня. Я почему-то с первого взгляда узнаю скульптуру людей, которые занимаются также и живописью, и живопись тех, кто занимается не только ею, но и ваянием. Их вещи совсем не похожи на произведения художников, всецело посвятивших себя какому-нибудь одному искусству.

Ламарт, чтобы дать своему другу возможность блеснуть, попросил разъяснений, и Предолэ поддался на эту уловку.

Не спеша, в точных словах он определил и охарактеризовал живопись скульпторов и скульптуру живописцев, и притом так ясно, свежо и своеобразно, что все слушали, не спуская с него глаз. Уходя в своих рассуждениях в глубь истории искусств и черпая примеры из различных эпох, он дошел до самых ранних итальянских мастеров, бывших одновременно и ваятелями и живописцами, – Николо и Джованни Пизанских¹⁷, Донателло¹⁸ Лоренцо Гиберти¹⁹. Он привел любопытное мнение Дидро по этому вопросу и в заключение упомянул о вратах баптистерия Сан-Джованни во Флоренции, где барельефы работы Гиберти так живы и драматичны, что скорее похожи на масляную живопись.

Своими тяжелыми руками, двигавшимися так, будто они полны глины, и все же до того гибкими и легкими, что приятно было на них смотреть, он с такою убедительностью воссоздавал

¹⁵ Дедал – персонаж древнегреческой мифологии, строитель Критского лабиринта, куда сам же он и был заключен и откуда спасся, приделав себе крылья.

¹⁶ Фальгиер (1831–1900) – французский скульптор.

¹⁷ Николо и Джованни Пизанские. – Николо Пизанский – итальянский скульптор (ум. ок. 1280); Джованни – его сын, тоже скульптор (ум. ок. 1328).

¹⁸ Донателло (1386–1466) – итальянский скульптор и живописец.

¹⁹ Лоренцо Гиберти (1378 – ок. 1455) – флорентийский скульптор, архитектор и живописец.

произведения, о которых рассказывал, что все с любопытством следили за его пальцами, лепившими над бокалами и тарелками образы, о которых он говорил.

Потом, когда ему предложили блюдо, которое он любил, он замолк и занялся едой.

До самого конца обеда он уже почти не говорил и еле следил за разговором, переходившим от театральных новостей к политическим слухам, от бала к свадьбе, от статьи в *Ревю де Дё Монд* к только что открывшимся скачкам. Он с аппетитом ел, много пил, но не хмелел, и мысль его оставалась ясной, здоровой, невозмутимой, лишь слегка возбужденной хорошим вином.

Когда вернулись в гостиную, Ламарт, еще не добившийся от скульптора всего, чего он от него ждал, подвел его к одному из шкафчиков и показал бесценный предмет: серебряную чернильницу, достоверное, историческое, занесенное в каталоги творение Бенвенуто Челлини.

Скульптором овладело какое-то опьянение. Он созерцал чернильницу, как созерцают лицо возлюбленной, и, охваченный умилением, высказал о работах Челлини несколько мыслей, тонких и изящных, как само искусство божественного мастера; потом, заметив, что к нему прислушиваются, он отдался увлечению и, сев в широкое кресло, не выпуская из рук драгоценности и любуясь ею, стал рассказывать о своих впечатлениях от разных известных ему чудес искусства, раскрыл свою восприимчивую душу и проявил то особое упоение, которое овладевало им при виде совершенных форм. В течение десяти лет он странствовал по свету, не замечая ничего, кроме мрамора, камня, бронзы или дерева, обработанных гениальными руками, или же золота, серебра, слоновой кости и меди – бесформенного материала, превращенного в шедевры волшебными пальцами ювелиров.

И он словно лепил словами, создавая изумительные рельефы и чудесные контуры одной лишь меткостью выражений.

Мужчины, стоя вокруг, слушали его с огромным интересом, в то время как обе женщины, пристроившиеся у огня, по-видимому, немного скучали и время от времени переговаривались вполголоса, недоумевая, как можно приходить в такой восторг от очертаний и форм.

Когда Предолэ умолк, восхищенный Ламарт с увлечением пожал ему руку и ласково сказал, умиленный их общей страстью:

– Право, мне хочется вас расцеловать. Вы единственный художник, единственный фанатик и единственный гений современности; вы один действительно любите свое дело, находите в нем счастье, никогда не устаете и никогда не пресыщаетесь. Вы владеете вечным искусством в его самой чистой, самой простой, самой возвышенной и самой недостижимой форме. Вы порождаете прекрасное изгибом линии и об остальном не беспокоитесь! Пью рюмку коньяку за ваше здоровье!

Потом разговор снова стал общим, но вялым; все были подавлены грандиозными идеями, которые пронесли в воздухе этой изящной гостиной, полной драгоценных вещей.

Предолэ ушел рано, сославшись на то, что всегда принимается за работу с рассветом.

Когда он откланялся, восхищенный Ламарт спросил г-жу де Бюрн:

– Ну, как он вам понравился?

Она ответила нерешительно, но с недовольным и равнодушным видом:

– Довольно забавен, но болтлив.

Писатель улыбнулся и подумал: «Еще бы, ведь он не восторгался вашим нарядом, вы оказались единственной из ваших безделушек, на которую он почти не обратил внимания». Потом, сказав несколько любезных фраз, он сел возле княгини фон Мальтен, чтобы поухаживать за нею. Граф фон Бернхауз подошел к хозяйке дома и, устроившись на низеньком табурете, словно припал к ее ногам. Мариоль, Масиваль, Мальтри и г-н де Прадон продолжали говорить о скульпторе; он произвел на них большое впечатление. Г-н де Мальтри сравнивал его со старинными мастерами, вся жизнь которых была украшена и озарена исключительной, всепоглощающей любовью к проявлениям Красоты; он философствовал на эту тему в изысканных, размеренных и утомительных выражениях.

Масиваль, устав от разговора об искусстве, которое не было его искусством, подошел к г-же фон Мальтен и уселся около Ламарта, а тот вскоре уступил ему свое место, чтобы присоединиться к мужчинам.

– Не пора ли домой? – спросил Мариоль.

– Да, конечно.



Писатель любил поговорить ночью, на улице, провожая кого-нибудь. Его голос, отрывистый, резкий, пронзительный, как бы цеплялся и карабкался по стенам домов. Во время этих ночных прогулок вдвоем, когда он не столько беседовал, сколько разглагольствовал один, он чувствовал себя красноречивым и проницательным. Он добивался тогда успеха в собственных глазах и вполне довольствовался им; к тому же, утомившись от ходьбы и разговора, он готовил себе крепкий сон.

А Мариоль действительно изнемогал. Все его горе, все его несчастье, вся его печаль, все его непоправимое разочарование заклокотали в его сердце, едва он переступил порог этого дома.

Он не мог, не хотел больше терпеть. Он уедет и больше не вернется.

Когда он прощался с г-жой де Бюрн, она рассеянно ответила на его поклон.

Мужчины очутились на улице. Ветер переменился, и холод, стоявший днем, прошел. Стало тепло и тихо, так тихо, как иногда бывает ранней весной после ненастья. Небо, усеянное звездами, трепетало – словно веяние лета, пронесшись в беспредельных пространствах, усилило мерцание светил.

Тротуары уже высохли и посерели, но на мостовой, под огнями газовых фонарей, еще блестя лужи.

Ламарт сказал:

– Какой счастливец этот Пределэ! Любит только одно – свое искусство, думает только о нем, живет только ради него! И это его наполняет, утешает, радует и делает его жизнь счастливой и благополучной. Это действительно великий художник старинного толка. Вот уж кто равнодушен к женщинам, к нашим женщинам, с их завитушками, кружевами и притворством. Вы заметили, как мало внимания он обратил на двух наших красавиц, которые, однако, были очень хороши? Нет, ему нужна подлинная пластика, а не поддельная. Недаром наша божественная хозяйка нашла его несносным и глупым. По ее мнению, бюст Гудона, танагрские статуэтки или чернильница Бенвенуто – всего лишь мелкие украшения, необходимые как естественное и роскошное обрамление шедевра, каким является Она сама; Она и ее платье, ибо платье – это часть ее самой, это то новое звучание, которое она ежедневно придает своей красоте. Как ничтожна и самовлюбленна женщина!

Он остановился и так сильно стукнул тростью по тротуару, что звук от удара пронесся по всей улице. Потом продолжал:

– Они знают, понимают и любят лишь то, что придает им цену, например наряды и драгоценности, которые выходят из моды каждые десять лет; но они не понимают того, что является

плодом постоянного, строгого отбора, что требует глубокого и тонкого артистического проникновения и бескорыстной, чисто эстетической изощренности чувств. Да и чувства-то у них страшно примитивны; это чувства самок, мало поддающихся совершенствованию, не доступных ничему, что не задевает непосредственно их чисто женского эгоизма, который поглощает в них решительно все. Их пронизательность – это нюх дикаря, индейца, это война, ловушка. Они даже почти не способны понять те материальные наслаждения низшего порядка, которые требуют известного физического навыка и утонченного восприятия какого-нибудь органа чувств, – например, лакомства. Если и случается, что некоторые из них доходят до понимания хорошей кухни, – они все-таки не способны отдавать должное хорошему вину; вино говорит только вкусу мужчины – ведь и оно умеет говорить.

Он снова стукнул тростью, подчеркнув этим последнее слово и поставив точку.

Потом он продолжал:

– Впрочем, от них нельзя требовать многого. Но это отсутствие вкуса и понимания, которое мутит их умственный взор, когда дело касается вопросов высшего порядка, часто еще сильнее ослепляет их, когда дело касается нас. Чтобы их обольстить, бесполезно иметь душу, сердце, ум, исключительные качества и заслуги, как, бывало, в старину, когда увлекались мужчиной, ценя в нем доблесть и отвагу. Нынешние женщины – жалкие комедиантки, комедиантки любви, ловко повторяющие пьесу, которую они разыгрывают по традиции, хотя и сами уже в нее не верят. Им нужны комедианты, чтобы подавать реплики и лгать сообразно роли, как лгут они сами. Я разумею под комедиантами и светских, и всяких прочих шутов.

Некоторое время они шли молча. Мариоль слушал внимательно, мысленно вторя его словам и подтверждая их правоту своей скорбью. Он знал к тому же, что некий князь Эпилати, авантюрист, приехавший в Париж искать счастья, аристократ из фехтовальных зал, о котором всюду говорили, превознося его изящество и сильную мускулатуру, которою он, надев черное трико, щеголял перед высшим светом и избранными кокетками, – что этот итальянец привлек внимание баронессы де Фремин и что она уже кокетничает с ним.

Так как Ламарт умолк, Мариоль сказал ему:

– Мы сами виноваты: мы плохо выбираем. Есть и другие женщины.

Писатель возразил:

– Единственные, еще способные на привязанность, – это приказчицы да чувствительные мешчанки, бедные и неудачно вышедшие замуж. Мне доводилось приходить на помощь таким отчаявшимся душам. Чувство у них бьет через край, но чувство такое пошлое, что отдавать им в обмен наше чувство – значит подавать милостыню. Но, говорю я, у молодежи нашего круга, в богатом обществе, где женщины ничего не желают и ни в чем не нуждаются, а стремятся лишь немного развлечься, не подвергаясь при этом никакой опасности, где мужчины благоразумно размерили наслаждения, как и труд, – в этом обществе, повторяю, древнее, чарующее и могучее естественное влечение полов друг к другу бесследно исчезло.

Мариоль промолвил:

– Это правда.

Его желание бежать еще усилилось, бежать прочь от этих людей, от этих марионеток, которые от безделья пародируют былую нежную и прекрасную страсть – страсть, наслаждаться которой они уже не умеют.

– Спокойной ночи, – сказал он. – Пойду спать.

Он пришел домой, сел за стол и написал:

«Прощайте, сударыня. Помните мое первое письмо? Я тогда тоже прощался с вами, но не уехал. Какая это была ошибка! Но когда вы получите это письмо, меня уже не будет в Париже. Надо ли объяснять вам, почему? Таким мужчинам, как я, никогда не следовало бы встречаться с женщинами, подобными вам. Если бы я был художником и умел бы выражать свои чувства, чтобы облегчить душу, вы, быть может, вдохновили бы мой талант. Но я всего-навсего несчастный человек, которого вместе с любовью к вам охватила жестокая, невыносимая скорбь. Когда я встретился с вами, я не

подозревал, что могу так чувствовать и так страдать. Другая на вашем месте вдохнула бы мне в сердце жизнь и божественную радость. Но вы умели только терзать его. Знаю, вы терзали его невольно; я ни в чем не упрекаю вас и не ропщу. Я даже не имею права писать вам эти строки. Простите! Вы так созданы, что не можете чувствовать, как я, не можете даже догадаться о том, что творится во мне, когда я вхожу к вам, когда вы говорите со мной и когда я на вас гляжу. Да, вы уступаете, вы принимаете мою любовь и даже дарите мне тихое и разумное счастье, за которое я всю жизнь должен бы на коленях благодарить вас. Но я не хочу такого счастья. О, как страшна, как мучительна любовь, беспрестанно выпрашивающая, словно милостыню, задушевное слово или горячий поцелуй и никогда не получающая их! Мое сердце голодно, как нищий, который долго бежал вслед за вами с протянутой рукой. Вы бросали ему чудесные вещи, но не дали хлеба. А мне нужно было хлеба, любви. Я уйду – несчастный и нищий, жаждущий вашей ласки, несколько крох которой спасли бы меня. У меня ничего не осталось в мире, кроме жестокой мысли, которая вонзилась в меня, – и ее необходимо убить. Это я и попытаюсь сделать.

Прощайте, сударыня. Простите, благодарю, простите! И сейчас еще я люблю вас всей душой. Прощайте, сударыня.

Андре Мариоль».

Часть третья

I

Лучезарное утро освещало город. Мариоль сел в ожидавшую его у подъезда коляску, в открытом верхе которой уже лежали его саквояж и два чемодана. Белье и все вещи, необходимые для долгого путешествия, были, по его приказанию, этой же ночью уложены камердинером, и он уезжал, оставляя временный адрес: «Фонтенебло, до востребования». Он не брал с собой никого, не желая видеть ни одного лица, которое напоминало бы ему Париж, не желая слышать голоса, казавшегося его слуха во время его размышлений о ней.

Он крикнул кучеру: «На Лионский вокзал!» Лошади тронули. Тогда ему вспомнился другой отъезд: отъезд на гору Сен-Мишель прошлой весной. Через три месяца этому исполнится год. Чтобы рассеяться, он окинул взглядом улицу.

Коляска выехала на аллею Елисейских Полей, залитую потоками весеннего солнца. Зеленые листья, уже освобожденные первым теплом предыдущих недель и только в последние дни немного задержанные в своем росте холодом и градом, казалось, изливали – до того быстро распускались они в это ясное утро – запахи свежей зелени и растительных соков, которые испарялись из пробивающихся ростков и побегов.

Это было одно из тех утренних пробуждений, сопровождаемых всеобщим расцветом, когда чувствуется, что во всех городских садах, на протяжении всех улиц расцветут в один день шарообразные каштаны, точно вспыхнувшие люстры. Жизнь земли возрождалась на лето, и сама улица с ее асфальтовыми тротуарами глухо содрогалась под напором корней.

Покачиваясь от толчков экипажа, Мариоль размышлял: «Наконец-то я найду немного покоя и увижу, как рождается весна в еще оголенном лесу».

Переезд показался ему очень долгим. Он был так разбит этими несколькими бессонными часами, когда оплакивал самого себя, словно провел десять ночей у постели умирающего. Приехав в Фонтенебло, он зашел к нотариусу, чтобы узнать, не найдется ли меблированной виллы на окраине леса, которую можно было бы снять. Ему указали несколько дач. Та из них, фотография которой больше всех ему приглянулась, была только что освобождена молодой четой, прожившей почти всю зиму в деревне Монтиньи на Луэне. Нотариус, при всей своей солидности, улыбнулся. Вероятно, он почуял здесь любовную историю. Он спросил:

– Вы один, сударь?

– Один.

– Даже без прислуги?

– Даже без прислуги. Я оставил свою в Париже; хочу подыскать здесь кого-нибудь на месте. Я приехал сюда поработать в полном уединении.

– О, в это время года вы будете здесь в полном одиночестве.

Несколько минут спустя открытое ландо увозило Мариоля с его чемоданами в Монтиньи.

Лес пробуждался. У подножия больших деревьев, вершины которых были осены легкой дымкой зелени, особенно густо разросся кустарник. Одни только березы с их серебристыми стволами уже успели одеться по-летнему, в то время как у громадных дубов лишь на самых концах ветвей виднелись трепещущие зеленые пятна. Бук, быстрее раскрывающий свои заостренные почки, ронял последние прошлогодние листья. Трава вдоль дороги, еще не прикрытая непроницаемой тенью древесных вершин, была густой, блестящей и отлакированной свежими соками; и этот запах рождающихся побегов, который Мариоль уже уловил в Елисейских Полях, теперь целиком обволакивал его, погружал в огромный водоем растительной жизни, пробуждающейся под первыми солнечными лучами. Он дышал полной грудью, точно узник, выпущенный из темницы, и с чувством человека, только что освобожденного от оков, вяло раскинул руки по краям ландо, свесив их над вертящимися колесами.

Сладко было впитать этот вольный и чистый воздух; но сколько же надо было выпить его, пить еще и еще, долго-долго, чтобы им надышаться, облегчить свои страдания и почувствовать наконец, как это легкое дуновение проникнет через легкие и, коснувшись раскрытой сердечной раны, успокоит ее.

Он миновал Марлот, где кучер показал ему недавно открытую *Гостиницу Коро*²⁰, славившуюся своим оригинальным стилем. Дальше покатили по дороге, слева от которой тянулся лес, а справа простиралась широкая долина с кое-где разбросанными деревьями и холмами на горизонте. Потом въехали на длинную деревенскую улицу, ослепительно белую, между двумя бесконечными рядами домиков, крытых черепицей. То здесь, то там свисал над забором огромный куст цветущей сирени.

Эта улица пролегла по тесной долине, спускавшейся к небольшой речке. Увидев ее, Мариоль пришел в полный восторг. Это была узенькая, быстрая, извилистая, бурливая речка, которая омывала на одном берегу основания домов и садовые ограды, а на другом орошала луга с воздушными деревьями, зеленеющими нежною, едва развернувшейся листвой.

Мариоль сразу нашел указанное ему жилище и был очарован им. Это был старый дом, подновленный каким-то художником, который прожил здесь пять лет; когда дом ему надоел, он стал сдавать его внаймы. Дом стоял у самой воды, отделенный от реки лишь хорошеньким садом, который заканчивался площадкой, обсаженной липами. Луэн, только что сбросивший свои воды с двух-трехфутовой плотины, бежал вдоль этой площадки, извиваясь в бойких водоворотах. Из окон фасада виднелись луга противоположного берега.

«Я выздоровлю здесь», – подумал Мариоль.

Все уже было заранее обусловлено с нотариусом на случай, если дом придется ему по вкусу. Кучер доставил ответ. Началось устройство нового жилища; и все было готово очень быстро, так как секретарь мэра прислал двух женщин – одну в кухарки, другую для уборки комнат и стирки белья.

Внизу помещались гостиная, столовая, кухня и еще две небольшие комнатки; на втором этаже – прекрасная спальня и нечто вроде просторного кабинета, который художник-домовладелец приспособил под мастерскую. Все это было обставлено заботливо, как свойственно людям, влюбленным в местность и в свой дом. Теперь все немного поблекло, немного разладилось и приняло сиротливый, заброшенный вид жилища, покинутого хозяином. Чувствовалось, однако, что в этом домике жили еще совсем недавно. В комнатах еще носился нежный запах вербены. Мариоль подумал: «Ах, вербена! Бесхитростный аромат! Видно, женщина была непритязательная... Счастли-

²⁰ Коро (1796–1875) – французский пейзажист.

вещ мой предшественник!»

Наступал уже вечер, так как за всеми делами день проскользнул незаметно. Мариоль сел у открытого окна, впивая влажную и сладкую свежесть росистой травы и глядя, как заходящее солнце бросает на луга длинные тени.

Служанки болтали, стряпая обед, и их голоса глухо доносились из кухни, между тем как через окно долетало мычание коров, лай собак и голоса людей, загонявших скотину или перекликавшихся через реку.

От всего этого поистине веяло миром и отдохновением.

Мариоль в тысячный раз за этот день спрашивал себя: «Что подумала она, получив мое письмо?... Что она сделает?» Потом он задал себе вопрос: «Что она делает сейчас?»

Он взглянул на часы: половина седьмого. «Она вернулась домой и принимает гостей».

Ему представились гостиная и молодая женщина, беседующая с княгиней фон Мальтен, г-жой де Фремин, Масивалем и графом Бернхаузом.

Внезапно душа его содрогнулась, словно от гнева. Ему захотелось быть там. В этот час он почти ежедневно приходил к ней. И он ощутил в себе какое-то недомогание – отнюдь не сожаление, потому что решение его было непоколебимо, но нечто близкое к физической боли, как у больного, которому в привычный час отказали вприснуть морфий. Он не видел уже больше ни лугов, ни солнца, исчезающего за холмами на горизонте. Он видел только ее – в окружении друзей, поглощенную светскими заботами, которые отняли ее у него. «Довольно думать о ней!» – сказал он себе.

Он встал, спустился в сад и дошел до площадки. Прохлада воды, взбаламученной падением с плотины, туманом поднималась от реки, и это ощущение холода, леденившее его сердце, и так уже исполненное глубокой печали, заставило его вернуться. В столовой ему был поставлен прибор. Он наскоро пообедал и, не зная, чем заняться, чувствуя, как растет в его теле и в душе недомогание, только что испытанное им, лег и закрыл глаза в надежде уснуть. Напрасно! Его мысли видели, его мысли страдали, его мысли не покидали этой женщины.

Кому достанется она теперь? Графу Бернхаузу, конечно! Это тот самый мужчина, в котором нуждается это тщеславное создание, – мужчина модный, элегантный, изысканный. Он нравится ей; ведь, стремясь его покорить, она пустила в ход все свое оружие, хотя и была в это время любовницей другого.

Его душа, одержимая этими разъедающими образами, все-таки начинала понемногу цепенеть, блуждая в сонливом бреду, где снова и снова возникали этот человек и она. По-настоящему он так и не заснул; и всю ночь ему мерещилось, что они бродят вокруг него, издеваясь над ним, раздражая его, исчезая, словно затем, чтобы дать ему наконец возможность уснуть; но как только он забывался, они снова являлись и разгоняли сон острым приступом ревности, терзавшей сердце.



Едва забрезжил рассвет, он встал и отправился в лес, с тростью в руке – здоровенной тростью, позабытой в его новом доме прежним жильцом.

Взошедшее солнце бросало свои лучи сквозь почти еще голые вершины дубов на землю, ме-

стами покрытую зеленеющей травой, местами – ковром прошлогодних листьев, а дальше – порывшим от зимних морозов вереском; желтые бабочки порхали вдоль всей дороги, как блуждающие огоньки.

Возвышенность, почти гора, поросшая соснами и покрытая синеватыми глыбами камней, показалась с правой стороны дороги. Мариоль медленно взобрался на нее и, достигнув вершины, присел на большой камень, так как стал задыхаться. Ноги не держали его, подкашиваясь от слабости, сердце сильно билось; все тело было как будто измощено какой-то непонятной истомой.

Это изнеможение – он хорошо это знал – не было следствием усталости; оно было следствием другого – любви, тяготившей его, как непосильная ноша. Он прошептал: «Что за несчастье! Почему она так властно держит меня? Меня, который всегда брал от жизни только то, что нужно брать, чтобы испробовать ее вкус, не страдая!»

Его внимание, возбужденное и обостренное страхом перед этим недугом, который, быть может, будет так трудно преодолеть, сосредоточилось на нем самом, проникло в душу, спустилось в самую сокровенную сущность, стараясь лучше ее узнать, лучше постигнуть, пытаясь открыть его собственным глазам причину этого необъяснимого перелома.

Он говорил себе: «Я никогда не был подвержен увлечениям. Я не впадаю в восторг, я по натуре не страстный человек; во мне значительно больше рассудочности, чем бессознательного влечения, больше любопытства, чем вожделения, больше своенравия, чем постоянства. По существу, я только ценитель наслаждений, тонкий, понимающий и разборчивый. Я любил блага жизни, никогда ни к чему особенно не привязываясь, я смаковал их, как знаток, не опьяняясь, потому что слишком опытен, чтобы терять рассудок. Я все оцениваю умом и обычно слишком отчетливо подвергаю анализу свои склонности, чтобы слепо им следовать. В этом-то и заключается мой великий недостаток, единственная причина моей слабости. И вот эта женщина стала властвовать надо мной наперекор моей воле, вопреки страху, который она мне внушает, вопреки тому, что я знаю ее насквозь; она поработила меня, завладев мало-помалу всеми помыслами и стремлениями, жившими во мне. Пожалуй, в этом все дело. Раньше я расточал их на неодушевленные предметы: на природу, которая пленяет и умиляет меня, на музыку, которая подобна идеальной ласке, на мысли – лакомство разума, и на все, что есть приятного и прекрасного на земле.

Но вот я встретил существо, которое собрало все мои немного неустойчивые и переменчивые желания и, обратив их на себя, претворило в любовь. Изящная и красивая – она пленила мои глаза; тонкая, умная и лукавая – она пленила мою душу, а сердце мое она поработила таинственной прелестью своей близости и присутствия, скрытым и неодолимым обаянием своей личности, которая завороживала меня, как дурманят иные цветы.

Она все заменила собой, ибо меня уже ничто не влечет; я уже ни в чем не нуждаюсь, ничего не хочу, ни о чем не тревожусь.

Какой бы трепет вызвал во мне, как бы меня потряс в прежнее время этот оживающий лес! Сейчас я его не вижу, не чувствую, меня здесь нет. Я неразлучен с этой женщиной, которую больше не хочу боготворить.

Полно! Эти мысли надо убить усталостью, иначе мне не излечиться!»

Он встал, спустился со скалистого пригорка и быстро зашагал вперед. Но наваждение, владевшее им, тяготило его, как будто он нес его на себе.

Он шел, все ускоряя шаг, и порою, глядя на солнце, терявшееся в листве, или ловя смолистое дуновение, исходившее от сомкнувшихся сосен, испытывал мимолетное чувство некоторой облегченности, точно предвестие отдаленного утешения.

Вдруг он остановился. «Это уже не прогулка, – подумал он, – это бегство». Он в самом деле бежал – без цели, сам не зная куда; он бежал, преследуемый смертельной тоской этой разбитой любви.

Потом он пошел медленнее. Лес менял свой облик, становился пышней и тенистей, потому что теперь Мариоль вступал в самую чащу, в чудесное царство буков. Зимы уже совершенно не чувствовалось. Это была необыкновенная весна, как будто родившаяся в эту самую ночь, до того была она свежа и юна.

Мариоль проник в самую гущу, под гигантские деревья, поднимавшиеся все выше и выше, и

шел все вперед, шел час, два часа, пробираясь сквозь ветви, сквозь неисчислимое множество мелких блестящих маслянистых листков, отлакированных собственным соком. Все небо закрывал огромный свод древесных вершин, поддерживаемый кое-где прямыми, а кое-где склонившимися стволами, то более светлыми, то совсем темными под слоем черного мха, покрывавшего кору. Они уходили далеко ввысь одна за другой, возвышаясь над молодой порослью, тесно разросшейся и перепутавшейся у их подножия, и прикрывали ее густой тенью, пронизанной потоками солнца. Огненный ливень падал и растекался по всей этой раскинувшейся листве, походившей уже не на лес, а на сверкающее облако зелени, озаренное желтыми лучами.

Мариоль вдруг остановился, охваченный невыразимым удивлением. Где он? В лесу или на дне моря – моря листьев и света? На дне океана, позлащенного зеленым сиянием?

Он почувствовал себя несколько лучше, дальше от своего горя, более укрытым, более спокойным и улегся на рыжий ковер опавших листьев, которые эти деревья сбрасывают лишь после того, как покроются новым нарядом.

Наслаждаясь свежим прикосновением земли и мягким, чистым воздухом, он скоро проникся желанием, сначала смутным, потом более определенным, не быть одиноким в этих прелестных местах и подумал: «Ах, если бы она была здесь со мной!»

Он внезапно снова увидел Сен-Мишель и, вспомнив, насколько г-жа де Бюрн была там другой, чем в Париже, подумал, что только в тот день, когда в ней пробудились чувства, расцветшие на морском просторе, среди светлых песков, она и любила его немного, в течение нескольких часов. Правда, на дороге, затопленной морем, в монастыре, где, прошептав одно его имя «Андре», она как будто сказала: «Я ваша», да на Тропе безумцев, когда он почти нес ее по воздуху, в ней родилось нечто близкое к порыву, но увлечение уже никогда не возвращалось к этой кокетке, с тех пор как ее ножка снова ступила на парижскую мостовую.

Однако здесь, возле него, в этой зеленеющей купели, при виде этого прилива – прилива свежих растительных соков, не могло бы разве вновь проникнуть в ее сердце мимолетное и сладкое волнение, некогда охватившее ее на Нормандском побережье?

Он лежал, раскинувшись, на спине, истомленный своею мечтой, блуждая взором по волнам древесных вершин, залитых солнцем; и мало-помалу он стал закрывать глаза, цепenea в великом покое леса. Наконец он заснул, а когда очнулся, увидел, что уже третий час пополудни.



Поднявшись, он уже не чувствовал такой печали, такой боли и снова тронулся в путь. Он наконец выбрался из лесной чащи и достиг широкого перекрестка, в который, словно зубцы короны, упирались шесть сказочно высоких аллей, терявшихся в прозрачных лиственных далях, в воздухе, окрашенном изумрудом. Придорожный столб указывал название этой местности: *Королевская роща*. Это поистине была столица королевства буков.

Мимо проезжал экипаж. Он был свободен. Мариоль нанял его и велел отвезти себя в Марлот, откуда рассчитывал дойти пешком до Монтиньи, предварительно закусив в трактире, так как

очень проголодался.

Он вспомнил, что видел накануне вновь открытое заведение, *Гостиницу Коро*, пристанище для художников, отделанное в средневековом духе, по образцу парижского кабаре *Черный Кот*²¹. Экипаж доставил его туда, и он через открытую дверь вошел в просторную залу, где старинного вида столы и неудобные скамейки как будто поджидали пьяниц минувших веков.

В глубине комнаты молоденькая женщина, должно быть служанка, стоя наверху стремянки, развешивала старинные тарелки на гвозди, вбитые слишком высоко для ее роста. То приподнимаясь на носках, то становясь на одну ногу, она тянулась вверх, одной рукой упираясь в стену, а в другой держа тарелку; ее движения были ловки и красивы, талия отличалась изяществом, а волнистая линия от кисти руки и до щиколотки при каждом ее усилии принимала все новые грациозные изгибы. Она стояла спиной к двери и не слышала, как вошел Мариоль; он остановился и стал наблюдать за ней. Ему вспомнился Предолэ. «Право же, – сказал он себе, – какая прелесть! Как стройна эта девочка!»

Он кашлянул. Она чуть не упала от неожиданности, но, удержав равновесие, прыгнула на пол с легкостью канатной плясуньи и, улыбаясь, подошла к посетителю.

– Что прикажете, сударь?

– Позавтракать, мадемуазель.

Она дерзнула заметить:

– Скорее пообедайте, ведь теперь уже половина четвертого.

– Ну, пообедайте, если вам так угодно, – ответил он. – Я заблудился в лесу.

Она перечислила ему блюда, имевшиеся к услугам путешественников. Мариоль выбрал кушанья и сел.

Она пошла передать заказ, потом вернулась накрыть на стол.

Он провожал ее взглядом, находя ее миловидной, живой и чистенькой. В рабочем платье, с подоткнутой юбкой, с засученными рукавами и открытой шеей, она привлекала милым проворством, весьма приятным для глаз; а корсаж хорошо обрисовывал ее талию, которой она, по видимому, очень гордилась.

Чуть-чуть загорелое лицо, разрумяненное свежим воздухом, было слишком толстощеким и еще детски пухлым, но свежим, как распускающийся цветок, с красивыми, ясными карими глазами, в которых все, казалось, сверкало, с широкой улыбкой, открывавшей прекрасные зубы; у нее были темные волосы, изобилие которых говорило о жизненной силе этого молодого и крепкого существа.

Она подала редиску и масло, и он принялся за еду, перестав глядеть на нее. Чтобы забыться, он спросил бутылку шампанского и выпил ее всю, а после кофе – еще две рюмки кюммеля. Перед уходом из дому он съел только ломтик холодного мяса с хлебом, так что все это было выпито почти натошак, и он почувствовал, как его охватил, сковал и успокоил какой-то сильный дурман, который он принял за забвение. Его мысли, его тоска и тревога словно растворились, утонули в светлом вине, так быстро превратившем его измученное сердце в сердце почти бесчувственное.

Он не спеша вернулся в Монтиньи, пришел домой очень усталый и сонный, улегся в постель с наступлением сумерек и тотчас же заснул.

Но среди ночи он проснулся, чувствуя какое-то недомогание, смутную тревогу, как будто кошмар, который удалось прогнать на несколько часов, снова подкрался к нему, чтобы прервать его сон.

Она была здесь, она, г-жа де Бюрн; она вернулась сюда и бродит вокруг него в сопровождении графа Бернхауза. «Ну вот, – подумал он, – теперь я ревную. Почему?»

Почему он ее ревновал? Он скоро это понял. Несмотря на все свои страхи и муки, пока он был ее любовником, он чувствовал, что она ему верна, верна без порыва, без нежности, просто потому, что хочет быть честной. Но он все порвал, он вернул ей свободу; все было кончено. Будет ли она теперь жить одиноко, без новой связи? Да, некоторое время, конечно... А потом?... Не исходила ли самая верность, которую она до сих пор соблюдала, не вызывая в нем никаких сомнений,

²¹ «Черный Кот» – один из парижских кафешантанов, открывшийся в 80-х годах.

из смутного предчувствия, что, покинув его, Мариоля, от скуки, она в один прекрасный день, после более или менее длительного отдыха, должна будет заменить его – не по увлечению, но утомясь одиночеством, как она со временем бросила бы его, устав от его привязанности? Разве не бывает в жизни, что любовников покорно сохраняют навсегда только из страха перед их преемниками? К тому же эта смена любовников показалась бы неопытной такой женщине, как она, – слишком разумной, чтобы поддаваться предрассудкам греха и бесчестия, но наделенной чуткой нравственной стыдливостью, которая предохраняет ее от настоящей грязи. Она светский философ, а не добродетельная мещанка; она не пугается тайной связи, но ее равнодушное тело содрогнулось бы от брезгливости при мысли о веренице любовников.

Он вернул ей свободу... и что же? Теперь она, разумеется, возьмет другого! И это будет граф Бернхауз. Он был уверен в этом и невыразимо страдал. Почему он с нею порвал? Он бросил ее, верную, ласковую, очаровательную! Почему? Потому что был грубой скотиной и не понимал любви без чувственного влечения?

Так ли это? Да... Но было и нечто другое! Был прежде всего страх перед страданием. Он бежал от муки не быть любимым в той же мере, как любил он сам, от жестокого разлада между ними, от неодинаково нежных поцелуев, от неизлечимого недуга, жестоко поразившего его сердце, которому, может быть, никогда уже не исцелиться. Он испугался чрезмерных страданий, он побоялся сносить годами смертельную тоску, которую предчувствовал в продолжение нескольких месяцев, а испытывал всего несколько недель. Слабый, как всегда, он отступил перед этим страданием, как всю жизнь отступал перед всякими трудностями.

Значит, он не способен довести что бы то ни было до конца, не может всецело отдаться страсти, как ему следовало бы отдаться науке или искусству; вероятно, нельзя глубоко любить, не испытывая при этом глубоких страданий.

Он до самого рассвета перебирал все те же мысли, и они терзали его, как псы; потом он встал и спустился на берег реки.

Какой-то рыбак забрасывал сеть у плотины. Вода бурлила под лучами зари, и когда человек вытаскивал большую круглую сеть и расстилал ее на палубе лодки, мелкие рыбки трепыхались в петлях, будто живое серебро.

Теплый утренний воздух, насыщенный брызгами падавшей воды, в которых мелькали зыбкие радуги, успокаивал Мариоля; ему казалось, что река, протекающая у его ног, уносит в своем безостановочном и быстром беге частицу его печали.

Он подумал: «Все-таки я поступил хорошо; я слишком страдал!»

Он вернулся домой, взял гамак, замеченный им в прихожей, и повесил его между двумя липами; расположившись в нем, он старался ни о чем не думать, глядя на скользящую мимо воду.

Он пролежал так до завтрака – в сладком оцепенении, в блаженном состоянии тела, распространявшемся и на душу, и по возможности растянул завтрак, чтобы сократить день. Но его томило ожидание: он ждал почты. Он телеграфировал в Париж и написал в Фонтенебло, чтобы ему переслали сюда письма. Он ничего не получал, и ощущение полной заброшенности начинало тяготить его. Почему? Он не мог ожидать ничего приятного, утешительного и успокаивающего из недр черной сумки, висящей на боку у почтальона, ничего, кроме ненужных приглашений и пустых новостей. К чему же тогда мечтать об этих неведомых письмах, словно в них таится спасение для его сердца?

Не скрывается ли в самой глубине его души тщеславная надежда получить письмо от нее?

Он спросил у одной из своих старушек:

– В котором часу приходит почта?

– В полдень, сударь.

Был как раз полдень. Он со все возрастающим беспокойством стал прислушиваться к шумам, доносившимся извне. Стук в наружную дверь заставил его привскочить. Почтальон принес только газеты и три незначительных письма. Мариоль прочитал газеты, перечитал их, заскучал и вышел из дому.

За что ему взяться? Он вернулся к гамаку и снова растянулся в нем, но полчасика спустя настойчивая потребность уйти куда-нибудь охватила его. В лес? Да, лес был обворожителен, но

одиночество в нем ощущалось еще глубже, чем дома или в деревне, где иногда слышались какие-то отзвуки жизни. И это безмолвное одиночество деревьев и листвы наполняло его печалью и сожалениями, погружало его в скорбь. Он мысленно снова совершил вчерашнюю большую прогулку, и когда ему вновь представилась проворная служаночка из *Гостиницы Коро*, он подумал: «Вот идея! Отправлюсь туда и там пообедаю». Такое решение хорошо на него подействовало; это все-таки занятие, средство выиграть несколько часов. И он тотчас же тронулся в путь.

Длинная деревенская улица тянулась прямо по долине, между двумя рядами белых низеньких домишек с черепичными крышами; некоторые домики выходили прямо на дорогу, другие прятались в глубине дворов за кустами цветущей сирени; куры разгуливали там по теплomu навозу, а лестницы, обнесенные деревянными перилами, взбирались прямо под открытым небом к дверям, пробитым в стене. Крестьяне не спеша работали возле своих жилищ. Мимо прошла сгорбленная старуха в разорванной кофте, с седовато-желтыми, несмотря на ее возраст, волосами (ведь у деревенских жителей почти никогда не бывает настоящей седины); ее тощие, узловатые ноги обрисовывались под каким-то подобием шерстяной юбки, подоткнутой сзади. Она смотрела прямо перед собой бессмысленными глазами – глазами, никогда ничего не видевшими, кроме нескольких самых простых предметов, необходимых для ее убогого существования.

Другая, помоложе, развешивала белье у дверей своего дома. Движение ее рук подтягивало кверху юбку и открывало широкие лодыжки в синих чулках и костлявые ноги – кости без мяса, между тем как ее талия и грудь, плоские и крепкие, как у мужчины, говорили о бесформенном теле, вероятно, ужасном на вид.

«Женщины! – подумал Мариоль. – И это женщины! Вот они какие!» Силуэт г-жи де Бюрн встал перед его глазами. Он увидел ее, чудо изящества и красоты, идеал человеческого тела, кокетливую и наряженную для утех мужских взглядов; и он содрогнулся от смертельной тоски по невозвратимой утрате.

И он зашагал быстрее, чтобы развлечь свое сердце и мысли. Когда он вошел в гостиницу, служаночка сразу узнала его и почти фамильярно приветствовала:

- Здравствуйте, сударь.
- Здравствуйте, мадемуазель.
- Хотите чего-нибудь выпить?
- Да, для начала, а потом я у вас пообедаю.

Они обсудили, что ему сначала выпить и что съесть потом. Он советовался с ней, чтобы заставить ее разговориться, потому что она выражалась хорошо, на живом парижском наречии и так же непринужденно, как непринужденны были ее движения.

Слушая ее, он думал: «Как мила эта девочка! У нее задатки будущей кокетки».

Он спросил ее:

- Вы парижанка?
- Да, сударь.
- Вы здесь уже давно?
- Две недели, сударь.
- Вам здесь нравится?
- Пока не особенно, но еще рано судить; к тому же я устала от парижского воздуха, а в деревне я поправилась; из-за этого-то главным образом я и приехала сюда. Так подать вам вермута, сударь?

- Да, мадемуазель, и скажите повару или кухарке, чтобы они приготовили обед получше.
- Будьте покойны, сударь.

Она ушла, оставив его одного.

Он спустился в сад и устроился в лиственной беседке, куда ему и подали вермут. Он просидел там до вечера, слушая дрозда, свистевшего в клетке, и поглядывая на проходившую изредка мимо него служаночку, решившую пококетничать и порисоваться перед гостем, которому, как она поняла, пришлась по вкусу.



Он ушел, как и накануне, повеселев от шампанского, но темнота и ночная прохлада быстро рассеяли легкое опьянение, и неодолимая тоска снова проникла ему в душу. Он думал: «Что же мне делать? Остаться ли здесь? Надолго ли я обречен влачить эту безотрадную жизнь?» Он заснул очень поздно.

На следующий день он опять покачался в гамаке, и вид человека, закидывавшего сеть, навел его на мысль заняться рыбной ловлей. Лавочник, торговавший удочками, дал ему указания относительно этого умиротворяющего спорта и даже взялся руководить его первыми опытами. Предложение было принято, и с десяти часов до полудня Мариолу с большими усилиями и великим напряжением внимания удалось поймать три крошечных рыбки.

После завтрака он снова отправился в Марлот. Зачем? Чтобы убить время.

Служаночка встретила его смехом.

Он тоже улыбнулся, забавляясь таким приветствием, и попробовал вызвать ее на болтовню.

Чувствуя себя более непринужденно, чем накануне, она разговорилась. Ее звали Элизабет Ледрю.

Мать ее, домашняя портниха, умерла в прошлом году; тогда ее отец, счетовод, всегда пьяный, вечно без места, живший на счет жены и дочери, внезапно исчез, так как девочка, которая шила в своей мансарде теперь с утра до ночи, не могла одна зарабатывать на двоих. Устав от этого однообразного труда, она поступила служанкой в дешевый ресторанчик и пробыла там около года; она уже чувствовала себя утомленной, а в это время хозяин *Гостиницы Коро* в Марлот, которому она как-то раз прислуживала, пригласил ее на лето вместе с двумя другими девушками, которые должны приехать немного позже. Этот содержатель гостиницы, видимо, знал, чем привлечь посетителей.

Рассказ пришелся по душе Мариолу. Он ловко расспрашивал девушку, обращаясь с ней, как с барышней, и выведал у нее много любопытных подробностей об унылом и нищем быте семьи, разоренной пьяницей. Она же, существо заброшенное, бездомное, одинокое и все же веселое благодаря своей молодости, почувствовав искренний интерес со стороны этого незнакомца и живое участие, была с ним откровенна, раскрыла ему всю душу, порывов которой она не могла сдерживать так же, как и своего проворства.

Когда она умолкла, он спросил:

— И вы... будете служанкой всю жизнь?

– Не знаю, сударь. Разве я могу предвидеть, что со мной будет завтра?

– Надо все-таки подумать о будущем.

Легкая тень озабоченности легла на ее лицо, но быстро сбежала. Она ответила:

– Покорюсь тому, что выпадет мне на долю. Чему быть – того не миновать.

Они расстались друзьями.

Он снова пришел через несколько дней, потом еще раз, потом стал ходить часто, смутно привлекаемый простодушной беседой с одинокой девушкой, легкая болтовня которой немного рассеивала его печаль.

Но вечерами, когда он возвращался пешком в Монтиньи, думая о г-же де Бюрн, на него находили страшные приступы отчаяния. С рассветом ему становилось немного легче. Но когда наступала ночь, на него снова обрушивались терзавшие душу сожаления и дикая ревность. Он не получал никаких известий. Он сам никому не писал, и ему никто не писал. Он ничего не знал. И вот, возвращаясь один по темной дороге, он представлял себе развитие связи, которую он предвидел между своей вчерашней любовницей и графом Бернхаузом. Эта навязчивая мысль с каждым днем все неотступнее преследовала его. «Этот, – размышлял он, – даст ей именно то, что ей нужно: он будет благовоспитанным светским любовником, постоянным, не слишком требовательным, вполне довольным и польщенным тем, что стал избранником такой обворожительной и тонкой кокетки».

Он сравнивал его с собой. У того, разумеется, не будет той болезненной чувствительности, той утомительной требовательности, той иступленной жажды ответной нежности, которые разрушили их любовный союз. Как человек светский, стоворчивый, рассудительный и сдержанный, он удовлетворится малым, так как, по-видимому, тоже не принадлежит к породе страстных людей.

Придя однажды в Марлот, Андре Мариоль увидел в другой беседке *Гостиницы Коро* двух бородатых молодых людей в беретах, с трубками в зубах.

Хозяин, толстяк с сияющим лицом, тотчас же вышел его приветствовать, потому что чувствовал к этому верному посетителю отнюдь не бескорыстное расположение. Он сказал:

– А у меня со вчерашнего дня два новых постояльца, два живописца.

– Вот те двое?

– Да; это уже знаменитости; тот, что поменьше, получил в прошлом году вторую медаль.

И, рассказав все, что он знал об этих новоявленных талантах, он спросил:

– Что вы сегодня изволите пить, господин Мариоль?

– Пошлите мне, как всегда, бутылку вермута.

Хозяин ушел.

Появилась Элизабет, неся поднос с бокалом, графином и бутылкой. Один из художников тотчас же крикнул:

– Ну что же, малютка, мы все еще дуемся?

Она ничего не ответила, а когда подошла к Мариолу, он увидел, что глаза у нее красные.

– Вы плакали? – спросил он.

Она просто ответила:

– Да, немного.

– Что случилось?

– Эти два господина нехорошо со мной обошлись.

– Что они сделали?

– Они приняли меня за какую-то...

– Вы пожаловались хозяину?

Она грустно пожала плечами.

– Ах, сударь! Хозяин... хозяин!.. Знаю я его теперь... нашего хозяина!

Мариоль, взволнованный и немного рассерженный, сказал ей:

– Расскажите мне все.

Она рассказала о грубых и настойчивых приставаниях новоприбывших мазил. Потом она снова расплакалась, не зная, что ей теперь делать, брошенной в этом чужом краю, без покровителя, без поддержки, без денег, без помощи.

Мариоль неожиданно предложил:

– Хотите перейти ко мне в услужение? Вам будет у меня неплохо... А когда я вернусь в Париж, вы поступите, как вам заблагорассудится.

Она вопрошающе посмотрела ему прямо в лицо. Потом вдруг сказала:

– Очень даже хочу.

– Сколько вы здесь получаете?

– Шестьдесят франков в месяц.

И с беспокойством добавила:

– Кроме того, чаевые. Всего-навсего франков семьдесят.

– Я положу вам сто франков.

Она удивленно повторила:

– Сто франков в месяц?

– Да, это вам подходит?

– Еще бы!

– Вы будете только прислуживать мне за столом, заботиться о моих вещах, белье и одежде и убирать комнату.

– Понимаю, сударь!

– Когда вы придете?

– Завтра, если вам угодно. После того, что случилось, я обращусь к мэру и уйду во что бы то ни стало.

Мариоль вынул из кармана два луи и, протягивая их ей, сказал:

– Вот вам задаток.

Лицо ее озарилось радостью, и она решительно проговорила:

– Завтра, до полудня, я буду у вас, сударь.

II

На следующий день Элизабет явилась в Монтиньи в сопровождении крестьянина, который вез в тачке ее чемодан. Мариоль отделался от одной из своих старушек, щедро вознаградив ее, и вновь прибывшая заняла комнатку в третьем этаже, рядом с кухаркой.

Когда она предстала перед своим хозяином, она показалась ему несколько другой, чем в Марлот, не такой общительной, более застенчивой: она стала служанкой барина, в то время как там, под зеленым шатром в саду ресторана, она была чем-то вроде его скромной подружки.

Он объяснил ей в немногих словах, что ей предстоит делать. Она выслушала очень внимательно, водворилась на место и взялась за работу.

Прошла неделя, не внеся в душу Мариоля значительной перемены. Он только заметил, что стал реже уходить из дому, потому что у него уже не было прежнего предлога для прогулок в Марлот, и дом, пожалуй, казался ему менее мрачным, чем в первые дни. Острота его горя понемногу утихала, как утихает все; но на месте этой раны в нем зарождалась неодолимая грусть, та глубокая тоска, похожая на медленную и затяжную болезнь, что иногда приводит к смерти. Вся его прежняя живость, вся пытливость его ума, весь интерес к ранее занимавшим и радовавшим его вещам умерли в нем, сменились отвращением ко всему и непреодолимым равнодушием, которое лишало его даже силы подняться с места и погулять. Он уже не покидал усадьбы, переходя из гостиной в гамак, из гамака в гостиную. Главным его развлечением было смотреть на воды Луэна и на рыбака, забрасывающего сеть.

После первых дней сдержанности и скромности Элизабет стала немного смелей и, уловив своим женским чутьем постоянное уныние хозяина, иногда спрашивала его, если другой прислуги не было поблизости:

– Вы очень скучаете, сударь?

Он с видом покорности судьбе отвечал:

– Да, порядочно.

– Вам следовало бы пройтись.

– Это не поможет.

Она проявляла в отношении к нему скромную и самоотверженную предупредительность. Каждое утро, входя в гостиную, он находил ее полной цветов, благоухающей, как теплица. Элизабет, очевидно, обложила данью как ребятишек, доставлявших ей из лесу примулы, фиалки и золотистый дрок, так и деревенские палисадники, в которых крестьянки по вечерам поливали какие-то растения. Он же в своей отрешенности, в своем отчаянии и душевном оцепенении испытывал к ней особую нежную признательность за эти изобретательные дары и за постоянное старание быть ему приятной во всех мелочах, которое он улавливал в ней. Ему казалось также, что она хорошеет, начинает больше следить за собой, что лицо ее стало белее и как бы утонченней. Он даже заметил однажды, когда она подавала ему чай, что у нее уже не руки служанки, а дамские ручки с хорошо обточенными и безукоризненно чистыми ногтями. В другой раз он обратил внимание на ее почти элегантную обувь. Потом, как-то днем, она поднялась в свою комнату и вернулась в очаровательном сереньком платьице, простеньком, но сшитом с безукоризненным вкусом. Увидя ее, он воскликнул:

– Какой вы стали кокеткой, Элизабет!

Она густо покраснела и пролепетала:

– Что вы, сударь! Просто я одеваюсь немного получше, потому что у меня чуть-чуть больше денег.

– Где вы купили это платье?

– Я сама его сшила, сударь.

– Сами сшили? Когда же? Ведь вы целый день работаете по дому.

– А вечерами-то, сударь?

– А материю вы откуда достали? И кто вам кроил?

Она рассказала, что местный лавочник привез ей образчики материй из Фонтенебло. Она выбрала и заплатила за товар из тех двух луи, которые получила в задаток от Мариоля. Что же касается кройки, а также шитья, то это несколько ее не смущает, так как она четыре года работала вместе с матерью на магазин готового платья.

Он не мог удержаться, чтобы не сказать:

– Оно вам очень идет. Вы очень милы.

Она снова зарделась до самых корней волос.

Когда она ушла, он подумал: «Уж не влюбилась ли она в меня, чего доброго?» Он поразмыслил над этим, поколебался, посомневался и наконец решил, что это вполне возможно. Он был с ней добр, посочувствовал ей, помог; он был почти ее другом. Что же удивительного, что девушка увлеклась своим хозяином после всего, что он для нее сделал? Впрочем, эта мысль не была ему неприятна: девочка была действительно недурна и ничем уже не походила на горничную. Его мужское самолюбие, так сильно оскорбленное, задетое, раненное и поправленное другой женщиной, чувствовало себя польщенным, утешенным, почти исцеленным. Это было возмещение, очень маленькое, едва ощутимое, но все-таки возмещение, потому что, раз в человека кто-нибудь влюблен – все равно кто, – значит, этот человек еще может внушать любовь. Его бессознательный эгоизм также был этим удовлетворен. Его немного развлекло бы и, может быть, пошло бы ему на пользу понаблюдать, как это маленькое сердечко оживет и забьется для него. Ему не пришло в голову удалить этого ребенка, оградить его от той опасности, которая причинила ему самому такие страдания, пожалеть девочку больше, чем пожалели его, – ибо сострадание никогда не сопутствует любовным победам.

Он стал за ней наблюдать и скоро убедился, что не ошибся. Тысячи мелочей ежедневно подтверждали это. Как-то утром, подавая ему за столом, она слегка коснулась его платьем, и он почувствовал запах духов – простеньких духов, очевидно, купленных в галантерейной лавке или у местного аптекаря. Тогда он подарил ей флакон туалетной воды «Шипр», которой сам постоянно пользовался, умываясь, и запасы которой всегда имел при себе. Он подарил ей также хорошее туалетное мыло, зубной эликсир и рисовую пудру. Он искусно способствовал этому превращению, становившемуся с каждым днем все заметнее, все полнее, и следил за ним любознательным и польщенным взглядом. Оставаясь для него скромной и преданной служанкой, она вместе с тем ста-

новила глубоко чувствующей и влюбленной женщиной, в которой наивно развивался врожденный инстинкт кокетства.

Он и сам понемножку привязывался к ней. Он забавлялся, он был растроган и благодарен. Он играл с этой зарождающейся любовью, как играют в часы тоски со всем, что может хоть чуточку развлечь. Он не испытывал к ней иного влечения, кроме неясного желания, толкающего всякого мужчину ко всякой привлекательной женщине, будь она хорошенькой горничной или крестьянкой, сложенной, как богиня, своего рода сельской Венерой. Его больше всего притягивала к ней та женственность, которую он в ней находил и которая была ему теперь нужна. Это была смутная и неодолимая потребность, вызванная другою, любимую, пробудившей в нем это властное и таинственное влечение к женской сущности, к близости женщины, к общению с ней, к тому тонкому аромату, духовному или чувственному, который каждое соблазнительное создание, от простолюдинки до великосветской дамы, от восточной самки с огромными черными глазами до северной девы с голубым взором и лукавой душой, изливает на тех мужчин, для которых еще жива извечная обаятельность женского существа.

Это нежное, непрестанное, ласкающее и затаенное внимание, скорей осязаемое, нежели видимое, обволакивало его рану, как слой ваты, и делало ее менее чувствительной к новым приступам душевных страданий. Но страдания эти, однако, не унимались, ползая и кружась, как мухи вокруг открытой раны. Довольно было одной из них коснуться ее, чтобы мучение возобновилось.

Он запретил давать кому-либо свой адрес, и его друзья отнеслись с должным уважением к его бегству, но отсутствие новостей и каких бы то ни было известий беспокоило его. Время от времени ему попадались в газете фамилии Ламарта или Масиваля в перечне лиц, присутствовавших на званом обеде или на каком-нибудь торжестве. Однажды ему встретила фамилия г-жи де Бюрн, которую называли одной из самых изящных, самых красивых и изысканно одетых дам на балу в австрийском посольстве. Дрожь пробежала по нему с головы до ног. Фамилия графа фон Бернхауза стояла несколькими строками ниже. И вновь вспыхнувшая ревность до самого вечера терзала сердце Мариоля. Эта предполагаемая связь стала теперь для него почти несомненной. Это было одно из тех воображаемых убеждений, которые мучительнее, чем достоверный факт, потому что от них нельзя ни избавиться, ни исцелиться.

Не в силах переносить эту неизвестность и неуверенность в своих подозрениях, он решил написать Ламарту, который, зная его достаточно хорошо, чтобы догадаться о его душевных терзаниях, мог бы ответить на его предположения даже без прямого вопроса.

Поэтому однажды вечером, при свете лампы, он составил длинное, искусно сочиненное письмо, неопределенно печальное, полное скрытых вопросов и лирических излияний на тему о красоте весны в деревне.

Через четыре дня, получив почту, он с первого взгляда узнал прямой и твердый почерк романиста.

Ламарт сообщал ему тысячу прискорбных новостей, полных для него глубокого значения. Он говорил о множестве людей, но, не вдаваясь насчет г-жи де Бюрн и графа фон Бернхауза в большие подробности, чем насчет любого другого человека, он как будто выделял их свойственным ему стилистическим приемом и привлекал к ним внимание как раз до намеченной точки, ничем не обнаруживая при этом своего намерения.

Из письма в общем вытекало, что все подозрения Мариоля были по меньшей мере обоснованны. Его опасения сбудутся завтра, если не сбылись еще вчера.

Его прежняя любовница жила все той же жизнью: суетливой, блестящей, светской. О нем немножко поговорили после его исчезновения, как обычно говорят об исчезнувших, — с безразличным любопытством. Полагали, что он уехал куда-то очень далеко, потому что ему наскучил Париж.

Получив это письмо, он до вечера пролежал в гамаке. Он не мог обедать, он не мог уснуть, а ночью у него началась лихорадка. На другой день он чувствовал себя таким усталым, таким подавленным, до того полным отвращения к однообразию дней, проводимых между этим глухим молчаливым лесом, теперь уже дремучим от зелени, и надоедливой речонкой, журчавшей под его окнами, что решил не вставать совсем.

Когда Элизабет вошла на его звонок и увидела его еще в постели, она удивленно остановилась на пороге и спросила, внезапно побледнев:

- Вы захворали, сударь?
- Да, немного.
- Не позвать ли врача?
- Нет; со мной это случается.
- Не угодно ли вам чего-нибудь?

Он велел, как всегда, приготовить ванну, к завтраку только яйца, а чай чтобы был в течение всего дня. Но к часу его охватила такая неистовая тоска, что ему захотелось встать. Элизабет, которую он беспрестанно вызывал, по обыкновению всех мнимых больных, приходила встревоженная, огорченная, горящая желанием быть полезной, помочь ему, ухаживать за ним и вылечить его; видя, как он взволнован и расстроен, она предложила, вся покрасневшись от смущения, что-нибудь почитать ему вслух.

Он спросил:

- Вы хорошо читаете?
- Да, сударь, когда я училась в школе, я всегда получала награды за чтение и прочла мамочке столько романов, что и заглавия все перезабыла.

Он заинтересовался и послал ее в мастерскую взять среди присланных ему книг самую его любимую – *Манон Леско*²². Она помогла ему сесть в постели, подложила ему за спину две подушки, взяла стул и начала читать. Читала она действительно хорошо, даже очень хорошо, потому что была наделена врожденным даром верной интонации и выразительности. Она сразу же заинтересовалась этой повестью и с таким волнением следила за развитием событий, что он иногда прерывал ее, чтобы задать ей какой-нибудь вопрос и немного побеседовать с ней.



В открытое окно вместе с теплым ветерком, напоенным запахом зелени, врываются пение, рокот и трели соловьев, заливавших возле самочек на всех окрестных деревьях в эту пору любви.

Андре глядел на девушку, взволнованную, следившую с блеском в глазах за событиями, которые развертывались на страницах книги.

²² Манон Леско – героиня романа французского писателя аббата Прево (1697–1763) «История Манон Леско и шевалье де Гриё» (1731).

На его вопросы она отвечала с врожденным пониманием всего, что относится к любви и страсти, придавая своим словам правильный, но немного расплывчатый смысл, вызванный простонародною узостью ее кругозора. Он подумал: «Если бы немного подучить эту девочку, она стала бы совсем смышленной и умницей».

Женское очарование, которое он уже раньше почувствовал в ней, в самом деле благотворно влияло на него в этот жаркий, спокойный день, причудливо сливаясь в его сознании с таинственным и могучим очарованием Манон, которая дает нашим сердцам вкусить величайшую женскую прелесть, когда-либо переданную человеческим искусством.

Убаюканный голосом, увлеченный столь знакомым и всегда новым повествованием, он мечтал о такой же ветреной и пленительной любовнице, как любовница де Гриё²³, неверной и посто-
янной, человечной и соблазнительной даже в своих постыдных недостатках, созданной для того, чтобы пробудить в мужчине всю его нежность и весь его гнев, страстную ненависть и привязанность, ревность и вожделение.

Ах, если бы та, которую он только что покинул, таила в своей крови хотя бы только любовное и чувственное вероломство этой манящей куртизанки, он, может быть, никогда не уехал бы! Манон изменяла, но любила; она лгала, но отдавалась!

Мариоль нежился весь день, а с наступлением вечера погрузился в какое-то мечтательное забытие, где сливались все эти женщины. Не испытав со вчерашнего дня никакой усталости, проведя день без малейшего движения, он спал чутким сном и проснулся от какого-то странного шума, раздававшегося в доме.

Уже раза два в ночные часы ему слышались чьи-то шаги и едва уловимое движение в нижнем этаже, — не прямо под ним, а в комнатках, прилегавших к кухне: бельевого и ванной. Он не обращал на это внимания.

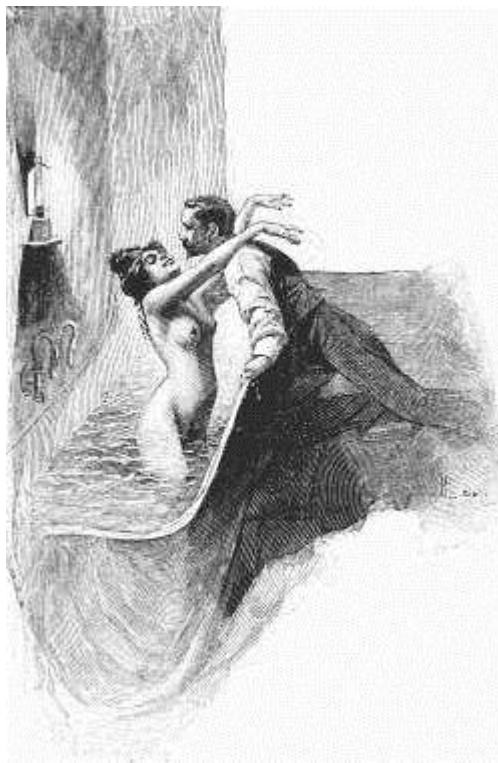
Но в этот вечер, устав лежать и чувствуя, что скоро ему не уснуть, он стал прислушиваться и различил странные шорохи и что-то похожее на всплески воды. Тогда он решил пойти посмотреть; зажег свечу и взглянул на часы: не было еще и десяти. Он оделся, положил в карман револьвер и, крадучись, с бесконечными предосторожностями, спустился вниз.

Войдя в кухню, он с изумлением увидел, что топится плита. Больше ничего не было слышно, но потом ему почудилось движение в ванной, крошечной комнатке, выбеленной известью, где ничего, кроме ванны, не было.

Он подошел, бесшумно повернул ручку и, резко распахнув дверь, увидел распростертое в воде женское тело с раскинутыми руками, с кончиками грудей, выступавшими из воды; прекраснейшее женское тело, какое ему когда-либо случалось видеть.

Она вскрикнула в ужасе: ей некуда было скрыться.

²³ Любовница де Гриё — Манон Леско.



Он уже стоял на коленях у края ванны, пожирая ее пылающими глазами и протянув к ней губы.

Она поняла и, внезапно вскинув руки, с которых струилась вода, обвила ими шею своего хозяина.

III

На следующий день, когда, подавая ему чай, она появилась перед ним и глаза их встретились, она задрожала так сильно, что чашка и сахарница несколько раз подряд стукнулись друг о друга.

Мариоль подошел к ней, взял у нее из рук поднос, поставил на стол и, видя, что она потупилась, сказал ей:

– Взгляни на меня, крошка.

Она подняла на него глаза, полные слез.

Он продолжал:

– Я не хочу, чтобы ты плакала.

Он прижал ее к себе и почувствовал, что она трепещет с головы до ног. «О, боже мой!» – прошептала она. Он понял, что не горе, не сожаление и не раскаяние заставили ее прошептать эти три слова, а счастье, самое настоящее счастье. И чувствуя, как прижимается к его груди это маленькое, полюбившее его существо, он испытывал странное эгоистическое, скорее физическое, чем нравственное, удовлетворение. Он благодарил ее за это чувство, как раненый, брошенный на дороге, поблагодарил бы женщину, которая ему помогла. Он благодарил ее от всего своего истерзанного сердца, алчущего ласки, обманутого в своих тщетных порывах из-за равнодушия другой; а в глубине души он чуть-чуть жалел ее. Глядя на нее, изменившуюся, побледневшую, всю в слезах, с глазами, горящими любовью, он вдруг сказал сам себе: «Да она ведь красивая! Как быстро преображается женщина, становится тем, чем она должна быть, когда следует влечению души или голосу природы».

– Присядь, – сказал он.

Она села. Он взял ее руки, ее бедные рабочие руки, ставшие ради него белыми и изящными, и потихоньку, осторожно подбирая слова, стал говорить ей о том, каковы теперь должны быть их отношения. Она уже для него не прислуга, но нужно сохранить видимость, чтобы не вызвать сплетен в деревне. Она будет жить при нем в качестве экономки и часто будет читать ему вслух, что

послужит оправданием для ее нового положения. А через некоторое время, когда с ее обязанностями чтицы окончательно свыкнутся, она будет обедать с ним за одним столом.

– Нет, сударь, я была и останусь вашей служанкой. Я не хочу сплетен, не хочу, чтобы все узнали о том, что произошло.

Она не уступила, несмотря на все его уговоры. Когда он кончил пить чай, она унесла поднос, а он проводил ее нежным взглядом.

После этого он подумал: «Это женщина; все женщины одинаковы, когда нравятся нам. Я сделал служанку своей любовницей. Из хорошенькой она, может быть, станет очаровательной. Во всяком случае, она моложе и свежей, чем светские женщины и кокотки. Да в конце концов, не все ли равно! Разве многие из знаменитых актрис не дочери привратниц?! И тем не менее их принимают, как настоящих дам, их обожают, как героинь романов, и короли обращаются с ними как с королевами. За что? За талант, нередко сомнительный, или за красоту, нередко весьма спорную? Нет! Но действительно, женщина всегда занимает положение, соответствующее той иллюзии, которую она умеет создать».

Он совершил в этот день далекую прогулку и хотя в глубине сердца чувствовал все ту же боль, а в ногах тяжесть, как будто печаль ослабила все источники его энергии, что-то щебетало в нем, словно птичка. Он был не так одинок, не так заброшен, не так покинут. Лес казался ему менее безмолвным, менее глухим и безлюдным. И он вернулся, полный желания увидеть, как Элизабет улыбнется при его приближении и поспешит ему навстречу со взглядом, исполненным нежности.

Около месяца на берегу маленькой речки длилась настоящая идиллия. Мариоль был любим, как было любимо, быть может, не много мужчин, – безумной, животной любовью, как ребенок – матерью, как охотник – собакой.

Он был для нее все – мир и небо, радость и счастье. Он отвечал всем ее пылким и просто-душным женским чаяниям и дарил ей в одном поцелуе всю долю экстаза, какую она способна была испытать. Он один занимал ее душу, ее глаза, ее сердце и плоть; она была опьянена, как впервые захмелевший подросток. Он засыпал у нее на руках, он пробуждался от ее ласки, она обнимала его, отдаваясь с несказанным самозабвением. Полный удивления и восторга, он наслаждался этим совершеннейшим даром, и ему представлялось, что он пьет любовь из самого ее источника, из уст самой природы.



И все-таки он продолжал грустить, грустить и отчаиваться, безнадежно и глубоко. Его юная любовница ему нравилась, но ему недоставало другой. И когда он прогуливался по лугам вдоль берегов Луэна, спрашивая себя: «Почему эта скорбь не покидает меня?» – он при малейшем воспоминании о Париже ощущал в себе такой прилив волнения, что возвращался домой, чтобы не быть одному.

Тогда он укладывался в гамак, а Элизабет, сидя на складном стульчике, читала ему. Слушая ее и любуясь ею, он вспоминал о беседах в гостиной своей подруги, когда он проводил наедине с нею целые вечера. Тогда дикое желание расплакаться увлажняло его глаза и такая жгучая скорбь начинала терзать его сердце, что в нем рождалось настойчивое, нестерпимое желание уехать немедленно, вернуться в Париж, бежать на край света.

Видя, как он печален и мрачен, Элизабет спрашивала его:

– Вам тяжело? Я чувствую, у вас слезы на глазах.

Он отвечал:

– Поцелуй меня, крошка; тебе этого не понять.

Она целовала его, охваченная беспокойством, предчувствуя какую-то неведомую ей драму. А он, немного забываясь под действием ее ласк, размышлял: «Ах, если бы в одной женщине могли слиться обе, любовь этой с очарованием другой! Почему никогда не находишь того, о чем грезишь, а всегда встречаешь только нечто приблизительное?»

Убаюкиваемый однообразным звуком голоса, которого он уже не слушал, он весь отдавался мечте о том, что его обольстило, очаровало, покорило в покинутой им любовнице. Истомленный воспоминанием о ней, одолеваемый ее воображаемым присутствием, которое неотступно преследовало его, как духовидца – призраки, он говорил себе: «Неужели я осужден навеки и никогда уже не освобожусь от нее?»

Он снова принялся совершать дальние прогулки, бродить по лесной чаще, в смутной надежде отделаться от ее образа, оставив его где-нибудь, либо в овраге, либо за темной скалой, или в гуще кустарника, как человек, который стремится избавиться от преданного ему животного, но не хочет его убивать, а только старается завести куда-нибудь подальше.

Как-то раз, под конец одной из таких прогулок, он снова забрел в царство буков. Теперь это

был темный, почти черный лес с непроницаемой листвой. Мариоль шел под его необъятным сводом, сырым и глубоким, вспоминая с сожалением о легкой, пронизанной солнцем, зеленеющей дымке едва развернувшихся листочков; но, проходя узкой тропинкой, он вдруг остановился в удивлении перед двумя сросшимися деревьями.

Никакой другой образ его любви не мог бы острее и глубже поразить его глаза и душу: мощный бук сжимал в своих объятиях стройный дубок.

Как отчаявшийся влюбленный, с телом могучим и измученным, бук, вытянув, точно руки, две огромные ветви и сомкнув их, сжимал ствол соседнего дуба. А тот, как будто с презрением вырываясь из его объятий, устремлял в небо, высоко над вершиной обидчика, свой прямой, тонкий и стройный стан. Но, невзирая на это бегство в пространство, вопреки этому надменному бегству глубоко оскорбленного существа, на коре дуба виднелись два глубоких, давно зарубцевавшихся шрама, врезанных неодолимо могучими ветвями бука. Навеки спаянные этими зажившими ранами, они росли вместе, смешивая свои соки, и в жилах побежденного дерева текла, поднимаясь до самой вершины, кровь дерева-победителя.

Мариоль присел и долго глядел на них. В его больной душе эти два неподвижных врага, рассказывавших прохожим вечную повесть его любви, становились великолепным и страшным символом.

Потом он пошел дальше, еще более опечаленный, и медленно брел, опустив глаза, как вдруг увидел скрытую в траве, смоченную давнишними дождями, испачканную, старую телеграмму, брошенную или потерянную прохожим. Он остановился. Какую радость, какую печаль принесла чьему-то сердцу эта синенькая бумажка, валявшаяся у его ног?

Он не мог удержаться, чтобы не поднять ее, и с любопытством и брезгливостью развернул листок. Кое-как еще можно было разобрать: «Приходите... мне... четыре часа». Имена были стерты сыростью.

Жестокие, обольстительные воспоминания обступили его, воспоминания о всех телеграммах, полученных от нее, то назначавших час свидания, то сообщавших, что она не придет. Ничто никогда не повергало его в большее волнение, не вызывало в нем такой неистовой дрожи, не заставляло так внезапно сжиматься и снова трепетать его бедное сердце, чем вид этих посланниц, повергающих в восторг или в отчаяние. Он весь цепенел от тоски при мысли, что ему уже никогда не придется вскрывать такие послания.

Снова он спрашивал себя, что произошло с ней с тех пор, как он ее покинул? Страдала ли она, сожалела ли о друге, отторгнутом ее равнодушием, или примирилась с этим разрывом, лишь слегка задетая в своем самолюбии?

И желание узнать это дошло до такой крайности, стало таким мучительным, что у него возникла дерзкая и неожиданная, но еще неясная мысль. Он направился в Фонтенебло. Придя туда, он зашел на телеграф, с душой, полной сомнений и трепетного беспокойства. Но какая-то сила толкала его, какая-то неодолимая сила, исходившая из самого сердца.

Дрожащей рукой он взял со стола телеграфный бланк и вслед за именем и адресом г-жи де Бюрн написал:

«Мне так хотелось бы знать, что вы думаете обо мне! Я не в силах ничего забыть.
Андре Мариоль. Монтиньи.»

Потом он вышел, нанял экипаж и вернулся в Монтиньи, в тревоге и волнении от своего поступка и уже сожалея о нем.

Он рассчитал, что, если она удостоит его ответом, он получит ее письмо через два дня; но весь следующий день он уже не выходил из дому, надеясь и страшась получить телеграмму.

Около трех часов дня, когда он качался в гамаке под липами у реки, Элизабет сказала ему, что какая-то дама хочет его видеть.

Он пришел в такое смятение, что у него перехватило дыхание; когда он подходил к дому, ноги его подкашивались, сердце трепетно билось. Он все еще не смел надеяться, что это она.

Он распахнул дверь в гостиную, и г-жа де Бюрн, сидевшая на диване, встала и, улыбаясь не-

много сдержанной улыбкой, с некоторой принужденностью в лице и манерах, протянула ему руку, говоря:

– Я приехала узнать, как вы живете, потому что телеграф недостаточно обстоятельно выполнил эту задачу.

Он так побледнел, что в глазах ее мелькнула радость, и был настолько потрясен и взволнован, что не мог говорить, а только прижимал к губам протянутую ему руку.

– Боже! До чего вы добры! – промолвил он наконец.

– Нет, просто я не забываю друзей и беспокоюсь о них.



Она глядела ему прямо в лицо тем пытливым, глубоким женским взглядом, который сразу улавливает все, проникает в мысли до самого корня и разоблачает любое притворство. Она, очевидно, была удовлетворена, потому что лицо ее озарилось улыбкой.

– Ваш уголок очень мил. Счастливо в нем живетесь?

– Нет, сударыня.

– Неужели? В такой прелестной местности, в этом чудесном лесу, на этой очаровательной речке? Вы, вероятно, наслаждаетесь здесь полным покоем и счастьем?

– Нет, сударыня.

– Почему же?

– Потому что и здесь не могу забыть...

– А вам необходимо что-то забыть, чтобы стать счастливым?

– Да, сударыня.

– Можно узнать, что именно?

– Вы сами знаете.

– Значит?

– Значит, я очень несчастен.

Она сказала с самодовольным состраданием:

– Я догадалась об этом, получив вашу телеграмму, и поэтому-то и приехала, твердо решив сразу же вернуться обратно, в случае если я ошиблась.

Слегка помолчав, она добавила:

– Раз я не уезжаю немедленно, нельзя ли мне осмотреть ваши владения? Вон та липовая аллея кажется мне весьма привлекательной. Там будет немного свежей, чем здесь, в гостинной.

Они вышли. Она была в розовато-лиловом костюме, который сразу же так гармонично слился с зеленью деревьев и голубизной неба, что она представилась ему изумительной, как видение, обольстительной и прекрасной, в совершенно неожиданном и новом для него свете. Ее длинная и такая гибкая талия, утонченное и свежее лицо, легкая прядь золотистых волос, выбившихся из-под большой, тоже розовато-лиловой шляпы, обрамленной, как сиянием, большим страусовым пером, ее тонкие руки, державшие закрытый зонтик, ее немного жесткая, надменная и гордая походка – все это вносило в этот деревенский садик нечто неестественное, неожиданное, экзотическое, странное и сладостное впечатление, как бы от персонажа из сказки, из грезы, с гравюры, с картины Ватто, персонажа, созданного воображением поэта или живописца и вздумавшего явиться в деревню, чтобы поразить своей красотой.

Глядя на нее с глубоким трепетом, полный прежней страсти, Мариоль вспомнил двух женщин, которых он видел на улице в Монтиньи.

Она спросила его:

– Кто эта девушка, которая отворила мне дверь?

– Прислуга.

– Она не похожа... на горничную.

– Да. Она в самом деле очень мила.

– Где вы нашли такую?

– Совсем неподалеку, в гостинице для художников, где постояльцы посягали на ее добродетель.

– Которую вы уберегли?

Он покраснел и ответил:

– Которую я уберег.

– Может быть, себе на пользу?

– Конечно, себе на пользу: я предпочитаю видеть возле себя хорошенькое личико, чем безобразное.

– Это все, что она вам внушает?

– Пожалуй, она мне еще внушала непреодолимую потребность снова увидеть вас, потому что каждая женщина, которая хоть на миг привлекает мое внимание, приводит все мои помыслы к вам.

– Ловко сказано! И она любит своего спасителя?

Он покраснел еще сильнее. Молниеносно промелькнувшая в нем уверенность, что ревность к кому бы то ни было должна воспламенить сердце женщины, заставила его солгать лишь наполовину. Поэтому он нерешительно ответил:

– Об этом мне ничего не известно. Возможно. Она очень заботлива и полна внимания ко мне.

Чуть уловимая досада заставила г-жу де Бюрн прошептать:

– А вы?

Он устремил на нее горящие любовью глаза и сказал:

– Ничто не может отвлечь меня от вас.

Это тоже было очень ловко сказано, но она уже ничего не заметила, до того неоспоримо правдивой показалась ей эта фраза. Могла ли женщина, подобная ей, усомниться в этом? Она действительно не усомнилась и, вполне удовлетворенная, отбросила всякую мысль об Элизабет.

Они сели на парусиновые стулья, в тени лип, над бегущей водой.

– Что вы подумали, когда я уехал?

– Что вы очень несчастны.

– По моей вине или вашей?

– По нашей вине.

– А потом?

– А потом, чувствуя, как вы взволнованы и возбуждены, я рассудила, что самым мудрым будет дать вам прежде всего возможность успокоиться. И я стала ждать.

– Чего же вы ждали?

– Весточки от вас. Я ее получила, и вот я здесь... А сейчас мы побеседуем с вами, как серъ-

езные люди. Итак, вы меня по-прежнему любите? Я спрашиваю об этом не как кокетка... Я спрашиваю как друг.

– Я по-прежнему вас люблю.

– Чего же вы хотите?

– Не знаю! Я в ваших руках.

– О, мне все очень ясно, но я не выскажу вам своих мыслей, пока не узнаю ваших. Расскажите мне о себе, обо всем, что творилось в вашем сердце, в вашем уме, с тех пор как вы скрылись.

– Я думал о вас, вот и все, что я делал!

– Да, но как? В каком смысле? К чему вы пришли?

Он рассказал ей о своем решении излечиться от любви к ней, о своем бегстве, о скитаниях в этом огромном лесу, где он нашел только ее одну, о днях, полных неотступных воспоминаний, о ночах, полных грызущей ревности; он рассказал с полной чистосердечностью обо всем, кроме любви Элизабет, имени которой он больше не произносил.

Она его слушала, уверенная в его правдивости, убежденная чувством своего господства над ним еще больше, чем искренностью его голоса, в восторге от своего торжества, от того, что снова владеет им, потому что она все-таки очень любила его.

Потом он стал горько жаловаться на безысходность положения и, разволновавшись от рассказа о том, как он исстрадался и о чем так много думал, он в страстном, неудержимом порыве, но без гнева и горечи, возмущенный и подавленный неизбежностью, снова стал упрекать ее за бессилие любить, которым она была поражена.

Он повторял:

– Одни лишены дара нравиться, а вы лишены дара любить.

Она живо прервала его, вооруженная целым рядом возражений и доводов.

– Зато я обладаю даром постоянства, – сказала она, – неужели вы были бы менее несчастны, если бы, после того как я десять месяцев обожала вас, теперь влюбилась бы в другого?

Он воскликнул:

– Неужели женщине невозможно любить только одного человека?



Она с живостью возразила:

– Нельзя любить бесконечно; можно только быть верной. Неужели вы думаете, что иступленное чувство должно продолжаться годами? Нет и нет! Ну а те женщины, что живут одними страстями, буйными, длительными или короткими вспышками своих капризов, те попросту превращают свою жизнь в роман. Герои сменяются, обстоятельства и события полны неожиданностей и разнообразия, развязка всегда другая. Признаю, что все это для них очень весело и увлекательно, потому что волнения завязки, развития и конца каждый раз вновь возрождаются. Но когда это

кончено – это кончено навсегда... для него... Понимаете?

– Да, в этом есть доля правды. Но я не понимаю, куда вы клоните.

– Вот куда: нет такой страсти, которая продолжалась бы очень долго, – я говорю о жгучих, мучительных страстях, вроде той, которой вы еще страдаете. Это припадок, который вам тяжело достался, очень тяжело, я это знаю, чувствую, из-за... скудости моей любви, из-за моей неспособности изливать свои чувства... Но этот припадок пройдет, он не может быть вечным.

Она умолкла. Он тревожно спросил:

– И тогда?

– И тогда, я полагаю, для женщины благоразумной и спокойной, вроде меня, вы можете оказаться превосходным любовником, потому что в вас много такта. И наоборот, вы были бы отвратительным мужем. Впрочем, хороших мужей не бывает и не может быть.

Он спросил удивленно и немного обиженно:

– Зачем же сохранять любовника, которого не любишь или перестала любить?

Она живо ответила:

– Мой друг, я люблю по-своему! Сухо, но все же люблю.

Он покорно заметил:

– А главное, вам нужно, чтобы вас любили и выказывали это.

Она ответила:

– Правда. Я это обожаю. Но и мое сердце нуждается в тайном спутнике. Тщеславная склонность к вниманию света не лишает меня возможности быть верной и преданной и думать, что я могу дать мужчине нечто совсем особенное, недоступное никому другому: мою честную преданность, искреннюю привязанность моего сердца, полное и сокровенное доверие души, а взамен получить от него, вместе со всей нежностью любовника, столь редкое и сладостное ощущение, что я не совсем одинока. Это не любовь, как вы ее понимаете, но и это чего-нибудь да стоит!

Он склонился к ней, весь дрожа от волнения, и прошептал:

– Хотите, я буду этим человеком?

– Да, немного позднее, когда вам станет полегче. А в ожидании этого примиритесь с мыслью время от времени немного страдать из-за меня. Это пройдет, а так как вы страдаете при любых условиях, то лучше страдать при мне, чем вдали от меня. Не правда ли?

Улыбкой своей она как будто ему говорила: «Ну, поверьте же мне хоть немного». И, видя, как он трепещет от страсти, она испытывала во всем теле какое-то своеобразное наслаждение, какое-то общее довольство, от которого по-своему была счастлива, как счастлив бывает ястреб, бросающийся с высоты на свою зачарованную добычу.

– Когда вы вернетесь? – спросила она.

Он ответил:

– Да... хоть завтра.

– Пусть будет завтра. Вы отобедаете у меня?

– Да.

– Ну а теперь мне пора ехать, – сказала она, взглянув на часы, вделанные в ручку зонтика.

– О, почему так скоро?

– Потому что я еду с пятичасовым. Я жду к обеду нескольких человек, княгиню фон Мальтен, Бернхауза, Ламарта, Масиваля, Мальтри и одного новенького – господина де Шарлена, путешественника, который только что вернулся из интереснейшей экспедиции в Северную Камбоджу. Все только о нем и говорят.

Сердце Мариоля на мгновение сжалось. Все эти имена одно за другим причиняли ему боль, словно его жалили осы. В них таился яд.

– Тогда, – сказал он, – не хотите ли отправиться сейчас же и прокатиться со мною по лесу?

– С удовольствием. Но сначала дайте мне чашку чая с гренками.

Когда потребовалось подать чай, Элизабет нигде не могли найти.

– Она куда-то убежала, – сказала кухарка.

Г-жа де Бюрн не обратила на это внимания. В самом деле, какие опасения могла ей теперь внушать эта горничная?

Потом они сели в ландо, ожидавшее у ворот. Мариоль велел кучеру ехать дорогой, несколько более длинной, но пролежавшей около Волчьего оврага.

Когда они очутились под высоким зеленым навесом, в мирной тени которого веяло прохладой и слышалось пение соловьев, она воскликнула, охваченная тем невыразимым ощущением, которым всемогущая и таинственная красота мира с помощью зрения потрясает нашу плоть:

– Боже! Как здесь хорошо! До чего красиво, до чего очаровательно, как умиротворяет!

Она дышала полной грудью, радостная и взволнованная, словно грешница у причастия, вся проникнутая истомой и умилением. Она положила свою руку на руку Андре.

А он подумал: «Да! Природа! Опять гора Сен-Мишель!» – так как в глазах его промелькнул, как видение, поезд, идущий в Париж. Он проводил ее до станции.

Расставаясь с ним, она сказала:

– До завтра, в восемь.

– До завтра, в восемь, сударыня.

Она уехала сияющая, а он вернулся домой в ландо, довольный и счастливый, но все-таки полный тревоги, потому что ничто не разрешилось до конца.

Но зачем же бороться? У него уже не было сил. Она влекла его непонятной, неодолимой прелестью. Бегство от нее не освободило его, не разлучило с ней, а было только невыносимым лишением, между тем как, покорясь ей, он получит от нее все, что она обещала, потому что она не лжет.

Лошади рысью бежали под деревьями, и он подумал, что за все их свидание ей даже не пришло в голову, ей ничто не подсказало хоть раз протянуть ему губы. Она была все та же. Ничто никогда не изменится в ней, и, может быть, он всю жизнь будет так же страдать из-за нее. Память о жестоких часах, уже пережитых им, о часах ожидания в невыносимой уверенности, что ему никогда не удастся ее воспламенить, снова сжимала его сердце, вызывая в нем предчувствие и боязнь предстоящей борьбы и тех же душевных терзаний в будущем. И все-таки он был готов лучше все перетерпеть, чем снова потерять ее, готов был снова покориться вечному желанию, превратившемуся в его жилах в какую-то свирепую и неутолимую жажду, сжигавшую его тело.

Дикие приступы бешенства, столько раз пережитые им при его одиноких возвращениях из Отейля, уже снова поднимались в нем, заставляя его метаться в ландо, катившем в прохладной тени высоких деревьев, как вдруг мысль, что его ждет Элизабет, такая свежая, юная и хорошенькая, с сердцем, полным любви, с поцелуями на устах, разлилась в нем сладкой отрадой. Сейчас он обнимет ее и, закрывши глаза, обманывая самого себя, как обманывают других, сливая в опьянении объятий ту, которую он любит, с той, которая любит его, он будет обладать ими обеими. Конечно, даже и сейчас его влекло к ней тем благодарным влечением плоти и духа, которое рождается сознанием разделенной любви и взаимной нежности и всегда пронизывает животную природу человека. Не будет ли для его мучительной и иссушающей любви это соблазненное им дитя светлым родником, обретенным на вечернем привале, надеждой на прохладную воду, поддерживающей бодрость духа при переходе пустыни?

Но когда он приехал домой, оказалось, что Элизабет еще не вернулась; он испугался, встревожился и спросил у другой служанки:

– Вы уверены, что она ушла из дома?

– Да, сударь.

Тогда он тоже вышел, надеясь где-нибудь ее встретить.

Пройдя несколько шагов, перед тем как свернуть на улицу, тянувшуюся вдоль долины, он увидел перед собой старую, широкую и приземистую церковь с низенькой колокольней, прикорнувшую на бугре и распростершуюся над домами деревушки, как курица над цыплятами.

Догадка, предчувствие подтолкнули его. Как знать, какие странные мысли могут родиться в сердце женщины? Что она подумала? Что поняла? Где, как не здесь, ей укрыться, если тень истины промелькнула перед ее глазами?

В храме было очень темно, потому что уже вечерело. Только один догоравший светильник у дарохранительницы свидетельствовал о незримом присутствии божественного Утешителя. Мариоль быстро прошел между скамьями. Подойдя к хорам, он увидел женщину, которая стояла на

коленях, закрыв лицо руками. Он подошел к ней, узнал ее и коснулся ее плеча. Они были одни.

Она сильно вздрогнула и подняла голову. Она плакала.

Он спросил:

– Что с тобой?

Она прошептала:

– Я все поняла. Вы здесь потому, что она огорчила вас. Она за вами приехала.

Он был тронут страданием, которое на этот раз причинил он сам, и проговорил:

– Ты ошибаешься, детка, я в самом деле возвращаюсь в Париж, но и тебя увожу с собой.

Она недоверчиво повторила:

– Неправда! Неправда!

– Клянусь тебе.

– Когда же?

– Завтра.

Опять зарыдав, она прошептала: «Боже мой, боже мой!»

Тогда он обнял ее за плечи, помог ей встать, увлек за собой, спустился с нею по склону холма в сгустившуюся темноту ночи, а когда они вышли на берег реки, он усадил ее на траву и сел рядом с ней. Он слышал, как билось ее сердце и прерывалось дыхание, и, смущенный раскаянием, прижимая ее к себе, стал шептать ей на ухо такие ласковые слова, каких еще никогда ей не говорил. Он был охвачен жалостью и пылал желанием, он почти не лгал, почти не обманывал ее; и, сам удивляясь тому, что он говорит и что чувствует, он спрашивал себя, как может он, еще весь трепещущий от встречи с той, чьим рабом будет навеки, так волноваться и дрожать от вожделения, утешая это любовное горе?

Он обещал ее «очень любить» – он не сказал просто «любить», обещал нанять ей совсем близко от себя хорошенькую дамскую квартирку, обставленную изящной мебелью и с горничной, чтобы та прислуживала ей.

Внимая ему, она успокаивалась, приходя понемногу в себя, не в силах поверить, чтобы он стал ее так обманывать, понимая к тому же по звуку его голоса, что он говорит искренне. Убежденная наконец и восхищенная мыслью, что она тоже будет «барыней», ослепленная грезой девочки, родившейся в бедности, мечтой трактирной служанки, вдруг ставшей подругой столь богатого и важного господина, она охмелела от вспыхнувших в ней желаний, гордости и благодарности, которые смешивались с ее любовью к Андре.

Она вскинула руки ему на шею и, покрывая его лицо поцелуями, лепетала:

– Я так вас люблю! Вы для меня все на свете!

Он был глубоко растроган и, отвечая на ее ласки, прошептал:

– Милая, милая крошка!

Она уже почти забыла о появлении незнакомки, только что причинившей ей столько горя. Но все-таки безотчетное сомнение еще шевелилось в ней, и она спросила его вкрадчиво-ласковым голосом:

– А вы вправду будете меня любить так же, как здесь?

Он уверенно ответил:

– Я буду тебя любить так же, как здесь.

Сборник новелл «Лунный свет»

Лунный свет

Аббату Мариньяну²⁴ очень подходила его воинственная фамилия, – у этого высокого худого

²⁴ Мариньян (Marignan). – Так называют во Франции итальянский город Меленьяно (Melegnano), место двукратной победы французских войск: над швейцарцами в 1515 году и над австрийцами в 1859 году.

священника была душа фанатика, страстная, но суровая. Все его верования отличались строгой определенностью и чужды были колебаний. Он искренне полагал, что постиг Господа Бога, проник в его промысел, намерения и предназначения.

Расхаживая широкими шагами по саду деревенского церковного домика, он иногда задавал себе вопрос: «Зачем Бог сотворил то или это?» Мысленно становясь на место Бога, он упорно добивался ответа и почти всегда находил его. Да, он был не из тех, кто шепчет в порыве благочестивого смирения: «Неисповедимы пути твои, Господи». Он рассуждал просто: «Я служитель божий и должен знать или по крайней мере угадывать его волю».

Все в природе казалось ему созданным с чудесной, непреложной мудростью. «Почему» и «потому» всегда были в непоколебимом равновесии. Утренние зори созданы для того, чтобы радостно было пробуждаться, летние дни – чтобы созревали нивы, дожди – чтобы орошать поля, вечера – для того, чтобы подготавливать ко сну, а темные ночи – для мирного сна.

Четыре времени года превосходно соответствовали всем нуждам земледелия, и никогда у этого священника даже и мысли не возникало, что в природе нет сознательных целей, что, напротив, все живое подчинено суровой необходимости, в зависимости от эпохи, климата и материи.

Но он ненавидел женщину, бессознательно ненавидел, инстинктивно презирал. Часто повторял он слова Христа: «Жена, что общего между тобой и мною?» Право, сам Создатель был как будто недоволен этим своим творением. Для аббата Мариньяна женщина поистине была «двенадцать раз нечистое дитя»²⁵, о котором говорит поэт.

Она была искусительницей, соблазнившей первого человека, и по-прежнему вершила свое черное дело, оставаясь все тем же слабым и таинственно волнующим существом. Но еще больше, чем ее губительное тело, он ненавидел ее любящую душу.

Нередко он чувствовал, как устремляется к нему женская нежность, и, хотя он твердо был уверен в своей неуязвимости, его приводила в негодование эта потребность в любви, вечно томящая душу женщины.

Он был убежден, что Бог создал женщину лишь для искушения, для испытания мужчины. Приближаться к ней следовало осторожно и опасливо, точно к западне. Да и в самом деле, она подобна западне, ибо руки ее простерты для объятия, а губы отверсты для поцелуя.

Снисходительно он относился только к монахиням, так как обет целомудрия обезоружил их, но и с ними он обращался сурово: он угадывал, что в глубине заключенного в оковы, усмиренного сердца монахинь живет извечная нежность и все еще изливается даже на него – на их пастыря.

Он чувствовал эту нежность в их благоговейном, влажном взгляде, не похожем на взгляд набожных монахов, в молитвенном экстазе, к которому примешивалось нечто от их пола, в порывах любви ко Христу, которые возмущали его, ибо это была любовь женская, любовь плотская; он чувствовал эту окаянную нежность даже в их покорности, в кротком голосе, в потупленном взоре, в смиренных слезах, которые они проливали в ответ на его гневные наставления. И, выйдя из монастырских ворот, он отряхивал сутану и шел быстрым шагом, словно убегал от опасности.

У него была племянница, которая жила с матерью в соседнем домике. Он все уговаривал ее пойти в сестры милосердия.

Она была хорошенькая и ветреная насмешница. Когда аббат читал ей нравоучения, она смеялась; когда он сердился, она горячо целовала его, прижимала к сердцу, а он бессознательно старался высвободиться из ее объятий, но все же испытывал сладостную отраду оттого, что в нем пробуждалось тогда смутное чувство отцовства, дремлющее в душе у каждого мужчины.

Прогуливаясь с нею по дорогам, среди полей, он часто говорил ей о Боге, о своем Боге. Она совсем его не слушала, глядела на небо, на траву, на цветы, и в глазах ее светилась радость жизни. Иногда она убегала вдогонку за пролетающей бабочкой и, поймав ее, говорила:

– Посмотрите, дядечка, до чего хорошенькая! Просто хочется поцеловать ее.

И эта потребность поцеловать какую-нибудь букашку или звездочку сирени тревожила, раздражала, возмущала аббата, – он вновь видел в этом неистребимую нежность, заложенную в жен-

²⁵ «Двенадцать раз нечистое дитя» – цитата из стихотворения «Самсон» французского поэта-романтика Альфреда де Виньи (1797–1863).

ском сердце.

И вот однажды утром жена пономаря – домоправительница аббата Мариньяна – осторожно сообщила ему, что у его племянницы появился воздыхатель.

У аббата горло перехватило от волнения, он так и застыл на месте, позабыв, что у него все лицо в мыльной пене, – он как раз брился в это время.

Когда к нему вернулся дар речи, он крикнул:

– Быть не может! Вы лжете, Мелани!

Но крестьянка прижала руку к сердцу:

– Истинная правда, убей меня Бог, господин кюре. Каждый вечер, как только ваша сестрица лягут в постель, она убегает из дому. А уж он ее ждет у речки, на берегу. Да вы сходите как-нибудь туда между десятью и двенадцатью. Сами увидите.

Он перестал скоблить подбородок и стремительно зашагал по комнате, как обычно в часы глубокого раздумья. Затем опять принялся бриться и три раза порезался – от носа до самого уха.

Весь день он молчал, кипел возмущением и гневом. К яростному негодованию священника против непобедимой силы любви примешивалось оскорбленное чувство духовного отца, опекуна, блюстителя души, которого обманула, надула, провела хитрая девчонка; в нем вспыхнула горькая обида, которая терзает родителей, когда дочь объявляет им, что она без их ведома и согласия выбрала себе супруга.

После обеда он пытался отвлечься от своих мыслей чтением, но безуспешно, и раздражение его все возрастало. Лишь только пробило десять, он взял свою палку, увесистую дубинку, которую всегда брал в дорогу, когда шел ночью навестить больного. С улыбкой поглядев на эту тяжелую палицу, он угрожающе покрутил ее своей крепкой крестьянской рукой. Затем скрипнул зубами и вдруг со всего размаху так хватил по стулу, что спинка раскололась и рухнула на пол.

Он отворил дверь, но замер на пороге, пораженный сказочным, невиданно ярким лунным светом.

И так как аббат Мариньян наделен был восторженной душой, такой же, наверно, как у отцов церкви, этих поэтов-мечтателей, он вдруг позабыл обо всем, взволнованный величавой красотой тихой и светлой ночи.

В его садике, залитом кротким сиянием, шпалеры плодовых деревьев отбрасывали на дорожку тонкие узорчатые тени своих ветвей, едва опушенных листвою; огромный куст жимолости, обвивавшей стену дома, струил такой нежный, сладкий аромат, что казалось, в прозрачном теплом сумраке реяла чья-то благоуханная душа.

Аббат долгими жадными глотками впивал воздух, наслаждаясь им, как пьяницы наслаждаются вином, и медленно шел вперед, восхищенный, умиленный, почти позабыв о племяннице.

Выйдя за ограду, он остановился и окинул взглядом всю равнину, озаренную ласковым, мягким светом, тонувшую в серебряной мгле безмятежной ночи. Поминутно лягушки бросали в пространство короткие металлические звуки, а поодаль заливались соловьи, рассыпая мелодичные трели своей песни, той песни, что гонит раздумье, пробуждает мечтания и как будто создана для поцелуев, для всех соблазнов лунного света.

Аббат снова двинулся в путь, и почему-то сердце у него смягчилось. Он чувствовал какую-то слабость, внезапное утомление, ему хотелось присесть и долго-долго любоваться лунным светом, молча поклоняясь Богу в его творениях.

Вдалеке, по берегу речки, тянулась извилистая линия тополей. Легкая дымка, пронизанная лучами луны, словно серебристый белый пар, клубилась над водой и окутывала все излучины русла воздушной пеленой из прозрачных хлопьев.

Аббат еще раз остановился; его душу переполняло неодолимое, все возраставшее умиление.

И смутная тревога, сомнение охватили его, он чувствовал, что у него вновь возникает один из тех вопросов, какие он подчас задавал себе.

Зачем Бог создал все это? Если ночь предназначена для сна, для безмятежного покоя, отдыха и забвения, зачем же она прекраснее дня, нежнее утренних зорь и вечерних сумерек? И зачем сияет в неторопливом своем шествии это пленительное светило, более поэтичное, чем солнце, такое тихое, таинственное, словно ему указано озарять то, что слишком сокровенно и тонко для резкого

дневного света; зачем оно делает прозрачным ночной мрак?

Зачем самая искусная из певчих птиц не отдыхает ночью, как другие, а поет в трепетной мгле?

Зачем наброшен на мир этот лучистый покров? Зачем эта тревога в сердце, это волнение в душе, эта томная нега в теле?

Зачем раскинуто вокруг столько волшебной красоты, которую люди не видят, потому что они спят в постелях? Для кого же сотворено это величественное зрелище, эта поэзия, в таком изобилии нисходящая с небес на землю?

И аббат не находил ответа.

Но вот на дальнем краю луга, под сводами деревьев, увлажненных радужным туманом, появились рядом две человеческие тени.

Мужчина был выше ростом, он шел, обнимая свою подругу за плечи, и, время от времени склоняясь к ней, целовал ее в лоб. Они вдруг оживили неподвижный пейзаж, обрамлявший их, словно созданный для них фон. Они казались единым существом, тем существом, для которого предназначена была эта ясная и безмолвная ночь, и они шли навстречу священнику, словно живой ответ, ответ, посланный Господом на его вопрос.

Аббат едва стоял на ногах, – так он был потрясен, так билось у него сердце; ему казалось, что перед ним библейское видение, нечто подобное любви Руфи и Вооза²⁶, воплощение воли господней на лоне прекрасной природы, о которой говорят священные книги. И в голове у него зазвенели стихи из Песни Песней²⁷, крик страсти, призывы тела, вся огненная поэзия этой поэмы, пылающей любовью.

И аббат подумал:

«Быть может, Бог создал такие ночи, чтобы покровом неземной чистоты облечь любовь человеческую».

И он отступил перед этой обнявшейся четой. А ведь он узнал свою племянницу, но теперь спрашивал себя, не дерзнул ли он воспротивиться воле божьей. Значит, Господь дозволил людям любить друг друга, если он окружает их любовь таким великолепием.

И он бросился прочь, смущенный, почти пристыженный, словно украдкой проникнул в храм, куда ему запрещено было вступать.

Государственный переворот

Париж узнал о падении Седана. Была провозглашена республика. Вся Франция ринулась на путь того безумия, которое продолжалось до последнего дня Коммуны. С одного конца страны до другого все играли в солдаты.

Лавочники преобразились в полковников, исполняющих обязанности генералов, целая коллекция револьверов и кинжалов украшала толстые животы этих мирных обывателей, перетянутые красными поясами. Мелкие буржуа, случайно превратившиеся в воинов, командовали батальонами крикливых волонтеров и неистово ругались, чтобы придать себе больше весу.

Уже один тот факт, что они были вооружены, что у каждого из них было в руках военное ружье, кружил головы этим людям, которые до сих пор имели дело только с весами, и они без всякого повода могли стать опасными для каждого встречного. Они казнили невиновных в доказательство того, что умеют убивать, и, бродя по полям, не тронутым еще пруссаками, стреляли в бродячих собак, коров, спокойно пережевывавших жвачку, в больных лошадей, пасшихся на лугах.

Каждый воображал, что именно он призван играть великую боевую роль. Кофейни самых маленьких деревушек были переполнены одетыми в мундиры торговцами и походили на казармы

²⁶ Руфь и Вооз – библейские персонажи; они же герои стихотворения Виктора Гюго «Спящий Вооз» (из цикла «Легенда веков»), которое Мопассан цитирует в книге «На воде».

²⁷ «Песнь Песней» – одна из книг Библии.

или на военный госпиталь.

До местечка Канвиль еще не дошли потрясающие известия из армии и столицы, но уже целый месяц в нем царил сильнейшее возбуждение и враждующие партии ополчались друг против друга.

Мэр Канвиля, г-н виконт де Варнето, маленький тощий старичок, легитимист²⁸, из честолюбия ставший с недавнего времени приверженцем Империи, встретил яростного противника в лице доктора Массареля, толстого сангвиника, который был главой республиканской партии округа, председателем местной масонской ложи, президентом общества земледелия и пожарной команды, а также организатором сельской милиции, предназначенной спасти край.

За две недели ему удалось привлечь на защиту страны шестьдесят трех волонтеров из женатых людей и отцов семейств, мирных крестьян и торговцев местечка, и он обучал их каждое утро на площади перед мэрией.

Если мэр, направляясь в ратушу, случалось, проходил мимо, командир Массарель, вооруженный пистолетами, горделиво шагал с саблей в руке перед фронтом своего отряда и заставлял людей выкрикивать: «Да здравствует отечество!» И этот крик, как все замечали, приводил в волнение старого виконта, который, без сомнения, видел в нем угрозу, вызов и в то же время ненавистное напоминание о великой революции²⁹.

Утром 5 сентября доктор, облачившись в мундир и положив на стол револьвер, принимал чету больных престарелых крестьян; муж целых семь лет страдал расширением вен, но не обращался к доктору, ожидая, когда жене тоже понадобится врачебный совет. В это время почтальон принес газету.

Г-н Массарель развернул ее, побледнел, быстро вскочил и в исступленном восторге, воздев руки к небу, во весь голос крикнул в лицо остолебеневшим крестьянам:

– Да здравствует республика!.. Да здравствует республика!.. Да здравствует республика!..

И упал в кресло, обессилив от волнения.

Старик-крестьянин продолжал тянуть:

– Началось это с того, что по ногам у меня вроде как мурашки стали ползать.

– Оставьте меня в покое! – крикнул Массарель. – Есть мне время заниматься всякой чепухой... Провозглашена республика, император взят в плен. Франция спасена!.. Да здравствует республика!..

И, подбежав к двери, заорал:

– Селеста! Скорее, Селеста!

Прибежала перепуганная служанка. Он говорил так быстро, что язык у него заплетался:

– Мои сапоги, саблю, патронташ, испанский кинжал, что у меня на ночном столике, – живо!..

Упрямый крестьянин, воспользовавшись минутой молчания, продолжал:

– И вот набухло у меня в ногах, точно карманы какие, так что и ходить стало больно.

Выведенный из себя, доктор взревел:

– Оставьте меня в покое, черт возьми!.. Если бы вы мыли ноги, ничего бы не случилось.

И, схватив старика за шиворот, он гаркнул ему в лицо:

– Ты что же, не понимаешь, скотина, что у нас теперь республика?

Но тут профессиональное чувство врача заставило его успокоиться, и он выпроводил ошеломленную чету, повторяя:

– Приходите завтра, приходите завтра, друзья мои. Мне сегодня некогда.

Вооружаясь с головы до ног, он отдавал кухарке целый ряд новых спешных приказаний:

²⁸ Легитимист – представитель политической партии, объединявшей приверженцев старшей ветви королевского дома Бурбонов, которая была свергнута с престола первоначально французской революцией XVIII века, а затем, и уже окончательно, Июльской революцией 1830 года; основные кадры этой реакционной партии рекрутировались из дворянской знати.

²⁹ Ненавистное напоминание о великой революции. – При старом режиме приветственный возглас французских войск был: «Да здравствует король!»; французская революция XVIII века заменила его возгласом «Да здравствует отечество!».

– Беги к лейтенанту Пикару и к сублейтенанту Поммелю и скажи им, что я немедленно жду их к себе. Пришли ко мне также Торшбефа с барабаном, живо, живо!

Когда Селеста вышла, он погрузился в думы, готовясь к борьбе с предстоящими трудностями.

Все трое явились вместе, в рабочей одежде. Командир, рассчитывавший увидеть их в полной форме, так и подскочил:

– Разве вы ничего не знаете, черт возьми?! Император в плену, провозглашена республика. Надо действовать. Мое положение щекотливо, скажу более – опасно.

Он задумчиво помолчал с минуту, стоя перед онемевшими от изумления подчиненными, затем продолжал:

– Надо действовать без колебаний. В таких обстоятельствах минуты стоят часов. Все зависит от быстроты решений. Вы, Пикар, отправляйтесь к кюре и заставьте его ударить в набат, чтобы собрать население, которое я осведомлю о событиях. Вы, Торшбеф, бейте сбор по всей коммуне вплоть до деревушек Жеризе и Сальмар, чтобы созвать на площадь вооруженное ополчение. Вы, Поммель, наденьте поскорее форму – мундир и кепи. Мы с вами займем мэрию и заставим господина де Варнето сдать мне власть. Понятно?

– Да.

– Исполняйте все быстро, не теряя времени. Я провожу вас до дому, Поммель, и мы будем действовать сообща.

Пять минут спустя командир и его помощник, вооруженные до зубов, появились на площади как раз в ту минуту, когда маленький виконт де Варнето, в гетрах и с карабином на плече, точно собираясь на охоту, торопливо вышел с другой стороны площади в сопровождении трех стражников в зеленых мундирах, с ножами на боку и ружьями наперевес.

Ошеломленный доктор остановился, а четверо мужчин вошли в мэрию и заперли за собою дверь.

– Нас опередили, – пробормотал доктор, – надо теперь ждать подкрепления. Раньше как через четверть часа ничего не сделать.

Появился поручик Пикар.

– Кюре отказался повиноваться, – сообщил он. – Он даже заперся в церкви с пономарем и привратником.

По другую сторону площади, против белого здания запертой мэрии, стояла немая и темная церковь с огромной дубовой дверью, окованной железом.

Когда заинтригованные жители высунули носы из окон или вышли на порог дома, раздался вдруг барабанный бой и появился Торшбеф, яростно выбивая торопливый сигнал сбора. Он пересек мерным шагом площадь и исчез по дороге в поле.

Командир обнажил саблю, стал между зданиями, где забаррикадировались враги, и, потрясая над головой оружием, заревел во всю силу легких:

– Да здравствует республика!.. Смерть изменникам!..

Затем он вернулся к своим офицерам.

Мясник, булочник и аптекарь в тревоге закрыли ставни и заперли лавки. Одна лишь бакалейная осталась открытой.

Между тем мало-помалу начали подходить ополченцы, в самой разношерстной одежде; черные кепи с красным кантом составляли всю их форму. Они были вооружены заржавленными ружьями, старыми ружьями, по тридцать лет висевшими без дела над кухонным очагом, и напомнили отряд сельских стражников.

Когда их набралось десятка три, командир в нескольких словах сообщил им о событиях; потом, обратившись к своему генеральному штабу, объявил:

– Теперь приступим к делу.

Собравшиеся обыватели наблюдали происходящее и перекидывались замечаниями.

Доктор быстро составил план кампании:

– Лейтенант Пикар, вы подойдете к окнам мэрии и именем республики потребуете от господина де Варнето сдать мне ратушу.

Но лейтенант, каменщик по профессии, отказался.

– Ну, и хитры вы, нечего сказать. Хотите, чтобы в меня всадили пулю? Покорно благодарю. Они ведь неплохо, знаете ли, стреляют, те, что там сидят. Нет, уж лучше сами выполняйте свои приказы.

Командир покраснел.

– Именем дисциплины приказываю вам идти туда!

Лейтенант возмутился:

– Чего ради я позволю разбить себе физиономию?

Почтенные граждане, стоявшие группой неподалеку от них, начали посмеиваться. Один из них крикнул:

– Верно, Пикар, и не суйся туда!

Тогда доктор пробурчал:

– Труссы вы!..

И, передав саблю и револьвер одному из солдат, он медленным шагом двинулся вперед, пристально всматриваясь в окна и ожидая увидеть торчащее оттуда и наведенное на него ружейное дуло.

Когда он был уже в нескольких шагах от мэрии, с обеих сторон здания открылись двери двух школ, и оттуда высыпала целая толпа детей, из одной двери мальчики, из другой – девочки. Они принялись играть на огромной пустой площади и гоготали вокруг доктора, словно стадо гусей, заглушая его голос.

Как только последние ученики вышли, обе двери снова затворились.

Толпа ребят наконец рассеялась, и командир громким голосом произнес:

– Господин де Варнето!

Во втором этаже отворилось окно, и из него высунулся г-н Варнето.

Командир продолжал:

– Сударь, вам известны великие события, изменившие форму правления. Строй, представителем которого вы были до сих пор, больше не существует. Входит в силу тот строй, представителем которого являюсь я. Ввиду этих печальных, но бесповоротных обстоятельств я пришел предложить вам именем новой республики передать в мои руки обязанности, возложенные на вас прежней властью.

Г-н де Варнето ответил:

– Господин доктор, я мэр города Канвиля, назначенный законной властью, и останусь мэром Канвиля до тех пор, пока не буду отозван и замещен приказом моего начальства. Как мэр, я хозяин мэрии и здесь останусь. Впрочем, попробуйте заставить меня выйти отсюда!

И он захлопнул окно.

Командир вернулся к своему отряду. Но прежде чем что-нибудь сказать, он смерил взглядом с головы до ног лейтенанта Пикара.

– Вы жалкий трус, вы заяц, вы позорите армию! Я вас лишаю чина.

Лейтенант отвечал:

– Наплевать мне на это.

И он присоединился к шептавшейся толпе обывателей.

Доктор остановился в раздумье. Что делать? Идти на приступ? Но пойдут ли за ним его люди? И потом, имеет ли он на это право?

Вдруг его осенила блестящая мысль. Он побежал в телеграфную контору, которая находилась против мэрии, на другой стороне площади, и послал три телеграммы:

Гг. членам республиканского правительства, в Париж.

Г-ну новому республиканскому префекту департамента Нижней Сены, в Руан.

Г-ну новому республиканскому супрефекту, в Дьепп.

Он описал в них создавшееся положение, указал на опасность, какой подвергается коммуна, оставаясь в руках прежнего мэра – монархиста, с готовностью предложил свои услуги, просил распоряжений и подписался полным именем, добавив все свои звания.

Вернувшись к своей армии, он вынул из кармана десять франков и сказал:

– Вот вам, друзья мои, закусите и выпейте по стаканчику. Оставьте здесь только караул из десяти человек, чтобы никто не вышел из мэрии.

Но экс-лейтенант Пикар, болтавший с часовщиком, услышав это, поднял его на смех:

– Черт возьми, да вы только тогда и сможете войти, если они выйдут. Не знаю, как вам туда попасть иначе.

Доктор ничего не ответил и ушел завтракать.

После полудня он расставил посты по всей коммуне, точно ей угрожала опасность неожиданного нападения.

Несколько раз он проходил мимо дверей мэрии и церкви, но не замечал ничего подозрительного: оба здания казались пустыми.

Мясник, булочник и аптекарь снова открыли свои лавки.

В домах шли разговоры о том, что если император в плену, значит, была какая-то измена. И никто точно еще не знал, какая именно республика провозглашена.

Стало темнеть.

Около девяти часов доктор потихоньку подкрался один к двери коммунального здания, уверенный, что его противник отправился спать. Но когда он уже приготовился взломать заступом дверь, неожиданно раздался громкий окрик, вероятно, одного из стражников:

– Кто идет?

И г-н Массарель забил отбой, удирая со всех ног.

Наступило утро, но положение не изменилось.

Вооруженные ополченцы продолжали занимать площадь. Вокруг отряда опять столпились обыватели, ожидая, чем все это кончится. Пришли посмотреть и из соседних деревень.

Доктор понял, что на карту поставлена его репутация, и решил так или иначе кончить дело. Он хотел уже предпринять энергичные меры, как вдруг дверь телеграфной конторы отворилась, и оттуда вышла молоденькая служанка жены заведующего, держа в руках два листка бумаги.

Сначала она направилась к командиру и подала ему одну из телеграмм. Потом пересекла пустую площадь и, смущаясь от устремленных на нее взглядов, потупив голову, осторожно подошла к мэрии и тихо постучала в дверь осажденного дома, словно не зная, что там скрывается вооруженный отряд.

Дверь приотворилась, мужская рука взяла послание, а девочка, красная и готовая расплакаться оттого, что все на нее глаза, побежала назад.

– Минуту внимания, прошу вас! – произнес доктор дрожащим голосом.

Все замолчали, и он важно продолжал:

– Вот сообщение, полученное мною от правительства.

Развернув телеграмму, он прочел:

«ПРЕЖНИЙ МЭР СМЕЩЕН.
ДЕЙСТВУЙТЕ РЕШИТЕЛЬНО.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПОСЛЕДУЮТ.
За супрефекта советник САПЕН».

Он торжествовал; сердце его радостно билось, руки дрожали. Но Пикар, его бывший подчиненный, крикнул из ближайшей группы любопытных:

– Все это хорошо!.. Но если те не захотят выйти, вам с вашей бумажкой легче не будет.

Г-н Массарель побледнел. В самом деле, если те не захотят выйти, придется прорываться напролом. Теперь это не только его право, но и долг.

Он с тревогой смотрел на мэрию, надеясь, что дверь откроется и его противник сдастся.

Дверь оставалась закрытой. Что делать? Толпа увеличивалась, теснилась вокруг ополченцев. Поднялся смех.

Одно обстоятельство особенно тревожило доктора. Если он отдаст команду идти на приступ, – ему самому придется возглавлять отряд. И так как с его смертью всякие распри улягутся, то г-н Варнето и три его стражника именно в него и будут стрелять, только в него одного. А они

метко стреляют, очень метко. Пикар еще раз подтвердил это. Но у него блеснула новая идея, и он повернулся к Поммелю:

– Бегите к аптекарю и попросите одолжить мне салфетку и палку.

Лейтенант побежал.

Надо соорудить парламентарский флаг, белый флаг, вид которого, быть может, тронет легитимистское сердце старого мэра.

Поммель вернулся с требуемой салфеткой и палкой от метлы. При помощи веревки соорудили знамя, и г-н Массарель, взяв его в обе руки и держа перед собой, снова двинулся к мэрии. Подойдя к двери, он еще раз позвал:

– Господин де Варнето!

Дверь внезапно распахнулась, и г-н Варнето в сопровождении трех стражников появился на пороге.

Доктор невольно попятился назад. Потом, изящно раскланявшись со своим врагом, он произнес, задыхаясь от волнения:

– Я имею честь довести до вашего сведения, сударь, полученное мною распоряжение.

Не отвечая на поклон, дворянин ответил:

– Я ухожу, сударь, но знайте, что не из страха и не из повиновения гнусному правительству, узурпирующему законную власть.

И, отчеканивая каждое слово, он закончил:

– Я не хочу давать повод думать, что я хотя бы один день служил республике. Вот и все.

Растерявшийся Массарель не нашелся, что ответить, а г-н де Варнето быстро исчез за углом площади, сопровождаемый своей охраной.

Тогда доктор, преисполненный гордости, вернулся к толпе. Как только он приблизился настолько, что его могли слышать, он закричал:

– Ура! Ура! Республика торжествует по всему фронту.

Но толпа не проявила никакого восторга.

Доктор опять закричал:

– Народ свободен! Вы свободны и независимы! Гордитесь!

Обыватели тупо глядели на него, не выражая никакой радости.

Он тоже смотрел на них, негодуя на их равнодушие, стараясь придумать, что сказать им, что сделать, чтобы встряхнуть, воодушевить эту мирную толпу, чтобы выполнить свою миссию зачинателя.

Вдруг на него сошло вдохновение, и, обернувшись к Поммелю, он сказал:

– Лейтенант, принесите сюда из залы муниципального совета бюст бывшего императора и захватите с собой стул.

Поммель вскоре возвратился с гипсовым бюстом Бонапарта на правом плече и с соломенным стулом в левой руке.

Господин Массарель устремился к нему навстречу, взял стул, поставил его на землю, а на него водрузил белый бюст и, отойдя на несколько шагов, обратился к нему с громкой речью:

– Тиран! Тиран! Ты низвергнут теперь, повержен в грязь, впал в ничтожество. Умиравшее отечество хрипело под твоим сапогом. Карающая судьба настигла тебя. Поражение и позор неразлучны с тобой; ты пал побежденным, пленником пруссаков, и на развалинах твоей рухнувшей империи встает юная, лучезарная республика, она поднимет твою изломанную шпагу...

Он ждал аплодисментов. Но ни малейшего восклицания, ни единого хлопка не раздалось в ответ. Испуганные крестьяне молчали, а гипсовый бюст с остроконечными усами, далеко торчавшими по обеим сторонам лица, неподвижный и причесанный, как парикмахерский манекен, казалось, улыбался, глядя на Массареля, своею застывшей улыбкой.

Так стояли они лицом к лицу: Наполеон на стуле, доктор в трех шагах перед ним. Гнев охватил командира. Что же делать? Что делать, чтоб расшевелить этот народ и окончательно завоевать общественное мнение?

Случайно рука его нащупала за красным поясом рукоятку револьвера.

Ни вдохновение, ни красноречие больше не приходили ему на помощь. Тогда он вынул свое

оружие, отступил еще на два шага и, прицелившись, выстрелил в бывшего монарха.

Пуля пробила во лбу маленькую черную дырочку, похожую на почти незаметное пятнышко. Эффект не удался. Г-н Массарель выстрелил во второй раз, сделал вторую дырочку, потом третью, потом, не останавливаясь, выпустил последние три пули. Лоб Наполеона разлетелся белой пылью, но глаза, нос и остроконечные тонкие усы остались невредимыми.

Тогда доктор в отчаянии опрокинул стул ударом кулака, наступил ногой на обломки бюста и, встав в позу триумфатора, обернулся к ошоломленной толпе.

– Да погибнут так все изменники!.. – проревел он.

Но так как по-прежнему не видно было никаких проявлений восторга и зрители только раскрывали рты от удивления, командир крикнул ополченцам:

– Можете теперь возвратиться к вашим очагам!

И сам, точно убегая от погони, крупными шагами направился домой.

Когда он вернулся к себе, служанка доложила, что в кабинете уже более трех часов его ожидают больные. Он поспешил туда. Эта была та же крестьянская чета, с расширением вен, пришедшая на рассвете и ждавшая его упорно и терпеливо.

Старик тотчас же возобновил свой рассказ:

– Началось это с того, что по ногам у меня вроде как мурашки стали ползать...

Волк

Вот что рассказал нам старый маркиз д'Арвиль под конец обеда, который давал барон де Равель в день святого Губерта³⁰.

В этот день затравили оленя. Маркиз был единственным из гостей, не принимавшим участия в травле, потому что никогда не охотился.

В продолжение всего долгого обеда только и говорили, что об истреблении животных. Женщины, и те были увлечены кровавыми и зачастую неправдоподобными рассказами, а рассказчики мимически воспроизводили борьбу человека со зверем, размахивали руками и кричали громовым голосом.

Д'Арвиль говорил хорошо, с легким оттенком напыщенной, но эффектной поэтичности. Должно быть, он часто рассказывал эту историю, потому что речь его лилась плавно и он без труда находил меткое слово и удачный образ.

– Господа, я никогда не охотился, как и мой отец, мой дед и прадед. Прадед же мой был сыном человека, который любил охоту больше, чем все вы, вместе взятые. Он умер в 1764 году. Я расскажу вам, как это произошло.

Его звали Жан. Он был женат, был отцом ребенка, ставшего моим прадедом, и жил со своим младшим братом, Франсуа д'Арвилем, в нашем лотарингском замке, среди густых лесов.

Франсуа д'Арвиль остался холостяком из-за своей страсти к охоте.

Братья охотились вдвоем круглый год, без отдыха, без передышки. Они только и любили, что охоту, ничего другого не понимали, говорили лишь о ней, жили единственно ради нее.

В их сердцах пылала эта жестокая, неутолимая страсть. Она сжигала их, захватывала целиком, не оставляя места ни для чего другого.

Они запретили беспокоить себя во время охоты, что бы ни случилось. Мой прадед родился в тот момент, тогда отец его преследовал лисицу, и Жан д'Арвиль, узнав об этом, не прервал погоны, а только выругался:

– Черт возьми, этот бездельник мог бы подождать, пока кончится облава!

Его брат Франсуа, казалось, увлекался охотой еще больше, чем он. Едва проснувшись, он отправлялся проведать собак, потом – лошадей и в ожидании выезда на охоту за крупным зверем стрелял птиц вокруг замка.

В округе их звали «господин маркиз» и «молодой барин». Тогдашнее дворянство не походило на нынешних случайных дворян, старающихся создать нисходящую иерархию титулов: ведь

³⁰ День святого Губерта – 3 ноября; св. Губерт считается на Западе покровителем охотников.

сын маркиза еще не граф, сын виконта – не барон, как сын генерала не может быть полковником от рождения. Но мелочное тщеславие наших дней улаживается такой выдумкой.

Продолжаю рассказ о моих предках.

Они, говорят, были необыкновенно высоки ростом, ширококостны, волосаты, свирепы и сильны. Младший брат был выше старшего и обладал таким зычным голосом, что, как рассказывала легенда, которой он очень гордился, каждый лист в лесу дрожал от его крика.

Когда эти великаны, отправляясь на охоту, вскакивали в седла и скакали верхом на огромных лошадях, это было, вероятно, великолепное зрелище.

И вот как-то в середине зимы 1764 года наступили сильные холода и волки стали особенно свирепствовать.

Они нападали на запоздавших крестьян, бродили по ночам вокруг домов, выли от заката до восхода солнца и опустошали скотные дворы.

Вскоре разнесся слух, что появился огромной величины волк, светло-серой, почти белой масти, что он заел двух детей, отгрыз у какой-то женщины руку, передушил всех сторожевых собак в окрестностях и бесстрашно залезает за ограды, обнюхивая двери домов. Жители уверяли, что слышали его дыхание, от которого колебалось пламя свечей. И вскоре всю местность охватила паника. С наступлением вечера, казалось, темнота грозила отовсюду появлением этого зверя... Никто не осмеливался выходить из дому.

Братья д'Арвиль решили выследить его и убить. Они пригласили на эту большую облаву всех местных дворян.

Все было тщетно. Напрасно они рыскали по лесам, обшаривая заросли, – зверя нигде не было. Убивали много волков, но не этого. И каждую ночь, после охоты, зверь, как бы в отместку, набрасывался на путников или пожирал скотину – и при этом всегда вдалеке от места, где его накануне выслеживали.

Как-то ночью он забрался в свиной хлев замка д'Арвиль и зарезал там двух лучших поросят.

Братья были вне себя от гнева. Они смотрели на это нападение как на издевательство, как на прямое оскорбление, как на брошенный им вызов. Они взяли с собою лучших ищеек, которые привыкли ходить на хищного зверя, и, пылая яростью, отправились на охоту.

С самой зари до заката, когда пурпурное солнце опустилось за оголенные деревья, они безуспешно рыскали по лесной чаще.

Наконец в бешенстве и отчаянии братья направились домой, пустив шагом своих лошадей по дороге, поросшей кустарником, удивляясь, что, несмотря на все их охотничье искусство, волк так ловко провел их. Какой-то суеверный страх вдруг овладел ими.

Старший промолвил:

– Это, видно, не простой зверь. Можно подумать, что он умен, как человек.

Младший ответил:

– Не обратиться ли к нашему кузену, епископу, чтобы он освятил пулю, или, быть может, попросить священника прочитать подходящую молитву?

Они помолчали.

Жан снова заговорил:

– Посмотри, какое красное солнце. Этот волк опять натворит каких-нибудь бед сегодня ночью.

Но не успел он закончить фразу, как лошадь его поднялась на дыбы, а конь Франсуа начал брыкаться. Густой кустарник, покрытый сухими листьями, раздвинулся, оттуда выскочил огромный серый зверь и побежал в лес.

Братья зарычали от радости и, пригнувшись к шее грузных коней, послали их вперед всей тяжестью своих тел и погнали с такой быстротой, стегая, понукая криком, движениями, шпорами, что казалось, могучие всадники сами влекли за собою тяжелых животных и, стиснув их ногами, летели вместе с ними.

Охотники неслись, распластавшись над землей, перескакивали через кусты, перемахивали через рвы и насыпи, спускались в ущелья и что есть мочи трубили в рога, созывая своих людей и собак.

И вот в пылу этой отчаянной скачки мой предок налетел лбом на огромный сук, который раскроил ему череп. Он свалился на землю мертвым, а обезумевшая лошадь помчалась дальше и исчезла во мраке леса.

Младший д'Арвиль круто остановился, спрыгнул на землю, схватил брата в объятия и увидел, что вместе с кровью из его раны вытекал мозг.

Тогда он сел возле трупа, положил обезображенную и окровавленную голову Жана к себе на колени и застыл, всматриваясь в неподвижное лицо старшего брата. Мало-помалу в его сознание стал проникать страх, странный, неведомый ему доселе страх темноты, страх одиночества, страх перед пустынным лесом и перед этим таинственным волком, погубившим его брата, чтобы отомстить охотникам.

Мрак сгущался, деревья трещали от мороза. Франсуа встал, продрогший, чувствуя, что почти падает от изнеможения. Уже ничего не было слышно: ни лая собак, ни звука рогов, – все безмолвствовало в невидимом пространстве. Эта угрюмая тишина ледящего вечера таила в себе что-то страшное и необычайное.

Мощными руками схватил он огромное тело Жана, поднял его и, уложив поперек седла, медленно направился к замку; мысли его мутились, как у пьяного, его преследовали страшные, необычайные видения.

И вдруг на тропинке, окутанной ночной тьмой, перед ним мелькнула какая-то огромная тень. Это был зверь. Ужас охватил охотника, что-то холодное пробежало по его спине, и, подобно монаху, одолеваемому дьявольским наваждением, он широко перекрестился, растерявшись перед неожиданно появившимся страшным хищником. Но тут взор Франсуа упал на неподвижное тело брата, лежавшее перед ним, страх его сменился гневом, он задрожал в неудержимой ярости.

Пришпорив лошадь, он пустился вслед за волком. Он скакал за ним через рощи, через рытвины, мчался через лесные чащи, не узнавая их более, впиваясь взором в это белое пятно, убегавшее от него в темноту нисходившей на землю ночи.

Его лошадь, казалось, тоже была окрылена какой-то неведомой силой. Она бешено скакала, вытянув вперед шею. Голова и ноги перекинутого через седло мертвеца задевали за деревья и выступы скал. Терновник вырывал у него волосы, голова, ударяясь о громадные стволы деревьев, забрызгивала их кровью. Шпоры сдирали кору с деревьев.

Но вот лошадь и всадник выскочили из леса и понеслись по ложине; в это время из-за гор выплывала луна. Каменистая ложина, стиснутая со всех сторон огромными скалами, не имела выхода. Загнанный волк повернул обратно.

Франсуа взвыл от радости, и этот вой, повторенный эхом, прокатился в горах как раскат грома. Он соскочил с лошади, сжимая в руке кинжал.

Ощетинившийся зверь, выгнув спину, ждал; глаза его сверкали, как две звезды. Но прежде чем вступить в бой, силач-охотник схватил брата, посадил его на скалу, подперев ему камнями голову, которая превратилась уже в одно кровавое месиво, и закричал ему в ухо, точно говорил с глухим:

– Смотри, Жан, смотри!..

Затем он бросился на чудовище. Он чувствовал себя способным перевернуть горы, раздробить камни. Зверь пытался свалить его и распороть ему живот. Но охотник, забыв даже об оружии, схватил волка за горло и стал медленно душить его голыми руками, прислушиваясь, как замирает дыхание в его глотке, как перестает биться его сердце. И он смеялся в безумной радости, все сильнее сжимая зверя в страшной хватке и крича в припадке бешеного восторга:

– Смотри, Жан, смотри!

Волк перестал сопротивляться, тело его обмякло. Он был мертв.

Тогда Франсуа схватил его, поволок и бросил к ногам старшего брата, повторяя взволнованно:

– Вот он, вот, вот, милый мой Жан, вот он!

Потом он перекинул через седло оба трупа, один на другой, и пустился в путь.

Он вернулся в замок, смеясь и плача, как Гаргантюа при рождении Пантагрюэля³¹. Он ис-

³¹ Гаргантюа, Пантагрюэль – герои знаменитого романа французского писателя Рабле (1494–1553).

пускал крики торжества и притоптывал ногами, описывая смерть зверя, и, рыдая, рвал свою бороду, рассказывая о гибели брата.

И часто впоследствии, вспоминая этот день, Франсуа произносил со слезами на глазах:

– Если бы бедный Жан мог видеть, как я душил волка, он умер бы довольный. Я в этом уверен.



Вдова моего прадеда внушила своему осиротевшему сыну отвращение к охоте, которое, передаваясь из поколения в поколение, перешло и ко мне.

Маркиз д'Арвиль умолк. Кто-то спросил:

– Это легенда, не правда ли?

Рассказчик отвечал:

– Клянусь вам, что все это правда, от первого до последнего слова.

И тогда одна из дам произнесла нежным голоском:

– Все равно, как прекрасно, когда человеком владеют такие страсти.

Ребенок

Жак Бурдильер в течение долгого времени клялся, что никогда не женится, но вдруг переменил свои воззрения. Это случилось внезапно, летом, на морских купаниях.

Как-то утром, когда он, растянувшись на песке, разглядывал выходивших из воды женщин, чья-то маленькая ножка поразила его своей грациозностью и красотой. Переведя взор выше, он пленился всем обликом этой особы. Впрочем, он увидел только щиколотки и голову, выступавшие из тщательно запахнутого белого фланелевого халата. Жак Бурдильер слыл прожигателем жизни и сластолюбцем. Сначала поэтому его пленил только вид этой изящной фигурки, но затем он был совершенно покорен прелестным характером молодой девушки, простым, милым и нежным, как ее щеки и губы.

Он был представлен семье и понравился. Вскоре он влюбился до безумия. Когда он издали

замечал Бертю Ланни на желтом песке длинного пляжа, он весь вздрагивал. Возле нее он немел и не в состоянии был не только говорить, но и думать; в сердце его что-то кипело, в ушах шумело, а душа наполнялась смятением. Была ли это любовь?

Он не знал, он ничего не понимал, но, во всяком случае, твердо решил сделать эту девочку своей женой.

Родители долго не решались дать согласие. Их удерживала дурная репутация молодого человека. Говорили, что у него есть любовница, давнишняя любовница, старая и прочная связь, одна из тех цепей, которые даже после разрыва все еще продолжают крепко держать.

Кроме того, он влюблялся на более или менее продолжительное время во всех женщин, находившихся от него на расстоянии поцелуя.

Но теперь он сразу остепенился и даже отказался увидеться еще раз с тою, с которой так долго прожил. Один из его друзей взялся уладить вопрос о содержании, обеспечивающем эту женщину на будущее. Жак платил, но не хотел ничего слышать о ней, стараясь забыть даже ее имя. Она писала ему, но он не распечатывал писем. Каждую неделю он узнавал неуклюжий почерк покинутой, и каждую неделю его охватывал против нее все больший гнев. Он разрывал конверт вместе с письмом, не вскрывая, не прочтя ни строчки, ни единой строчки, наперед зная все упреки и жалобы, которые содержались в нем.

Так как его постоянству родители все-таки не доверяли, то продолжили испытание на всю зиму, и только весной его предложение было принято.

Свадьба состоялась в Париже, в первых числах мая.

Было решено, что молодые не поедут в традиционное свадебное путешествие. После домашнего бала, с танцами для молоденьких кузин, который кончится не позже одиннадцати часов, чтобы не удлинять и без того утомительного дня церемонии, молодые супруги проведут первую ночь в доме родителей, а наутро уедут одни на купания, в то дорогое их сердцу место, где они познакомились и полюбили друг друга.

Наступила ночь. Танцевали в большой гостиной. Молодые уединились в маленький японский будуар, обтянутый ярким шелком и еле освещенный в этот вечер матовым светом спускавшегося с потолка цветного фонаря, похожего на огромное яйцо. В открытое окно вливался по временам свежий ветерок, нежно ласкавший лицо; вечер был теплый, тихий, напоенный ароматами весны.

Оба молчали, держа друг друга за руки и по временам крепко сжимая их. Она глядела затуманенным взором, слегка ошеломленная огромной переменой в своей жизни, улыбающаяся и готовая расплакаться от волнения, лишиться чувств от радости; ей казалось, что весь мир должен измениться из-за того события, которое с ней произошло; она была полна какой-то безотчетной тревоги и чувствовала себя – телом и душою – во власти некоей непонятной, но сладостной усталости.

Он пристально смотрел на нее, сосредоточенно улыбаясь. Он хотел говорить, но не находил слов и вкладывал всю свою страсть в рукопожатие. Время от времени он шептал: «Берта», и всякий раз она поднимала на него глаза нежным и кротким движением век; мгновение они смотрели друг на друга, потом глаза ее опускались, зачарованные его взором.

Они не находили ни одной мысли, которой могли бы обменяться. Их оставили вдвоем, и лишь изредка танцующая пара мимоходом бросала в их сторону беглый взгляд, как скромная и дружественная свидетельница их тайны.

Сбоку отворилась дверь, и вошел слуга, держа на подносе принесенное посыльным спешное письмо. Жак, вздрогнув, схватил его и почувствовал вдруг смутный страх, суеверный страх перед внезапным несчастьем.

Он долго смотрел на незнакомый почерк на конверте, не смея вскрыть его, охваченный безумным желанием не читать письма, не знать, что в нем, спрятать в карман и сказать себе: «До завтра... Завтра я буду далеко, и мне все уже будет безразлично». Но в углу конверта были отчетливо написаны два слова: «Очень важное»; они пугали и притягивали его.

– Вы позволите, мой друг? – спросил он и, вскрыв конверт, стал читать.

Он читал письмо, страшно побледнев, и, пробежав его одним взглядом, стал потом медленно

перечитывать, точно по складам.

Когда он поднял голову, на нем лица не было.

– Дорогая малютка, – пробормотал он, – с моим другом... с моим лучшим другом случилось большое, очень большое несчастье. Я ему нужен сейчас же... сию же минуту... дело идет о жизни и смерти. Позвольте мне удалиться на двадцать минут. Я сейчас же вернусь.

Не чувствуя еще себя его женой, она не решилась расспрашивать его и требовать объяснений. Дрожащая и испуганная, она прошептала:

– Идите, мой друг.

И он исчез. Она осталась одна и сидела, прислушиваясь к танцам в соседней комнате.

Он схватил первую попавшуюся под руку шляпу, чье-то пальто и бегом спустился по лестнице. Перед тем как выйти на улицу, он остановился под газовым рожком в подъезде и перечел письмо.

Вот его содержание:

«Сударь. Девица Раве, по-видимому ваша бывшая любовница, разрешилась от бремени ребенком; она уверяет, что ребенок от вас. Родильница умирает и молит вас прийти к ней. Я взял на себя смелость написать вам и спросить, не согласитесь ли вы на последнее свидание с этой женщиной, видимо, очень несчастной и достойной сожаления.

Готовый к услугам

доктор Бочар».

Когда Жак вбежал в комнату умирающей, она была в агонии. Он сразу ее не узнал. Доктор и две сиделки ухаживали за ней, на полу стояли ведра со льдом и валялись полотенца, пропитанные кровью.

Пол был весь залит водой. На столе горели две свечи; позади кровати в плетеной колыбели кричал ребенок, и при каждом его крике мать мучительно пыталась приподняться, дрожа под ледяными компрессами.

Она истекала кровью, раненная насмерть, убитая этими родами. Жизнь уходила, и, несмотря на лед, несмотря на все заботы, упорное кровотечение продолжалось, приближая ее последний час.



Она узнала Жака, хотела поднять руки, но не могла, до того они обессилели. По смертельно бледным щекам ее покатились слезы.

Жак бросился на колени перед постелью, схватил безжизненно свисавшую руку и стал безумно целовать ее. Потом он приблизился вплотную к исхудалому лицу, дрогнувшему от его прикосновения. Одна из сиделок, стоя со свечой в руке, светила им, а доктор, отойдя от постели, смотрел из глубины комнаты.

Уже далеким и прерывающимся голосом она сказала:

– Я умираю, мой дорогой, обещаю остаться при мне до конца. О, не покидай меня, не покидай меня в последний мой час!

Рыдая, он целовал ее лоб, волосы и шептал:

– Успокойся, я останусь.

Она несколько минут молчала, собираясь с силами, – так она была слаба и взволнованна.

– Это твой ребенок, – продолжала она. – Клянусь тебе богом, клянусь своей душой, клянусь тебе перед смертью. Я никого не любила, кроме тебя... Обещай мне, что ты не покинешь его.

Он обнял это бедное, искалеченное, бескровное тело. Вне себя от горя, мучимый укорами совести, он лепетал:

– Клянусь, что воспитаю его и буду любить. Я никогда не расстанусь с ним.

Тогда она попыталась поцеловать Жака. Но, не в силах поднять отяжелевшую голову, она протянула ему бледные губы, прося поцелуя. Он нагнулся, чтобы принять эту жалкую, молящую ласку.

Немного успокоившись, она прошептала чуть слышно:

– Принеси малютку, я хочу видеть, любишь ли ты его.

И он отправился за ребенком.

Он положил его на кровать между нею и собой, и крошечное существо перестало плакать. Она прошептала:

– Не двигайся.

И он не шевелился. Он стоял так, держа в горячей руке ее руку, вздрагивавшую в агонии, как только что держал другую, по которой пробежала дрожь любви. Время от времени он украдкой по-

глядывал на часы и видел, что стрелка миновала двенадцать, потом час, потом два.

Доктор ушел; обе сиделки, побродив некоторое время по комнате, задремали в креслах. Ребенок спал, и мать, закрыв глаза, казалось, также уснула.

Когда бледный рассвет стал проникать сквозь опущенные занавески, она внезапно протянула руки таким быстрым и резким движением, что чуть не уронила на пол ребенка. Что-то заклокотало у нее в горле, и она вытянулась на спине неподвижная, мертвая.

Сиделки, подбежав к постели, сказали:

– Конец.

Жак взглянул в последний раз на эту женщину, которую он когда-то любил, потом на часы, показывавшие четыре часа утра, и убежал, бросив пальто, в одном черном фраке, с ребенком на руках.

Оставшись одна после ухода мужа, молодая женщина сначала спокойно ждала его в японском будуаре. Но, видя, что он не возвращается, она вышла в гостиную, с виду равнодушная и безмятежная, но мучительно встревоженная в глубине души. Ее мать, увидев, что она одна, спросила:

– Где же твой муж?

– В своей комнате; он сейчас придет, – отвечала она.

Через час, когда все стали расспрашивать ее, она призналась, что Жаку подали письмо, что у него было страшно расстроенное лицо и она боится несчастья.

Подождали еще. Гости разъехались; остались только близкие родственники. В полночь плачущую новобрачную уложили в постель. Мать и две тетки, сидя вокруг кровати, слушали ее рыдания и горестно молчали... Отец отправился к полицейскому комиссару, чтобы навести справки.

В пять часов утра в коридоре послышались легкие шаги, отворилась и снова тихо захлопнулась дверь; потом по молчаливому дому внезапно разнесся детский крик, похожий на кошачье мяуканье.

Все женщины разом вскочили. Берта, не обращая внимания на мать и теток, первая выбежала навстречу в ночной рубашке.

Смертельно бледный и задыхающийся, Жак стоял посреди комнаты, держа в руках ребенка.

Четыре женщины в испуге смотрели на него. А Берта, вдруг осмелев, подошла к нему с мучительной тревогой в сердце:

– Что случилось?... Скажите, что случилось?...

Он был похож на сумасшедшего.

– Случилось... случилось... – начал он прерывающимся голосом, – что это мой ребенок, а мать его только что умерла...

И он показал на плачущего малютку, которого неумело держал в руках.

Берта, не говоря ни слова, взяла ребенка, поцеловала и прижала к груди; потом, подняв на мужа полные слез глаза, сказала:

– Вы сказали, что мать умерла?

Он ответил:

– Да, только что... на моих руках... Я порвал с нею еще летом... Я ничего не знал... меня вызвал доктор...

– Ну, что ж, мы воспитаем этого малютку, – прошептала Берта.

Рождественская сказка

Доктор Бонанфан стал рыться в своей памяти, повторяя вполголоса:

– Рождественский рассказ?... Рождественский рассказ?...

И вдруг воскликнул:

– Ну, да! У меня есть одно воспоминание, и даже очень необыкновенное. Это фантастическая история. Я видел чудо. Да, сударыни, чудо в Рождественскую ночь.

Вас удивляет, что вы слышите это от меня, человека, ни во что не верующего? И тем не ме-

нее я видел чудо! Говорю вам, я его видел, видел собственными глазами, именно видел.

Удивило ли оно меня? Отнюдь нет: если я не верю в ваши догматы, то верю в существование веры и знаю, что она движет горами. Я мог бы привести много примеров. Но я боюсь возбудить в вас негодование и ослабить эффект моего рассказа.

Прежде всего признаюсь, что если я и не был переубежден всем виденным, то, во всяком случае, был очень взволнован, и я постараюсь бесхитростно передать вам все это с наивной доверчивостью овернца.

Я был тогда деревенским врачом и жил в местечке Рольвиль, в глуши Нормандии.

Зима в том году была лютая. С конца ноября после недели морозов выпал снег. Уже издалека виднелись тяжелые тучи, надвигавшиеся с севера, затем начали падать густые белые хлопья.

За одну ночь вся долина покрылась белым саваном.

Одиноким фермы, стоявшие среди квадратных дворов, за завесой больших деревьев, опущенных инеем, казалось, уснули под этим плотным и легким покрывалом.

Ни один звук не нарушал тишины деревни. Только вороны стаи чертили длинные узоры по небу в напрасных поисках корма и, опускаясь тучей на мертвые поля, клевали снег своими большими клювами.

Ничего не было слышно, кроме мягкого и непрерывного шороха мерзлой пыли, продолжавшей сыпаться без конца.

Так длилось всю неделю, потом снегопад прекратился. Землю окутывал покров в пять футов толщиной.

В последующие три недели небо, днем ясное, как голубой хрусталь, а ночью все усыпанное звездами, словно инеем на холодной суровой глади, простиралось над ровной пеленой твердого и блестящего снега.

Долина, изгороди, вязы за оградой – все, казалось, было мертво, убито стужей. Ни люди, ни животные не показывались на улице; одни только трубы, торчащие из хижин в белых сугробах, свидетельствовали о скрытой жизни тоненькими, прямыми струйками дыма, поднимавшегося в ледяном воздухе.

Время от времени слышался треск деревьев, как будто их деревянные руки ломались под корою: толстая ветка отделялась иногда и падала, потому что холод замораживал древесные соки и разрывал заледеневшие волокна.

Жилища, разбросанные там и сям среди полей, казались отделенными друг от друга на столе. Жили как придется. Один только я пытался навещать моих ближайших больных, беспрестанно рискуя быть погребенным в какой-нибудь яме.

Вскоре я заметил, что вся округа охвачена таинственным страхом. Толковали, что такое бедствие не может быть явлением естественным. Уверяли, что по ночам слышатся голоса, резкий свист, чьи-то крики.

Эти крики и свист, несомненно, издавали стаи птиц, перелетавшие в сумерки на юг. Но попробуйте переубедить обезумевших людей. Ужас охватил души, и все ждали какого-то необыкновенного события.

Кузница дядюшки Ватинеля стояла в конце деревушки Эпиван, на большой дороге, в те дни заметенной снегом и пустынной. И вот когда у рабочих вышел весь хлеб, кузнец решил сходить в деревню. Несколько часов он провел в разговорах, навестив с полдюжины домов, составлявших местный центр, достал хлеба, наслушался новостей и заразился страхом, царившим в деревне.

Еще до наступления темноты он отправился домой.

Проходя вдоль какого-то забора, он вдруг заметил на снегу яйцо, да, несомненно, яйцо, белое, как все кругом. Он наклонился: действительно, яйцо. Откуда оно? Какая курица могла выйти из курятника и снести в этом месте? Удивленный кузнец ничего не понимал. Однако он взял яйцо и принес его жене.

– Эй, хозяйка, я принес тебе яйцо. Нашел его на дороге.

Жена покачала головой:

– Яйцо на дороге? В такую погоду! Да ты, видно, пьян.

– Да нет же, хозяйка, оно лежало у забора и было еще теплое, не замерзло. Вот оно, я положил его за пазуху, чтоб оно не стыло. Съешь его за обедом.

Яйцо опустили в котел, где варился суп, а кузнец принялся пересказывать то, о чем толковали в деревне.

Жена слушала, побледнев.

– Ей-богу, прошлую ночью я слышала свист; мне даже казалось, что он шел из трубы.

Сели за стол. Сначала поели супу, потом, в то время как муж намазывал на хлеб масло, жена взяла яйцо и подозрительно осмотрела его.

– А если в этом яйце что-нибудь есть?

– Что же, по-твоему, может там быть?

– Почему я знаю!

– Будет тебе... Ешь и не дури.

Она разбила яйцо. Оно было самое обыкновенное и очень свежее.

Она стала нерешительно есть его, то откусывая кусочек, то отставляя, то опять принимаясь за него. Муж спросил:

– Ну, что, каково оно на вкус?

Она не ответила и, проглотив остатки яйца, вдруг уставилась на мужа пристальным, угрюмым и безумным взглядом: закинув руки, она сжала их в кулаки и упала наземь, извиваясь в конвульсиях и испуская страшные крики.



Всю ночь она билась в страшном припадке, сотрясаемая смертельной дрожью, обезображенная отвратительными судорогами. Кузнец, не в силах справиться с ней, принужден был ее связать.

Ни на минуту не умолкая, она вопила диким голосом:

– Он у меня в животе!.. Он у меня в животе!..

Меня позвали на следующий день. Я перепробовал без всякого результата все успокаивающие средства. Женщина потеряла рассудок.

С невероятной быстротой, несмотря на непроходимые сугробы, по всем фермам разнеслась новость, удивительная новость:

– В жену кузнеца вселился бес!

Отовсюду приходили любопытные, не решаясь, однако, войти в дом. Они слушали издали ее ужасные крики: трудно было поверить, что этот громкий вой принадлежит человеческому существу.

Дали знать деревенскому священнику. Это был старый, простодушный аббат. Он прибежал в стихаре, как для напутствия умирающему, и, протянув руки, произнес заклиательную формулу, пока четверо мужчин держали корчившуюся на кровати и брызгавшую пеной женщину.

Но беса так и не изгнали.

Наступило Рождество, а погода стояла все такая же.

Накануне утром ко мне явился кюре.

– Я хочу, – сказал он, – чтоб эта несчастная присутствовала сегодня на вечернем богослужении. Быть может, господь сотворит для нее чудо в тот самый час, когда сам родился от женщины.

Я ответил ему:

– Вполне вас одобряю, господин аббат. Если на нее подействует богослужение – а это лучшее средство растрогать ее, – она может исцелиться и без лекарств.

Старый священник пробормотал:

– Вы, доктор, человек неверующий, но вы поможете мне, не правда ли? Вы возьметесь до-ставить ее?

Я обещал ему свою помощь.

Наступил вечер, затем ночь. Зазвонил церковный колокол, роняя грустный звон в мертвое пространство, на белую и мерзлую снежную гладь.

Послушные медному зову, медленно потянулись группы черных фигур. Полная луна озарила ярким и бледным светом горизонт, еще больше подчеркивая унылую белизну полей.

Я взял четырех сильных мужчин и отправился к кузнецу.

Одержимая по-прежнему выла, привязанная к кровати. Несмотря на дикое сопротивление, ее тщательно одели и понесли.

Церковь, холодная, но освещенная, была теперь полна народу; певчие тянули однообразный мотив; орган хрипел; маленький колокольчик в руках служки позванивал, управляя движениями верующих.

Женщину с ее сторожами я запер в кухне церковного дома и стал выжидать благоприятной, по моему мнению, минуты.

Я выбрал момент вслед за причащением. Все крестьяне, мужчины и женщины, причастившись, приобщились к своему богу, чтобы смягчить его суровость. Пока священник совершал таинство, в церкви царила глубокая тишина.

По моему приказанию дверь отворилась, и мои четыре помощника внесли сумасшедшую.

Как только она увидела свет, коленопреклоненную толпу, освещенные хоры и золотой ковчег, она забилась с такой силой, что чуть не вырвалась из наших рук, и стала так пронзительно кричать, что трепет ужаса пронесся по церкви. Все головы поднялись, многие из молящихся убежали.

Она потеряла человеческий облик, корчилась и извивалась в наших руках, с искаженным лицом и безумными глазами.

Ее протащили до ступенек клироса и с силой пригнули к полу.

Священник стоял и ждал. Когда ее усадили, он взял дароносицу, на дне которой лежала белая облатка, и, сделав несколько шагов, поднял ее обеими руками над головой бесноватой, так, чтобы она могла видеть ее...

Она все еще выла, устремив пристальный взгляд на блестящий предмет.

Аббат продолжал стоять так неподвижно, что его можно было принять за статую.

Это тянулось долго-долго.

Женщину, казалось, охватил страх: она, как замороженная, не отрываясь, смотрела на чашу, все еще временами сотрясаясь страшной дрожью, и продолжала кричать, но уже не таким душе-раздирающим голосом.

И это тоже тянулось долго.

Казалось, она не могла отвести взгляд от дароносицы и уже только стонала, ее напряженное

тело ослабело и поникло.

Вся толпа пала ниц.

Теперь одержимая то быстро опускала веки, то снова поднимала их, точно не в силах была вынести зрелища своего бога. Она уже не кричала. Вскоре я заметил, что она закрыла глаза. Она спала сном сомнамбулы, загипнотизированная – простите, умиротворенная – пристальным созерцанием блестящей золотом чаши, сраженная Христом-победителем.

Ее унесли обессилевшую, и священник вернулся в алтарь.

Потрясенные свидетели грянули «Te deum»³² во славу милости господней.

Жена кузнеца проспала сорок часов подряд, потом проснулась, ничего не помня ни о болезни, ни об исцелении.

Вот, сударыни, виденное мною чудо.

Доктор Бонанфан умолк, потом с досадой прибавил:

– Я принужден был засвидетельствовать чудо в письменной форме.

Королева Гортензия

В Аржантейле ее звали Королевой Гортензией. Почему – никто так и не мог узнать. Может быть, потому, что она говорила тем решительным тоном, каким офицер отдает команду. Может быть, потому, что была высока ростом, широка в кости и величественна. А возможно, и потому, что она воспитывала целое полчище домашних животных: кур, собак, кошек, чижей и попугаев, – животных, которые так дороги сердцу старых дев. Но для этих зверьков у нее не было ни баловства, ни ласковых слов, ни ребяческих нежностей, изливаемых так часто женскими устами на бархатную спинку мурлыкающей кошки. Она управляла своими животными властно – она царствовала над ними.

Она и в самом деле была старой девой, одною из тех старых дев, которым присущи резкий голос, грубые жесты, жестокая, казалось бы, душа. Она всегда держала молоденьких служанок, потому что молодость легче склоняется перед крутою волей. Она не допускала ни противоречий, ни возражений, ни колебаний, ни беспечности, ни лени, ни усталости. Никогда никто не слышал, чтобы она жаловалась, сожалела о чем-нибудь, завидовала кому-нибудь. «Всякому свое», – говорила она с убеждением фаталистки. Она не ходила в церковь, не любила попов, совсем не верила в бога и называла все религиозные атрибуты «товаром для плакс».

В течение тридцати лет своей жизни в маленьком доме, отделенном от улицы небольшим садом, она не изменила привычек, безжалостно меняя одних только служанок, когда они достигали двадцати одного года.

Без слез и сожалений она заменяла новыми своих собак, кошек и птиц, когда они умирали от старости или от несчастного случая: погибших она хоронила под цветочною клумбой, рыла мотыгой небольшой железной лопаткой, потом равнодушно утаптывала землю ногой.

В городе у нее было несколько знакомых чиновничьих семей, где мужчины ежедневно отправлялись на службу в Париж. Время от времени ее приглашали на вечерний чай. Она неизбежно засыпала на этих собраниях, и ее приходилось будить перед уходом. Никогда она не позволяла провожать себя, потому что ничего не боялась ни днем, ни ночью. Детей она, казалось, не любила.

Все свое время она заполняла мужскими работами: столярничала, работала в саду, пилила или колола дрова, чинила свой ветшавший дом, а в случае нужды сама штукатурила стены.

У нее были родственники, навещавшие ее два раза в год: Симмы и Коломбели; две ее сестры вышли замуж – одна за аптекаря, другая за мелкого рантье. У Симмов не было потомства, у Коломбелей же было трое детей: Анри, Полина и Жозеф. Анри было двадцать лет, Полине – семнадцать, а Жозефу – только три. Он родился в то время, когда, казалось, матери его уже поздно было иметь детей.

Старая дева не испытывала ни малейшей привязанности к своим родственникам.

³² Te deum – Тебя, Господи, хвалим (лат.); католическая молитва.

Весною 1882 года Королева Гортензия вдруг захворала. Соседи пригласили доктора; она его выгнала. Тогда явился священник, но она поднялась, раздетая, с постели и вытолкала его вон.

Вся в слезах, молоденькая служанка готовила ей лекарственную настойку.

Она пролежала так три дня, и положение ее стало настолько опасно, что сосед-бочар, по совету доктора, силою вошел в дом и взял на себя труд известить родных.

Они приехали с одним и тем же поездом, около десяти утра. Коломбели привезли с собою маленького Жозефа.

Подойдя к садовой калитке, они прежде всего увидели служанку, которая сидела на стуле у стены дома и только плакала.

У порога на соломенном половике, развалившись под палящим солнцем, спала собака. Две кошки, вытянувшись, с закрытыми глазами, расправив хвосты и лапы, лежали неподвижно, как мертвые, на подоконниках двух окон.

Толстая наседка с выводком цыплят, одетых желтым пухом, легким, как вата, бродила, кудахтая, по небольшому саду, а в огромной клетке, привешенной на стене и прикрытой курослепом, целая стая птиц, опьяненная светом теплого весеннего утра, оглашала пением воздух.

В другой клетке, в виде домика, смиренно сидели рядом на одной жердочке два зеленых попугая-неразлучника.

Г-н Симм, толстый, сопящий человек, входивший всюду первым, расталкивая в случае надобности мужчин и женщин, спросил:

– Ну что, Селеста, плохо дело?

Служанка проговорила сквозь слезы:

– Она меня не узнает больше. Доктор говорит, что это конец.

Все переглянулись.



Г-жа Симм и г-жа Коломбель, не говоря ни слова, вдруг поцеловались. Они были очень похожи друг на друга, у обеих были гладко расчесанные на пробор волосы и красные шали на плечах, шали из французского кашемира яркого, огненного цвета.

Симм обернулся к зятю, бледному, желтому, худому человеку, терзаемому болезнью желудка и сильно хромавшему, и произнес серьезным тоном:

– Пора было, черт возьми!

Но никто не осмеливался войти в комнату умирающей, расположенную в нижнем этаже. Даже Симм отказался тут от первенства. Первым отважился Коломбель. Качаясь, как корабельная мачта, он вошел, стуча по каменному полу железным наконечником своей палки.

За ним решились на это и обе женщины, а г-н Симм замыкал шествие.

Маленький Жозеф остался на улице, пленившись собакой.

Луч солнца, падавший на середину кровати, освещал только руки умирающей, которые нервно и неустанно двигались, то раскрываясь, то сжимаясь. Пальцы шевелились, точно оживленные какою-то мыслью; они словно указывали на что-то, объясняли, старались выразить. Тело умирающей лежало неподвижно под простыней. На худом лице не вздрагивал ни один мускул. Глаза были закрыты.

Родственники расположились полукругом у кровати, безмолвно уставясь на сдавленную грудь, дышавшую коротко и отрывисто. За ними, продолжая плакать, вошла молоденькая служанка.

Наконец Симм спросил:

– Что же в точности сказал доктор?

Девушка пролепетала:

– Он сказал, чтобы ее оставили в покое, что ничего больше сделать нельзя.

Но вот губы старой девы зашевелились. Казалось, она тихо произнесла какие-то слова, сохранившиеся в ее угасавшем мозгу, и странные движения ее рук усилились.

Вдруг она заговорила тоненьким голоском, совсем несвойственным ей, идущим, казалось, откуда-то издалека, быть может, из самой глубины ее вечно замкнутого сердца.

Симм на цыпочках вышел из комнаты, находя зрелище слишком тяжелым. Коломбель, у которого устала хромая нога, сел на стул.

Обе женщины продолжали стоять.

Королева Гортензия что-то болтала теперь очень быстро, но слова ее трудно было разобрать. Она произносила имена, множество имен, нежно призывая воображаемых людей.

– Подойди сюда, мой маленький Филипп, поцелуй свою маму. Ты очень любишь маму, скажи, дитя мое? Роза, ты посмотришь за сестренкой, пока меня не будет дома. Главное, не оставляй ее одну, слышишь? И не смей трогать спичек.

Она помолчала несколько секунд, потом громче, точно зовя кого-то, продолжала:

– Анриетта!..

Подождав немного, она прибавила:

– Скажи твоему отцу, чтоб он пришел поговорить со мной до ухода в контору.

И вдруг:

– Мне сегодня немного нездоровится, мой дорогой, обещай не приходить слишком поздно. Скажи начальнику, что я больна. Ты ведь понимаешь, опасно оставлять детей одних, когда я в постели. Я сделаю тебе к обеду блюдо сладкого рису. Дети очень это любят. Особенно будет довольна Клара.

Она рассмеялась звонким молодым смехом, как никогда не смеялась.

– Посмотри на Жана, какое у него смешное лицо. Весь измазался в варенье, маленький неряха. Посмотри, мой дорогой, какой он потешный.

Коломбель, поминутно менявший положение больной ноги, утомленной путешествием, прошептал:

– Ей кажется, что у нее дети и муж. Это начало агонии.

Обе сестры стояли, не двигаясь, удивленные и растерянные.

– Снимите шляпы и шали, – сказала служанка. – Не пройдете ли в гостиную?

Они вышли, не произнося ни слова. Коломбель, хромая, поплелся за ними, и умирающая снова осталась одна.

Освободившись от дорожных нарядов, женщины наконец уселись. Одна из кошек потянулась, соскочила с окна и взобралась на колени к г-же Симм. Та стала гладить ее.

Из спальни слышался голос умирающей, которая переживала в этот последний час свою

жизнь такую, как она должна была бы сложиться, переживала сокровенные мечты в ту минуту, когда все для нее должно было кончиться.

Толстяк Симм играл в саду с Жозефом и собакой, веселясь от всей души на лоне природы и совершенно забыв об умирающей.

Но наконец он вошел в комнату и обратился к служанке:

– А ну-ка, голубушка, не состряпаешь ли ты нам завтрак? Что угодно покушать дамам?

Заказали яичницу с зеленью, кусок мяса с молодым картофелем, сыр и кофе.

И когда г-жа Коломбель стала искать в кармане кошелек, Симм остановил ее и спросил девушку:

– У тебя, наверное, есть деньги?

Она отвечала:

– Да, сударь.

– Сколько?

– Пятнадцать франков.

– Этого достаточно. Поторопись, милая, так как я уже проголодался.

Г-жа Симм, глядя в окно на вьющиеся растения, залитые солнцем, и на двух влюбленных голубей на крыше противоположного дома, огорченно произнесла:

– Как досадно съехаться при таких печальных обстоятельствах. Сегодня так чудесно было бы погулять на воздухе!

Сестра ответила безмолвным вздохом, а Коломбель, придя, должно быть, в ужас при мысли о прогулке, пробормотал:

– Нога болит у меня отчаянно.

Маленький Жозеф и собака производили невообразимый шум: мальчик испускал крики восторга, а животное отчаянно лаяло. Они играли в прятки, бегая вокруг трех цветочных грядок, и неистово гонялись друг за другом.

Умирающая продолжала призывать своих детей, разговаривая с каждым отдельно, воображая, что одевает их, ласкает, учит читать.

– Ну, Симон, повторяй: а, б, ц, д. Ты плохо выговариваешь, скажи: д, д, д. Слышишь? Ну, повтори...

Симм произнес:

– Какие странные вещи говорят в подобные минуты.

Г-жа Коломбель спросила:

– Может быть, лучше опять пойти к ней?

Но Симм тотчас же поспешил возразить:

– Зачем? Все равно вы ей не поможете. Нам и здесь хорошо.

Никто не настаивал. Г-жа Симм рассматривала двух зеленых попугаев-неразлучников. Она превозносила их удивительную верность, порицая мужчин за то, что они не подражают этим птицам. Симм стал смеяться и, глядя на жену, принялся насмешливо напевать: «Тра-ла-ла, тра-ла-ла...» – как бы намекая на что-то, относящееся к его, Симма, верности.

У Коломбеля в это время начались спазмы в желудке, и он принялся стучать палкой об пол.

Вбежала другая кошка, подняв хвост трубой.

Сели за стол почти в час.

Коломбель, которому было предписано употреблять только хорошее бордо, попробовал вино и подозвал служанку.

– Скажи, миленькая, неужели в погребе нет ничего получше этого?

– Как же, есть, сударь, хорошее вино, то, что подавалось вам, когда вы приезжали.

– Так принеси-ка нам три бутылочки.

Попробовали нового вина, которое оказалось превосходным не потому, что было хорошего сорта, а потому, что простояло лет пятнадцать в погребе.

– Вот настоящее бордо для больных, – заявил Симм.

Коломбель, охваченный страстным желанием завладеть этим бордо, снова спросил девушку:

– Сколько его там еще осталось, милая?

– О, почти все, сударь! Мадемуазель никогда его не пила. В погребке его целая куча.

Тогда Коломбель обратился к зятю:

– Если позволите, Симм, я возьму это вино взамен чего-нибудь другого. Оно необычайно полезно для моего желудка.

Вошла наседка с выводком цыплят. Обе женщины забавлялись, бросая им крошки.

Жозефа и собаку как следует накормили и отослали в сад.

Королева Гортензия все еще разговаривала, но теперь уже тихо, так что ее слов уже нельзя было разобрать.

Кончив пить кофе, пошли посмотреть, в каком положении находится больная. Она, казалось, успокоилась.

Все снова вышли и уселись в саду, чтобы на воздухе предаться пищеварению.

Вдруг собака стала быстро носиться вокруг стульев, держа что-то в зубах. Ребенок со всех ног побежал за ней, и оба исчезли в доме.

Симм уснул, выставив живот на солнце.

Умиравшая опять громко заговорила и вдруг вскрикнула.

Обе женщины и Коломбель поспешили войти в дом и посмотреть, что с ней. Проснувшийся Симм не двинулся с места, так как не любил себя расстраивать.

Королева Гортензия сидела на постели с блуждающим взором. Собака, спасаясь от преследований маленького Жозефа, вскочила на кровать, перепрыгнув через хозяйку, и, прячась за подушкой, смотрела блестящими глазами на мальчика, готовая снова прыгнуть, чтобы продолжать беготню. В зубах она держала туфлю своей хозяйки, изглоданную во время игры.

Ребенок, оробев при виде этой женщины, внезапно поднявшейся на ложе, неподвижно оставался у кровати.

Напуганная шумом курица вскочила на стул, в отчаянии сзывая своих цыплят, растерянно метавшихся и пищавших под стулом.

Королева Гортензия кричала раздражающим голосом:

– Нет, нет, я не хочу умирать!.. Не хочу, не хочу!.. Кто воспитает моих детей? Кто будет о них заботиться? Кто будет их любить? Нет, не хочу... не...

Она упала навзничь. Все было кончено.

Возбужденная собака вертелась и скакала по комнате.

Коломбель подбежала к окну и позвала шурина:

– Идите скорее, идите скорее! Мне кажется, она умерла.

Тогда Симм поднялся, покорясь участи, и вошел в комнату, бормоча:

– Это кончилось скорее, чем можно было ожидать.

Прощение

Она выросла в одной из тех семей, которые живут замкнутой жизнью и всего чуждаются.

Они не знают о политических событиях, хотя за столом и упоминают о них; но ведь перемены правительства происходят так далеко, так далеко, что о них говорят, как об исторических фактах, точно о смерти Людовика XVI³³ или высадке Наполеона³⁴.

Нравы и моды меняются. В тихой семье, всегда следующей традиционным обычаям, этого совсем не замечают. И если в окрестностях разыгрывается какая-нибудь скандальная история, отголоски замирают у порога такого дома. Только отец и мать как-нибудь вечером обменяются несколькими словами о происшедшем, и то вполголоса, так как и у стен бывают уши. Отец таинственно скажет:

³³ Смерть Людовика XVI. – Французский король Людовик XVI был казнен революцией XVIII века за измену родине.

³⁴ Высадка Наполеона. – Имеется в виду высадка Наполеона I в бухте Жуан 1 марта 1815 года, после его бегства с острова Эльба.

– Ты слыхала об этой ужасной истории в семье Ривуалей?

И мать ответит:

– Кто мог бы этого ожидать? Прямо ужасно!

Дети ни о чем не догадываются и, подрастая, вступают в жизнь с повязкой на глазах и мыслях, не подозревая об изнанке жизни, не зная, что мысли не всегда соответствуют словам, а слова – поступкам, не ведая, что надо жить в войне со всеми или по крайней мере хранить вооруженный мир, не догадываясь, что за доверчивость вас обманывают, за искренность предают, за доброту платят обидой.

Иные так и живут до самой смерти в ослеплении чистоты, прямодушия и честности, до такой степени не тронутые жизнью, что ничто не в состоянии открыть им глаза.

Другие, выведенные из заблуждения, растерянные, сбитые с толку, в отчаянии падают и умирают, считая себя игрушкой жестокой судьбы, несчастной жертвой гибельных обстоятельств и каких-то на редкость преступных людей.

Савиньоли выдали замуж свою дочь Берту, когда ей было восемнадцать лет. Она вышла за молодого парижанина, Жоржа Барона, биржевого дельца. Он был красивый малый, хорошо говорил и был, по-видимому, человек порядочный. В душе он немного посмеивался над отсталостью своих нареченных родителей, называя их в товарищеском кругу: «Мои милые ископаемые».

Он принадлежал к хорошей семье; девушка была богата. Муж увез ее в Париж.

Она стала одной из многочисленных провинциалок Парижа. Она жила, не зная и не понимая этого большого города, его элегантного общества, его развлечений и модных туалетов, как не понимала жизни с ее вероломством и тайнами.

Ограничив себя хозяйственными заботами, она знала только свою улицу, а когда отваживалась побывать в другом квартале, прогулка казалась ей далеким путешествием в незнакомый и чужой город. Вечером она говорила:

– Я сегодня проходила бульварами.

Два-три раза в год муж водил ее в театр. Это были настоящие праздники; воспоминание о них никогда не исчезало, и разговор постоянно возобновлялся.

Иногда, месяца три спустя, она начинала вдруг смеяться за столом и восклицала:

– Помнишь того актера, который был одет генералом и кричал петухом?

Ее знакомства ограничивались двумя семьями дальних родственников, представлявшими для нее все человечество. Она называла их всегда во множественном числе: эти Мартине, эти Мишлены.

Муж ее жил в свое удовольствие, возвращался когда вздумается, иногда на рассвете, под предлогом всяких дел, и нисколько не стеснялся, так как был уверен, что подозрение никогда не коснется ее чистой души.

Но раз утром она получила анонимное письмо.

Она растерялась; ведь она была слишком прямодушна, чтобы понять низость подобных разоблачений и пренебречь письмом, автор которого уверял, что им руководит лишь забота о ее счастье, ненависть к злу и любовь к правде.

Ей сообщали, что вот уже два года, как у ее мужа есть любовница, молодая вдова, г-жа Россе, у которой он проводит все вечера.

Берта не умела ни притворяться, ни скрывать, ни выслеживать, ни хитрить. Когда муж пришел завтракать, она бросила ему письмо и, рыдая, убежала в свою комнату.

У него было достаточно времени, чтобы все обдумать и приготовить ответ. Он постучался к жене. Она сейчас же отворила, не смея на него взглянуть. Улыбаясь, он уселся, привлек ее к себе на колени и ласково, с легкой насмешкой заговорил:

– Моя дорогая малютка, у меня действительно есть приятельница госпожа Россе; я знаю ее уже десять лет и очень люблю. Скажу больше, я знаком еще с двадцатью другими семьями, о которых я никогда не говорил тебе, так как ты ведь не ищешь общества, развлечений и новых знакомств. Но, чтобы раз навсегда покончить с этими гнусными доносами, я попрошу тебя после завтрака одеться и поехать вместе со мной к этой молодой женщине. Я не сомневаюсь, что ты подружишься с нею.

Она обняла мужа и из женского любопытства, которое, раз проснувшись, уже не засыпает, не отказалась поехать посмотреть на незнакомку, внушавшую ей все же некоторое подозрение. Инстинктивно она чувствовала, что опасность, о которой знаешь, не так страшна.

Она вошла в маленькую кокетливую квартиру на пятом этаже красивого дома, полную безделушек и со вкусом убранную. После пятиминутного ожидания в гостиной, полутемной от обоев, портьер и грациозно спадающих занавесок, дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина, брюнетка, небольшого роста, немного полная, с удивленной улыбкой.

Жорж представил обеих женщин друг другу.

– Моя жена – госпожа Жюли Россе.

Молодая вдова, слегка вскрикнув от радости и неожиданности, бросилась навстречу, протянув обе руки. Она никогда не надеялась, говорила она, иметь счастье видеть госпожу Барон, зная, что та нигде не бывает; она так счастлива, так счастлива!.. Она так любит Жоржа (с дружеской близостью она назвала его просто Жоржем), что ей до безумия хотелось познакомиться с его женой и тоже полюбить ее.

Через месяц новые подруги были неразлучны. Они виделись ежедневно, иногда даже по два раза в день, постоянно обедали вместе то у одной, то у другой. Жорж теперь совсем не выходил из дому, не отговаривался больше делами и уверял, что обожает свой домашний очаг.

Наконец, когда в доме, где жила г-жа Россе, освободилась квартира, г-жа Барон поспешила занять ее, чтобы быть еще ближе со своей неразлучной подругой.

Целых два года длилась эта безоблачная дружба, дружба души и сердца, неизменная, нежная, преданная и очаровательная. Берта не могла больше ни о чем говорить, чтобы не произнести имя Жюли, казавшейся ей совершенством.

Она была счастлива полным, спокойным и тихим счастьем.

Но вдруг г-жа Россе заболела. Берта не отходила от нее. Она проводила возле нее ночи, была безутешна; муж тоже был в отчаянии.

И вот как-то утром врач, уходя от больной, отвел в сторону Жоржа и его жену и объявил им, что находит положение их приятельницы очень серьезным.

Когда он ушел, молодые люди, пораженные, сели друг против друга и внезапно расплакались. Целую ночь они провели вместе у постели больной; Берта каждую минуту нежно ее целовала, а Жорж, стоя в ногах кровати, молча и упорно глядел на больную.

Наутро ее положение сильно ухудшилось.

Вечером она заявила, что чувствует себя лучше, и уговорила друзей спуститься к себе домой и пообедать.

Они грустно сидели в столовой, не притрагиваясь к еде, когда служанка подала Жоржу запечатанный конверт. Он вскрыл его, прочел, побледнел, поднялся и как-то странно сказал жене:

– Подожди меня... Мне необходимо отлучиться ненадолго. Через десять минут я вернусь. Главное, не уходи из дома.

И он побежал к себе за шляпой.

Берта ждала его, терзаясь новой тревогой. Но, послушная во всем, она не хотела идти наверх к подруге, пока муж не вернется.

Так как он не являлся, ей пришлось в голову пройти в его комнату и посмотреть, захватил ли он перчатки.

Перчатки сразу же бросились ей в глаза; рядом с ними валялась скомканная бумажка.

Она сейчас же узнала ее: то была записка, поданная Жоржу.

И жгучее искушение прочесть, узнать, в чем дело, охватило ее первый раз в жизни. Возмущенная совесть боролась, но любопытство, болезненное и возбужденное, толкало ее руку. Она взяла бумажку, развернула и сейчас же узнала почерк Жюли в этих дрожащих буквах, выведенных карандашом. Она прочитала: «Приди один поцеловать меня, мой бедный друг. Я умираю».

Сначала она ничего не поняла и стояла ошеломленная, потрясенная мыслью о смерти. Потом ум ее поразило это «ты», и точно молния вдруг осветила всю ее жизнь, всю гнусную истину, их измену и предательство. Она увидела ясно их долгое коварство, их взгляды, наивность своей поруганной веры, свое обманутое доверие. Она как бы снова увидела, как вечером, сидя рядом под

абажуром ее лампы, они читают одну и ту же книгу, встречаясь глазами в конце каждой страницы.

И сердце ее, переполненное негодованием, омертвевшее от горя, погрузилось в безграничное отчаяние.

Послышались шаги; она убежала к себе и заперлась.

Муж вскоре окликнул ее:

– Иди скорее: госпожа Россе умирает!

Берта появилась на пороге и дрожащими губами произнесла:

– Возвращайтесь к ней один: во мне она не нуждается.

Он смотрел на нее безумными глазами, ничего не понимая от горя, и повторял:

– Скорее, скорее, она умирает!

Берта ответила:

– Вы предпочли бы, чтобы это случилось со мною.

Тогда, вероятно, он понял; он вышел и опять поднялся к умирающей.

Он оплакивал ее, не скрываясь больше и не стыдясь, равнодушный к страданию жены, которая перестала с ним говорить, замкнулась в своей обиде, в своем гневном возмущении и проводила время в молитве.

Тем не менее они жили вместе, обедали, сидя друг против друга, молча, с отчаянием в душе.

Наконец он мало-помалу успокоился. Но она не прощала его.

И жизнь тянулась тягостно для обоих.

Целый год прожили они чужими друг для друга, точно незнакомые. Берта чуть не сошла с ума.

Однажды, выйдя на рассвете из дому, Берта вернулась около восьми часов, держа обеими руками огромный букет белых, совершенно белых роз.

Она послала сказать мужу, что хочет говорить с ним.

Он явился встревоженный и смущенный.

– Мы сейчас выйдем вместе, – сказала она ему, – возьмите эти цветы: они слишком тяжелы для меня.

Он взял букет и последовал за женой. Их ждала карета, тронувшаяся, как только они сели.

Она остановилась у ворот кладбища. Берта, с полными слез глазами, сказала Жоржу:

– Проводите меня на ее могилу.

Весь дрожа, ничего не понимая, он пошел вперед, по-прежнему держа цветы в руках. Наконец он остановился у белой мраморной плиты и молча показал на нее.



Тогда она взяла у него букет и, опустившись на колени, положила его в ноги могилы; потом погрузилась в горячую безмолвную молитву.

Стоя позади нее, муж плакал, охваченный воспоминаниями.

Она поднялась с колен и протянула ему руки.

– Если хотите, будем друзьями, – сказала она.

Легенда о горé Святого Михаила

Я увидел его сначала из Канкаля, этот замок фей³⁵, воздвигнутый среди моря. Я смутно увидел серую тень, висившуюся на облачном небе.

Другой раз я увидел его из Авранша при закате солнца. Все необъятное пространство песка было красно, красен был горизонт, красен весь огромный залив. Одни только отвесные стены аббатства, стоявшего на вершине горы, высоко над землей, как фантастический дворец, как поразительный волшебный замок, сказочно причудливый и красивый, оставались почти черными в пурпуре умирающего дня.

На другой день с рассветом я направился к нему через пески, не сводя глаз с этой грандиозной драгоценности, огромной, как гора, изящной, как камеш, воздушной и легкой, как кисея. Чем ближе я подходил, тем больше восхищался, потому что в мире, может быть, нет ничего более поразительного и совершенного.

И, точно открыв жилище неведомого бога, я бродил по залам с легкими или массивными колоннами, по галереям с ажурными стенами, очарованно глядя на колоколенки, которые казались стрелами, уходящими в небо, на все это невероятное смешение башенок, водосточных труб, чудесных и легких орнаментов, на этот каменный фейерверк, на гранитное кружево, на этот шедевр

³⁵ Замок фей. – Так в данном случае Мопассан называет монастырь на вершине горы Св. Михаила, один из замечательных памятников средневековой готической архитектуры. Построен в XII–XIII веках. Описание горы Св. Михаила (Mont Saint-Michel) встречается у Мопассана неоднократно; наиболее подробно оно дано в «Нашем сердце» (первая глава 2-й части).

грандиозной и тончайшей архитектуры.

В то время как я предавался восторгу, какой-то крестьянин, нижненормандец, догнал меня и поведал историю великой распри святого Михаила с дьяволом.

Один гениальный скептик сказал: «Бог сотворил человека по образу своему, и человек отплатил ему тем же».

Это великая истина, и было бы очень любопытно составить для каждой страны историю местного божества, равно как и историю местных святых для каждой из наших провинций. Идолы негров – кровожадные людоеды; многоженец-магометанин населяет свой рай женщинами; греки, народ практичный, обожают все человеческие страсти.

Каждая деревня во Франции находится под защитой святого покровителя, созданного по образу ее обитателей.

Так, Нижнюю Нормандию оберегает святой Михаил, лучезарный архангел-победитель, меченосец, небесный воин, герой, попирающий ногою сатану.

Но вот как житель Нижней Нормандии, хитрый, лукавый, скрытный сутяга, понимает и излагает в своем рассказе великую борьбу святого с дьяволом.

Чтобы укрыться от злобы дьявола, сосед его, святой Михаил, построил себе посреди океана это жилище, достойное архангела. И действительно, только великий святой и мог создать себе такую обитель.

Но так как он все-таки боялся нападения лукавого, то окружил свой замок зыбучими песками, еще более предательскими, чем море.

Дьявол жил в убогой хижине на берегу, но владел лугами, заливаемыми соленой водой, великолепными тучными землями, где росли обильные хлеба, богатыми долинами и плодородными виноградниками по всей стране. Архангел же царил над одними песками, так что сатана был богат, а святой Михаил беден, как нищий.

После нескольких лет поста святому надоело такое положение, и он задумал войти в сделку с дьяволом. Но дело было нелегкое, так как сатана крепко держался за свои урожаи.

Святой раздумывал полгода и наконец однажды утром отправился на землю. Дьявол сидел у двери и ел суп. Заметив архангела, он сейчас же поспешил к нему навстречу, поцеловал край его рукава, пригласил войти и подкрепиться.

Выпив чашку молока, святой Михаил начал свою речь:

– Я пришел предложить тебе выгодное дело.

Дьявол чистосердечно и доверчиво отвечал:

– Идет!

– Так вот... Ты уступишь мне все свои земли.

Встревоженный сатана хотел было возразить:

– Но...

Святой прервал его:

– Выслушай сначала. Ты уступишь мне свои земли. Я возьму на себя заботу о них, обработку, уход, посев, удобрение – словом, все. Жатву же будем делить пополам. Согласен?

Дьявол, лентяй по природе, согласился.

Он попросил только в виде надбавки немного той отличной рыбы, краснобородки, которую ловят вокруг одинокой горы. Святой Михаил обещал.

Они ударили по рукам, сплунули в сторону в знак того, что дело слажено, и архангел снова заговорил:

– Послушай, я не хочу, чтобы ты на меня жаловался. Выбирай, что тебе больше нравится: вершки или корешки?

Сатана воскликнул:

– Я беру себе вершки.

– Ладно! – ответил святой.

И он удалился.

Прошло полгода, и в огромных владениях дьявола все было засеяно морковью, репой, луком,

чесноком и всякими другими растениями, корни которых мясисты и вкусны, но листья годны разве только на корм скотине.

Сатана ничего не получил и захотел уничтожить договор, называя святого Михаила «обманщиком».

Но святой приохотился к земледелию и, опять отправившись к дьяволу, сказал ему:

– Я тут ни при чем, уверяю тебя... Так уж случилось, я не виноват. И, чтобы возместить тебе убытки, я предлагаю тебе на этот год взять корешки.

– Идет! – сказал сатана.

Следующей весной все владения злого духа были покрыты тучными колосьями хлебов, овсом, великолепным рапсом, льном, красным клевером, горохом, капустой, артишоками – всем, что может созреть под солнцем в виде зерен или плодов.

Сатана опять остался ни с чем и окончательно разозлился.

Он отобрал у архангела свои луга и нивы, оставаясь глухим ко всем новым предложениям соседа.

Прошел целый год. С высоты своего одинокого замка святой Михаил смотрел на далекую плодородную землю и видел дьявола, руководящего работами, собирающего жатву, молотящего хлеб. И, чувствуя свое бессилие, он был вне себя от гнева. Не имея возможности больше дурачить сатану, он решил отомстить и пригласил его к себе на обед в ближайший понедельник.

– Я знаю, – сказал он, – тебе не повезло в делах со мной. Но я не хочу, чтобы между нами оставалась вражда, я надеюсь, что ты придешь ко мне пообедать. Я угощу тебя вкусными блюдами.

Сатана, такой же обжора, как и лентяй, тотчас согласился. В назначенный день он разodelся в лучшее платье и отправился на гору.

Святой Михаил усадил его за роскошный стол. Сначала подали паштет с начинкой из петушиных гребешков и почек, а также с мясными сосисками; потом двух громадных краснобородок в сметане; потом белую индейку с каштанами, варенными в вине; потом барашка, нежного, как пирожное; потом овощи, таявшие во рту, и прекрасный горячий пирог, дымившийся и распространявший аромат масла.

Пили чистый сидр, пенистый и сладкий, за ним – крепкое красное вино, а каждое блюдо запивали старой яблочной водкой.

Дьявол пил и ел, как бездонная бочка, так много и так плотно, что его совсем вспучило и он уже не мог с собой совладать.

Но тут святой Михаил, грозно поднявшись, закричал громовым голосом:

– В моем присутствии! В моем присутствии, каналья! Ты смеешь... в моем присутствии...

Сатана, растерявшись, бросился бежать, а архангел, схватив палку, кинулся за ним.



Они бежали по низким залам, кружились вокруг столбов, взбирались на наружные лестницы, скакали по карнизам, прыгали с трубы на трубу. Несчастный демон чувствовал себя до того плохо, что готов был испустить дух, и, убегая, пачкал жилище святого. Наконец он очутился на последней террасе, на самом верху, откуда открывался весь огромный залив, с далекими городами, песками и пастбищами. Дальше бежать ему было некуда, и святой, дав ему в спину здорового пинка ногой, подбросил его, как мячик, в пространство.

Он дротиком взлетел к небу и тяжело упал перед городом Мортен. Рога и когти его глубоко вонзились в скалу, сохранившую навеки следы падения сатаны.

Он встал, хромая, да так и остался на веки вечные калекой, глядя издали на роковую гору, вздымавшуюся, как башня, в лучах заходящего солнца; он понял, что всегда будет побежден в этой неравной борьбе, и, волоча ногу, направился в отдаленные страны, оставив врагу свои поля, свои холмы, свои долины и луга.

Вот как святой Михаил, покровитель Нормандии, победил дьявола.

Другой народ представил бы себе эту борьбу по-иному.

Вдова

Это случилось в охотничий сезон в замке Банвиль. Осень была дождливая и скучная. Красные листья, вместо того чтобы шуршать под ногами, гнили в дорожных колесах, прибитые тяжелыми ливнями.

В лесу, почти совсем облетевшем, было сыро, как в бане. Под большими деревьями, исхлестанными осенними ветрами, пахло гнилью; от застоявшейся воды, мокрой травы и сырой земли поднимались испарения, пронизывая сыростью и охотников, горбившихся под непрерывным ливнем, и унылых собак с опущенными хвостами и прилипшей к бокам шерстью, и молодых охотниц в обтянутых, промокших насквозь суконных платьях; все они возвращались вечером домой усталые и разбитые.

В большой гостиной по вечерам играли в лото, но без особого удовольствия, а ветер шумными порывами колотился в ставни, так что старые флюгера вертелись волчком. Чтобы развлечься, затеяли рассказывать истории, как это бывает в книгах, но никто не мог придумать ничего интересного. Охотники рассказывали анекдоты о ружейных выстрелах или толковали об истреблении кроликов, а дамы, сколько ни ломали голову, не могли обрести в себе фантазии Шах-разады.

Все готовы были отказаться от этого развлечения, как вдруг одна молодая женщина, машинально играя рукою старой тетушки, оставшейся в девицах, заметила у нее на пальце колечко из светлых волос; она часто видела его и раньше, но не обращала на него внимания.

Тихонько поворачивая его вокруг пальца, она спросила:

– Скажи, тетя, что это за кольцо? Оно точно из детских волос.

Старая дева покраснела, затем побледнела и сказала дрожащим голосом:

– Это такая печальная, такая печальная история, что я не люблю о ней говорить. В этом причина несчастий всей моей жизни. Я тогда была еще очень молода, и это воспоминание так горестно, что я каждый раз плачу.

Всем сейчас же захотелось узнать, в чем дело, но тетушка не хотела говорить; однако ее так упрашивали, что она наконец уступила.

– Вы часто слышали от меня о семействе де Сантезов, ныне уже вымершем. Я знавала трех мужчин, последних его представителей. Все трое умерли одинаковой смертью. Это волосы последнего из них. Ему было тринадцать лет, когда он лишил себя жизни из-за меня. Вам кажется это странным, не правда ли?

О, это был какой-то особенный род, если хотите – род сумасшедших, но очаровательных сумасшедших, сумасшедших от любви. Все они, из поколения в поколение, были во власти необузданных страстей, безудержных порывов, которые толкали их на самые безумные поступки, на фанатичную преданность, даже на преступления. Это было присуще им, как некоторым присуща пламенная вера. Ведь люди, уходящие в монахи, принадлежат к совсем другой породе, чем салонные завсегдатаи. Среди родных существовала поговорка: «Влюблен, как Сантез». Стоило только взглянуть на одного из них, чтобы это почувствовать. У них у всех были выющиеся волосы, низко спускавшиеся на лоб, курчавая борода, большие, широко открытые глаза с проникновенным и как-то странно волнующим взглядом.

Дед того, от кого осталось вот это единственное воспоминание, после многих приключений, дуэлей и похищений женщин безумно влюбился в возрасте шестидесяти пяти лет в дочь своего фермера. Я знала их обоих. Она была бледная блондинка, изящная, с неторопливой речью, с мягким голосом и кротким взглядом, кротким, как у самой мадонны. Старый сеньор взял ее к себе и вскоре так привязался к ней, что не мог обойтись без нее ни минуты. Его дочь и невестка, жившие в замке, находили это совершенно естественным, до такой степени любовь была в традициях их рода. Когда дело касалось страсти, ничто их не удивляло; если при них рассказывали о препятствиях, чинимых любящим, о разлученных любовниках или о мести за измену, обе они говорили с одной и той же интонацией огорчения: «О, как ему (или ей) приходилось страдать при этом!» И ничего больше. Они всегда сочувствовали сердечным драмам и никогда не возмущались, даже если дело кончалось преступлением.

И вот однажды осенью один молодой человек, г-н де Градель, приглашенный на охоту, похитил эту девушку.

Г-н де Сантез сохранил спокойствие, словно ничего и не случилось, но как-то утром его нашли повесившимся среди собак на псарне.

Его сын умер таким же образом в одной парижской гостинице, в 1841 году во время путешествия, после того как был обманут оперной певицей.

После него остался сын двенадцати лет и вдова, сестра моей матери. Она переехала с сыном к нам в Бертильон, имение моего отца. Мне было тогда семнадцать лет.

Вы не можете себе представить, какой удивительный и не по летам развитый ребенок был этот маленький Сантез. Можно было подумать, что вся способность любить, все бушующие стра-

сти, свойственные его роду, воплотились в нем, последнем его потомке. Он вечно мечтал, одиноко гуляя целыми часами по вязовой аллее, тянувшейся от дома до леса. Из своего окна я наблюдала, как этот мальчуган задумчиво расхаживал степенным шагом, заложив за спину руки, опустив голову, и останавливался иногда, поднимая глаза, точно видел, понимал и чувствовал, как взрослый юноша.

Часто после обеда, в ясные ночи, он говорил мне: «Пойдем помечтаем, кузина...» И мы уходили вместе в парк. Он вдруг останавливался перед лужайкой, где клубился белый пар, та дымка, в которую луна обряжает лесные поляны, и, сжимая мне руку, говорил:

– Посмотри, посмотри! Но ты не понимаешь меня, я это чувствую. Если бы ты понимала, мы были бы счастливы. Чтобы понимать, надо любить.

Я смеялась и целовала его, этого мальчика, который меня обожал.

Часто после обеда он усаживался на колени к моей матери и просил: «Расскажи нам, тетя, какую-нибудь историю о любви». И моя мать в шутку начинала рассказывать ему все семейные предания, все любовные приключения его предков, а этих приключений были тысячи, тысячи правдивых и ложных. Все эти люди стали жертвою своей репутации. Она кружила им головы, и они считали для себя долгом чести оправдать славу, которая шла об их роде.

При этих рассказах, то нежных, то страшных, ребенок приходил в возбуждение и иногда хлопал в ладоши, повторяя:

– Я тоже, я тоже умею любить, и лучше, чем все они.

И вот он начал робко и бесконечно трогательно ухаживать за мной; над ним смеялись, до такой степени это было забавно. Каждое утро я получала цветы, собранные им для меня, и каждый вечер, прежде чем уйти к себе, он целовал мне руку, шепча:

– Я люблю тебя.

Я была виновата, очень виновата и без конца продолжаю оплакивать свою вину; вся моя жизнь была искуплением этого, и я так и осталась старой девой или, скорее, невестой-вдовой, его вдовой. Меня забавляла эта детская любовь, я даже поощряла ее. Я кокетничала, старалась пленить его, как взрослого мужчину, была ласкова и вероломна. Я свела с ума этого ребенка. Для меня все это было игрой, а для наших матерей веселым развлечением. Ему было двенадцать лет. Подумайте! Кто мог бы принять всерьез такую страсть? Я целовала его столько, сколько он хотел. Я писала ему даже любовные записочки, и наши матери прочитывали их. А он отвечал мне письмами, пламенными письмами, которые я сохранила. Он считал себя взрослым, думал, что наша любовь – тайна для всех. Мы забыли, что он был из рода Сантезов!

Это длилось около года. Раз вечером в парке он кинулся к моим ногам в безумном порыве и, целуя подол моего платья, твердил:

– Я люблю тебя, я люблю тебя, я умираю от любви. Если ты когда-нибудь обманешь меня, слышишь, если ты бросишь меня для другого, я сделаю то же, что мой отец...

И прибавил таким проникновенным тоном, что я вздрогнула:

– Ты ведь знаешь, что он сделал?

Я стояла пораженная, а он, встав с колен и поднявшись на носки, чтобы быть вровень с моим ухом – я была выше его, произнес нараспев мое имя: «Женевьева!» – таким нежным, таким красивым, сладостным голосом, что я задрожала с головы до ног.

– Пойдем домой, пойдем домой, – пробормотала я.

Он ничего больше не сказал и шел за мной. Но когда мы подошли к самому крыльцу, он остановил меня:

– Знаешь, если ты бросишь меня, я себя убью.

Я поняла тогда, что зашла слишком далеко, и стала сдержанней. Как-то раз он стал упрекать меня в этом, и я ответила ему:

– Ты теперь слишком взрослый для шуток и слишком молод для настоящей любви. Я подожду.

Мне казалось, что я вышла таким образом из затруднения.

Осенью его отдали в пансион. Когда он вернулся летом, у меня уже был жених. Он тотчас все понял и целую неделю был так задумчив, что я не могла отделаться от беспокойства.

На восьмой день, проснувшись утром, я увидела просунутую под дверь записочку. Я схватила ее, развернула и прочла:

«Ты покинула меня, но ты ведь помнишь, что я тебе говорил. Ты приказываешь мне умереть. Так как я не хочу, чтобы меня нашел кто-нибудь другой, кроме тебя, то приди в парк на то самое место, где в прошлом году я сказал, что люблю тебя, и посмотри вверх».

Я чувствовала, что схожу с ума. Я поспешно оделась и побежала бегом, чуть не падая от изнеможения, к указанному им месту. Его маленькая пансионская фуражка валялась в грязи на земле. Всю ночь шел дождь. Я подняла глаза и увидела что-то качавшееся между листьями – дул ветер, сильный ветер.



Не знаю, что было со мною после этого. Должно быть, я дико вскрикнула, может быть, упала без сознания, а потом побежала к замку. Я пришла в себя на своей постели. Моя мать сидела у изголовья.

Мне казалось, что все это я видела в ужасном бреду. Я пролепетала: «А он... он... Гонтран?» Мне не ответили. Значит, это была правда.

Я не решилась увидеть его еще раз, но попросила длинную прядь его светлых волос. Вот... вот она...

И старая дева жестом отчаяния протянула свою дрожащую руку. Затем она несколько раз высморкалась, вытерла глаза и продолжала:

– Я отказала жениху, не объяснив почему... И... осталась навсегда... вдовой этого тринадцатилетнего ребенка.

Голова ее упала на грудь, и она долго плакала, погрузившись в мечты.

И когда все разошлись на ночь по своим комнатам, один толстый охотник, потревоженный в своем душевном спокойствии, шепнул на ухо соседу:

– Что за несчастье – такая неумеренная чувствительность!

Драгоценности

Г-н Лантен познакомился с ней на вечере у помощника заведующего отделом, и любовь опутала его, точно сетью.

Отец ее был сборщиком податей в провинции; он умер несколько лет назад. Она переехала в Париж вместе с матерью, которая, желая выдать дочь замуж, завела знакомство с буржуазными семьями по соседству. Люди они были бедные, но в высшей степени приличные, воспитанные, приятные. Дочь казалась тем совершенным образцом порядочной девушки, которой всякий благо-разумный молодой человек мечтает вручить свою судьбу. В ее скромной красоте была прелесть ангельской чистоты, а неуловимая улыбка, не сходявшая с губ, казалась отблеском ее души.

Все кругом расхваливали ее, все знакомые без конца повторяли: «Счастливец, кто женится на ней. Лучшей жены не найдешь».

Г-н Лантен, служивший тогда столоначальником в министерстве внутренних дел, с годовым окладом в три тысячи пятьсот франков, сделал ей предложение и женился.

Он был неопишимо счастлив с ней. Она вела хозяйство с такой искусной расчетливостью, что они жили почти роскошно. Какими только заботами, нежностями, милыми ласками не дарила она мужа; она была так очаровательна, что после шести лет супружества он любил ее еще больше, чем в первые дни.

Он не одобрял в ней только пристрастия к театру и фальшивым драгоценностям.

Ее приятельницы (она была знакома с женами нескольких скромных чиновников) то и дело доставали ей логи на модные спектакли и даже на премьеры; и муж волей-неволей тащился с ней туда, хотя после трудового дня эти развлечения страшно утомляли его. Он упрашивал ее ездить в театр с какой-нибудь знакомой дамой, которая могла бы проводить ее потом домой. Она долго не соглашалась, находя это не совсем приличным. Наконец уступила ему в угоду, и он был ей за это бесконечно признателен.

Но страсть к театру скоро вызвала в ней потребность наряжаться. Одевалась она, правда, очень просто и скромно, но всегда со вкусом, и казалось, что ее тихая неотразимая прелесть, бесхитростная прелесть, вся светящаяся улыбкой, приобретала в простом наряде какую-то особую остроту. Зато она усвоила привычку вдевать в уши большие серьги с поддельными бриллиантами и носила фальшивый жемчуг, браслеты из низкопробного золота, гребни, отделанные разноцветными стекляшками, изображавшими драгоценные камни.

Мужу неприятно было это пристрастие к мишуре, и он часто говорил ей:

– Дорогая моя, у кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением; вот поистине редчайшие сокровища.



Но она тихонько улыбалась и повторяла:

– Что поделаешь! Мне это нравится. Это моя страсть. Я прекрасно понимаю, что ты прав, но себя не переделаешь. Я обожаю драгоценности.

И, перебирая жемчужины ожерелья, любуясь сверканием и переливами граненых камней, она твердила:

– Да ты посмотри, как они замечательно сделаны. Совсем как настоящие.

Он улыбался:

– У тебя цыганские вкусы.

Бывало, когда они коротали вечера вдвоем, она ставила на чайный стол сафьяновую шкатулку со своими «финтифлюшками», как выражался г-н Лантен, и принималась рассматривать фальшивые драгоценности с таким жадным вниманием, словно испытывала глубокое и тайное наслаждение. При этом она неизменно надевала на мужа какое-нибудь ожерелье и от души смеялась, восклицая: «До чего же ты смешной!» – а потом бросалась ему на шею и пылко целовала его.

Как-то зимой, возвращаясь из Оперы, она сильно простудилась. На другой день у нее начался кашель. Через неделю она умерла от воспаления легких.

Лантен едва сам не последовал за ней в могилу. Его отчаяние было так ужасно, что он посидел в один месяц. Он плакал с утра до ночи, сердце его разрывалось от невыносимых страданий; голос, улыбка, все очарование покойной неотступно преследовали его.

Время не сгладило его горя. Даже на службе, когда чиновники собирались вместе поболтать о новостях, щеки его вдруг начинали дергаться, нос морщился, глаза наполнялись слезами, лицо искажалось, и он принимался плакать навзрыд.

Он в неприкосновенности сохранил спальню своей подруги и каждый день запирался там, чтобы думать о ней. Все в комнате – мебель и даже платья – оставалось на том же месте, как в последний день ее жизни.

Но жить ему стало трудно. При жене его жалованья вполне хватало на все хозяйственные нужды, теперь же оно оказывалось недостаточным для него одного. Он недоумевал, каким образом она ухитрялась всегда угощать его прекрасным вином и тонкими блюдами, которых теперь при своих скромных средствах он уже не мог себе позволить.

Он начал делать долги и бегал в поисках денег, как человек, доведенный до крайности. Наконец, очутившись однажды без гроша в кармане, – а до выплаты жалованья оставалась еще целая неделя, – он решил что-нибудь продать; и тут ему пришла мысль отделаться от жениных «финтифлюшек», потому что в глубине души он сохранил неприязненное чувство к этой «бутафории», которая в былое время так раздражала его. Вид этих вещей, ежедневно попадавших ему на глаза, даже слегка омрачал воспоминание о любимой женщине.

Он долго разбирал кучу оставшейся после нее мишуры, так как до последних дней своей жизни она упорно продолжала покупать блестящие безделушки и почти каждый вечер приносила домой что-нибудь новое. Наконец он выбрал красивое ожерелье, которое она, по-видимому, любила больше всего; он рассчитывал получить за него шесть-восемь франков, потому что для фальшивого оно было сделано действительно весьма изящно.

Лантен сунул ожерелье в карман и отправился бульварами в министерство, разыскивая по дороге какой-нибудь солидный ювелирный магазин.

Наконец он увидел подходящий и вошел, несколько стесняясь выставить напоказ свою бедность, продавая столь малоценную вещь.

– Сударь, – обратился он к ювелиру, – мне хотелось бы знать, во что вы можете это оценить.

Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон, прикинул на руке, взгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте.

Г-н Лантен, смущенный такой долгой процедурой, уже открыл было рот, чтобы произнести: «Ну да, я отлично знаю, что оно ровно ничего не стоит», как вдруг ювелир заявил:

– Это ожерелье, сударь, стоит от двенадцати до пятнадцати тысяч франков; но я куплю его только в том случае, если вы точно укажете, каким образом оно вам досталось.

Вдовец, ничего не понимая, вытаращил глаза и застыл на месте с раскрытым ртом. Наконец он пробормотал:

– Что вы говорите?... Вы уверены?!

Ювелир по-своему истолковал его изумление и сухо возразил:

– Обратитесь еще куда-нибудь, может быть, в другом месте вам дадут дороже. По-моему, оно стоит самое большое пятнадцать тысяч. Если не найдете ничего выгоднее, приходите ко мне.

Ошеломленный г-н Лантен забрал свое ожерелье и поспешил уйти, повинувшись смутному желанию обдумать все наедине.

Но на улице он не мог удержаться от смеха: «Ну и болван! Поймать бы его на слове! Вот так ювелир: не может отличить подделку от настоящего!»

И он зашел в другой магазин, на углу улицы Мира.

Как только ювелир увидел ожерелье, он воскликнул:

– О, я прекрасно знаю это ожерелье, оно у меня и куплено!

Чрезвычайно взволнованный, г-н Лантен спросил:

– Какая ему цена?

– Я продал его за двадцать пять тысяч. Могу вам дать за него восемнадцать, но по закону полагается, чтоб вы сперва указали, как оно стало вашей собственностью.

Г-н Лантен даже сел, у него ноги подкосились от изумления.

– Да... но... все-таки осмотрите его внимательнее, сударь, я всегда был уверен, что ожерелье... поддельное.

– Будьте любезны сообщить вашу фамилию, – сказал ювелир.

– Пожалуйста, Лантен, служу в министерстве внутренних дел, живу на улице Мучеников, дом шестнадцать.

Ювелир раскрыл книги, порылся в них и сказал:

– Это ожерелье было действительно послано по адресу госпожи Лантен, улица Мучеников, дом шестнадцать, двадцатого июля тысяча восемьсот семьдесят шестого года.

Оба посмотрели друг на друга в упор: чиновник – вне себя от изумления, ювелир – подозревая воровство.

Ювелир продолжал:

– Вы можете оставить мне ожерелье на одни сутки? Я выдам вам расписку.

– Да, конечно, – пробормотал г-н Лантен и вышел, сунув в карман сложенную квитанцию.

Он пересек улицу, направился в одну сторону, заметил, что ошибся дорогой, повернул к Тюильри, перешел Сену, понял, что снова идет не туда, и возвратился к Елисейским Полям, шагая без всякой определенной мысли. Он пытался рассуждать, понять, в чем же тут дело. Его жена не имела возможности купить такую дорогую вещь. Конечно, нет. Тогда, значит, это подарок! Подарок! От кого? За что?

Он остановился посреди улицы как вкопанный. Ужасное подозрение шевельнулось в нем: «Неужели она...»

Значит, и все остальные драгоценности – тоже подарки! Ему показалось, что земля колеблется, что стоящее перед ним дерево падает; он взмахнул руками и свалился без чувств.

Он пришел в себя в аптеке, куда его перенесли прохожие. Его проводили домой, и он заперся у себя.

До самой ночи он неудержимо рыдал, кусая платок, чтоб не кричать. Потом, сломленный усталостью и горем, лег в постель и уснул тяжелым сном.

Солнце разбудило его, он с трудом встал, собираясь идти в министерство. Но после пережитого потрясения работать было трудно. Он решил, что не пойдет на службу, и послал своему начальнику записку. Потом вспомнил, что ему надо зайти к ювелиру, и покраснел от стыда. Он долго колебался. Однако не мог же он оставить ожерелье в магазине; он оделся и вышел.

Погода была чудесная, синее небо раскинулось над улыбающимся городом. Люди, засунув руки в карманы, фланировали по улицам.

Глядя на них, Лантен думал: «Хорошо иметь деньги! Богатому и несчастье как с гуся вода, делай, что хочешь, путешествуй, развлекайся. Ах, будь я богатым!»

Он вдруг почувствовал голод, так как ничего не ел со вчерашнего дня. Но в кармане у него было пусто, и он снова вспомнил об ожерелье. Восемнадцать тысяч! Восемнадцать тысяч! Кругленькая сумма!

Он отправился на улицу Мира и стал расхаживать взад и вперед по тротуару против магазина. Восемнадцать тысяч франков! Несколько раз порывался он войти, но стыд удерживал его.

Однако ему страшно хотелось есть, а денег у него не было ни единого су. Внезапно он решил: быстро, чтоб не дать себе времени раздумать, перебежал улицу и стремительно вошел в магазин.

Увидев его, хозяин засуетился, вежливо улыбаясь, подставил стул. Подошли и приказчики и, пряча улыбку, искоса поглядывали на Лантена.

– Я навел справки, сударь, – сказал ювелир, – и если вы не переменили намерения, я могу уплатить предложенную мною сумму.

– Да, пожалуйста, – пробормотал чиновник.

Ювелир вытащил из ящика восемнадцать ассигнаций, пересчитал их и вручил Лантену. Тот подписался на квитанции и дрожащей рукой засунул деньги в карман.

В дверях он обернулся к ювелиру, не перестававшему улыбаться, и сказал, опустив глаза:

– У меня... остались еще драгоценности... тоже по наследству... Может быть, вы и те купите?

– Извольте, – кланяясь, отвечал ювелир.

Один приказчик убежал, чтобы не расхохотаться, другой начал громко сморкаться.

Лантен, весь красный, невозмутимо и важно заявил:

– Сейчас я их привезу.

Он нанял фиакр и поехал за драгоценностями.

Через час он вернулся, так и не позавтракав. Они принялись разбирать драгоценности, оценивая каждую в отдельности. Почти все были куплены в этом магазине.

Теперь Лантен спорил о ценах, сердился, требовал, чтобы ему показали торговые книги, и по мере того, как сумма возрастала, все больше повышал голос.

Серьги с крупными бриллиантами были оценены в двадцать тысяч франков, браслеты – в тридцать пять, брошки, кольца и медальоны – в шестнадцать тысяч, убор из сапфиров и изумрудов

– в четырнадцать тысяч, солитер на золотой цепочке в виде кольца – в сорок тысяч; все вместе стоило сто девяносто шесть тысяч франков.

– Видимо, особа, которой это принадлежало, вкладывала все свои сбережения в драгоценности, – добродушно подсмеивался ювелир.

– Такой способ помещения денег нисколько не хуже всякого другого, – солидно возразил Лантен.

Условившись с ювелиром, что окончательная экспертиза назначается на следующий день, он ушел.

На улице он увидел Вандомскую колонну, и ему захотелось вскарабкаться на нее, как на призовую мачту. Он ощущал в себе такую легкость, что способен был сыграть в чехарду со статуей императора, маячившей высоко в небе.

Завтракать он отправился к Вуазену и пил вино по двадцать франков бутылка.

Потом он нанял фиакр и прокатился по Булонскому лесу. Он оглядывал проезжавшие экипажи с некоторым презрением, еле сдерживаясь, чтоб не крикнуть: «Я тоже богат! У меня двести тысяч франков!»

Вспомнив о министерстве, он поехал туда, развязно вошел к начальнику и заявил:

– Милостивый государь, я подаю в отставку. Я получил наследство в триста тысяч франков.

Он попрощался с бывшими сослуживцами и поделился с ними планами своей новой жизни; потом пообедал в английском кафе.

Сидя рядом с каким-то господином, который показался ему вполне приличным, он не мог преодолеть искушения и сообщил не без игривости, что получил наследство в четыреста тысяч франков.

Первый раз в жизни ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками.

Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина, но характер у нее был тяжелый. Она основательно помучила его.

Видение

Под конец дружеской вечеринки в старинном особняке на улице Гренель разговор зашел о наложении секвестра на имущество в связи с одним недавним процессом. У каждого нашлась своя история, и каждый уверял, что она вполне правдива.

Старый маркиз де ла Тур-Самюэль, восьмидесяти двух лет, встал, подошел к камину, облокотился на него и начал своим несколько дребезжащим голосом:

– Я тоже знаю одно странное происшествие, до такой степени странное, что оно преследует меня всю жизнь. Тому минуло уже пятьдесят шесть лет, но не проходит и месяца, чтобы я не видел его во сне. С того дня во мне остался какой-то след, какой-то отпечаток страха. Поймете ли вы меня? Да, в течение десяти минут я пережил смертельный ужас, оставшийся в моей душе навсегда. При неожиданном шуме дрожь проникает мне в самое сердце; если в темноте сумерек я неясно различаю предметы, меня охватывает безумное желание бежать. И, наконец, я боюсь ночи.

О, я никогда бы не сознался в этом, если бы не был в таком возрасте! Теперь же я во всем могу признаться. В восемьдесят два года позволительно не быть храбрым перед воображаемыми опасностями. Перед реальной опасностью я никогда не отступал, сударыни.

Эта история до такой степени все во мне перевернула, вселила в меня такую глубокую, такую необычайную и таинственную тревогу, что я никогда о ней даже не говорил. Я хранил ее в тайниках моего существа, там, где прячут все мучительные позорные тайны, все слабости, в которых мы не смеем признаться.

Я расскажу вам это приключение так, как оно случилось, не пытаюсь объяснить его. Конечно, объяснение существует, если только я попросту не сошел на время с ума. Но нет, сумасшедшим я не был и докажу вам это. Думайте, что хотите. Вот голые факты.

Это было в июле 1827 года. Я служил в руанском гарнизоне.

Однажды, гуляя по набережной, я встретил, как мне показалось, своего знакомого, но не мог вспомнить, кто он. Инстинктивно я сделал движение, чтобы остановиться. Незнакомец, заметив

это, посмотрел на меня и кинулся мне в объятия.

Это был друг моей юности, которого я очень любил. В течение пяти лет, что мы не виделись, он словно постарел на пятьдесят лет. Волосы у него были совершенно седые, он шел сгорбившись, как больной. Увидев, как я удивлен, он рассказал мне свою жизнь. Его сломило страшное несчастье.

Влюбившись до безумия в одну девушку, он женился на ней в каком-то экстазе счастья. После года сверхчеловеческого блаженства и неугасающей страсти она вдруг умерла от болезни сердца, убитая, несомненно, такой любовью.

Он покинул свой замок в самый день похорон и переехал в руанский особняк. Здесь он жил в одиночестве, в отчаянии, снедаемый горем и чувствуя себя таким несчастным, что думал только о самоубийстве.

– Так как я встретил тебя, – сказал он, – то попрошу оказать мне большую услугу. Съезди в замок и возьми из секретера в моей спальне, в нашей спальне, кое-какие бумаги, крайне мне необходимые. Я не могу поручить это какому-нибудь подчиненному или поверенному, потому что мне необходимо полное молчание и непроницаемая тайна. Сам же я ни за что на свете не войду в этот дом.

Я дам тебе ключ от этой комнаты – я сам запер ее, уезжая, – и ключ от секретера. Ты передашь от меня записку садовнику, и он пропустит тебя в замок...

Приезжай ко мне завтра утром, и мы поговорим об этом.

Я обещал оказать ему эту небольшую услугу. Для меня она была простой прогулкой, потому что имение его находилось от Руана приблизительно в пяти лье. Верхом я потратил бы на это не больше часа.

На другой день в десять часов утра я был у него. Мы завтракали вдвоем, но он не произнес и двадцати слов. Он извинился передо мной; по его словам, он был необычайно взволнован мыслью, что я попаду в ту комнату, где погибло его счастье. В самом деле, он казался необыкновенно возбужденным, чем-то озабоченным, как будто в душе его происходила тайная борьба.

Наконец он подробно объяснил, что я должен сделать. Все было очень просто. Мне предстояло взять две пачки писем и связку бумаг, запертых в верхнем правом ящике стола, от которого он дал ключ.

– Мне нечего просить тебя не читать их, – прибавил он.

Я почти оскорбился этим словом и ответил немного резко.

– Прости меня, я так страдаю! – пробормотал он и заплакал.

Я расстался с ним около часа дня и отправился исполнять поручение.

Погода была великолепная, и я поехал крупной рысью через луга, прислушиваясь к пению жаворонков и ритмичному постукиванию моей сабли о сапог.

Затем я въехал в лес и пустил лошадь шагом. Молодые ветви ласково касались моего лица. Иногда я ловил зубами зеленый листок и жадно жевал его в порыве той радости жизни, которая беспричинно наполняет нас шумным и непонятным счастьем, каким-то упоением жизненной силой.

Приблизившись к замку, я вытащил из кармана письмо к садовнику и с удивлением увидел, что оно запечатано. Я был так изумлен и рассержен, что готов был вернуться, не исполнив поручения. Но решил, что проявлять подобную обидчивость было бы дурным тоном. К тому же мой друг был так расстроен, что мог запечатать письмо машинально.

Имение казалось брошенным уже лет двадцать. Развалившийся и сгнивший забор держался неизвестно как. Аллеи поросли травой; цветочных клумб и грядок совсем не было видно.

На шум, который я поднял, стуча ногой в ставень, из боковой двери вышел старик и, казалось, удивился, увидев меня. Я соскочил на землю и передал письмо. Он его прочел, вновь перечитал, перевернул на обратную сторону, посмотрел на меня снизу вверх и, положив письмо в карман, спросил:

– Ну, так чего же вы желаете?

Я резко ответил:

– Вы должны это знать, если получили приказания от вашего хозяина. Я хочу войти в замок.

Казалось, он был сильно смущен. Он спросил:

– Значит, вы пойдете в ее... в ее спальню?

Я начинал терять терпение.

– Черт возьми! Уж не собираетесь ли вы учинить мне допрос?

– Нет... сударь... – пробормотал он. – Но... но комнату не открывали с тех пор... с тех пор... с самой смерти. Если вам угодно подождать меня пять минут, я... я пойду... посмотрю...

Я гневно прервал его:

– Что? Вы, кажется, смеетесь надо мной? Ведь вы не можете туда войти, если ключ у меня.

Он не знал, что еще сказать.

– В таком случае я покажу вам дорогу, сударь.

– Укажите мне лестницу и оставьте меня одного. Я найду дорогу и без вашей помощи.

– Но... однако... сударь...

На этот раз я окончательно взбесился.

– Вы замолчите или нет? Не то вам придется иметь дело со мной.

Я оттолкнул его и вошел в дом.

Сначала я миновал кухню, потом две маленькие комнатки, где жил этот человек с женой. Затем очутился в огромном вестибюле, поднялся по лестнице и увидел дверь, описанную моим другом.

Я без труда отпер ее и вошел.

В комнате было так темно, что в первую минуту я ничего не мог различить. Я остановился, охваченный запахом гнили и плесени, какой бывает в нежилых, покинутых помещениях, в мертвых покоях. Потом мало-помалу глаза мои освоились с темнотой, и я довольно ясно увидел огромную комнату, находившуюся в полном беспорядке, с кроватью без простынь, но с матрацами и подушками, причем на одной из подушек осталась глубокая впадина, как будто от локтя или головы, словно недавно еще лежавшей на ней.

Кресла казались сдвинутыми с мест. Я заметил, что одна дверь, должно быть, от стенного шкафа, была полуоткрыта.

Первым делом я подошел к окну и хотел отворить его, чтобы дать доступ свету. Но болты на ставнях до такой степени заржавели, что никак не поддавались.

Я попытался даже сбить их саблей, но безуспешно. Так как меня раздражали эти бесполезные усилия, а глаза мои в конце концов привыкли к полумраку, я отказался от попытки осветить комнату и направился к секретеру.

Я уселся в кресло, откинул крышку и открыл указанный мне ящик. Он был набит до краев. Нужны были только три пакета, и, зная их по описанию, я принялся за поиски.

Я напрягал зрение, стараясь разобрать надписи, как вдруг мне показалось, что я слышу или, вернее, чувствую за собой шорох. Сначала я не обратил на него внимания, думая, что это сквозной ветер шелестит какой-нибудь занавеской. Но через минуту новое, почти неуловимое движение вызвало во мне странное и неприятное чувство; легкая дрожь пробежала у меня по коже.

Было до того глупо волноваться, хотя бы и чуть-чуть, что я не стал даже оборачиваться, стыдясь самого себя. В это время я отыскал вторую нужную мне пачку и нашел уже третью, как вдруг глубокий и тяжкий вздох за моим плечом заставил меня в ужасе отскочить метра на два от кресла. Я порывисто обернулся, схватившись рукою за эфес сабли, и, право, если бы я не нащупал ее сбоку, то бросился бы бежать, как трус.

Высокая женщина, вся в белом, неподвижно стояла за креслом, где я сидел за секунду перед тем, и смотрела на меня.

Я был так потрясен, что чуть не грохнулся навзничь! О! Никто не может понять этого ужасающего и тупого испуга, не испытав его на себе. Сердце замирает, тело становится мягким, как губка, и все внутри будто обрывается.

Я не верил в привидения, и что же? Я чуть не упал в обморок от мучительной суеверной боязни мертвецов; я перестрадал за эти несколько минут больше, чем за всю остальную жизнь, да, перестрадал в неодолимой тоске сверхъестественного ужаса.

Если бы она не заговорила, я, быть может, умер бы! Но она заговорила; она заговорила крот-

ким и страдальческим голосом, вызывавшим трепет. Не посмею сказать, что я овладел собой и вновь получил способность рассуждать. Нет. Я был совершенно ошеломлен и не сознавал, что я делаю. Но моя внутренняя гордость – а также отчасти и гордость военная – заставила меня, почти помимо воли, сохранять достоинство. Я позировал перед самим собою и, вероятно, перед нею, кто бы она ни была – женщина или призрак. Во всем этом я отдал себе отчет уже позже, потому что, уверяю вас, в ту минуту я ни о чем не думал. Мне было только страшно.

Она сказала:

– О, сударь, вы можете оказать мне большую услугу.

Я хотел ответить, но не в силах был произнести ни слова. Из горла моего вырвался какой-то неопределенный звук.

Она продолжала:

– Вы согласны? Вы можете спасти, исцелить меня. Я ужасно страдаю. Я страдаю все время, о, как я страдаю!

И она тихо опустилась в мое кресло. Она смотрела на меня.

– Вы согласны?

Я утвердительно кивнул головой, так как голос все еще не повиновался мне.



Тогда она протянула мне черепаховый гребень и прошептала:

– Причешите меня, о, причешите меня! Это меня излечит. Надо, чтобы меня причесали. Посмотрите на мою голову... Как я страдаю! Мои волосы причиняют мне такую боль!

Ее распущенные волосы, очень длинные и, как мне показалось, черные, свешивались через спинку кресла и касались земли.

Зачем я это сделал? Почему, весь дрожа, я схватил гребень и взял в руки ее длинные волосы, вызвавшие во мне ощущение отвратительного холода, как будто я прикоснулся к змеям? Не могу объяснить.

Это ощущение так и осталось у меня в пальцах, и я вздрагиваю при одном воспоминании о нем.

Я ее причесал. Не знаю, как я убрал эти ледяные пряди волос. Я скручивал их, связывал в узел и снова развязывал, заплетал, как заплетают лошадиную гриву. Она вздыхала, наклоняла го-

лову, казалась счастливой.

Вдруг она сказала мне: «Благодарю» – и, вырвав гребень из моих рук, убежала через ту полуоткрытую дверь, которую я заметил, войдя в комнату.

Оставшись один, я пробыл несколько секунд в оцепенении, будто проснулся от кошмарного сна. Наконец я пришел в себя. Я бросился к окну и бешеным ударом разбил ставню.

Волна света хлынула в комнату. Я подбежал к двери, за которой исчезло это существо, и увидел, что она заперта и не поддается.

Тогда меня охватила потребность бежать, тот панический страх, который бывает на войне. Я быстро схватил из открытого секретера три пачки писем, промчался через весь дом, прыгая по лестнице через несколько ступенек, и, не помню как, очутившись на воздухе, увидел в десяти шагах от себя свою лошадь. Одним прыжком я вскочил на нее и поскакал галопом.

Я остановился только в Руане, перед своей квартирой. Бросив повод денщику, я вбежал в свою комнату и заперся в ней, чтобы прийти в себя.

Целый час с душевной тревогой я спрашивал себя, не был ли я жертвой галлюцинации. Конечно, со мной случилось то непонятное нервное потрясение, то помрачение рассудка, какими порождаются чудеса и сверхъестественные явления.

Я готов был уже поверить, что это была галлюцинация, обман чувств, но, когда подошел к окну, взгляд мой случайно упал на грудь. Мой мундир весь был в длинных женских волосах, зацепившихся за пуговицы.

Один за другим я снял их и дрожащими пальцами выбросил за окно.

Потом я позвал денщика. Я чувствовал себя слишком взволнованным, слишком потрясенным, чтобы сразу отправиться к приятелю. Мне хотелось к тому же хорошенько обдумать, что ему сказать.

Я отослал ему письма, а он передал мне с солдатом расписку в их получении. Мой друг расспрашивал обо мне. Ему сказали, что я болен, что у меня солнечный удар и уж не знаю, что еще. Он, казалось, был обеспокоен.

Я отправился к нему на другой день рано утром, чуть рассвело, решив рассказать правду. Оказалось, что накануне вечером он ушел и не возвращался.

Днем я вновь заходил к нему, но его все еще не было. Я прождал неделю. Он не появлялся. Тогда я заявил в полицию. Его искали всюду, но не могли найти никаких следов; нигде он не проезжал, нигде не появлялся.

В заброшенном замке был произведен тщательный обыск. Ничего подозрительного там не нашли.

Ничто не указывало, что там скрывалась какая-то женщина.

Так как следствие ни к чему не привело, все поиски были прекращены.

И в течение пятидесяти шести лет я так ничего больше и не узнал. Ничего!

Дверь

– О, – воскликнул Карл Массулиньи, – вопрос о снисходительных мужьях – вопрос очень трудный! Конечно, я видел их немало, и самых различных, однако не мог прийти к определенному мнению ни об одном. Я часто пытался выяснить, действительно ли они слепы, или прозорливы, или же просто слабохарактерны. Думаю, что их можно разбить на эти три категории.

Не будем останавливаться на слепых. Впрочем, они вовсе не снисходительны, они просто ничего не знают; это добрые простаки, не видящие дальше своего носа. Однако интересно и любопытно отметить, с какой легкостью мужчины, решительно все мужчины, и даже женщины, все женщины, позволяют себя обманывать. Мы поддаемся на любую хитрость окружающих – наших детей, наших друзей, слуг, поставщиков. Человек доверчив, и для того чтобы заподозрить, отгадать или разрушить козни других, мы не пользуемся и десятой долей того лукавства, к какому прибегаем, когда сами хотим кого-нибудь обмануть.

Прозорливых мужей можно разделить на три разряда. Это, прежде всего, те, кто находит выгоду – выгоду для кошелька, для самолюбия или для чего-нибудь другого – в том, чтобы у жены

был любовник или любовники. Такие требуют лишь, чтобы сколько-нибудь соблюдались приличия, и этим удовлетворяются.

Затем беснующиеся. Об этих можно было бы написать великолепный роман.

И, наконец, слабые, – те, что боятся скандала.

Есть, кроме того, бессильные или, скорее, усталые, которые бегут от супружеского ложа из боязни атаксии или апоплексического удара и мирятся с тем, что на эту опасность идет приятель.

Лично я знал одного супруга чрезвычайно редкой разновидности, который предохранял себя от общего несчастья остроумным и оригинальным способом.

Я познакомился в Париже с одной элегантной, светской, всюду принятой четой. Жене, очень живой, высокой, худенькой, окруженной массой поклонников, молва приписывала кое-какие приключения. Она мне нравилась своим остроумием, и я, кажется, также нравился ей. Я попытался поухаживать пробы ради, она ответила явным поощрением. Вскоре мы дошли до нежных взглядов, рукопожатий, до всех тех маленьких любовных ласк, которые предшествуют решительному приступу.

Однако я колебался. Я убежден, что большинство светских связей, даже мимолетных, не стоят ни того зла, которое они нам приносят, ни тех неприятностей, которые могут возникнуть впоследствии. Я уже мысленно взвешивал удовольствия и неудобства, каких мог желать и опасаться, когда мне показалось вдруг, что ее муж что-то подозревает и наблюдает за мной.

Однажды вечером на балу, в то время как я нашептывал молодой женщине нежности, сидя в маленькой гостиной, рядом с залом, где танцевали, я заметил вдруг в зеркале отражение лица, которое выслеживало нас. Это был он. Наши взгляды встретились, и я увидел, все в том же зеркале, как он повернулся и ушел.

Я прошептал:

– Ваш муж следит за нами.

Она, по-видимому, удивилась.

– Мой муж?

– Да, уже несколько раз он подсматривал за нами.

– Да неужели? Вы уверены в этом?

– Вполне уверен.

– Как странно! Обыкновенно он как нельзя более любезен с моими друзьями.

– Может быть, это потому, что он догадался о моей любви к вам.

– Что вы! Ведь не вы первый ухаживаете за мной. За каждой женщиной, хоть сколько-нибудь заметной, тянется целая стая воздыхателей.

– Да, но я люблю вас глубоко.

– Предположим, что это правда. Но разве мужа догадываются когда-нибудь о подобных вещах?

– Значит, он не ревнив?

– Нет... нет...

Она подумала минуту и прибавила:

– Нет... Я никогда не замечала, чтоб он был ревнив.

– Он никогда... никогда не следил за вами?

– Нет... Я вам уже сказала, что он очень любезен с моими друзьями.

С этого дня мое волокитство стало настойчивее. Меня не так уж интересовала жена, как искала возможная ревность мужа.

Что касается жены, я оценивал ее трезво и хладнокровно. Она обладала несомненным светским очарованием благодаря живому, веселому, милому и поверхностному уму, но в ней не было настоящего и глубокого обаяния. Как я уже сказал вам, она была веселая, эффектная, слишком, быть может, подчеркнута элегантная. Как бы лучше объяснить? Это была... это была декорация, но не настоящее жилище.

Однажды, когда я обедал у них и собрался уже уходить, ее муж сказал мне:

– Милый друг (с некоторого времени он обходился со мной как с другом), мы скоро уезжаем в деревню. Нам с женой доставляет большое удовольствие видеть у себя тех, кого мы любим. Не

хотите ли приехать к нам погостить на месяц? С вашей стороны это будет очень мило.

Я был поражен, но согласился.

Месяц спустя я приехал к ним в имение Верткрессон, в Турени.

Меня ждали на вокзале, в пяти километрах от замка. Их было трое: она, ее муж и какой-то незнакомый господин, оказавшийся графом де Мортерад, которому меня представили. Граф как будто был в восторге от знакомства со мною. Самые странные мысли приходили мне в голову, пока мы крупной рысью ехали по красивой дороге между двумя рядами живой изгороди. Я спрашивал себя: «Что бы это значило? Ведь муж не сомневается в том, что его жена и я нравимся друг другу, и, однако, приглашает меня к себе, принимает как близкого приятеля и точно говорит: смелее, смелее, мой милый, дорога свободна!»

А затем меня знакомят с этим господином, видимо, своим человеком в доме, и... и тот желает, кажется, уже уехать, причем, так же как и супруг, доволен, по-видимому, моим приездом.

Не предшественник ли это, жаждущий отставки? Пожалуй. Но в таком случае мужчины заключили друг с другом некое соглашение, один из этих маленьких договоров, отвратительных, но удобных и столь распространенных в обществе. Мне молчаливо предлагали войти в это сообщество в качестве заместителя. Мне протягивали руки, мне открывали объятия. Мне распахивали все двери и все сердца.

А она? Загадка! Она должна знать обо всем, она не может не знать. А между тем... между тем...»

Я ничего не понимал!

Обед прошел весело и очень сердечно. Выйдя из-за стола, муж и приятель занялись игрой в карты, а я с хозяйкой дома отправился на крыльцо полюбоваться лунным светом. Природа, по-видимому, очень возбуждала ее чувства, и я подумал, что минута моего счастья уже недалека. В этот вечер я находил ее поистине очаровательной. Деревня сделала ее нежнее, вернее, истомленнее. Ее высокая тонкая фигура была прелестна на фоне каменного крыльца, возле большой вазы с каким-то растением. Мне хотелось увлечь ее под деревья, припасть к ее коленям и шептать слова любви.

Муж окликнул ее:

– Луиза!

– Да, мой друг.

– Ты забыла о чае.

– Иду, мой друг.

Мы вернулись, и она приготовила нам чай. Мужчины, окончив игру в карты, явно захотели спать. Пришлось разойтись по комнатам. Я заснул очень поздно и спал плохо.

На другой день решено было совершить после завтрака прогулку, и мы отправились в открытое ландо смотреть какие-то развалины. Мы с ней сидели в глубине экипажа, муж и граф – напротив нас.

Все болтали живо, весело и непринужденно. Я сирота, и мне показалось, что я нашел родную семью: до такой степени я чувствовал себя дома среди них.

Вдруг она протянула ножку к ногам мужа, и он промолвил тоном упрека:

– Луиза, прошу вас, не донашивайте здесь своих старых ботинок! В деревне незачем одеваться хуже, чем в Париже.

Я опустил глаза. Действительно, на ней были старые, стоптанные ботинки, и я заметил также, что чулок плохо натянут.

Она покраснела и спрятала ногу под платье. Друг смотрел вдаль с равнодушным видом, ни на что не обращая внимания. Муж предложил мне сигару, и я закурил.

В течение нескольких дней мне ни на минуту не удавалось остаться с ней наедине: муж повсюду следовал за нами. Впрочем, со мною он был очень мил.

И вот как-то утром до завтрака он зашел ко мне и предложил прогуляться. Мы заговорили о браке. Я сказал несколько фраз об одиночестве и что-то такое о совместной жизни, которую нежность женщины делает столь очаровательной. Он вдруг прервал меня:

– Мой друг, не говорите о том, чего вы совершенно не знаете. Женщина, не заинтересован-

ная в любви к вам, любит недолго. Всякое кокетство, делающее ее обворожительной, пока она нам окончательно не принадлежит, тотчас же прекращается, как только это случилось. И к тому же... честные женщины... то есть наши жены... они не... у них не хватает... словом, они плохо знают свое женское ремесло. Вот... что я хочу сказать.

Он ничего больше не прибавил, и я не мог угадать его настоящих мыслей.

Дня два спустя после этого разговора он позвал меня рано утром в свою комнату, чтобы показать коллекцию гравюр.

Я уселся в кресло напротив огромной двери, отделявшей его половину от комнат жены. За этой дверью я слышал движение, шаги и вовсе не думал о гравюрах, хотя поминутно восклицал:

– О, великолепно! Очаровательно, очаровательно!

Внезапно он сказал:

– Но тут рядом у меня есть настоящая редкость. Я вам покажу сейчас.

И он бросился к двери, обе половинки которой распахнулись разом, как бывает на сцене.

В огромной комнате, среди беспорядочно разбросанных по полу юбок, воротничков, корсажей, стояло высокое, сухопарое, растрепанное существо в какой-то старой измятой шелковой юбке, натянутой на тощие бедра, и причесывало перед зеркалом светлые короткие и жидкие волосы.

Локти ее торчали двумя острыми углами, и когда она в испуге обернулась, я увидел под простой полотняной рубашкой плоскую грудь, маскируемую на людях фальшивым ватным бюстом.

Муж очень естественно вскрикнул, затворил за собой дверь и произнес с удрученным видом:

– О, боже мой, какой я дурак! Какой глупец! Жена никогда не простит мне этой оплошности!

А мне хотелось поблагодарить его.

Три дня спустя я уехал, горячо пожав руки обоим мужчинам и поцеловав руку жены, очень холодно простившейся со мной.

Карл Массулиньи умолк.

Кто-то задал вопрос:

– Но кто же был этот друг дома?

– Не знаю... Тем не менее... тем не менее он был очень огорчен, что я так скоро уезжаю.

Отец

Жан де Вальнуа – мой друг, и я время от времени навещаю его. Он живет в маленьком имении на берегу реки, в лесу. Он удалился туда после пятнадцати лет сумасбродной жизни в Париже. Ему вдруг надоели удовольствия, ужины, мужчины, женщины, карты, решительно все, и он поселился в поместье, где родился.

Двое или трое из нас изредка ездили к нему на две-три недели. Он, конечно, выражал большую радость, когда мы приезжали, но был в восторге, когда снова оставался один.

Итак, я поехал к нему на прошлой неделе, и он принял меня с распростертыми объятиями. Мы проводили время то вместе, то врозь. Днем он обыкновенно читал, а я работал, вечерами же мы болтали до полуночи.

И вот в прошлый вторник, после знойного дня, часов в девять вечера, мы сидели вдвоем, глядя на реку, протекавшую у наших ног, и обменивались весьма неясными мыслями о звездах, которые купались в струившейся воде и, казалось, плыли мимо нас. Мы обменивались какими-то туманными, смутными и короткими замечаниями, потому что наши мысли очень ограничены, слабы и бессильны. Я сетовал на одно из умирающих светил в Большой Медведице. Оно так потускнело, что его можно видеть лишь в ясные ночи. Стоит небу слегка затуманиться, и это угасающее светило уже исчезает. Мы думали о существах, населяющих эти миры, об их невиданных формах, об их непонятных для нас способностях, об их неведомых органах, о животных, о растениях, о всевозможных породах, о всевозможных царствах, о всевозможных веществах и организмах, каких человеческое воображение не в состоянии даже себе представить.

Вдруг до нас донесся издали голос:

– Сударь... Сударь...

Жан ответил:

– Я здесь, Батист.

Найдя нас, слуга сообщил:

– Пришла ваша цыганка, сударь.

Мой друг засмеялся, захохотал, как безумный, что с ним случалось редко, а затем спросил:

– Значит, сегодня девятнадцатое июля?

– Да, сударь.

– Отлично. Скажите ей, чтобы подождала. Дайте ей поужинать. Я приду через десять минут.

Когда слуга ушел, мой друг взял меня под руку.

– Пойдем потихоньку, я расскажу тебе одну историю, – сказал он.

– Семь лет тому назад, в год моего приезда сюда, я вышел однажды вечером прогуляться по лесу. Погода была такая же прекрасная, как сегодня, и я тихо брел под большими деревьями, глядя сквозь листву на звезды, вдыхая воздух полной грудью и упиваясь свежестью ночи и леса.

Я только что навсегда покинул Париж. Я был крайне утомлен и до отвращения пресыщен всяческими глупостями, низостями, всяческой грязью – всем, что мне пришлось переживать и в чем я принимал участие в течение пятнадцати лет.

Я углубился далеко, очень далеко в лес, по тропинке, ведущей в деревню Крузиль, в пятнадцати километрах отсюда.

Внезапно мой пес Бок, огромный сенжермен, никогда не покидавший меня, остановился как вкопанный и зарычал. Я подумал, что мы наткнулись на лисицу, волка или кабана, и осторожно, на цыпочках, пошел вперед, стараясь не шуметь. Но вдруг я услышал крики, человеческие крики, жалобные, отчаянные, душераздирающие.

Несомненно, в зарослях кого-то убивали, и я бросился на крик, сжимая в правой руке толстую дубовую палку, настоящую палицу.

Я приближался к месту, откуда неслись стоны; они слышались теперь яснее, но как-то приглушенно. Казалось, они доносились из какого-то жилья, может быть, из хижины угольщика. Бок бежал впереди шага на три, то останавливаясь, то опять возвращаясь ко мне, странно возбужденный, все время рыча. Внезапно другая собака, огромная, черная, с горящими глазами, преградила нам путь. Я отчетливо видел оскаленные белые клыки, сверкавшие в ее пасти.

Я бросился на нее с поднятой палкой, но Бок уже схватился с ней, и они покатались по земле, вцепившись друг другу в горло. Я пошел вперед и наткнулся на лошадь, лежавшую посреди дороги. Остановившись в удивлении, чтобы рассмотреть животное, я заметил повозку, или, вернее, дом на колесах, в каких обычно разъезжают по деревням во время ярмарок балаганные актеры и странствующие торговцы.

Крики неслись оттуда – ужасные, пронзительные крики. Так как дверь находилась на противоположном конце фургона, я обошел вокруг повозки и быстро взобрался на три деревянные ступеньки, готовясь броситься на преступника.

То, что я увидел, показалось мне таким странным, что сначала я ничего не понял. Какой-то мужчина стоял на коленях и, казалось, молился, а на кровати, в углу повозки, лежало что-то – некое полуголое существо, скрюченное в конвульсиях, лица которого я не видел и которое металось, билось и кричало.

Это была женщина, мучившаяся родами.

Как только я понял, чем вызваны эти вопли, я тотчас же заявил о своем присутствии, и обезумевший мужчина, видимо марселец, бросился ко мне, умоляя помочь ей, спасти ее и обещая в целом потоке слов бесконечную благодарность. Я никогда не видел родов, никогда не помогал в таких обстоятельствах ни одному существу женского пола – ни женщине, ни собаке, ни кошке, – в чем и признался ему чистосердечно, с ужасом глядя на несчастную, которая так безумно кричала на постели.

Затем, овладев собою, я спросил растерявшегося мужчину, почему он не едет в ближайшую деревню. Оказалось, лошадь его упала в канаву, сломала ногу и не может идти дальше.

– Хорошо, милейший, – сказал я, – сейчас нас двое, и мы можем отвезти вашу жену ко мне.

Грызня собак заставила нас выйти из фургона: животных пришлось разогнать ударами палок, рискуя убить их. Мне пришло в голову запрячь их – одну справа, другую слева – рядом с нами и заставить их помогать нам. Через десять минут все было готово, и повозка медленно двинулась в путь, встряхивая на глубоких колеях несчастную женщину, у которой все разрывалось внутри.

Что это был за путь, мой друг! Мы тянули, задыхаясь, кряхтя, все в поту, порою скользя и падая, а бедные собаки пыхтели у наших ног, как кузнечные мехи.

Понадобилось целых три часа, чтобы добраться до дома. Когда мы дотащились до двери, крики в фургоне прекратились. Мать и ребенок чувствовали себя хорошо.

Их уложили в хорошую постель, потом я послал за доктором, а марселец, успокоенный, утешенный и торжествующий, наелся тем временем до отвала и напился до бесчувствия, празднуя счастливое рождение ребенка.

Это была девочка.

Я оставил у себя этих людей на целую неделю. Мать, мадемуазель Эльмира, подвизавшаяся на амплу ясновидящей, предсказала мне бесконечно долгую жизнь и безграничное счастье.

На следующий год, день в день, с наступлением вечера слуга, который только что приходил за мной, явился после обеда в курительную комнату и сказал:

– Пришла прошлогодняя цыганка, сударь, поблагодарить вас.

Я велел ввести ее и был поражен, увидев рядом с ней огромного малого – белокурого и толстого северянина, который поклонился мне и заговорил в качестве главы семейства. Он узнал, как я был добр к мадемуазель Эльмире, и не хотел упустить случая принести мне их общую благодарность и выразить признательность в годовщину происшествия.



Я предложил им поужинать на кухне и переночевать. На другое утро они ушли.

И вот бедная женщина является ежегодно в один и тот же день с ребенком, чудесной девочкой, и каждый раз с новым... повелителем. Из них только один, какой-то овернец, благодарил меня два года подряд. Девочка всех их зовет «папа», как мы говорим «сударь».

Мы дошли до дому и едва различили у крыльца три тени, которые, стоя, нас дожидались.

Самая высокая сделала несколько шагов вперед и, низко поклонившись, сказала:

– Господин граф, мы пришли сегодня, знаете, чтобы выразить вам нашу благодарность...

Это был бельгиец!

После него заговорила самая маленькая тем заученным и деланным голосом, каким дети обычно приносят поздравления.

С невинным видом я отвел в сторону мадам Эльмиру и, обменявшись с нею несколькими словами, спросил:

– Это отец ребенка?

– О, нет, сударь.

– А отец разве умер?

– О, нет, сударь. Мы с ним видимся иногда. Он жандарм.

– Как? Так это не тот марселец, первый, что был при родах?

– О, нет, сударь. Тот был негодяй, он украл мои сбережения.

– А жандарм, настоящий отец, знает своего ребенка?

– О, да, сударь, он ее даже очень любит. Но он не может заботиться о ней, потому что у него есть другие дети, от жены.

Муарон

Разговор все еще шел о Пранцини³⁶, когда г-н Малуро, бывший генеральный прокурор во времена Империи, сказал нам:

– О, мне довелось познакомиться с очень любопытным делом, любопытным по многим обстоятельством, как вы сейчас увидите.

В то время я был имперским прокурором в провинции. Эту должность я получил благодаря моему отцу, состоявшему старшим председателем суда в Париже. И вот мне пришлось выступить по делу, известному под названием «Дело учителя Муарона».

Г-н Муарон, школьный учитель на севере Франции, пользовался у местного населения превосходной репутацией. Человек образованный, рассудительный, очень религиозный, немного замкнутый, он женился в Буалино, где занимался своей профессией. У него было трое детей, умерших один за другим от легочной болезни. С тех пор он, казалось, перенес всю нежность, таившуюся в его сердце, на детвору, порученную его заботам. Он покупал на собственные деньги игрушки для своих лучших, самых прилежных и милых учеников; он угощал их обедом, закармливал лакомствами, сладостями и пирожками. Все любили и превозносили этого честного человека, этого добряка, как вдруг один за другим умерли пять его учеников, и умерли весьма странным образом. Думали, что это какая-нибудь эпидемия, вызванная водой, испортившейся вследствие засухи. Врачи не могли найти причины, тем более что симптомы недуга казались совершенно необычайными. Дети, видимо, заболели какой-то изнурительной болезнью, переставали есть, жаловались на боль в животе, мало-помалу хирели, а затем умирали в страшных мучениях.

Последнего умершего вскрыли, но ничего не обнаружили. Внутренности, отосланные в Париж, были исследованы и также не дали указаний на присутствие какого-либо ядовитого вещества.

В течение года ничего не случалось. Потом два маленьких мальчика, лучшие ученики в классе, любимцы папаши Муарона, умерли один за другим в течение четырех суток. Снова было предписано произвести вскрытие тел, и в обоих трупах были обнаружены осколки толченого стекла, врезавшиеся в кишки. Отсюда пришли к заключению, что эти два мальчугана неосторожно съели что-нибудь неочищенное и непромытое. Достаточно было разбиться стеклу над чашкой с молоком, чтобы вызвать этот ужасный случай. Дело на том бы и кончилось, если бы в это самое время не заболела служанка Муарона. Приглашенный врач констатировал те же болезненные признаки, что и у детей, умерших незадолго до того, стал расспрашивать ее и добился признания, что она стащила и съела конфеты, купленные учителем для своих учеников.

По приказанию суда в школьном доме произвели обыск, и там обнаружен был шкаф, полный

³⁶ Пранцини – француз Анри Пранцини, совершивший уголовное преступление в Париже в ночь с 16 на 17 марта 1887 года.

игрушек и лакомств, предназначенных для детей. И вот почти во всех съедобных вещах были найдены осколки стекла или обломки иголок.

Муарон, которого немедленно же арестовали, был, казалось, до такой степени возмущен и поражен подозрением, тяготевшим над ним, что его пришлось освободить. Однако против него обнаружили улики, и они поколебали мое первоначальное убеждение, основанное на его прекрасной репутации, на всей его жизни, а главное, на абсолютном отсутствии побудительных мотивов для подобного преступления.

К чему бы этот добрый, простой, религиозный человек стал убивать детей, своих любимцев, которых он баловал и пичкал лакомствами, детей, ради которых тратил на игрушки и конфеты половину своего жалованья?

Допустив подобный поступок, следовало бы заключить о сумасшествии. Муарон же казался таким рассудительным, спокойным, полным благоразумия и здравого смысла, что как будто нельзя было допустить и мысли о душевной болезни.

Улики, однако, накапливались. Конфеты, пирожки, леденцы и другие лакомства, взятые для анализа у торговцев, снабжавших ими учителя, не содержали никаких подозрительных примесей.

Тогда он стал уверять, что, должно быть, неизвестный враг отворил подобранным ключом его шкаф и подсыпал в лакомства осколки стекла и иголок. Он предположил целую историю с наследством, зависевшим от смерти одного из детей, от смерти, которой решил добиваться какой-нибудь крестьянин, свалив все подозрения на учителя. Этого зверя, говорил он, нисколько не смущала мысль о других несчастных мальчуганах, которые должны были также погибнуть при этом.

Это было возможно. Муарон казался до такой степени уверенным в своей правоте, он так сокрушался, что мы, без всякого сомнения, оправдали бы его, несмотря на все обнаружившиеся против него улики, если бы не два тягчайших обстоятельства, открывшихся одно за другим.

Первое – это табакерка, полная толченого стекла! Его табакерка в потайном ящике письменного стола, где он прятал деньги!

Даже и этой находке он нашел было объяснение, почти правдоподобное, – как последней хитрости настоящего, но неизвестного преступника. Но к следователю явился вдруг один мелочной торговец из Сен-Марлуфа и рассказал, что какой-то господин неоднократно покупал у него иголки, самые тоненькие, какие только мог найти, и ломал их, чтобы выбрать, какие ему подходят.

Торговец, которому было показано на очной ставке двенадцать человек, тотчас же узнал Муарона. И следствие обнаружило, что учитель действительно ездил в Сен-Марлуф в указанные торговцем дни.

Пропускаю ужасные показания детей о выборе лакомств и о том, как он заботился, чтобы дети ели при нем и чтобы скрыты были всякие следы.

Возмущенное общественное мнение потребовало самого сурового наказания, и это явилось такой грозной силой, что исключало возможность каких бы то ни было противодействий и колебаний.

Муарон был приговорен к смерти. Апелляционная жалоба его была отклонена. Ему оставалось только просить о помиловании. Через отца я узнал, что император откажет.

И вот однажды утром, когда я работал у себя в кабинете, мне доложили о приходе тюремного священника.

Это был старый аббат, хорошо знавший людей и привыкший к преступникам. Он казался смущенным, стесненным, обеспокоенным. Поговорив несколько минут о том о сем, он вдруг сказал мне, вставая:

– Господин имперский прокурор, если Муарон будет обезглавлен, то вы казните невиновного.

Потом, не поклонившись, он вышел, оставив меня под сильным впечатлением своих слов. Он произнес их взволнованным и торжественным тоном, приоткрыв ради спасения человеческой жизни свои уста, замкнутые и запечатленные тайной исповеди.

Через час я уезжал в Париж, и отец мой, узнав от меня о происшедшем, немедленно выхлопотал мне аудиенцию у императора.

Я был принят на другой день. Его величество работал в маленькой гостиной, когда нас к нему ввели. Я изложил все дело, вплоть до визита священника, и уже начал рассказывать об этом визите, когда дверь за креслом государя отворилась и вошла императрица, предполагавшая, что он у себя один. Его величество Наполеон обратился к ней за советом. Едва познакомившись с обстоятельствами дела, она воскликнула:

– Надо помиловать этого человека. Так надо, потому что он не виновен!

Но почему эта внезапная уверенность столь набожной женщины вселила в мой мозг ужасное сомнение?

До этой минуты я страстно желал смягчения наказания. Но тут я вдруг заподозрил, что мною играет, меня дурачит хитрый преступник, пустивший в ход священника и исповедь как последнее средство защиты.

Я изложил свои сомнения их величествам. Император колебался: он был готов уступить своей природной доброте, но в то же время его удерживала боязнь поддаться обману со стороны негодяя. Однако императрица, убежденная, что священник повиновался некоему внушению свыше, повторяла:

– Что же из того: лучше пощадить виновного, чем убить невинного!

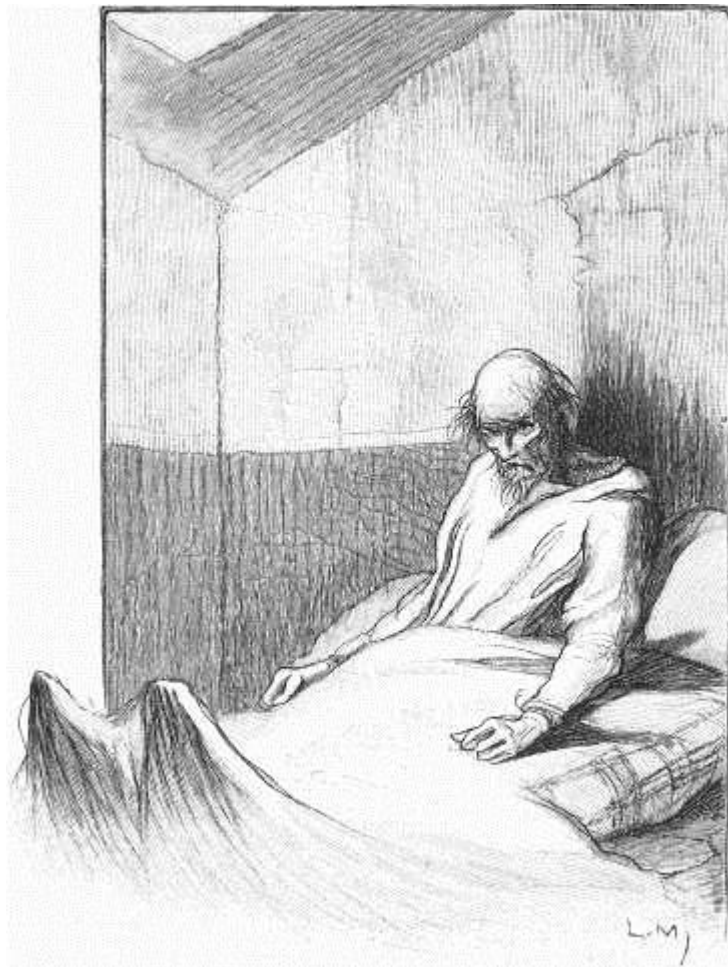
Ее мнение восторжествовало. Смертная казнь заменена была каторжными работами.

Несколько лет спустя я узнал, что Муарона, о примерном поведении которого на тулонской каторге было снова доложено императору, взял к себе в услужение директор тюрьмы.

Потом я долго ничего не слышал об этом человеке.

Года два тому назад, когда я гостил летом в Лилле, у своего родственника де Лариеля, как-то вечером, перед самым обедом, мне доложили, что какой-то молодой священник хочет поговорить со мной.

Я приказал его ввести, и он стал умолять меня прийти к одному умирающему, непременно желавшему меня видеть. В течение моей долгой судейской карьеры такие случаи бывали у меня нередко, и хотя республиканская власть отстранила меня от дел, все же время от времени ко мне обращались при подобных обстоятельствах.



Итак, я последовал за священником, который привел меня в маленькую нищенскую квартиру под самой крышей высокого дома в рабочем квартале.

Здесь я увидел странное существо, сидевшее на соломенном тюфяке, прислонясь к стене, чтобы легче было дышать.

Это был морщинистый старик, худой, как скелет, с глубоко запавшими и блестящими глазами.

Едва завидев меня, он прошептал:

– Вы меня не узнаете?

– Нет.

– Я Муарон.

Я вздрогнул:

– Учитель?

– Да.

– Каким образом вы здесь?

– Слишком долго рассказывать. У меня нет времени... Я умираю... мне привели этого кюре... и так как я знал, что вы здесь, то послал за вами... Я хочу вам исповедаться... ведь вы спасли мне жизнь... тогда...

Он судорожно сжимал руками солому своего тюфяка и низким, хриплым, резким голосом продолжал:

– Вот... Вам я обязан сказать правду... Вам... надо же ее поведать кому-нибудь, прежде чем покинуть этот мир...

Это я убивал детей... всех... это я... из мести...

Слушайте. Я был честным человеком, очень честным... очень честным... очень чистым... Я обожал бога... милосердного бога... бога, которого нас учат любить, а не того ложного бога, палача, вора, убийцу, который правит миром. Я никогда не делал ничего дурного, никогда не совершал никакой низости. Я был чист, как никто, сударь.

Я был женат, имел детей и любил их так, как никогда отец или мать не любили своих детей. Я жил только для них. Я сходил с ума по ним. Они умерли все трое. Почему? За что? Что я такое сделал? Я почувствовал возмущение, яростное возмущение. И вдруг глаза мои открылись, как у пробудившегося от сна. И я понял, что бог жесток. За что он убил моих детей? Мои глаза открылись, и я увидел, что он любит убивать. Он только это и любит, сударь. Он дает жизнь только затем, чтобы ее уничтожить! Бог, сударь, это истребитель. Ему нужны все новые и новые мертвецы. Он убивает на все лады – для вящей забавы. Он придумал болезни, несчастные случаи, чтобы тихонько развлекаться целые месяцы, целые годы, а затем, когда ему становится скучно, к его услугам эпидемии, чума, холера, ангина, оспа... Да разве я знаю все, что он выдумал, это чудовище? И этого ему еще мало, – все эти болезни слишком однообразны. И он увеселяет себя время от времени войнами, чтобы видеть, как двести тысяч солдат затоплены в крови и грязи, растерзаны, повержены на землю с оторванными руками и ногами, с разбитыми пушечным ядром головами.

И это не все. Он сотворил людей, поедающих друг друга. А потом, когда он увидел, что люди становятся лучше, чем он, он сотворил животных, чтобы видеть, как люди охотятся за ними, убивают их и съедают. И это еще не все. Он сотворил крохотных животных, живущих один только день, мошек, издыхающих миллиардами за один час, муравьев, которых давят ногой, и много-много других, столько, что мы и вообразить этого не можем. И все эти существа убивают друг друга, охотятся друг за другом, пожирают друг друга и беспрерывно умирают. А милосердный бог глядит и радуется, ибо он-то видит всех, как самых больших, так и самых малых, тех, что в капле воды, и тех, что на других планетах. Он смотрит на них и радуется. О каналья!

Тогда и я, сударь, стал убивать – убивать детей. Я сыграл с ним штуку. Эти-то достались не ему. Не ему, а мне. И я бы еще многих убил, да вы меня схватили... Да!..

Меня должны были казнить на гильотине. Меня! Как бы он стал тогда потешаться, гадина! Тогда я потребовал священника и налгал. Я исповедался. Я солгал – и остался жив.

А теперь кончено. Я не могу больше ускользнуть от него. Но я не боюсь его, сударь, – я слишком его презираю.

Было страшно видеть этого несчастного, который задыхался в предсмертной икоте, раскрывая огромный рот, чтобы извергнуть несколько еле слышных слов, хрипел и, срывая простыню со своего тюфяка, двигал исхудалыми ногами под черным одеялом, как бы собираясь бежать.

О страшное существо и страшное воспоминание!

Я спросил его:

– Больше вам нечего сказать?

– Нечего, сударь.

– Тогда прощайте!

– Прощайте, сударь, рано или поздно...

Я повернулся к смертельно бледному священнику, который стоял у стены высоким темным силуэтом.

– Вы остаетесь, господин аббат?

– Остаюсь.

Тогда умирающий проговорил, издеваясь:

– Да, да, он посылает своих воронов на трупы.

С меня было довольно; я отворил дверь и поспешил уйти.

Наши письма

Восемь часов езды по железной дороге вызывают у одних сон, у других бессонницу. Я лично после всякого путешествия не могу уснуть всю ночь.

Около пяти часов вечера я приехал к своим друзьям Мюре д'Артюс провести три недели в их поместье Абель. Красивый дом, построенный в конце прошлого века одним из их предков, все время находился во владении этой семьи. Поэтому он сохраняет уютный вид, свойственный тем жилищам, где постоянно живут одни и те же люди, поддерживая в них обстановку и порядок и

оживляя их своим присутствием. Ничто здесь не меняется, и душа дома не отлетает из этих комнат, где никогда не чувствуется запустения, где ковры никогда не снимаются со стен и ветшают, бледнеют, линяют, висят все на тех же местах. Старую мебель не выносят и лишь передвигают время от времени, чтобы дать место какой-нибудь новой вещи, которая появляется здесь, как новорожденный среди братьев и сестер.

Дом стоит на холме посреди парка, отлого спускающегося к реке. Через реку переброшен горбатый каменный мост. За рекою тянутся луга, где медленно бродят тучные коровы, пощипывая мокрую траву. Глаза их кажутся влажными от росы, тумана и свежести пастбища.

Я люблю этот дом, как любят то, о чем страстно мечтают. Я приезжаю туда каждый год, осенью, с бесконечной радостью и уезжаю оттуда с сожалением.

Пообедав в этой дружеской, спокойной семье, где меня принимали, как родного, я спросил Поля Мюре, моего товарища:

– Какую комнату ты предназначил мне в этом году?

– Комнату тети Розы.

Час спустя госпожа Мюре д'Артюс, в сопровождении своих трех детей, двух девочек-подростков и шалуна-мальчишки, привела меня в комнату тети Розы, где я еще никогда не ночевал.

Оставшись один, я осмотрел стены, мебель и все помещение, чтобы освоиться в нем. Я знал немного эту комнату, так как заходил сюда несколько раз и бросал безразличный взгляд на сделанный пастелью портрет тети Розы, чьим именем и называлась комната.

Она ничего мне не говорила, эта старая тетя Роза в папильотках, потускневшая под стеклом. У нее был вид почтенной женщины прежних времен, женщины с принципами и правилами, столь же твердой в прописной морали, как и в кухонных рецептах. Это была одна из старых теток, которые спугивают веселье и являются угрюмым и морщинистым ангелом провинциальных семейств.

Впрочем, я ничего не слышал о ней. Не знал ни о ее жизни, ни о ее смерти. Жила ли она в нынешнем или в прошлом столетии? Покинула ли этот мир после скучной или беспокойной жизни? Отдала ли она небесам чистую душу старой девы, спокойную душу супруги, нежную душу матери или душу, взволнованную любовью? Что мне до того? Само имя «тетя Роза» казалось мне смешным, банальным и некрасивым.

Я взял свечу, чтобы взглянуть на строгое лицо портрета, повешенного высоко на стене в старинной золоченой раме. Лицо показалось мне незначительным, неприятным, даже антипатичным, и я стал разглядывать обстановку комнаты. Вся она была конца эпохи Людовика XVI, Революции и Директории³⁷.

Ни одного стула, ни занавеси не было внесено с тех пор в эту комнату, сохранившую запах воспоминаний, тонкий аромат, аромат дерева, тканей, кресел, обоев тех жилищ, где жили, любили и страдали.

Вскоре я лег, но мне не спалось. Промучившись час или два, я решил встать и заняться писанием писем.

Я открыл маленький секретер красного дерева с бронзовой отделкой, стоявший между двух окон, в надежде найти там чернила и бумагу. Но я не нашел ничего, кроме очень старой ручки из иглы дикобраза со слегка искусанным концом. Я хотел уже захлопнуть крышку, как вдруг взгляд мой привлекла какая-то блестящая точка, что-то вроде головки желтой кнопки, которая торчала, образуя маленькую выпуклость в вырезе небольшой доски.

Тронув ее пальцем, я почувствовал, что она шатается. Я схватил ее двумя ногтями и потянул к себе. Она легко подалась. Это была длинная золотая булавка, всунутая и спрятанная в щель дерева.

К чему бы она? Я тотчас же подумал, что она употреблялась для нажимания пружины, скрывавшей секретный замок, и начал доискиваться. Это продолжалось долго. После по крайней мере двухчасовых стараний я открыл другое отверстие, почти напротив первого, в глубине желобка. Я

³⁷ ...конца эпохи Людовика XVI, Революции и Директории. – Имеются в виду 80-90-е годы XVIII века.

всунул туда мою булавку – маленькая дощечка отскочила мне прямо в лицо, и я увидел две пачки писем, пожелтевших и перевязанных голубой лентой.

Я их прочел и перепису здесь два из них.

«Вы хотите, чтобы я вернул Ваши письма, моя дорогая. Вот они, но для меня это большое горе. Чего Вы боитесь? Что я их потеряю? Но ведь они заперты. Что их у меня украдут? Но я берегу их, так как это мое самое бесценное сокровище.

Да, Вы причинили мне безграничное горе. Я спрашивал себя, не раскаиваетесь ли Вы в глубине своего сердца? Не в том, что полюбили меня, – я знаю, Вы меня любите, – но, быть может, в том, что выразили эту живую любовь на бумаге, в часы, когда сердце Ваше доверилось не мне, а перу в Вашей руке. Когда мы любим, у нас является потребность в признании, нежная потребность говорить или писать, и мы говорим, мы пишем. Слова улетают, нежные слова, сотканные из музыки, воздуха и любви, горячие, легкие, исчезающие, как только отзвучат, и остающиеся лишь в памяти, но мы не можем ни видеть их, ни осязать, ни целовать, как слова, написанные рукой. Ваши письма? Извольте, я возвращаю их. Но какое это горе для меня!

Вы, должно быть, почувствовали стыд за эти закрепленные на бумаге признания. Своей робкой и стыдливой душой, болезненно ощущающей еле уловимые оттенки, Вы пожалели о том, что писали любимому человеку. Вы вспомнили фразы, смутившие вас, и сказали себе: «Я превращу в пепел эти слова».

Будьте довольны, будьте спокойны. Вот Ваши письма. Я люблю Вас».

«Мой друг!

Нет, Вы не поняли, не угадали. Я нисколько не жалею и не пожалею никогда, что призналась Вам в моей нежной любви. Я буду вам писать всегда, но Вы тотчас же возвращайте мне мои письма, как только прочтете.

Я Вас оскорблю, мой друг, если объясню причину этого требования. Она не поэтична, как Вы думаете, но практична. Я боюсь, – но не Вас, конечно, а случая. Я виновата. Я не хочу, чтобы моя вина обрушилась на кого-нибудь другого, кроме меня.

Поймите меня хорошенько. Мы можем умереть. Вы или я. Вы можете умереть, упав с лошади, – ведь Вы каждый день ездите верхом; на Вас могут напасть, убить на дуэли. Вы можете умереть от болезни сердца, при поломке экипажа, от тысячи случайностей: умереть можно только один раз, но причин для смерти больше, чем отпущенных нам судьбою дней.

И вот Ваша сестра, Ваш брат или Ваша невестка найдут мои письма.

Вы думаете, они меня любят? Не думаю. Но даже если бы они меня обожали, возможно ли, чтобы две женщины и мужчина, зная тайну, и такую тайну, не рассказали бы о ней?

Конечно, Вам может показаться нелепым, что я говорю о Вашей смерти и высказываю подозрение относительно скромности Ваших родных.

Но рано или поздно мы все умрем, не правда ли? И почти наверно один из нас переживет другого. Итак, надо предвидеть все опасности, даже эту.

Я же буду хранить Ваши письма рядом со своими, в потайном ящике моего секретера. Я покажу Вам, как они лежат рядом в шелковом футляре, полные нашей любви, словно два возлюбленных в одной могиле.

Вы мне скажете: «Но, если Вы умрете первая, моя дорогая, Ваш муж найдет эти письма».

О, я ничего не боюсь. Прежде всего, он не знает тайны моего стола, а затем он не станет их искать. И даже если он найдет их после моей смерти, я ничего не опасюсь.

Думали ли Вы когда-нибудь обо всех любовных письмах, найденных в ящиках умерших? Я уже давно размышляю об этом, и эти-то долгие размышления и заставили меня просить у Вас мои письма.

Знай же, что никогда, слышите ли, никогда женщина не сжигает, не рвет и не уничтожает писем, где говорится о любви к ней. В них заключена вся наша жизнь, вся надежда, все ожидания, вся мечта. Записочки, заключающие в себе наше имя и ласкающие нас словами любви, – это наши священные реликвии; а мы все почитаем молельни, особенно же те, где сами занимаем место свя-

тых. Наши любовные письма – это наше право на красоту, грацию, обаяние, это наша интимная женская гордость, сокровище нашего сердца. Нет, нет, никогда женщина не уничтожает этих тайных и очаровательных архивов своей жизни.

Но мы умираем, как все, и тогда... тогда эти письма кто-нибудь находит. Кто? Супруг? Что он с ними делает? Ничего. Он их сжигает.

О, я много думала об этом, очень много. Поймите, что каждый день умирают женщины, любимые кем-нибудь, что каждый день следы или доказательства их виновности попадают в руки мужей, и никогда не бывает никакого скандала, никогда не происходит никакой дуэли.



Подумайте, мой друг, о том, кто такой мужчина, что такое сердце мужчины. Он мстит за живую, дерется на дуэли с обесчестившим его человеком, убивает его, если она жива, потому что... да, почему? Я этого не знаю. Но когда подобные улики находят после ее смерти, их сжигают, делая вид, что ничего не знают, продолжают подавать руку любовнику умершей и только радуются, что письма не попали в посторонние руки, что они уничтожены.

О, сколько среди моих знакомых найдется мужей, которые несомненно сожгли такие письма и потом делали вид, что ничего не знают! А с какой яростью они дрались бы на дуэли, если бы нашли их при жизни жены! Но она умерла. Понятие о чести изменилось. Могила – это забвение супружеской вины.

Итак, мне можно хранить наши письма, в Ваших же руках они угроза для нас обоих.

Попробуйте сказать, что я не права.

Я Вас люблю и целую Ваши волосы.

Роза».

Я поднял взор на портрет тети Розы и, взглянув на ее строгое, морщинистое, немного злое лицо, подумал о всех этих женских душах, которых мы совсем не знаем, которые считаем совсем иными, чем они на самом деле, о их простой, врожденной хитрости и непостижимом для нас спокойном лукавстве, – и мне пришел на память стих де Виньи:

О вечный спутник мой с душою ненадежной!

Ночь (Кошмар)

Я страстно люблю ночь. Я люблю ее, как любят родину или любовницу, – инстинктивной, глубокой, непобедимой любовью. Я люблю ее всеми своими чувствами – глазами, видящими ее, обонянием, вдыхающим ее, ушами, внимающими ее тишине, всем моим телом, охваченным ласкою мрака. Жаворонки поют при солнечном свете, в голубом горячем воздухе, в прозрачности ясного утра. Филин летает ночью; черным пятном пересекает он темное пространство и, радостно опьяненный темною бесконечностью, испускает гулкие зловещие крики.

День утомляет меня, надоедает мне. Он груб и шумен. Я с трудом встаю, нехотя одеваюсь и выхожу из дому с сожалением. Каждый шаг, каждое движение, жест, каждое слово, каждая мысль тяготит меня, точно я подымаю непосильное бремя.

Но когда солнце начинает склоняться, смутная радость охватывает все мое тело. Я пробуждаюсь, одушевляюсь. По мере того, как спускается темнота, я начинаю чувствовать себя совсем другим: моложе, сильнее, веселее, счастливей. Я вижу, как сгущается эта кроткая великая тьма, падающая с неба; она затопляет город, точно неуловимая волна; она скрадывает, стирает, уничтожает краски и формы; она обнимает дома, живые существа, памятники в своих неощутимых объятиях.

Тогда мне хочется кричать от радости, подобно совам, бегать по крышам, подобно кошкам. И могучая, непобедимая жажда любви вспыхивает в моих жилах.

Я иду, шагая по темным предместьям Парижа, по окрестным лесам, и слышу, как бродят там мои братья – звери и браконьеры.

Все то, что вы страстно любите, в конце концов всегда вас убивает. Но как передать, что происходит со мной? Чем объяснить, что я решаюсь об этом рассказать? Не знаю, ничего не знаю, – знаю только, что это так. И все.

Вчера... Было ли это вчера? По-видимому, да, если только это не случилось прежде, в другой день, в другом месяце, в другом году, – не знаю. Это, однако, должно было быть вчера, потому что день больше не наступал, потому что солнце не всходило. Но с каких пор продолжается ночь? С каких пор?... Кто скажет? Кто это узнает когда-нибудь?

Итак, вчера я вышел после обеда, как делаю это каждый вечер. Была прекрасная погода, очень мягкая, очень теплая. Направляясь к бульварам, я смотрел вверх и видел над головой черную реку, усеянную звездами, окаймленную в небе крышами домов; она извивалась и зыбилась волнами, эта река, по которой струились светила.

Все было прозрачно в легком воздухе – от планет до газовых рожков. Столько огней горело в небе и в городе, что самый мрак, казалось, сиял. Светлые ночи куда радостнее ярких, солнечных дней.

На бульваре сверкали огни кафе, публика смеялась, люди двигались по тротуарам, пили вино. Я зашел ненадолго в театр. В какой? Не знаю. Там было так светло, что мне стало грустно, и я ушел, чувствуя, что сердце мое омрачено этим грубым светом, отражавшимся на позолоте балкона, искусственным сверканием огромной хрустальной люстры, огнями освещенной рампы, – этот резкий, фальшивый блеск навевал меланхолию. Я дошел до Елисейских Полей, где кафешантаны походили на очаги лесного пожара.

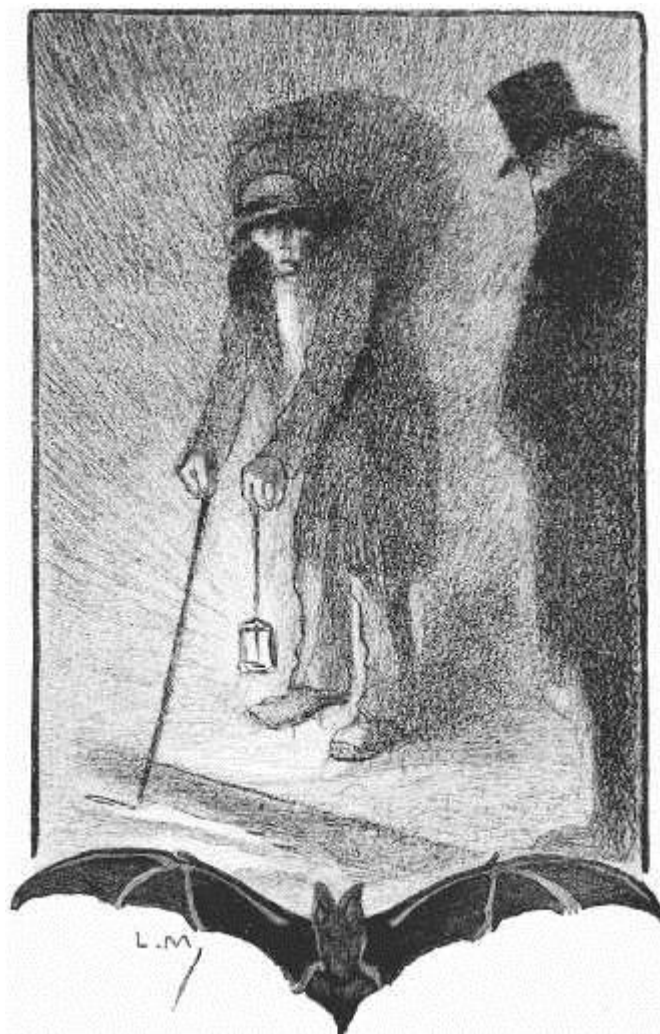
Каштаны, окутанные желтым светом, казались не то окрашенными, не то флуоресцирующими. А электрические шары, похожие на сверкающие бледные луны, на упавшие с неба гигантские живые жемчужины, своим перламутровым, таинственным и царственным сиянием совершенно затмили отвратительный, грязный свет газовых рожков и цветные гирлянды стеклянных фонариков.

Я остановился под Триумфальной аркой, чтобы посмотреть на дорогу, на изумительную, ярко освещенную дорогу, которая тянулась к городу двумя линиями огней, и на небесные светила, сияющие там, вверху, неведомые светила, случайно брошенные в пространство, где они очерчивают те странные фигуры, что порождают столько мечтаний, столько дум.

Я вошел в Булонский лес и долго бродил там. Я был охвачен странным трепетом, неожиданным и могучим волнением, вдохновенным восторгом, граничащим с безумием.

Я ходил долго-долго. Потом пошел обратно. Который был час, когда я снова очутился под Триумфальной аркой? Не знаю. Город засыпал, и тучи, тяжелые, черные тучи, медленно тянулись по небу.

И тут я впервые почувствовал, что должно случиться что-то новое, необычайное. Мне показалось, что стало холодно, что воздух словно сгущался, что ночь, моя любимая ночь, тяжелым гнетом ложилась мне на сердце. Улица была теперь пустынна. Только двое полицейских ходили взад и вперед у стоянки фиакров, а по мостовой, едва освещенной газовыми рожками, готовыми вот-вот погаснуть, тянулась к Главному рынку вереница повозок с овощами. Нагруженные морковью, репой и капустой, они двигались медленно. Невидимые возчики спали на своих возах, лошади шли ровным шагом, бесшумно ступая по деревянной мостовой. Под каждым фонарем тротуара морковь загоралась красным цветом, репа – белым, капуста – зеленым. Повозки катились одна за другой, красные, как огонь, белые, как серебро, зеленые, как изумруд. Я пошел за ними, затем повернул на Королевскую улицу и вернулся на бульвар. Ни души; свет в кафе погашен; только несколько запоздалых прохожих торопились домой. Никогда не видел я Парижа таким мертвым, таким пустынным. Я вынул часы. Было два часа.



Меня толкала какая-то сила, какая-то потребность двигаться. Я прошел до Бастилии. Здесь я заметил, что никогда еще не видывал такой темной ночи, так как не различал даже Июльской колонны, – золотая статуя терялась в непроницаемом мраке. Тяжелый овод туч, огромный, как бесконечность, поглотил звезды и, казалось, опускался на землю, чтобы уничтожить и ее.

Я вернулся. Вокруг меня не было уже ни души. Впрочем, на площади Шато д'О на меня чуть не наткнулся пьяный; вскоре исчез и он. Несколько минут я прислушивался к его гулким, неровным шагам. Я пошел дальше. На холме Монмартра проехал фиакр, спускаясь к Сене. Я окликнул

его. Кучер не ответил. Какая-то женщина бродила возле улицы Друо.

– Господин, послушайте-ка...

Я ускорил шаги, чтобы избежать ее протянутой руки. И больше я не встретил никого. Перед театром Водевиль тряпичник рылся в канаве. Его фонарик мелькал у самой земли. Я спросил его:

– Который час, приятель?

– Почему я знаю! – проворчал он. – У меня нет часов.

Тут я вдруг заметил, что газовые рожки погашены. Я знал, что в это время года из экономии их гасят рано, перед рассветом, но до рассвета было еще далеко, очень далеко.

«Пойду на Главный рынок, – подумал я, – там, по крайней мере, увижу жизнь».

Я отправился дальше, не различая перед собой дороги. Я подвигался медленно, как в лесу, узнавая улицы только по счету.

Возле здания Лионского кредита на меня зарычала собака. Я повернул на улицу Граммон и заблудился. Я стал бродить наугад, потом узнал Биржу по окружавшей ее железной решетке.

Весь Париж спал глубоким, жутким сном. Но вот вдали послышался стук фиакра, одинокого фиакра, может быть, того самого, который мне только что встретился. Я пытался догнать его, идя на шум колес через пустынные улицы, черные, черные, черные, как смерть.

Я заблудился снова. Где я? Какое безумие гасить газ так рано. Не видно ни одного прохожего, ни одного запоздавшего, ни одного бродяги, не слышно даже мяуканья влюбленной кошки. Ничего.

Где же полицейские? Я подумал: «Крикну, и они появятся». Я закричал. Никто мне не ответил.

Я закричал сильнее. Мой голос уносился, не рождая эха, слабый, глухой, задушенный ночью, этой непроницаемой ночью.

Я испустил вопль:

– Помогите! Помогите! Помогите!

Мой отчаянный призыв остался без ответа. Который же был час? Я вытащил часы, но у меня не было спичек. Я прислушивался к легкому тиканью маленького механизма со странной, непривычной радостью. Он казался живым. Я уже был не совсем одинок. Какое чудо! Я снова пустился в путь, как слепой, ощупывая палкой стены и каждую минуту подымая глаза к небу в надежде, что забрезжит наконец рассвет. Но небесное пространство было черно, совсем черно, чернее самого города.

Который мог быть час? Мне казалось, что я иду бесконечно долго, – ноги мои подкашивались, я задыхался и невыносимо страдал от голода.

Я решился позвонить у первых же ворот. Я потянул медную ручку, и звон колокольчика гулко раздался в тишине дома. Он звенел странно, точно этот дребезжащий звук был единственным во всем доме.

Я подождал; ответа не было; дверь не отворили. Я снова позвонил; опять подождал – ничего.

Мне стало страшно. Я побежал к следующему дому и раз двадцать подряд дергал звонок, звеневший в темном коридоре, где должен был спать консьерж. Но он не проснулся, и я пошел дальше, изо всех сил дергая у ворот за кольца и ручки звонков, стучась ногами, палкой, руками в двери, упорно остававшиеся запертыми.

И вдруг я заметил, что очутился на Главном рынке. Здесь было пустынно, тихо и мертво: ни повозок, ни людей, ни одной связки овощей или цветов. Он был пуст, молчалив, покинут, мертв.

Меня охватил ужас. Что случилось? Боже мой, что случилось?

Я ушел оттуда. Но который час? Который же час? Кто скажет мне, который час? Ни одни часы не били ни на колокольнях, ни на зданиях. Я подумал: «Сниму стекло с моих часов и пальцами нащупаю стрелки». Я вынул часы... Они не шли... они остановились.

Ничего больше, ничего – никакого движения в городе, ни луча света, ни звука в воздухе. Ничего. Нет даже отдаленного стука колес фиакра – ничего.

Я был на набережной, и с реки подымалась леденящая свежесть.

А Сена, течет ли она еще?

Я захотел это узнать, нащупал лестницу и спустился по ней... Я не слышал журчания теку-

щей воды под арками моста... Еще ступеньки... потом песок... тина... потом вода...

Я окунул в нее руку... она текла... она текла... холодная... холодная... холодная... почти ледяная... почти иссякающая... почти мертвая...

И я почувствовал, что у меня уже не хватит сил подняться наверх... и что я тоже умру здесь... от голода, от усталости, от холода.

Дени

Леону Шапрону³⁸

I

Г-н Марамбо распечатал письмо, поданное ему слугой Дени, и улыбнулся.

Дени вот уже двадцать лет служил у него; это был человек маленького роста, коренастый и веселый, считавшийся во всей округе образцовым слугой.

– Довольны, сударь? Получили хорошее известие? – спросил Дени.

Г-н Марамбо не был богат. Бывший деревенский аптекарь, холостяк, он жил на небольшой доход, с трудом нажитый от продажи крестьянам лекарств. Он ответил:

– Да, дружок. Папаша Малуа испугался процесса, которым я пригрозил ему. Завтра я получу свои деньги. Пять тысяч франков пригодятся в хозяйстве старого холостяка.

И г-н Марамбо потер руки. Это был человек вялый по натуре, скорее грустный, чем веселый, не способный ни на какое длительное усилие, беспечный в делах.

Он, конечно, мог бы добиться большего достатка, сделавшись преемником какого-нибудь из умерших собратьев, живших в более значительных центрах, и переняв круг его покупателей. Но мысль о докучных хлопотах по переселению и всех тех заботах, которыми ему пришлось бы забивать голову, постоянно удерживала его; поразмыслив денька два, он ограничивался тем, что говорил:

– Баста! Отложим до следующего раза. Выжидая, я ничего не теряю. Быть может, найдется что-нибудь и получше.

Дени, наоборот, побуждал своего хозяина что-нибудь предпринять. Обладая деятельным характером, он постоянно твердил:

– О, будь у меня с чего начать, я бы сумел нажать состояние! Только тысячу франков, и мое дело было бы в шляпе.

Г-н Марамбо улыбался, ничего не отвечая; он выходил в свой маленький садик и принимался расхаживать, заложив руки за спину, о чем-то мечтая.

Весь этот день Дени распевал деревенские песенки, как человек, который чему-то радуется. Он проявил даже необычайную деятельность и вымыл все окна в доме; он с жаром протирал стекла, горланя свои куплеты.

Г-н Марамбо, удивленный его усердием, несколько раз повторил ему, улыбаясь:

– Если ты будешь так работать, дружок, тебе не останется дела на завтра.

На следующий день, часов в десять утра, почтальон передал Дени четыре письма для его хозяина, в том числе одно очень тяжелое. Г-н Марамбо сейчас же заперся в своей комнате и пробыл там далеко за полдень. Затем он поручил слуге отнести на почту четыре пакета. Один из них был адресован г-ну Малуа; это была, вероятно, расписка в получении денег.

Дени не задал своему господину ни одного вопроса; в этот день он казался настолько же унылым и мрачным, насколько был весел накануне.

Пришла ночь. Г-н Марамбо лег в обычный час и заснул.

Его разбудил странный шум. Он присел на постели и прислушался. Дверь вдруг отворилась, и на пороге появился Дени, держа в одной руке свечу, а в другой кухонный нож; его глаза были

³⁸ Леон Шапрон – французский журналист, сотрудничавший с Мопассаном в некоторых газетах. Автор рецензии на «Вечера в Медане», напечатанной в «Эвенман» 19 апреля 1880 года.

расширены и неподвижны, лицо искажено, как у человека, охваченного ужасным волнением, и он был так бледен, что казался выходцем с того света.

Измученный Марамбо подумал, что Дени лунатик, и хотел было уже встать и подбежать к нему, как вдруг слуга задул свечу и ринулся к кровати. Хозяин протянул вперед руки и получил удар, опрокинувший его на спину; решив, что слуга сошел с ума, г-н Марамбо старался схватить его за руки, чтобы отвести удары, которые тот ему наносил один за другим.

Первый удар ножом задел ему плечо, второй пришелся в лоб, третий в грудь. Он отчаянно отбивался, размахивая в темноте руками, отбиваясь изо всех сил ногами и крича:

– Дени! Дени! Ты с ума сошел, послушай, Дени!

Но тот, задыхаясь, продолжал с остервенением наносить удары, и, отбрасываемый то толчком ноги, то ударом кулака, снова в бешенстве возвращался назад. Г-н Марамбо получил еще две раны в ногу и одну в живот. Но вдруг одна мысль мелькнула, как молния, у него в голове, и он закричал:

– Перестань же, Дени, перестань, я не получил денег!

Слуга тотчас же остановился; хозяин слышал в темноте его свистящее дыхание.

Г-н Марамбо продолжал:

– Я ничего не получил. Господин Малуа отказывается платить, будем судиться, потому-то ты и относил письмо на почту. Прочти-ка лучше бумаги на моем письменном столе.

Сделав последнее усилие, он взял с ночного столика спички и зажег свечу.

Он был весь в крови. Горячие струи забрызгали стену. Простыни, занавеси – все было красное. Дени, также окровавленный с головы до ног, стоял посреди комнаты.

Увидев все это, г-н Марамбо подумал, что умирает, и потерял сознание.

На рассвете он пришел в себя. Понадобилось некоторое время, пока к нему вернулась способность чувствовать, соображать и припоминать. Но вдруг он вспомнил о покушении, о полученных ранах, и им овладел такой страх, что он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Через несколько минут ужас немного ослабел, и он стал размышлять. Если он еще не умер, значит, может поправиться. Он чувствовал себя слабым, очень слабым, но не испытывал острой боли, хотя в различных местах тела у него и было очень неприятное ощущение, словно от каких-то щипков. К тому же он совсем околел, промок и, казалось, был стянут, точно обмотанный повязками. Он подумал о пролитой крови, и дрожь ужаса пробежала по его телу при страшной мысли, что вся эта красная жидкость, которою была залита кровать, вытекла из его собственных жил. Мысль, что он снова может увидеть это ужасное зрелище, взволновала его, и он с силой зажмурил глаза, как будто они собирались открыться вопреки его желанию.

Что стало с Дени? По всей вероятности, он скрылся.

Но что было делать теперь ему, Марамбо? Встать? Позвать на помощь? Но ведь если он сделает малейшее движение, его раны, наверно, опять откроются и он умрет, изойдя кровью.

Вдруг он услышал, что дверь в спальню отворяется. Его сердце замерло. Это, разумеется, был Дени, явившийся его прикончить. Он задержал дыхание, чтобы убийца подумал, что все и так уже кончено, что дело сделано.

Он почувствовал, как приподняли простыню, как ему ощупали живот. Острая боль у бедра заставила его вздрогнуть. Теперь его очень осторожно обмывали свежей водой, значит, преступление открыто и за ним ухаживают, его спасают. Безумная радость овладела им, но, продолжая сохранять осторожность, он не захотел показать, что к нему вернулось сознание, и с величайшей опаской приоткрыл один глаз.

Он увидел возле себя Дени. Дени собственной персоной! Милосердный боже!.. Он стремительно закрыл веки.

Дени! Что же он делает в таком случае? Что ему нужно? Какие еще ужасные умыслы питает он?

Что он делает? Ага, он обмывает его, чтобы скрыть следы! Не намеревается ли он теперь зарыть его в саду на десять футов под землей, чтобы никто не мог найти труп? Или, быть может, он спрячет его в подвале, под бутылками вина?

И г-н Марамбо начал так сильно дрожать, что все его тело трепетало.

Он думал: «Я погиб, я погиб!» – и с отчаянием сжимал веки, чтобы не видеть последнего удара ножом. Но удара не последовало. Теперь Дени приподнял его и стал забинтовывать. Затем он принялся тщательно перевязывать рану на ноге, как он научился это делать у своего хозяина, когда тот был аптекарем.

Для специалиста, каким был г-н Марамбо, сомнений больше не оставалось: слуга, сделав попытку убить его, теперь старался его спасти.

Тогда г-н Марамбо умирающим голосом дал ему следующий практический совет:

– Для обмываний и перевязок употребляй воду с коальтаровым мылом³⁹.

Дени ответил:

– Я так и делаю, сударь.

Г-н Марамбо открыл оба глаза.

Ни малейших следов крови не было больше ни на постели, ни в комнате, ни на убийце. Раненый лежал на совершенно чистых простынях.

Оба человека взглянули друг на друга.

Наконец г-н Марамбо с кротостью промолвил:

– Ты совершил большое преступление.

Дени ответил:

– Я стараюсь искупить его, сударь. Если вы не донесете на меня, я буду вам верно служить, как и раньше.

Минута была не подходящая, чтобы противоречить слуге. Закрывая глаза, г-н Марамбо твердо произнес:

– Клянусь, что не донесу на тебя.

II

Дени выходил своего господина. Он проводил дни и ночи без сна, не отлучаясь из комнаты больного, готовил ему лекарства, примочки, прохладительное питье, щупал пульс, с беспокойством считая удары, ухаживал с ловкостью сиделки и сыновней преданностью.

Каждую минуту он спрашивал:

– Ну что, сударь, как вы себя чувствуете?

Г-н Марамбо отвечал слабым голосом:

– Немного лучше, дружок, спасибо.

Просыпаясь ночью, раненый нередко видел, что его слуга плачет, сидя в кресле, и молча вытирает глаза.

Никогда еще бывший аптекарь не был окружен такой заботливостью, никогда его так не баловали и не ласкали.

Сначала он говорил себе: «Как только я выздоровею, я отделюсь от этого негодяя».

Начиная теперь выздоравливать, он со дня на день откладывал разлуку со своим убийцей. Он думал о том, что никто не будет относиться к нему с таким вниманием и чуткостью, что страхом разоблачения он держит этого парня в руках, и предупредил его, что передал на хранение нотариусу завещание, которое отдаст Дени в руки правосудия, если бы опять произошло что-нибудь подобное.

Эта предосторожность, казалось, обеспечивала его в будущем от всякого нового покушения; кроме того, у него возникал вопрос, не будет ли даже благоразумней оставить при себе этого человека, чтобы внимательно наблюдать за ним.

Подобно тому, как прежде он колебался приобрести другую, более доходную аптеку, так и теперь он не мог прийти к определенному решению.

– Времени еще хватит, – говорил он себе.

Дени продолжал быть тем же образцовым слугой. Выздоровев, г-н Марамбо оставил его у

³⁹ Коальтаровое мыло – особенное мыло, приготовленное из каменноугольной смолы и употреблявшееся в середине XIX века как дезинфицирующее средство.

себя.

Но вот однажды утром, когда г-н Марамбо кончил завтракать, он вдруг услышал сильный шум в кухне. Он побежал туда: Дени, схваченный двумя жандармами, отбивался от них. Бригадир сосредоточенно делал заметки в записной книжке.

Едва увидев своего хозяина, слуга стал рыдать, восклицая:

– Вы донесли на меня, сударь, это нехорошо с вашей стороны, вы же мне обещали. Вы нарушили свое честное слово, господин Марамбо; это нехорошо, это нехорошо!..

Г-н Марамбо, пораженный и в отчаянии, что его заподозрили, поднял вверх руку:

– Клянусь тебе именем бога, дружок, что я не доносил на тебя. Я совершенно не знаю, откуда да господа жандармы могли узнать, что ты пытался меня убить.

Бригадир так и подскочил:

– Вы говорите, что он хотел убить вас, господин Марамбо?

Аптекарь, растерявшись, ответил:

– Ну да... Но я не доносил на него... Я ничего не говорил... Клянусь, я ничего не говорил... Он служил мне очень хорошо с тех пор...

Бригадир сурово отчеканил:

– Я записал ваше показание. Правосудие рассмотрит этот новый факт, который был ему неизвестен, господин Марамбо. Мне поручено арестовать вашего слугу за кражу двух уток, похищенных им у господина Дюамеля, чему имеются свидетели. Прошу извинения, господин Марамбо. Я доложу о вашем показании.

И, обратившись к своим подчиненным, он скомандовал:

– Ну, в дорогу!

Жандармы потащили Дени.

III

Адвокат настаивал на наличии сумасшествия, подтверждая для усиления аргументации одно преступление другим. Он ясно доказал, что кража двух уток произошла в силу того же самого психического расстройства, при котором г-ну Марамбо были нанесены восемь ударов ножом. Он подверг тонкому анализу все фазы этого временного умопомешательства, которое, без сомнения, пройдет после нескольких месяцев лечения в хорошей лечебнице для душевнобольных. Он говорил в восторженных выражениях о постоянной преданности этого честного слуги, о несравненных заботах, которыми тот окружал своего господина, раненного им в минуту помешательства.

Тронутый до глубины сердца этим воспоминанием, г-н Марамбо почувствовал, как увлажнились его глаза.

Адвокат заметил это; широким жестом он раскинул руки, и длинные черные рукава его разлетелись, как крылья летучей мыши.

– Смотрите, смотрите, смотрите, господа судьи, – воскликнул он дрожащим голосом, – видите эти слезы? Что мне еще сказать теперь в защиту моего клиента? Какая речь, какое доказательство, какой довод стоят этих слез его господина? Они говорят громче меня, громче закона. Они кричат: «Прощение обезумевшему на один час!» Они вызывают о милости, они прощают, они благословляют!

Он замолчал и сел.

Тогда председатель суда обратился к Марамбо, показания которого были превосходны для его слуги, и спросил его:

– Но все же, сударь, допуская даже, что вы считали этого человека сумасшедшим, – все же остается непонятным, как могли вы его оставить у себя? Ведь от этого он не становился менее опасным.

Марамбо ответил, вытирая себе глаза:

– Что же делать, господин председатель, ведь так трудно найти слугу по нынешним временам. Лучше его я и не нашел бы.

Дени был оправдан и помещен в убежище для душевнобольных за счет своего хозяина.

Осел

*Луи Ле Пуатвену*⁴⁰

Ни малейшего движения не чувствовалось в густом, заснувшем над рекой тумане. Словно тусклое облако хлопка легло на воду. Даже высокий берег нельзя было различить в причудливых клубах тумана, зубчатых, как горная цепь. Но с приближением рассвета начинал вырисовываться холм. У его подножия, в зарождающихся проблесках зари, мало-помалу большими белыми пятнами выступили оштукатуренные домики. В курятниках пели петухи.

Там, по ту сторону реки, окутанной дымкой, как раз против Фретты, легкие звуки нарушали на мгновение великую тишину безветренного неба. Слышался то еле слышимый плеск, словно осторожно пробиралась лодка, то сухой удар, как будто стукнуло весло о борт, то падение мягкого предмета в воду. Затем снова тишина.

Иногда же, неизвестно откуда, быть может, очень издалека, а может, и совсем близко, в этих мутных сумерках слышались тихие слова, звучавшие на земле или на реке, и так же робко скользили и исчезали, как те дикие птицы, которые провели ночь в тростниках и с первыми проблесками зари пускаются в путь, чтобы снова лететь куда-то, которых можно увидеть только на одно мгновение, когда они во весь дух пересекают туман, испуская нежный и боязливый крик, будя своих сестер в прибрежных скалах.

Вдруг у берега, против деревни, на воде появилась едва заметная тень; затем она стала расти, сгущаться, и наконец, выйдя из туманной завесы, выброшенной на реку, в травянистый берег уткнулась плоскодонка, в которой находились два человека.

Тот из них, что сидел на веслах, поднялся, взял со дна лодки ведро, наполненное рыбой, и вскинул на плечо сеть, с которой еще струилась вода. Его компаньон, не трогаясь с места, сказал:

– Принеси-ка ружье, может, спугнем какого кролика в береговых откосах, а, Мальош?

Тот ответил:

– Идет. Подожди, я сейчас вернусь.

И он удалился, чтобы припрятать улов в безопасное место.

Человек, оставшийся в лодке, медленно набил трубку и закурил.

Его звали Лабуиз, по прозвищу Шико⁴¹ и он объединился со своим кумом Мальошоном, сокращенно Мальошем, для занятия подозрительным и случайным воровским промыслом.

Они были плохими матросами и занимались в плавание только в голодные месяцы. Остальное время они грабили. День и ночь блуждая по реке, выслеживая всякую добычу, мертвую или живую, они были водными браконьерами, ночными охотниками, чем-то вроде пиратов сточных труб; они то подстерегали косуль в Сен-Жерменском лесу, то разыскивали утопленников, плывущих под водой, и обчищали их карманы, то подбирали уносимые течением тряпки, куски дерева и пустые бутылки, горлышки которых торчали над водой и покачивались, как пьяные. Лабуиз и Мальошон были довольны своей жизнью.

Иногда около полудня они бродили пешком и шли не спеша, куда глаза глядят. Они обедали где-нибудь в трактире на берегу реки и снова вместе отправлялись дальше. День или два они отсутствовали, а потом как-нибудь утром их снова видели плывущими в их дрянной лодчонке.

В это время где-нибудь в Жуенвиле или в Ножане гребцы в отчаянии разыскивали исчезнувшую ночью шлюпку, отвязанную кем-то, уплывшую и, без сомнения, украденную, а в двадцати или тридцати лье оттуда, на Уазе, какой-нибудь буржуа-собственник потирал руки, любяся лодкой, купленной им накануне по случаю за пятьдесят франков у двух людей, которые мимохо-

⁴⁰ Луи Ле Пуатвен (1847–1909) – французский художник, кузен Мопассана, сын поэта-романтика Альфреда Ле Пуатвена, друга юности Флобера.

⁴¹ Chicot (франц.) – пень, пенек.

дом, сами неожиданно предложили продать ее.

Мальошон вернулся с ружьем, завернутым в тряпку. Это был человек лет сорока или пятидесяти, высокий, худой, с бегаящим взглядом, как у людей, постоянно опасаящихся за свою судьбу, и у животных, которых уже не раз травили. Расстегнутая рубашка открывала грудь, заросшую серой шерстью, но на лице у него, по-видимому, никогда не было другой растительности, кроме щетки коротко подстриженных усов и клочка жестких волос под нижней губой. Он лысел начиная с висков.

Когда он снимал грязную лепешку, служившую ему картузом, кожа на его голове казалась покрытой легким пухом, какой-то тенью волос, как у опципанного цыпленка, которого нужно еще опалить.

Наоборот, Шико был красный и весь в угрях, толстый, коротенький и волосатый, его лицо под фуражкой сапера напоминало собою сырой бифштекс. Левый глаз у него был всегда прищурен, словно он во что-то или в кого-то целился, и когда над его тиком шутили, говоря: «Открой глаз, Лабуиз», он отвечал спокойным тоном: «Не бойся, сестрица, при случае я его открою». Между прочим, у него была привычка всех называть «сестрицей», вплоть до своего товарища по воровству.

Теперь была его очередь взяться за весла, и лодка снова нырнула в неподвижный речной туман, который становился уже молочно-белым в розовом сиянии просветлевшего неба.

Лабуиз спросил:

– Какую ты взял дробь, Мальошон?

Мальошон ответил:

– Самую мелкую, девятку, ту, что для кроликов.

Они приближались к другому берегу так тихо, так осторожно, что ни малейший шум не выдавал их. Этот берег принадлежит к Сен-Жерменскому лесу, где запрещена охота на кроликов. Он покрыт норками, скрытыми под корнями деревьев, и зверьки резвятся там на заре, скачут взад и вперед, вбегая и выбегая из нор.

Мальошон, стоя на коленях впереди, высматривал добычу, спрятав ружье на дне лодки. Вдруг он схватил его, прицелился, и выстрел раскатисто прозвучал в деревенской тишине.

В два удара весла Лабуиз был у берега, и его компаньон, прыгнув на землю, поднял маленького, еще трепетавшего серого кролика.

Затем лодка снова погрузилась в туман, повернув к другому берегу, где они были в безопасности от сторожей.

Теперь казалось, что эти два человека просто спокойно катаются по реке. Ружье исчезло под доской, служившей ему прикрытием, а кролик – за оттопыренной блузой Шико.

Через четверть часа Лабуиз спросил:

– Ну, сестрица, еще одного?

Мальошон ответил:

– Ладно, поехали.

И лодка снова поплыла, быстро спускаясь по течению. Густой туман, висевший над рекой, начал подниматься. Как сквозь кисею, можно было уже рассмотреть деревья на берегу; разорванный туман уносило по течению маленькими облачками.

Приблизившись к острову, оконечность которого лежит против Эрблэ, гребцы замедлили ход лодки и снова начали высматривать добычу. Вскоре был убит и второй кролик.

Они продолжали плыть вниз по течению, пока не оказались на полпути до Конфлана; здесь они остановились, пришвартовав лодку к дереву, и заснули, улегшись на дно.

Время от времени Лабуиз приподнимался, озирая окрестность своим открытым глазом. Остатки утреннего тумана испарились, и лучезарное летнее солнце всходило в голубом небе.

На другом берегу полукругом тянулся косогор, покрытый виноградниками. Одиноким домик подымался на его вершине среди группы деревьев. Все было погружено в молчание.

Но на дороге вдоль реки, где тянули бечеву, что-то медленно приближалось, еле-еле двигаясь. Это была женщина, тащившая за собой осла. Животное, с одеревеневшими суставами, неповоротливое и упрямое, время от времени выставляло вперед одну ногу, уступая усилиям своей

спутницы, когда оно не могло уже ей противиться; вытянув шею, опустив уши, осел подвигался настолько медленно, что трудно было и представить себе, когда же наконец он скроется из вида.

Женщина тянула осла, согнувшись вдвое и время от времени оборачиваясь, чтобы подхлестнуть его веткой.

Лабуиз, увидев ее, произнес:

– Эй, Мальош!

– Чего еще?

– Хочешь позабавиться?

– Конечно.

– Ну так встряхнись, сестрица, уж мы с тобой посмеемся.

И Шико взялся за весла.

Когда они переехали реку и очутились против женщины с ослом, он крикнул:

– Эй, сестрица!

Женщина перестала тащить свою клячу и оглянулась. Лабуиз продолжал:

– Ты что, на ярмарку паровозов идешь, что ли?

Женщина ничего не ответила. Шико продолжал:

– Эй, скажи-ка, не получил ли твой осел приза на бегах? Куда ты ведешь его, что так спешишь?

Женщина наконец ответила:

– Я иду к Макару, в Шампью, чтобы его там прикончили. Он уж никуда не годится.

Лабуиз ответил:

– Верю. Сколько же Макар тебе за него даст?

Женщина вытерла рукой лоб и нерешительно ответила:

– А почему я знаю? Может, три франка, может, и четыре.

Шико воскликнул:

– Даю тебе за него сто су, и путешествию твоему конец, а это чего-нибудь да стоит.

Женщина, подумав немного, произнесла:

– Ладно.

И грабители причалили.

Лабуиз взял животное за повод. Мальош в удивлении спросил:

– Что ты будешь делать с этой шкурой?

Но тут Шико открыл и другой глаз, чтоб лучше выразить свое удовольствие. Все его красное лицо гримасничало от радости; он прокудахтал:

– Не бойся, сестрица, уж я придумал штуку.

Он отдал женщине сто су, и она присела на краю канавы, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Тогда Лабуиз, в отличном настроении, достал ружье и протянул его Мальошону.

– Каждому по выстрелу, старушка моя, мы поохотимся на крупную дичь, сестрица, да только издали, черт возьми, а то ты с первого же раза убьешь его. Надо немножко продлить удовольствие.

И он поставил своего компаньона в сорока шагах от жертвы. Осел, чувствуя себя на свободе, попробовал щипать высокую прибрежную траву, но был до такой степени изнурен, что шатался на ногах и, казалось, вот-вот свалится.

Мальошон медленно прицелился и сказал:

– Внимание, Шико. Угостим его солью по ушам.

И он выстрелил.

Мелкая дробь изрешетила длинные уши осла, который стал сильно трясти ими, двигая то одним ухом, то другим, то одновременно обоими, желая избавиться от этого колющего ощущения.

Приятель хохотал до упаду, корчась и топая ногами. Но женщина в негодовании бросилась к ним; она не хотела, чтобы мучили ее осла, и предлагала, охая, вернуть им сто су.

Лабуиз пригрозил вздуть ее и сделал вид, что засучивает рукава. Он заплатил – разве не так? Значит, помалкивай. А то он пустит ей заряд под юбки, чтобы доказать, что этого и не почувствуешь.

И она ушла, угрожая жандармами. Они долго еще слышали, как она выкрикивала ругательства, и брань ее становилась тем отборней, чем дальше она уходила.

Мальошон протянул ружье компаньону:

– Твой черед, Шико.

Лабуиз прицелился и выстрелил. Осел получил заряд в ляжки, но дробь была мелка, стреляли на большом расстоянии, и он, вероятно, подумал, что его кусают слепни, потому что с силой принялся обмахиваться хвостом, ударяя им себя по спине и по ногам.

Лабуиз уселся, чтобы посмеяться вволю, между тем как Мальошон снова зарядил ружье и при этом так хохотал, что казалось, будто он чихает в дуло.

Он приблизился к ослу на несколько шагов и, целясь в то же самое место, что и его компаньон, снова выстрелил. На этот раз животное сделало большой скачок, начало брыкаться и махать головой. Наконец проступило немного крови. Осел был ранен. Он почувствовал острую боль и пустился бежать по берегу медленным хромающим и прерывистым галопом.

Оба человека бросились за ним в погоню: Мальошон – крупным шагом, Лабуиз – торопливыми шажками, той рысцой, которая вызывает одышку у низкорослых людей.

Но осел, обессилев, остановился и бессмысленным взглядом смотрел на приближающихся убийц. Затем он вдруг вытянул голову и принялся реветь.

Лабуиз, запыхавшись, поднял ружье. На этот раз он подошел совсем близко, не желая пускаться еще раз в погоню.

Когда осел прекратил свою скорбную жалобу, походившую на призыв о помощи, на последний предсмертный крик, человек, придумав что-то, крикнул:

– Эй, Мальош, сестрица, подойди-ка сюда, я дам ему выпить лекарства.

И когда Мальош силой открыл зажатый рот животного, Шико всунул в глотку осла дуло ружья, как будто собираясь влить ему лекарство. Затем он сказал:

– Эй, сестрица, смотри, я вливаю ему слабительное.

И он спустил курок. Осел попятился шага на три, упал на круп, сделал попытку подняться и наконец, закрыв глаза, повалился на бок. Все его старое, ободранное тело трепетало, а ноги дергались, как будто он хотел бежать.

Поток крови хлынул у него между зубов. Вскоре он перестал шевелиться. Он издох.

Оба человека не смеялись больше, все кончилось слишком быстро, и они чувствовали себя обокраденными.

Мальошон спросил:

– Ну а что же нам теперь с ним делать?

Лабуиз ответил:

– Не бойся, сестрица, стащим-ка его в лодку; мы еще посмеемся сегодня ночью.

И они отправились к лодке. Труп животного был положен на дно, покрыт свежей травой, и, растянувшись на нем, бродяги снова заснули.

Около полудня Лабуиз вытащил из потайного ящика источенной червями грязной лодки литр вина, хлеб, масло, лук, и они принялись за еду.

Покончив с обедом, они опять улеглись на мертвом осле и заснули. В сумерки Лабуиз пробудился и, расталкивая приятеля, который храпел, как орган, скомандовал:

– Ну, сестрица, поехали.

Грести стал Мальошон. Они не спеша подымались вверх по Сене, так как в их распоряжении было довольно времени. Они плыли вдоль берегов, покрытых цветущими водяными лилиями, напоенных ароматом боярышника, белые кисти которого свешивались к воде; тяжелая лодка илистого цвета скользила по большим плоским листьям кувшинок, сгибала их бледные круглые цветы, вырезанные в форме бубенцов, которые снова затем выпрямлялись.

Возле Эперонской стены, отделяющей Сен-Жерменский лес от парка Мэзон-Лафит, Лабуиз велел своему компаньону остановиться и изложил ему свой план, который вызвал у Мальошона продолжительный и беззвучный смех.

Они выбросили в воду траву, покрывавшую труп, взяли животное за ноги, вытащили из лодки и спрятали в чаще.

Снова сев в лодку, они достигли Мэзон-Лафита.

Стояла уже непроглядная тьма, когда они вошли к дяде Жюлю, трактирщику и виноторговцу. Едва увидев их, он подошел к ним, пожал руки, присел к их столу, и они начали болтать о том о сем.

Часов в одиннадцать, когда ушел последний посетитель, дядя Жюль сказал Лабуизу, подмигивая:

– Ну, есть что-нибудь?

Лабуиз качнул головой и произнес:

– Может, есть, а может, и нет, все возможно.

Трактирщик приставал:

– Серые, верно, только одни серые?

Тогда Шико, засунув руки за пазуху шерстяной блузы, показал оттуда уши одного из кроликов и заявил:

– Это стоит три франка за пару.

Началось долгое препирательство из-за цены. Сошлись на двух франках шестидесяти пяти сантиметрах. Оба кролика были проданы.

Когда мародеры встали, дядя Жюль, наблюдавший за ними, сказал:

– У вас еще что-то есть, да вы говорить не хотите.

Лабуиз ответил:

– Может, и есть, только не для тебя; очень уж ты выжига большой.

Загоревшийся трактирщик настаивал:

– Ага, что-то крупное, ну, скажи что, можно и столкнуться.

Лабуиз, как будто в нерешительности, сделал вид, что он советуется взглядом с Мальошон; затем медленно ответил:

– Вот какое дело. Мы сидели в засаде возле Эперона, и вдруг что-то пробежало мимо нас в ближайших кустах, слева, где стена кончается. Мальошон выстрелил, и оно упало. Мы удрали, потому что там сторожа. Не могу тебе сказать, что это такое, потому что не знаю. Крупное-то оно крупное. Но что? Если бы я сказал тебе, я бы обманул тебя, а ты знаешь, сестрица, между нами все начистоту.

Торговец, волнуясь, спросил:

– Не косуля ли это?

Лабуиз ответил:

– Может быть, она, может, что другое. Косуля?... Да... Но не покрупнее ли это немного? Будто вроде как лань. О, я не говорю, что это лань, ведь я не знаю, но очень может быть!

Трактирщик настаивал:

– А может быть, олень?

Лабуиз вытянул руку.

– Это нет! Что до оленя, так это не олень, не буду тебя обманывать, не олень. Его бы я признал по рогам. Нет, что до оленя, так это не олень.

– Почему вы не взяли его? – спросил трактирщик.

– Почему, сестрица? А потому, что мы теперь продаем на месте. Я охотник. Понимаешь, пошатнешься, кое-что отыщешь, чем-нибудь поживишься. А для меня никакого риска. Вот!

Кабатчик недоверчиво произнес:

– А если его там уже больше нет?

Но Лабуиз снова поднял руку:

– Что оно там, это наверняка; ручаюсь тебе за это, клянусь, что там. В первых кустах налево. Но вот что это такое, не знаю. Знаю, что это не олень, это нет, тут я уверен. Ну а насчет всего прочего, это уж твое дело пойти и посмотреть. Двадцать франков на месте, подходит тебе это?

Трактирщик все еще колебался.

– Ты не мог бы принести сюда?

Мальошон вмешался в разговор:

– Тогда без риска. Если это косуля – пятьдесят франков; если лань – семьдесят; вот наши це-

ны.

Харчевник решился:

– Идет за двадцать франков. Решено.

И они ударили по рукам.

Затем он вынул из конторки четыре больших монеты по сто су, и друзья опустили их в карманы.

Опорожнив свой стакан, Лабуиз встал и вышел; исчезая в темноте, он обернулся и подтвердил:

– Это не олень, будь уверен. Но что?... А уж оно там, это верно. Я тебе деньги обратно отдам, если ничего не найдешь.

И он исчез в ночной темноте.

Мальшон, выйдя вслед за ним, дубасил его по спине кулаком, чтобы выразить свое ликование.

Идиллия

Морису Лелуару⁴²

Поезд только что покинул Геную и направился к Марселю, пробираясь вдоль скалистого берега, скользя железной змеей между морем и горами, проползая по желтому песку побережья, окаймленному серебряной нитью мелких волн, и проникая в черные пасти туннелей, словно зверь в нору.

В последнем вагоне поезда друг против друга сидели толстая женщина и молодой человек; они не разговаривали и лишь изредка бросали взгляды друг на друга. Ей было лет двадцать пять; сидя у дверцы, она смотрела на открывавшиеся перед ней виды. Это была крепкая черноглазая пьемонтская крестьянка с огромной грудью и мясистыми щеками. Она задвинула несколько узелков под деревянную скамейку, оставив у себя на коленях корзину.

Ему было около двадцати лет, он был худой, смуглый, с тем темным загаром, какой бывает у людей, обрабатывающих землю на солнцепеке. Возле него в узелке лежало все его имущество: пара башмаков, рубашка, штаны и куртка. Он тоже спрятал под скамейку кое-что: лопатку и мотыгу, связанные вместе веревкой. Он ехал во Францию искать работы.

Солнце, подымаясь, изливало на берег потоки огня. Был конец мая, и в воздухе носился восхитительный аромат, проникая в вагоны сквозь опущенные окна. Цветущие апельсиновые и лимонные деревья изливали в спокойное небо свое сладкое благоухание, такое нежное, сильное, такое возбуждающее, и примешивали его к дыханию роз, которые росли повсюду, точно трава, – вдоль дороги, в богатых садах, у дверей лачуг, а также в полях.

Здесь, на этом побережье, розы у себя дома! Они наполняют страну сильным и нежным ароматом, они превращают воздух в лакомство, в нечто гораздо более вкусное, чем вино, и опьяняющее подобно ему.

Поезд шел медленно, словно желая подольше задержаться в этом саду, в этой неге. Он минутно останавливался на маленьких станциях, перед кучкой белых домиков; затем, давая протяжный свисток, не спеша отправлялся дальше. Никто не садился в поезд. Казалось, все были охвачены дремотой и ни у кого не хватало решимости двинуться с места в это жаркое весеннее утро.

Толстая женщина время от времени закрывала глаза, затем быстро открывала их, когда ее корзинка, скользя с колен, готова была упасть на пол. Быстрым движением она подхватывала ее, несколько минут смотрела в окно, затем снова начинала дремать. Капли пота выступали у нее на лбу, и она дышала с трудом, точно ей мучительно теснило грудь.

Молодой человек, склонив голову, спал крепким сном деревенского жителя.

⁴² Морис Лелуар (1853–1940) – французский художник, знакомый Мопассана. Имя Лелуара упоминается в «Милом друге» как автора одной из картин в гостиной банкира Вальтера.

Когда поезд тронулся с одной маленькой станции, крестьянка вдруг проснулась и, открыв свою корзину, вынула оттуда кусок хлеба, крутые яйца, бутылочку с вином, сливы, превосходные красные сливы, и принялась за еду.

Мужчина тоже проснулся и смотрел на нее; он смотрел на каждый кусок, переходивший из корзинки в ее рот. Он сидел, скрестив руки, неподвижно устремив глаза; щеки у него были впалые, а губы плотно сжаты.

Она ела, как едят толстые жадные женщины, поминутно пропуская глоток вина, чтобы легче прошли яйца, и останавливаясь, чтобы слегка перевести дух.

Она уничтожила все – хлеб, яйца, сливы, вино. И как только она прикончила свой завтрак, юноша опять закрыл глаза. Чувствуя, что платье стало немного теснить, она распустила корсаж, и молодой человек снова взглянул на нее.

Она ничуть не смутилась этим и продолжала расстегивать платье; под сильным напором ее груди ткань раздвинулась, обнаруживая между двумя краями, сквозь все увеличивающееся отверстие, немного белья и тела.

Крестьянка, почувствовав себя лучше, проговорила по-итальянски:

– Так жарко, что дышать невозможно.

Молодой человек ответил на том же языке и с тем же самым произношением:

– Для поездки погода хорошая.

Она спросила:

– Вы из Пьемонта?

– Я из Асти.

– А я из Казале.

Они оказались соседями. Завязался разговор.

Они пространно толковали об обыденных вещах, занимающих простолюдинов и вполне удовлетворяющих их ум, медлительный и лишенный кругозора. Они говорили о родных местах. У них были общие знакомые; они перечисляли имена, становясь друзьями по мере того, как открывали какое-нибудь новое лицо, известное им обоим. С их губ слетали быстрые, торопливые слова с звучными окончаниями и итальянской певучестью. Потом они осведомились друг о друге.

Она была замужем; у нее уже трое детей, оставшихся под присмотром сестры, так как сама она нашла себе место кормилицы, очень хорошее место у одной французской дамы из Марселя.

Он искал работы. Ему сказали, что он может найти ее тоже в Марселе, потому что там теперь много строили.

Затем они замолчали.

Изливаясь, как дождь на крыши вагонов, зной становился невыносимым. Облако пыли несло за поездом и проникало внутрь; аромат апельсиновых деревьев и роз становился все сильнее и как будто сгущался и тяжелел.

Оба пассажира снова заснули.

Они открыли глаза почти в одно и то же время. Солнце опускалось к морю, озаряя потоками света его голубую поверхность. Воздух посвежел и казался более легким.

Кормилица задыхалась; корсаж ее был расстегнут, щеки увяли, глаза потускнели; подавленным голосом она проговорила:

– Я не давала груди со вчерашнего дня; мне так дурно, словно я сейчас упаду без памяти.

Он не отвечал, не зная, что сказать. Она продолжала:

– Когда так много молока, как у меня, надо давать грудь три раза в день, иначе чувствуешь себя плохо. Словно какая-то тяжесть давит на сердце, такая тяжесть, что трудно дышать и все члены ломит. Столько молока – это несчастье.

Он произнес:

– Да, это – несчастье. Это должно вас беспокоить.

Подавленная и ослабевшая, она в самом деле казалась совершенно больной. Она пробормотала:

– Стоит нажать немного, и молоко брызнет, как из фонтана. Это прямо любопытно видеть. Никто бы не поверил. В Казале все соседи приходили глазеть на меня.

Он сказал:

– Ну! В самом деле?

– Да, в самом деле. Я бы вам показала, но это нисколько мне не поможет. Таким манером много не сседишь.

И она умолкла.

Поезд задержался на какой-то станции. Возле решетки стояла женщина с плачущим ребенком на руках. Женщина была худа и одета в лохмотья.

Кормилица смотрела на нее. Голосом, полным сострадания, она произнесла:

– Вот нужду ее я могла бы облегчить. А малютка облегчил бы меня. Знаете, небогата ведь я, если бросила дом, всех родных и моего дорогого крошку, чтобы поступить на место; но я охотно отдала бы сейчас пять франков, чтобы заполучить этого ребенка на десять минут и дать ему грудь. Это успокоило бы и его и меня. Мне кажется, я бы воскресла.

Она опять замолчала. Затем несколько раз провела пылающей рукой по лбу, с которого струился пот, и простонала:

– Не могу больше терпеть. Кажется, сейчас умру.

И бессознательным движением она совершенно распахнула платье.

Правая грудь, большая, вздутая, с коричневым соском, выступила наружу. Бедная женщина стонала:

– Ах, боже мой! Ах, боже мой! Что мне делать?

Поезд снова тронулся и продолжал свой путь среди цветов, испускавших теперь, как всегда в теплые вечера, одуряющий аромат. Иногда в окно было видно рыбацью лодку, словно уснувшую на поверхности синего моря под неподвижным белым парусом; ее отражение в воде казалось другой лодкой, опрокинутой вверх дном.

Молодой человек смущенно пролепетал:

– Но... сударыня... я мог бы вас... вас облегчить.

Она ответила изнемогающим голосом:

– Да, пожалуйста. Вы мне окажете большую услугу. Я не могу больше выдержать, не могу.

Он встал перед ней на колени, а она наклонилась над ним и привычным движением кормилицы поднесла к его рту темный сосок груди. При движении, которое она сделала, взяв обеими руками грудь, чтобы протянуть ее этому человеку, капля молока показалась на соске. Он живо выпил ее, поймав губами тяжелую грудь, словно какой-то плод. И стал сосать жадно и равномерно.

Он обхватил обеими руками талию женщины, сжимая ее, чтобы приблизить к себе, и пил медленными глотками, по-ребячьи двигая шеей.

Наконец она сказала:

– Для этой достаточно, берите теперь другую.

И он послушно взял другую.

Она положила обе руки ему на спину и теперь дышала свободно, с облегчением, наслаждаясь ароматом цветов и веянием ветерка, проникавшим в вагон благодаря движению поезда.

Она сказала:

– Здесь очень хорошо пахнет.

Он не ответил, продолжая пить из этого живого источника, закрыв глаза, словно для того, чтобы лучше распробовать вкус.

Но она тихонько отстранила его.

– Теперь довольно. Я чувствую себя лучше. Это вернуло меня к жизни.

Он поднялся, отирая рукою рот.

Засовывая снова в платье две живые фляги, вздувавшие ей корсаж, она сказала:

– Вы мне оказали громадную услугу. Я очень вам благодарна, сударь.

Он ответил с признательностью в голосе:

– Это я должен вас благодарить, сударыня: вот уже два дня, как я ничего не ел.

Сожаление

Господин Саваль, которого все в Манте называют «папаша Саваль», только что встал. Грустный осенний день. Моросит дождь. Падают листья. Они падают медленно, и кажется, будто идет другой дождь, более крупный и ленивый. У г-на Савалья невесело на душе. Он шагает по комнате, от камина к окну и обратно, от окна к камину. В жизни бывают порой мрачные дни. А для него теперь все дни будут мрачные: ему шестьдесят два года. Он один как перст, старый холостяк, ни единой близкой души. Как грустно умереть вот так, в полном одиночестве, не видя у своего смертного одра преданного, любящего существа!

Саваль думает о своей жизни, такой пустой и бесцветной. Он вспоминает давно минувшие дни: свое детство, отцовский дом, родителей, потом коллег, первые выезды в свет, изучение права в Париже. Потом болезнь и смерть отца.

После смерти отца он вернулся из Парижа и поселился с матерью. Как покойно жили они тогда вдвоем, молодой человек и старая женщина, и ничего-то на свете им больше не нужно было. Но вот умерла и мать. Как все-таки печальна жизнь!

Он остался один. А теперь и он вскоре умрет. Он уйдет из жизни, и все для него кончится. Не будет больше на свете г-на Поля Савалья. Как это ужасно! Другие люди будут жить, любить, улыбаться. Да, они будут веселиться, а его уже не станет. И как это люди могут радоваться, развлекаться, смеяться, когда над всеми нависла угроза неотвратимой смерти! Если бы она, эта смерть, была только чем-то вероятным, еще можно бы на что-то надеяться, но нет, она – сама неизбежность, она так же неотвратима, как ночь после дня.

Если бы, наконец, его жизнь была чем-то заполнена. Если бы он хоть чего-нибудь достиг. Если бы ему пришлось пережить на своем веку интересные яркие события, радости, удачи, всякого рода удовольствия. Но нет, он ничего не изведal. Он только и делал всю жизнь, что спал, вставал, ел в определенные часы и снова ложился спать. И так он дожил до шестидесяти двух лет. Он даже не женился, как другие. А почему? В самом деле, почему же он не женился? Он вполне мог бы жениться, ведь у него были кое-какие средства. Может быть, просто подходящего случая не представилось? Возможно. Но ведь при желании «случай» всегда найдется. Нет, просто он был слишком пассивен. Пассивность была основным пороком, несчастьем всей его жизни, самым большим его недостатком. Сколько людей из-за пассивности упускают свое счастье! Есть натуры, которым все на свете трудно: подняться с постели, двигаться, решиться на что-нибудь, говорить, разобраться в каком-нибудь вопросе.

Он даже не знает, что значит быть любимым. Ни разу на груди его не покоилась женщина в любовном упоении. Он не изведal ни сладостной тоски ожидания, ни дивного трепета при пожатии любимой руки, ни восторга торжествующей страсти.

Какое неземное блаженство преисполняет сердце, когда губы встречаются в первом поцелуе, когда тесное объятие превращает двух страстно влюбленных в единое, безмерно счастливое существо!

Г-н Саваль, в халате, уселся возле камина, протянув ноги к огню.

Да, жизнь его не удалась, решительно не удалась. А ведь и он любил в свое время. Любил тайно, мучительно и, как все, что он делал, пассивно. Да, он любил г-жу Сандр, жену своего старого приятеля Сандра. Ах, если бы он встретил ее до замужества! Уж ей-то он непременно сделал бы предложение. Но они узнали друг друга слишком поздно: она была уже замужем. И все же как он ее любил, влюбившись без памяти с первого взгляда!

Саваль вспоминал, какое он испытывал волнение всякий раз при встрече с ней и какую печаль при разлуке, вспоминал, сколько бессонных ночей провел в мечтах о ней.

По утрам при пробуждении он бывал влюблен чуточку меньше, чем накануне вечером. Почему бы?

А как она была тогда хороша, как мила, белокурая, кудрявая, хохотунья! Ну разве Сандр ей

⁴³ Леон Дьеркс (1838–1912) – французский поэт-парнасец. Мопассан служил вместе с Дьерксом в министерстве народного образования, и они оба сотрудничали в «Литературной республике».

пара? Теперь ей уже пятьдесят восемь лет. Кажется, она счастлива. Ах, если бы она его тогда полюбила, если бы полюбила! Но почему бы ей было не полюбить его, Савалья, раз он ее любил так безумно?

Если бы она хоть догадывалась! Неужели она так-таки ничего не заметила, ничего не поняла? А что, если бы он тогда признался ей в любви? Как бы она отнеслась к этому, что бы ответила ему?

И Саваль задавал себе все новые и новые вопросы. Он старался воскресить в памяти былое в мельчайших подробностях.

Он припоминал долгие вечера, проведенные им у Сандра за игрой в экарте, когда жена его приятеля была еще молода и так прелестна. Он вспоминал все, что она ему тогда говорила, интонации ее голоса, ее молчаливые улыбки, которые были так красноречивы.

Вспомнились ему и прогулки, которые они совершали втроем по берегам Сены, завтраки на траве в воскресные дни, когда был свободен Сандр, служивший в супрефектуре. И вдруг особенно ярко у него вспыхнуло воспоминание об одной прогулке с нею вдвоем после полудня в рощице возле реки.

Они выехали рано утром, захватив с собой свертки с провизией. Был веселый весенний, пьянящий день. Кругом все благоухало, все дышало счастьем. Птицы щебетали как-то особенно радостно и носились в стремительном полете. Позавтракали на лужайке под ивами у самой реки, которая, казалось, дремала в знойной ласке лучей.

Теплый воздух был напоен ароматами трав и цветов. Все трое жадно, с наслаждением дышали. О, какой это был чудесный день!

После завтрака Сандр уснул, вытянувшись на спине.

– Никогда в жизни я не спал так сладко, – сказал он, пробудившись.

Г-жа Сандр взяла Савалья под руку, и они вдвоем пошли по берегу.

Она опиралась на его руку. Она весело смеялась и говорила:

– Я совсем пьяна, мой друг, ну совсем пьяна!

Он глядел на нее, и его охватывал невольный трепет, он чувствовал, что бледнеет, и боялся, как бы взгляд его не показался ей слишком дерзким, как бы дрожь руки не выдала его тайны.

Она сплела венок из полевых трав и водяных лилий и, надев его на свою кудрявую головку, спросила:

– Нравлюсь я вам вот так?

Он молчал; он не находил слов в ответ, но готов был упасть перед ней на колени. Тогда она рассмеялась каким-то раздраженным смехом и с досадой бросила ему:

– Вот глупый! Ну хоть бы что-нибудь сказал!



А он чуть не плакал, не в силах вымолвить ни слова.

Он вспомнил, как доверчиво она опиралась на его руку. Когда они наклонились, проходя под нависшими ветвями, он почувствовал, как ее нежное ушко прикоснулось к его щеке, и поспешно отстранился, опасаясь, как бы она не подумала, что он сделал это умышленно.

А какой странный взгляд метнула она на него, когда он сказал:

– Не пора ли нам вернуться?

Да, она поглядела на него как-то особенно. Тогда он не придавал этому значения, а теперь вот вспомнил.

– Как хотите, друг мой. Вернемся, если вы устали, – отвечала она.

– Да нет, – возразил он, – не то чтобы я устал, но, может быть, Сандр уже проснулся.

Она пожала плечами:

– Конечно, если вы уж так боитесь, как бы не проснулся мой муж, – тогда другое дело. Вернемся!

На обратном пути она была молчалива и уже не опиралась на его руку. Почему бы?

Еще ни разу не задавал себе Саваль такого вопроса. И вот теперь ему вдруг почудилось, что он угадал нечто такое, что до сих пор ему и в голову не приходило.

Неужели же...

Саваль почувствовал, что краснеет, и вскочил в смятении, как будто он помолодел лет на тридцать; и вдруг он услышал, как голос г-жи Сандр произнес: «Я люблю вас». Да полно, возможно ли это? Закравшаяся в душу догадка терзала его. Неужели он и в самом деле проглядел тогда, не понял?

А что, если это так и было, что, если он прошел мимо своего счастья?

И он сказал себе: «Я должен знать! Я не могу оставаться в сомнении. Я должен все узнать».

Он быстро, торопливо оделся, размышляя: «Мне уже шестьдесят два года, ей пятьдесят восемь. Я вполне могу у нее спросить».

И он отправился к ней.

Дом Сандра находился на той же улице, почти против его дома. Он взойшел на крыльцо. На стук молотка дверь открыла молоденькая служанка. Она удивилась, увидев его в такой необычный час:

– Так рано, господин Саваль? Уж не случилось ли чего?

– Нет, голубушка, – отвечал Саваль. – Но пойдی скажи барыне, что мне очень нужно видеть ее сейчас же.

– А барыня занята, она на кухне варит грушевое варенье на зиму. И, знаете, она не одета.

– Да, да, хорошо, но скажи, что мне нужно поговорить с ней по очень важному делу.

Служанка ушла. Саваль в волнении крупными шагами ходил по гостиной. «Ничего, – успокаивал он себя, – я спрошу ее об этом очень просто, как попросил бы рецепт какого-нибудь блюда. Ведь мне уже шестьдесят два года!»

Но вот отворилась дверь, и она вошла. Теперь это была очень грузная женщина с полными щеками и звонким смехом. Она шла, широко расставив по локоть голые, липкие от сиропа руки.

– Что с вами, друг мой, уж не больны ли вы? – участливо спросила она.

– Нет, дорогая, я просто хотел спросить вас кое о чем, очень для меня важном. Только объясните, что ответите мне вполне откровенно.

– Но ведь я же всегда откровенна, – улыбнулась она. – Говорите!

– Ну, так вот. Я полюбил вас с первого взгляда. Догадывались вы об этом?

Она засмеялась, и в голосе ее прозвучали прежние, давно забытые интонации.

– Вот глупый! Да я поняла это с первого же дня.

Саваль задрожал.

– Вы знали?... Но тогда... – пролепетал он.

Голос его оборвался.

– Тогда... Ну, что тогда? – спросила она.

– Тогда... – продолжал Саваль, – тогда... Ну, как бы вы к этому отнеслись? Что бы вы мне ответили?

Она рассмеялась еще громче. Капли сиропа стекали у нее с пальцев и падали на паркет.

– Я?... Но ведь вы меня так ни о чем и не спросили. Не самой же мне было признаваться вам!

Он шагнул ближе.

– Скажите... скажите... вы... ведь вы не забыли еще тот день, когда Сандр уснул на траве после завтрака, а мы... мы гуляли вдвоем и дошли до того поворота, помните?...

Он ждал ответа. Она перестала смеяться и посмотрела ему прямо в глаза.

– Ну, разумеется, я помню этот день.

Весь дрожа, он продолжал:

– Так вот... а что, если бы... что, если бы в тот день... если бы я был тогда смелей... Как бы вы поступили?

Она снова улыбнулась беззаботной улыбкой счастливой женщины и звонким голосом, с нотками легкой иронии ответила напрямик:

– Я уступила бы, мой друг.

Потом, покинув его одного, убежала к своему варенью.

Саваль вышел на улицу подавленный, будто на него обрушилось тяжкое горе. Большими шагами, не глядя по сторонам, шел он под дождем куда глаза глядят, не замечая даже, что спускается к реке. Дойдя до Сены, он повернул направо и зашагал вдоль берега. Он шел долго, словно подгоняемый какой-то тайной силой. Он промок до нитки, с его шляпы, размокшей и похожей на мятую тряпку, словно с крыши, стекала вода. А он шел все дальше и дальше и вот очутился на том самом месте, где они завтракали втроем в давно минувший день, воспоминание о котором терзало его душу.

Тут он опустился на траву, под сводом обнаженных ветвей, и заплакал.

Сестры Рондоли

Жоржу де Порто-Риш⁴⁴

I

⁴⁴ Жорж де Порто-Риш (1849–1930) – французский поэт и драматург, один из знакомых Мопассана и горячий поклонник Флобера.

– Нет, – сказал Пьер Жувене, – я не знаю Италии; а между тем я дважды пытался туда попасть, но каждый раз застревал на границе, да так прочно, что невозможно было двинуться дальше. И все же эти две попытки оставили во мне чарующее представление о нравах этой прекрасной страны. Мне остается только познакомиться с городами, музеями и шедеврами искусства, которыми полон этот край. При первом же случае я вновь отважусь проникнуть на эту недоступную территорию.

Вам непонятно? Сейчас объясню.

В 1874 году мне захотелось посмотреть Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь. Это стремление овладело мною около середины июня, когда с буйными соками весны вливаются в душу пылкие желания странствий и любви.

Но я не любитель путешествовать. Перемена места, по-моему, бесполезна и утомительна. Ночи в поезде, сон, прерываемый вагонной тряской, вызывающей головную боль и ломоту во всем теле, чувство полной разбитости при пробуждении в этом движущемся ящике, ощущение невымытой кожи, летучий сор, засыпающий вам глаза и волосы, угольная вонь, которую все время приходится глотать, мерзкие обеды на сквозняке вокзальных буфетов – все это, по-моему, отвратительное начало для увеселительной поездки.

За этим железнодорожным вступлением нас ожидает уныние гостиницы, большой гостиницы, переполненной людьми и вместе с тем такой пустынной, незнакомая, наводящая тоску комната, подозрительная постель! Своей постелью я дорожу больше всего. Она святая святых нашей жизни. Ей отдаешь нагим свое усталое тело, и она возвращает ему силы и покоит его на белоснежных простынях, в тепле пуховых одеял.

В ней обретаем мы сладчайшие часы нашей жизни, часы любви и сна. Постель священна. Мы должны благоговеть перед ней, почитать ее и любить как самое лучшее, самое отрадное, что у нас есть на земле.

В гостинице я не могу приподнять простынь постели без дрожи отвращения. Кто лежал там в предыдущую ночь? Какие нечистоплотные, отвратительные люди спали на этих матрацах? И я думаю о всех тех омерзительных существах, с которыми сталкиваешься каждый день, о гадких горбунах, о прыщавых телах, о грязных руках, не говоря уж о ногах и всем прочем. Я думаю о людях, при встрече с которыми вам ударяет в нос тошнотворный запах чеснока или человеческого тела. Я думаю об уродах, о шелудивых, о поте больных, обо всей грязи и мерзости человеческой.

Все это побывало в постели, в которой я должен спать. И меня тошнит, как только я суну в нее ногу.

А обеды в гостинице, долгие обеды за табльдотом, среди несносных и нелепых людей; а ужасные одинокие обеды за столиком ресторана, при жалкой свечке, покрытой колпачком!

А унылые вечера в незнакомом городе! Что может быть грустнее ночи, спускающейся над чужим городом! Идешь куда глаза глядят, среди движения, среди сутолоки, поражающей и пугающей, как во сне. Смотришь на лица, которых никогда не видел и никогда больше не увидишь, слышишь голоса людей, разговаривающих о безразличных для тебя вещах на языке, которого ты даже не понимаешь. Испытываешь ужасное ощущение потерянности. Сердце сжимается, ноги слабеют, на душе гнет. Идешь, словно спасаешься от чего-то, идешь, лишь бы только не возвращаться в гостиницу, где чувствуешь себя еще более потерянным, потому что там ты как будто «дома», но ведь это «дом» любого, кто только заплатит за него, – и в конце концов падаешь на стул в каком-нибудь ярко освещенном кафе, позолота и огни которого угнетают в тысячу раз сильнее, чем уличный мрак. И, сидя перед липкой кружкой пива, поданной суетливым официантом, чувствуешь себя столь отвратительно одиноким, что какое-то безумие охватывает тебя, желание бежать куда-нибудь, бежать куда угодно, чтобы только не быть здесь, не сидеть за этим мраморным столиком, под этой ослепительной люстрой. И тогда вдруг понимаешь, что ты всегда и везде одинок в этом мире и что привычные встречи в знакомых местах внушают лишь иллюзию человеческого братства. В такие часы заброшенности, мрачного одиночества в чужих городах мысль работает особенно независимо, ясно и глубоко. И тут одним взглядом охватываешь всю жизнь и видишь ее уже не сквозь розовые очки вечных надежд, а вне обмана нажитых привычек, без ожидания постоянно греющегося счастья.

Только уехав далеко, сознаешь, до чего все близко, ограничено и ничтожно; только в поисках неизведанного замечаешь, до чего все обыкновенно и мимолетно; только странствуя по земле, видишь, до чего тесен и однообразен мир.

О, эти угрюмые вечера, когда шагаешь наудачу по незнакомым улицам, – я испытал их! Этих вечеров я боюсь больше всего на свете.

Вот почему, ни за что не желая ехать в Италию один, я уговорил моего приятеля Поля Павильи отправиться вместе со мной.

Вы знаете Поля. Для него весь мир, вся жизнь – в женщине. Таких мужчин найдется немало. Жизнь кажется ему поэтической и яркой только благодаря присутствию женщин. На земле стоит жить лишь потому, что они живут на ней; солнце сияет и греет потому, что освещает их. Воздух приятно вдыхать потому, что он овеивает их кожу и играет короткими завитками у них на висках. Луна восхитительна потому, что заставляет их мечтать и придает любви томную прелесть. Словом, вдохновляют и интересуют Поля только женщины; к ним обращены все его помыслы, все его стремления и надежды.

Один поэт заклеил людей подобного рода:

Всех больше не терплю я томного поэта:
Посмотрит на звезду – и имя шепчет он,
А рядом с ним всегда Нинон или Лизетта, –
Иначе пуст ему казался б небосклон.

Такие чудаки стараются день целый,
Чтоб пробудить любовь к природе у людей:
То на зеленый холм прицепят чепчик белый,
То юбку – к деревьям, растущим средь полей.

Тот не поймет твоих, природа, песен чудных,
Твоих, бессмертная, звенящих голосов.
Кто не бродил один среди полей безлюдных,
Кто грезит женщиной под шепоты лесов^{45 46}.

Когда я заговорил с Полем об Италии, он сначала решительно отказался уезжать из Парижа, но я стал расписывать ему разные дорожные приключения, сказал, что итальянки слынут очаровательными, пообещал доставить ему в Неаполе разные утонченные удовольствия благодаря имевшейся у меня рекомендации к некоему синьору Микелю Аморозо, знакомство с которым весьма полезно для иностранцев, – и он поддался искушению.

II

Мы сели в скорый поезд в четверг вечером 26 июня. В это время года никто не ездит на юг, и мы оказались в вагоне одни. Оба были в дурном настроении, досадуя на то, что покидаем Париж, недовольные, что навязали себе это путешествие, с сожалением вспоминая тенистый Марли, прекрасную Сену, отлогие берега, славные дни прогулок на лодке, славные вечера, когда так хорошо дремлет на берегу, пока спускается ночь.

Поль забился в уголок и, когда поезд тронулся, заявил:

– До чего же глупо пускаться в такое путешествие.

Так как он уже не мог изменить своего решения, я сказал в ответ:

– Не надо было ехать.

⁴⁵ Перевод А. Худаковой.

⁴⁶ Сонет поэта-парнасца Луи Буйле (1822–1869), первого литературного учителя Мопассана.

Он промолчал. Но вид у него был такой сердитый, что я чуть не расхохотался. Он, безусловно, похож на белку. Каждый из нас сохраняет под своим человеческим обликом черты какого-нибудь животного, нечто вроде признаков своей первоначальной породы. Сколько найдется людей с бульдожьей пастью, с козлиной, кроличьей, лисьей, лошадиной, бычьей головой! Поль – это белка, превратившаяся в человека. У него те же живые глазки, рыжая шерстка, острый носик, небольшое тельце, тоненькое, гибкое, проворное, да и во всем облике его есть какое-то сходство с этим зверьком. Как бы это сказать? Сходство в жестах, движениях и повадке, словно какое-то смутное воспоминание о прежнем существовании.

Наконец мы оба заснули, как спят в вагоне, – сном, который беспрестанно прерывается из-за шума, из-за судорог в руках или шее, из-за внезапных остановок поезда.

Мы проснулись, когда поезд шел уже вдоль берега Роны. И вскоре в окно ворвалось стрекотание кузнечиков, то непрерывное стрекотание, которое кажется голосом самой нагретой земли, песней Прованса; оно пахнуло нам в лицо, в грудь, в душу радостным ощущением юга, запахом раскаленной почвы, каменистой и солнечной родины приземистого оливкового дерева с его серо-зеленой листвой.

Когда поезд остановился у станции, железнодорожный служащий промчался вдоль состава, звонко выкрикивая: «Валанс!» – по-настоящему, подлинным местным говором, и это «Валанс», как перед тем скрежещущее стрекотание кузнечиков, снова заставило нас всем существом ощутить вкус Прованса.

До Марселя ничего нового.

В Марселе мы вышли позавтракать в буфете.

Когда мы вернулись в вагон, там сидела женщина.

Поль бросил мне восхищенный взгляд; машинальным движением он подкрутил свои короткие усики, поправил прическу, проведя пятерней, словно гребнем, по волосам, сильно растрепавшимся за ночь. Потом уселся против незнакомки.

Всякий раз, когда – в дороге или в обществе – передо мной появляется новое лицо, меня неотступно преследует желание разгадать, какая душа, какой ум, какой характер скрываются за этими чертами.

То была молодая женщина, совсем молоденькая. И прехорошенькая, – без сомнения, дочь юга. У нее были чудесные глаза, великолепные черные волосы, волнистые, слегка выющиеся, до того густые, жесткие и длинные, что казались тяжелыми, и стоило только взглянуть на них, чтобы сразу ощутить на голове их бремя. Одета нарядно и по-южному несколько безвкусно, она казалась немного вульгарной. Правильные черты ее лица были лишены той грации, того легкого изящества, утонченности, которые присущи от рождения детям аристократии и являются как бы наследственным признаком более благородной крови.

Ее браслеты были слишком широки, чтобы их можно было принять за золотые, прозрачные камни в серьгах слишком велики для бриллиантов, да и во всем ее облике было что-то простонародное. Чувствовалось, что она, должно быть, привыкла говорить чересчур громко и по любому поводу кричать, буйно жестикулируя.

Поезд тронулся.

Она сидела неподвижно, устремив хмурый взгляд перед собой, с обиженным и раздосадованным видом. На нас она даже не взглянула.

Поль завел со мной беседу, высказывая вещи, рассчитанные на эффект, и стараясь привлечь ее внимание, блеснуть искусной фразой, ослепить красноречием, подобно торговцу, который выставляет отборный товар, чтобы разжечь покупателя.

Но она, казалось, ничего не слышала.

– Тулон! Остановка десять минут! Буфет! – прокричал кондуктор.

Поль сделал мне знак выйти и, как только мы очутились на платформе, спросил:

– Скажи, пожалуйста, кто она, по-твоему?

Я рассмеялся:

– Вот уж не знаю. Да мне это совершенно безразлично.

Он был очень возбужден.

– Она чертовски хорошенькая и свеженькая, плутовка! А какие глаза! Но вид у нее недвольный. У нее, должно быть, неприятности: она ни на что не обращает внимания.

Я проворчал:

– Зря стараешься.

Но он рассердился:

– Я вовсе не стараюсь, дорогой мой; я нахожу эту женщину очень хорошенькой, вот и все. А что, если заговорить с ней? Только о чем? Ну, посоветуй что-нибудь. Как ты думаешь, кто она такая?

– Право, не знаю. Вероятно, какая-нибудь актрисочка, которая возвращается в свою труппу после любовного похождения.

Он принял оскорбленный вид, точно я сказал ему что-то обидное, и возразил:

– Из чего ты это заключаешь? Я, наоборот, нахожу, что у нее вид вполне порядочной женщины.

Я ответил:

– Мой милый, посмотри на ее браслеты, серьги, на весь ее туалет. Я не удивлюсь, если она окажется танцовщицей или, может быть, даже цирковой наездницей, но скорее всего, пожалуй, танцовщицей. Во всей ее внешности есть что-то от театра.

Эта мысль решительно не нравилась ему.

– Она слишком молода, дорогой мой, ей не больше двадцати лет.

– Но, мой милый, мало ли что можно проделывать и до двадцати лет! Танцы, декламация, не говоря уже о других вещах, которыми она, может быть, единственно и занимается.

– Экспресс на Ниццу – Вентимилью, занимайте места! – закричал кондуктор.

Пришлось войти в вагон. Наша соседка ела апельсин. Ее манеры в самом деле не отличались изысканностью. Она разостлала на коленях носовой платок, а то, как она снимала золотистую корку, открывала рот, хватая губами дольки апельсина, и выплевывала зернышки в окно, изобличало простонародные привычки и жесты.

Она как будто еще больше насупилась и уничтожала апельсин с яростью, положительно заправной.

Поль пожирал ее взглядом, придумывая способ привлечь ее внимание, разбудить ее любопытство. И он снова пустился болтать со мною, изрекая множество изысканных мыслей, непременно упоминая о знаменитостях. Но она не обращала никакого внимания на его усилия.

Проехали Фрежюс, Сен-Рафаэль. Поезд мчался теперь среди пышных садов, по райской стране роз, через рощи цветущих апельсиновых и лимонных деревьев, покрытых одновременно и гроздьями белых цветов, и золотистыми плодами, среди благоухающего царства цветов, вдоль восхитительного побережья, которое тянется от Марселя до Генуи.

В этот край, где в тесных долинах и по склонам холмов свободно и дико растут прекраснейшие цветы, надо приезжать именно в июне. Куда ни взглянешь – повсюду розы: целые поля, равнины, изгороди, чащи роз. Они ползут по стенам, распускаются на крышах, взбираются на деревья, сверкают среди листвы – белые, красные, желтые, мелкие или огромные, тоненькие, в простеньких однотонных платьицах, или мясистые, в тяжелом и пышном наряде.

Их непрерывное могучее благоухание сгущает воздух, придает ему вкус, насыщает его томлением. А еще более резкий запах цветущих апельсиновых деревьев словно подслащивает вдыхаемый воздух, превращая его в лакомство для обоняния.

Омываемое неподвижным Средиземным морем, расстилается побережье с темными скалами. Тяжкое летнее солнце огненной пеленой ниспадает на горы, на длинные песчаные откосы, на тяжелую, застывшую синеву моря. А поезд все мчится, вбегает в туннели, минуя мысы, скользит по волнистым холмам, пробегает над водой по отвесным, как стена, карнизам, и легкий, нежный солоноватый аромат, аромат сохнувших водорослей примешивается порой к сильному, волнующему запаху цветов.

Но Поль ничего не видел, ни на что не смотрел, ничего не чувствовал. Путешественница завладела всем его вниманием.

В Каннах, желая снова поговорить со мной, он опять сделал мне знак сойти.

Как только мы вышли из вагона, он взял меня под руку.

– Знаешь, она восхитительна. Посмотри на ее глаза. А волосы! Дорогой мой, да я никогда не видывал подобных волос!

Я сказал ему:

– Будет тебе, уймись – или, если уж ты решился, иди в наступление. Вид у нее не очень-то неприступный, хотя она и кажется порядочною злокой.

Он продолжал:

– А не мог бы ты заговорить с ней? Я как-то теряюсь. Вначале я всегда дурачки робок. Я никогда не умел пристать к женщине на улице. Я иду за ней, кружусь возле нее, подхожу, но никогда не могу найти нужных слов. Один только раз я попытался начать беседу. Так как я совершенно ясно видел, что от меня ждут начала разговора и сказать что-нибудь было необходимо, я пробормотал: «Как поживаете, сударыня?» Она рассмеялась мне прямо в лицо, и я бежал.

Я обещал Полю употребить все свое искусство, чтоб завязать беседу, и, когда мы уселись, учтиво осведомился у соседки:

– Сударыня, вам не мешает табачный дым?

Она ответила:

– Non capisco⁴⁷.

Она была итальянка! Дикий приступ смеха овладел мной. Поль ни слова не знал по-итальянски, и я должен был служить ему переводчиком. Я приступил к исполнению своей роли и повторил, уже по-итальянски:

– Я спросил вас, сударыня, не мешает ли вам табачный дым?

Она сердито бросила:

– Che mi fa?

Она даже головы не повернула в мою сторону, не взглянула на меня, и я недоумевал, следует ли понять это «Какое мне дело?» как разрешение или как запрет, как свидетельство безразличия или просто как «Оставьте меня в покое».

Я продолжал:

– Сударыня, если дым мешает вам хоть немного...

Она ответила тогда «misa»⁴⁸ тоном, который означал: «Не приставайте ко мне!» Все же это было позволение, и я сказал Полю:

– Можешь курить.

Стараясь понять, он озадаченно глядел на меня, как глядишь, когда рядом с тобой разговаривают на непонятном языке, и спросил:

– Что ты ей сказал?

– Я спросил у нее, можно ли нам курить.

– Она по-французски не говорит?

– Ни слова.

– Что же она ответила?

– Что она разрешает нам делать все, что угодно.

И я закурил сигару.

Поль продолжал:

– Это все, что она сказала?

– Мой милый, если бы ты сосчитал ее слова, ты заметил бы, что она произнесла их ровно шесть, из которых двумя она дала понять, что не знает французского языка. Значит, остается четыре. Ну а в четырех словах особенно много ведь не выразишь.

Поль, казалось, был совсем уничтожен, обманут в своих ожиданиях, сбит с толку.

Но вдруг итальянка спросила меня все тем же недовольным тоном, который, по-видимому, был для нее обычен:

⁴⁷ Не понимаю (итал.).

⁴⁸ Ничуть, нет (итал.).

– Вы не знаете, в котором часу мы приедем в Геную?

– В одиннадцать часов вечера, сударыня, – ответил я.

Помолчав немного, я продолжал:

– Мы с приятелем тоже едем в Геную и будем чрезвычайно счастливы, если сможем быть вам чем-нибудь полезны в пути.

Так как она не отвечала, я настаивал:

– Вы едете одна, и если нуждаетесь в наших услугах...

Она опять отчеканила новое «misa», и так резко, что я сразу замолчал.

Поль спросил:

– Что она тебе сказала?

– Она сказала, что находит тебя очаровательным.

Но он не был расположен шутить и сухо попросил не насмехаться над ним. Тогда я перевел ему вопрос нашей соседки и мое любезное предложение, встретившее такой суровый отпор.

Он волновался, точно белка в клетке. Он сказал:

– Если бы нам удалось узнать, в какой гостинице она остановится, мы поехали бы туда же. Постарайся как-нибудь половчее выспросить ее, придумай еще какой-нибудь предлог для разговора.

Но это было не так-то просто, и я совсем не знал, что бы такое изобрести, хотя мне и самому хотелось познакомиться с этой неподатливой особой.

Проехали Ниццу, Монако, Ментону, и поезд остановился на границе для осмотра багажа.

Хотя я не выношу плохо воспитанных людей, которые завтракают и обедают в вагоне, я все же купил целый запас провизии, чтобы испытать последнее средство: сыграть на аппетите нашей спутницы. Я чувствовал, что эта девица в обычных условиях должна быть сговорчивее. Она была раздражена какой-то неприятностью, но, вероятно, достаточно было любого пустяка, угаданного желания, одного какого-либо слова, кстати сделанного предложения, чтобы развеселить ее, привлечь на нашу сторону и покорить.

Поезд отошел. Нас по-прежнему было только трое в вагоне. Я разложил на скамейке свои припасы, разрезал цыпленка, красиво разместил на бумаге ломтики ветчины, потом нарочно пододвинул поближе к спутнице наш десерт: клубнику, сливы, вишни, пирожное и конфеты.

Увидев, что мы принялись за еду, она, в свою очередь, вытащила из мешочка шоколад и две подковки и стала грызть красивыми острыми зубами хрустящий хлеб и шоколадную плитку.

Поль сказал мне вполголоса:

– Угости же ее!

– Я это и собираюсь сделать, мой милый, но начать не так-то просто.

Между тем соседка время от времени искоса поглядывала на наши припасы, и я понял, что, покончив со своими двумя подковками, она еще не утолит голода. Я дал ей время завершить ее скромный обед, а затем сказал:

– Не окажете ли нам честь, сударыня, попробовать эти ягоды?

Она опять ответила «misa», но уже не таким сердитым тоном, как раньше. Я настаивал:

– В таком случае позвольте мне предложить вам немного вина. Я вижу, вы ничего не пили. Это вино вашей родины, вино Италии, и так как сейчас мы уже на вашей земле, нам было бы весьма приятно, если бы прелестный итальянский ротик принял подношение от соседей-французов.

Она тихонько покачала головой, упрямо отказываясь и в то же время готовая согласиться, и снова произнесла свое «misa», но почти вежливое «misa». Я взял бутылочку, оплетенную соломой на итальянский манер, наполнил стаканы и поднес ей.

– Выпейте, – сказал я, – пусть это будет приветствием по случаю приезда на вашу родину.

Она с недовольным видом взяла стакан и осушила его залпом, точно ее мучила жажда, после чего вернула его мне, даже не поблагодарив.

Тогда я предложил ей вишен:

– Кушайте, пожалуйста, сударыня. Вы же видите, что доставите нам большое удовольствие.

Она оглядела из своего угла фрукты, разложенные около нее, и проговорила так быстро, что

я с трудом мог разобрать:

– A me non piacciono ne le ciliegie ne le susine; amo soltanto le fragole.

– Что она говорит? – тотчас же осведомился Поль.

– Она говорит, что не любит ни вишен, ни слив, а только клубнику.

Я положил ей на колени газету с клубникой. Она сейчас же с чрезвычайной быстротой принялась есть ягоды, захватывая их кончиками пальцев и подбрасывая себе в рот, который при этом весьма мило и кокетливо открывался.

Когда она покончила с красной кучкой, которая на наших глазах в течение каких-нибудь нескольких минут уменьшалась, таяла и совсем исчезла под ее проворными пальцами, я спросил:

– Что я еще могу вам предложить?

Она ответила:

– Я охотно съела бы кусочек цыпленка.

И она уписала, наверное, половину птицы, отгрызая огромные куски с ухватками плотоядного животного. Потом она решилась взять вишен, которых не любила, потом слив, потом пирожного, потом сказала: «Довольно» – и снова забилась в свой угол.

Это начинало меня забавлять; я хотел заставить ее съесть еще что-нибудь и удвоил комплименты и предложения, чтобы склонить ее к этому. Но она внезапно пришла в прежнюю ярость и выпалила мне прямо в лицо такое свирепое «misà», что я уже не осмеливался больше нарушать ее пищеварение.

Я обратился к приятелю:

– Бедняга Поль, мы, кажется, напрасно старались.

Медленно спускалась ночь, жаркая южная ночь, расстилая теплые тени по накаленной и усталой земле. Вдали, то тут, то там, со стороны моря, на мысах, на вершинах прибрежных скал зажигались огоньки, а на потемневшем горизонте начали появляться звезды, и я порой смешивал их с огнями маяков.

Аромат апельсиновых деревьев становился сильнее, и мы с упоением, глубоко, всей грудью впивали его; какою-то негой, неземной отрадой, казалось, веяло в благовонном воздухе. И вдруг под деревьями, вдоль полотна, в темноте, теперь уже совсем сгустившейся, я увидел что-то вроде звездного дождя. Точно капельки света прыгали, порхали, резвились и перебегали в листве, точно крошечные звездочки упали с неба, чтоб поиграть на земле. То были светлячки, пылающие мушки, плясавшие в благоуханном воздухе причудливый огненный танец.

Один светлячок случайно залетел в наш вагон и стал порхать, мерцая своим перемежающимся светом, который то загорался, то угасал. Я задернул лампочку синей занавеской и следил за фантастической мушкой, носившейся взад и вперед по прихоти своего пламенеющего полета. Внезапно она уселась на черные волосы нашей соседки, уснувшей после обеда. И Поль замер в экстазе, не сводя взора с блестящей точки, которая сверкала на лбу спящей женщины, точно живая драгоценность.

Итальянка проснулась без четверти одиннадцать; светлячок все еще сидел у нее в волосах. Видя, что она зашевелилась, я сказал ей:

– Мы подъезжаем к Генуе, сударыня.

Не отвечая мне, она пробормотала, словно ее преследовала навязчивая мысль:

– Что же мне теперь делать?

Потом вдруг спросила меня:

– Хотите, я поеду с вами?

Я был настолько поражен, что даже не понял.

– То есть как с нами? Что вы хотите сказать?

Она повторила, начиная еще больше раздражаться:

– Хотите, я поеду сейчас с вами?

– Ну, конечно; но куда же вы намерены ехать? Куда я должен отвезти вас?

Она пожала плечами с глубоким равнодушием.

– Куда вам будет угодно! Мне все равно.

И дважды повторила:

– Che mi fa?

– Но ведь мы едем в гостиницу.

Она презрительно проронила:

– Ну, что же, поедемте в гостиницу.

Я повернулся к Полю и сказал:

– Она спрашивает, желаем ли мы, чтобы она поехала с нами.

Мой друг был ошеломлен, и это помогло мне прийти в себя. Он пролепетал:

– С нами? Куда же? Зачем? Каким образом?

– Ничего не знаю! Она сделала мне это странное предложение самым раздраженным тоном.

Я ответил ей, что мы едем в гостиницу; она заявила: «Ну, что же, поедемте в гостиницу!» У нее, наверное, совсем нет денег. Но как бы то ни было, она весьма своеобразно завязывает знакомства.

Поль, взволнованный, возбужденный, воскликнул:

– Ну, конечно, я согласен, скажи ей, что мы отвезем ее куда ей угодно!

Затем, после некоторого колебания, он с беспокойством добавил:

– Все-таки надо узнать, с кем она хочет ехать? С тобой или со мной?

Я повернулся к итальянке, которая впала в свое обычное равнодушие и, казалось, даже не слушала нас:

– Мы будем крайне счастливы, сударыня, взять вас с собой. Но только мой приятель хотел бы знать, на чью руку, мою или его, вы предпочли бы опереться?

Она посмотрела на меня, широко раскрыв большие черные глаза, и с легким изумлением проговорила:

– Che mi fa?

Я пояснил:

– Если я не ошибаюсь, у вас в Италии того дружка, кто принимает на себя заботу о всех желаниях женщины, выполняет всякую ее прихоть и удовлетворяет всякий ее каприз, называют patito. Кого из нас хотели бы вы избрать своим patito?

Она, не колеблясь, ответила:

– Вас!

Я обернулся к Полю:

– Тебе не везет, мой милый, она выбирает меня.

Он с досадой проговорил:

– Тем лучше для тебя.

И после некоторого раздумья прибавил:

– Так ты в самом деле решил взять с собой эту девку? Она испортит нам все путешествие. Что мы станем делать с женщиной, которая бог знает на кого похожа? Да нас не пустят ни в одну порядочную гостиницу!

Но мне, как нарочно, итальянка начинала нравиться гораздо больше, чем вначале, и теперь я желал, да, желал непременно увезти ее с собой. Эта мысль приводила меня в восхищение, и я уже испытывал ту легкую дрожь ожидания, которая пробегает у нас по жилам в предвкушении ночи любви.

Я ответил:

– Мой милый, ведь мы согласились. Отступать уже поздно. Ты первый посоветовал мне дать ей утвердительный ответ.

Он проворчал:

– Это глупо! Впрочем, делай, как хочешь.

Поезд дал свисток, замедлил ход; мы приехали.

Я вышел из вагона и помог выйти моей новой подруге. Она легко спрыгнула на платформу, и я предложил ей руку, на которую она оперлась как будто с отвращением. Отыскав и получив багаж, мы отправились в город. Поль шагал молчаливо и нервно.

Я спросил его:

– Где же мы остановимся? Пожалуй, в «Город Париж» не очень-то удобно явиться с женщиной, в особенности с этой итальянкой.

Поль перебил меня:

– Именно, с итальянкой, которая больше смахивает на девку, чем на герцогиню. Ну, да меня это не касается. Поступай, как знаешь!

Я стал в тупик. Я заранее написал в «Город Париж», чтобы за нами оставили помещение... но теперь... я уж и не знал, как мне быть.

Двое носильщиков несли за нами чемоданы. Я продолжал:

– Тебе следовало бы пойти вперед. Ты скажешь, что мы сейчас придем. И, кроме того, ты дашь понять хозяину, что я с одной... приятельницей и что мы хотим получить совершенно отдельное помещение на троих, чтоб не встречаться с другими путешественниками. Он поймет, и, смотря по тому, что он нам ответит, мы и будем решать.

Но Поль проворчал:

– Благодарю, такие поручения и эта роль мне совершенно не подходят. Я приехал сюда не для того, чтобы заботиться о твоих апартаментах и удовольствиях.

Но я настойчиво убеждал:

– Да ну же, мой милый, не сердись. Гораздо лучше устроиться в хорошей гостинице, чем в плохой, и разве так уж трудно попросить у хозяина три отдельные комнаты со столовой?

Я подчеркнул «три», и это его убедило.

Он проследовал вперед, и я видел, как он вошел в большой подъезд красивой гостиницы, пока я на другой стороне улицы тащил под руку свою молчаливую итальянку, а двое носильщиков следовали за мною по пятам.

Наконец Поль вернулся, и лицо у него было такое же угрюмое, как и у моей спутницы.

– Нам дают помещение, – сказал он, – но комнат только две. Устраивайся, как знаешь.

И я пошел за ним, стыдясь, что вхожу в гостиницу в обществе подозрительной спутницы.

Действительно, нам дали две комнаты, отделенные друг от друга небольшой гостиной. Я попросил, чтобы нам принесли холодный ужин, и нерешительно повернулся к итальянке:

– Нам удалось достать только две комнаты, сударыня, выбирайте, какую вам угодно.

Она ответила своим обычным: «Che mi fa?» Тогда я поднял с пола ее маленький черный деревянный ящик, настоящий сундучок горничной, и отнес его в комнату направо, которую я выбрал для нее... для нас. На четырехугольном клочке бумаги, наклеенном на ящике, было написано по-французски: «Мадемуазель Франческа Рондоли, Генуя».

Я спросил:

– Вас зовут Франческа?

Она не ответила и только утвердительно кивнула головой.

Я продолжал:

– Сейчас мы будем ужинать. Может быть, вы желаете пока привести в порядок туалет?

Она ответила своим «misa» – словом, которое повторялось в ее устах так же часто, как и «Che mi fa?». Я настаивал:

– После поездки по железной дороге так ведь приятно немного почиститься.

Потом я подумал, что у нее, быть может, не было с собой необходимых женщине туалетных принадлежностей, так как мне казалось, что она в затруднительном положении или только что выпуталась из неприятного приключения, – и я принес ей свой несессер.

Я вынул оттуда все находившиеся в нем туалетные принадлежности: щеточку для ногтей, новую зубную щетку – я всегда вожу с собой целый набор зубных щеток, – ножницы, пилочки, губки. Я откупорил флакон с душистой лавандовой водой и флакончик с new town hay, предоставляя ей выбрать, что пожелает. Открыл коробочку с пудрой, где лежала легкая пуховка. Повесил на кувшин с водой одно из моих тонких полотенец и положил рядом с тазом непочатый кусок мыла.

Она следила за моими движениями большими сердитыми глазами: мои заботы, казалось, насколько не удивляли ее и не доставляли ей никакого удовольствия.

Я сказал ей:

– Вот все, что вам может понадобиться. Когда ужин будет готов, я скажу вам.

И я вернулся в гостиную. Поль завладел другою комнатой и заперся в ней, так что мне при-

шлось дожидаться в одиночестве.

Лакей то уходил, то приходил, принося тарелки, стаканы. Он медленно накрыл на стол, потом поставил холодного цыпленка и объявил, что все готово.

Я тихонько постучал в дверь мадемуазель Рондоли. Она крикнула: «Войдите». Я вошел. Меня обдал удушливый запах парфюмерии, резкий, густой запах парикмахерской.

Итальянка сидела на своем сундучке в позе разочарованной мечтательницы или уволенной прислуги. Я с первого же взгляда понял, что означало для нее привести в порядок свой туалет. Незавернутое полотенце висело на кувшине, по-прежнему полным воды. Нетронутое сухое мыло лежало около пустого таза; но зато можно было подумать, что молодая женщина выпила по меньшей мере половину флаконов с духами. Правда, одеколон она пощадила, не хватало всего лишь трети бутылки; но она вознаградила себя невероятным количеством лавандовой воды и new town eau. Она так напудрила лицо и шею, что в воздухе, казалось, еще носился легкий белый туман, облако пудры. Ее ресницы, брови, виски были словно обсыпаны снегом; пудра лежала на щеках словно штукатурка и толстым слоем заполняла все впадины на лице – крылья носа, ямочку на подбородке, уголки глаз.

Когда она встала, по комнате разнесся такой резкий запах, что я почувствовал приступ мигрени.

Сели ужинать. Поль был в отвратительном настроении. Я не мог вытянуть из него ничего, кроме воркотни, недовольных замечаний или ядовитых любезностей.

Мадемуазель Франческа поглощала еду, словно бездонная пропасть. Поужинав, она задремала на диване. Но я с беспокойством чувствовал, что приближается решительный час нашего размещения по комнатам. Решив ускорить события, я присел к итальянке и галантно поцеловал ей руку.

Она приоткрыла усталые глаза и бросила на меня из-под приподнятых век сонный и, как всегда, недовольный взгляд.

Я сказал ей:

– Так как у нас всего две комнаты, не разрешите ли мне поместиться в вашей?

Она ответила:

– Делайте, как вам угодно. Мне все равно. *Che mi fa?*

Это равнодушие укололо меня.

– Значит, вам не будет неприятно, если я пойду с вами?

– Мне все равно. Как хотите.

– Не желаете ли лечь сейчас?

– Да, я очень хочу спать.

Она встала, зевнула, протянула Полу руку, которую тот сердито пожал, и я посветил ей по дороге в нашу комнату.

Но беспокойство продолжало преследовать меня.

– Вот все, что вам может понадобиться, – повторил я снова.

И я самолично позаботился налить воды из кувшина в таз и положить полотенце около мыла. Потом вернулся к Полу. Не успел я войти, как он объявил:

– Порядочную же дрянь ты притащил сюда!

Я засмеялся:

– Милый друг, не говори, что зелен виноград.

Он прибавил со скрытым ехидством:

– Смотри, дорогой мой, как бы не захворать от этого винограда!

Я вздрогнул, и меня охватила та мучительная тревога, которая преследует нас после подозрительных любовных приключений, тревога, отравляющая нам самые очаровательные встречи, неожиданные ласки, случайно сорванные поцелуи. Однако я напустил на себя удаливость:

– Ну, что ты, эта девушка не потаскуха.

Но теперь я был в руках этого мошенника! Он подметил на моем лице тень тревоги:

– Но ведь ты же о ней ничего не знаешь! Я поражаюсь тебе! Ты подбираешь в вагоне итальянку, путешествующую в одиночестве; с неподражаемым цинизмом она предлагает тебе провести

с нею ночь в первой попавшейся гостинице. Ты берешь ее с собой. И еще утверждаешь, что это не девка! И уверяешь себя, будто не подвергаешься сегодня вечером такой же опасности, как если бы ты провел ночь в постели... женщины, больной оспой!

И он рассмеялся злым, раздраженным смехом. Я присел, терзаемый беспокойством. Что мне теперь делать? Ведь он прав. Во мне началась страшная борьба между желанием и страхом.

Он продолжал:

– Делай, как знаешь, я тебя предупредил; только после не плакаться!

Но я уловил в его взгляде такую злую иронию, такую радость мести, он так дерзко издевался надо мною, что я не стал больше колебаться. Я протянул ему руку.

– Спокойной ночи, – сказал я. – И ей-богу, милый мой, победа стоит опасности!

Где нет опасностей – там торжество без славы!⁴⁹

И я твердыми шагами вошел в комнату Франчески.

В изумлении, восхищенный, остановился я на пороге. Она уже спала на постели, совершенно нагая. Сон настиг ее, пока она раздевалась, и она лежала в прелестной величественной позе тициановской женщины.

Казалось, побежденная усталостью, она прилегла на кровать, когда снимала чулки – они лежали тут же на простыне; затем вспомнила о чем-то, должно быть о чем-нибудь приятном, потому что медлила вставать, а затем, незаметно закрыв глаза, тихо уснула. Вышитая по вороту ночная рубашка, купленная в магазине готовых вещей – роскошь начинающей, – валялась на стуле.

Она была очаровательна – молодая, крепкая и свежая.

Что может быть прелестнее спящей женщины! Это тело, все контуры которого так нежны, все изгибы так пленительны, все мягкие округлости так смущают сердце, как будто создано для того, чтобы неподвижно покоиться в постели. Эта волнистая линия, которая, углубляясь у талии, приподнимается на бедре, а потом легко и изящно спускается по изгибу ноги, чтобы так кокетливо завершиться у кончиков пальцев, может обрисоваться во всей своей изысканной прелести лишь на простынях постели.

Одно мгновение, и я уже готов был позабыть благоразумные советы приятеля, но, повернувшись внезапно к туалетному столику, увидел, что все вещи находились на нем в том же положении, как я их и оставил; и я сел, томясь беспокойством, мучаясь своей нерешительностью.

По-видимому, я просидел так долго, очень долго, может быть, целый час, не отваживаясь ни на что – ни на атаку, ни на бегство. Впрочем, отступление было невозможно, и приходилось либо просидеть всю ночь на стуле, либо тоже улечься в постель на свой риск и страх.

Но там ли, тут ли – я все равно не мог и думать о сне: мысли мои были слишком возбуждены, а глаза слишком заняты.

Я вертелся во все стороны, дрожа, как в лихорадке, не находя себе места, взволнованный до крайности. В конце концов я пошел на уступку: «Лечь в постель – еще ни к чему меня не обяжет. Во всяком случае, я с большим удобством отдохну на кровати, чем на стуле».

И я стал медленно раздеваться, а потом, перебравшись через спящую, растянулся вдоль стены, повернувшись спиной к искушению.

Так пролежал я долго, очень долго, не в силах уснуть.

Но вдруг соседка моя пробудилась. Она открыла удивленные и, как всегда, недовольные глаза, потом, заметив, что лежит голая, поднялась и стала преспокойно надевать ночную рубашку, точно меня там и не было.

Тогда... черт возьми... я воспользовался обстоятельствами, что ее, по-видимому, несколько не смутило; она снова мирно уснула, склонив голову на правую руку.

А я долго еще размышлял о неблагоприятии и слабости человеческой. Затем наконец погрузился в сон.

⁴⁹ Стих из «Сида» Корнеля.

Она поднялась рано, как женщина, привыкшая с утра работать. Вставая, она невольно разбудила меня, и я стал следить за нею из-под полуприкрытых век.

Она не спеша ходила по комнате, точно удивляясь, что ей нечего делать. Потом решилась подойти к туалетному столику и в одно мгновение вылила на себя все духи, которые еще оставались в моих флаконах. Она воспользовалась, правда, и водой, но в весьма ограниченном количестве.

Одевшись, она уселась на свой сундук и, обняв руками колено, задумалась.

Я сделал вид, будто только что увидел ее, и сказал:

– С добрым утром, Франческа.

Но она, казалось, нисколько не стала любезнее со вчерашнего дня и проворчала:

– С добрым утром.

Я спросил:

– Вы хорошо спали?

Не отвечая, она утвердительно кивнула головой; я соскочил с кровати и подошел поцеловать ее.

Она нехотя подставила мне лицо, как ребенок, которого ласкают против его желания. Я нежно обнял ее (раз вино налито, надо его выпить) и медленно прикоснулся губами к ее большим сердитым глазам, которые она с досадой закрывала под моими поцелуями, к свежим щекам, к полным губам, которые она прятала от поцелуев.

Я сказал ей:

– Значит, вы не любите, когда вас целуют?

Она ответила:

– Миса.

Я сел рядом с ней на сундук и просунул свою руку под ее локоть:

– Миса! Миса! На все миса! Теперь я буду всегда называть вас мадемуазель Миса!

В первый раз я как будто заметил на ее губах тень улыбки, но она исчезла так быстро, что, может быть, я и ошибся.

– Но если вы всегда будете отвечать «миса», я совсем не буду знать, чем развлечь вас, чем доставить вам удовольствие. Вот сегодня, например, что мы будем делать?

Она поколебалась, словно какое-то подобие желания мелькнуло в ее сознании, и равнодушно проговорила:

– Мне все равно, что хотите.

– Хорошо, мадемуазель Миса, тогда мы возьмем коляску и поедем кататься.

Она пробурчала:

– Как хотите.

Поль ждал нас в столовой со скучающей физиономией третьего лица в любовном приключении. Я построил восторженную мину и пожал ему руку с энергией, полной торжествующих признаний.

Он спросил:

– Что ты намерен делать?

Я ответил:

– Сначала немного побродим по городу, а потом возьмем коляску и поедем куда-нибудь в окрестности.

Завтрак прошел в молчании, затем мы отправились по городу осматривать музеи. Я таскал Франческу под руку из одного дворца в другой. Мы побывали во дворце Спинола, во дворце Дориа, во дворце Марчелло Дураццо, в Красном дворце, в Белом дворце. Она ничем не интересовалась и лишь изредка окидывала шедевры искусства ленивым, безразличным взглядом. Поль сердито шел за нами и ворчал. Потом мы прокатились в коляске за город, причем все трое молчали.

Затем вернулись пообедать.

То же самое повторилось и завтра и послезавтра.

На третий день Поль сказал:

– Знаешь, я намереваюсь расстаться с тобой; я не желаю сидеть здесь три недели и смотреть,

как ты волочишься за этой девкой!

Я смутился и растерялся, так как, к моему величайшему изумлению, странным образом привязался к Франческе. Человек слаб и неразумен, он увлекается пустяками и, когда его чувственность возбуждена или покорена, становится малодушным. Мне стала дорога эта девушка, которую я совсем не знал, эта девушка, молчаливая и вечно недовольная. Мне нравилось ее нахмуренное лицо, надутые губы, скучающий взгляд, нравились ее усталые движения, ее презрительная податливость на ласки, самое равнодушие ее ласк. Невидимые узы, те таинственные узы животной любви, та скрытая привязанность, которую порождает ненасытное желание, удерживали меня возле нее. Я все откровенно рассказал Полю. Он обозвал меня болваном, потом предложил:

– Ну что ж, возьми ее с собой.

Но она решительно отказалась уехать из Генуи и не желала объяснить причину. Я пустил в ход просьбы, обещания; ничего не помогло.

И я остался.

Поль объявил, что уезжает один. Он уложил даже свой чемодан, но тоже остался.

И вот прошло две недели.

Франческа, по-прежнему молчаливая и сердитая, жила скорее около меня, чем со мной, отвечая на все просьбы, на все мои предложения вечным своим «*Che mi fa?*» и не менее вечным «*misà*».

Мой приятель не переставал беситься. На все его гневные вспышки я неизменно отвечал:

– Если тебе здесь надоело, можешь уехать. Я тебя не удерживаю.

Тогда он начинал ругаться, осыпал меня упреками и кричал:

– Куда же прикажешь мне ехать? В нашем распоряжении было всего три недели, а две уже прошли! Уж нет времени теперь ехать дальше. И потом, я вовсе не собирался отправляться в Венецию, Флоренцию и Рим один! Но ты заплатишь мне за это, и гораздо дороже, чем думаешь. Не зачем тащить человека из Парижа в Геную, чтобы запереть его в гостинице с итальянской потаскухой!

Я спокойно отвечал ему:

– Ну, что ж, тогда возвращайся в Париж.

И он вопил:

– Я так и сделаю, и не позже чем завтра!

Но и на следующий день, все так же злясь и ругаясь, он не уехал, как и накануне.

Нас теперь уже знали в городе, где мы бродили по улицам с утра до вечера, по узким улицам без тротуаров, придающим городу сходство с огромным каменным лабиринтом, прорезанным коридорами, которые напоминают подземные ходы. Мы блуждали по этим проходам, где дует яростный сквозной ветер, по переулкам, сжатым между такими высокими стенами, что неба почти не видно. Встречные французы порой оглядывались на нас, с удивлением узнавая соотечественников, оказавшихся в обществе этой скучающей и крикливо одетой девицы, чьи манеры в самом деле казались странными, неуместными, компрометирующими.

Она шла, опираясь на мою руку, ничем не интересуясь. Почему же она оставалась со мной, с нами, если мы, по всей видимости, доставляли ей так мало удовольствия? Кто она? Откуда? Чем занимается? Есть ли у нее какие-нибудь планы, замыслы? Или она живет наудачу, случайными встречами и приключениями? Напрасно старался я понять ее, разгадать, объяснить себе. Чем больше я узнавал ее, тем больше она меня поражала и представлялась мне какой-то загадкой. Конечно, она не была распутницей, торгующей любовью. Скорее она казалась мне дочерью бедных родителей, которую соблазнили, обманом увезли, погубили, а теперь бросили. На что же она рассчитывала? Чего ожидала? Ведь она вовсе не старалась покорить меня или извлечь из меня какую-нибудь выгоду.

Я пытался расспрашивать ее, заговаривал с ней о ее детстве, о семье. Она не отвечала. И я оставался с ней, свободный сердцем, но плотью в плену, никогда не уставая держать в объятиях эту угрюмую и великолепную самку, соединяясь с нею, как животное, обуреваемый чувственностью, или, скорее, соблазненный и побежденный каким-то чувственным очарованием, молодым, здоровым, могучим очарованием, исходящим от нее, от ее ароматной кожи, от упругих линий ее

тела.

Прошла еще неделя. Срок моего путешествия истекал: я должен был вернуться в Париж 11 июля. Поль теперь почти примирился с событиями, но продолжал браниться. Я же пытался изобретать удовольствия, развлечения, прогулки, чтобы позабавить любовницу и друга; я просто из кожи лез.

Однажды я предложил им экскурсию в Санта-Маргарета. Этот очаровательный, окруженный садами городок прячется у подножия скалистого берега, который выдается далеко в море, до самого поселка Порто-Fiно. Мы отправились втроем по чудесной дороге, которая извивалась вдоль горы. Вдруг Франческа сказала мне:

– Завтра я не смогу с вами гулять. Я пойду к родным.

И замолчала. Я не расспрашивал ее, так как был уверен, что она все равно ничего не ответит.

На следующий день она действительно встала очень рано. Так как я еще лежал, она села на постель у меня в ногах и робко, нерешительно проговорила:

– Если я вечером не вернусь, вы зайдете за мной?

– Ну, конечно. А куда мне зайти?

Она стала объяснять:

– Вы пойдете по улице Виктора-Эммануила, потом свернете в пассаж Фальконе и переулок Сан-Рафаэль и увидите дом торговца мебелью; в правом флигеле в глубине двора спросите госпожу Рондоли. Я буду там.

И она ушла. Мне показалось это весьма странным.

Увидев меня одного, Поль изумился и пробормотал:

– Где же Франческа?

Я рассказал ему все, что произошло.

Он воскликнул:

– Ну, мой дорогой, давай воспользуемся случаем и дадим тягу! Все равно нам уже пора. Двумя днями позже или раньше – это дела не меняет. В путь, в путь, укладывай чемоданы! В путь!

Я не соглашался:

– Но, милый друг, не могу же я бросить так эту девушку, прожив с ней почти три недели. Я должен проститься с ней, уговорить ее принять от меня что-нибудь; нет, нет, иначе я оказался бы просто подлецом.

Но он ничего не хотел слушать, торопил меня, не давал мне покоя. Однако я не уступал.

Я не выходил из дома весь день, дожидаясь возвращения Франчески. Она не вернулась.

Вечером, за обедом, Поль торжествовал:

– Это она тебя бросила, дорогой мой. Вот забавно, ужасно забавно!

Признаюсь, я был удивлен и немного обижен. Он хохотал мне в лицо, насмехался надо мной.

– Способ хоть и простой, но придуман неплохо: «Подождите меня, я вечером вернусь». Долго ты намерен ее ждать? Да и как знать, ты, быть может, будешь так наивен, что еще пойдешь разыскивать ее по указанному адресу. «Здесь живет госпожа Рондоли?» – «Такой здесь нет, сударь». Держу пари, что ты собираешься идти.

Я протестовал:

– Да нет же, мой милый, уверяю тебя, что если она не вернется завтра утром, я уеду в восемь часов, скорым поездом. Я прожду ее двадцать четыре часа. Этого достаточно: моя совесть будет спокойна.

Весь вечер мне было не по себе; я немного тосковал, немного нервничал. Право же, я к ней привязался. В полночь я лег. Спал очень плохо.

В шесть часов я был уже на ногах. Я разбудил Поля, уложил чемодан, и два часа спустя мы ехали во Францию.

III

Вышло так, что на следующий год, в то же самое время, меня, подобно приступу перемежающейся лихорадки, снова охватило желание увидеть Италию. Я немедленно решил предпринять

это путешествие, потому что для образованного человека посетить Венецию, Флоренцию и Рим, конечно, необходимо. Кроме того, это ведь дает много тем для разговора в обществе и возможность произносить избитые фразы об искусстве, которые всегда кажутся необычайно глубокомысленными.

На этот раз я отправился один и приехал в Геную в тот же час, что и в прошлом году, но уже без всяких дорожных приключений. Остановился я в той же гостинице и случайно оказался в той же самой комнате!

Но едва я лег в постель, как воспоминание о Франческе, уже накануне смутно витавшее в моем сознании, стало преследовать меня с удивительной настойчивостью.

Знакома ли вам эта неотвязная мысль о женщине, преследующая вас при возвращении спустя долгое время в те места, где вы любили ее и обладали ею?

Это одно из самых сильных и самых тягостных ощущений, какие я только знаю. Чудится: вот она войдет, улыбнется, раскроет объятия. Ее образ, зыбкий и в то же время отчетливый, то возникает перед вами, то ускользает, овладевает вами, заполняет вам сердце, волнует ваши чувства своим призрачным присутствием. Ваш взор видит ее, вас преследует аромат ее духов, на губах вы ощущаете ее поцелуи, на коже – ласку ее тела. Вы сейчас один, вы это сознаете, но вас томит неизъяснимое волнение, порожденное этим призраком. И гнетущая, надрывающая душу тоска охватывает вас. Кажется, будто только что вас покинули навсегда. Все предметы приобретают мрачное значение и вселяют в сердце, в душу тягостное чувство одиночества и забвения. О, не возвращайтесь никогда в город, в дом, в комнату, в лес, в сад, на скамью, где вы держали в объятиях любимую женщину!

Всю ночь меня преследовало воспоминание о Франческе, и мало-помалу желание увидеть ее вновь овладевало мной, желание сначала смутное, потом все более сильное, острое, жгучее. Я решил провести в Генуе следующий день и попытаться ее разыскать. Если это не удастся, я уеду с вечерним поездом.

И вот с утра я принялся за поиски. Я прекрасно помнил указания, которые она дала, расставаясь со мною. Улица Виктора-Эммануила – пассаж Фальконе – переулок Сан-Рафаэль – дом торговца мебелью – в глубине двора – правый флигель.

Я нашел дорогу, хоть и не без труда, и постучался в дверь ветхого домика. Открыла толстая женщина, должно быть, изумительно красивая когда-то, но теперь лишь изумительно грязная. Хотя она была чересчур жирна, в чертах ее лица все же сохранилось необыкновенное величие. Пряди ее растрепанных волос ниспадали на лоб и плечи, а под широким капотом, испещренным пятнами, колыхалось жирное, дряблое тело. На шее у нее было огромное позолоченное ожерелье, а на руках великолепные генуэзские филигранные браслеты.

Она неприветливо спросила:

– Что вам нужно?

Я отвечал:

– Не здесь ли живет мадемуазель Франческа Рондоли?

– А на что она вам?

– Я имел удовольствие встретиться с нею в прошлом году, и мне хотелось бы вновь повидать ее.

Старуха изучала меня недоверчивым взглядом.

– А скажите, где вы с ней встретились?

– Да здесь же, в Генуе!

– Как вас зовут?

Я слегка замялся, но назвал себя. И лишь только я произнес свое имя, итальянка простерла руки, словно собираясь меня обнять.

– Ах, вы тот самый француз, как я рада вас видеть! Но до чего же вы огорчили бедную девочку! Она ждала вас целый месяц, сударь, да, целый месяц. В первый день она думала, что вы за ней зайдете. Она хотела знать, любите вы ее или нет! О, если бы вы знали, как она плакала, когда поняла, что вы уже не придете! Да, сударь, она все глаза выплакала! Потом она отправилась в гостиницу. Но вас уже не было. Тогда она подумала, что вы поехали дальше по Италии и еще будете

в Генуе на обратном пути и тогда зайдете за ней, потому что она-то ведь не хотела ехать с вами. И она прождала вас больше месяца, – да, сударь! – и скучала, уж как скучала! Я ведь ее мать!

По правде сказать, я пришел в некоторое замешательство. Но оправился и спросил:

– А сейчас она здесь?

– Да нет, сударь, она в Париже, с одним художником, прекрасным молодым человеком, который очень любит ее, сударь, уж так любит, и дарит ей все, чего она только не захочет. Вот посмотрите, что она мне посылает, своей матери. Правда, красивые?

И с чисто южной живостью она показала свои широкие браслеты и тяжелое ожерелье. Она продолжала:

– У меня есть еще двое серег с камнями, и шелковое платье, и кольца; но по утрам я их не ношу, а вот только когда приоденусь куда-нибудь. Она сейчас очень счастлива, сударь, очень счастлива. Вот уж она будет рада, когда я ей напишу, что вы были! Да зайдите же, сударь, присядьте. Зайдите, выпейте чего-нибудь.

Я отказывался, – теперь мне хотелось уехать с первым же поездом. Но она схватила меня за руку и потащила в дом, приговаривая:

– Зайдите, сударь, должна же я ей написать, что вы побывали у нас.

И я очутился в небольшой, довольно темной комнате, где стояли стол и несколько стульев.

Итальянка снова заговорила:

– О, сейчас она очень счастлива, очень счастлива! Когда вы повстречали ее на железной дороге, у нее было большое горе. Ее дружок бросил ее в Марселе. И она возвращалась домой одна, бедняжка. Вы ей сразу же очень понравились, но, понимаете, она ведь тогда еще немножко грустила. Теперь она ни в чем не нуждается; она пишет мне обо всем, что делает. Его зовут господин Бельмен. Говорят, он у вас известный художник. Он встретил ее на улице, да, сударь, так прямо на улице, и тут же влюбился в нее. Но не хотите ли стаканчик сиропу? Очень вкусный сироп. А вы что же, совсем одни в этом году?

Я ответил:

– Да, совсем один.

После сообщений г-жи Рондоли мое первое разочарование рассеялось, и я чувствовал теперь все большее и большее желание расхохотаться. Сироп пришлось выпить.

Она продолжала:

– Вы так-таки совсем одни? О, как жаль, что больше нет Франчески: она составила бы вам компанию, пока вы здесь. Разгуливать одному совсем не весело; она тоже будет очень жалеть.

Затем, когда я поднимался из-за стола, она воскликнула:

– А не хотите ли, чтобы с вами пошла Карлотта? Она прекрасно знает все места для прогулок. Это моя вторая дочь, сударь, вторая.

По-видимому, она приняла мое изумление за согласие и, бросившись к двери, крикнула в темноту невидимой лестницы:

– Карлотта! Карлотта! Сойди сюда, доченька, скорее, скорее.

Я пытался возражать, но она настаивала на своем:

– Нет, нет, она составит вам компанию; она очень покладистая и гораздо веселее той; это хорошая девушка, прекрасная девушка, я ее очень люблю.

Я услышал шарканье шлепанцев на ступеньках лестницы, и появилась высокая черноволосая девушка, тоненькая и хорошенькая, но тоже растрепанная; под старым материнским платьем я угадывал молодое, стройное тело.

Г-жа Рондоли тотчас же познакомила ее с моим положением:

– Это француз Франчески, знаешь, тот, прошлогодний. Он пришел за ней; он нынче, бедненький, совсем один. И я сказала ему, что ты пойдешь с ним, чтобы составить ему компанию.

Карлотта посмотрела на меня красивыми карими глазами и, улыбаясь, прошептала:

– Если он хочет, я с удовольствием.

Как я мог отказаться? Я объявил:

– Ну, конечно, очень хочу.

Г-жа Рондоли подтолкнула ее к двери:

– Иди оденься, только скорей, скорей. Надень голубое платье и шляпу с цветами, да потопрапливайся!

Когда дочь вышла, она пояснила:

– У меня есть еще две, но они моложе. Каких денег стоит, сударь, вырастить четырех детей! Хорошо, что хоть старшая теперь устроилась.

Потом она стала рассказывать мне о своей жизни, о покойном муже, служившем на железной дороге, и о всех достоинствах своей второй дочери, Карлотты.

Девушка скоро вернулась; она была одета во вкусе своей старшей сестры – в яркое и нелепое платье.

Мать оглядела ее с ног до головы, нашла, что все в порядке, и сказала нам:

– Ну, теперь ступайте, дети мои!

Потом обратилась к дочери:

– Смотри, только не возвращайся позже десяти часов; ты ведь знаешь, что дверь заперта.

Карлотта ответила:

– Не беспокойся, мама!

Она взяла меня под руку, и мы пошли с ней бродить по улицам, как в прошлом году с ее сестрой.

К завтраку я вернулся в гостиницу, потом повез мою новую подругу в Санта-Маргарета, повторив мою последнюю прогулку с Франческой.

А вечером она не вернулась домой, помня, что дверь после десяти часов была, наверно, заперта.

И в течение двух недель, бывших в моем распоряжении, я гулял с Карлоттой по окрестностям Генуи. Она не заставила меня пожалеть о своей сестре.

Я покинул ее в день своего отъезда всю в слезах, оставив подарок для нее и четыре браслета для матери.

В ближайшие дни я собираюсь снова съездить в Италию и с некоторым беспокойством, но и с надеждой думаю о том, что у г-жи Рондоли есть еще две дочери.

Хозяйка

Доктору Барадюк⁵⁰

– Я жил тогда, – начал Жорж Кервелен, – в меблированных комнатах на улице Святых Отцов.

Когда родители решили отправить меня в Париж изучать право, началось долгое обсуждение всяких подробностей. Цифра моего годового содержания была определена в две тысячи пятьсот франков, но бедную матушку охватило одно опасение, которое она и поведала отцу:

– Если он вдруг станет тратить все свои деньги на пустяки и будет плохо питаться, может пострадать его здоровье. Молодые люди на все ведь способны.

Тогда решили подыскать для меня семейный пансион, скромный и удобный пансион, с тем чтобы плату вносили за меня ежемесячно сами родители.

Я еще ни разу не выезжал из Кемпера. Я жаждал всего, чего жаждут в моем возрасте, и стремился пожить полностью в свое удовольствие.

Соседи, к которым обратились за советом, порекомендовали одну нашу землячку, г-жу Кергаран, сдававшую комнаты со столом.

Отец списался с этой почтенной особой, и однажды вечером я прибыл к ней со своим чемоданом.

Г-же Кергаран было лет сорок. Эта полная, чрезвычайно полная дама говорила зычным голосом капитана, обучающего рекрутов, и решала все вопросы кратко и бесповоротно. Ее узкое-

⁵⁰ Доктор Барадюк – французский медик, друг Гюстава де Мопассана, отца писателя.

преузкое помещение с одним-единственным окном на улицу в каждом этаже казалось какою-то лестницей из окон или, лучше сказать, ломтиком дома, стиснутого, наподобие сэндвича, между двумя соседними домами.

Во втором этаже помещалась сама хозяйка со своей служанкой; в третьем – готовили и ели; в четвертом и пятом – жили четыре пансионера-бретонца. Мне отвели обе комнаты шестого этажа.

Темная лесенка, закрученная штопором, вела в мою мансарду. И целый день без передышки г-жа Кергаран поднималась и спускалась по этой спирали, командуя в своем жилище-ящике, как капитан на борту корабля. По десяти раз подряд она заходила в каждую комнату, надзирала за всем, громогласно отдавала распоряжения, осматривала, хорошо ли постланы постели, хорошо ли вычищено платье, нет ли упущений в уходе за жильцами. Словом, она заботилась о своих пансионерах, как мать, больше, чем мать.

Я скоро свел знакомство с моими четырьмя земляками. Двое из них изучали медицину, а двое других – право. Но все они одинаково покорно терпели деспотическое иго хозяйки. Они боялись ее, как воришка боится сторожа.

Меня же сразу обуяло стремление к независимости, ибо я бунтарь по натуре. Прежде всего я заявил, что намерен возвращаться домой, когда мне заблагорассудится, – потому что г-жа Кергаран установила для нас предельным сроком двенадцать часов ночи. Услышав такую претензию, она уставилась на меня своими светлыми глазами и затем ответила:

– Это невозможно. Я не допущу, чтобы Аннету будили всю ночь. Да и вам нечего где-то пропадать после положенного часа.

Я ответил настойчиво:

– По закону, сударыня, вы обязаны отпирать мне в любой час. Если вы откажетесь отпереть, я удостоверю данный факт при содействии полиции и отправлюсь ночевать в гостиницу за ваш счет. Это – мое право. Вы, следовательно, принуждены будете или отворять мне, или отказать от квартиры. Либо отворяйте, либо мы с вами распрощаемся. Выбирайте.

Я в глаза смеялся над нею, выставляя это требование. Оправившись от изумления, она пожелала вступить в переговоры, но я проявил неуступчивость, и она сдалась. Мы решили, что у меня будет свой ключ, но при обязательном условии, чтобы об этом никто не знал.

Мое упорство оказало на хозяйку спасительное действие, и с той поры она выказывала мне явную благосклонность. Она стала особенно заботлива ко мне, предупредительна, любезна и даже проявляла некоторую грубоватую нежность, которая отнюдь не была для меня неприятна. Иногда, в веселую минуту, я неожиданно целовал ее, исключительно затем, чтобы она немедленно отвесила мне здоровенную пощечину. Если я успевал вовремя наклонить голову, рука ее пролетала надо мной с быстротой пули, и я хохотал, как сумасшедший, спасаясь бегством, меж тем как она кричала мне вслед:

– Ах, каналья, я вам это припомню!

Мы стали с нею настоящими друзьями.

Но вот я познакомился на улице с молоденькой продавщицей из магазина.

Вы знаете, что такое эти парижские любовные интрижки. В один прекрасный день по дороге в университет вы встречаете юную особу без шляпы, которая прогуливается под руку с подружкой перед началом работы. Вы обмениваетесь с ней взглядом и вдруг ощущаете как бы легкий толчок, какой испытываешь иной раз от взгляда женщины. Одна из прелестей жизни – в этой внезапной физической симпатии, расцветающей при случайной встрече, в этом тонком, изящном соблазне, которому сразу поддаешься, соприкоснувшись с существом, созданным для того, чтобы нравиться нам и быть нами любимым. И будет ли оно горячо любимо или не очень – не все ли равно? В его природе есть что-то, отвечающее тайной жажде любви, заложенной в природе вашего существа. С первого же раза, заметив это лицо, этот рот, волосы, улыбку, вы чувствуете, как обаяние их проникает в вас сладкой и восхитительной радостью, вы чувствуете, что вас наполняет какое-то блаженство, что в вас внезапно пробуждается к этой незнакомой женщине некая, еще смутная нежность. Так и чудится в ней какой-то призыв, на который вы откликаетесь, что-то притягивающее, что манит вас к себе; так и чудится, что вы уже давным-давно знакомы с ней, уже видели ее

когда-то и знаете, о чем она думает.

На следующий день в тот же час вы проходите по той же улице. Опять встречаете ее. Возвращаетесь сюда на другой день и еще на следующий. Наконец завязывается разговор. И любовная интрига следует своим чередом, закономерным, как болезнь.

Итак, к концу третьей недели мы с Эммой находились в том периоде, который предшествует падению. Падение совершилось бы даже и раньше, если бы я только знал, где устроить свидание. Подруга моя жила у родителей и с непреклонным упорством отказывалась переступить порог меблированных комнат. Я ломал себе голову, стараясь придумать средство, уловку, удобный случай. Наконец я встал на путь отчаянных мер и решил привести ее вечером, часов в одиннадцать, к себе на квартиру под предлогом выпить чашку чая. Г-жа Кергаран всегда ложилась в десять. Следовательно, с помощью моего ключа я мог войти бесшумно, не привлекая ничьего внимания. Спустя час-другой мы таким же образом могли бы выйти.

Эмма приняла мое предложение, хотя и заставила себя упрашивать.

День у меня прошел томительно. Я все беспокоился. Я боялся осложнений, катастрофы, какого-нибудь невероятного скандала. Наступил вечер. Я вышел из дома и, зайдя в ресторан, выпил залпом две чашки кофе и рюмок пять вина, чтобы придать себе храбрости. Потом пошел прогуляться по бульвару Сен-Мишель. Я услышал, как пробило десять часов, затем половина одиннадцатого. Тогда я направился медленным шагом к месту свидания. Она уже ждала меня. Она нежно взяла меня под руку, и вот мы двинулись потихоньку к моей квартире. По мере того как мы приближались к дверям, тревога моя все возрастала. Я думал: «Только бы госпожа Кергаран уже улеглась!»

Раза два-три я повторял Эмме:

– Главное, не шумите на лестнице.

Она рассмеялась:

– Вы, значит, очень боитесь, как бы вас не услышали?

– Нет, просто мне не хочется разбудить своего соседа, он тяжело болен.

Вот и улица Святых Отцов. Я приближался к своему жилищу с тем страхом, какой испытываешь, отправляясь к дантисту. Во всех окнах темно. Должно быть, спят. Я перевожу дух. С воровскими предосторожностями открываю дверь. Впускаю свою спутницу, потом запираю за ней и на цыпочках, затаив дыхание, поднимаюсь по лестнице, зажигаю одну за другой восковые спички, чтобы девушка как-нибудь не споткнулась.

Проходя мимо спальни хозяйки, я чувствую, что сердце мое учащенно бьется. Наконец-то мы на третьем этаже, затем на четвертом, затем на пятом. Я вхожу к себе. Победа!

Однако я не осмеливался говорить громко и снял ботинки, чтобы не делать никакого шума. Чай, приготовленный на спиртовке, выпит на уголке комода. Потом я становлюсь настойчивым... все более настойчивым... и мало-помалу, как в игре, начинаю снимать одну за другой все одежды моей подруги, которая уступает, сопротивляясь, краснея, смущаясь, всячески стремясь отдалить роковой и восхитительный миг.

И вот на ней оставалась уже только коротенькая белая юбочка, как вдруг дверь распахнулась и на пороге появилась г-жа Кергаран со свечой в руке и совершенно в таком же костюме, как моя гостья.

Я отскочил от Эммы и замер в испуге, глядя на обеих женщин, которые в упор смотрели друг на друга. Что-то будет?

Хозяйка произнесла высокомерным тоном, которого я за нею еще не знал:

– Я не потерплю девок в своем доме, господин Кервелен.

Я пролепетал:

– Что вы, госпожа Кергаран. Мадемуазель – только моя знакомая. Она зашла выпить чашку чая.

Толстуха продолжала:

– Чтобы выпить чашку чая, люди не раздеваются до рубашки. Извольте сейчас же удалить эту особу.

Ошеломленная Эмма принялась плакать, закрывая лицо юбкой. Я же совсем потерял голову,

не зная, что делать, что сказать. Хозяйка добавила с неотразимой властью:

– Помогите мадемуазель одеться и сейчас же выпроводите ее.

Конечно, ничего другого мне и не оставалось делать, и, подобрав платье, лежавшее кружком на паркете, как лопнувший воздушный шар, я накинул его через голову на девушку и с бесконечными усилиями пытался его застегнуть и оправить. Она помогала мне, не переставая плакать, обещуев, торопясь, путаясь во всем, позабыв, где у нее шнурки, где петли, а г-жа Кергаран, бесстрастно стоя со свечой в руке, светила нам в суровой позе блюстителя правосудия.

Движения Эммы стали вдруг стремительными; охваченная непреодолимой потребностью бегства, она одевалась как попало, с бешенством все на себе запахивала, завязывала, закалывала, зашнуровывала и, даже не застегнув ботинок, промчалась мимо хозяйки и бросилась на лестницу. Я следовал за ней в ночных туфлях, тоже полуодетый, и твердил:

– Мадемуазель, мадемуазель...

Я чувствовал, что нужно ей что-нибудь сказать, но ничего не мог придумать. Я нагнал ее только у самого выхода и хотел было взять ее за руку, но она яростно оттолкнула меня и прошептала плачущим голосом:

– Оставьте меня... оставьте меня... не прикасайтесь ко мне...

И выбежала на улицу, захлопнув за собой дверь.

Я повернулся. На площадке второго этажа стояла г-жа Кергаран, и я стал медленно подниматься по ступенькам, ожидая всего, готовый ко всему.

Дверь в спальню хозяйки была открыта. Она пригласила меня войти, произнеся суровым тоном:

– Мне надо с вами поговорить, господин Кервелен.

Я прошел мимо нее в комнату, понутив голову. Она поставила свечу на камин и скрестила руки на могучей груди, плохо прикрытой тонкой белой кофтой.

– Ах, вот как, господин Кервелен! Вы, значит, принимаете мой дом за дом терпимости!

Гордиться мне было нечем. Я пробормотал:

– Да нет же, госпожа Кергаран. Ну зачем вы сердитесь? Ведь вы хорошо знаете, что такое молодой человек.

Она ответила:

– Я знаю, что не хочу видеть этих тварей в своем доме. Вы слышите? Я знаю, что заставляю уважать мой кров и репутацию моего дома. Вы слышите? Я знаю...

Она говорила по меньшей мере минут двадцать, нагромождая друг на друга доводы логики и справедливого негодования, подавляя меня достоинством «своего дома», шпигуя язвительными упреками.

А я – мужчина действительно животное! – вместо того, чтобы слушать, смотрел на нее. Я не слышал больше ни слова, да, ни единого слова. У нее была великолепная грудь, у этой разбойницы, – упругая, белая и пышная, пожалуй, немного жирная, но до того соблазнительная, что мурашки по спине пробегали. Право же, я никогда и подумать не мог, что под шерстяным платьем моей хозяйки скрывается что-нибудь подобное. В ночном костюме она казалась помолодевшей лет на десять. И вот я почувствовал себя необычайно странно... необычайно... как бы это сказать?... необычайно взволнованным. И перед нею я вдруг опять оказался в положении... прерванном четверть часа тому назад в моей комнате.



А там, за нею, в алькове, я видел ее кровать. Она была полуоткрыта, и глубокая впадина на примятых простынях свидетельствовала о тяжести тела, недавно лежавшего на них. И я подумал, что в этой постели должно быть очень хорошо и очень тепло, теплее, чем во всякой другой. Почему теплее? Не знаю почему, – вероятно, по причине того, что уж очень обильные тела почивали в ней.

Что может быть более волнующего и более очаровательного, чем смятая постель? Та, что была передо мной, опьяняла меня издали, вызвала в моем теле нервную дрожь.

А г-жа Кергаран все говорила, но теперь уже спокойно, как строгий, но доброжелательный друг, который вот-вот готов простить тебя.

Я пробормотал:

– Послушайте... послушайте... госпожа Кергаран... послушайте...

И когда она умолкла, ожидая ответа, я обхватил ее обеими руками и принялся целовать, но как целовать! Как голодный, как истомившийся.

Она отбивалась, отворачивала голову, но не очень сердясь и машинально повторяя свое привычное:

– Ах, каналья... каналья... ка...

Она не успела договорить это слово; я подхватил ее и понес, прижимая к себе. Чертовски сильным бываешь, знаете, в некоторые моменты!

Я натолкнулся на край кровати и упал на нее, не выпуская своей ноши...

В этой постели действительно было очень хорошо и очень тепло.

Через час свеча погасла, и хозяйка встала, чтобы зажечь другую. Ложась на прежнее место рядом со мною, просовывая под одеяло округлую полную ногу, она произнесла голосом, в котором звучала ласка, удовлетворенность, а быть может, и признательность:

– Ах, каналья... каналья!..

Он?

Дорогой друг, так ты ничего не понимаешь? Меня это не удивляет. Тебе кажется, я сошел с ума? Возможно, я слегка и помешался, но только не от того, что ты думаешь.

Да, я женюсь. Решено.

А между тем ни взгляды мои, ни убеждения не изменились. Узаконенное сожителство я считаю глупостью. Я уверен, что из десяти мужей восемь рогаты. Да они и заслуживают наказания за то, что имели глупость закабалить себя на всю жизнь, отказались от свободной любви – единственно веселого и хорошего на свете, обкорнали крылья прихотливому желанию, которое беспрестанно влечет нас ко всем женщинам, и так далее и так далее. Более чем когда бы то ни было я чувствую себя неспособным любить одну женщину, потому что всегда буду слишком любить всех остальных. Я хотел бы иметь тысячу рук, тысячу губ и тысячу... темпераментов, чтобы обнимать сразу целые полчища этих очаровательных и ничтожных созданий.

И все же я женюсь.

Прибавлю еще, что я едва знаю свою будущую жену. Видел я ее только четыре или пять раз. Знаю одно – она мне не противна, и этого достаточно для осуществления моих планов. Это маленькая полная блондинка. Послезавтра я почувствую страстное влечение к высокой худощавой брюнетке.

Она не богата. Родители ее – люди среднего круга. У нее нет особенных достоинств или недостатков, она, что называется, девушка на выданье, самая дюжинная, каких много в рядовых буржуазных семьях. Сегодня о ней говорят: «Мадемуазель Лажоль очень мила». Завтра скажут: «Как мила мадам Рэмон». Словом, она из той породы порядочных девушек, которых каждый «счастлив назвать своей женой», вплоть до того дня, когда вдруг поймет, что готов любую другую женщину предпочесть той, которую избрал.

«Зачем же тогда жениться?» – спросишь ты.

Я еле решаюсь признаться тебе в странном, невероятном чувстве, толкающем меня на этот безрассудный поступок.

Я женюсь, чтобы не быть одному!

Не знаю, как это выразить, как это объяснить тебе. Ты будешь меня жалеть, будешь презирать меня, до того постыдно состояние моего духа.

Я не хочу больше оставаться ночью один. Я хочу чувствовать рядом с собой живое существо, прильнувшее ко мне, живое существо, которое могло бы разговаривать, могло бы сказать что-нибудь, все равно что.

Я хочу иметь возможность разбудить это существо, внезапно задать какой-нибудь вопрос, самый дурацкий вопрос, лишь бы только услышать человеческий голос, лишь бы убедиться, что я не один в квартире, и почувствовать чью-то живую душу, работающую мысль, лишь бы увидеть внезапно, зажигая свечу, человеческое лицо рядом с собой... потому что... потому что... мне стыдно признаться... потому что я боюсь оставаться один.

Ах! Ты все еще меня не понимаешь.

Я не боюсь опасности. Пусть кто-нибудь заберется ко мне ночью – я, не дрогнув, убью его. Я не боюсь привидений, не верю в сверхъестественное. Я не боюсь покойников и убежден в полном уничтожении каждого уходящего из жизни существа.

Так, значит?... Так, значит?... Ну да! Я боюсь самого себя! Я боюсь самой боязни, боюсь моего помрачающегося разума, боюсь этого жуткого ощущения непонятного ужаса.

Смейся, если хочешь. Это кошмарно, неисцелимо. Я боюсь стен, мебели, привычных вещей, которые вдруг начинают жить какой-то одушевленной жизнью. Особенно боюсь я страшного смятения своей мысли, своего взбудораженного рассудка, ускользающего из-под моей власти, угнетенного таинственной, непостижимой тревогой.

Сначала я чувствую, как мне в душу закрадывается смутное беспокойство и пробегают по

⁵¹ Пьер Декурсель (1856–1926) – французский драматург.

коже мурашки. Я озираюсь по сторонам. Ничего! А мне хотелось бы хоть что-нибудь увидеть! Что именно? Что-нибудь понятное. Ведь боюсь я только потому, что не понимаю своего страха.

Я говорю – и боюсь своего голоса. Хожу – и боюсь чего-то неизвестного, что притаилось за дверью, за портьерой, в шкафу, под кроватью. А между тем я знаю, что нигде ничего нет.

Я внезапно оборачиваюсь, потому что боюсь того, что у меня за спиной, хотя и там нет ничего, и я это знаю.

Я волнуюсь, чувствую, как нарастает испуг, запираюсь в спальне, зарываюсь в постель, прячусь под одеяло и, съежившись, сжавшись в комок, в отчаянии закрываю глаза и остаюсь так долго, бесконечно долго, ни на минуту не забывая, что на ночном столике осталась зажженная свеча и что надо ее все-таки потушить. И я не осмеливаюсь сделать это.

Ужасное состояние, не правда ли?

Раньше я не испытывал ничего подобного. Я спокойно возвращался домой. Я расхаживал взад и вперед по квартире, и ничто не омрачало ясности моего рассудка. Скажи мне кто-нибудь, что я вдруг заболею этим непонятным, бессмысленным и жутким страхом, я искренне рассмеялся бы; я уверенно отпирал двери в темноте, медленно укладывался спать, не задвигая засова, и никогда не вставал среди ночи проверить, хорошо ли закрыты окна и двери моей спальни.

Началось это в прошлом году и самым странным образом.

Это случилось осенью в дождливый вечер. После обеда, когда ушла служанка, я стал думать, чем бы заняться. Я прошелся несколько раз по комнате. Я чувствовал себя усталым, беспричинно угнетенным, неспособным работать и не в силах был даже читать. Окна были мокры от мелкого дождя; мне было грустно, все существо мое было проникнуто той безотчетной печалью, от которой хочется плакать, так что ищешь, с кем бы перекинуться словом, все равно с кем, лишь бы только отогнать тяжелые мысли.

Я чувствовал себя одиноким. Никогда еще дом не казался мне таким пустым. Меня охватило чувство безысходного, томительного одиночества. Что делать? Я сел. И тотчас ощутил какое-то нервное напряжение в ногах. Снова встал и принялся ходить. Может быть, меня при этом немного лихорадило, потому что руки, которые я заложил за спину, как часто делаю, когда медленно прогуливаюсь, жгли одна другую, и я заметил это. Затем вдруг у меня по спине пробежала холодная дрожь. Я подумал, что, должно быть, потянуло сыростью со двора, и решил протопить камин. Я разжег его; это было в первый раз с начала года. И снова сел, устремив глаза на огонь. Но уже вскоре, чувствуя, что не могу больше усидеть на месте, я поднялся и решил, что нужно пройтись, встряхнуться, повидаться с кем-нибудь из друзей.

Я вышел. Заглянул к трем приятелям и, не застав никого дома, направился к бульвару, рассчитывая встретить там кого-нибудь из знакомых.

Повсюду было одиноко, уныло. Мокрые тротуары блестели. Теплая сырость, та сырость, что внезапно пронизывает вас холодной дрожью, тяжелая сырость моросившего дождя нависла над улицей и, казалось, ослабляла, смягчала пламя газовых фонарей.



Я вяло тащился, повторяя про себя: «Не с кем мне будет сегодня перекинуться словом».

Не раз заглядывал я в кафе, попадающие мне по дороге от Мадлен до предместья Пуассоньер. Унылые люди, сидевшие за столиками, казалось, не в силах были доесть заказанное.

Долго бродил я так по улицам и около полуночи повернул к дому. Я был совершенно спокоен, но очень утомлен. Привратник, который в одиннадцать часов всегда уже спал, против обыкновения открыл мне немедленно, и я подумал: «Ага, должно быть, кто-то из жильцов только что вернулся».

Уходя из дома, я всегда запираю дверь на двойной оборот ключа. На этот раз она оказалась только притворенной, и это меня поразило. Я решил, что, вероятно, вечером мне принесли почту.

Я вошел. Камин еще не потух и даже слегка освещал комнату. Я взял свечу, собираясь зажечь ее от огня очага, и вдруг, взглянув прямо перед собою, увидел, что кто-то сидит в моем кресле, спиной ко мне, и греет у камина ноги.

Я не испугался, о нет, нисколько! В голове у меня мелькнула вполне естественная догадка, что кто-то из приятелей зашел навестить меня. Привратница, которую я, уходя, предупредил, что скоро вернусь, должно быть, дала ему свой ключ. Я вмиг вспомнил все обстоятельства своего возвращения домой: тотчас же открытое парадное и мою незапертую дверь.

Приятель, я видел только его волосы, дожидаясь меня, заснул у камина, и я подошел поближе, чтобы его разбудить. Я отлично его видел: правая рука его свисала, ноги были заложены одна на другую, голова слегка откинута влево на спинку кресла, – по-видимому, он крепко спал. «Кто же это?» – задал я себе вопрос. Комната была слабо освещена. Я протянул руку, чтобы тронуть его за плечо.

Рука уперлась в деревянную спинку кресла! Там не было никого. Кресло было пусто!

Господи, какой ужас!

Я отпрянул, словно мне угрожала какая-то страшная опасность.

Затем я обернулся, чувствуя, что кто-то стоит у меня за спиной; и тотчас же непреодолимое желание взглянуть еще раз на кресло заставило меня снова повернуться к нему. Я стоял, задыхаясь от ужаса, до того растерявшись, что в голове не осталось ни одной мысли, и я еле держался на ногах.

Но я человек хладнокровный и быстро овладел собой. Я решил: «У меня была галлюцинация, только и всего». И сейчас же стал размышлять об этом явлении. Мысль работает быстро в такие минуты.

У меня была галлюцинация – это бесспорный факт. А между тем голова все время оставалась ясной, я рассуждал последовательно и логично. Значит, произошло это не от умственного расстройства. Здесь был только обман зрения, обманувшего в свою очередь мысль. Глазам представился призрак, один из тех призраков, которые заставляют наивных людей верить в чудеса. Случайное нервное расстройство зрительного аппарата – и только, да, может быть, еще легкий прилив крови.

Я зажег свечу. Наклоняясь к огню, я заметил, что дрожу, и затем вдруг выпрямился от нервного толчка, как будто кто-то прикоснулся ко мне сзади.

Я еще не успел успокоиться, это несомненно.

Я прошелся по комнате и громко заговорил сам с собой. Пел вполголоса припевы каких-то песен.

Потом запер дверь на двойной оборот ключа и почувствовал себя немного спокойнее. По крайней мере никто не войдет.

Я снова сел и долго раздумывал о случившемся, затем лег и погасил свечу.

Несколько минут все обстояло благополучно. Я довольно спокойно лежал на спине. Но вдруг меня обуяло желание осмотреть комнату, и я повернулся на бок.

В камине еще тлели две-три раскаленные головешки, которые освещали только самые ножки кресла, и мне снова почудилось, что там сидит человек.

Проворным движением я зажег спичку. Мне только почудилось, никого там не было.

Однако я встал и отодвинул кресло за кровать.

Снова потушив свет, я попробовал заснуть. Но не успел я забыться на каких-нибудь пять минут – и уже увидел во сне, отчетливо, как наяву, все, что случилось со мной в этот вечер. Я

проснулся вне себя от ужаса, зажег огонь и сел на кровати, боясь задремать снова.

Но, как я ни боролся со сном, я все же засыпал ненадолго раза два. Оба раза мне снилось все то же. Я думал уже, что сошел с ума.

Когда рассвело, я почувствовал себя выздоровевшим и спокойно проспал до полудня.

Это прошло, совершенно прошло! У меня была, вероятно, лихорадка или кошмар. Словом, я был болен. И все же я чувствовал, что вел себя глупейшим образом.

В этот день я был очень весел. Пообедал в ресторанчике, побывал в театре, затем пошел домой. Но вот, когда я стал подходить к дому, меня охватило странное беспокойство. Я боялся увидеть его снова – его! Не то чтобы я боялся его самого, боялся его присутствия – ведь я нисколько в это не верил, – но я боялся нового расстройства зрения, боялся галлюцинаций, боялся ужаса, который меня охватит.

Больше часа бродил я взад и вперед по тротуару около дома, но, решив наконец, что это уж слишком глупо, вошел. Я так задышался, что еле мог подняться по лестнице. Минут десять простоял на площадке перед дверью, пока не почувствовал вдруг прилива смелости, спокойной решимости. Я повернул ключ и бросился вперед со свечою в руке, распахнул толчком ноги полуоткрытые двери спальни и растерянно оглядел камин. Я не увидел ничего.

Ах! Какое облегчение! Какое счастье! Какая тяжесть свалилась с плеч! Я весело расхаживал по комнате. Но все же я не был спокоен и порой оглядывался назад: меня пугали лежащие по углам тени.

Спал я плохо, ежеминутно просыпаясь от каких-то воображаемых стуков. Но я его больше не видел. Нет. С этим покончено!

И вот с этого дня я боюсь оставаться ночью один. Я чувствую его – этот призрак – здесь, возле меня, вокруг меня. Он больше не являлся мне. О нет! Да и что за дело мне до него, раз я в него не верю, раз я знаю, что он – ничто?

Но все же он тяготит меня, потому что я постоянно о нем думаю. Правая рука его свисала, голова была слегка откинута влево, как у спящего... Довольно, довольно, ну его к черту! Не хочу больше думать о нем!

И что это за наваждение? Почему оно так навязчиво? Его ноги были протянуты к самому огню.

Он преследует меня; это дико, но это так. Кто он? Я знаю хорошо, что он не существует, что он – ничто. Он существует только в самой моей болезни, в моем страхе, в моей тревоге. Довольно, довольно!..

Да, но сколько я ни рассуждаю, как ни бодрюсь, я не могу больше оставаться дома один, ибо он там. Я его больше не увижу, я знаю это, он больше не явится, с этим покончено. Но все же он существует в моем сознании. Он невидим, но это не мешает ему существовать. Он притаился за дверью, в закрытом шкафу, под кроватью, во всех темных углах, в малейшей тени. Стоит мне распахнуть дверь, открыть шкаф, заглянуть со свечою в руке под кровать, осветить углы, разогнать тени, и он исчезает, но тогда я чувствую его у себя за спиной. Я оборачиваюсь, уверенный, впрочем, что не увижу его, никогда больше не увижу. И все-таки он все еще там, у меня за спиной.

Нелепо, но ужасно. Как же быть? Я ничего не могу поделать.

Но если нас дома будет двое, я знаю, да, знаю наверное, что его здесь больше не будет! Ведь он здесь потому, что я один, только потому, что я один.

Мой дядя Состен

*Полю Жинисти*⁵²

Мой дядя Состен был вольнодумец, каких много на белом свете, – вольнодумец по глупости.

⁵² Поль Жинисти (1855–1934) – французский театальный критик, драматург и историк театра; в 1884 году Мопассан написал предисловие к его сборнику новелл «Любовь втроем».

Частенько люди бывают и религиозными по той же причине. При виде священника он приходил в необычайную ярость: показывал ему кулак, делал рожки и спешил незаметно для него дотронуться до чего-нибудь железного, – а это уже есть признак веры, веры в дурной глаз. Бессмысленные верования нужно или все принять, или все отвергнуть. Я тоже вольнодумец, иначе говоря, противник всех догматов, выдуманных из страха смерти, но я не чувствую ненависти к храмам, будь они католические, евангелические, римские, протестантские, русские, греческие, буддийские, еврейские или мусульманские. И к тому же я принимаю и объясняю все догматы по-своему. Храм – это дань неведомому. Чем дальше простирается мысль, тем больше сужаются границы неведомого, тем больше рушится верований. Я бы только заменил кадила телескопами, микроскопами и электрическими машинами. Вот и все!

Мы расходились с дядюшкой почти по всем вопросам. Он был патриот, я же – враг патриотизма, потому что это тоже своего рода религия. И к тому же это источник всех войн.

Дядюшка был франкмасон. Ну а по мне, масоны глупее старух ханжей. Таково мое мнение, и я на нем стою. Если уж нужна какая-нибудь религия, с меня хватит и старой.

Эти дурни только подражают попам. Они всего лишь заменяют крест треугольником. У них свои церкви, которые называются ложами, и тьма различных культов: здесь и шотландский обряд, и французский, и обряд Великого Востока – уйма бредней, от которых лопнешь со смеху.

Ну а чего они хотят? Оказывать взаимную помощь, щекоча при этом ладони? Не вижу здесь ничего дурного. Они лишь выполняют христианский завет: «Помогайте друг другу». Единственная особенность только в щекотании. Но стоит ли проделывать столько церемоний, чтобы подать сто су бедняку? Монахи, для которых милостыня и помощь ближнему являются обязанностью и ремеслом, пишут в начале своих посланий три буквы: J. M. Y. Масоны же ставят три точки после своего имени. Одно другого стоит.

Дядюшка заявлял:

– Мы же выдвигаем религию против религии. Из свободной мысли мы куем оружие, которым будет убит клерикализм. Франкмасонство – это крепость, в которую стягиваются все те, кто хочет свергнуть богов.

Я возражал:

– Но, дорогой дядюшка (а про себя думал: «Ах ты, старый хрыч!»), вот это именно я и ставлю вам в вину. Вместо того чтобы разрушать, вы устраиваете конкуренцию, а это лишь снижает цены, только и всего. И потом, если бы вы принимали к себе одних вольнодумцев, это еще куда ни шло, но ведь вы принимаете решительно всех. Среди вас найдется немало добрых католиков и даже главарей клерикальной партии. Пий Девятый⁵³ вышел из вашей среды. Если сообщество, построенное подобным образом, вы называете крепостью, возведенной против клерикализма, то не очень-то она сильна, ваша крепость!

Тогда дядюшка, прищутив глаз, добавлял:

– Настоящая-то наша деятельность, наиболее опасная наша деятельность – в области политики. Мы медленно, но верно подрываем идею монархизма.

Тут уж я не выдерживал:

– О да, вы же такие хитрецы! Скажите мне, что масонство – фабрика предвыборных кампаний, и я соглашусь с вами; что это машина для голосования за кандидатов всех оттенков, и я не буду этого отрицать; что его единственное назначение – дурачить бедный люд, гнать его целыми отрядами к урне, как гонят в огонь солдат, – и я примкну к вашему мнению; скажите, наконец, что масонство полезно и даже необходимо для всех честолюбивых политиканов, ибо превращает каждого своего члена в агента предвыборной кампании, – я и тут воскликну: «Ясно, как день!» Но если вы будете утверждать, что масонство подрывает идею монархизма, я рассмеюсь вам прямо в лицо.

Всмотритесь-ка хорошенько в такую огромную и таинственную демократическую ассоциацию, великим магистром которой во Франции во времена Империи был принц Наполеон, в Германии – наследный принц, в России – брат царя, ассоциацию, членами которой состоят король Гум-

⁵³ Пий Девятый – римский папа с 1846 по 1878 год.

берт, принц Уэльский и прочие коронованные головы всего света!

Тогда дядюшка шептал мне на ухо:

– Твоя правда, но ведь все эти принцы, сами того не подозревая, служат нашим целям.

– А вы – их целям, не так ли?

И я добавлял в душе: «Стадо ослов!»

Надо было видеть, как дядюшка Состен угощал обедом какого-нибудь франкмасона.

Они встречались и протягивали друг другу руки с уморительно таинственным видом; каждому ясно было, что они обменивались таинственными, многозначительными рукопожатиями. Когда я хотел взбесить дядюшку, мне стоило только напомнить ему, что собаки знакомятся друг с другом совсем на масонский манер.

Затем дядюшка увлекал своего приятеля в укромный уголок, точно хотел ему сообщить важные новости, а за столом, сидя друг против друга, они уже как-то по-особенному смотрели, переглядывались и когда пили, обменивались загадочными взглядами, как будто беспрестанно повторяли: «Мы-то понимаем друг друга!»

И подумать только, что миллионы людей забавляются подобным кривляньем! Нет, уж я бы предпочел быть иезуитом.

И вот в нашем городишке жил один старый иезуит, который был до последней степени противен дяде Состену. Всякий раз, как дядюшка встречал его или только еще замечал издали, он уже шипел: «У, гадина!» Затем, взяв меня за руку, шептал на ухо:

– Вот увидишь, напакостит мне когда-нибудь этот негодяй! Чует мое сердце!

Дядюшка оказался прав. Случилось это по моей вине и вот при каких обстоятельствах.

Приближалась страстная неделя. И вдруг дядюшке взбрело на ум устроить скромный обед в страстную пятницу, ну самый настоящий скромный обед с сосисками, с кровяной и мозговой колбасой. Я отговаривал его, сколько мог, и твердил:

– Я буду есть скромное в этот день, как и в любой другой, но только у себя дома и наедине. Ваша выходка глупа! Ну, к чему она? Если люди не едят мясного, вам-то какая печаль?

Но дядюшка настоял на своем. Он пригласил трех своих приятелей в лучший ресторан города, и так как за обед платил он, то и я не отказался от участия в демонстрации.

В четыре часа мы уже собрались на видном месте в излюбленном публикой кафе «Пенелопа», и дядюшка Состен во всеуслышание провозгласил меню заказанного обеда.

В шесть часов сели за стол. В десять обед еще продолжался, и мы уже выпили впятером восемнадцать бутылок доброго вина да четыре бутылки шампанского. И вот тогда дядюшка предложил так называемый «объезд по епархии». Каждый ставит перед собою в ряд шесть рюмок, наполненных различными ликерами, и нужно успеть осушить их одну за другой, пока кто-нибудь из собутыльников считает до двадцати. Это было глупо, но дядюшка Состен находил это «подходящим к случаю».

В одиннадцать часов он был пьян как стелька. Его пришлось отвезти в экипаже, уложить в постель, и можно было заранее предположить, что его антиклерикальная демонстрация обернется ужаснейшим расстройством желудка.

Когда я возвращался домой, тоже захмелев, но только веселым хмелем, мне пришла в голову макиавеллиевская мысль, отвечавшая моей скептической натуре.

Я поправил галстук, соорудил похоронную физиономию и принялся с остервенением звонить к старому иезуиту. Он был глух, и мне пришлось-таки подождать. Но я столь нещадно колотил ногами в дверь, сотрясая весь дом, что иезуит показался наконец в ночном колпаке у окна и спросил:

– Что случилось?

Я крикнул:

– Скорей, скорей, преподобный отец, отворите дверь: тяжело больной просит вашего святого напутствия.

Бедняга поспешно натянул брюки и сошел вниз, даже не надев рясы. Я рассказал ему срывающимся голосом, что моего дядюшку-вольнодумца внезапно постигло ужасное недомогание, заставляющее предполагать чрезвычайно опасную болезнь, что он крайне боится смерти и хотел

бы повидать преподобного отца, побеседовать с ним, услышать от него советы, ближе ознакомиться с христианским учением, приобщиться к церкви и, конечно, исповедаться и причаститься, чтобы в мире душевном перейти роковой предел.

И я прибавил вызывающим тоном:

– Таково его желание. Если от этого ему не станет лучше, то, во всяком случае, и хуже не будет.

Старый иезуит, смущенный, обрадованный, весь дрожа, сказал: «Подождите минутку, дитя мое, я сейчас вернусь». Но я прибавил:

– Простите, преподобный отец, я не могу вас сопровождать, мне не позволяют убеждения. Я даже отказывался идти за вами, поэтому прошу вас не говорить обо мне; скажите, что о болезни моего дяди вам было ниспослано откровение свыше.

Старикашка согласился и быстрыми шагами направился звонить к дяде Состену. Служанка, ухаживавшая за больным, тотчас же открыла ему дверь, и я увидел, как черная ряса скрылась в этой твердыне свободомыслия.

Я спрятался в воротах соседнего дома – поглядеть, как развернутся события. Будь дядюшка здоров, он уложил бы иезуита на месте, но я ведь знал, что он не в состоянии даже пальцем пошевелинуть; и я забавлялся всласть, спрашивая себя, что же за невероятная сцена разыграется сейчас между двумя идейными противниками? Будет ли это схватка? Будет ли перепалка? Растерянность? Суматоха? И как разрешится это безвыходное положение, трагически осложненное негодованием дядюшки?

Я хохотал до упаду, повторяя вполголоса:

– Вот это штука так штука!

Однако становилось холодно, и я удивился, что иезуит как-то уж очень долго не выходит. Я решил: «Объясняются».

Прошел час, затем два, затем три. Преподобный отец не появлялся. Что случилось? Не умер ли дядюшка от потрясения при виде его? Или, чего доброго, уколошил иезуита? Или они пожрали друг друга? Последнее предположение показалось мне маловероятным. В эту минуту дядюшка едва ли был в силах проглотить хотя бы еще кусочек.

Рассвело.

В сильном беспокойстве, не решаясь зайти к дядюшке, я вспомнил, что как раз напротив него живет один из моих друзей. Я зашел к нему, рассказал о происшествии, которое удивило и рассмешило его, а затем занял наблюдательный пост у окна.

В девять часов утра меня сменил мой друг, и я немного соснул. В два часа я сменил его на посту. Мы были сильно встревожены.

В шесть часов иезуит вышел, спокойный и довольный, и мы видели, как он не спеша удалился.

Тогда я смущенно и робко позвонил у дверей дяди. Мне открыла служанка. Я не решился расспрашивать ее и молча поднялся наверх.

Дядюшка Состен, бледный, изнуренный, совершенно подавленный, недвижимо лежал на постели, глядя в одну точку тусклым взором. К пологу кровати был приколот маленький образок.

Расстройство желудка явственно чувствовалось в комнате.

– Вы слегли, дядя? Нездоровится? – спросил я.

Он ответил упавшим голосом:

– Ох, дитя мое, я совсем расхворался, чуть не умер.

– Как же это, дядя?

– Не знаю; это прямо удивительно. Но всего замечательнее то, что отец иезуит, только что ушедший, – знаешь, этот достойный человек, которого я раньше терпеть не мог, – явился навещать меня, потому что ему было откровение о моей болезни.

Я чуть не прыснул со смеху.

– О, неужели?

– Да, он пришел ко мне. Он слышал голос, который повелел ему встать и идти ко мне, потому что я умираю. Это было откровение.

Чтобы не расхохотаться, я сделал вид, будто чихаю. Мне хотелось кататься по полу.

Спустя минуту, несмотря на душивший меня смех, я уже говорил возмущенным тоном:

– И вы приняли его, дядя? Вы, вольнодумец, масон? Вы не выставили его за дверь?

Он, казалось, смутился и пробормотал:

– Но пойми же, это удивительно, это перст божий! И к тому же он заговорил о моем отце. Он знал его.

– Вашего отца, дядя?

– Да, представь себе, он знал моего отца.

– Но это еще не повод, чтобы принимать иезуита.

– Согласен, но я был болен, очень болен. А он так самоотверженно ухаживал за мною всю ночь. Это само совершенство! Спасением своим я обязан ему. Ведь эти люди разбираются в медицине.

– Ага, он ухаживал за вами всю ночь. Но вы ведь сказали, что он только что ушел.

– Да, правда. Он выказал столько внимания ко мне, что я пригласил его позавтракать. Пока я пил чай, он поел тут же, за маленьким столиком, подле моей кровати.

– И... он оскорбился?

Дядюшку передернуло, как будто я сказал что-то страшно неприличное, и он прибавил:

– Не смейся, Гастон, бывают шутки неуместные. В данном случае этот человек отнесся ко мне сердечнее всякого родственника; я требую, чтоб уважали его убеждения.

Маленькая Рок

I

Почтальон Медерик Ромпель (местные жители звали его просто Медери) вышел в обычный час из почтового отделения Роюи-ле-Тор. Пройдя по городу крупным шагом отставного солдата, он пересек Вильомские луга, чтобы выйти к берегу Брендили и пройти вниз по течению, к деревне Карвлен, где начиналась раздача писем.

Он быстро шел берегом узкой речки, которая пенилась, журчала, бурлила и бежала по руслу, поросшему травами, под сенью ив. Вокруг больших камней, останавливающих течение, вода вздувалась валиком, охватывая их, словно галстук с бантом из пены. Местами встречались крошечные водопады; часто невидимые, они сердито и нежно рокотали под листьями, под лианами, под навесом зелени; а дальше берега расступались, и в тихих заводях среди зеленых прядей, стелющихся на дне спокойных ручьев, плавали форели.

Медерик все шел и шел, ни на что не глядя, думая об одном: «Первое письмо для Пуавронов, потом есть письмо господину Ренарде; надо, значит, пройти через рошу».

Синяя блуза почтальона, туго подпоясанная черным кожаным ремнем, быстро и мерно двигалась вдоль зеленой ивовой изгороди, а его трость – крепкая палка из остролистника – шагала рядом, в ногу с ним.

Он перешел Брендиль по стволу дерева, переброшенному с одного берега на другой; единственными перилами служила веревка, протянутая между двумя кольями, врытыми в землю.

Роща г-на Ренарде, мэра Карвлена, крупнейшего местного землевладельца, состояла из огромных старых деревьев, прямых, как колонны, и тянулась по левому берегу реки – границы этой необъятной зеленой кущи. Вдоль воды разросся кустарник, пригретый солнцем, но в самой роще не росло ничего, кроме мха, густого, пышного, мягкого мха, распространявшего в неподвижном воздухе легкий запах прели и палого листа.

Медерик замедлил шаг, снял черное кепи, украшенное красным галуном, и отер лоб: в поле уже начинало припекать, хотя не было и восьми часов утра.

Но только он надел кепи и зашагал дальше, ускоряя шаги, как вдруг увидел у подножия дерева ножичек, маленький детский ножичек. Поднимая его, он заметил еще наперсток, а потом, в двух шагах от него, игольник.

Подобрав вещи, он подумал: «Надо будет отдать их господину мэру» – и снова пустился в

путь, но теперь уже глядел в оба, ожидая найти что-нибудь еще.

Вдруг он резко остановился, как будто налетел на шлагбаум: в нескольких шагах от него на мху лежало совершенно обнаженное детское тело. Это была девочка лет двенадцати. Она лежала на спине, разметав руки, ноги были раздвинуты, лицо покрыто носовым платком, бедра слегка испачканы кровью.

Медерик приблизился на цыпочках, как будто ему угрожала опасность, вытаращив глаза.

Что это? Она, верно, спит? Но потом он рассудил, что никто не станет спать, раздевшись догола, в половине восьмого утра, в сыроватой тени деревьев. Тогда, значит, она мертва и здесь совершено преступление. При этой мысли холодная дрожь пробежала у него по спине, хотя он и был старый солдат. Да и к тому же в их местах убийство, и притом еще убийство ребенка, было такой редкостью, что он не верил своим глазам. У девочки не было ни одной раны, только на ноге запеклось немного крови. Как же ее убили?

Он подошел к ней вплотную и глядел, опершись на палку. Конечно, он должен был знать ее, как знал всех местных жителей, но, не видя лица, не мог угадать ее имени. Он нагнулся было, чтобы снять платок, покрывавший ее лицо, но остановился: неожиданная мысль удержала его руку.

Имеет ли он право менять что-нибудь в положении трупа до осмотра его представителями правосудия? Правосудие представлялось ему чем-то вроде генерала, который все замечает и придает оторванной пуговице не меньшее значение, чем удару ножом в живот. Под этим платком, быть может, обнаружат самую главную улику; ведь это – вещественное доказательство, а оно, пожалуй, потеряет свою силу от прикосновения неловкой руки.

Он выпрямился и решил скорее бежать к господину мэру, но другая мысль снова остановила его. Если девочка еще жива, он не может оставить ее в таком положении. Он тихонько опустился на колени, из осторожности – подальше от нее, и протянул руку к ее ноге. Нога была окоченевшая, охваченная тем ледяным холодом, который делает мертвую плоть такой страшной и уже не оставляет никаких сомнений. При этом прикосновении почтальон почувствовал, как рассказывал он после, что сердце у него перевернулось, а во рту пересохло. Быстро вскочив, он пустился бежать через рощу к дому г-на Ренарде.

Он бежал ровным бегом, держа палку под мышкой, сжав кулаки, вытянув голову; кожаная сумка, набитая письмами и газетами, мерно ударяла его по боку.

Дом мэра был расположен на краю леса, служившего ему парком, и одним углом уходил в маленькую заводь, образованную в этом месте Брендилю.

Это было большое квадратное здание из серого камня, очень старое, перенесшее не одну осаду в былые времена, и завершалось оно огромной башней в двадцать метров вышиной, выстроенной в воде.

С вышки этой крепости караульщики когда-то озирали окрестности. Неизвестно почему, ее прозвали башней Ренар⁵⁴ отсюда, очевидно, произошло и имя Ренарде, которое носили владельцы этого поместья, бывшего их родовой собственностью уже более двухсот лет, ибо Ренарде принадлежали к той буржуазной знати, которая часто встречалась в провинции до революции⁵⁵.

Почтальон вбежал в кухню, где завтракала прислуга, и крикнул:

– Что, господин мэр встал? Мне нужно поговорить с ним сейчас же.

Медерик был известен как человек солидный и положительный, и все сразу поняли, что произошло нечто важное.

Г-ну Ренарде доложили, и он приказал впустить посетителя. Бледный, запыхавшийся почтальон, держа кепи в руке, предстал перед мэром, сидевшим за длинным столом, заваленным бумагами.

Мэр был плотный и крупный мужчина, грузный и краснолицый, сильный, как бык, и очень любимый в округе, несмотря на свой крутой нрав. Ему было лет сорок, он овдовел полгода назад и жил на своей земле как деревенский дворянин. Из-за своего бурного темперамента он не раз попа-

⁵⁴ Renard (франц.) – лисица.

⁵⁵ До революции – имеется в виду французская революция XVIII века.

дал в неприятные истории, но его неизменно выручали чиновники Роюи-ле-Тора, снисходительные и верные друзья. Разве не он сбросил однажды с козел кондуктора дилижанса за то, что тот чуть было не раздавил его сеттера Микмака? Разве не он переломал ребра сторожу, который составил протокол, увидав мэра с ружьем в руках на участке, принадлежавшем соседу? Разве не он схватил за шиворот супрефекта, остановившегося в деревне во время служебной поездки, которую г-н Ренарде принял за предвыборную поездку? Ведь г-н Ренарде, по семейным традициям, находился в оппозиции к правительству.

Мэр спросил:

– Что случилось, Медерик?

– Я нашел в вашей роще мертвую девочку.

Ренарде вскочил; лицо его стало кирпичного цвета.

– Что вы говорите?... Девочку?

– Да, сударь, девочку, голую девочку, она лежит на спине, в крови, мертвая, совсем мертвая.

– Черт возьми, бьюсь об заклад, что это маленькая Рок. Мне сейчас сообщили, что она вчера вечером не вернулась домой. Где вы ее нашли?

Почтальон описал место, рассказал все подробности и предложил проводить туда мэра.

Но Ренарде резко сказал:

– Нет. Вы мне не нужны. Сейчас же пришлите ко мне полевого сторожа, секретаря мэрии и доктора, а сами продолжайте свой обход. Живо, живо, отправляйтесь и скажите им, чтобы они ждали меня в роще.

Почтальон, привыкший к дисциплине, повиновался и вышел, хотя был раздосадован и огорчен тем, что ему не придется присутствовать при осмотре.

Мэр тоже вышел, взяв шляпу, большую широкополую шляпу из мягкого серого фетра, и на мгновение остановился на пороге дома. Перед ним расстился широкий газон, на котором сверкали три крупных пятна – красное, синее и белое: три пышных клумбы с распустившимися цветами, одна перед домом и две по бокам. Дальше поднимались в небо первые деревья рощи, а слева, за Брендилю, расширявшейся в пруд, тянулись бесконечные поля, целый край, зеленый и плоский, пересеченный канавками и рядами ив, приземистых, карликовых, похожих на чудовища, с обрубленными сучьями и с дрожащим пучком веток на вершине толстого короткого ствола.

Справа, за конюшнями, за сараями, за всеми службами усадьбы, начиналось село, богатое село скотоводов.

Ренарде неторопливо спустился по ступенькам крыльца и, свернув влево, медленным шагом пошел вдоль берега, заложив руки за спину. Он шел, опустив голову, и время от времени оглядывался по сторонам, не идут ли те, за кем он послал.

Очутившись под деревьями, он остановился, снял шляпу и отер лоб – так же, как это сделал Медерик: раскаленное июльское солнце огненным дождем изливалось на землю. Мэр пошел дальше, остановился еще раз, повернул обратно. Вдруг он нагнулся, намочил носовой платок в реке, бежавшей у его ног, и покрыл им голову под шляпой. Капли воды текли у него по вискам, по ушам, всегда багровым, по могучей красной шее и исчезали одна за другой за белым воротником рубашки.

Так как никого еще не было, мэр начал постукивать ногой об землю, а потом крикнул:

– Ау! Ау!

Чей-то голос откликнулся справа:

– Ау! Ау!

И под деревьями показался доктор. Это был маленький тощий человечек, бывший военный хирург, которого во всей округе считали очень искусным врачом. Он хромал, так как был ранен на военной службе, и при ходьбе опирался на палку.

Затем они увидели сторожа и секретаря мэрии, которые были извещены одновременно и потому явились вместе. У них были испуганные лица, и они задыхались, потому что для скорости то шли, то бежали и при этом так сильно размахивали руками, что, казалось, работали ими гораздо успешнее, чем ногами.

Ренарде спросил у доктора:

– Вы знаете, в чем дело?

– Да, Медерик нашел в лесу мертвого ребенка.

– Верно. Идемте.

Они пошли рядом, а двое других следовали за ними. Их ноги беззвучно ступали по мху; глаза что-то искали там, впереди.

Вдруг доктор Лабарб протянул руку:

– Смотрите, вон там!

Очень далеко под деревьями можно было различить что-то светлое. Если бы они не знали, что именно, то не догадались бы. Оно казалось блестящим и белым и походило на упавшее в траву белье: луч солнца, проскользнув сквозь листву, освещал бледную плоть, падая широкою косою полосой поперек живота. Приближаясь, они постепенно начинали различать тело, покрытую голову, обращенную к реке, и обе руки, раскинутые, как на распяты.

– Мне страшно жарко, – сказал мэр.

И, нагнувшись к реке, он снова намочил платок и положил его на лоб.

Доктор, заинтересованный находкой, ускорил шаг. Подойдя к труп, он нагнулся, чтобы рассмотреть его, не прикасаясь к нему. Он надел пенсне, точно разглядывал какую-то достопримечательность, и медленно обошел вокруг тела.

Еще не разгибаясь, он объявил:

– Изнасилование и убийство, что мы сейчас и установим. Эта девочка, впрочем, почти женщина: взгляните на ее грудь.

Обе груди, уже довольно полные, опали, тронутые смертью.

Доктор осторожно приподнял платок, закрывавший лицо. Оно было черное, страшное; язык высунут, глаза выкатились. Он продолжал:

– Черт возьми, ее задушили после того, как дело было сделано.

Он ощупал шею:

– Задушили руками, и притом не оставив никаких следов, – ни царапины ногтем, ни отпечатка пальцев. Очень хорошо. Да, действительно, это маленькая Рок.

Он опять осторожно накрыл ее платком.

– Мне здесь делать нечего: она умерла по крайней мере часов двенадцать тому назад. Надо сообщить следственным властям.

Ренарде стоял, заложив руки за спину, и не сводил глаз с маленького тела, распростертого на траве. Он прошептал:

– Какой мерзавец! Надо бы отыскать ее платье.

Доктор ощупал плечи, руки и ноги.

– Вероятно, она купалась перед этим, – сказал он. – Вещи, должно быть, остались на берегу.

Мэр распорядился:

– Пренсип (так звали секретаря мэрии), пойд и поищи на берегу ее тряпки, а ты, Максим (так звали сторожа), сбегай в Роюи-ле-Тор и приведи следователя и жандармов. Чтобы через час они были здесь. Слышишь?

Оба подчиненных быстро удалились, и Ренарде обратился к доктору:

– Какой же это негодяй мог выкинуть такую штуку в нашей местности?

– Как знать? – тихо ответил доктор. – На это способен каждый. То есть каждый в отдельности и никто вообще. Но вернее всего, это какой-нибудь бродяга, какой-нибудь безработный мастеровой. С тех пор как у нас республика, они вечно шляются по дорогам.

И доктор и мэр были бонапартистами⁵⁶.

Мэр подтвердил:

– Конечно, это мог сделать только чужой, какой-нибудь прохожий или бродяга, у которых нет ни хлеба, ни крова...

– Ни женщины, – добавил доктор с подобием улыбки. – Ужина и ночлега у него не было, так

⁵⁶ И доктор и мэр были бонапартистами – то есть сторонниками свергнутой Второй империи, оппозиционно настроенными к Третьей республике.

он поживился чем мог. Трудно представить себе, сколько мужчин на свете способны в известную минуту на подобное преступление. Вы знали, что девочка пропала?

И концом трости он стал перебирать один за другим застывшие пальцы покойницы, нажимая на них, как на клавиши рояля.

– Да. Мать приходила ко мне вчера, часов в девять вечера, так как девочка не вернулась в семь часов к ужину. Мы до полуночи звали ее по всем дорогам, но не подумали о роще. Да и надо было дожидаться дня, чтобы поиски действительно могли увенчаться успехом.

– Хотите сигару? – предложил доктор.

– Спасибо, не хочется. От всего этого мне не по себе.

Они все еще стояли над хрупким телом подростка, таким бледным на темном мху. Огромная навозная муха, прогуливаясь по бедру, остановилась у кровавых пятен, поползла дальше, кверху, поднимаясь по боку быстрым и скачущим бегом, взобралась на одну грудь, потом спустилась, чтобы обследовать другую, стараясь отыскать на этом трупе что-нибудь съедобное. Мужчины следили за движущейся черной точкой.

Доктор сказал:

– Как это красиво – муха на коже. Недаром дамы прошлого века наклеивали на лицо мушки. Почему, собственно, это вышло из моды?

Мэр, казалось, не слышал его, погрузившись в раздумье.

Но вдруг он обернулся, уловив какой-то шум: под деревьями бежала женщина в чепце и в синем фартуке. Это была мать девочки, тетушка Рок. Увидев Ренарде, она тотчас же заголосила: «Дочка моя, где моя дочка?» Она до того обезумела, что и не глядела на землю. И вдруг, при виде трупа, она остановилась как вкопанная, сложила руки, вскинув их над головой, испустила отчаянный, пронзительный вопль, вопль раненого животного.

Потом она бросилась к телу, упала на колени и подняла, скорее, сорвала, платок, закрывавший голову. Увидев страшное, почерневшее, искаженное лицо, она сразу вскочила, потом рухнула на землю и зарылась лицом в густой мох, издавая ужасные протяжные крики.

Ее длинное тощее тело, обтянутое платьем, сводило судорогой. Видно было, как вздрагивали костлявые щиколотки и худые икры в грубых синих чулках; скрюченными пальцами она рыла землю, как будто хотела выкопать яму и укрыться в ней.

Взволнованный доктор прошептал: «Несчастливая старуха!» Ренарде почувствовал вдруг какое-то странное ощущение в животе, потом он громко чихнул, сразу носом и ртом, вытащил носовой платок, закрылся им и расплакался, шумно кашляя, всхлипывая и сморкаясь. Он лепетал:

– Про... про... проклятое животное... я... я бы его на гильотину!..

Но вот появился Пренсип с понурым видом и пустыми руками. Он пробормотал:

– Я ничего не нашел, господин мэр, ровно ничего и нигде.

Расстроенный мэр ответил осипшим голосом, захлебываясь от слез:

– Чего ты не нашел?

– Да девочкиных тряпок.

– Ну... ну... еще поищи... и... и... смотри, найди... иначе будешь иметь дело со мной.

Пренсип, зная, что мэру лучше не противоречить, уныло удалился, искоса и боязливо поглядывая на труп.

Вдали, под деревьями, послышались голоса, нестройный гул, шум приближающейся толпы: Медерик во время своего обхода разнес новость из дома в дом. Местные жители, совершенно ошеломленные известием, сперва переговаривались через улицу, с порога своих домов, потом сошлись вместе, несколько минут спорили, обсуждали событие, а затем отправились посмотреть своими глазами, что случилось.

Они появлялись отдельными кучками, немного смущенные и взволнованные, страшась первого впечатления. Увидев тело, они остановились, не решаясь подойти ближе, перешептываясь между собой. Потом осмелели, сделали несколько шагов, остановились, опять двинулись вперед и обступили мертвую девочку, ее мать, доктора и Ренарде густою, взволнованной, шумной толпой, круг которой все суживался под напором вновь прибывающих и вскоре подошел вплотную к телу. Некоторые даже нагибались, чтобы потрогать его. Доктор отстранил их. Но мэр вышел вдруг из

оцепенения, рассвирепел и, схватив палку доктора Лабарба, бросился на своих сограждан с криком: «Вон... вон отсюда... скоты... убирайтесь!..» В одно мгновение цепь любопытных отодвинулась метров на двести.

Тетушка Рок поднялась, обернулась и села. Теперь она плакала, закрыв лицо руками.

В толпе обсуждали событие; жадные взгляды парней шарили по обнаженному молодому телу. Ренарде заметил это, сорвал с себя полотняный пиджак и набросил его на девочку; широкая одежда закрыла ее целиком.

Зеваки потихоньку приблизились опять; роща наполнялась народом; непрерывный гул голов сов разносился под густой листвой высоких деревьев.

Мэр стоял без пиджака, с палкой в руке, в воинственной позе. Любопытство толпы, по-видимому, приводило его в бешенство, и он повторял:

– Если только кто-нибудь посмеет подойти, я размозжу ему голову, как собаке!

Крестьяне сильно побаивались его и старались держаться поодаль. Доктор Лабарб, продолжавший курить, подсел к тетушке Рок и заговорил с ней, чтобы ее рассеять. Она тотчас же отвела руки от лица и ответила потоком жалобных слов, изливая свое горе в обильных речах. Она рассказала ему всю свою жизнь – замужество, смерть мужа-погонщика, которого забодал бык, детство дочери, – все свое жалкое существование вдовы с ребенком, без всяких средств. У нее никого не было, кроме маленькой Луизы, и вот ее убили, убили здесь, в лесу. Ей вдруг захотелось еще раз взглянуть на девочку; она подползла на коленях к труп, подняла край прикрывавшей его одежды, потом опустила его и снова принялась голосить. Толпа молчала, жадно следя за каждым движением матери.

Но вдруг все шумно задвигались, и слышались крики:

– Жандармы! Жандармы!

Вдали показались два жандарма. Они ехали крупной рысью, сопровождая капитана и маленького человечка с рыжими баками, подпрыгивавшего, как обезьяна, на высокой белой кобыле.

Сторож застал следователя, г-на Пютуана, в тот самый момент, когда он садился на лошадь, чтобы отправиться на ежедневную верховую прогулку: следователь, к великой потехе офицеров, считал себя прекрасным наездником.

Он спешил вместе с капитаном, пожал руку мэру и доктору и окинул пронзительным взглядом полотняный пиджак, приподнятый лежащим под ним телом.

Ознакомившись со всеми обстоятельствами происшествия, он прежде всего приказал удалить публику; жандармы вытеснили ее из рощи, но толпа вскоре появилась на лугу, и вдоль Бренди по ту сторону реки образовалась настоящая изгородь, длинная изгородь движущихся возбужденных голов.

Потом доктор, в свою очередь, начал давать объяснения, которые Ренарде заносил карандашом в записную книжку. Показания были сняты, зарегистрированы, обсуждены, но ни к чему не привели. Пренсип также вернулся с пустыми руками, он не нашел никаких следов одежды.

Исчезновение платья поражало всех; его можно было бы объяснить только кражей, но так как эти лохмотья не стоили и двадцати су, то всякая мысль о краже отпадала.

Следователь, мэр, капитан, доктор сами взялись за поиски и, разделившись попарно, общарили даже самые мелкие кусты у воды.

Ренарде спросил следователя:

– Как же могло случиться, что этот негодяй спрятал или унес тряпки, а тело оставил на открытом месте, на самом виду?

Тот ответил с таинственным и проницательным видом:

– Хе-хе! Вероятно, обычная уловка. Это преступление совершил либо просто скот, либо отъявленный мерзавец. Во всяком случае, мы это быстро раскроем.

Шум катящегося экипажа заставил их обернуться: приехали товарищ прокурора, доктор и письмоводитель суда. Поиски возобновились, завязался оживленный разговор.

– Знаете что, – сказал вдруг Ренарде, – оставайтесь у меня завтракать.

Все с улыбкой приняли приглашение, и следователь, полагая, что на сегодня маленькой Рок уделено достаточно внимания, обратился к мэру:

– Можно приказать перенести тело к вам? У вас найдется, вероятно, свободная комната до вечера?

Но мэр смутился и забормотал:

– Нет... нет... По правде сказать, мне не хотелось бы брать тело к себе... из-за... из-за... прислуги... Они... они и так уж поговаривают о привидениях... в башне, в башне Ренар... знаете... Они у меня все разбегутся... нет... я бы не хотел, чтобы оно было у меня в доме.

Следователь улыбнулся:

– Хорошо. Я прикажу сразу же отправить тело в Роюи для вскрытия.

И, обратясь к товарищу прокурора, спросил:

– Разрешите воспользоваться вашим экипажем?

– Пожалуйста.

Все вернулись к труп. Тетушка Рок сидела теперь рядом с дочерью, держа ее за руку и уставившись прямо перед собой мутным, отупелым взглядом.

Оба врача пытались увести ее, чтобы она не видела, как унесут девочку, но она тотчас же догадалась, что будет, и, бросившись на тело, обхватила его обеими руками. Лежа на нем, она кричала:

– Не отдам, это мое, это пока мое!.. Убили ее у меня, так не отдам, пусть она хоть побудет со мной!

Мужчины смущенно и нерешительно стояли вокруг матери. Ренарде опустился рядом с ней на колени, чтобы уговорить ее:

– Послушайте, матушка Рок, ведь нужно взять ее, чтобы узнать, кто ее убил; иначе мы не узнаем, а надо же его найти и наказать. Вам ее вернут, когда мы его разыщем, обещаю вам.

Этот довод поколебал женщину, и в ее блуждающем взгляде вспыхнула ненависть.

– Так его поймают? – спросила она.

– Да, обещаю вам.

Она встала, готовясь уступить, но, когда капитан пробормотал: «Все-таки странно, что не нашли одежду», у нее внезапно возникла новая мысль, до сих пор не приходившая в ее голову крестьянки, и она спросила:

– А как же одежда? Она моя, отдайте ее мне. Куда ее девали?

Ей объяснили, что одежду никак не могут найти; но она требовала ее с отчаянным упорством, с плачем и причитаниями:

– Она моя! Отдайте ее мне! Где она? Отдайте!

Чем больше ее старались успокоить, тем сильнее она рыдала и настаивала на своем. Теперь она уже не просила тело, она желала только получить вещи, вещи дочери, столько же, может быть, из бессознательной жадности бедняка, которому серебряная монета кажется целым состоянием, сколько из материнского чувства.

Когда маленькое тело, завернутое в одеяло, за которым послали к Ренарде, скрылось в экипаже, тетюшка Рок, стоя под деревьями, поддерживаемая мэром и капитаном, запрыгивала:

– Ничего у меня не осталось, ничего, ничего на свете, совсем ничего, даже ее чепчика, даже чепчика; ничего у меня нет, ничего нет, даже ее чепчика!

В это время появился кюре, совсем еще молодой, но уже успевший растолстеть священник. Он взялся проводить мать до дому, и они пошли вместе к деревне. Ее горе утихало под влиянием сладких речей священника, сулившего ей в будущем множество воздаяний. Но она не переставала твердить: «Будь у меня хоть ее чепчик...» – привязавшись к этой мысли, вытеснившей теперь все остальное.

Ренарде крикнул издали:

– Господин аббат, приходите завтракать с нами! Через часок!

Священник обернулся и ответил:

– С удовольствием, господин мэ. Я буду у вас к двенадцати.

Все направились к дому; его серый фасад и высокая башня у берега Брендили виднелись сквозь ветви.

Завтрак длился долго; говорили о преступлении. Все единодушно признали, что оно совер-

шено каким-нибудь бродягой, случайно проходившим мимо, когда девочка купалась в реке.

Потом чиновники уехали в Роюи, обещая возвратиться завтра с утра, доктор и кюре тоже отправились по домам, а Ренарде после долгой прогулки по лугам пошел в рощу и медленными шагами бродил там до самой ночи, заложив руки за спину.

Он лег очень рано и еще спал, когда утром к нему в комнату вошел следователь и сказал с довольным видом, потирая руки:

– Ах, вы еще спите! Ну, дорогой мой, у нас сегодня новости.

Мэр сел на кровати.

– Что такое?

– О! Нечто весьма странное! Помните, как мать просила вчера что-нибудь на память о дочери, в особенности ее чепчик. Так вот, сегодня утром открывает она дверь – и находит на пороге маленькие сабо девочки. Это доказывает, что преступление совершил кто-то из местных жителей, кто-то, кому стало жалко мать. А потом почтальон Медерик принес мне наперсток, игольник и ножичек убитой. Значит, убийца, унося ее тряпки, чтобы их спрятать, выронил вещи из кармана. Мне лично особенно важным кажется то, что вернули башмаки; этот факт свидетельствует об известной моральной культуре убийцы и о том, что он не лишен чувствительности. Если вы не возражаете, мы могли бы перебрать с вами главнейших местных жителей.

Мэр встал. Он позвонил, чтобы подали горячую воду для бритья, и ответил:

– Пожалуйста, но это будет довольно долго, так что лучше начнем сейчас же.

Г-н Пютуан уселся верхом на стул – он даже в комнате не мог отрешиться от своей мании верховой езды.

Ренарде намылил перед зеркалом подбородок, потом выправил на ремне бритву и продолжал:

– Главный житель Карвлена – Жозеф Ренарде, мэр, богатый землевладелец, грубиян, колотит сторожей и кучеров...

Следователь засмеялся:

– Достаточно... Перейдем к следующему...

– Второй по положению – господин Пельдан, помощник мэра, скотовод, тоже богатый землевладелец, хитрый крестьянин, выжига, очень изворотливый в денежных делах, но, по-моему, на такое преступление он не способен.

Г-н Пютуан сказал:

– Дальше.

И, бреясь, а затем умываясь, Ренарде произвел моральный смотр всем жителям Карвлена. После двухчасовой беседы их подозрения остановились на трех довольно сомнительных личностях: на браконьере по имени Каваль, на Паке, промышлявшем ловлей раков и форелей, и на погонщике быков Кловисе.

II

Следствие продолжалось все лето, но преступника так и не нашли. Все заподозренные и арестованные без труда доказывали свою невиновность, и судебным властям пришлось прекратить дело.

Но убийство сильнейшим образом взбудоражило всю округу. В душах жителей осталась какая-то тревога, смутный страх, чувство таинственного ужаса, вызванное не только невозможностью обнаружить какие бы то ни было следы, но также, – и даже, пожалуй, в особенности, – странным появлением сабо перед дверью тетушки Рок на другой день после преступления! Уверенность в том, что убийца присутствовал при осмотре трупа, что он, очевидно, продолжает жить в деревне, тревожила умы, преследовала неотступно и нависла над селом как постоянная угроза.

Да и сама роща превратилась в страшное место, которого все избегали: говорили, что в ней нечисто. Прежде крестьяне приходили туда гулять по воскресеньям, после обеда. Они усаживались на мху у подножия огромных деревьев или же бродили по берегу, высматривая форель, мель-

кавшую между водорослями. Парни играли в шары, в кегли, в пробку⁵⁷, в мяч на расчищенных и утрамбованных ими площадках; а девушки гуляли по четверо, по пятеро в ряд, взявшись за руки и распевая крикливыми голосами романсы, терзавшие слух; фальшивые ноты сотрясали тихий воздух и вызвали ощущение оскотины, как от уксуса. Но теперь уже никто не приходил под эту густую сень, словно люди боялись опять увидеть труп.

Настала осень, начался листопад. Легкие, круглые листья падали день и ночь и, кружась, спускались вдоль стволов высоких деревьев; небо уже начинало проглядывать сквозь ветви. Порой, когда по верхушкам деревьев проносился порыв ветра, этот медленный, непрерывный дождь внезапно усиливался, и шумный ливень устилал мох толстым желтым ковром, похрустывающим под ногами. Почти неуловимый шелест, реющий, беспрестанный, нежный шелест опадания, звучал, как жалоба, и эти беспрерывно падающие листья казались слезами, крупными слезами, которые проливали печальные большие деревья, день и ночь оплакивая конец года, конец прохладных зорь и тихих вечеров, конец теплого ветра и ясного солнца, а может быть, и преступление, совершенное здесь, под их сенью, девочку, изнасилованную и убитую у их подножия. Они плакали среди молчания покинутого пустого леса, заброшенного, страшного леса, где блуждала в одиночестве маленькая душа маленькой покойницы.

Брендиль, вздувшаяся от дождей, желтая, гневная, бежала быстрее между опустелыми берегами, между двумя рядами тощих и обнаженных ив.

И вдруг Ренарде снова начал гулять в роще. Каждый день, под вечер, он выходил из дому, медленно спускался с крыльца и шел под деревья с задумчивым видом, засунув руки в карманы. Он долго бродил по мокрому и рыхлому мху, а в небе, подобно траурному вуалю, развевающемуся по ветру, кружило с отчаянным и зловещим криком целое полчище ворон, слетавшихся сюда со всех окрестностей ночевать на верхушках деревьев.

Иногда они спускались, усеивая черными пятнами сучья, торчащие в багровом небе, в кровавом небе осенних сумерек, но вдруг с ужасным карканьем снимались с места и развертывали над лесом длинную черную ленту своего полета.

В конце концов они садились на вершины самых высоких деревьев, постепенно прекращали свой гомон, и в темнеющей ночи их темное оперение сливалось с окружающей мглой.

А Ренарде все еще медленно бродил под деревьями; когда же сумрак сгустался настолько, что ходить становилось невозможно, он возвращался домой, падал в кресло перед ярким пламенем камина и протягивал к очагу мокрые ноги, долго дымившиеся перед огнем.

Но вот однажды утром всю округу облетела большая новость: мэр велел снести рощу.

Двадцать дровосеков уже приступили к работе. Они начали с участка, ближнего к дому, и быстро продвигались вперед под наблюдением самого хозяина.

Прежде всего на деревья взбирались те, которые обрубали сучья.

Привязав себя к стволу веревочной петлей, дровосеки сначала обхватывают его руками, потом, подняв ногу, сильно ударяют по нему стальным шипом, прикрепленным к подошве башмака. Острие, вонзаясь в дерево, застревает в нем, и рабочий поднимается, как по ступеньке, всаживает в ствол шип, прикрепленный к другой ноге, поднимается с его помощью и опять всаживает первый шип.

С каждым шагом он все выше подтягивает веревочную петлю, привязывающую его к дереву; у бедра его висит и сверкает стальной топорик. Человек ползет медленно, как паразитическое животное по телу великана, тяжело взбирается по огромной колонне, обнимает ее и вонзает в нее шпоры, чтобы затем снести ей голову.

Добравшись до первых сучьев, дровосек останавливается, отвязывает острый топорик, висящий у него на боку, и наносит первый удар. Он ударяет медленно, методично, подрубая сук как можно ближе к стволу; вдруг ветвь трещит, поддается и повисает, обламывается и падает, задевая на лету соседние деревья. Она обрушивается на землю с громким треском раскалывающегося дерева, и все ее мелкие ветви еще долго трепещут.

⁵⁷ Играли... в пробку – игра, состоящая в том, чтобы при помощи камня или бильярдного шара повалить пробку, на которую положена монета.

Земля покрывалась сучьями, и другие рабочие обрубали их, связывали в охапки, складывали в кучи, а не тронутые еще стволы деревьев стояли вокруг, словно огромные столбы, гигантские колья, подвергнутые ампутации и выбритые острой сталью топора.

Закончив обрубку, рабочий оставлял на прямой и тонкой верхушке дерева подтянутую им за собой веревочную петлю и, снова вонзая шпоры, спускался по обнаженному стволу, за который тогда принимались дровосеки, подрубая его у самого корня сильными ударами, гулко разносящимися по роще.

Когда рана, нанесенная подножию дерева, становилась достаточно глубокой, несколько человек, издавая мерные крики, начинали тянуть веревку, привязанную к вершине, и огромная мачта, вдруг затрещав, обрушивалась на землю с глухим гулом, сотрясая воздух подобно отдаленному пушечному выстрелу.

Лес убывал с каждым днем, теряя срубленные деревья, как армия теряет солдат.

Ренарде уже не уходил отсюда; он оставался здесь с утра и до вечера и, заложив руки за спину, неподвижно созерцал медленное уничтожение своей рощи. Когда дерево падало, он наступал на него ногой, как на труп. Потом переводил глаза на следующее со скрытым и спокойным нетерпением, как будто чего-то ожидал или надеялся на что-то к концу этой бойни.

Между тем уже приближались к тому месту, где была найдена маленькая Рок. Добрались до него однажды под вечер, когда начинало смеркаться.

Так как темнело и небо было обложено тучами, дровосеки решили прекратить работу, оставив рубку огромного бука до следующего дня; но мэр воспротивился этому и потребовал, чтобы они немедленно обкорнали и свалили великана, укрывшего своей сенью преступление.

Когда рабочий оголил дерево и закончил последний туалет этого осужденного и когда дровосеки подрубили его основание, пять человек начали тянуть веревку, привязанную к верхушке.

Дерево сопротивлялось; его могучий ствол, хотя и разрубленный до самой сердцевины, был тверд, как железо. Рабочие, все сразу, одновременно, равномерным рывком натягивали веревку, сгибаясь до земли, и выпускали единый сдавленный гортанный крик, который отмечал и соразмерял их усилия.

Два дровосека с топорами в руках стояли рядом с великаном, словно палачи, готовясь нанести новый удар, а неподвижный Ренарде, положив руку на ствол, ждал падения дерева с тревожным и нервным волнением.

Один из рабочих сказал ему:

– Вы очень близко стали, господин мэр. Как бы не зашибло вас.

Он ничего не ответил, не отступил ни на шаг; казалось, он, как борец, обхватит бук обеими руками и повалит его на землю.

Вдруг у основания высокой древесной колонны что-то треснуло, и по всему стволу, до самой вершины, казалось, пробежала болезненная судорога; колонна покосилась, готовая упасть, но все еще сопротивляясь. Возбужденные рабочие, напрягая мускулы, сделали еще одно усилие, и в тот момент, когда сломанное дерево обрушивалось на землю, Ренарде вдруг шагнул вперед и остановился, подняв плечи, чтобы принять неотразимый удар, смертельный удар, который должен был раздавить его на месте.

Но дерево немного отклонилось и лишь слегка задело Ренарде, отбросив его метров на пять в сторону, так что он упал ничком.

Рабочие кинулись поднимать его, но он уже сам приподнялся на колени, оглушенный, с блуждающими глазами, проводя рукой по лбу, как будто очнувшись от момента безумия.

Когда он встал на ноги, удивленные дровосеки, не понимая, что он сделал, принялись его расспрашивать. Он ответил, запинаясь, что на мгновение лишился рассудка, или, вернее, на секунду перенесся во времена своего детства, что ему представилось, будто он успеет пробежать под деревом, как мальчишки перебегают дорогу мчащемуся экипажу, что это была игра с опасностью, что за последнюю неделю в нем все усиливалось это желание, и каждый раз, когда раздавался треск падающего дерева, он думал о том, успеет ли пробежать под ним так, чтобы его не задело. Это, конечно, глупость, он согласен, но у каждого бывают такие минуты затмения и такого рода нелепые ребяческие соблазны.

Он говорил медленно, глухим голосом, подыскивая слова, потом ушел, сказав:

– До завтра, друзья мои, до завтра.

Вернувшись к себе в спальню, он сел за стол, ярко освещенный лампой с абажуром, и, обхватив голову руками, разрыдался.

Он плакал долго, потом вытер глаза, поднял голову и взглянул на часы. Шести еще не было. Он подумал: «До обеда еще есть время» – и пошел запереть дверь на ключ. Потом он снова сел за стол, отпер средний ящик, вынул оттуда револьвер и положил его поверх бумаг, на самое освещенное место. Сталь оружия лоснилась и отсвечивала огненными бликами.

Ренарде некоторое время глядел на револьвер мутным, как у пьяного, взглядом, потом встал и принялся ходить.

Он шагал по комнате из конца в конец и время от времени останавливался, но тотчас же начинал шагать снова. Внезапно он распахнул дверь в умывальную комнату, окунул полотенце в кувшин с водой и смочил им лоб, как в день убийства. Потом снова зашагал по комнате. Каждый раз, как он проходил мимо стола, сверкающее оружие привлекало его взор, притягивало руку, но он следил за часами и думал: «Еще есть время».

Пробило половину шестого. Тогда он взял револьвер, с ужасной гримасой широко разинул рот и всунул туда дуло, словно собираясь проглотить его. Он простоял так несколько мгновений в неподвижности, держа палец на курке, но потом вдруг, содрогнувшись от ужаса, швырнул револьвер на ковер.

И, рыдая, бросился в кресло:

– Я не могу! Не смею! Господи! Господи! Как мне набраться духу, чтобы покончить с собой!

В дверь постучали; он испуганно вскочил. Слуга за дверью доложил:

– Кушать подано.

Ренарде ответил:

– Хорошо. Иду.

Он поднял револьвер, снова запер его в ящик и взглянул на себя в зеркало, висевшее над камином, чтобы увидеть, не слишком ли искажено лицо. Оно было красное, как всегда, может быть, немного краснее. Только и всего. Он сошел вниз и сел за стол.

Он ел медленно, как бы желая продлить время обеда, как бы боясь опять остаться наедине с самим собой. Затем выкурил в зале несколько трубок, пока убирали со стола. Потом вернулся в свою комнату.

Едва он запер дверь, как тотчас же заглянул под кровать, раскрыл все шкафы, обшарил все углы, осмотрел мебель. Затем зажег свечи на камине и, несколько раз повернувшись кругом, обвел комнату взглядом, полным тоски и ужаса, которые искажали его лицо. Ведь он знал, что увидит ее, как видел каждую ночь, ее, маленькую Рок, маленькую девочку, которую он изнасиловал, а потом задушил.

Каждую ночь повторялось ужасное видение. Сперва в ушах начинался неясный гул, похожий на шум молотилки или далекого поезда на мосту. Он тяжело дышал, задыхался, ему приходилось расстегивать ворот рубашки и пояс. Он ходил по комнате, чтобы помочь кровообращению, пытался читать, петь, но все напрасно. Мысль его против воли возвращалась ко дню убийства и заставляла снова переживать этот день во всех сокровеннейших подробностях, со всеми бурными волнениями, от первой и до последней минуты.

Поднявшись в то утро, в утро того ужасного дня, Ренарде почувствовал легкое головокружение и мигрень, которые приписал жаре, и потому решил остаться в спальне до завтрака. После завтрака он отдыхал, а к вечеру вышел подышать прохладным и тихим воздухом под деревьями своей рощи.

Но как только он вышел из дому, тяжелый и знойный воздух равнины подействовал на него еще более угнетающе. Солнце, еще высоко стоявшее в небе, обдавало опаленную, пересохшую, жаждущую землю потоками жгучего света. Ни единое дуновение ветра не колыхало листьев. Все животные, птицы, насекомые, даже кузнечики умолкли. Дойдя до деревьев, Ренарде пошел по мху, туда, где Брендиль, под необъятным сводом ветвей, давала немного прохлады. Он чувствовал себя плохо. Казалось, чья-то неведомая, невидимая рука сжимает ему горло, и он шел, ни о чем не

думая, так как и вообще мало о чем размышлял. Одна лишь смутная мысль преследовала его вот уже три месяца – мысль о женитьбе. Он страдал от одиночества, страдал морально и физически. За десять лет он привык все время ощущать подле себя женщину, привык к ее постоянному присутствию, ежедневным объятиям и испытывал потребность, смутную и настоящую потребность в непрестанном соприкосновении с нею, в регулярных ласках. После смерти г-жи Ренарде он все время страдал, сам хорошенько не понимая отчего; страдал оттого, что ее юбки больше не задевают его ног в течение всего дня, и, главное, оттого, что он уже не может больше успокаиваться и затихать в ее объятиях. Он вдовел всего полгода, но уже присматривал в окрестностях девушку или вдову, чтобы жениться, как только кончится траур.

У него была целомудренная душа, но мощное тело Геркулеса, и плотские видения начинали тревожить его во сне и наяву. Он отгонял их, они возвращались, и порой он шептал, посмеиваясь сам над собой:

– Я прямо как святой Антоний.

В то утро у него было несколько таких навязчивых видений, и ему вдруг захотелось выкупаться в Брендили, чтобы освежиться и остудить жар в крови.

Он знал немного дальше по реке одно широкое и глубокое место, где окрестные жители купались иногда летом. Туда он и направился.

Густые ивы скрывали эту прозрачную заводь, где течение отдыхало и подремывало, прежде чем снова пуститься в путь. Приблизившись, Ренарде услышал тихий шорох, легкие всплески, во все не походившие на плеск воды о берег. Он осторожно раздвинул ветки и посмотрел. Девочка, совсем голая, вся белая в прозрачных волнах, шлепала по воде обеими руками, подпрыгивая и грациозно кружась. Уже не ребенок, но еще не женщина, полная, вполне сформировавшаяся, она казалась скороспелым подростком, быстро вытянувшимся и почти созревшим. Ренарде не шевелился, оцепенев от удивления и тревоги, прерывисто дыша в каком-то странном, щемящем волнении. Он стоял, и сердце его стучало, как будто сбился один из его чувственных снов, как будто недобрая фея явила ему это волнующее, слишком юное создание, эту маленькую деревенскую Венеру, рожденную пеною ручейка, подобно той великой, родившейся из морских волн.

Вдруг девочка вышла из воды и, не замечая Ренарде, пошла прямо на него, чтобы взять платье и одеться. Она приближалась, ступая мелкими, неуверенными шажками, остерегаясь острых камешков, а он чувствовал, что его толкает к ней какая-то непреодолимая сила, какое-то животное вожделение: оно воспламеняло всю его плоть, наполняло безумием душу, заставляло его дрожать с головы до ног.

Девочка задержалась на несколько мгновений за ивой, скрывавшей Ренарде. Тогда, теряя рассудок, он раздвинул ветви, ринулся на нее и обхватил ее обеими руками. Она упала, слишком ошеломленная, чтобы сопротивляться, слишком перепуганная, чтобы позвать на помощь, и он овладел ею, сам не сознавая, что делает.

Он очнулся от своего преступления, как от кошмара. Девочка заплакала.

Он сказал:

– Замолчи, замолчи. Я дам тебе денег.

Но она не слушала и плакала навзрыд.

Он повторял:

– Да замолчи же, замолчи. Замолчи!

Она начала отчаянно вопить, извиваясь, чтобы высвободиться.

Тут он понял, что погиб, и схватил ее за горло, чтобы остановить пронзительные, ужасные крики. Но она продолжала отбиваться с отчаянной силой существа, спасающего свою жизнь, и он сжал своими огромными руками ее маленькое горло, вздувшееся от крика, сжал его так бешено, что мгновенно задушил девочку, хотя вовсе не думал об убийстве, а просто хотел заставить ее замолчать.

Потом он вскочил, обезумев от ужаса.

Она лежала перед ним, окровавленная, с почерневшим лицом. Он хотел бежать, но в его смятенной душе проснулся тот таинственный, смутный инстинкт, который руководит всеми живыми существами в минуту опасности.

Ренарде сперва решил бросить тело в воду, но какое-то другое побуждение толкнуло его к платью девочки. Он собрал вещи в небольшой узел, перевязал его веревкой, оказавшейся в кармане, и спрятал в глубокую яму в реке, под корягой, корни которой уходили в воду.

Потом он удалился крупными шагами, прошел по лугам, сделал большой обход, чтобы его видели крестьяне, живущие далеко, на другом конце округа, и, вернувшись в обычный час к обеду, рассказал слугам весь маршрут своей прогулки.

Как ни странно, в ту ночь он спал, спал тяжелым, животным сном, как, должно быть, спят иногда приговоренные к смерти. Проснулся он на рассвете, но не вставал, дожидаясь обычного часа, терзаемый страхом при мысли, что преступление будет обнаружено.

Затем ему пришлось присутствовать при следствии и осмотрах. Он участвовал во всем, как лунатик, как одержимый галлюцинацией, различая людей и предметы, точно сквозь сон, точно в пьяном тумане, с тем ощущением нереальности, которое смущает ум в часы великих катастроф.

Только раздирающий вопль матушки Рок схватил его за сердце. В этот миг он готов был броситься к ее ногам и крикнуть: «Это я». Но он сдержался. Все же ночью он выловил из воды сабо убитой и поставил у порога матери.

Пока длилось дознание, пока ему надо было направлять и сбивать со следа правосудие, он был полон спокойствия, самообладания, он был изворотлив, он улыбался. Он невозмутимо обсуждал с чиновниками все догадки, приходившие им на ум, опровергал их мнения, оспаривал их доводы. Он находил даже некоторое острое и мучительное наслаждение в том, чтобы мешать их розыскам, путать их предположения, оправдывать тех, кого они считали подозрительными.

Но с того дня, как прекратились поиски, он стал раздражителен, еще более вспыльчив, чем обычно, хотя и сдерживал вспышки гнева. При внезапном шуме он испуганно вскакивал; малейший пустяк заставлял его трепетать; если ему на лоб садилась муха, он содрогался с головы до ног.

Им овладела непреодолимая потребность движения, заставлявшая его совершать невероятные переходы, оставаться на ногах ночи напролет и все время шагать по комнате.

Не то чтобы его терзали угрызения совести. Его грубая натура не поддавалась никаким оттенкам чувств или морального страха. Человек энергичный и даже буйный, рожденный для того, чтобы воевать, опустошать завоеванные страны, изничтожать побежденных, человек со свирепыми инстинктами охотника и вояки, он не дорожил человеческой жизнью. Хотя он и уважал церковь из политических соображений, но сам не верил ни в бога, ни в черта и, следовательно, не ожидал в будущей жизни ни кары, ни воздаяния за поступки, совершенные в жизни земной. Веру ему заменяла туманная философия, составленная из самых разнообразных идей энциклопедистов прошлого столетия; религию он расценивал как моральную санкцию закона, причем полагал, что и то и другое изобретено людьми для упорядочения социальных отношений.

Убить кого-нибудь на дуэли, или на войне, или в ссоре, или по нечаянности, или из мести, или даже из бахвальства он считал забавным, молодецким делом, и это оставило бы в его душе не больше следа, чем выстрел по зайцу; но убийство девочки глубоко его потрясло. Он совершил его в припадке неудержимого безумия, в каком-то чувственном вихре, затмившем его рассудок. И он сохранил в своем сердце, сохранил в своем теле, сохранил на губах, сохранил даже в своих пальцах убийцы какую-то звериную, пронизанную беспредельным страхом любовь к этой девочке, захваченной им врасплох и столь подло умерщвленной. Его мысль постоянно возвращалась к ужасной сцене, и, сколько бы он ни пытался отогнать образ убитой, сколько бы ни отстранял его от себя с ужасом, с отвращением, он все же чувствовал, что этот образ не выходит у него из головы и беспрестанно вьется вокруг, выжидая возможности явиться ему.

Он стал бояться вечеров, бояться падавших вокруг него теней. Он еще не знал, почему сумерки казались ему страшными, но инстинктивно опасался их; он чувствовал, что они населены ужасами. Ясность дня не располагает к страхам. Днем все предметы и живые существа видны, и потому встречаются только естественные предметы и существа, которым не страшно показаться на свету. Но глухая ночь, ночь плотная, как стена, пустая, бесконечная ночь, такая черная, такая огромная, где можно соприкоснуться с ужаснейшими вещами, ночь, где блуждает, где рыщет таинственный страх, таила, казалось ему, неведомую опасность, близкую и грозную. Какую же?

Скоро он это узнал.

Как-то поздно вечером, когда ему не спалось и он сидел в своем кресле, ему показалось, что штора на окне шевелится. Он замер от волнения, сердце у него забилося; штора больше не двигалась; но вот она колыхнулась снова, или ему почудилось, что она колыхнется. Он не смел встать, не смел перевести дух; а между тем он был не трус, ему часто приходилось драться, и он был бы не прочь повстречаться с ворами у себя в доме.

Но действительно ли штора шевелилась? Он задавал себе этот вопрос, боясь, не обманывает ли его зрение. Притом же это была такая малость – легкое колыхание ткани, чуть заметный трепет складок, еле уловимая рябь, как от дуновения ветра. Ренарде ждал, не сводя глаз с окна, вытянув шею; но вдруг вскочил, стыдясь своего испуга, шагнул к окну, схватил занавески обеими руками и широко раздвинул их. Сначала он не увидел ничего, кроме черных стекол, черных и блестящих, как чернила. Ночь, огромная, непроницаемая ночь, простиралась за ними до невидимого горизонта.

Он стоял лицом к лицу с этим беспредельным мраком и вдруг увидел где-то вдалеке свет, который двигался. Он прижался лицом к стеклу, думая, что это, верно, какой-нибудь браконьер ловит раков в Брендили, потому что было уже за полночь, а светилося в роще у самой воды. Ренарде все еще не мог как следует различить, что там такое, и щитком приставил руки к глазам, но вдруг свет превратился в сияние, и он увидел маленькую Рок, голую и окровавленную, на мху.

В ужасе он отшатнулся от окна, задел за кресло и упал на пол. Он пролежал так несколько минут, потрясенный до глубины души, потом сел и стал рассуждать. Это галлюцинация, вот и все, галлюцинация, вызванная тем, что какой-то ночной вор бродит по берегу с фонарем. Да и неудивительно, что воспоминание о преступлении порой вызывает перед ним образ убитой.

Он поднялся на ноги, выпил стакан воды и снова сел. Он думал: «Что делать, если это возобновится?» А он был убежден, он чувствовал, что это возобновится. Окно уже притягивало его взгляд, призывало, манило. Чтобы не видеть его, он переставил стул, взял книгу и попытался читать, но слышал, что позади него как будто что-то движется, и быстро повернулся вместе с креслом. Штора шевелилась; да, на этот раз она действительно шевелилась; тут уж не оставалось сомнений. Он вскочил, дернул штору с такой силой, что сорвал ее вместе с карнизом, и жадно прильнул лицом к стеклу. Он не увидел ничего. За окном все было черно, и он с облегчением перевел дух, как человек, которого только что спасли от смерти.

Он вернулся, сел в кресло, но почти тотчас же его снова охватило желание посмотреть в окно. С той минуты, как штора упала, оно зияло, как темная дыра, угрожающая и зовущая в темноту полей. Чтобы не поддаться опасному соблазну, он разделся, потушил свет, лег и закрыл глаза.

Он ждал сна, лежа неподвижно на спине и чувствуя, что кожа у него стала влажной и горячей. Вдруг яркий свет проник через его закрытые веки. Он открыл глаза, думая, что в доме пожар. Но все было темно, и он приподнялся на локте, стараясь разглядеть окно, которое по-прежнему непреодолимо влекло его к себе. Он так пристально всматривался, что разглядел несколько звезд, встал, ощупью прошел по комнате, нащупал вытянутыми руками оконные стекла и прислонился к ним лбом. Там вдали, под деревьями, тело девочки мерцало, как фосфор, освещая окружающую тьму!

Ренарде вскрикнул, бросился к постели и пролежал до утра, спрятав голову под подушку.

С этого времени жизнь его стала невыносимой. Он проводил дни в паническом ожидании ночи, и каждую ночь видение повторялось. Как только Ренарде запирался в комнате, он пытался бороться, но тщетно. Непреодолимая сила поднимала его и толкала к окну, как будто для того, чтобы вызвать призрак, и он тотчас же являлся ему – сначала на месте преступления, с раскинутыми руками, раскинутыми ногами, так, как нашли тело. Потом мертвая вставала и приближалась мелкими шажками, как живая девочка, выйдя из воды. Она тихо подходила, все прямо, по газону, по клумбам увядших цветов и поднималась по воздуху к окну Ренарде. Она подходила к нему, как подходила в день преступления к тому месту, где стоял убийца. И он отступал перед видением, пятился к кровати и падал на нее, зная, что девочка вошла, теперь стоит за шторой и штора сейчас колыхнется. И он до утра глядел на занавеску, не сводя с нее глаз, беспрестанно ожидая, что вот-вот из-за нее выйдет его жертва. Но она больше не показывалась, она пряталась за шторой, и ткань

иногда колыхалась. Вцепившись сведенными пальцами в одеяло, Ренарде судорожно сжимал его, как сжал тогда горло маленькой Рок. Он прислушивался к бою часов, слушал в тишине стук маятника и глухие удары собственного сердца. Несчастный страдал так, как никогда еще не страдал никто.

Лишь когда на потолке появлялась белая полоска, предвещавшая приближение дня, Ренарде чувствовал, что избавился от наваждения, что он наконец один, совершенно один в комнате; тогда он ложился снова и спал несколько часов тревожным, лихорадочным сном, часто возвращаясь и во сне к тому же ужасному видению, что и наяву.

В полдень, спускаясь к завтраку, он чувствовал себя совершенно разбитым, как после страшного утомления, и почти не прикасался к еде, неотступно терзаясь страхом перед той, которую ему предстояло увидеть следующей ночью.

А между тем он сознавал, что это вовсе не видение, что мертвые не возвращаются; это его больная душа, его душа, одержимая одной мыслью, одним незабываемым воспоминанием, единственная причина его страданий, это она напоминает ему об умершей, воскрешает ее, призывает и являет его глазам, запечатлевшим неизгладимый образ. Но он знал и то, что он неизлечим, что ему никогда не избавиться от яростного преследования собственной памяти, и решил лучше умереть, чем терпеть эту пытку.

Тогда он начал думать, как покончить с собой. Ему хотелось, чтобы смерть была простой, естественной и не дала бы повода думать о самоубийстве. Он дорожил своей репутацией, именем, завещанным ему предками; кроме того, если бы его смерть вызвала подозрения, то, наверное, вспомнили бы о нераскрытом злодеянии, о неразысканном убийце, и тогда его не замедлили бы обвинить в преступлении.

Странная мысль засела у него в голове, мысль о том, чтобы его раздавило дерево, у подножия которого он убил маленькую Рок. И он решил срубить свою рощу и симулировать несчастный случай. Но бук отказался переломить ему спину.

Вернувшись домой в полном отчаянии, он схватил револьвер, но так и не смог выстрелить.

Пробил час обеда; он поел, потом вернулся к себе. Он не знал, что делать. Он впервые отступил перед смертью и теперь чувствовал себя трусом. Только что он был готов, собрался с духом, был полон мужества и твердости, а теперь ослабел и начал бояться смерти не меньше, чем покойницы.

Он шептал: «Я не смогу, я больше не смогу» – и с ужасом глядел то на оружие, лежавшее на столе, то на штору, скрывавшую окно. И, кроме того, ему казалось, что, как только оборвется его жизнь, произойдет нечто ужасное! Что же? Что именно? Может быть, их встреча? Ведь она подстерегала, она ждала, она призывала его; затем-то она и являлась каждый вечер, чтобы в свою очередь овладеть им, осуществить свою месть, заставить его умереть.

Он принялся рыдать, как ребенок, повторяя: «Я не смогу, я больше не смогу». Потом упал на колени, шепча: «Господи, господи!» – хотя и не верил в бога. И он действительно не решался больше взглянуть ни на окно, где, как он знал, притаилось привидение, ни на стол, где сверкал револьвер.

Но вот он поднялся и громко сказал:

– Так больше продолжаться не может. Надо кончать.

От звука собственного голоса в тишине комнаты у него пробежала дрожь по телу; но, не будучи в силах что-нибудь предпринять, чувствуя, что палец снова откажется спустить курок, он лег в постель, спрятал голову под одеяло и стал думать.

Надо было изобрести что-нибудь, что заставило бы его умереть, найти какую-нибудь уловку против самого себя, которая не допускала бы никаких колебаний, никаких промедлений, никаких сожалений. Он завидовал осужденным, которых под конвоем ведут на эшафот. О, если бы он только мог попросить кого-нибудь пристрелить его; если бы он мог излить свою душу, открыть свое преступление верному другу, который бы не выдал его, и от него принять смерть! Но кого просить о такой страшной услуге? Кого? Он перебрал всех своих знакомых. Доктор? Нет. Он, наверно, проболтался бы. Вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову. Надо написать следователю, с которым он близко знаком, и донести ему на самого себя. Он обо всем расскажет в своем

письме – о преступлении, о перенесенных мучениях, о решимости умереть, о своих колебаниях, о средстве, к которому прибегает, чтобы поддержать свое слабеющее мужество. Он будет умолять следователя во имя их старой дружбы уничтожить это письмо, как только он узнает, что виновный сам покарал себя. Ренарде мог рассчитывать на этого чиновника, зная его как человека верного, скромного, неспособного даже на необдуманное слово. Следователь принадлежал к числу людей с непоколебимой совестью, которой управляет, владеет и руководит только разум.

Когда Ренарде пришел к такому решению, необычайная радость наполнила его сердце. Теперь он спокоен. Он не спеша напишет письмо, на рассвете опустит его в ящик, прибитый к стене мызы, потом поднимется на башню, чтобы увидеть оттуда, как придет почтальон, а когда человек в синей блузе уйдет, бросится вниз головой и разобьется о скалы, на которых стоит фундамент. Предварительно он позаботится, чтобы его заметили рабочие, вырубающие рошу. Потом он взберется на выступ мачты для флага, который поднимают в праздничные дни, сломает мачту одним ударом и упадет вместе с ней. Кто усомнится в том, что это несчастный случай? А он разобьется насмерть. Это несомненно, если принять во внимание его вес и высоту башни.

Он тотчас же встал с кровати, сел за стол и начал писать; он не упустил ничего, ни одной подробности преступления, ни одной подробности своей жизни, полной отчаяния, ни одной подробности терзаний своего сердца, и закончил письмо заявлением, что сам вынес себе приговор, что сам себя покарает, как преступника, и умоляет своего друга, своего старого друга о том, чтобы память его осталась неопороченной.

Кончив письмо, он заметил, что рассвело. Он вложил письмо в конверт, запечатал, надписал адрес, легкими шагами сбегал с лестницы, дошел до маленького белого ящика, прикрепленного к стене на углу мызы, и, опустив письмо, которое жгло ему руку, быстро вернулся в дом, запер входную дверь на засов и поднялся на башню, чтобы дожидаться прихода почтальона, который унесет с собою его смертный приговор.

Теперь он чувствовал себя спокойным, освобожденным, спасенным!

Холодный и сухой ветер, ледяной ветер дул ему в лицо. Он жадно вдыхал его, открыв рот, впивая его морозную ласку. По небу разливался яркий багрянец, багрянец зимы, и вся равнина, белая от инея, сверкала под первыми лучами солнца, словно ее посыпали толченым стеклом. Ренарде стоял с обнаженной головой и смотрел на широкие просторы, на луга слева и на село справа, где уже начинали дымиться трубы для утренней трапезы.

Он видел и Брендилю, она текла внизу, между скалами, о которые он сейчас разобьется. Он чувствовал, что возрождается в этой прекрасной ледяной заре, чувствовал, что полон сил, полон жизни. Свет обдавал, окружал его, проникал в него, как надежда. Тысячи воспоминаний поднимались в нем, воспоминаний о таких же утрах, о быстрой ходьбе по твердой земле, звенящей под ногами, об удачной охоте по берегам озер, где спят дикие утки. Все радости, которые он любил, все радости существования теснились в его памяти, разжигали в нем новые желания, будили могучие вожделения его деятельного, сильного тела.

Он собирается умереть? Зачем? Он собирается сейчас покончить с собой только потому, что испугался тени? Испугался того, чего нет? Он богат, он еще молод! Какое безумие! Достаточно развлечься, уехать, отправиться в путешествие, чтобы все забылось! Ведь сегодня ночью он не видел девочку, потому что его ум был озабочен и отвлечен иными мыслями. Так, может быть, он вообще ее не увидит больше? И если даже она еще будет являться ему в этом доме, то не последует же она за ним в другое место! Земля велика, перед ним еще долгое будущее! К чему умирать?

Взгляд его блуждал по лугам, и он заметил синее пятно на тропинке вдоль берега Брендили. Это шел Медерик – доставить письма из города и взять письма из села.

Ренарде вздрогнул; острая боль пронзила его, и он бросился вниз по винтовой лестнице, чтобы взять обратно свое письмо, потребовать его от почтальона. Теперь ему было все равно, увидят ли его; он бежал по траве, покрытой ночным инеем, и прибежал к ящику на углу мызы одновременно с почтальоном.

Тот уже открыл маленькую деревянную дверцу и вынимал из ящика несколько писем, опущенных туда местными жителями.

– Добрый день, Медерик, – сказал Ренарде.

– Добрый день, господин мэр.

– Вот что, Медерик, я опустил в ящик письмо, но оно мне нужно. Пожалуйста, дайте мне его.

– Хорошо, господин мэр, отдадим.

И почтальон поднял глаза. Лицо Ренарде поразило его: сизые щеки, мутные, глубоко запавшие глаза, обведенные черными кругами, растрепанные волосы, всклокоченная борода, развязанный галстук. Видно было, что он не ложился.

Почтальон спросил:

– Уж не больны ли вы, господин мэр?

Ренарде, сообразив вдруг, что имеет, наверно, очень странный вид, растерялся и забормотал:

– Нет... нет... Я просто вскочил с постели, чтобы взять у вас это письмо... Я спал... понимаете?

Смутное подозрение шевельнулось в уме отставного солдата.

– Какое письмо? – спросил он.

– Да вот, которое вы мне сейчас отдадите.

Но теперь Медерик колебался: поведение мэра казалось ему неестественным. Может быть, в письме скрыта какая-нибудь тайна, какая-нибудь политическая тайна? Он знал, что Ренарде не республиканец, и был знаком со всеми уловками, со всеми ухищрениями, к которым прибегают перед выборами. Он спросил:

– Кому адресовано это письмо?

– Господину Пютуану, следовательно; вы знаете, моему другу, господину Пютуану.

Почтальон порылся в своих бумагах и нашел письмо, которое у него требовали. Он принялся разглядывать его, вертел в руках, крайне озадаченный и смущенный, боясь, как бы не сделать большой ошибки, но как бы и не нажать врага в лице мэра.

Видя его нерешительность, Ренарде сделал движение, чтобы схватить письмо и вырвать его. Этот резкий жест убедил Медерика в том, что дело идет о важной тайне, и он решил выполнить свой долг во что бы то ни стало.

Поэтому он бросил конверт в сумку, закрыл ее и сказал:

– Нет, не могу, господин мэр. Раз письмо к судебным властям, – значит, не могу.

Невыразимая тревога сжала сердце Ренарде.

– Но ведь вы же меня знаете. Ведь вы, наконец, знаете мой почерк. Говорю вам, что мне нужно это письмо.

– Не могу.

– Послушайте, Медерик, вы знаете, что я не стану вас обманывать. Я вам говорю, что письмо мне нужно.

– Нет. Не могу.

В необузданной душе Ренарде вспыхнул гнев.

– Берегитесь, черт возьми! Вы знаете, я шутить не люблю, и вы у меня, любезный, живо слетите с места. Наконец, я мэр, я приказываю вам вернуть мне письмо.

Почтальон решительно ответил:

– Нет, не могу, господин мэр!

Тогда Ренарде вне себя схватил его за руку, чтобы отнять сумку, но почтальон высвободился одним рывком и отступил, подняв дубину. Не теряя самообладания, он произнес:

– Не троньте, господин мэр, не то я дам сдачи. Осторожнее. Я выполняю свой долг!

Чувствуя себя погибшим, Ренарде внезапно смирился, притих и стал молить, как плачущий ребенок:

– Ну, ну, друг мой, верните же мне это письмо. Я вас отблагодарю, я вам дам денег. Знаете что, я вам дам сто франков, слышите – сто франков!

Почтальон повернулся к нему спиной и пустился в путь.

Ренарде шел за ним, задыхаясь и бормоча:

– Медерик, Медерик, послушайте, я вам дам тысячу франков. Слышите – тысячу франков!

Тот шагал, не отвечая. Ренарде продолжал:

– Я обеспечу вас... слышите, дам сколько хотите... Пятьдесят тысяч франков... Пятьдесят

тысяч за это письмо... Ну что вам стоит?... Не хотите?... Ну, хорошо – сто тысяч... слышите, сто тысяч франков... понимаете? Сто тысяч... Сто тысяч!..

Почтальон обернулся; лицо его было строго, взгляд суров.

– Довольно, а то я повторю на суде все, что вы мне тут наговорили.

Ренарде остановился как вкопанный. Все было кончено. Надежды не оставалось. Он повернул обратно и пустился бежать к дому, как затравленный зверь.

Медерик тоже остановился, с изумлением глядя на это бегство. Он увидел, что мэр вернулся домой, но решил подождать, словно был уверен, что сейчас должно произойти что-то необычайное.

И действительно, вскоре высокая фигура Ренарде показалась на верхушке башни Ренар. Он метался по площадке, как безумный, потом обхватил мачту флага, начал бешено трясти ее, тщетно пытаясь сломать, и вдруг, как пловец, бросающийся вниз головой, ринулся в пустоту, вытянув вперед руки.

Медерик побежал на помощь. Пробегая по парку, он увидел дровосеков, которые шли на работу. Он окликнул их, сказал, что случилось несчастье, и они нашли у подножия башни окровавленное тело, с головой, разможенной о скалу. Брендиль омывала эту скалу, и по ясной, тихой воде, широко разливавшейся в этом месте, текла длинная розовая струйка мозга, смешанного с кровью.

На разбитом корабле

Вчера было 31 декабря.

Я завтракал у моего старого приятеля Жоржа Гарена. Слуга подал ему письмо, покрытое заграничными марками и штемпелями.

Жорж спросил:

– Ты позволишь?

– Разумеется.

И он принялся читать восемь страниц, исписанных вдоль и поперек крупным английским почерком. Он читал медленно, серьезно, внимательно, с тем интересом, какой вызывает в нас то, что близко нашему сердцу.

Потом положил письмо на камин и сказал:

– Послушай, какая забавная история! Я тебе ее никогда не рассказывал, а история романтическая, и произошла она со мной. Да, странная у меня выдалась в тот раз встреча Нового года. Это было двадцать лет тому назад... ну да, мне тогда было тридцать, а теперь пятьдесят...

Я служил в то время инспектором в том самом Обществе морского страхования, которым руковожу сейчас. Я собирался провести праздник Нового года в Париже – раз уж принято праздновать этот день, – но неожиданно получил от директора письмо с распоряжением немедленно отправиться на остров Рэ, где разбился застрахованный у нас трехмачтовик из Сен-Наэра. Письмо пришло в восемь часов утра. В десять я явился в контору за инструкциями и в тот же вечер выехал экспрессом, доставившим меня на следующий день, 31 декабря, в Ла-Рошель.

У меня оставалось два часа до отхода *Жана Гитона*, парохода, идущего на Рэ. Я прошелся по городу. Ла-Рошель – действительно необыкновенный и крайне своеобразный город: улицы в нем запутанны, как в лабиринте, над тротуарами тянутся бесконечные галереи со сводами, точно на улице Риволи, но только низкие; эти приплюснутые таинственные галереи и своды похожи на декорацию для заговоров, которую забыли убрать, на старинную волнующую декорацию былых войн, героических и грозных религиозных войн. Это типичный старый город гугенотов, суровый, замкнутый, без тех величественных памятников, которые придают Руану такое великолепие, но замечательный всем своим строгим и даже немного угрюмым обликом, – город упорных бойцов, очаг фанатизма, город, где воспламенялась вера кальвинистов⁵⁸ и где зародился заговор четырех

⁵⁸ Город, где воспламенялась вера кальвинистов – намек на активное участие Ла-Рошели в религиозных войнах XVI века, когда Ла-Рошель была твердыней гугенотов – последователей Кальвина (1509–1564), главы протестантизма в

сержантов⁵⁹.

Побродив немного по этим странным улицам, я сел на черный пузатый пароходик, который должен был доставить меня на остров Рэ. Он отчалил, сердито пыхтя, прошел между двумя древними башнями, охраняющими порт, пересек рейд, вышел за дамбу, построенную Ришелье⁶⁰, огромные камни которой, виднеющиеся на уровне воды, окружают город гигантским ожерельем, и повернул вправо.

Был один из тех хмурых дней, что подавляют и гнетут мысль, наводят тоску, убивают бодрость и энергию: пасмурный ледяной день, насыщенный промозглым туманом, мокрым, холодным, как изморозь, зловонным, как испарения сточных труб.

Под навесом низко стелющегося, зловещего тумана лежало море, желтое, мелководное, с бесконечными песчаными отмелями, без ряби, без движения, без жизни, море мутной, жирной, застойной воды. *Жан Гитон* шел, как обычно, слегка покачиваясь, прорезая густую сплошную массу этой воды и оставляя за собой легкое волнение, легкий всплеск, легкое колыхание, которые быстро затихали.

Я разговаривал с капитаном, коротеньким человечком почти без ног, таким же круглым и валким, как его корабль. Мне хотелось узнать подробности крушения, которое я собирался обследовать: большую трехмачтовую шхуну из Сен-Наэра, *Мари Жозеф*, выбросило в бурную ночь на отмели острова Рэ.

Буря выбросила корабль так далеко, писал судовладелец, что невозможно было сдвинуть его с мели, и пришлось только спешно переправить с него на берег все, что можно было снять. Мне предстояло установить, в каком положении находится судно, определить, каково было его состояние перед катастрофой, и выяснить, все ли меры были приняты, чтобы снять его с мели. Я был послан как представитель Общества, чтобы в случае надобности выступить на суде против истца.

По получении моего доклада директор должен был решить, какие шаги предпринять, чтобы оградить интересы Общества.

Капитан *Жана Гитона* оказался в курсе дела, так как он со своим пароходиком участвовал в попытках спасти шхуну.

Он рассказал мне о крушении, которое произошло, в сущности, очень просто. *Мари Жозеф*, гонимый жестоким ветром, сбился ночью с пути и неся наугад по морю, покрытому пеной, «как молочный суп», по выражению капитана, пока не наткнулся на огромные банки, превращающие во время отлива берега этого района в беспредельную Сахару.

Беседуя с капитаном, я смотрел вперед и по сторонам. Между нависшим небом и океаном оставалось свободное пространство, и взор беспрепятственно уходил вдаль. Мы шли вдоль берега. Я спросил:

– Это остров Рэ?

– Да, сударь.

Вдруг капитан протянул вперед правую руку и, указав в открытом море на почти незаметную точку, сказал:

– Вон он, ваш корабль!

– *Мари Жозеф*?

– Да.

Я был поражен. Эта, почти невидимая, черная точка, которую я принял бы за скалу, казалась, отстояла не менее чем на три километра от берега.

Швейцарии и Франции.

⁵⁹ Заговор четырех сержантов – один из наиболее известных военных заговоров, направленных к свержению Реставрации, участниками которого явились четыре сержанта-карбонария одного из полков гарнизона Ла-Рошели. Заговор был раскрыт, и участники его гильотинированы в Париже в 1822 году.

⁶⁰ Дамба, построенная Ришелье. – Во время войн, которые Ришелье, министр Людовика XIII, вел против гугенотов, войска его в 1627–1628 годах безуспешно осаждали Ла-Рошель. Наконец по приказу Ришелье была возведена дамба, отрезавшая осажденным доступ к морю и вынудившая крепость к сдаче.

– Но, капитан, – сказал я, – в том месте, которое вы показываете, должно быть, не менее ста брасов⁶¹ глубины!

Он засмеялся:

– Сто брасов! Что вы, мой друг? Там и двух не будет, уверяю вас!..

Капитан, видимо, был родом из Бордо⁶². Он продолжал:

– Сейчас прилив, девять часов сорок минут. А вот вы позавтракайте в «Гостинице дофина», заложите-ка руки в карманы да отправляйтесь погулять по пляжу, и ручаюсь вам, что в два пятьдесят или, самое позднее, в три часа вы подойдете к разбитому кораблю, не замочив ног. Можете пробыть на нем час и три четверти или два часа, но никак не больше, иначе вас застигнет прилив. Чем дальше уходит море, тем быстрее оно возвращается. А отмель эта плоская, как клоп! Так не забудьте: в четыре пятьдесят вы должны отправиться обратно, а в половине восьмого вам надо быть на *Жане Гитоне*, который в тот же вечер высадит вас на набережной Ла-Рошели.

Я поблагодарил капитана и отправился на нос парохода – посмотреть на городок Сен-Мартен, к которому мы быстро приближались.

Городок этот похож на все миниатюрные порты, столицы мелких островов, рассеянных вдоль материка. Это большое рыбацкое село стоит одной ногой в воде, другой на земле, питается рыбой и птицей, овощами и ракушками, редиской и мидиями⁶³. Остров низкий, плохо обработан, но густо населен; впрочем, я не заходил вглубь.

После завтрака я прошел на небольшой мысок, и так как море быстро отступало, я отправился через пески к черному утесу, выступавшему над водою далеко-далеко.

Я быстро шел по этой желтой равнине, упругой, как живая плоть, и, казалось, покрывавшейся испариной под моими шагами. Море только что было тут, но теперь я видел, как оно убегало вдаль, почти теряясь из виду, так что я уже не мог различить линию, отделяющую пески от океана. Мне казалось, что я присутствую при величественной, волшебной феерии. Атлантический океан сейчас еще был передо мною, и вдруг он ушел в отмель, как декорация в люк, и я шел теперь посреди пустыни. Оставалось только ощущение, только дыхание соленой воды. Я чувствовал запах водорослей, запах волн, крепкий и приятный запах побережья. Я шел быстро, и мне уже не было холодно, я глядел на разбитый корабль, и по мере того, как приближался к нему, он все увеличивался и теперь походил на огромного кита, выброшенного на берег.

Корабль, казалось, вырастал из земли, принимал чудовищные размеры на этой необозримой желтой равнине. После часа ходьбы я наконец добрался до него. Он лежал на боку, искалеченный, разбитый; его сломанные ребра, ребра из просмоленного дерева, пронзенные огромными гвоздями, выступали наружу, как ребра зверя. Песок уже вторгся в него, проник во все щели, овладел им с тем, чтобы уже не выпустить. Судно словно пустило в него корни; нос глубоко врезался в мягкий и коварный грунт, а поднятая корма, казалось, бросала в небо как отчаянный вопль два белых слова на черном борту: *Мари Жозеф*.

Я взобрался с накренившейся стороны на этот труп корабля и, очутившись на палубе, сошел в трюм. Свет, проникая через разломанные трапы и трещины, тускло освещал длинный, мрачный погреб, загроможденный обломками деревянных частей. Здесь тоже не было ничего, кроме песка – почвы этого дощатого подземелья.

Я принялся делать заметки о состоянии судна. Усевшись на пустую разбитую бочку, я писал при свете, проникавшем из широкой трещины, сквозь которую виднелась бесконечная гладь отмели. От холода и одиночества у меня порой пробегали мурашки по спине, иногда я бросал писать, прислушиваясь к смутным и таинственным шорохам внутри корабля: к шороху крабов, скребущих обшивку крючковатыми клешнями, к шороху множества мельчайших морских животных, уже водворившихся на этом мертвце, а также к тихому, равномерному шороху древоточца, который,

⁶¹ Брас – морская сажень.

⁶² Был родом из Бордо – намек на то, что капитан в качестве уроженца Бордо, приморского города, отлично знает море. Вместе с тем капитан говорит с особым акцентом, которого в переводе мы не передаем.

⁶³ Мидия – сорт ракушек.

скрипя, как бурав, безостановочно сверлит старое дерево, разрушая и пожирая его.

И вдруг я услышал совсем близко человеческие голоса. Я подскочил, как будто увидел привидение. И правда, мне на мгновение представилось, что сейчас из глубины зловещего трюма передо мной поднимутся два утопленника и поведают о своей кончине. Я не стал медлить, выскочил на палубу, подтянувшись на руках, и увидел, что у носа корабля стоит высокий господин и с ним три молодые девушки, или, говоря точнее, высокий англичанин и три мисс. Они, конечно, испугались еще больше моего при виде существа, столь внезапно появившегося на этом брошенном трехмачтовике. Младшая из девушек обратилась в бегство, а две другие обеими руками уцепились за отца. Но он только раскрыл рот – это был единственный видимый признак его волнения.

Через мгновение он заговорил:

– А, сударь, вы есть владелец этого корабль?

– Да, сударь.

– Могу я его посещать?

– Да, сударь.

Тогда он произнес длинную английскую фразу, в которой я разобрал только одно слово – *gracious*⁶⁴, повторявшееся несколько раз.

Заметив, что он ищет, откуда бы взобраться на корабль, я указал ему наиболее удобное место и протянул руку. Он влез, а затем мы помогли вскарабкаться трем девушкам, которые уже успели успокоиться. Они были очаровательны, в особенности старшая, восемнадцатилетняя блондинка, свежая, как цветок, такая изящная, такая прелестная! Право, хорошенькие англичанки напоминают нежные дары моря. Можно было подумать, что эта мисс возникла из песка, и ее волосы еще хранили его оттенок. Восхитительной свежестью и нежным цветом лица английские девушки напоминают розовые ракушки или редкие и таинственные жемчужины, рождающиеся в неведомых пучинах океана.

Она говорила по-французски немного лучше отца и взяла на себя роль переводчицы. Мне пришлось рассказать о кораблекрушении в мельчайших подробностях, которые я выдумывал, как будто сам присутствовал при катастрофе. Потом все семейство спустилось внутрь корабля. Как только они проникли в его темные, едва освещенные недра, посыпались восклицания удивления и восторга, и вдруг у отца и у трех дочерей очутились в руках альбомы, спрятанные, по-видимому, в их широких непромокаемых пальто, и они одновременно начали четыре карандашных наброска этого печального и причудливого места.

Они уселись в ряд на выступавшей балке, и четыре альбома на восьми коленях быстро покрылись мелкими штрихами, которым надлежало изображать разбитое чрево *Мари Жозефа*.

Старшая из девушек, не отрываясь от работы, разговаривала со мной, пока я продолжал обследовать скелет корабля.

Я узнал, что они проводят зиму в Биаррице и приехали на остров Рэ специально для того, чтобы взглянуть на трехмачтовик, увязший в песке. В этих людях не было и следа английской чопорности. Это были славные, простые чудаки, из числа тех вечных странников, которыми Англия наводняет весь земной шар. Отец был длинный, сухопарый, и его красное, окаймленное седыми бакенбардами лицо походило на живой сандвич, на ломтик ветчины, вырезанный в форме человеческой головы и проложенный между двумя волосяными подушечками; дочери, длинноногие, как молодые цапли, и такие же сухопарые, исключая старшую, как их отец, были очаровательны все три, особенно старшая.

У нее была такая забавная манера говорить, рассказывать, смеяться, понимать или не понимать, вопросительно обращать на меня глаза, синие, как глубокие воды, бросать работу, чтобы угадать смысл моих слов, снова приниматься за рисунок, говорить «yes» или «no», что я готов был без конца глядеть на нее и слушать ее.

Вдруг она прошептала:

– Я слышу маленький движение на корабль.

Я прислушался и тотчас же уловил какой-то легкий непонятный и непрерывный шум. Что

⁶⁴ Любезно (англ.).

это могло быть? Я встал, взглянул в щель и громко вскрикнул. Море подступило к нам и готово было отрезать нас от суши.

Мы тотчас же бросились на палубу. Поздно! Вода окружала нас и бежала к берегу с непостижимой быстротой. Нет, она не бежала – она скользила, ползла, расплывалась, как огромное пятно. Она покрывала песок всего на несколько сантиметров, но убегаящая линия неувимого прилива была уже далеко впереди.

Англичанин хотел прыгнуть с корабля, но я удержал его: бегство было невозможно из-за глубоких ям, которые мы обходили по дороге сюда; возвращаясь, мы неминуемо попали бы в них.

На мгновение наши сердца сжались от ужаса. Потом маленькая англичанка улыбнулась и прошептала:

– Это мы потерпевший крушение.

Я хотел засмеяться, но меня охватил страх, отчаянный, предательский страх, подлый и коварный, как этот прилив. Мне сразу представились все опасности, которым мы подвергались. Мне хотелось позвать на помощь. Но кого?

Две младшие англичанки прижались к отцу, который растерянно глядел на беспредельное море, окружавшее нас.

Ночь надвигалась с такой же быстротой, как прилив, – тяжелая, сырая, ледяная ночь.

Я сказал:

– Делать нечего, придется остаться на корабле.

Англичанин ответил:

– Oh, yes!

Минут пятнадцать, а может быть, и полчаса, не знаю в точности, простояли мы так, глядя на желтую воду вокруг нас, которая поднималась и кружилась, словно кипела, словно играла на отвоеванном ею огромном пляже.

Одна из девушек продрогла, и мы решили сойти вниз, чтобы укрыться от легкого, но холодного бриза, который обдувал нас, пронизывая кожу, точно иглами.

Я нагнулся над трапом. Корабль был полон воды. Нам пришлось забиться в уголок у борта, хоть немного защищавшего от ветра.

Теперь нас обволакивала темнота, и мы сидели, прижавшись друг к другу, окруженные мраком и водой. Я чувствовал у своего плеча дрожащее плечо англичанки, ее зубы иногда вдруг начинали стучать; но я чувствовал нежное тепло ее тела сквозь платье, и это тепло было сладостно, как поцелуй. Мы больше не разговаривали; мы сидели неподвижно, молча, скорчившись, как звери в яме во время урагана. И все же, несмотря ни на что, несмотря на ночь, несмотря на страшную и все возрастающую опасность, меня начинало радовать то, что я здесь, меня радовали холод и опасность, радовали долгие часы мрака и ужаса, которые мне предстояло провести на этих досках, рядом с этой хорошенькой, прелестной девушкой.

Я спрашивал себя, откуда это странное чувство блаженства и счастья? Откуда?

Как знать? Оттого ли, что здесь была она? Но кто она? Какая-то незнакомая англичаночка. Я не любил ее, я не знал ее, и все же я был растроган, пленен! Мне хотелось спасти ее, пожертвовать собой, наделать ради нее тысячу безумств! Как странно! Чем объясняется, что присутствие женщины может до такой степени потрясти нас? Покоряет ли нас ее обаяние? Или же чары молодости и красоты пьянят нас, как вино?

А может быть, это прикосновение любви, той таинственной любви, которая беспрестанно стремится соединять живые существа, пробует свою силу всякий раз, когда сталкивается лицом к лицу мужчину и женщину и наполняет их волнением, смутным, тайным, глубоким волнением, как напиткивают водою землю, чтобы вырастить на ней цветы?

Между тем безмолвие темноты, безмолвие неба становилось страшным; мы смутно различали вокруг нескончаемый негромкий гул, рокот морского прилива, монотонный плеск волн, ударяющих о корабль.

Вдруг я услышал плач. Плакала младшая из англичанок. Отец пытался утешить ее, и они заговорили на своем языке, которого я не понимал. Я догадывался, что он успокаивает ее, но что ей страшно.

Я спросил свою соседку:

– Вам не очень холодно, мисс?

– О да, очень много холодно.

Я предложил ей свое пальто, она отказалась; но я уже снял пальто и закутал ее, несмотря на все протесты. Во время этой короткой борьбы я дотронулся до ее руки, и по всему моему телу пробежала сладкая дрожь.

За последние несколько минут воздух посвежел и плеск воды о борт корабля усилился. Я встал; резкий порыв ветра ударил мне в лицо. Поднялся ветер!

Англичанин заметил это одновременно со мной и сказал просто:

– Для нас это очень плохое.

Конечно, это было плохо; нас ожидала верная смерть, если бы волны, даже не очень сильные, стали ударяться о разбитый корабль и встряхивать его; он был до такой степени разломан и расшатан, что первый большой вал разнес бы его в щепки.

Отчаяние наше росло с каждым мгновением, с каждым порывом крепчавшего ветра. Море уже слегка волновалось, и я видел в темноте, как возникают и исчезают белые полосы, полосы пены; волны одна за другой налетали на корпус *Мари Жозефа* и сотрясали его быстрыми толчками, отдававшимися в наших сердцах.

Англичанка дрожала; я чувствовал, как она трепещет рядом со мной, и испытывал безумное желание сжать ее в своих объятиях.

Впереди, слева, справа и позади нас, по всему берегу светились маяки – белые, желтые, красные вращающиеся маяки, похожие на огромные глаза, на глаза великана, которые глядели на нас, подстерегали, жадно выжидали нашей гибели. Один из них особенно раздражал меня. Он потухал каждые полминуты и тотчас же снова вспыхивал; это, право, был настоящий глаз с веком, непрерывно опускающимся над огненным взглядом.

Время от времени англичанин чиркал спичку, чтобы посмотреть, который час, а затем снова прятал часы в карман. Вдруг он обратился ко мне через головы дочерей и произнес с торжественной важностью:

– Сударь, поздравляю вас с Новым годом.

Была полночь. Я протянул ему руку, и он пожал ее; потом он произнес какую-то английскую фразу и вдруг вместе с дочерьми запел: *God save the Queen*⁶⁵. Гимн понесся в черное небо, в безмолвное небо и развеялся в пространстве.

Сначала мне хотелось засмеяться, но потом меня охватило сильное и странное волнение.

Было что-то мрачное и возвышенное в этом гимне потерпевших крушение, приговоренных к смерти, похожее на молитву, но и нечто большее, что можно было бы уподобить лишь великолепному древнему *Ave, Caesar, morituri te salutant*^{66, 67}.

Когда они кончили, я попросил мою соседку, чтобы она спела балладу или легенду, что угодно, лишь бы отвлечь нас от наших тревог. Она согласилась, и тотчас же ее чистый молодой голос полетел в ночь. Она пела, должно быть, что-то печальное – протяжные звуки медленно слетали с ее губ и парили над волнами, как раненые птицы.

Море вздувалось и хлестало о корабль. Но я не думал ни о чем, кроме ее голоса. И еще я думал о сиренах. Если бы мимо нас прошла какая-нибудь лодка, что подумали бы матросы? Мой взволнованный ум увлекся мечтою. Сирена! Может быть, она и правда сирена, эта морская дева, удержавшая меня на разбитом корабле, чтобы вместе со мной погрузиться в волны?...

Вдруг мы все пятеро покатались по палубе: *Мари Жозеф* опрокинулся на правый бок. Англичанка упала на меня, я схватил ее в объятия и, уже ничего не понимая, не сознавая, решив, что наступил последний миг, безумно целовал ее щеку, висок, волосы. Корабль больше не двигался,

⁶⁵ Боже, спаси королеву.

⁶⁶ Цезарь, готовящиеся умереть приветствуют тебя (лат.).

⁶⁷ *Ave, Caesar, morituri te salutant* – «Цезарь, готовящиеся умереть приветствуют тебя». Возглас римских гладиаторов-рабов перед их сражением на арене цирка.

не шевелились и мы.

– Кэт! – окликнул отец.

Та, которую я обнимал, ответила «yes» и сделала движение, чтобы высвободиться. Право, в этот миг мне хотелось, чтобы корабль разверзся и мы с ней вдвоем упали в воду.

Англичанин сказал:

– Немного качает, но это было ничего. Все мои три дочери целы.

Не видя старшей, он сначала подумал, что она погибла!

Я медленно поднялся и вдруг заметил свет на море, совсем неподалеку. Я крикнул; мне ответили. Это была лодка, искавшая нас. Оказалось, что хозяин гостиницы предвидел нашу неосторожность.

Мы были спасены. Я был в отчаянии! Нас сняли с нашего плота и доставили в Сен-Мартен.

Англичанин потирал руки и бормотал:

– Хорошо ужин! Хорошо ужин!

И мы действительно поужинали. Но мне не было весело, я жалел о *Мари Жозефе*.

Наутро мы расстались после долгих рукопожатий и обещаний писать. Они вернулись в Би-арриц. Я чуть было не поехал за ними.

Я был влюблен, я собирался просить руки этой девочки. Проведи мы вместе еще неделю, я бы непременно женился! Как порою слабы и непостижимы мужчины!

Прошло два года, и от них не было никаких вестей; потом я получил письмо из Нью-Йорка. Она вышла замуж и сообщала мне об этом. И вот с тех пор мы каждый год обмениваемся новогодними письмами. Она рассказывает мне о своей жизни, о детях, о сестрах и никогда ничего о муже. Почему? Да, почему?... А я пишу только о *Мари Жозефе*... Это, пожалуй, единственная женщина, которую я любил... нет... которую мог любить... Ах, ведь... мы ничего не знаем!.. События захватывают нас... а потом... а потом... все проходит... Сейчас она, наверно, старуха... я бы не узнал ее... Но та, прежняя... та, с корабля... какое создание... божественное!.. Она пишет, что стала совсем седая!.. Боже мой... как это больно!.. Ее белокурые волосы!.. Нет, нет, та, которую я знал, больше не существует... Как печально... как печально все это!..

Отшельник

Вместе с моими друзьями я отправился взглянуть на старого отшельника, который поселился на древнем могильном холме, поросшем большими деревьями посреди широкой равнины между Каннами и Напулем.

Возвращаясь, мы говорили об этих странных мирских пустынных, ранее столь многочисленных, но почти вымерших в наши дни. Мы искали, мы пытались определить, какие моральные причины, какого рода несчастья побуждали людей в былые времена спасаться в одиночестве.

Один из моих спутников сказал вдруг:

– Я знал двух отшельников, мужчину и женщину. Женщина, должно быть, еще жива. Она жила лет пять тому назад среди развалин, на вершине совершенно необитаемой горы, на побережье Корсики, в пятнадцати или двадцати километрах от всякого жилья. Она жила там со своей служанкой; я посетил ее. В прошлом это была несомненно изящная светская женщина. Она приняла меня вежливо и даже приветливо, но я ничего о ней не знаю и ни о чем не мог догадаться.

Что же касается мужчины, то я вам расскажу, какой с ним произошел ужасный случай.

Обернитесь назад. Видите вон там, за Напулем, острую, поросшую лесом гору, которая выступает перед вершинами Эстереля? Здесь ее зовут Змеиной горой. На ней-то, в маленьком античном храме, и спасался мой отшельник лет двенадцать тому назад.

Прослышав о нем, я решил с ним познакомиться и вот в одно прекрасное мартовское утро отправился туда из Канн верхом. Оставив лошадь на постоялом дворе в Напуле, я начал взбираться пешком на этот странный конус, вышиной, вероятно, в полтора или двести метров, поросший ароматическими растениями, по преимуществу ладанником, крепкий и резкий запах которого дурманит и вызывает недомогание. По каменистому склону то и дело скользят длинные ужи, исчезающие в траве. Отсюда вполне заслуженное название Змеиной горы. Бывают дни, когда змеи

как бы рождаются у вас под ногами при подъеме по склону, залитому солнцем. Их так много, что боишься ступить и испытываешь какое-то странное беспокойство – не страх, потому что уж безвредны, но что-то вроде мистического ужаса. У меня много раз появлялось удивительное ощущение, будто я поднимаюсь на священную гору древности, на необычайный холм, благоуханный и таинственный, поросший ладанником, населенный змеями и увенчанный храмом.

Этот храм существует и поныне. То есть меня уверили, что это храм. А я и не пытался узнать больше, чтобы не испортить себе впечатления.

Итак, в одно мартовское утро я взобрался на эту гору полюбоваться видом. Дойдя до вершины, я действительно увидел стены храма и человека, сидевшего на камне. Ему было никак не более сорока пяти лет, хотя волосы у него уже совсем поседели; но борода была еще почти черная. Он гладил кошку, свернувшуюся у него на коленях, и, казалось, не обратил на меня никакого внимания. Я обошел вокруг развалин, часть которых, перекрытая ветками, соломой, травой и отгороженная камнями, служила этому человеку жильем, и снова вернулся к тому месту, где он сидел.

Оттуда открывался изумительный вид. Справа причудливые остроконечные вершины Эстереля, за ними безбрежное море, простирающееся до далеких, изрезанных бухтами берегов Италии, и прямо против Канн – острова Лерин, зеленые, плоские, как бы плывущие по морю; на последнем из них, со стороны моря, высокий старинный замок, с зубчатыми башнями, поднимается прямо из воды.

А над зеленым берегом, над длинными четками белых вилл, над белыми городами, выстроенными среди деревьев и похожими издали на бесчисленные яйца, снесенные на берегу, встают Альпы, с вершинами, покрытыми снежными шапками.

Я прошептал:

– Боже, какая красота!

Человек поднял голову и сказал:

– Да, но когда видишь это зрелище изо дня в день, оно надоедает.

Так, значит, он разговаривал, этот отшельник, он мог беседовать и скучал. Тогда он в моих руках.

В этот день я пробыл с ним недолго и попытался только определить характер его мизантропии. Он произвел на меня прежде всего впечатление человека, уставшего от людей, пресыщенного всем, безнадежно разочарованного и полного отвращения к себе и к окружающему.

Я расстался с ним после получасовой беседы. Неделю спустя я вернулся опять, потом пришел еще через неделю и наконец стал ходить еженедельно, так что не прошло двух месяцев, как мы сделались друзьями.

И вот, как-то вечером, в конце мая, я решил, что нужный момент настал, и, захватив с собой провизию, отправился на Змеиную гору пообедать вместе с отшельником.

Был один из тех благоуханных вечеров юга, страны, где цветы разводят, как на севере – рожь, где изготавливают почти все душистые эссенции для женских тел и женских платьев; один из тех вечеров, когда ароматы бесчисленных апельсиновых деревьев в каждом саду, в каждом уголке долины волнуют и навевают истому, пробуждая даже в стариках мечты о любви.

Мой пустынный, видимо, обрадовался мне и охотно согласился разделить со мной обед.

Я уговорил его выпить немного вина, от которого он успел отвыкнуть; он оживился и начал рассказывать мне о своем прошлом. Он постоянно жил в Париже и, насколько я мог понять, вел веселую жизнь.

Неожиданно я спросил его:

– Почему, собственно, вам вздумалось взобраться на эту гору?

Он тотчас же ответил:

– Я пережил самое сильное потрясение, какое только может испытать человек. Но к чему скрывать от вас мое несчастье? Может быть, оно пробудит в вас жалость ко мне. И потом... я никогда еще никому об этом не рассказывал... никогда... и хотел бы знать... в конце концов... что подумают другие... как они на это посмотрят...

Я родился в Париже, получил образование в Париже, вырос и прожил всю жизнь в этом городе. Родители оставили мне ренту в несколько тысяч франков, а по протекции я получил спокой-

ную и скромную должность, так что для холостяка был довольно богатым человеком.

С самых ранних лет я вел холостяцкую жизнь. Вы понимаете, что это значит. Свободный, без семьи, твердо решив не обзаводиться супругой, я проводил три месяца с одной женщиной, полгода с другой, а иногда жил по году без любовницы, выбирая себе случайных подруг среди множества доступных или продажных женщин.

Это банальное и, если хотите, пошлое существование вполне подходило мне, так как удовлетворяло мою природную склонность к переменам и к праздности. Я проводил жизнь на бульварах, в театрах и в кафе, всегда на людях, почти как бездомный, хотя имел хорошую квартиру. Я был один из множества тех людей, которые плывут по течению, как пробка по воде, для которых стены Парижа – это стены мира и которые не заботятся ни о чем, потому что ничего не любят. Я был, что называется, славный малый, без достоинств и без недостатков. Вот и все. Я даю себе вполне точную оценку.

Так протекала моя жизнь с двадцати до сорока лет, медленно и стремительно, без особых событий. Как быстро пролетают они, эти однообразные годы парижской жизни, не оставляя в памяти никаких воспоминаний, отмечающих даты, эти долгие и быстротечные, банальные и веселые годы, когда пьешь, ешь, смеешься, сам не зная почему, когда тянешься губами ко всему, что можно отведать или поцеловать, – и ничего, в сущности, не желаешь! Уж молодость прошла, уже старешься, так и не сделав ничего, что делают другие, не приобретя никаких привязанностей, никаких корней, никаких связей, почти без друзей, и нет у тебя ни родных, ни жены, ни детей!

Итак, я безмятежно достиг сорокалетнего возраста и, чтобы отпраздновать день своего рождения, угостил сам себя хорошим обедом в большом кафе. Я был одинок, и мне показалось забавным отпраздновать этот день в одиночестве.

После обеда я начал раздумывать, что делать дальше. Сперва мне захотелось пойти в театр, но потом я решил совершить паломничество в Латинский квартал, где когда-то изучал право. И вот я отправился туда через весь Париж и случайно зашел в пивную, где прислуживали девушки.

Та, которая подавала за моим столиком, была еще совсем молоденькая, хорошенькая и веселая. Я предложил ей выпить со мной, и она тотчас же согласилась. Она уселась напротив меня и, желая узнать, с каким типом мужчины имеет дело, окинула меня опытным взглядом. Это была совсем светлая блондинка, свежее, ослепительно свежее создание; под натянутой материей корсажа угадывалось розовое, упругое тело. Я наговорил ей множество пустых любезностей, какие обычно говорят подобным женщинам, но так как она действительно была очаровательна, мне пришла вдруг мысль увести ее с собой... опять-таки, чтобы отпраздновать мое сорокалетие. Уговорить ее удалось быстро и без труда. Она была свободна... вот уже две недели, по ее словам... и для начала согласилась поужинать со мной, после окончания работы, в кабачке возле Крытого рынка.

Боясь, что она меня обманет, – ведь не угадаешь, что может случиться, кто может зайти в пивную или что взбредет в голову женщине, – я просидел в этой пивной весь вечер, поджидая ее.

Я тоже был свободен уже месяц или два и, глядя, как переходила от столика к столику эта прелестная дебютантка на поприще Любви, подумывал, не заключить ли мне с нею контракт на некоторое время. Я ведь вам рассказываю сейчас одно из самых пошлых и обыденных приключений парижанина.

Извините за эти грубые подробности. Те, кому не довелось испытать поэтическую любовь, выбирают женщину, как котлету в мясной, не заботясь ни о чем, кроме качества товара.

Итак, мы отправились к ней, потому что собственная постель для меня священна. Это была комнатка работницы, на пятом этаже, чистенькая и бедная; я приятно провел здесь два часа. Она оказалась на редкость милой и привлекательной, эта девочка!



Перед уходом я условился о следующем свидании с девушкой, еще лежавшей в постели, подошел к камину, чтобы оставить на нем традиционный подарок, и окинул беглым взглядом часы под стеклянным колпаком, две вазы с цветами и две фотографии, одна из которых, очень старая, представляла собою отпечаток на стекле – так называемый дагерротип. Случайно нагнувшись над ней, я замер от удивления, я был настолько поражен, что ничего не мог понять... Это был мой собственный портрет, первый из моих портретов... снятый давным-давно, когда я, еще студентом, жил в Латинском квартале.

Я порывисто схватил карточку, чтобы разглядеть ее поближе. Да, сомнений быть не могло... Я чуть не расхохотался, до того все это показалось мне неожиданным и забавным.

Я спросил:

– Что это за господин?

Она ответила:

– Это мой отец; я никогда его не видела. Мама оставила мне карточку и сказала, чтобы я ее берегла, что она мне когда-нибудь еще может пригодиться.

Она помолчала, потом засмеялась и продолжала:

– По правде сказать, я не знаю, на что она может пригодиться. Не думаю, чтобы отец объявился и признал меня.

Сердце мое билось с бешеной скоростью; так мчится лошадь, закусившая удила. Я положил портрет обратно на камин и, плохо понимая, что делаю, накрыл его сверху двумя бумажками по сто франков, оказавшимися у меня в кармане, и убежал, крикнув ей:

– До свидания... до скорого свидания... дорогая.

И слышал, как она ответила:

– До вторника.

Я очутился на темной лестнице и ошупью спустился по ней.

Выйдя из подъезда, я заметил, что идет дождь, и быстро свернул в первую попавшуюся улицу.

Я шел куда глаза глядят, ошеломленный, потрясенный, роясь в своих воспоминаниях. Возможно ли это? Да! Я вспомнил вдруг об одной девушке, которая приблизительно через месяц после нашего разрыва написала мне, что она беременна от меня. Я разорвал или сжег ее письмо и забыл о нем. Надо было взглянуть на женский портрет, стоявший у девочки на камине. Впрочем, мне вряд ли удалось бы ее узнать. Это, кажется, был портрет старой женщины.

Я дошел до набережной. Увидел скамейку и сел. Дождь не прекращался. Изредка мимо проходили люди под зонтами. Жизнь представилась мне во всей своей низости и подлости, полная позора и горя, сознательной и бессознательной гнусности. Моя дочь!.. Быть может, я в самом деле только что обладал собственной дочерью!.. Париж, огромный Париж, мрачный, угрюмый, грязный, печальный, черный, за закрытыми дверями своих домов был полон подобных ужасов, прелюбодеяний, кровосмесительства, растления детей. Я вспомнил рассказы об омерзительных развратниках, которые бродят под мостами.

Не ведая того, не желая, я поступил хуже этих негодяев. Я спал с собственной дочерью!

Я чуть не бросился в реку. Я обезумел! Я бродил по улицам до утра, потом вернулся домой, чтобы все обдумать.

Далее я поступил так, как мне казалось всего благоразумнее: поручил нотариусу вызвать девушку и расспросить ее, при каких обстоятельствах мать передала ей портрет того, кого считала ее отцом; я сказал нотариусу, что действую от имени друга.

Нотариус исполнил мое поручение. Женщина открыла дочери, кто ее отец, лишь на смертном ложе и в присутствии священника, имя которого мне указали.

Тогда от имени того же неизвестного друга я перевел на девушку половину моего состояния, около ста сорока тысяч, с тем чтобы она могла пользоваться только рентой, потом подал в отставку и очутился тут.

Скитаясь вдоль побережья, я набрел на этот холм и остался здесь... Надолго ли?... Не знаю!

Что вы думаете обо мне... и о том, что я сделал?

Я протянул ему руку и ответил:

– Вы поступили так, как надо. Большинство людей не придавало бы такого значения этой ужасной роковой случайности.

Он ответил:

– Это так, но я-то, я чуть не сошел с ума. Оказалось, что у меня очень чувствительная душа, о чем я никогда не подозревал. А теперь я боюсь Парижа, как, должно быть, верующие боятся ада. Меня это оглушило, оглушило, как будто мне на голову свалилась черепица. В последнее время я чувствую себя несколько лучше.

Я расстался с моим отшельником. Рассказ его сильно взволновал меня.

Мы виделись еще два раза, потом я уехал, так как никогда не остаюсь на юге позже мая.

Когда я вернулся на следующий год, его уже не было на Змеиной горе, и больше я никогда о нем не слышал.

Вот вам история моего отшельника.

Жюли Ромэн

Два года назад, весной, я много бродил пешком по побережью Средиземного моря. Идти по дороге широким шагом и думать... Что может быть приятнее? Идешь вдоль гор, по берегу моря, под ярким солнцем, овеваемый ласковым ветром! И мечтаешь! Сколько обманчивых грез, любовных переживаний и всевозможных приключений промелькнет в душе, увлеченной мечтами, за два часа пути! Сколько смутных, но радостных надежд вливается в грудь вместе с теплым и чистым воздухом; впиваешь их в дуновение бриза, сердце томит жажда счастья, а от прогулки разыгрывается аппетит. Мысли же, быстрые, пленительные мысли, проносятся и поют, как птицы.

Итак, я шел длинной дорогой, которая ведет из Сен-Рафаэля в Италию, вернее, шел мимо сменяющихся великолепных декораций, как будто созданных для сценического обрамления всех

любовных поэм на земле. И размышлял я о том, что от Канн, где царит тщеславие, и до Монако, где царит рулетка, в эти края приезжают лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза или разоряться, и под этим прекрасным небом, в этом саду цветущих роз и апельсиновых деревьев, люди выставляют напоказ свое пошлое чванство, глупые претензии, низкие вожделения, обнажая натуру человеческую во всем ее раболепии, невежестве, наглости и алчности.

И вдруг на берегу очаровательной бухты, какие тут встречаются за каждым изгибом горного кряжа, я увидел у самого моря несколько вилл – четыре или пять, не больше, а позади них по двум глубоким лощинам далеко-далеко тянулся дремучий сосновый лес, и, казалось, не было там ни дорог, ни тропинок, ни хода, ни выхода. Перед одной из этих вилл я остановился как вкопанный: уж очень хорош был белый домик с темными панелями, до самой кровли затянутый вьющимися розами.

А сад! Живой ковер из цветов всех размеров и всевозможной окраски, перемешанных в изысканном и кокетливом беспорядке. Газон пестрел цветами; на каждой ступеньке крыльца, слева и справа, возвышался целый сноп цветов; по ослепительно белому фасаду свисали из окон ярко-синие и желтые гроздья, а каменную балюстраду, украшавшую кровлю, обвивали гирлянды крупных красных колокольчиков, алевших, как пятна крови.

За домиком виднелась длинная аллея цветущих апельсиновых деревьев, доходившая до самой горы.

На двери я прочел надпись небольшими золотыми буквами: «Вилла „Минувшие дни“».

Я спрашивал себя, какой поэт или какая фея живет здесь, какой вдохновенный отшельник открыл этот уголок и создал сказочный домик, словно сам собою выросший посреди букета цветов?

Немного поодаль рабочий дробил на дороге щебень. Я спросил у него, кому принадлежит это сокровище. Он ответил:

– Госпоже Жюли Ромэн.

Жюли Ромэн... Когда-то, еще в детстве, я очень много слышал о великой актрисе Жюли Ромэн, сопернице Рашель⁶⁸.

Ни одной женщине не рукоплескали так, как ей, ни одну столько не любили, как ее, – да, главное, любили. Как много было из-за нее дуэлей, самоубийств и нашумевших походов!

Но сколько же теперь лет этой обольстительнице? Шестьдесят, семьдесят, семьдесят пять? Жюли Ромэн... Она здесь, в этом домике. Женщина, которую обожали самый великий музыкант и самый утонченный поэт нашей страны! Я помню, как взволновал всю Францию (мне было тогда двенадцать лет) ее бурный разрыв с музыкантом и бегство в Сицилию с поэтом.

Она уехала вечером, после премьеры какого-то спектакля, когда весь зал аплодировал ей целых полчаса и вызывал ее одиннадцать раз подряд; она уехала с поэтом в дормезе, как тогда ездили; они переплыли на пакетботе море, чтобы уединиться на древнем острове, детище Греции, и любить друг друга под сенью огромной апельсиновой рощи, которая окружает Палермо и носит название «Золотая раковина».

Рассказывают, что они поднялись на Этну и, прильнув друг к другу, щека к щеке, наклонились над исполинским кратером, словно хотели броситься в огненную бездну.

Он умер, этот создатель волнующих стихов, таких глубоких, что от них кружилась голова у всего его поколения, и таких утонченных, таких таинственных, что они открыли новым поэтам новый мир.

Умер и другой – покинутый ею, – тот, кто находил для нее музыкальные фразы, сохранившиеся в памяти у всех, мелодии, исполненные торжества и отчаяния, окрыляющие и мучительные.

А она еще жива, она тут, в этом домике, укрытом цветами.

Я не колебался ни минуты, я позвонил у двери.

Мне отпер слуга, глуповатый на вид юнец лет восемнадцати, с нескладными руками. Я написал на визитной карточке несколько строк: галантный комплимент старой актрисе с горячей просьбой принять меня. Может быть, ей известно мое имя, и она согласится открыть для меня

⁶⁸ Рашель (1821–1858) – знаменитая французская трагическая актриса.

двери своего дома.

Молодой лакей ушел, затем вернулся и, попросив пожаловать, провел меня в опрятную гостиную чопорного стиля Луи-Филиппа, обставленную тяжеловесной и неудобной мебелью, с которой в мою честь снимала чехлы молоденькая горничная, стройная, тоненькая дурнушка лет шестнадцати.

Затем меня оставили одного.

На стенах висело три портрета: хозяйки дома в одной из ее ролей, поэта, одетого в длинный редингот, перехваченный в талии, и в сорочку с пышным жабо, по старинной моде, и музыканта за клавирами; манера живописи была четкая, тонкая, изящная и сухая.

Актриса улыбалась прелестными губами и голубыми глазами – белокурая, очаровательная, но жеманная, как все красавицы на портретах того времени. Поэт и музыкант как будто уже видели перед собой будущие поколения.

В этой гостиной все говорило о прошлом, об ушедшей жизни, о людях, которых не стало.

Открылась дверь, и вошла старушка, совсем старенькая, вся седая, с белыми, как снег, волосами, с белыми бровями, – настоящая белая мышка, проворная и бесшумная.

Она протянула мне руку и все еще молодым, звучно вибрирующим голосом сказала:

– Благодарствую за внимание, сударь. Как это мило с вашей стороны. Стало быть, нынешние мужчины еще вспоминают о женщинах прошлого! Садитесь, пожалуйста.

Я сказал, что меня пленил ее домик и мне захотелось узнать имя владельца, а услышав ее имя, я не мог побороть желания постучаться к ней в дверь.

Она ответила:

– Очень приятно, сударь, тем более что подобное посещение для меня теперь великая редкость. Когда мне подали визитную карточку и я прочла ваши любезные слова, у меня забилося сердце, словно я получила весть о возвращении друга, исчезнувшего на целых двадцать лет. Ведь я покойница, сударь, право, покойница, обо мне никто не вспомнит, никто не подумает до того дня, как я умру по-настоящему. А тогда все газеты дня три будут говорить о Жюли Ромэн, печатать анекдоты, воспоминания, напыщенные похвалы. А затем со мной будет покончено навсегда...

Помедлив немного, она добавила:

– И уж этого недолго ждать. Пройдет несколько месяцев, может быть, несколько дней, и от маленькой старушки, которая пока еще жива, останется только маленькая горстка костей.

Она подняла глаза к своему портрету – он улыбался ей, этой старой женщине, этой карикатуре на него, затем взглянула на портреты обоих своих возлюбленных – высокомерного поэта и вдохновенного музыканта, а они, казалось, говорили друг другу: «Что нужно от нас этой развалине?»

Сердце у меня сжалось от печали, от неизъяснимой, смутной и горькой печали о прожитых жизнях, которые еще борются со смертью в воспоминаниях, словно утопающий в глубокой реке.

В окно видно было, как по дороге из Ниццы в Монако проносятся блестящие экипажи, а в них мелькают молодые, красивые, богатые, счастливые женщины и улыбающиеся, довольные мужчины. Жюли Ромэн заметила мой взгляд, угадала мои мысли и еле слышно промолвила с покорной улыбкой:

– Жизни не удержать...

– А как, наверно, прекрасна была ваша жизнь! – ответил я.

Она глубоко вздохнула:

– Да, прекрасна и радостна. Вот почему я так жалею о ней.

Я видел, что она не прочь поговорить о себе, и потихоньку, очень осторожно, словно прикасаясь к больному месту, принялся ее расспрашивать.

Она говорила о своих успехах, о своем упоении славой, о своих друзьях, о своей блистательной жизни.

Я спросил:

– Самую глубокую радость, истинное счастье дал вам, конечно, театр?

Она быстро ответила:

– О нет!

Я улыбнулся; она печальным взглядом окинула портреты двух своих возлюбленных и сказала:

– Нет, счастье мне дали только они.

Я не удержался от вопроса:

– Кто же из них?

– Оба. Я порою немного путаю их в памяти – по-старушечьи, а к тому же перед одним из них чувствую себя теперь виноватой.

– В таком случае, сударыня, ваша признательность относится не к ним, а к самой любви. Они были только ее истолкователями.

– Возможно. Но какими!..

– А не думаете ли вы, что гораздо сильнее вас любил или мог бы любить кто-нибудь другой, какой-нибудь простой человек, – пусть он не был бы гением, но отдал бы вам всего себя, все свое сердце, все мысли, все мгновения своей жизни, тогда как в любви двух этих великих людей у вас были опасные соперницы: музыка и поэзия.

Она воскликнула удивительно молодым своим голосом, задевающим какие-то струны в душе:

– Нет, сударь, нет. Другой человек, возможно, любил бы меня сильнее, но любил бы не так, как они. Ах, они пели мне песню любви, какой не спеть никому в мире! Она опьяняла меня. Да разве кто-нибудь другой, обыкновенный человек, мог бы создать то, что они создавали в мелодиях и словах? И много ли радости в любви, если в нее не могут вложить всю поэзию, всю музыку неба и земли! А они умели свести женщину с ума чарами песен и слов. Да, быть может, в нашей страсти было больше мечты, чем действительности, но такая мечта уносит за облака, а действительность всегда тянет вниз, к земле. Если другие и любили меня сильнее, чем они, то лишь через них двоих я познала, постигла любовь и преклонилась перед нею!

И вдруг она заплакала.

Она плакала беззвучно, слезами отчаяния.

Я делал вид, будто ничего не замечаю, и смотрел вдаль. Через несколько минут она заговорила:

– Видите ли, сударь, почти у всех людей вместе с телом стареет и сердце. А у меня не так. Моему жалкому телу шестьдесят девять лет, а сердцу – все еще двадцать. Вот почему я живу в одиночестве, среди цветов и воспоминаний.

Настало долгое молчание. Она успокоилась и сказала, уже улыбаясь:

– Право, вы посмеялись бы надо мною, если б знали... если б знали, как я провожу вечера... в хорошую погоду!.. Мне самой и стыдно и жалко себя.

Сколько я ни упрашивал, она больше ничего не захотела сказать. Наконец я встал, собираясь откланяться.

Она воскликнула:

– Уже?

Я сослался на то, что должен обедать в Монте-Карло, и тогда она робко спросила:

– А не хотите ли пообедать со мной? Мне это доставит большое удовольствие.

Я тотчас согласился. Она пришла в восторг, позвонила горничной, отдала распоряжения, а после этого повела меня осматривать дом.

Из столовой дверь выходила на застекленную веранду, уставленную растениями в кадках; оттуда была видна вся длинная аллея апельсиновых деревьев, убегавшая вдаль до самого подножия горы. Скрытое зеленью удобное низкое кресло указывало, что старая актриса частенько приходит посидеть здесь.

Затем мы отправились в сад полюбоваться цветами. Спускался тихий вечер, мягкий, теплый вечер, в воздухе струились все благоухания земли. Совсем уже смеркалось, когда мы сели за стол. Обед был вкусный, за столом мы сидели долго и стали друзьями, ибо она почувствовала, какая глубокая симпатия к ней пробудилась в моем сердце. Она выпила немного вина – «с наперсток», как говорили когда-то, и стала доверчивее, откровеннее...

– Пойдемте посмотрим на луну, – сказала она. – Милая луна!.. Обожаю ее. Она была свиде-

тельницей самых живых моих радостей. И мне кажется, что теперь в ней таятся все мои воспоминания; стоит мне посмотреть на нее, и они тотчас воскресают. И даже... иногда... вечерами я балую себя красивым... зрелищем... очень, очень красивым. Если бы вам сказать... Да нет, вы бы посмеялись надо мной... Нет, не скажу... не могу... нет, нет...

Я принялся упрасивать:

– Полноте! Что вы! Расскажите. Обещаю вам, что не буду смеяться! Даю слово! Ну, пожалуйста.

Она колебалась. Я взял ее руки, жалкие, сухонькие, холодные ручки, и поцеловал одну и другую несколько раз подряд, как это делали когда-то «они». Она была тронута. Она колебалась.

– Так обещаете не смеяться?

– Честное слово!

– Ну, хорошо, идемте.

Она встала, и когда слуга, неуклюжий юнец в зеленой ливрее, отодвигал ее кресло, она что-то сказала ему на ухо быстрым шепотом.

Он ответил:

– Слушаю, сударыня. Сию минуту.

Она взяла меня под руку и повела на веранду.

Аллея апельсиновых деревьев в самом деле была чудесна. Луна уже взошла, большая, круглая луна, и протянула по середине аллеи длинную полосу света, падавшего на желтый песок меж круглых и плотных крон темных деревьев. Деревья стояли все в цвету, и ночь была напоена их сильным и сладким ароматом. А в черной листве порхали тысячи крылатых светляков, огненных мух, похожих на звездные зернышки.

Я восхитился.

– О, какая декорация для любовной сцены!

Она улыбнулась.

– Ведь правда, правда? Сейчас вы увидите.

Она усадила меня рядом с собой. И, помолчав, сказала тихонько:

– Вот почему жалко, что жизнь ушла. Но ведь вы, нынешние мужчины, о любви не думаете. Вы теперь биржевики, коммерсанты, дельцы. Вы даже разучились разговаривать с нами. Я говорю «с нами», но имею в виду, конечно, молодых женщин. Любовь превратилась теперь просто в связь и нередко начинается со счета портнихи, который женщине надо скрыть. Если вы найдете, что женщина не стоит таких денег, вы отступаете; если найдете, что женщина стоит больше, вы оплатите счет. Хороши нравы! Хороша любовь!

Она взяла меня за руку.

– Смотрите...

Я взглянул и замер от удивления и восторга... Вдали, в глубине аллеи, по лунной дорожке, обнявшись, шла влюбленная пара. Они шли медленно, прижавшись друг к другу, очаровательные, юные, и то пересекали лужицы света, который тогда ярко озарял их, то внезапно исчезали в тени. Он был в белом атласном кафтане, какой носили в минувшем веке, и в шляпе со страусовым пером; она – в платье с фижмами и в высокой пудреной прическе красавиц времен Регентства.

В ста шагах от нас они остановились посреди аллеи и с жеманной грацией поцеловались.

Тут я узнал в них обоих молодых слуг актрисы и весь скорчился на стуле, едва сдерживая безумное, нестерпимое желание расхохотаться. Все же я пересилил себя и не рассмеялся. Я изнемогал, мучился, дергался, но подавил в себе смех, как человек, которому ампутируют ногу, подавляет крик, рвущийся из горла и с губ.

Но вот юная чета повернулась, направилась в глубину аллеи и снова стала прелестной. Она уходила, удалялась, исчезала и наконец совсем исчезла, как греза. Ее уже не было видно. Опустевшая аллея стала печальной.

Я тоже ушел, ушел, чтобы больше не видеть их: я понял, что этот спектакль длится долго, ибо он возрождает прошлое, далекое прошлое любви и рамп, искусственное, обманчивое и пленительное прошлое, полное ложного и настоящего очарования, от которого все еще билось сердце бывшей актрисы и бывшей любовницы.

Отец Амабль

I

Мокрое, серое небо нависло над широкой бурой равниной. Запах осени, печальный запах гой, сырой земли, палых листьев, засохшей травы разливался в неподвижном вечернем воздухе тяжелой, густой струей. Крестьяне еще работали кое-где в поле, ожидая звона к вечерне, чтобы вернуться на фермы, соломенные крыши которых проглядывали сквозь обнаженные сучья деревьев, защищающих от ветра яблоневые сады.

У дороги, на груди тряпья, сидел, растопырив ножки, крошечный ребенок и играл картофе-линой, роняя ее иногда на свою рубашонку, а рядом на поле пять женщин, согнувшись до земли так, что видны были только зады, сажали брюкву. Быстрым, мерным движением они втыкали де-ревянные колышки вдоль глубокой борозды, проведенной плугом, и тотчас сажали в образовав-шиеся ямки рассадку, уже немного поблекшую и спадающую набок; потом они прикрывали корни землей и продолжали работу.

Проходивший мимо мужчина, с голыми ногами в сабо, с кнутом в руке, остановился возле ребенка, взял его на руки и поцеловал. Тогда одна из женщин выпрямилась и подошла к нему. Это была рослая румяная девушка, широкая в бедрах, в талии и в плечах, крупная нормандская самка, желтоволосая и краснощекая.

Она сказала решительным голосом:

– Вот и ты, Сезэр. Ну, как?

Мужчина, худощавый парень с печальным лицом, пробормотал:

– Да никак. Все то же.

– Не хочет?

– Не хочет.

– Что ж ты будешь делать?

– А почему я знаю?

– Сходи к кюре.

– Ладно.

– Сходи сейчас.

– Ладно.

Они взглянули друг на друга. Он все еще держал ребенка на руках, поцеловал его еще раз и посадил на кучу женского тряпья.

На горизонте, между двумя фермами, видно было, как лошадь тащит плуг и как на него налегает человек. Лошадь, плуг и пахарь медленно двигались на фоне тусклого вечернего неба.

Женщина продолжала:

– Что же твой отец говорит?

– Говорит, что не хочет.

– Да отчего же он не хочет?

Парень указал жестом на ребенка, которого опустил на землю, и взглядом – на человека, шедшего за плугом. И добавил:

– Потому что ребенок от него.

Девушка пожала плечами и сказала сердито:

– Подумаешь! Всем известно, что ребенок от Виктора! Ну и что же? Ну, согрешила! Да разве я первая? И моя мать грешила до меня, да и твоя тоже – прежде чем выйти за твоего отца! Кому это у нас не приходилось грешить? А у меня грех вышел с Виктором потому, что он взял меня, ко-гда я спала в овине. Это истинная правда. Ну, потом бывало, конечно, что я и не спала да грешила. Я бы вышла за него, кабы он не жил в работниках. Неужели же я от этого хуже стала?

Парень ответил просто:

– По мне, ты хороша, что с ребенком, что без ребенка. Только вот отец не согласен. Ну, да я как-нибудь все улажу.

Она повторила:

– Сходи сейчас же к кюре.

– Иду.

И он пошел дальше тяжелой крестьянской поступью, а девушка, упершись руками в бедра, пошла сажать брюкву.

Парень, направлявшийся теперь к священнику, Сезэр Ульбрек, сын глухого старика Амабля Ульбрека, действительно хотел жениться против воли отца на Селесте Левек, хотя она прижила ребенка с Виктором Лекоком, простым батраком на ферме ее родителей, которого они выгнали после этого.

Впрочем, в деревне не существует кастовых различий, и если батрак бережлив, то он со временем сам приобретает ферму и становится ровней бывшему своему хозяину.

Итак, Сезэр Ульбрек шел, держа кнут под мышкой, думая все ту же думу и медленно переступая тяжелыми сабо, на которых налипла земля. Конечно, он хотел жениться на Селесте и хотел взять ее с ребенком, потому что это была та самая женщина, какая ему нужна. Он не мог бы объяснить, почему именно, но знал это, был в этом уверен. Достаточно ему было взглянуть на нее, чтобы убедиться в этом: он сразу чувствовал себя как-то чудно, растроганно, глупо-блаженно. Ему даже приятно было целовать ребенка, Викторова малыша, потому что он родился от нее.

И он без всякой злобы поглядывал на далекий силуэт человека, шедшего за плугом на краю горизонта.

Но отец Амабль не желал этого брака. Он противился ему с упрямством глухого, с каким-то бешеным упорством.

Напрасно Сезэр кричал ему в самое ухо, в то ухо, которое еще различало некоторые звуки:

– Мы будем ухаживать за вами, папаша. Говорю вам, она хорошая девушка, работающая, бережливая.

Старик твердил одно:

– Пока я жив, этому не бывать.

И ничто не могло убедить его, ничто не могло сломить его упорство. У Сезэра оставалась одна надежда. Отец Амабль побаивался кюре из страха перед смертью, приближение которой он чувствовал. Он, собственно, не боялся ни бога, ни черта, ни ада, ни чистилища, о которых не имел ни малейшего представления, но он боялся священника, вызывавшего у него мысль о похоронах, как боялся врача из страха перед болезнью. Селеста знала эту слабость старика и уже целую неделю уговаривала Сезэра сходить к кюре. Но Сезэр все не решался, так как и сам недолго любил черные сутаны: они представлялись ему не иначе как с рукой, протянутой за даянием или за хлебом для церкви.

Но наконец он собрался с духом и пошел к священнику, обдумывая, как бы лучше рассказать ему свое дело.

Аббат Раффен, маленький, худой, подвижной и вечно небритый, дожидался обеда, грея ноги у кухонного очага.

Увидев вошедшего крестьянина, он только повернул в его сторону голову и спросил:

– А, Сезэр, что тебе нужно?

– Мне бы поговорить с вами, господин кюре.

Крестьянин робко переминался на месте, держа в одной руке фуражку, а в другой кнут.

– Ну, говори.

Сезэр взглянул на старую служанку, которая, шаркая ногами, ставила хозяйский прибор на край стола перед окном. Он пробормотал:

– Мне бы вроде как на духу, господин кюре.

Тут аббат Раффен пристально взглянул на крестьянина и, заметив его растерянный вид, сконфуженное лицо, бегающие глаза, приказал:

– Мари, уйди к себе в комнату минут на пять, пока мы тут потолкуем с Сезэром.

Старуха бросила на парня сердитый взгляд и вышла, ворча.

Священник продолжал:

– Ну, теперь выкладывай свое дело.

Парень все еще колебался, разглядывал свои сабо, теребил фуражку, но потом вдруг осмелел:

- Вот какое дело. Я хочу жениться на Селесте Левек.
- Ну и женись, голубчик, кто же тебе мешает?
- Отец не хочет.
- Твой отец?
- Да.
- Что же он говорит, твой отец?
- Он говорит, что у нее ребенок.
- Ну, это не с ней первой случилось со времени нашей праматери Евы.
- Да ребенок-то у нее от Виктора, от Виктора Лекока, работника Антима Луазеля.
- Ах вот как! И отец, значит, не хочет?
- Не хочет.
- Нипочем не хочет?
- Да. Не в обиду сказать, уперся, как осел.
- Ну а что ты ему говоришь, чтобы он согласился?
- Я говорю, что она хорошая девушка, работящая и бережливая.
- А он все-таки не соглашается? Ты, значит, хочешь, чтобы я с ним поговорил?
- Вот, вот!
- Ну а что же мне ему сказать, твоему отцу?
- Да... то самое, что вы говорите на проповеди, чтобы мы деньги давали.

В представлении крестьянина все усилия религии сводились к тому, чтобы наполнять небесные сундуки, заставляя прихожан раскошеляться, выкачивать деньги из их карманов. Это было нечто вроде огромного торгового дома, где кюре являлись приказчиками, хитрыми, пронырливыми, оборотистыми, и обдeldывали дела господа бога за счет деревенских жителей.

Он, конечно, знал, что священники оказывают услуги, немалые услуги бедным людям, больным, умирающим, что они напутствуют, утешают, советуют, поддерживают, но все это за деньги, в обмен на беленькие монетки, на славное блестящее серебро, которым оплачиваются таинства и мессы, советы и покровительство, прощение и отпущение грехов, чистилище или рай, в зависимости от доходов и щедрости грешника.

Аббат Раффен, хорошо понимавший своих прихожан и никогда не сердившийся на них, рассмеялся:

- Ну, ладно! Я поговорю с твоим отцом, но ты, голубчик мой, должен ходить на проповедь.
- Ульбрек поднял руку:
- Если вы мне это устроите, даю честное слово бедняка, буду ходить.
 - Значит, поладили. Когда же ты хочешь, чтобы я сходил к твоему отцу?
 - Да чем раньше, тем лучше. Если можно, хоть сегодня.
 - Хорошо, я приду через полчаса, как поужинаю.
 - Через полчаса?
 - Да. До свидания, голубчик.
 - Счастливо оставаться, господин аббат, спасибо вам.
 - Не за что.

И Сезэр Ульбрек воротился домой, чувствуя, что с сердца его спала большая тяжесть.

Он арендовал маленькую, совсем маленькую ферму, так как они с отцом были небогаты. Одни со служанкой, пятнадцатилетней девочкой, которая варила им похлебку, ходила за птицей, доила коров и сбивала масло, они еле-еле сводили концы с концами, хотя Сезэр был хороший хозяин. Но у них не хватало ни земли, ни скота, и заработать им удавалось только на самое необходимое.

Старик уже не мог работать. Угрюмый, как все глухие, разбитый болезнями, скрюченный, сгорбленный, он бродил по полям, опираясь на палку, и мрачно, недоверчиво оглядывал людей и животных. Иногда он садился на краю канавы и просиживал там в неподвижности целыми часами, смутно думая о том, что заботило его всю жизнь, – о ценах на яйца и на хлеб, о солнце и о дожде,

которые будут полезны или вредны посевам. И его старые члены, сведенные ревматизмом, продолжали впитывать в себя сырость почвы, как уже впитывали в течение семидесяти лет испарения низкого домика, крытого сырой соломой.

Он возвращался домой к вечеру, садился на свое место в кухне, у края стола, и когда перед ним ставили глиняный горшок с похлебкой, он обхватывал его скрюченными пальцами, как будто сохранявшими округлую форму посуды, и, прежде чем приняться за еду, грел об него руки зимой и летом, чтобы не пропало ничего, ни единой частицы тепла от огня, который стоит так дорого, ни единой капли супа, куда положены сало и соль, ни единой крошки хлеба, на который идет пшеница.

Потом он взбирался по лесенке на чердак, где лежал его сенник; сын спал внизу, в закоулке за печью, а служанка запиралась на ночь в погреб, в темную яму, куда раньше ссыпали картофель.

Сезэр и его отец почти не разговаривали. Лишь время от времени, когда надо было продать урожай или купить теленка, молодой человек советовался со стариком и, сложив рупором руки, выкрикивал ему в ухо свои соображения; отец Амабль соглашался с ним или медленно возражал глухим голосом, выходявшим словно из самого его нутра.

И вот однажды вечером Сезэр подошел к отцу, как бывало, когда дело шло о приобретении лошади или телки, и прокричал ему в ухо что было силы о своем намерении жениться на Селесте Левек.

Но тут отец рассердился. Почему? По моральным соображениям? Нет, конечно. В деревне девичья честь никакой ценности не представляет. Но скупость и глубокий, свирепый инстинкт бережливости возмутились в нем при мысли, что сын будет растить ребенка, который родился не от него. В одно мгновение представил он себе, сколько мисок супа проглотит ребенок, пока от него будет польза в хозяйстве, вычислил, сколько фунтов хлеба съест, сколько литров сидра выпьет этот мальчишка, прежде чем ему исполнится четырнадцать лет, и в нем вспыхнула дикая злоба против Сезэра, который не подумал обо всем этом.

И он ответил непривычно резким голосом:

– Да ты рехнулся, что ли?

Тогда Сезэр начал перечислять все доводы, описывать достоинства Селесты, доказывая, что она заработает во сто раз больше, чем будет стоить ребенок. Но старик в ее достоинствах сомневался, между тем как существование ребенка не вызывало у него никаких сомнений, и упорно твердил одно и то же, не вдаваясь в подробности:

– Не хочу! Не хочу! Пока я жив, этому не бывать.

И за три месяца дело не сдвинулось с места, так как ни тот, ни другой не шли на уступки и возобновляли не менее раза в неделю тот же спор, с теми же доводами, словами, жестами и с теми же бесплодными результатами.

Тогда-то Селеста и посоветовала Сезэру обратиться за помощью к местному кюре.

От священника Сезэр пришел домой с опозданием и застал отца уже за столом.

Они пообедали молча, сидя друг против друга, съели после супа немного хлеба с маслом, выпили по стакану сидра и продолжали неподвижно сидеть на стульях при тусклом свете свечи, которую девочка-служанка внесла, чтобы вымыть ложки, перетереть стаканы и заранее нарезать хлеб на завтрашнее утро.

Раздался стук в дверь; она тотчас же распахнулась, и вошел священник. Старик поднял на него беспокойный, подозрительный взгляд и, предчувствуя недоброе, собрался было залезть на чердак, но аббат Раффен положил ему руку на плечо и прокричал у самого его виска:

– Мне надо поговорить с вами, отец Амабль.

Сезэр скрылся, воспользовавшись тем, что дверь осталась открытой. Он не хотел ничего слышать, так ему было страшно; он не хотел, чтобы его надежда убывала по капле с каждым упорным отказом отца; он предпочитал потом, сразу, узнать решение, хорошее или плохое, и ушел из дому. Вечер был безлунный, беззвездный, один из тех туманных вечеров, когда воздух от сырости кажется сальным. Легкий запах яблок несся из каждого двора; наступило время сбора ранних яблок, «скороспелок», как их называют в этой стране сидра. Когда Сезэр проходил мимо хлевов, на него сквозь узкие окна веяло теплым запахом скота, дремавшего на навозе, из конюшен доно-

силось топотание лошадей и похрустывание сена, которое они выбирали из кормушек и перемалывали челюстями.

Он шел и думал о Селесте. В его простом уме, где мысли возникали только как образы, непосредственно порождаемые предметами, мечты о любви воплощались в облике высокой румяной девушки, которая стояла у дороги, в ложбине, и смеялась, упершись руками в бедра.

Такой он увидел ее в тот день, когда в нем впервые зародилось влечение к ней. Правда, он знал ее с детства, но никогда до этого утра не обращал на нее внимания. Они поговорили несколько минут, и он ушел, повторяя на ходу: «А ведь хороша девка! Жаль, что у нее был грех с Виктором». Он думал о ней до самого вечера, а также и на другой день.

Когда они встретились снова, он почувствовал, что у него зашекетало в горле, как будто ему запустили петушиное перо через рот в самую грудь. И с тех пор каждый раз, когда он бывал подле нее, он с удивлением ощущал то же неизменное, странное нервное щекотание.

Не прошло и трех недель, как он решил жениться на ней, – так она ему нравилась. Он бы не сумел объяснить, откуда взялась ее власть над ним, и только говорил: «На меня нашло», как будто желание обладать этой девушкой, которое он носил в себе, овладело им, как бесовское наваждение. Ее грех больше не тревожил Сезэра. Не все ли равно, в конце концов, ведь от этого она хуже не стала; и он не питал злобы к Виктору Лекоку.

Но если кюре потерпит неудачу, что тогда? Сезэр старался не думать об этом: слишком уж терзала его тревога.

Он дошел до дома священника и сел подле деревянной калитки, чтобы дожидаться возвращения кюре.

Посидев там, пожалуй, не меньше часа, он услышал на дороге шаги и вскоре разглядел, хотя ночь была очень темная, еще более темную тень сутаны.

Он встал, ноги его подкашивались, он боялся заговорить, боялся спросить.

Священник, увидев его, весело сказал:

– Ну, вот, голубчик, все и уладилось.

Сезэр забормотал:

– Как уладилось?... Не может быть!

– Да, да, мальчик, правда, не без труда. Твой отец упрям, как старый осел.

Крестьянин все повторял:

– Не может быть!

– Ну да, уладилось! Приходи ко мне завтра в полдень поговорить насчет оглашения.

Сезэр схватил руку кюре. Он жал ее, тряс, тискал и твердил, заикаясь:

– Так правда?... Правда?... Господин кюре!.. Даю слово честного человека, я приду в воскресенье... на вашу проповедь!

II

Свадьбу сыграли в середине декабря. Свадьба была скромная, так как молодые были небогатые. Сезэр, одетый во все новое, порывался уже с восьми утра идти за невестой и вести ее в мэрию; но было еще слишком рано, и он уселся за кухонный стол, поджидая родных и друзей, которые должны были зайти за ним.

Снег шел целую неделю; и бурая земля, уже оплодотворенная осенними посевами, побелела, заснула под ледяным покровом.

В домиках, накрытых белыми шапками снега, было холодно; круглые яблони во дворах, напудренные снежной пылью, казалось, цвели, как в прекрасную пору своего расцвета.

В тот день большие тучи с севера, серые тучи, набухшие снежным дождем, рассеялись, и голубое небо распростерлось над белой землей, на которую восходящее солнце бросало серебристые блики.

Сезэр глядел в окно и ни о чем не думал, только чувствовал себя счастливым.

Дверь отворилась, вошли две женщины, две крестьянки, разодетые по-праздничному, – тетка и двоюродная сестра жениха; за ними явилось трое мужчин – его двоюродные братья, потом со-

сидка. Они размесились на стульях и сидели неподвижно и молча – женщины на одной стороне кухни, мужчины на другой, – внезапно скованные той робостью, тем тоскливым смущением, которое нападает на людей, собравшихся для какой-нибудь церемонии. Немного погодя один из двоюродных братьев спросил:

– Не пора ли?

Сезэр ответил:

– Пожалуй, пора.

– Ну, так пойдёмте, – сказал другой.

Они встали. Тогда Сезэр, начинавший беспокоиться, влез по лестнице на чердак, посмотреть, готов ли отец. Обычно старик вставал очень рано, но сегодня он еще не появлялся. Сын нашел его в постели: он лежал, завернувшись в одеяло, с открытыми глазами и злым лицом.

Сезэр крикнул ему в ухо:

– Вставайте, папаша, вставайте. Пора на свадьбу!

Глухой забормотал жалобным голосом:

– Не могу! Мне, должно быть, спину продуло. Никак двинуться не могу.

Сын удрученно глядел на него, догадываясь, что это притворство.

– Ну, папаша, понатужьтесь.

– Не могу.

– Давайте я вам пособлю.

И, нагнувшись к старику, он размотал одеяло, взял отца за руки и приподнял. Но старик Амабль принялся вопить:

– Ой, ой, ой!.. Горе мое!.. Ой, ой, не могу! Всю спину разломило! Верно, меня ветром продуло через эту проклятую крышу.

Сезэр понял, что ничего не добьется, и, впервые в жизни рассердившись на отца, крикнул ему:

– Ну, тогда и сидите без обеда. Ведь обед-то я заказал в трактире у Полита. Будете знать, как упрямитесь.

Он сбегал с лестницы и пустился в путь в сопровождении родных и приглашенных.

Мужчины засучили брюки, чтобы не обить их края о снег, женщины высоко подбирали юбки, показывая худые щиколотки, серые шерстяные чулки и костлявые ноги, прямые, как палки. Они шли, покачиваясь, гуськом, молча и медленно из осторожности, чтобы не сбиться с дороги, занесенной ровною, однообразною, сплошною пеленой снега.

Когда они подходили к фермам, к ним присоединялось по два, по три человека, которые их поджидали, и процессия беспрестанно растягивалась, извивалась, следуя по невидимым поворотам дороги, и напоминала живые четки, черные бусы, колыхавшиеся по белой равнине.

Перед домом невесты жениха ждала целая группа людей, переминавшихся с ноги на ногу. Когда он появился, его приветствовали криками. Скоро и Селеста вышла из своей комнаты, в голубом платье, с красной шалью на плечах, с флердоранжем в волосах.

Все спрашивали Сезэра:

– А где же отец?

Он отвечал сконфуженно:

– У него такие боли приключились, что встать не может.

И фермеры недоверчиво и лукаво покачивали головами.

Процессия направилась к мэрии. Позади будущих супругов одна из крестьянок несла на руках ребенка Виктора, как будто предстояли крестины. Остальные крестьяне, взявшись под руки, шагали по снегу теперь уже попарно, качаясь, как шлюпки на волнах.

После того как мэр соединил молодых в маленьком доме муниципалитета, кюре, в свою очередь, обвенчал их в божьем доме. Он благословил их союз, обещая им плодородие, а потом произнес проповедь о супружеских добродетелях, о простых здоровых добродетелях сельской жизни, о трудолюбии, о супружеском согласии, о верности; тем временем ребенок, продрогнув, пищал за спиной у невесты.

Когда молодые показались на церковном пороге, из кладбищенского рва грянули выстрелы.

Сначала видны были только концы ружейных стволов, из которых быстро вылетали клубы дыма, потом показалась голова, смотревшая на процессию. Это Виктор Лекок приветствовал свадьбу своей подруги, праздновал ее счастье и в громе выстрелов приносил ей свои поздравления. Для этих торжественных залпов он привел своих приятелей, человек пять-шесть батраков с ферм. Все нашли, что это очень мило с его стороны.

Обед состоялся в трактире Полита Кашпрюна. Стол на двадцать персон был накрыт в большом зале, где обедали в базарные дни; огромная баранья нога на вертеле, птица, жарящаяся в собственном соку, колбаса, шипящая на ярком, веселом огне, наполняли дом густым запахом, чадом залитых жиром углей, крепким, тяжким духом деревенской пищи.

В полдень сели за стол, и тарелки тотчас же наполнились супом. Лица уже оживились, рты готовы были открыться и выкрикивать шутки, глаза смеялись, лукаво прищуриваясь. Все собрались повеселиться, черт возьми!

Дверь распахнулась, и появился отец Амабль. Вид у него был недобрый, выражение лица свирепое, он тащился, опираясь на две палки и охая на каждом шагу, чтобы видно было, как он страдает.

При его появлении все умолкли; но вдруг его сосед, дядя Маливуар, известный шутник, видевший каждого насквозь, завопил, сложив руки рупором, как это делал Сезэр:

– Эге, старый хитрец! Ну и носище у тебя, если ты из дома учуял, чем у Полита пахнет!

Могучий хохот вырвался из всех глоток. Маливуар, поощренный успехом, продолжал:

– Нет лучше средства от ломоты, чем колбасная припарка! Если еще стаканчик водки в придachu, вот нутро-то и согреется!

Мужчины орали, колотили кулаками по столу, хохотали, то наклоняясь в сторону всем телом, то выпрямляясь, точно качали воду. Женщины кудахтали, как куры, служанки корчились со смеху, стоя у стены. Один отец Амабль не смеялся и, ничего не отвечая, ждал, чтобы ему очистили место.

Его посадили посредине, напротив снохи; и не успел он сесть за стол, как тотчас же принялся за еду. Раз сын платит, надо урвать свою долю. С каждой ложкой супа, попавшей в его желудок, с каждым куском хлеба или мяса, растертым его беззубыми деснами, с каждым стаканом сидра или вина, влитым в горло, он, казалось, отвоевывал частицу своего добра, возвращал часть денег, проедаемых этими обжорами, спасал крохи своего имущества. Он ел молча, с алчностью скупца, припрятавающего каждое су, с тем угрюмым рвением, какое раньше прилагал к своим неустанным трудам.

Но, увидев вдруг за столом, на коленях у одной из женщин, ребенка Селесты, он больше уже не сводил с него глаз. Он продолжал есть, но взгляд его был прикован к мальчику, жевавшему кусочки жаркого, которые женщина время от времени подносила к его роту. И старика гораздо больше мучили те крохи, которые сосала эта личинка человека, чем все то, что поглощали остальные.

Пир длился до вечера. Потом все разошлись по домам. Сезэр приподнял отца Амабля.

– Пора домой, папаша, – сказал он и подал ему обе его палки.

Селеста взяла ребенка на руки, и они медленно побрели сквозь белесую мглу ночи, освещенной снегом. Глухой старик, изрядно выпивший, еще более злой от вина, упорно не желал двигаться. Не раз он даже садился в тайной надежде, что сноха простудится. Он хныкал, не произнося ни слова, испуская протяжные жалобные стоны.

Когда они добрались до дому, он тотчас же залез на чердак, между тем как Сезэр устраивал постель для ребенка подле того закоулка, где собирался лечь с женой. Новобрачные заснули далеко не сразу, и они долго еще слышали, как старик ворочался на своем сеннике; он даже несколько раз громко проговорил что-то, может быть, со сна, а может быть, потому, что был во власти навязчивой мысли и слова против воли вырывались у него изо рта.

Когда он наутро спустился с лестницы, то увидел, что сноха хлопочет по хозяйству.

Она крикнула ему:

– Поторапливайтесь, папаша, вот вам хорошая похлебка.

И она поставила на край стола круглый глиняный дымящийся горшок. Старик Амабль сел,

ничего не ответив, взял горячий горшок, по обыкновению погрел об него руки и, так как было очень холодно, даже прижал его к груди, пытаясь вобрать в себя, в свое старое тело, застывшее от зимних холодов, немного живого тепла кипящей воды.

Потом он взял свои палки и ушел в замерзшие поля до полудня, до самого обеда, – ушел из-за того, что увидел в большом ящике из-под мыла ребенка Селесты, который еще спал.

Старик так и не примирился. Он продолжал жить в доме, как раньше, но, казалось, уже был здесь чужим, ничем не интересовался, относился к этим людям – к сыну, к женщине, к ребенку, – как к посторонним, которых он не знает и никогда с ними не разговаривал.

Зима миновала. Она была долгая и суровая. Потом ранней весной взошли посевы, и крестьяне, как трудолюбивые муравьи, снова проводили в поле целые дни, работая от зари до зари, под ветром и под дождем, согнувшись над бороздами черной земли, рождавшими хлеб для людей.

Для молодых супругов год начался хорошо. Всходы выдались крепкие, густые, поздних заморозков не было, цветущие яблони роняли в траву бело-розовый снег, обещая на осень горы плодов.

Сезэр работал не покладая рук, вставал рано и возвращался поздно, чтобы не тратиться на батрака.

Жена не раз говорила ему:

– Смотри, надорвешься!

Но он отвечал:

– Ничего, дело привычное.

Все же однажды вечером он вернулся домой настолько усталый, что лег, не поужинав. Наутро он встал в обычный час, но не мог есть, хотя накануне улегся натошак; днем он вынужден был вернуться домой отдохнуть. Ночью он начал кашлять и метался на постели в жару, страдая от жажды, лицо у него пылало, во рту пересохло.

Тем не менее на рассвете он отправился в поле, но на следующий день пришлось позвать врача, который объявил, что он серьезно болен, болен воспалением легких.

И Сезэр больше уж не вышел из темного закоулка, служившего ему спальней. Слышно было, как он кашляет, тяжело дышит и ворочается в этой темной норе. Чтобы его увидеть, чтобы дать ему лекарство или поставить банки, надо было в этот закоулок приносить свечу. Тогда становилось видно его изможденное лицо, неопрятное из-за отросшей бороды, а над ним – густое кружево паутины, колебавшейся от движения воздуха. Руки больного казались мертвыми на серой простыне.

Селеста ухаживала за ним с тревожной заботливостью, давала ему пить лекарство, ставила банки, хлопотала по хозяйству, а отец Амабль, сидя у входа на чердак, следил издали за темным углом, где умирал его сын. Он не подходил к нему, потому что ненавидел его жену, и злился, как ревнивый пес.

Прошло еще шесть дней. Утром седьмого дня, когда Селеста, спавшая теперь на охапке соломы, расстеленной на полу, встала, чтобы взглянуть, не легче ли мужу, она не услышала больше из темного угла его прерывистого дыхания. В испуге она спросила:

– Ну, как ты нынче, Сезэр?

Он не ответил.

Она протянула руку, чтобы потрогать его, и коснулась застывшего лица. Она закричала громко и протяжно, как кричат испуганные женщины. Он был мертв.

При этом крике глухой старик появился наверху лестницы; увидев, что Селеста бросилась бежать за помощью, он быстро спустился, в свою очередь ощупал лицо сына и, поняв вдруг, в чем дело, запер дверь изнутри, чтобы не дать снохе вернуться и снова завладеть домом теперь, когда сына уже нет в живых.

Потом он сел на стул рядом с покойником.

Соседи приходили, звали, стучали. Он не слышал. Один из них разбил оконное стекло и влез в комнату. Другие последовали за ним; дверь снова отперли, и Селеста вошла, вся в слезах, с распухшим лицом и красными глазами. Тогда отец Амабль, побежденный, не промолвив ни слова, снова залез к себе на чердак.

Похороны состоялись на следующий день; после церемонии свекор и сноха очутились на ферме одни с ребенком.

Был час обеда. Селеста зажгла огонь, размочила хлеб в похлебке и собрала на стол, между тем как старик ждал, сидя на стуле, и как будто не глядел на нее.

Когда обед поспел, она крикнула ему в ухо:

– Идите, папаша, надо поесть.

Он встал, сел за стол, съел горшок супа, сжевал кусок хлеба, тонко намазанный маслом, выпил два стакана сидра и ушел.

Стоял один из тех теплых благодатных дней, когда чувствуется, как на всей поверхности земли всходит, трепещет, расцветает жизнь.

Отец Амабль шел по тропинке через поля. Он глядел на молодые хлеба, на молодые овсы и думал о том, что его сын, родной его сын, лежит теперь под землею. Он шел усталой походкой, волоча ногу, прихрамывая. Он был совсем один в поле, совсем один под голубым небом, среди зреющего урожая, совсем один с жаворонками, которых видел над своей головой, не слыша их звонкого пения; он шел и плакал.

Потом он сел подле лужи и просидел там до вечера, глядя на птичек, которые прилетали напиться, а когда стало темнеть, вернулся домой, поужинал, не говоря ни слова, и влез к себе на чердак.

И жизнь его потекла так же, как раньше. Ничто не изменилось, только Сезэр, его сын, спал на кладбище.

Да и что было делать старику? Работать он больше не мог, он годился теперь только на то, чтобы есть похлебку, которую варила сноха. И он молча съедал ее, утром и вечером, следя злыми глазами за ребенком, который тоже ел, сидя против него, по другую сторону стола. Потом он уходил из дому, шатался по окрестностям, как бродяга, прятался за овинами, чтобы соснуть часок-другой, как будто боясь, что его увидят, и лишь к ночи возвращался домой.

Между тем серьезные заботы начали тревожить Селесту. Земля нуждалась в мужчине, который ухаживал бы за ней и обрабатывал ее. Надо было, чтобы кто-нибудь постоянно находился на полях, и притом не простой наемный работник, а настоящий земледелец, опытный хозяин, болеющий о ферме. Женщина одна не может обрабатывать землю, следить за ценами на хлеб, покупать и продавать скот. И в голове Селесты возникли мысли, простые, практические мысли, которые она передумывала целыми ночами. Она не могла снова выйти замуж раньше как через год, а между тем следовало немедленно позаботиться о самых насущных нуждах.

Только один человек и мог вывести ее из затруднения – Виктор Лекок, отец ее ребенка. Он был хороший работник и знал все, что касалось земли; будь у него хоть немного денег, он стал бы прекрасным хозяином. Селесте это было известно, потому что она видела, как он работал на ферме у ее родителей.

И вот как-то утром, когда он проезжал мимо с телегой навоза, она вышла ему навстречу. Заметив ее, он остановил лошадь, и она обратилась к нему, как будто они виделись не далее как вчера:

– Здравствуй, Виктор, как живешь?

Он ответил:

– Помаленьку, а вы как?

– Я бы ничего, да вот только одна я в доме и очень беспокоюсь о земле.

И они пустились в долгий разговор, прислонясь к колесу тяжелой телеги. Мужчина порой почесывал себе лоб под фуражкой и погружался в раздумье, а она, раскрасневшись, говорила с жаром, высказывая свои доводы, соображения, планы на будущее. Наконец он пробормотал:

– Ну что ж, это можно.

Она протянула руку, как делают крестьяне, заключая торг, и сказала:

– Значит, по рукам?

Он пожал протянутую руку:

– По рукам!

– Так в воскресенье?

- В воскресенье.
- Ну, до свидания, Виктор,
- До свидания, госпожа Ульбрек.

III

В то воскресенье был деревенский праздник, ежегодный престольный праздник, который в Нормандии называют «гуляньем».

Всю неделю по дорогам медленно тащились повозки, запряженные серыми или гнедыми клячами, крытые повозки, в которых живут со своими семьями бродячие ярмарочные фокусники, владельцы лотерей, тиров, разных игр и содержатели тех паноптикумов, где, как говорят крестьяне, «показывают разные штуки».

На площади, у мэрии, один за другим останавливались грязные фургоны с развешивающимися занавесками, сопровождаемые унылым псом, который, понунив голову, трусил между колесами. Вскоре перед каждым из этих кочевых жилищ вырастала палатка, а в палатке сквозь дыры в парусине можно было разглядеть блестящие предметы, возбуждавшие восхищение и любопытство мальчишек.

В праздник все эти палатки открывались с самого утра, выставляя напоказ свои сокровища из стекла и фаянса. Крестьяне, направляясь к обедне, с простодушным удовольствием поглядывали на эти незатейливые лавки, несмотря на то что видели их ежегодно.

К полудню площадь наполнилась народом. Со всех соседних деревень съезжались фермеры, трясясь с женами и детьми на двухколесных шарабанах, гроыхающих железными частями и шатких, как качели. Приезжающие распрягали лошадей у знакомых, и все дворы были загроможены нелепыми серыми колымагами, высокими, тонкими, крючковатыми, похожими на животных с длинными щупальцами, обитателей морских глубин.

И все семьи – маленькие впереди, взрослые сзади – отправлялись на гулянье тихим шагом, с довольным видом, болтая руками, грубыми, костлявыми, красными руками, которые привыкли к работе и словно стыдились своей праздности.

Фокусник играл на дудке; шарманка карусели раздирала воздух плачущими, прерывистыми звуками; лотерейное колесо трещало, как материя, которую разрывают; ежеминутно раздавались выстрелы из карабинов. И медлительная толпа лениво двигалась вдоль палаток, расползаясь, как тесто, волнуясь, как стадо неуклюжих животных, случайно выпущенных на свободу.

Девушки, взявшись за руки, гуляли по шесть, по восемь в ряд и визгливо пели песни; парни шли за ними, балагурия, сдвинув набекрень фуражки, и накрахмаленные блузы пузырились на них, как большие голубые шары.

Тут собралась вся округа – хозяева, батраки, служанки.

Даже отец Амабль нарядился в свой древний позеленевший сюртук и пожелал принять участие в гулянье, потому что никогда не пропускал его.

Он глядел на лотерею, останавливался перед тиром посмотреть, как стреляют, и в особенности заинтересовался простой игрой, состоящей в том, чтобы попадать большим деревянным шаром в разинутый рот человека, нарисованного на доске.

Вдруг кто-то хлопнул его по плечу. То был дядя Маливуар. Он крикнул старику:

– Эй, папаша, пойдем выпьем коньяку, я угощаю.

И они уселись за столик кабачка, устроенного на открытом воздухе. Они выпили по рюмочке, потом по другой и по третьей, после чего отец Амабль снова пошел бродить. Мысли его стали немного путаться, он улыбался, сам не зная чему, улыбался, глядя на лотерею, на карусель и, главное, на фигурные кегли. Он долго стоял перед ними, приходя в восторг каждый раз, как какой-нибудь любитель сбивал жандарма или священника – двух представителей власти, которых старик инстинктивно страшился. Потом он вернулся к кабачку и выпил стакан сидра, чтобы освежиться. Было поздно, надвигалась ночь. Кто-то из соседей окликнул его:

– Смотрите, отец Амабль, не опоздайте к ужину.

Тогда он отправился домой, на ферму. Тихие сумерки, теплые сумерки весенних вечеров

медленно опускались на землю.

Когда он дошел до дверей, ему показалось, что в освещенном окне видны два человека. Он остановился в изумлении, потом вошел и увидел, что за столом, перед тарелкой с картошкой, на том самом месте, где раньше сидел его сын, сидит и ужинает Виктор Лекок.

Старик сразу круто повернулся, как будто хотел уйти. Ночь была уже совсем черная. Селеста вскочила и крикнула ему:

– Скорее, скорее, папаша, нынче у нас ради праздника хорошее рагу!

Тогда он машинально подошел к столу и сел, оглядывая поочередно мужчину, женщину и ребенка. Потом, по своему обычаю, медленно принялся за еду.

Виктор Лекок чувствовал себя как дома, время от времени заговаривал с Селестой, брал ребенка на руки и целовал его. А Селеста подкладывала ему еды, наполняла его стакан и, казалось, с большим удовольствием разговаривала с ним. Отец Амабль следил за ними пристальным взглядом, не слыша их слов. После ужина – а он почти не ел, так у него было тяжело на сердце – он встал и, вместо того чтобы влезть, как всегда, на чердак, открыл дверь во двор и вышел в поле.

Когда он ушел, Селеста, немного обеспокоившись, спросила:

– Что это с ним?

Виктор равнодушно заметил:

– Не бойся. Придет, когда устанет.

Тогда она занялась хозяйством, перемыла тарелки, вытерла стол, между тем как мужчина спокойно раздевался. Потом он улегся в глубоком темном закоулке, где она раньше спала с Сезэром.

Дверь со двора отворилась. Вошел отец Амабль и тотчас же огляделся по сторонам, будто принюхиваясь, как старый пес. Он искал Виктора Лекока. Не видя его, он взял свечу со стола и пошел к темному углу, где умер его сын. В глубине его он увидел мужчину, вытянувшегося под одеялом и уже уснувшего. Тогда глухой тихо повернулся, поставил свечу и опять вышел из дому.

Селеста закончила работу, уложила сына, прибрала все по местам и ждала только возвращения свекра, чтобы тоже улечься рядом с Виктором.

Она сидела на стуле, свесив руки, глядя в пространство.

Но старик все не возвращался, и она с досадой и раздраженно пробормотала:

– Из-за этого старого дармоеда мы свечу спалим на целых четыре су.

Виктор откликнулся с кровати:

– Он уже больше часа на дворе. Взглянуть бы, не заснул ли он на скамейке у крыльца.

– Сейчас схожу, – сказала она, встала, взяла свечу и вышла, приложив руки щитком ко лбу, чтобы лучше видеть в темноте.

Никого не было перед дверью, никого на скамейке, никого у навозной кучи, куда отец по привычке приходил иногда посидеть в тепле.

Но, собираясь уже вернуться в дом, она нечаянно подняла глаза на большую развесистую яблоню у ворот фермы и вдруг увидела ноги, две мужских ноги, висевшие на уровне ее лица.

Она отчаянно закричала:

– Виктор! Виктор! Виктор!

Он прибежал в одной рубашке. Она не могла выговорить ни слова и, отвернувшись, чтобы не видеть, показывала протянутой рукой на дерево.

Ничего не понимая, он взял свечу, чтобы посмотреть, что там такое, и увидел среди освещенной снизу листвы отца Амабля, который висел очень высоко на недоуздке.

К стволу яблони была прислонена лестница.

Виктор сбегал за ножом, влез на дерево и разрезал ремень. Но старик уже застыл, высунув изо рта язык, в ужасной гримасе.

В весенний вечер

Жанна выходила замуж за своего кузена Жака. Они знали друг друга с детства, и любовь их

была свободна от той стеснительной формы, которую она обычно принимает в светском обществе. Они воспитывались вместе и не подозревали, что любят друг друга. Молодая девушка, немного кокетка, иногда чуть поддразнивала кузена; она находила его красивым, славным и каждый раз при встрече от души целовала, но никогда не испытывала той дрожи, от которой пробегают мурашки по всему телу, с головы до ног.

Он же просто говорил себе: «Она миленькая, моя кузиночка» – и думал о ней с той бессознательной нежностью, которую мужчина всегда испытывает к красивой девушке. Дальше его мысли не заходили.

Но вот однажды Жанна случайно услышала, как ее мать говорила тетке (тете Альберте, а не тете Лизон, оставшейся старой девой):

– Уверю тебя, что эти дети тотчас же влюбятся друг в друга: это по всему видно. Мне кажется, Жак – именно тот зять, о котором я мечтала.

И Жанна немедленно же начала обожать своего кузена Жака. Она краснела при встречах с ним, теперь рука ее дрожала в руке юноши, она опускала глаза под его взглядом и иногда жеманила, чтобы вызвать его на поцелуй, так что в конце концов он заметил это. Он понял все и в порыве удовлетворенного самолюбия и искреннего чувства крепко обнял кузину, шепнув ей на ухо: «Люблю тебя, люблю».



С этого дня началось воркование, ухаживание и тому подобное – целый поток проявлений любви, которые не вызывали в них благодаря их прежней близости ни неловкости, ни смущения. В гостиной Жак целовал невесту на глазах у трех старушек, трех сестер: своей матери, матери Жанны и тетки Лизон. Он по целым дням гулял вдвоем с нею в лесу, вдоль маленькой речки, по сырым лугам, где трава была усеяна полевыми цветами. Они ждали свадьбы без особого нетерпения, упиваясь чарующей нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных, столь долгих взглядов, что их души, казалось, сливались воедино; их смутно волновала пока еще неясная жажда пылких объятий, а их губы словно ощущали тревожный призыв и, казалось, подстерегали, поджидали и обещали.

Иногда, проведя целый день в томлении сдерживаемой страсти, в платонических ласках, они оба чувствовали по вечерам необъяснимую усталость и глубоко вздыхали, сами не зная почему, не понимая этих вздохов, вызываемых ожиданием.

Обе матери и их сестра, тетя Лизон, с умилением следили за этой юной любовью. Особенно тетя Лизон казалась растроганной при виде их.

Эта маленькая женщина говорила мало, старалась быть незаметной, не производила ни малейшего шума. Она появлялась лишь к столу и затем возвращалась в свою комнату, где постоянно

сидела запершись. Это была добрая старушка с ласковыми, грустными глазами; в семье с ней почти не считались.

Обе вдовы сестры, занимая известное положение в свете, смотрели на нее как на существо незначительное. С ней обращались с бесцеремонной фамильярностью, за которой скрывалось нечто вроде пренебрежительной доброты к старой деве. Родившись в дни, когда во Франции царил Беранже, она носила имя Лизы⁶⁹. Когда увидели, что замуж она не выходит и, вероятно, никогда не выйдет, Лизу переименовали в Лизон. Теперь же она была «тетей Лизон», скромной, чистенькой старушкой, ужасно застенчивой даже с родными, а они любили ее любовью, смешанной с привычкой, состраданием и доброжелательным равнодушием.

Дети никогда не поднимались наверх, чтобы поздороваться с ней в ее комнате. К ней входила только служанка. Когда с тетей Лизон хотели поговорить, за ней посылали. Едва ли даже все знали, где находится комната, в которой одиноко протекала эта бедная жизнь. Старушка совсем не занимала места. В ее отсутствие о ней никогда не говорили, никогда не думали.

Она была тем незаметным существом, которое остается чуждым и неизвестным даже близким родным и смерть которого не оставляет в доме пустоты, существом, которое не умеет ни войти в жизнь, в привычки тех, кто живет бок о бок с ним, ни вызвать их любовь.

Она ходила всегда маленькими быстрыми беззвучными шагами, никогда не производила шума, никогда ни за что не задевала и, казалось, сообщала предметам способность не издавать ни малейшего звука: руки ее были словно из ваты, так легко и осторожно обращались они с тем, до чего дотрагивались.

Когда произносили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали, так сказать, ни единой мысли в чьем-либо сознании. Все равно как будто говорили: «кофейник» или «сахарница».

Собачка Лут обладала, несомненно, гораздо более заметной индивидуальностью; ее постоянно ласкали, звали: «Дорогая Лут, милая Лут, маленькая Лут». И оплакивали бы ее несравненно больше.

Свадьба кузенов должна была состояться в конце мая. Молодые люди жили, не спуская глаз друг с друга, не размыкая рук, сливаясь мыслью и душой. Весна, поздняя в том году, неустойчивая и холодная, с ночными заморозками и свежестью мглистых утренних часов, вдруг развернулась вовсю.

Несколько теплых, слегка пасмурных дней пробудили все соки земли; как бы чудом распустились листья, и повсюду разлился сладкий, нежный аромат почек и первых цветов.

Затем однажды, после полудня, разгоняя клубы тумана, показалось победное солнце, озарив всю равнину. Его ликующий свет затопил всю округу, проник всюду, наполнив растения, животных, людей живительной радостью. Влюбленные птицы порхали, хлопали крыльями, перекликались. Жанна и Жак, подавленные восхитительным ощущением счастья, встревоженные новым трепетом, вливающимся в них вместе с возбуждающим ароматом лесов, но смущенные больше обычного, сидели целый день рядышком на скамье у ворот замка, уже не смея уединиться и рассеянно глядя на пруд, где гонялись друг за другом большие лебеди.

Вечером они почувствовали себя спокойнее и после обеда тихо разговаривали у открытого окна гостиной; их матери играли в пикет в светлом кругу от абажура лампы, а тетя Лизон вязала чулки для местных бедняков.

За прудом тянулся вдаль большой лес. Вдруг сквозь молодую листву высоких деревьев показалась луна. Медленно поднявшись из-за ветвей, которые вырисовывались на ее диске, она выплыла на небо и, затмив сияние звезд, стала изливаться на мир тот меланхолический свет, в котором реют светлые грезы, столь дорогие мечтателям, поэтам, влюбленным.

Молодые люди сначала глядели на луну, затем, поддаваясь сладкому очарованию ночи, очарованию мерцающего освещения газонов и кустов, тихими шагами вышли из дому и стали прохаживаться вдоль большой светлой лужайки до пруда, блестевшего в темноте.

Окончив четыре вечерних партии пикета, обе матери, чувствуя, что их клонит ко сну, собра-

⁶⁹ Родившись в дни, когда во Франции царил Беранже, она носила имя Лизы. – Своей музе Беранже дал имя Лизы (Лизетты).

лись ложиться.

– Надо позвать детей, – сказала одна из них.

Другая же, окинув взором бледный горизонт и две медленнодвигающиеся тени, возразила:

– Оставь их, на воздухе так хорошо. Лизон подождет их. Не так ли, Лизон?

Старая дева подняла на них испуганные глаза и ответила робким голосом:

– Конечно, я их подожду.

И обе сестры ушли в свои комнаты.

Тогда тетя Лизон, в свою очередь, поднялась и, оставив на ручке кресла начатую работу, шерсть и спицы, облокотилась на подоконник, любуясь очаровательной ночью.

Влюбленная чета прохаживалась без усталости по лужайке от пруда к крыльцу, от крыльца к пруду. Они держались за руки и молчали, забыв обо всем, что их окружало, становясь частицей той зримой поэзии, которой дышала земля. Вдруг Жанна заметила в освещенном четырехугольнике окна силуэт старой девы.

– Погляди, – сказала она, – тетя Лизон смотрит на нас.

Жак поднял голову.

– Да, – ответил он, – тетя Лизон смотрит на нас.

И они продолжали мечтать, медленно ступая, отдаваясь чувству любви.

Трава стала покрываться росой, и оба вздрогнули от сырости.

– Пора домой, – сказала она.

И они пошли обратно.

Когда они входили в гостиную, тетя Лизон продолжала вязать, лицо ее склонилось над работой, а худенькие пальчики слегка дрожали, как будто от усталости.

Жанна подошла к ней.

– Тетя, мы пойдем спать.

Старая дева подняла глаза. Они были красны, как будто она плакала. Жак и его невеста не обратили на это никакого внимания. Но молодой человек заметил, что тонкие ботинки молодой девушки промокли. Встревоженный, он нежно спросил ее:

– Не озябли ли твои милые ножки?

И вдруг пальцы тети Лизон так задрожали, что работа выпала из ее рук и клубок шерсти далеко откатился по паркету; порывисто закрыв лицо руками, старая дева судорожно разрыдалась.

Дети кинулись к ней; потрясенная Жанна, став на колени и отведя ее руки, повторяла:

– Что с тобой, тетя Лизон? Что с тобой, тетя Лизон?

И бедная старушка, запинаясь и вся скорчившись от горя, ответила со слезами в голосе:

– Да вот он... он... тебя спросил: «Не озябли ли... твои милые ножки?...» Никто никогда... никогда не говорил мне таких слов!.. Никогда!.. Никогда!..

Слепой

Откуда этот восторг при первом появлении солнца? Почему этот свет, падающий на землю, наполняет нас таким чувством радости жизни? Небо синее-синее, вокруг все зелено, дома все белые; наши восхищенные взоры упиваются яркостью этих красок, веселящих душу. И нас охватывает желание плясать, бегать, петь; в нас пробуждается счастливая легкость мысли, какая-то всеобъемлющая нежность, и хочется расцеловать солнце.

Слепые же, сидящие у дверей, нечувствительны к вечно окружающему их мраку и, как всегда, спокойны среди этой новой радости; не постигая ее, они ежеминутно успокаивают свою собаку, которой хотелось бы порезвиться.

Когда же на исходе подобного дня они возвращаются домой, держась за руку младшего брата или крошки-сестры, то на слова ребенка: «Какая сегодня была чудная погода!» – слепой обычно отвечает:

– Я сразу заметил, что погода хорошая: Лулу не сиделось на месте.

Я знавал одного из таких людей, жизнь которого была жесточайшим мучением, какое только можно себе представить.

Это был крестьянин, сын нормандского фермера. Пока отец и мать были живы, о нем еще мало-мальски заботились; он страдал лишь от своего физического недостатка, но как только старики умерли, существование его сделалось ужасным. Одна из сестер приютила его у себя, но все на ферме обращались с ним как с бездельником, который отнимает хлеб у других. Каждый раз за столом его попрекали этим хлебом, называли лодырем, деревенщиной, и, хотя зять захватил его долю наследства, слепому жалели похлебки и давали ровно столько, чтобы он не умер с голоду.

Лицо у него было без кровинки, а большие глаза белы, как облатки; он оставался безучастен к обидам и так замкнулся в себе, что незаметно было, чувствовал ли он их вообще. Впрочем, он и не знал, что такое нежность, даже мать обращалась с ним всегда сурово и совсем его не любила: в деревне бесполезные люди – только помеха, и крестьяне охотно поступали бы по примеру кур, которые заклевают слабых цыплят.

Покончив с супом, он садился летом у порога, а зимой у печки и уж больше не сходил с места до самого вечера; он не делал никаких жестов, никаких движений, и только веки, волнуемые каким-то нервным страданием, опускались иногда на белые пятна его глаз. Были ли у него разум, способность мыслить, ясное представление о своей жизни? Никто не задавал себе таких вопросов.

Так прошло несколько лет. Но в конце концов неспособность слепого к труду, а также его невозмутимость ожесточили родню, и он стал козлом отпущения, чем-то вроде шута-мученика, жертвой природной жестокости и дикой веселости окружающих его дикарей.

Изобретались всевозможные злобные шутки, внушаемые его слепотой. И, чтобы возместить себе то, что он съедал, время его обеда превратили в часы забавы для соседей и пытки для калеки.

На это веселое зрелище собирались крестьяне из соседних домов, об этом сообщали из дома в дом, и кухня фермы всегда бывала битком набита. На стол перед миской, из которой слепой начинал хлебать суп, сажали кошку или собаку. Животное, чутьем угадывая немощность человека, подкрадывалось и начинало бесшумно и с наслаждением лакать; когда же более громкое лаканье возбуждало внимание бедняги, животное благоразумно отодвигалось, чтобы избежать удара ложкой, которою слепой наудачу размахивал перед собою.

Тогда зрители, толпившиеся вдоль стен, разражались хохотом, подталкивали друг друга, топтали ногами. Он же молча продолжал есть правой рукой, защищая левой свою миску.

Его заставляли жевать пробку, дерево, листья, даже нечистоты, которых он не мог различить.

С течением времени надоели и эти шутки, и зять, вне себя от того, что надо вечно кормить слепого, стал его бить, осыпать пощечинами, потешаясь над тщетными усилиями бедняги защищаться или самому нанести удар. Возникла новая игра: игра в пощечины. Возчики, работники, служанки непрестанно били его по лицу, от чего он постоянно мигал. Он не знал, куда скрыться, и все время стоял с вытянутыми руками, чтобы уклониться от нападений.

В конце концов его принудили просить милостыню. В базарные дни слепого ставили на дорогах, и как только до его слуха доносился шум шагов или стук катящейся повозки, он протягивал шляпу, бормоча:

– Милостыньку, подайте милостыньку...

Но крестьяне не расточительны, и в течение целых недель он не приносил домой ни гроша.

Это возбудило против него настоящую ненависть, безжалостную, неистовую. И вот каким образом он умер.

Зимой земля была покрыта снегом и стояли страшные морозы. Однако же как-то утром зять отвел его просить милостыню очень далеко, на большую дорогу. Он оставил его там на целый день, когда же наступила ночь, уверил своих домашних, что не нашел его, и при этом добавил:

– Довольно, нечего о нем беспокоиться. Должно быть, кто-нибудь увел его, чтобы он не замерз. Ей-ей, не пропадет. Наверняка завтра же явится за своим супом.

На следующий день слепой не явился.

После долгих часов ожидания, окоченев от холода, чувствуя, что он замерзнет, слепой решился идти. Не различая дороги, скрытой под снежной пеленою, он блуждал наобум, падал в канавы, подымался и молча шел дальше, в поисках какого-либо жилья.

Но ледяное оцепенение постепенно овладевало им, и, не в силах больше держаться на сла-

бых ногах, он сел посреди поля. И больше не поднялся.

Белые хлопья снега сыпались не переставая и заносили его, пока наконец окоченевшее тело не исчезло под бесконечно нараставшей снежной массой. Ничто больше не выдавало места, где находился его труп.

Родственники делали вид, будто справлялись о нем и будто бы искали его в течение целой недели. Они даже поплакали.

Зима стояла суровая, и оттепель наступила не скоро. И вот как-то в воскресенье, идя к обедне, фермеры заметили большую стаю ворон, которые то кружились над равниной, то опускались черным дождем на одно и то же место, улетали и вновь возвращались.

На следующей неделе они все еще копошились там, эти мрачные птицы. Они тучей застилали небо, как будто слетелись со всех сторон горизонта; с громким карканьем опускались они в сверкающий снег, покрывая его причудливыми пятнами, с ожесточением рылись в нем.

Один мальчуган отправился взглянуть, что они там делают, и наткнулся на труп слепого, уже наполовину сожраный, истерзанный в клочья. Исчезли его белые глаза, выклеванные длинными прожорливыми клювами.

Ощущая живую радость солнечных дней, я уже не могу теперь отделаться от печального воспоминания и грустной мысли о бедняге, до того обездоленном при жизни, что его ужасная смерть принесла облегчение всем, кто его знал.

Торт

Назовем ее г-жой Ансер, чтобы не узнали ее настоящего имени.

Это была одна из тех парижских комет, которые оставляют за собою нечто вроде огненного следа. Она писала стихи и новеллы, обладала поэтической душой и была восхитительно красива. Она принимала у себя редко – и только людей выдающихся, тех, кого обыкновенно называют королями чего-нибудь. Быть принятым у нее считалось своего рода почетным титулом, настоящим титулом ума; так, по крайней мере, оценивали ее приглашения.

Ее муж играл роль скромного сателлита. Быть супругом звезды – дело нелегкое. Но этот супруг возымел заносчивую мысль создать государство в государстве, приобрести личные заслуги – пусть даже не очень значительные. Словом, приемные дни его жены стали и его приемными днями: у него была своя специальная публика, которая ценила его, слушала и оказывала ему больше внимания, чем его ослепительной подруге.

Он посвятил себя земледелию, кабинетному земледелию. Подобно этому бывают кабинетные генералы – из тех, что рождаются, живут и умирают чиновниками военного министерства, – разве таких нет? Бывают кабинетные моряки – смотри в морском министерстве, – кабинетные колонизаторы, и проч., и проч. Итак, он изучал земледелие, изучал его основательно, во всех его взаимоотношениях с другими науками, с политической экономией, с искусствами – слово «искусство» употребляют теперь в разных сочетаниях, даже ужасные железнодорожные мосты называют «произведениями искусства». В конце концов он достиг того, что о нем сказали: «Это большой человек». Его цитировали в технических журналах, по ходатайству жены он был назначен членом какой-то комиссии при министерстве земледелия.

Эта скромная слава его вполне удовлетворяла.

Под предлогом сокращения расходов он приглашал своих друзей в те же дни, когда жена его принимала своих, так что они соединялись, или, вернее, составляли две группы. Г-жа Ансер со своей свитой из художников, академиков, министров занимала нечто вроде галереи, меблированной и убранной в стиле ампира, а г-н Ансер обычно удалялся со своими земледельцами в меньшую комнату, служившую курительной; г-жа Ансер иронически называла ее салоном Агрикультуры.

Оба эти лагеря были резко разделены. Г-н Ансер еще проникал иногда, впрочем, без всякой зависти, в Академию своей супруги, где обменивался сердечными рукопожатиями; но Академия бесконечно презирала салон Агрикультуры, и почти не бывало случая, чтобы один из королей науки, мысли и тому подобного присоединился к земледельцам.

Приемы эти устраивались без особых расходов: чай, торт – вот и все. В первое время г-н Ан-

сер требовал два торта: один для Академии, другой для земледельцев; но когда г-жа Ансер совершенно справедливо заметила, что подобный образ действий мог бы показаться разделением на два лагеря, две партии, на два приема гостей, г-н Ансер более не настаивал; таким образом, подавали всего один торт, которым г-жа Ансер оказывала честь Академии, после чего торт переходил в салон Агрикультуры.

И вот вскоре этот торт стал у Академии поводом для любопытнейших наблюдений. Г-жа Ансер никогда не разрезала его сама. Роль эта постоянно переходила к тому или другому из именитых гостей. Эта своеобразная и особо почетная обязанность, которая была предметом домогательств, оставалась за каждым более или менее продолжительное время: месяца три, редко когда больше; при этом замечали, что привилегия «разрезания торта» влекла, по-видимому, за собою множество других преимуществ, нечто вроде королевской или, скорее, вице-королевской власти, весьма подчеркнутой.

Царствующий разрезыватель разговаривал громче других, властным тоном, и все милости хозяйки дома принадлежали ему, решительно все.

В интимном кругу, вполголоса, за дверями, этих счастливицев именовали «фаворитами торта», и каждая смена фаворита вызывала в Академии своего рода революцию. Нож был скипетром, торт – эмблемой; избранникам приносили поздравления. Земледельцы никогда не резали торта. Сам хозяин был исключен раз навсегда, хотя он и съедал свою порцию.

Торт последовательно разрезали поэты, художники, романисты. В течение некоторого времени торт делил известный музыкант, ему наследовал посланник. Иногда кто-нибудь менее известный, но элегантный и изысканный – один из тех, кого называют сообразно эпохе истинным джентльменом, примерным кавалером, денди, как-нибудь иначе, – тоже усаживался перед символическим пирогом.

Каждый из них в течение своего непродолжительного царствования выказывал супругу величайшее внимание, когда же наступал час низложения, он передавал нож другому и снова смешивался с толпой поклонников и обожателей «прекрасной г-жи Ансер».

Так длилось долго-долго; но ведь кометы не вечно светят одним и тем же светом. Все на свете стареет. Стали говорить, что усердие разрезывателей мало-помалу ослабевает; казалось, они уже колебались, когда к ним придвигали блюдо; эта обязанность, некогда столь завидная, становилась менее привлекательной, ее сохраняли не на такой длительный срок и как будто ею меньше гордились. Г-жа Ансер расточала улыбки и любезности, но, увы, разрезали не так уж охотно. Новые гости, по-видимому, отказывались от этого. Один за другим снова появлялись бывшие фавориты, подобно свергнутым монархам, которых на короткое время возвращают к власти. Затем избранники стали редки, совсем редки. В течение одного месяца – чудо! – разрезал торт сам г-н Ансер; затем это, по-видимому, его утомило, и вот однажды вечером гости увидели, что г-жа Ансер, прекрасная г-жа Ансер, разрезает торт самолично.

Но это, очевидно, ей наскучило, и, в следующий же приемный день она так упрасивала одного из гостей, что тот не посмел отказаться.

Символическое значение этого было, однако, слишком известно; все переглядывались исподтишка, испуганные, встревоженные. Разрезать торт было пустяком, но привилегии, на которые всегда давала право эта обязанность, теперь уже пугали. И впредь как только появлялся пирог, академики в беспорядке устремлялись в салон Агрикультуры, как будто для того, чтобы укрыться за спиною вечно улыбающегося супруга. А когда озабоченная г-жа Ансер показывалась в дверях, с тортом в одной руке и ножом в другой, все располагались вокруг ее мужа, как бы прося его заступничества.

Прошли годы. Никто не разрезал больше торта, но, следуя глубоко укоренившейся привычке, та, которую из любезности все еще величали «прекрасной г-жой Ансер», каждый вечер выискивала глазами самоотверженного гостя, который взялся бы за нож, и каждый раз вокруг нее возникало то же движение – общее бегство, искусное, полное сложных и хитроумных маневров, лишь бы избежать просьбы, готовой сорваться с ее уст.

Но вот однажды вечером ей представили совсем еще молодого человека, непосвященного новичка. Он не знал тайны торта, поэтому, когда торт появился и все разбежались, а г-жа Ансер

приняла из рук лакея блюдо, юноша спокойно остался с нею.

Быть может, ей показалось, что он знает, в чем дело; она улыбнулась и нежно произнесла:

– Не будете ли вы так любезны разрезать торт?

Он засуетился и снял перчатки, в восторге от оказанной чести.

– Конечно, сударыня, с величайшим удовольствием.

Издали, из уголков галереи и в открытые двери салона Агрикультуры, на него глядели изумленные лица. Но когда все увидели, что новый гость резал довольно уверенно, все быстро приблизились к нему.

Старик-поэт игриво потрепал новичка по плечу.

– Браво, молодой человек! – шепнул он ему на ухо.

На юношу смотрели с любопытством. Сам супруг, казалось, был поражен. Что же касается молодого человека, то его удивило внимание, которое ему вдруг стали выказывать, а главное, он никак не мог понять той особенной любезности, той явной благосклонности, тех знаков молчаливой признательности, которые выказывала ему хозяйка дома.

Однако в конце концов он, кажется, уразумел.

В какой момент и где снизошло на него это откровение, неизвестно. Но когда он появился на следующем вечере, у него был рассеянный, почти пристыженный вид, и он с опаской поглядывал по сторонам. Наступил час чаепития; вошел лакей. Г-жа Ансер, улыбаясь, взяла блюдо, отыскивая своего молодого друга, но он так быстро улетучился, что его и след простыл. Тогда она отправилась на поиски и вскоре нашла его в салоне Агрикультуры. Держа мужа под руку, он взволнованно советовался с ним относительно способов истребления филлоксеры.

– Сударь, – обратилась она к нему, – не будете ли вы любезны разрезать торт?

Он покраснел до ушей и пролепетал что-то в полной растерянности. Г-н Ансер сжалился над ним.

– Милый друг, – сказал он жене, – будь любезна, не мешай нам: мы беседуем о земледелии. Вели разрезать торт лакею.

И с этого дня никто из гостей никогда уже не разрезал торт г-жи Ансер.

Прыжок пастуха

Побережье от Дьеппа до Гавра представляет собою сплошную скалу вышиной около ста метров, прямую, как стена. Местами эта длинная линия белых утесов внезапно понижается, и небольшая узкая долина с крутыми склонами, поросшими низкорослым дерном и морским тростником, спускается с возделанного плоскогорья к каменистому морскому берегу, где заканчивается ложиной, похожей на русло горного потока. Природа создала эти долины, гроззовые ливни образовали в них эти овраги, уничтожив то, что еще оставалось от линии скал, и прорыв до самого моря русло для вод, которое служит теперь дорогой.

Иногда в этих долинах, куда с силой врывается ветер морских просторов, ютится какая-нибудь деревушка.

Я провел лето в одной из таких бухт побережья, у крестьянина; окна его домика были обращены к морю, и я мог любоваться большим треугольником голубой воды, окаймленным зелеными склонами долины и испещренным иногда белыми парусами, что плыли вдали под жгучим солнцем.

Дорога к морю шла по дну ущелья, затем внезапно суживалась между двумя стенами мергеля, образуя нечто вроде глубокой выбоины, и выходила на обширную береговую полосу, покрытую круглыми камнями, отполированными вековой лаской волны.

Это зажатое между крутыми скатами ущелье называется Прыжок пастуха.

Вот драма, давшая повод к такому названию.

Рассказывают, что некогда в церкви этой деревни служил молодой священник, суровый и жестокий. Он вышел из семинарии, проникнутый ненавистью к тем, кто жил по законам человеческой природы, а не по законам его бога. Непреклонно строгий к себе самому, он относился к другим с неумолимой нетерпимостью; одно в особенности возбуждало в нем гнев и отвращение – лю-

бовь. Живи он в городах, среди людей цивилизованных и утонченных, скрывающих грубые акты, природные инстинкты под тонким покровом чувства и нежности, исповедуй он в полутьме элегантного храма надушенных грешниц, прегрешения которых как бы смягчаются прелестью падения и возвышенностью чувств, облагораживающих чувственный поцелуй, он, быть может, не испытывал бы так сильно того бешеного возмущения, той необузданной ярости, которые охватывали его при виде нечистоплотного совокупления в грязи канав или на соломе риг.

Этих людей, не ведавших любви и только спаривавшихся наподобие животных, он уподоблял скотам, он ненавидел их за грубость душ, за грязное удовлетворение инстинктов и за то омерзительное оживление, с которым даже старики толковали о подобных гнусных забавах.

Быть может, он даже невольно терзался тоской неудовлетворенных вожделений и втайне страдал, борясь со своей плотью, восстававшей против деспотического и целомудренного духа.

Но все, что касалось тела, возмущало его, выводило из себя. Его свирепые проповеди, полные угроз и гневных намеков, вызывали насмешки девушек и парней, которые исподлобья переглядывались в церкви, а фермеры в синих блузах и фермерши в черных накидках, возвращаясь после мессы в лачугу, из трубы которой поднималась к небу струя голубоватого дыма, говорили друг другу:

– Да, с этим он не шутит, господин кюре.

Как-то раз из-за пустяка он рассвирепел до потери рассудка. Он шел к больной. И вот, войдя во двор фермы, он заметил кучку детей, сбежавшихся с соседних дворов. Дети столпились перед собачьей конурой и с любопытством что-то разглядывали, стоя как вкопанные, полные сосредоточенного и безмолвного внимания. Священник подошел ближе. Это щенилась сука. Перед конурой пять щенят уже копошились около матери, которая нежно лизала их, и в тот самый момент, когда кюре вытянул свою шею над детскими головками, появился на свет шестой щенок. Обрадованные мальчуганы принялись кричать, хлопая в ладоши: «Вот еще один, еще один!» Для них это была игра, простая игра, где не было места ничему нечистому; они смотрели на эти роды, как смотрели бы на падающие яблоки. Но человек в черном одеянии задрожал от негодования и, не помня себя, взмахнул огромным синим зонтиком и принялся бить детей. Они пустились бежать со всех ног. Очутившись наедине со щенившейся собакой, кюре изо всей мочи ударил ее. Привязанная на цепь, она не могла убежать, и так как она с воем отбивалась, священник вскочил на нее; топча ногами, он выдавил из нее последнего щенка, доконал ее ударами каблуков и бросил окровавленное тело среди новорожденных щенят – пищавших, неповоротливых, которые, тихо скуля, уже тянулись к соскам.

Он предпринимал длинные прогулки в одиночестве и быстро шагал с видом совершенного дикаря.

Однажды, майским вечером, возвращаясь с такой прогулки и идя скалистым берегом по направлению к деревне, он был застигнут ужасным ливнем. Кругом не видно было жилья, только пустынный берег, пронизываемый водяными стрелами ливня.

Бурное море катило пенистые волны, а тяжелые темные тучи, набегая с горизонта, приносили новый дождь. Ветер свистел, завывал, пригибал молодые посевы и сбивал с ног кюре, с которого вода стекала ручьями, облепляя его тело насквозь промокнутой сутаной, и с шумом проникал ему в уши, наполняя тревогой его возбужденное сердце.

Кюре снял шляпу, подставил лицо буре и медленно приближался к спуску в деревню. Но на него налетел такой шквал, что он не мог идти дальше. Вдруг он заметил возле пастбища для баранов передвижную будку пастуха.

Это было убежище, и кюре побежал к нему.

Собаки, исхлестанные ураганом, не шевельнулись при его приближении, и он дошел до деревянной будки; это было нечто вроде собачьей конуры на колесах, которую пастухи перевозят летом с одного пастбища на другое.

Низенькая дверца над подножкой была распахнута, и внутри будки виднелась соломенная постилка.

Священник уже собрался войти, как вдруг разглядел там влюбленную пару, обнимающуюся в

темноте. Тогда, быстро захлопнув дверцу на крюк, он впрягся в оглобли, согнул свой тощий стан и потащил повозку, как лошадь. Задыхаясь под тяжестью промокшей суконной сутаны, он побежал, увлекая за собой к крутому откосу, к губительному откосу, застигнутых в объятиях молодых людей, которые стучали кулаками в стенку будки, думая, конечно, что над ними подшутил какой-нибудь прохожий.

Добравшись до края откоса, он выпустил из рук легкую будочку, и она покатила по крутому берегу вниз.

Будка ускоряла свой бешеный бег и летела все быстрее, подпрыгивая, спотыкаясь, как живое существо, ударяя о землю оглоблями.

Старик-нищий, прикорнувший во рву, видел, как она стрелой пронеслась над его головой, и слышал ужасные крики, доносившиеся из деревянного ящика.

Вдруг от сильного толчка сорвалось колесо, будка упала набок и покатила, как шар, как дом, снесенный с вершины горы; затем, достигнув края последнего обрыва, она подпрыгнула, описав кривую линию, и, рухнув в глубину, разлетелась вдребезги, как яйцо.

Любовников нашли изувеченными, изуродованными, с поломанными членами; они так и не разомкнули объятий, и руки их обнимали друг друга в смертельном ужасе, как в часы любовных утех.

Кюре запретил внести их трупы в церковь и лишил их надгробного напутствия.

А в воскресенье, во время проповеди, он горячо говорил о седьмой заповеди, грозя любовникам карой таинственной руки и ссылаясь, как на ужасающий пример, на обоих несчастных, погибших от своего греха.

Когда он выходил из церкви, его арестовали.

Таможенный надсмотрщик, укрывавшийся в сторожевой яме, видел все. Кюре был присужден к каторжным работам.

Крестьянин, рассказавший мне эту историю, добавил с серьезным видом:

– Я знавал его, сударь. Это был человек суровый, я согласен, но глупостей он не терпел...

Старые вещи

Дорогая Колегта.

Не знаю, помнишь ли ты, как мы читали Сен-Бёва⁷⁰? Одна его строка навсегда запечатлелась в моей памяти, ведь этот стих так много говорит мне и так часто успокаивал мое бедное сердце, – особенно с некоторых пор.

Вот он:

Родись, живи, умри – все в том же старом доме!

Я теперь совсем одна в этом доме, где родилась, где жила и где надеюсь умереть. Постоянно жить здесь не весело, но приятно, так как меня окружают воспоминания.

Мой сын Анри – адвокат, он приезжает ко мне ежегодно на два месяца. Жанна живет с мужем на другом конце Франции, и я сама езжу к ней каждую осень. Итак, я здесь в одиночестве, в полном одиночестве, но окружена дорогими мне вещами, беспрестанно напоминающими о моих близких – и об умерших и о живых, которые далеко.

Я много уже не читаю, я стара, но без конца думаю или, вернее, мечтаю. О, я больше не мечтаю так, как мечтала прежде. Помнишь наши безумные мечты, те приключения, которые мы измышляли в двадцать лет, и смутно рисовавшиеся нам тогда горизонты счастья?

Ничто из этого не осуществилось; или, вернее, осуществилось, но совсем иначе, не так очаровательно, не так поэтично, хотя и сносно для тех, кто умеет мужественно довольствоваться своим жизненным уделом.

Знаешь, почему мы, женщины, так часто бываем несчастны? Потому что в юности нас учат

⁷⁰ Сен-Бёв (1804–1869) – французский поэт романтической школы, впоследствии известный критик.

слишком верить в счастье. Нас никогда не воспитывают в мыслях о борьбе и страданиях. И при первом же ударе наше сердце дает трещину. Мы доверчиво ждем, что на нас хлынет целый водопад счастливых событий. Действительные же события оказываются лишь наполовину хорошими, и мы тотчас начинаем проливать слезы. Я познала, в чем состоит счастье, истинное счастье наших грез. Оно отнюдь не в том, чтобы на нас снисходило великое блаженство – эти блаженные мгновения весьма редки и кратки, – оно состоит в постоянном ожидании радостных дней, которые никогда не наступают. Счастье – это ожидание счастья, это безграничность надежд – словом, это нескончаемая иллюзия. Да, дорогая, ничего нет лучше иллюзий, и как я ни стара, я все еще создаю их изо дня в день; изменилась только их цель: мои желания уже не те, что раньше. Я ведь говорила тебе, что провожу время, вызывая светлые образы прошлого. Да что больше и делать? Достигаю я этого двумя способами. Я тебе расскажу о них; быть может, тебе это пригодится.

О, первый способ очень прост: состоит он в том, что я усаживаюсь у огня в низеньком уютном кресле, удобном для моих старых костей, и мысленно возвращаюсь ко всему, что было в прошлом.

Жизнь, как она коротка! Особенно жизнь, которая вся проходит в одном и том же месте:

Родись, живи, умри – все в том же старом доме!

Воспоминания тесно связаны одни с другими, и когда состаришься, кажется иногда, что не прошло и десяти дней с тех пор, как ты была молода. Да, все пролетело, как один день: вот утро, полдень, вечер, и вот наступает ночь, ночь без рассвета!

Когда в течение долгих-долгих часов смотришь на пламя, прошлое возникает так ясно, как будто это было вчера. Забываешь о том, где ты; мечты увлекают, и перед тобой вновь проходит вся твоя жизнь.

И мне часто представляется, что я еще девочка, до того ясно воскресают во мне прежние порывы, юные чувства, даже движения сердца, весь пыл восемнадцати лет, до того отчетливо проносятся перед моим взором видения былого.

О, как живы воспоминания о моих прогулках в дни ранней юности! Странно, но тут, в моем кресле, перед огоньком, я вновь увидела как-то вечером закат солнца на горе Сен-Мишель, а сейчас же вслед за этим охоту верхом в Ювильском бору, и мне вспомнился запах мокрого песка и листьев, покрытых росой, и жар солнца, погружавшегося в воды, и влажная теплота его первых лучей, когда я скакала верхом в лесу. И все, о чем я тогда мечтала, мой поэтический восторг перед бесконечной далью моря, живая радость, рожденная во мне шелестом ветвей, самые пустячные мысли, все решительно обрывки снов, желаний, чувств – все, все вернулось, как будто я была еще там, как будто с тех пор не прошло пятидесяти лет, охладивших мою кровь, изменивших мои ожидания.

Но другой мой способ вновь переживать прошлое много лучше.

Известно тебе или нет, дорогая Колетта, что у нас в доме ничего не уничтожают? У нас наверху, на чердаке, большой чулан, который зовут «комнатой для старых вещей». Все, что негодно, складывается туда. Я часто поднимаюсь наверх и рассматриваю все. Я снова нахожу тот хлам, о котором давно перестала думать, но с которым у меня связано немало воспоминаний. Это не те славные, дорогие нам предметы обстановки, знакомые с детства, с которыми связана память о радостных или грустных событиях, о различных датах семейной истории и которые, войдя в нашу жизнь, приобрели своего рода индивидуальные черты, физиономию и служили нам друзьями в наши печальные или веселые часы, единственными, увы, друзьями, которых мы, наверное, не утратим, единственными, которые не умрут, подобно тем, чей облик, любящие глаза, уста, голос исчезли навсегда. Но в куче ненужных безделушек я обретаю старые пустячные вещицы, находившиеся в течение сорока лет рядом со мной и никогда не привлекавшие моего внимания, но теперь, увидев их вновь, я постигаю их значение как свидетелей ушедших времен. Они напоминают мне людей, давным-давно знакомых, всегда сдержанных, но которые вдруг в один прекрасный вечер ни с того ни с сего начинают болтать без конца, рассказывать про свое житье-бытье, про интимные стороны своей жизни, про то, о чем никто никогда и не подозревал.

И я перехожу от одной вещи к другой, и сердце у меня слегка замирает. Я говорю себе: «Вот это я разбила в тот вечер, когда Поль уезжал в Лион», или: «Ах, вот мамин фонарик, который она брала с собой в зимние вечера, когда ходила в церковь».

Есть там и вещи, ничего уже не говорящие, оставшиеся от моих предков, вещи, которых никто из ныне живущих не знал, происхождение которых никому не известно и чьих владельцев никто даже не помнит. Никто не видал ни рук, обращавшихся с ними, ни глаз, глядевших на них. Сколько пищи моим мечтам дают эти предметы! Они представляются мне покинутыми существами, последние друзья которых умерли.

Для тебя, дорогая Колетта, все это, может быть, непонятно, и ты усмехнешься, читая мое наивное письмо, удивишься моим ребяческим сентиментальным причудам. Ты парижанка, а вам, парижанкам, совсем незнакома эта внутренняя жизнь, это копание в собственном сердце. Вы живете на виду, и ваши мысли разлетаются по ветру. Я же, живя одиноко, могу говорить только о себе. Когда ты будешь мне отвечать, расскажи о своей жизни, и тогда я представлю себя на твоём месте, как ты сможешь завтра представить себя на моём.

Но ты никогда не поймешь всей глубины стиха Сен-Бёва:

Родись, живи, умри – все в том же старом доме!

Тысяча поцелуев, мой старый друг.
Аделаида.

Магнетизм

Это было в конце обеда, в мужской компании, в час бесконечных сигар и непрерывных рюмок. Наступила внезапная сонливость, вызванная пищеварением после массы поглощенных мясных блюд и ликеров, и головы начали слегка кружиться.

Зашла речь о магнетизме, о фокусах Донато, об опытах доктора Шарко⁷¹. И эти милые скептики, равнодушные ко всякой религии, принялись вдруг рассказывать о странных случаях, о невероятных, но, как утверждали они, действительно случившихся историях... Неожиданно охваченные суеверием, они цеплялись за этот последний остаток чудесного, благоговейно преклоняясь пред таинственной силой магнетизма, защищая ее от имени науки.

Улыбался только один из присутствующих – здоровый малый, неутомимый волокита, покоритель девичьих и женских сердец; он не верил ничему, и это неверие так сильно утвердилось в нем, что он даже не допускал никаких споров.

Он повторял, посмеиваясь:

– Чепуха, чепуха! Чепуха! Не будем спорить о Донато: ведь это просто-напросто очень ловкий фокусник. Что же касается господина Шарко, как говорят, замечательного ученого, то он, по моему, похож на тех рассказчиков в духе Эдгара По, которые, размышляя над странными случаями помешательства, кончают тем, что сами сходят с ума. Он установил наличие некоторых необъясненных и все еще необъяснимых нервных явлений, но, бродя ощупью в этой неизученной области, хотя ее теперь исследуют изо дня в день, он не всегда имеет возможность понять то, что видит, и слишком часто, быть может, прибегает к религиозному объяснению непонятного. И, наконец, я хотел бы услышать его самого; пожалуй, получилось бы совсем не то, что вы утверждаете.

К неверующему отнеслись с состраданием, как будто он вздумал богохульствовать перед собранием монахов.

Один из присутствующих воскликнул:

– Однако бывали же прежде чудеса!

Тот возразил:

⁷¹ Доктор Шарко (1825–1893) – известный французский ученый, работы которого в области изучения нервных болезней приобрели большую популярность.

– Я это отрицаю. Почему же их теперь не бывает?

Но тут каждый стал приводить случаи невероятных предчувствий, общения душ на больших расстояниях, таинственного воздействия одного существа на другое. И все подтверждали эти случаи, объявляли их бесспорными, между тем как настойчивый отрицатель повторял:

– Чепуха! Чепуха! Чепуха!

Наконец он встал, бросил сигару и, заложив руки в карманы, сказал:

– Хорошо, я также расскажу вам две истории, а затем объясню их. Вот одна из них. В небольшой деревушке Этрета мужчины – все они там моряки – отправляются ежегодно на отмели Новой Земли ловить треску. И вот как-то ночью ребенок одного из этих моряков внезапно проснулся и крикнул: «Папа умер в море!» Малышку успокоили, но он снова проснулся и завопил: «Папа утонул!» Действительно, спустя месяц узнали о смерти отца, смытого волной с палубы. Вдова вспомнила о ночных криках ребенка. Стали говорить о чуде, все пришли в волнение, сверили числа, и оказалось, что несчастный случай и сон приблизительно совпадали; отсюда заключили, что они произошли в одну и ту же ночь, в один и тот же час. И вот вам новый таинственный случай магнетизма.

Рассказчик смолк. Кто-то из слушателей, сильно взволнованный, спросил:

– И вы можете объяснить это?

– Вполне, сударь, я раскрыл секрет. Этот случай поразил меня, даже привел в смущение, но я, видите ли, не верю из принципа. Если другие начинают с того, что верят, я начинаю с того, что сомневаюсь; если же я ничего не понимаю, то продолжаю отрицать возможность телепатического общения душ, будучи уверен в том, что для объяснения достаточно одной моей проницательности. Я приступил к розыскам и, хорошенько расспросив всех жен отсутствующих моряков, в конце концов убедился, что не проходит и недели без того, чтобы кто-нибудь из них или из детей не увидел во сне, что «отец умер в море», и не объявил об этом в момент пробуждения. Постоянный страх и ожидание подобного несчастья – вот причина, почему об этом беспрестанно говорят и думают. И если одно из таких многочисленных предсказаний по весьма простой случайности совпадает с фактом смерти, тотчас же начинают кричать о чуде, так как сразу забывают обо всех остальных снах, об остальных предчувствиях, об остальных предсказаниях несчастья, оставшихся без подтверждения. Я лично наблюдал более пятидесяти случаев, о которых неделю спустя никто и не вспоминал. Но умри человек на самом деле, память немедленно пробудилась бы, и одни увидели бы в этом вмешательство бога, другие – силу магнетизма.

Один из курильщиков заявил:

– То, что вы говорите, довольно справедливо, но выслушаем вашу вторую историю.

– О, моя вторая история весьма щекотлива для рассказа. Случилась она со мной, почему я и не доверяю своей оценке. Никогда нельзя быть судьей в собственном деле. Словом, вот она. Среди моих светских знакомых была одна молодая женщина; я никогда о ней не помышлял, никогда не приглаждался к ней, никогда, как говорится, не замечал ее.

Я относил ее к числу незначительных женщин, хотя она не была дурнушкой; мне казалось, что ни глаза, ни нос, ни рот, ни волосы – ничто не отличает ее от других и что у нее совершенно бесцветная физиономия. Это было одно из тех созданий, на которых мысль останавливается только случайно, не задерживаясь, и вид которых не вызывает ни малейшего желания.

Однажды вечером, перед тем как лечь спать, я писал у камина письма; среди хаоса мыслей, среди вереницы образов, которые проносятся в уме, когда в течение нескольких минут с пером в руке предаешься мечтам, я почувствовал вдруг легкую дрожь в сердце, в голове промелькнула какая-то неясная мысль, и тотчас же без всякого повода, без всякой логической связи я отчетливо увидел перед собой, увидел так, как будто касался ее, увидел с ног до головы и без покровов эту самую молодую женщину, о которой я никогда не думал дольше трех секунд, ровно столько, сколько нужно, чтобы ее имя промелькнуло в моей голове. И вдруг я открыл в ней бездну достоинств, которых раньше не замечал, – чарующую прелесть, привлекательную томность; она пробудила во мне ту любовную тревогу, которая заставляет нас бежать за женщиной. Но я недолго думал об этом. Я лег спать и уснул. И вот какой приснился мне сон.

Вам, конечно, случалось видеть эти своеобразные сны, наделяющие нас всемогуществом,

дарящие нам неожиданные радости, раскрывающие перед нами недоступные двери, недостижимые объятия?

Кто из нас во время этих тревожных, нервных, трепетных снов не держал, не обнимал, не прижимал к себе ту, которая занимала его воображение, кто не обладал ею с необычайной обостренностью чувств? И заметили ли вы, какой сверхчеловеческий восторг у нас вызывает во сне обладание женщиной? В какое безумное упоение повергает оно нас, какими пылкими спазмами сотрясает и какую беспредельную, ласкающую, проникновенную нежность вливает оно нам в сердце к той, которую мы держим в своих объятиях, слабеющую и распаленную, в этой обаятельной, грубой иллюзии, кажущейся нам действительностью!

Все это я испытал с незабываемой страстной силой. Эта женщина была моей, настолько моей, что еще долго после сладостного и обманчивого сна мои пальцы осязали нежную теплоту ее кожи, в памяти сохранялся ее аромат; вкус ее поцелуев еще оставался на моих губах, звук голоса – в моих ушах, ее руки, казалось, еще обнимали меня, и я ощущал всем телом пламенные чары ее ласк.

Сон этот возобновлялся в ту самую ночь три раза.

Все утро следующего дня ее образ неотвязно преследовал меня; я был в ее власти, она завладела моим умом и чувствами настолько, что мысль о ней ни на секунду не покидала меня.



Наконец, не зная, что делать, я оделся и пошел к ней. Поднимаясь по лестнице, я дрожал от волнения, и сердце мое безумно билось: я весь был охвачен бурной страстью.

Я вошел. Она выпрямилась, услышав мою фамилию, встала, и внезапно наши взоры встретились и замерли. Я сел.

Я пробормотал несколько банальных фраз; она, казалось, вовсе не слушала. Я растерялся и не знал, что говорить, что делать; и вдруг бросился к ней, схватил ее в объятия, и сон мой стал мгновенно такой простой, такой безумно сладостной явью, что я даже подумал, не сплю ли я...

Она была моей любовницей два года...

– Какой же вывод делаете вы из этого? – произнес один голос.

Рассказчик как будто колебался.

– Да тот... тот вывод, что это было случайным совпадением, черт возьми! Да и как знать? Быть может, какой-нибудь ее взгляд, на который я не обратил особого внимания, дошел до меня в тот вечер в силу тех таинственных, бессознательных возвратов памяти, которые нередко восстанавливают перед нами все упущенное нашим сознанием, все, что прошло в свое время незамеченным!

– Воля ваша, – сказал в заключение один из гостей, – но если вы после всего этого не уверо-

вали в магнетизм, вы, сударь, попросту неблагодарны.

Корсиканский бандит

Дорога постепенно шла в гору среди Аитонского леса. Громадные ели простирали над нами свой стонущий свод и как бы без конца тянули горькую жалобу, а их тонкие прямые стволы справа и слева казались рядами органных труб, издававших однообразную мелодию ветра, звучащую в их вершинах.

К концу трехчасового пути сплошная стена этих высоких, перепутавшихся ветвями стволов стала просвечивать. Теперь местами попадались гигантские пинии. Они стояли в одиночку, раскрытые, как громадные зонтики, простирая свою темно-зеленую крону; и вот внезапно мы достигли границы леса, в нескольких метрах ниже ущелья, ведущего в дику долину Ниоло.

На двух острых утесах, высящихся над этим проходом, стоит несколько уродливых, старых деревьев; они с трудом, казалось, взобрались наверх, подобно разведчикам, опередившим скученную позади толпу. Оглянувшись, мы увидели под нами весь лес: он был похож на громадную, наполненную зеленью чашу, замкнутую со всех сторон голыми вершинами, как бы упиравшимися в самое небо.

Мы снова тронулись в путь и через десять минут достигли ущелья.

И я увидел изумительную картину. Там, за другим лесом, оказалась долина, подобной которой я никогда не видывал: это была каменистая пустыня длиною в десять лье, между высокими, в две тысячи метров, горами, и на ней не видно было ни возделанного поля, ни деревца. Это Ниоло, родина корсиканской свободы, неприступная твердыня, из которой завоеватели никогда не могли вытеснить горцев.

Мой спутник сказал мне:

– Тут же укрываются и все наши бандиты.

Скоро мы очутились на дне этой дикой, невообразимо красивой ложбины.

Ни травинки, ни растеньица: гранит, везде только гранит. Перед нами, насколько хватало глаз, лежала сверкающая гранитная пустыня, раскаленная, как печь, лютым солнцем, будто нарочно подвешенным над этим камедным ущельем. Когда поднимаешь глаза к гребням гор, останавливаешься ослепленный, изумленный. Они кажутся красными, причудливо изрезанными наподобие кораллов, так как все вершины здесь из порфира, небо же над ними, обесцвеченное соседством этих необычайных гор, кажется фиолетовым, лиловым. Ниже – искристо-серый гранит; под нашими ногами он словно истерт, истоптан, мы ступаем по блестящему порошку. Справа от нас, в длинной и извилистой расщелине, гремит и мчится шумный поток. Начинает кружиться голова от этого зноя и яркого света в жгучей, бесплодной, дикой долине, перерезанной оврагом, где бушует вода; она как будто торопится пронестись мимо, не имея сил оплодотворить эти скалы, затерянная в этой громадной печи, которая жадно впитывает воду, никогда не насыщаясь ею и не освежаясь.

Справа от нас показался вдруг небольшой деревянный крест, вставленный в кучу камней. Тут, значит, кого-то убили, и я попросил своего спутника:

– Расскажите-ка мне о ваших бандитах.

Он начал:

– Я знавал самого знаменитого, самого ужасного из них – Санта-Лючия – и расскажу вам его историю.

Отца его, говорят, убил в ссоре один молодой человек из той же местности, и Санта-Лючия со своей сестрой остались сиротами. Это был слабенький, скромный юноша невысокого роста, частенько хворавший, очень нерешительный. Он не объявил вендетты⁷² убийце отца. Все родные приходили к нему, умоляя отомстить, но он оставался глух к их угрозам и мольбам.

Тогда, по старинному корсиканскому обычаю, возмущенная сестра отобрала у него черную одежду, чтобы он не смел носить траура по убитому, оставшемуся неотомщенным. Он отнесся безучастно даже к этому оскорблению и, вместо того, чтобы снять с крюка еще заряженное отцов-

⁷² Вендетта – распространенный на Корсике старинный обычай кровной мести.

ское ружье, заперся и никуда не выходил, боясь презрительных взглядов местных парней.

Шли месяцы. Казалось, он даже забыл о преступлении и тихо жил в своем доме с сестрой.

В один прекрасный день тот, кого подозревали в убийстве, решил жениться. Санта-Лючия, казалось, это известие не взволновало; но жених, несомненно желая бросить ему вызов, прошел на пути в церковь мимо домика сирот.

Брат и сестра, сидя у окна, ели жареные пирожки, и вдруг молодой человек увидел перед своим домом свадебное шествие. Он задрожал, встал, не говоря ни слова, перекрестился, снял ружье, висевшее над очагом, и вышел из дому.

Рассказывая об этом позже, он говорил:

– Не знаю, что со мной стряслось; словно огонь вспыхнул у меня в крови; я вдруг почувствовал, что должен так поступить, что никак не устою перед этим, и я спрятал ружье в лесной чаще по дороге в Корт.

Через час он вернулся с пустыми руками; у него был обычный грустный, усталый вид. Сестра решила, что он ни о чем больше и не помышляет.

Но с наступлением ночи он исчез.

Враг его должен был в ту самую ночь идти пешком в Корт с двумя друзьями.

Они шли с песнями по дороге, когда Санта-Лючия очутился перед ними; глядя убийце в лицо, он крикнул: «Час настал!» – и в упор прострелил ему грудь.

Один из друзей убитого бежал, другой глядел на молодого человека и твердил:

– Что ты сделал, Санта-Лючия!

Затем он хотел было бежать за помощью в Корт. Но Санта-Лючия крикнул:

– Если ты сделаешь еще хоть шаг, я раздроблю тебе ногу!

Тот, зная его как человека робкого, ответил: «Не посмеешь!» – и пошел вперед. Но тотчас же упал с раздробленным пулей бедром.

Санта-Лючия подошел к нему и сказал:

– Я осмотрю твою рану; если она не опасна, я тебя оставлю здесь, если же смертельна, прикончу тебя.

Он осмотрел рану, решил, что она смертельна, не торопясь снова зарядил свое ружье, положил раненому прочесть молитву и раздробил ему череп.

На другой день он был в горах.

И знаете ли, что сделал затем этот Санта-Лючия?

Вся его родня была арестована жандармами. Его дядя-священник, которого заподозрили в подстрекательстве к мести, был посажен в тюрьму по обвинению родственников покойного. Но он бежал, захватив с собою ружье, и присоединился к племяннику в мак⁷³.

Тогда Санта-Лючия убил одного за другим обвинителей своего дяди и выколол им глаза, чтобы научить других никогда не утверждать того, чего они не видели своими глазами.

Он убил всех родных своего врага и всех друзей его семьи. Он убил на своем веку четырнадцать жандармов, сжег дома своих противников и был до самой смерти самым ужасным бандитом из тех, о ком сохранилась память.

Солнце исчезло за Монте-Чинто, и громадная тень от гранитной горы легла на гранит долины. Мы ускорили шаги, чтобы добраться к ночи до деревушки Альбертачче, которая казалась грудой камней, сливавшихся с каменными стенами дикого ущелья. И, раздумывая о бандите, я сказал:

– Что за ужасный обычай эта ваша вендетта!

Но спутник мой возразил тоном покорности судьбе:

– Что делать, приходится исполнять свой долг!

Ночное бдение

⁷³ Мак^у – непроходимые заросли кустарника, в которых находили себе убежище корсиканские бандиты; в годы Сопротивления (1940–1944) слово «маки» стало обозначать французских партизан, боровшихся против гитлеровских оккупантов.

Она умерла без агонии, спокойно, как женщина, жизнь которой была безупречна, и теперь покоилась на кровати с закрытыми глазами, с недвижным лицом; ее длинные седые волосы были тщательно причесаны, как будто она только что совершила свой туалет; бледное лицо почившей было так сосредоточенно, так спокойно, так безропотно, что было ясно, какая кроткая душа обитала в этом теле, какую безмятежную жизнь вела эта чистая сердцем старушка, какая кончина без потрясений и угрызений совести была уделом этой благородной женщины.

На коленях у кровати неудержимо рыдали ее сын, судья, известный своими непоколебимо строгими правилами, и дочь Маргарита, в монашестве сестра Евлалия. Мать привила им с детства твердую нравственность, воспитала их в суровых догматах религии и в безусловном повиновении долгу. Он, мужчина, стал судьей и, потрясая мечом закона, безжалостно карал слабых, сбившихся с пути; она, девушка, проникнутая добродетелью, окружавшей ее в этой суровой семье, посвятила себя богу из отвращения к людям.

Они совсем не знали своего отца; им известно было только, что он сделал их мать несчастной. Подробности были им неведомы.

Монахиня безумно целовала свесившуюся руку усопшей, руку того же цвета слоновой кости, что и распятие, лежащее на постели. По ту сторону распростертого тела другая рука, казалось, еще комкала простыню жестом, характерным для умирающих; на полотне сохранились легкие складки, как воспоминание об этих последних движениях, предшествующих вечной неподвижности.

Легкий стук в дверь заставил рыдавших детей поднять головы: вошел только что пообедавший священник. Лицо его разругалось, он с трудом дышал из-за начавшегося пищеварения, так как усердно подливал себе в кофе коньяк, чтобы побороть усталость предшествовавших ночей и подбодриться к начинавшейся ночи бдения.

Он казался опечаленным фальшивой печалью церковного служителя, для которого смерть – заработок. Он перекрестился и, приближаясь, произнес профессиональным тоном утешения:

– Бедные дети мои, я пришел помочь вам провести эти скорбные часы.

Но сестра Евлалия быстро поднялась с колен:

– Благодарю, отец мой. Брат и я, мы хотим остаться подле нее одни. Ведь это для нас последние минуты, что мы ее видим, мы хотим побыть вдвоем, как прежде, когда мы... мы... мы были маленькими и наша бед... бедная мама...

Она не могла договорить, с такой силой хлынули у нее из глаз слезы, так душило ее горе.

Священник склонился с просиявшим лицом, подумав о своей постели.

– Как хотите, дети мои.

Он опустил на колени, перекрестился, прочел молитву, поднялся и тихо вышел, бормоча:

– Она была святая.

И они остались одни, умершая и ее дети. Часы, спрятанные где-то, мерно отбивали в темноте свои удары, а в раскрытое окно вместе с бледным светом луны проникал нежный аромат сена и лесов. Ни малейшего звука в деревне, кроме кваканья лягушек и временами жужжания ночного насекомого, влетавшего, как пуля, в окно и ударявшегося о стену. Ничем не нарушаемый покой, божественная истома, безмятежная тишина окружали скончавшуюся, казалось, исходили от нее, изливались наружу, примиряюще действовали на саму природу.

Судья, все еще стоя на коленях, уткнув голову в постель, вскрикнул глухим, раздирающим душу голосом, проникшим сквозь толщу простынь и одеял: «Мама, мама, мама!», а сестра его, упав на паркет, колотясь, как фанатичка, лбом об пол, извиваясь в судорогах и вся дрожа, как в припадке эпилепсии, стонала: «Иисусе, Иисусе, мама, Иисусе!»

Потрясенные бурным приступом горя, оба они задыхались, хрипели.

Наконец кризис понемногу стих, смягчился, и они заплакали тихими слезами; так спокойные дожди следуют за шквалами в разбушевавшемся море.

Прошло немало времени, пока они смогли подняться и вновь отдаться созерцанию дорогой усопшей, и воспоминания, далекие воспоминания, вчера еще такие приятные, а сегодня такие мучительные, возникали в их памяти с мельчайшими забытыми подробностями, с теми маленькими,

интимными, чисто семейными подробностями, которые как бы воскрешают исчезнувшего человека. Они припоминали слова, улыбку, голос той, которая больше не заговорит с ними, припоминали отдельные случаи из ее жизни. Они вновь видели ее счастливой, спокойной, видели ее легкий жест рукой, – как бы отбивавшей такт, – когда она произносила что-нибудь особо значительное.

И они любили ее, как никогда не любили раньше. По силе своего отчаяния они могли судить, до какой степени одинокими будут они теперь.

То, что исчезло, было их опорой, их руководством, олицетворением их молодости, радостью их существования, той нитью, которая привязывала их к жизни: это была мать, мамочка, та плоть, создавшая их, та связь с предками, которой более у них не будет. Они становились теперь сиротами, одинокими, разобщенными, и не могли больше мысленно возвращаться к прошлому.

Монахиня сказала брату:

– Ты знаешь, матушка любила перечитывать свои старые письма; они все тут, в ее ящике. Что, если бы и мы прочли их и пережили всю ее жизнь сегодня ночью, подле нее? Мы как бы пройдем ее крестный путь, мы познакомимся с ее матерью, с неизвестными нам предками, о которых она так часто говорила нам, помнишь?

И они вынули из ящика десяток небольших пачек желтой почтовой бумаги, старательно перевязанных и сложенных по порядку. Они выложили эти реликвии на кровать и, выбрав одну из них, на которой было написано слово «отец», раскрыли и стали читать.

Это были письма давних времен; их находишь в старых фамильных секретерах, и они отзываются иным веком. Первое начиналось словами: «Моя дорогая»; другое: «Моя милая внучка»; следующее: «Дорогое дитя»; еще одно: «Дорогая дочь». И монахиня принялась читать вслух, перечитывая умершей ее же историю, воскрешая все дорогие ей воспоминания. Судья облокотился о постель и слушал, устремив глаза на мать. И неподвижное тело казалось счастливым.

Прервав чтение, сестра Евлалия сказала:

– Надо будет положить их вместе с ней в могилу, сделать ей из них саван, схоронить ее в нем.

И она взяла другой пакет, на котором не было никакой надписи. И она начала читать вслух: «Божество мое, я люблю тебя до безумия. Со вчерашнего дня я страдаю, как осужденный на адские муки: меня сжигают воспоминания о тебе. Я ощущаю твои губы на моих губах, твои глаза под моими глазами, твоё тело, прижавшееся ко мне... Я люблю тебя, люблю тебя! Ты свела меня с ума. Мои объятия раскрываются, и я весь трепещу, горю страстным желанием вновь обладать тобой. Все тело взывает к тебе, жаждет тебя. На моих губах живет ощущение твоих поцелуев...»

Судья выпрямился, монахиня прервала чтение; он вырвал у нее письмо, стал искать подпись. Ее не было, но под словами «обожаящий тебя» стояло имя «Анри». Их отца звали Ренэ. Значит, это был не отец. Быстрым движением руки сын разорвал пачку писем, вынул другое и прочел: «Я не могу жить без твоих ласк»... И, стоя с суровым лицом, как на заседании суда, он взглянул на бесстрастно лежавшую покойницу. Монахиня замерла, как статуя, со слезами на глазах и ждала, наблюдая за братом. А он тихо прошел по комнате к окну и задумался, устремив взор в ночную тьму.

Когда он обернулся, сестра Евлалия все еще стояла около постели с поникшей головой, но глаза ее были сухи.

Он подошел, быстро собрал письма, бросил их обратно в ящик и задернул полог кровати.

И как только дневной свет затмил свечи, горевшие на столе, сын медленно поднялся с кресла и, не взглянув на мать, которую он отлучил от себя и сестры и осудил, тихо произнес:

– Теперь удалимся, сестра.

Грезы

Происходило это после дружеского обеда, обеда старых друзей. Их было пятеро: писатель, врач и трое богатых холостяков, ничем не занятых.

Переговорили уже обо всем, и наступила усталость, обычная после пиршества и побуждающая к разъезду. Один из собеседников, молча смотревший на волнующийся, шумный бульвар,

освещенный газовыми рожками, вдруг сказал:

– Когда ничего не делаешь с утра до вечера, дни тянутся без конца.

– И ночи также, – добавил его сосед. – Я совсем не сплю, развлечения меня утомляют, а разговоры все об одном и том же надоедают. Никогда не встречаю я новых мыслей и, прежде чем завязать беседу с кем бы то ни было, испытываю страстное желание совсем не говорить и ничего не слышать. Просто не знаю, куда мне девать вечера.

Третий бездельник провозгласил:

– Дорого дал бы я за средство приятно проводить хотя бы часа два в день.

К ним подошел писатель, уже перекинувший через руку пальто.

– Человек, – сказал он, – который изобрел бы новый порок и преподнес его своим ближним, пусть даже это сократило бы их жизнь наполовину, оказал бы большую услугу человечеству, нежели тот, кто нашел бы средство обеспечить вечное здоровье и вечную юность.

Доктор рассмеялся и произнес, пожевывая сигару:

– Да, но не так-то просто это изобрести. Тем не менее, с тех пор как создан мир, человечество неутомимо ищет. Первые же люди сразу достигли в этом отношении больших успехов. Но нам не сравниться с ними.

Один из трех бездельников пробормотал:

– Жаль.

И тут же добавил:

– Получить бы только возможность спать, крепко спать, не ощущая ни жары, ни холода, спать с чувством того изнеможения, какое бывает после утомительных вечеров, спать без сновидений!

– Почему без сновидений? – спросил сосед.

Тот отвечал:

– Потому что сны не всегда приятны: они причудливы, неправдоподобны, бессвязны, и когда спишь, нет даже возможности по своему вкусу насладиться лучшим из них. Стало быть, надо грезить наяву.

– Кто же вам мешает? – спросил писатель.

Доктор бросил свою сигару.

– Мой милый, для того чтобы грезить наяву, необходимы внутренняя собранность и большая работа воли, а это вызывает сильную усталость. Настоящая греза наша, мысленная прогулка по миру очаровательных видений, несомненно, самое восхитительное, что есть на свете, но она должна возникать естественно, без напряжения; кроме того, она должна сопровождаться чувством физического блаженства. Такую грезу я могу вам предложить, но при условии, что вы дадите обещание не злоупотреблять ею.

Писатель пожал плечами:

– Ну да, знаю, это гашиш, опиум, зеленое варенье, искусственный рай. Бодлера я читал⁷⁴ и даже отведал пресловутого зелья, от которого не на шутку расхворался.

Но доктор прочно расположился в кресле.

– Нет, это эфир, только эфир, и добавлю даже, что вам, писателям, не мешало бы иногда применять это средство.

Трое холостяков подошли ближе.

– Объясните нам его действие, – попросил один из них.

Доктор продолжал:

– Оставим в стороне громкие слова, не так ли? Я не говорю ни о медицине, ни о нравственности: я говорю о наслаждении. Вы ежедневно предаетесь излишествам, сокращающим вашу жизнь. Я же хочу обратить ваше внимание на новое ощущение, доступное лишь людям интеллекта, скажу даже, большого интеллекта; оно вредно, как все, что чрезмерно возбуждает наши органы, но восхитительно. Добавлю, что вам понадобится некоторая подготовка, то есть некоторая

⁷⁴ Бодлера я читал. – Намек на книгу Бодлера «Искусственный рай», где рассказывается об употреблении гашиша и опиума.

привычка, для того чтобы воспринять в полной мере своеобразное действие эфира.

Оно не похоже на действие, производимое гашишем, опиумом или морфием, и сразу же прекращается, как только прервано впитывание лекарства, тогда как другие возбудители грез продолжают действовать в течение многих часов.

Теперь я постараюсь как можно обстоятельнее разобраться в том, что ощущаешь при этом. Но задача эта не из легких, до того тонки, почти неуловимы эти ощущения.

Я применял это средство во время приступов ужаснейшей невралгии и с тех пор, быть может, немного им злоупотреблял.

У меня была страшная головная боль, болела шея, а кроме того, был нестерпимый жар, лихорадочное состояние. Я взял большой пузырек эфира, улегся и начал медленно его вдыхать.

Через несколько минут мне послышался смутный шум, который вскоре перешел в какое-то гудение, и мне показалось, что все тело становится легким, легким, как воздух, и словно растворяется.

Затем наступило нечто вроде душевного оцепенения, приятное состояние дремоты, несмотря на продолжавшиеся боли, которые перестали, однако, быть мучительными. Это были уже такие страдания, с которыми примиряешься, а не та ужасная пытка, против которой восстает все наше измученное тело.

Своеобразное и восхитительное ощущение пустоты в груди вскоре расширилось; оно перешло на конечности, которые, в свою очередь, стали такими легкими, будто тело и кости растаяли и осталась одна кожа, для того чтобы я мог воспринять всю сладость этого дивного состояния. Я заметил, что больше не страдаю. Боль исчезла, как-то растаяла, растворилась. И я услышал голоса, четыре голоса, два диалога, но не мог разобрать слов. То это были неясные звуки, то до меня как будто доходило какое-то слово. Но я понял, что это просто усилившийся шум в ушах. Я не спал, я бодрствовал: я понимал, чувствовал, рассуждал ясно, глубокомысленно, с необычайной силой и легкостью ума, испытывая странное упоение оттого, что мои умственные способности удесятились.

Это не была греза, как под действием гашиша, это не были болезненные видения, вызываемые опиумом; это было чудесное обострение мышления, новый способ видеть мир, судить о нем, оценивать жизненные явления и при всем этом уверенность, убежденное сознание, что этот способ и есть самый настоящий.

И вдруг в моем уме возник библейский образ. Мне представлялось, что я вкусил от дерева познания, что все тайны раскрыты передо мною, настолько я находился во власти новой, своеобразной, неопровержимой логики. И доводы, умозаключения, доказательства так и толпились в моем уме, а на смену им, опровергая их, тотчас же приходили другие доводы, умозаключения, доказательства, еще более сильные. Моя голова стала полем битвы идей. А я становился высшим существом, вооруженным непобедимейшей способностью мышления, и я наслаждался безумной радостью от сознания своего могущества...

Это продолжалось долго-долго. Я все еще вдыхал эфир из горлышка пузырька. Вдруг я заметил, что он пуст. И это ужасно меня огорчило.

Четверо слушателей в один голос запросили:

– Доктор, скорее рецепт на литр эфира!

Но доктор надел шляпу и ответил:

– Ну, нет: пусть вас отравляют другие!

И он ушел.

Милостивые государины, милостивые государи, неужели вашему сердцу ничего не скажут эти строки?

Исповедь женщины

Друг мой, вы просили меня рассказать вам наиболее яркие воспоминания моей жизни. Я очень стара, и у меня нет ни родных, ни детей, следовательно, я вольна исповедаться перед вами. Только обещайте мне не раскрывать моего имени.

Меня много любили, вы это знаете, и я сама часто любила. Я была очень красива; я могу это сказать теперь, когда от красоты не осталось ничего. Любовь была для меня жизнью души, как воздух – жизнью тела. Я предпочла бы скорее умереть, чем жить без ласки, без чьей-либо мысли, постоянно занятой мною. Женщины нередко утверждают, что всей силой сердца любили только раз в жизни; мне же много раз случалось любить так безумно, что я даже не могла себе представить, чтобы моя страсть могла прийти к концу; тем не менее она всегда погасала естественным образом, подобно печи, которой не хватает дров.

Сегодня я расскажу вам о первом из моих приключений, в котором я была совершенно неповинна, но которое повлекло за собою все дальнейшие.

Ужасная месть этого отвратительного аптекаря из Пека⁷⁵ напомнила мне жуткую драму, которой я была невольной участницей.

Всего год, как меня выдали замуж за богатого человека, графа Эрве де Кер, бретонца древнего рода, которого я, разумеется, не любила. Настоящая любовь нуждается – так я, по крайней мере, полагаю – в свободе и одновременно в препятствиях. Разве любовь по обязанности, любовь, утвержденная законом и церковью, – это любовь? Поцелуй законный никогда не сравнится с поцелуем похищенным.

Муж мой был высокого роста, элегантен и с внешней стороны настоящий дворянин. Но он не был умен. Чересчур прямолинейный, он высказывал суждения, рубившие, как клинок. Чувствовалось, что ум его насыщен готовыми убеждениями, вложенными в него отцом и матерью, которые и сами приобрели их от своих предков. Он никогда не колебался, немедленно и с легкостью высказывая обо всем свое мнение, весьма при этом ограниченное, и не понимал, что могут существовать иные точки зрения. Чувствовалось, что это недалекий человек, что к нему не имеют доступа те идеи, которые обновляют и оздоравливают ум, подобно ветру, проникающему в дом сквозь раскрытые двери и окна.



Замок, в котором мы жили, находился в пустынной местности. Это было большое унылое строение, окруженное громадными деревьями; мох, покрывавший их, напоминал седые бороды старцев. Парк, настоящий лес, был окружен глубоким рвом, который называли «волчьей ямой», а на самом конце парка, на краю ланды, находились два больших пруда, заросших тростником и водорослями. Между ними на берегу соединявшего их ручья мой муж приказал выстроить небольшой шалаш для охоты на диких уток.

Кроме обычных домашних слуг, у нас были еще сторож, грубое животное, но до смерти преданный моему мужу, и горничная, страстно привязанная ко мне, почти что моя подруга. Лет за пять до того я привезла ее из Испании. Это был брошенный родителями ребенок. Темноглазая, со смуглым цветом лица, волосами, густыми, как лес, и постоянно растрепанными, она напоминала

⁷⁵ Ужасная месть этого отвратительного аптекаря из Пека. – Намек на одно из событий французской уголовной хроники 1882 года.

цыганку. В то время ей было шестнадцать лет, но на вид можно было дать двадцать.

Наступала осень. Мы охотились то у соседей, то у себя, и я обратила внимание на одного молодого человека, барона де С., который зачастил к нам в замок. Затем он перестал приезжать, и я не вспоминала о нем, но заметила, что поведение мужа по отношению ко мне резко изменилось.

Он казался молчаливым, озабоченным, не целовал меня, и, несмотря на то что он не входил более ко мне, – я пожелала иметь отдельную спальню, чтобы быть хоть немного одной, – я часто слышала по ночам осторожные шаги: они доходили до моей двери и через несколько минут удалялись.

Так как мое окно находилось в нижнем этаже, мне также часто казалось, будто кто-то бродит в темноте вокруг замка. Я сказала об этом мужу, он пристально поглядел на меня несколько секунд и ответил:

– Ничего, это сторож.

Однажды вечером, когда мы заканчивали обед, Эрве, казавшийся необычайно веселым, хотя веселость эта была притворной, спросил меня:

– Не желаете ли провести часика три в шалаше? Мы подстрелим лисицу, которая приходит каждую ночь поедать моих кур.

Я удивилась и задумалась, но так как он смотрел на меня со странной настойчивостью, я в конце концов ответила:

– Ну, разумеется, друг мой.

Надо вам сказать, что я не хуже мужчины охотилась на волков и кабанов. И предложение насчет шалаша было поэтому вполне естественным.

Но странно, что муж мой пришел вдруг в нервное состояние: он волновался весь вечер и был крайне возбужден, он то вскакивал с места, то снова садился. Около десяти часов он сказал мне:

– Вы готовы?

Я встала и, так как он сам принес мне мое ружье, спросила:

– Заряжать пулей или дробью?

Он удивился, затем ответил:

– О, одной дробью, этого будет достаточно, уверяю вас.

Затем спустя минуту добавил странным тоном:

– Вы можете похвалиться замечательным хладнокровием.

Я рассмеялась:

– Я? Почему? Хладнокровием, чтобы пойти и пристрелить лисицу? Что вам пришло в голову, друг мой?

И вот мы бесшумно двинулись к парку. Весь дом спал. Полная луна, казалось, окрашивала в желтый цвет старинное мрачное здание с блестящей шиферной кровлей. На коньках двух башенок по обеим сторонам замка отражался свет луны, и ни малейший шум не нарушал тишины этой светлой и печальной, нежной и душевной ночи; она казалась мертвой. Ни малейшего движения воздуха, ни кваканья лягушки, ни гуканья совы; над всем нависло мрачное оцепенение.

Когда мы очутились под деревьями парка, на меня повеяло свежестью и ароматом прелых листьев. Муж не говорил ни слова, но вслушивался, вглядывался, внюхивался, охваченный с головы до ног страстью охотника.

Мы скоро дошли до прудов.

Тростник, которым они заросли, не колыхался, ни малейший ветерок не ласкал его, но еле заметное движение иногда пробегало по воде. По временам на поверхности воды показывалась точка, и от нее разбегались легкие круги, подобно светящимся морщинам, которые расширялись без конца.

Когда мы дошли до шалаша, где должны были устроить засаду, муж пропустил меня вперед, затем не спеша зарядил свое ружье; сухое щелканье затвора произвело на меня странное впечатление. Он почувствовал, что я дрожу, и сказал:

– Может быть, этого испытания для вас уже достаточно? Тогда уходите.

Я ответила, изумившись до крайности:

– Нисколько. Я не для того явилась сюда, чтобы возвратиться ни с чем. Что с вами сегодня?

Он пробормотал:

– Как вам угодно.

И мы продолжали стоять неподвижно.

Прошло приблизительно полчаса, и, так как ничто не нарушало тягостного покоя этой светлой осенней ночи, я спросила шепотом:

– Вполне ли вы уверены, что зверь пройдет именно здесь?

Эрве вздрогнул, точно я его укусила, и, прижав губы к моему уху, ответил:

– Вполне уверен.

И молчание возобновилось.

Кажется, я уже стала дремать, когда мой муж сжал мне руку, и его голос, шипящий, изменившийся, произнес:

– Видите его, там, под деревьями?

Как я ни вглядывалась, я ничего не различала. Эрве медленно вскинул ружье к плечу, пристально глядя мне в глаза. Я и сама приготовилась стрелять, и вот внезапно, в тридцати шагах от нас, показался озаренный луною человек, удалявшийся быстрыми шагами, согнувшись, как бы спасаясь бегством.

Я была так поражена, что громко вскрикнула; но прежде чем я успела обернуться, перед моими глазами вспыхнуло пламя, выстрел оглушил меня, и я увидела, что этот человек рухнул на землю, как волк, сраженный пулей.

Охваченная ужасом, обезумев, я пронзительно закричала, но рука взбешенного Эрве схватила меня за горло. Он повалил меня на землю, затем поднял своими сильными руками. Держа меня на весу, он подбежал к телу, распростертому на траве, и швырнул меня на него изо всей силы, точно хотел разбить мне голову.

Я почувствовала, что погибаю: он готовился убить меня. И он уже занес над моим лбом свой каблук, когда, в свою очередь, внезапно был схвачен и опрокинут, прежде чем я могла понять, что происходит.

Я быстро вскочила на ноги: на нем стояла на коленях Пакита, моя горничная; вцепившись в Эрве, подобно взбесившейся кошке, со сведенным судорогой лицом, вне себя, она рвала на нем бороду и усы, разрывала кожу на лице.

Затем, как бы внезапно охваченная другой мыслью, она вскочила и, упав на труп, сжала его в своих объятиях, целуя его глаза, рот, раскрывая своими губами мертвые губы, стараясь найти в них дыхание – высшая степень любовной ласки.

Поднявшись на ноги, муж смотрел на нее. Он понял все и, упав к моим ногам, воскликнул:

– О, прости, дорогая, я заподозрил тебя и убил любовника этой девушки! Сторож ввел меня в заблуждение.

Я же глядела на страшные поцелуи, которыми живая женщина осыпала мертвеца, слушала ее рыдания, видела порывы ее отчаявшейся любви.

И с этого момента я поняла, что буду изменять мужу.

Лунный свет

Г-жа Жюли Рубер поджидала свою старшую сестру, г-жу Генриетту Леторе, возвращавшуюся из путешествия по Швейцарии.

Супруги Леторе уехали около пяти недель тому назад, Генриетта предоставила мужу одному возвратиться в их имение Кальвадос, куда его призывали дела, а сама приехала в Париж провести несколько дней у сестры.

Наступал вечер. В небольшой, погруженной в сумерки гостиной, убранной в буржуазном вкусе, г-жа Рубер рассеянно читала, при малейшем шорохе поднимая глаза.

Наконец раздался звонок, и вошла сестра в широком дорожном платье. И сразу, даже не взглядев друг друга, они бросились в объятия, отрываясь друг от друга лишь для того, чтобы обняться снова.

Затем начался разговор, и пока г-жа Леторе развязывала вуаль и снимала шляпку, они спрашивались о здоровье, о родных, о множестве всяких подробностей, болтали, не договаривая фраз, перескакивая с одного на другое.

Стемнело. Г-жа Рубер позвонила и приказала подать лампу. Когда зажгли свет, она взглянула на сестру, собираясь снова ее обнять, но остановилась, пораженная, растерянная, безмолвная. На висках г-жи Леторе она увидела две большие седые пряди. Волосы у нее были черные, блестящие, как вороново крыло, и только по обеим сторонам лба извивались как бы два серебристых ручейка, тотчас же пропадавшие в темной массе прически. А ей не было еще двадцати четырех лет, и произошло это внезапно, после ее отъезда в Швейцарию. Г-жа Рубер смотрела на нее в изумлении, готовая зарыдать, как будто ее сестру поразило какое-то таинственное, ужасное несчастье.

– Что с тобой, Генриетта? – спросила она.

Улыбнувшись грустной, болезненной улыбкой, та ответила:

– Ничего, уверяю тебя. Ты смотришь на мою седину?

Но г-жа Рубер стремительно обняла ее за плечи и, пытливо глядя ей в глаза, повторяла:

– Что с тобой? Скажи, что с тобой? И если ты солжешь, я сейчас же почувствую.

Они стояли лицом к лицу, и в опущенных глазах Генриетты, смертельно побледневшей, показались слезы.

Сестра повторяла:

– Что случилось? Что с тобой? Отвечай же!

Побежденная этой настойчивостью, та прошептала:

– У меня... у меня любовник.

И, прижавшись лицом к плечу младшей сестры, она разрыдалась.

Когда она немного успокоилась, когда в ее груди стихли судорожные всхлипывания, она вдруг заговорила, как бы желая освободить себя от этой тайны, излить свое горе перед дружеским сердцем.

Держась за руки и сжимая их, женщины опустились на диван в темном углу гостиной, и младшая сестра, обняв старшую, прижав ее голову к своей груди, стала слушать.

– О, я не ищу для себя никаких оправданий, я сама себя не понимаю и с того дня совершенно обезумела. Берегись, малютка, берегись: если б ты знала, до чего мы слабы и податливы, как быстро мы падаем! Для этого достаточно какого-нибудь пустяка, малейшего повода, минуты умиления, внезапно налетевшего приступа меланхолии или потребности раскрыть объятия, приласкаться, поцеловать, которая порой находит на нас.

Ты знаешь моего мужа и знаешь, как я его люблю; но он уж немолод, он человек рассудка, и ему непонятны все эти нежные, трепетные переживания женского сердца. Он всегда ровен, всегда добр, всегда улыбается, всегда любезен, всегда безупречен. О, как иной раз хотелось бы мне, чтоб он вдруг схватил меня в объятия, чтоб он целовал меня теми долгими сладостными поцелуями, которые соединяют два существа подобно некому признанию; как бы я хотела, чтобы и он почувствовал себя одиноким, слабым, ощутил бы потребность во мне, в моих ласках, в моих слезах! Все это глупо, но таковы уж мы, женщины. В этом мы не властны.



И, однако, мне ни разу не приходила мысль обмануть его. Теперь это произошло – и без любви, без повода, без смысла; только потому, что была ночь и над Люцернским озером сияла луна.

В течение месяца, как мы путешествовали вдвоем, мой муж подавлял во мне своим безмятежным равнодушием всякое проявление пылкой восторженности, охлаждал все мои порывы. Когда мы на заре в дилижансе, запряженном четверкой лошадей, мчались с горы и когда я, увидя сквозь прозрачный утренний туман широкие долины, леса, реки, селения, в восторге хлопала в ладоши и говорила: «Как это прекрасно, мой друг, поцелуй меня!» – он слегка пожимал плечами и отвечал с добродушной и невозмутимой улыбкой:

– Ну, стоит ли целоваться потому только, что вам нравится вид местности?

Это обдавало меня холодом до глубины души. Мне кажется, что когда любишь, то хочется любить еще сильнее при виде всего прекрасного, что нас волнует.

Наконец бывали во мне и поэтические порывы, но он их тут же останавливал. Как бы тебе сказать? Я была похожа на котел, наполненный паром, но герметически закрытый.

Однажды вечером (мы жили уже четыре дня в одном из отелей Флюэлена) Робер, чувствуя легкий приступ мигрени, тотчас же после обеда поднялся к себе в спальню, а я пошла в одиночестве прогуляться по берегу озера.

Ночь была сказочная. На небе красовалась полная луна; высокие горы с их снеговыми вершинами казались покрытыми серебром, волнистую поверхность озера бороздила легкая серебристая рябь. Мягкий воздух был напоен той расслабляющей теплотой, которая доводит вас до изнеможения и вызывает непонятную негу. Как восприимчива и отзывчива в такие мгновения душа, как быстро возбуждается она, как сильно чувствует!..

Я села на траву, глядела на это большое меланхолическое, очаровательное озеро, и что-то странное происходило во мне: я почувствовала неутолимую потребность любви и возмущение унылым однообразием моей жизни. Неужели я так никогда и не пройду под руку с возлюбленным по крутому берегу, озаренному луною? Неужели мне никогда не испытать тех долгих, бесконечно сладостных, сводящих с ума поцелуев, которые дарят друг другу в эти нежные ночи, как бы созданные самим богом для ласк? Неужели ни разу не обовьют меня страстные руки в светлом сумраке летнего вечера?

И я разрыдалась, как безумная.

Послышался шорох. За мною стоял мужчина и смотрел на меня. Когда я оглянулась, он узнал меня и подошел поближе:

– Вы плачете, сударыня?

Это был молодой адвокат; он путешествовал с матерью, и мы несколько раз с ним встречались. Его глаза нередко следили за мной!



Я была так потрясена, что не знала, что ответить, что придумать. Я поднялась и сказала, что мне нездоровится.

Он пошел рядом со мной с почтительной непринужденностью и заговорил о нашем путешествии. Он выражал словами все, что я чувствовала; все, что заставляло меня содрогаться, он понимал все так же, как я, лучше меня. И вдруг он стал мне читать стихи, стихи Мюссе. Я задыхалась, охваченная непередаваемым волнением. Мне казалось, что само озеро, горы, лунный свет пели что-то невыразимо нежное...

И это произошло, не знаю как, не знаю почему, в состоянии какой-то галлюцинации...

А он... с ним я свиделась только на следующий день, в момент отъезда.

Он дал мне свою карточку...

И г-жа Леторе в полном изнеможении упала в объятия сестры; она стонала, она почти кричала.

Сосредоточенная, серьезная, г-жа Рубер сказала с нежностью:

– Видишь ли, сестра, очень часто мы любим не мужчину, а самую любовь. И в тот вечер твоим настоящим любовником был лунный свет.

Страсть

Спокойное море сверкало, еле колеблемое приливом, и весь Гавр смотрел с мола на входящие в порт суда.

Они были видны издали, и их было много: то большие пароходы, окутанные дымом, то влекомые почти невидимыми буксирами парусники с их голыми мачтами, походившими на деревья без сучьев и с ободранной корой.

Со всех концов горизонта спешили они к узкому устью мола, которое поглощало эти чудовища, а они стонали, рычали, свистели, выпуская клубы пара, как прерывистое дыхание.

Два молодых офицера прогуливались по молу, заполненному народом, они отдавали честь, отвечали на приветствия, иногда останавливались, чтобы кое с кем поболтать.

Вдруг один из них, который был повыше ростом, Поль д'Анрисель, сжал руку своего товарища, Жана Ренольди, и шепнул:

– Смотри, вот госпожа Пуансо: взглядишь хорошенько, уверяю, что она строит тебе глазки.

Она шла под руку с мужем, богатым судовладельцем. Это была женщина лет под сорок, еще очень красивая, немного дородная, но благодаря этой миловидной полноте сохранившая свежесть двадцатилетнего возраста. В кругу друзей ее звали «богиней» за гордую осанку, за большие черные глаза, за благородство всей ее внешности. Она была безупречной; ни малейшее подозрение ни разу не коснулось ее. На нее ссылались как на образец уважаемой, простой женщины, столь почтенной, что ни один мужчина не осмеливался мечтать о ней.

И вот уж целый месяц, как Поль д'Анрисель уверял своего друга Ренольди, что г-жа Пуансо нежно поглядывает на него.

– Будь уверен, я не ошибаюсь, – настаивал он. – Я прекрасно вижу: она любит тебя страстно, как целомудренная женщина, которая никогда не любила. Сорок лет – это критический возраст для порядочных женщин, если они чувственны; тут они сходят с ума и совершают безумства. Эта женщина уже поражена любовью, мой милый; она уже падает, как раненая птица, и упадет в твои объятия... Да вот она, смотри...

Навстречу им шла высокая женщина с двумя дочерьми, двенадцати и пятнадцати лет. Увидев офицера, она внезапно побледнела. Она устремила на него горящий, пристальный взор и, казалось, никого уже более не замечала вокруг себя: ни своих детей, ни мужа, ни толпы. Она ответила на поклон молодых людей, не опуская взора, в котором пылало такое пламя, что в голову лейтенанта Ренольди наконец закралось сомнение.

А друг его пробормотал:

– Я был в этом уверен. Убедился ты теперь? Она все еще лакомый кусочек, черт возьми!

Но Жана Ренольди вовсе не привлекала светская интрижка. Не будучи особенным охотником до любовных походов, он прежде всего стремился к спокойной жизни и довольствовался теми случайными связями, которые всегда попадают молодому человеку. Та сентиментальность, те знаки внимания и любви, которых требует хорошо воспитанная женщина, нагоняли на него тоску. Как бы ни были легки цепи, всегда налагаемые подобного рода приключениями, эти цепи пугали его. Он рассуждал так: «К концу месяца я буду сыт по горло, а следующие шесть месяцев придется терпеть из вежливости». Вдобавок его пугал самый разрыв с неизбежными сценами, намеками, навязчивостью покинутой женщины.

Он избегал встреч с г-жой Пуансо.

Но вот как-то вечером он очутился рядом с нею за столом на званом обеде и беспрестанно ощущал на своем лице, в своих глазах, в самом сердце жгучий взгляд соседки; их руки встретились и почти невольно сомкнулись в пожатии. Это было уже началом связи.

Он снова встретился с ней, и опять-таки вопреки своему желанию. Он чувствовал, что его любят, он смягчался, охваченный чем-то вроде тщеславного сострадания к бурной страсти этой женщины. И он позволил себя обожать, продолжая быть только любезным и твердо надеясь остаться таким же и в своем чувстве.

Как-то она назначила ему свидание, чтобы, по ее словам, встретиться и свободно поболтать. Но она вдруг почувствовала себя дурно, упала в его объятия, и ему поневоле пришлось стать ее любовником.

Это тянулось полгода. Она любила его необузданной, захватывающей дух любовью. Порабощенная этой иступленной страстью, она ни о чем больше не помышляла; она отдалась ему целиком: тело, душу, доброе имя, положение, благополучие – все бросила она в это пламя своего сердца, как некогда бросали в жертвенный костер драгоценности.

А ему уже давным-давно все надоело, и он с сожалением вспоминал о своих легких победах красавца-офицера. Но он был связан, его удерживали, он чувствовал себя пленником. Она беспрестанно говорила ему:

– Я отдала тебе все; чего же тебе еще надо?

И ему ужасно хотелось ответить:

– Но ведь я ничего не требовал и прошу тебя: возьми обратно то, что ты мне дала.

Не беспокоясь о том, что ее могут заметить, ослабить, погубить, г-жа Пуансо приходила к нему каждый вечер, все более и более воспламеняясь. Она бросалась к нему на шею, сжимала его в объятиях, замирала в пылких поцелуях, которые смертельно ему надоедали. Он говорил усталым голосом:

– Да ну же, будь благоразумна.

Она отвечала: «Я люблю тебя», опускалась к его ногам и подолгу, с умилением любовалась им. В конце концов под этим упорным взглядом он выходил из себя и пытался поднять ее.



– Да сядь же, наконец, поговорим.

Она шептала: «Нет, оставь меня» – и продолжала сидеть у его ног в каком-то экстазе.

Он говорил своему другу д'Анриселю:

– Знаешь, я ее просто побью. Я не желаю больше, не желаю! Надо положить этому конец, и немедленно!

Затем добавил:

– Что ты мне посоветуешь?

Тот ответил:

– Порви с ней.

Ренольди, пожимая плечами, возразил:

– Тебе легко говорить. Ты думаешь, так просто разойтись с женщиной, которая изводит тебя вниманием, истязает услужливостью, преследует нежностью, заботится лишь о том, чтобы нравиться тебе, и виновна лишь в том, что отдалась тебе вопреки твоей воле?

Но вот в одно прекрасное утро стало известно, что полк переводится в другой гарнизон. Ренольди танцевал от радости. Он был спасен! Спасен без сцен, без криков! Спасен!.. Оставалось потерпеть только два месяца... Спасен!..

Вечером она вошла к нему, возбужденная более обычного. Она узнала ужасную новость. Не снимая шляпки, она схватила его за руки, нервно сжала их, смотря ему в глаза, и произнесла дрожащим, но твердым голосом:

– Ты уедешь, я знаю. В первый момент я пришла в отчаяние, но затем поняла, как должна поступить, и больше не колеблюсь. Я приношу тебе величайшее доказательство любви, какое только может дать женщина; я последую за тобой. Для тебя я брошу мужа, детей, семью. Я гублю себя, но я счастлива: мне кажется, что я снова отдаюсь тебе. Это моя последняя и величайшая

жертва: я твоя навсегда!

Холодный пот выступил у него на спине, глухая, бешеная ярость, бессильный гнев охватили его. Однако он взял себя в руки; бесстрастным тоном, с нежностью в голосе он отверг ее жертву, пытался ее успокоить, урезонить, дать ей понять ее безумие. Она слушала с презрительной усмешкой на губах, не возражая, глядя ему в лицо своими черными глазами. Когда же он умолк, она только спросила:

– Неужели ты окажешься подлецом, одним из тех, кто, обольстив женщину, затем бросает ее по первому капризу?

Он побледнел и пустился в рассуждения; он указал ей на неминуемые последствия подобного поступка, которые будут их преследовать до самой смерти: жизнь их будет разбита, общество закроет для них свои двери... Она упорно отвечала:

– Что за важность, когда любишь друг друга!

И вдруг он не выдержал:

– Ну, так нет же! Не хочу. Слышишь? Не хочу, запрещаю тебе.

И, срывая свою давнишнюю злобу, он выложил все, что было у него на душе.

– Довольно уж, черт возьми, ты любишь меня против моей воли! Недостает, чтоб я тебя еще увез. Благодарю покорно!

Она ничего не ответила, но по ее мертвенно-бледному лицу пробежала еле заметная болезненная судорога, как будто все нервы и мускулы ее сжались. И она ушла, не попрощавшись.

В ту же ночь она отравилась. В течение целой недели ее считали погибшей. В городе сплетничали, жалели ее, оправдывая ее поступок силой страсти: ведь чувства, доведенные до крайности и ставшие поэтому героическими, всегда заставляют простить то, что было бы в другом случае достойно осуждения. Женщина, которая себя убивает, перестает, так сказать, быть виновной в прелюбодеянии. И вскоре оказалось, что все осуждали и единодушно порицали лейтенанта Ренольди за отказ повидаться с г-жой Пуансо.

Рассказывали, что он ее бросил, изменил ей, бил ее. Полковник, почувствовав сострадание к ней, намекнул об этом своему офицеру. Поль д'Анрисель зашел к другу.

– Однако, черт возьми, мой милый, нельзя же доводить женщину до самоубийства: это подло.

Тот возмутился и заставил замолчать своего товарища, произнесшего слово *подлость*. Они дрались. Ренольди, к общему удовлетворению, был ранен и долго пролежал в постели.

Она узнала об этом и, предположив, что он дрался из-за нее, почувствовала к нему еще большую любовь. Но, прикованная к постели, она так и не увиделась с ним до ухода полка.

Ренольди жил уже три месяца в Лилле, когда однажды утром его посетила молодая дама, сестра его бывшей любовницы.

Не в силах преодолеть долгих страданий и отчаяния, г-жа Пуансо умирала. Она была обречена, безнадежна. Ей хотелось увидеться с ним один-единственный раз, прежде чем навсегда сомкнуть глаза.

Разлука и время дали успокоиться гневу и пресыщенности молодого человека; он смягчился, всплакнул и поехал в Гавр.

Она была, казалось, в агонии. Их оставили наедине, и тут, у постели умирающей, которую он невольно убил, его охватил приступ ужасной скорби. Он рыдал, осыпал ее нежными, страстными поцелуями, какими никогда раньше не целовал. Он лепетал:

– Нет, нет, ты не умрешь, ты выздоровеешь, мы будем любить друг друга... любить... вечно...

Она шептала:

– Правда ли это? Ты меня любишь?

И он, охваченный отчаянием, давал ей клятвы, обещал ждать ее выздоровления и, полный жалости, долго целовал исхудавшие руки бедной женщины, сердце которой лихорадочно билось. На следующий день он возвратился в свой гарнизон.

Через шесть недель г-жа Пуансо приехала к нему, до неузнаваемости постаревшая и влюбленная сильнее прежнего.

Он растерялся и принял ее. А затем, так как они жили вдвоем, словно люди, соединенные законом, тот самый полковник, который когда-то вознегодовал на него за то, что он ее покинул, возмутился этими неподобающими отношениями, не совместимыми с добрым примером, который обязаны подавать в полку офицеры. Полковник предупредил своего подчиненного, затем стал с ним резок, и Ренольди подал в отставку. Они поселились в вилле, на берегу Средиземного моря, классического моря влюбленных.

Прошло еще три года. Она поседела. Ренольди, покоровшийся игу, был поработан и свыкся с этой упорной любовью.

Он считал себя человеком конченным, погибшим. Надежда на будущее, какая бы то ни было карьера, чувство удовлетворенности или радости – все это отныне было ему заказано.

И вот однажды утром ему подали карточку: «Жозеф Пуансо, судовладелец. Гавр». Муж! Муж, который дотоле молчал, понимая, что нельзя бороться с безнадежным упорством женщины. Что ему было нужно?

Г-н Пуансо дожидался в саду, отказавшись войти в дом. Он вежливо поклонился, не захотел даже сесть на скамью в одной из аллей и заговорил обстоятельно, не торопясь.

– Я приехал сюда, сударь, не для того, чтобы упрекать вас; я слишком хорошо знаю, как все произошло. Надо мною... над нами... тяготело... нечто... вроде... злого рока. Я никогда не потревожил бы вас в вашем уединении, если бы не изменившиеся обстоятельства. У меня две дочери, сударь. Одна из них, старшая, любит одного молодого человека и любима им. Но семья этого юноши противится браку, ссылаясь на положение... матери моей дочери. Во мне нет ни гнева, ни злобы, но я обожаю своих детей, сударь. И вот я приехал просить вас возвратить мне мою... мою жену; надеюсь, что теперь она согласится вернуться ко мне... к себе. Со своей стороны, я сделаю вид, что забыл все, ради... ради моих дочерей.

У Ренольди сильно забилося сердце, его охватил необузданный восторг, как приговоренного к смерти при известии о помиловании.

Он пробормотал:

– Да, да... конечно, сударь... я сам... верьте мне... без сомнения... это справедливо, вполне справедливо...

Ему хотелось схватить руки этого человека, сжать его в объятиях, расцеловать в обе щеки.

Он продолжал:

– Войдите же. Вам будет удобнее в гостиной, я позову ее.

На этот раз г-н Пуансо не противился и сел. Ренольди взбежал по лестнице, постарался успокоиться перед дверью и вошел к любовнице совершенно спокойно.

– Тебя просят сойти вниз, – сказал он, – хотят что-то сообщить по поводу твоих дочерей.

Она поднялась:

– Моих дочерей? Что? Что именно? Не умерли же они?

Он ответил:

– Нет, но создалось серьезное положение, которое ты одна можешь разрешить.

Дальше она не слушала и быстро спустилась по лестнице.

Сильно взволнованный, он бросился в кресло и стал ждать.

Прождал он долго, очень долго. Затем, когда до него снизу донеслись гневные голоса, он решил спуститься.

Г-жа Пуансо, раздраженная до крайности, готовилась уйти, а муж удерживал ее за платье, повторяя:

– Поймите же, вы губите наших дочерей, своих дочерей, наших детей!

Она упорно отвечала:

– Я не вернусь к вам.

Потрясенный Ренольди понял все, выступил вперед и спросил шепотом:

– Как? Она отказывается?

Она повернулась в его сторону и, стесняясь говорить с ним на «ты» в присутствии законного супруга, сказала:

– Знаете, о чем он меня просит? Он требует, чтобы я вернулась к нему, под его кров!

И она усмехнулась с безграничным пренебрежением к этому человеку, который упрашивал ее чуть ли не на коленях.

Тогда Ренольди с решимостью человека, доведенного до отчаяния и ставящего на карту последнюю ставку, в свою очередь, заговорил в защиту бедных девушек, мужа и самого себя. Когда он прервал свою речь, подыскивая какой-нибудь новый довод, то г-н Пуансо, уже исчерпавший все средства убеждения, пробормотал, машинально обратившись к ней на «ты» по старой привычке:

– Послушай, Дельфина, подумай о своих дочерях.

Окинув их обоих взглядом величайшего презрения, она бросилась к лестнице, выкрикнув:

– Вы оба – негодяи!

Оставшись наедине, они переглянулись, одинаково удрученные, убитые горем. Г-н Пуансо поднял свою упавшую шляпу, стряхнул рукою пыль с колен и, прощаясь с Ренольди, провожавшим его до двери, произнес в полном отчаянии:

– Мы с вами очень несчастливы, сударь!

И, тяжело шагая, удалился.

Переписка

Госпожа де X... госпоже де Z...

Этрета, пятница

Дорогая тетушка!

Я потихоньку еду к вам. Во Френе буду второго сентября, накануне открытия охоты, которую ни за что не хочу пропустить, назло этим господам. Вы, тетушка, чересчур добры, если разрешаете им в такой день, оставаясь с ними одна, обедать не во фраке и не бриться под предлогом усталости после охоты.

Поэтому-то они и в восторге, когда меня нет. Но я приеду и произведу в час обеда генеральский смотр. И если хоть один будет одет сколько-нибудь небрежно, я его пошлю на кухню обедать с горничными.

В наши дни мужчины так мало соблюдают приличия и светские манеры, что надо всегда держать их в строгости. Положительно настало царство грубиянов. Ссорясь друг с другом, они ругаются, как извозчики, и держат себя в нашем присутствии куда хуже лакеев. Надо видеть их на морских купаниях. Они съезжаются туда целыми батальонами, и там можно составить о них всех полное представление. О, какие это мужланы!

Представьте себе, что в вагоне железной дороги один из них, господин на первый взгляд довольно приличный (благодаря своему портному), незаметно снял с себя ботинки и заменил их туфлями. Другой, уже старик, должно быть, богатый выскочка (эти уж совсем невоспитанные), сидя против меня, осторожненько водрузил обе ноги на скамью рядом со мною. И это считается допустимым.

На курортах – разгул грубости. Следует, однако, добавить: быть может, мое возмущение вызывается тем, что я не привыкла общаться с людьми, с которыми здесь сталкиваешься. Этот сорт мужчин поражал бы меня меньше, если бы я чаще встречалась с ним.

В бюро отеля меня чуть не сбил с ног молодой человек, который брал свой ключ через мою голову. Другой, выходя после бала из казино, так сильно толкнул меня, что у меня заболела грудь; а он даже не извинился, даже не приподнял шляпы. Вот каковы они все. Взгляните, как они на террасе подходят к дамам: они едва им кланяются. Они просто подносят руку к своему головному убору. Впрочем, так как они все лысы, то это, пожалуй, и лучше.

Но что раздражает и шокирует меня больше всего – это свобода, с которой они публично, без стеснения, говорят о самых возмутительных своих похождениях. Стоит сойтись двум мужчинам, как они начинают рассказывать друг другу поистине ужасные вещи, употребляя самые не-

приличные выражения, самые гнусные слова, нимало не беспокоясь о том, что где-нибудь вблизи могут оказаться женские уши. Вчера на морском берегу мне пришлось пересест, чтобы не оставаться невольной слушательницей непристойного анекдота, который передавался со столь грубыми подробностями, что я почувствовала себя и оскорбленной и возмущенной тем, что могла услышать подобную мерзость. Разве самая элементарная благопристойность не должна была бы научить их говорить потише о таких вещах вблизи нас?

Этрета, кроме того, – страна злословия, а следовательно, – родина кумушек. С пяти до семи часов мы видим, как они шмыгают в поисках всяких сплетен, которые затем передаются от одной группы к другой. Вы всегда говорили мне, дорогая тетушка, что сплетня – это достояние мелких людей и мелких умишек. Она же служит утехой женщин, которых больше не любят, за которыми больше не ухаживают. Достаточно мне взглянуть на тех, которых считают главными сплетницами, чтобы убедиться в том, что вы не ошибаетесь.

Как-то на днях я была в казино на музыкальном вечере одной замечательной артистки, г-жи Массон, которая действительно поет очаровательно. Я имела удовольствие аплодировать восхитительному Коклену⁷⁶ и двум очаровательным артисткам Водевиля, М... и Мейле. Здесь же я увидела и всех приезжих, съехавшихся в нынешнем году на купание. Это люди не очень высокой марки.

⁷⁶ Восхитительный Коклен. – В 80-х годах на французской сцене выступали два талантливых актера, братья Коклены, Старший (1841–1909) и Младший (1848–1909). Неясно, кто из них имеется в виду.



На другой день я поехала завтракать в Ипор. Я обратила внимание на бородатого мужчину, который выходил из большого дома, похожего на крепость. Оказалось, что это художник Жан-Поль Лоранс⁷⁷. Ему, по-видимому, недостаточно замуровывать своих героев, он замуровал и самого себя.

Затем мне случилось как-то сидеть на валуне рядом с молодым еще мужчиной; у него была приятная и изящная наружность, спокойные манеры, он был увлечен чтением стихов; читал он их с таким вниманием, с таким страстным, сказала бы я, чувством, что ни разу не взглянул на меня. Я была несколько задета и с напускным равнодушием осведомилась у старшего сторожа о фамилии этого господина. В глубине души я подсмеивалась над этим любителем рифм; он казался мне отсталым для мужчины. Это, думалось мне, наверное, какой-нибудь простачок. И вот, тетушка, сейчас я без ума от моего незнакомца. Представьте себе: его зовут Сюлли-Прюдом⁷⁸. Я возвратилась и снова села рядом с ним, чтобы хорошенько рассмотреть его. Характерные черты его внешности

⁷⁷ Жан-Поль Лоранс (1838–1921) – французский художник, писавший на исторические темы; некоторые полотна Лоранса воспроизводят сцены ужасов инквизиции.

⁷⁸ Сюлли-Прюдом (1839–1907) – французский поэт парнасской школы.

– спокойствие и изящество. К нему подошли, и я услышала его голос, нежный, почти робкий. Вот уж кто, наверное, не станет публично говорить грубости и толкать людей, не извиняясь! Какой это, должно быть, деликатный человек, даже болезненно-деликатный и исключительно чуткий. Я постараюсь нынче зимой, чтобы мне его представили.

Вот и все новости, дорогая тетушка, и я спешу проститься с вами, так как близится час отправки почты. Целую ваши руки и щеки.

Преданная вам племянница

Берта де Х...

Р. S. А все-таки я должна добавить, в оправдание французской вежливости, что наши соотечественники во время путешествий – это еще образец хорошего тона в сравнении с ужасными англичанами, которые кажутся конюхами по своему воспитанию, до того они стараются ни в чем не стеснять себя и постоянно беспокоить своих соседей.

Госпожа де Z... госпоже де Х...

Френ, суббота

Дорогая малютка, ты сообщаем мне немало вполне разумных вещей, что, однако, не мешает тебе ошибаться. Подобно тебе, и я некогда возмущалась тем, что мужчины невежливы и что, как я полагала, они не уделяют мне должного внимания; но с годами, размышляя обо всем, переставая быть кокетливой, беспрестанно наблюдая, я пришла к следующему выводу: если мужчины не всегда вежливы, то женщины, наоборот, всегда невыразимо грубы.

Мы думаем, что нам все дозволено, моя дорогая, и считаем, что все люди нам обязаны, сами же совершаем с легким сердцем поступки, лишённые того самого элементарного приличия, о котором ты так страстно говоришь.

Теперь, напротив, я нахожу, что мужчины уделяют нам много внимания, сравнительно с тем, как мы обращаемся с ними. В конце концов, малютка, мужчины должны быть и бывают такими, какими делаем их мы. В обществе, где все женщины были бы настоящими светскими дамами, все мужчины превратились бы в джентльменов.

Итак, понаблюдай и пораздумай.

Взгляни на двух женщин, встретившихся на улице: что за позы, что за критикующие взгляды, что за презрение в глазах! Чего стоит это движение головы сверху вниз, чтобы смерить тебя и осудить! И если тротуар слишком узок, не воображаешь ли ты, что какая-нибудь из них даст тебе дорогу или извинится? Никогда! Если двое мужчин сталкиваются в узком переулке, оба раскланиваются и уступают дорогу одновременно, ну а мы, женщины, сталкиваемся грудь с грудью, нос к носу, нахально разглядывая друг друга.

Взгляни на двух знакомых между собой женщин, встретившихся на лестнице, у дверей приятельницы; одна из них только выходит от нее, другая – собирается войти. Они начинают болтать, загораживая всю ширину прохода. Если кто-нибудь поднимается вслед за ними, мужчина или женщина, – не воображаешь ли ты, что они отодвинутся хоть на шаг? Ни за что! Ни за что!

Прошлой зимой я прождала двадцать две минуты, с часами в руках, у дверей одного салона. Тут же ждали двое мужчин, но в отличие от меня они не собирались приходить в бешенство. Поэтому что они с давних пор приучены к нашим бессознательно наглым выходкам.

В другой раз, перед отъездом из Парижа, я отправилась обедать, как раз с твоим мужем, в один из ресторанов Елисейских Полей, чтобы подышать свежим воздухом. Все столики были заняты. Гарсон попросил нас подождать.

Я заметила одну пожилую даму благородной внешности, только что расплатившуюся по счету и, по-видимому, собиравшуюся уходить. Она увидела меня, смерила с головы до ног и не двинулась с места. Прошло более четверти часа, а она все продолжала неподвижно сидеть, натягивая перчатки, оглядывая столы, спокойно посматривая на тех, кто ждал, подобно мне. Но вот двое молодых людей, кончавших обедать, увидев меня, спешно позвали гарсона, расплатились и тот-

час же предложили мне свое место, объявив даже, что подождут сдачу стоя. И подумай, моя красавица, что я уж больше не прекрасна, как ты, а старуха с седыми волосами.

Вот видишь, именно нас следовало бы поучить вежливости, но труд этот был бы так тяжел, что сам Геркулес не справился бы с ним.

Ты рассказываешь мне об Этрета и о людях, которые сплетничают на этом милом берегу. Это местечко для меня больше не существует, но когда-то я весело проводила в нем время.

Нас было там немного: несколько светских людей, настоящих светских людей, и общавшихся с нами художников. В то время не занимались сплетнями.

А так как у нас не было этого глупого казино, где выставляют себя напоказ, перешептываются, занимаются пошлыми танцами и до одури скучают, то мы изыскивали способы весело проводить вечера. И вот отгадай, что выдумал один из наших мужей? Ходить каждую ночь плясать на одну из окрестных ферм.

Мы отправлялись целой гурьбой с шарманкой, на которой обыкновенно играл художник Ле Пуатвен⁷⁹ с бумажным колпаком на голове. Двое мужчин несли факелы. Это было настоящее шествие, и мы смеялись и болтали, как сумасшедшие.

Будили фермера, служанок, батраков. Заказывали даже луковый суп (о, ужас!) и плясали под яблонями под шарманку. В курятниках пели разбуженные петухи, в конюшнях топтались лошади на своих подстилках. Свежий деревенский ветерок, насыщенный ароматом трав и сжатых хлебов, ласкал нам щеки.

Как все это далеко! Как далеко! Тридцать лет прошло с тех пор!

Мне не хочется, дорогая, чтобы ты приехала к началу охоты. Зачем отравлять радость нашим друзьям, заставляя их в этот день грубоватого сельского развлечения облачаться в светские костюмы? Так-то вот и портят мужчин, моя малютка.

Целую тебя.

Твоя старая тетка

Женевьева де Z...

Плутня

– Это женщины-то?

– Ну, и что же? Что – женщины?

– А вот что: нет более искусных фокусников, которые сумели бы провести нас по любому случаю, с тем или иным умыслом или без всякого умысла, и нередко обмануть из одного только удовольствия. И они обманывают с невероятной простотой, с поразительной смелостью, с неоспоримой тонкостью. Они плутуют с утра до вечера, и все решительно, все, вплоть до самых честных, самых правдивых, самых умных.

Добавлю, что иной раз их к этому вынуждают. Мужчина всегда упрям, как дурак, и прихотлив, как тиран. У себя дома муж ежеминутно нелепо капризничает. Он полон вздорных причуд; обманывая, жена лишь потворствует им. Она уверяет его, что та или иная вещь стоит столько-то, так как он завопил бы, если бы она стоила дороже. И обычно она ловко выпутывается из беды с помощью таких легких и хитроумных средств, что мы руками разводим, когда случайно обнаруживаем обман. И в изумлении спрашиваем себя: «Да как же это мы не заметили?»

Говорил это бывший министр империи, граф Л..., по слухам, большой повеса и человек выдающегося ума.

Группа молодежи слушала его.

Он продолжал:

– Меня обманула смешным, но и поучительным образом одна скромная мешаночка. Я расскажу эту историю вам в назидание.

⁷⁹ Ле Пуатвен (1806–1870) – дядя Мопассана, художник-маринист.

Я был тогда министром иностранных дел и имел привычку подолгу гулять каждое утро по Елисейским Полям. Дело было весной, и я прохаживался, жадно вдыхая чудный аромат первой листвы.

Вскоре я заметил, что ежедневно встречаю прелестную женщину, одно из тех поразительных и грациозных созданий, что носят на себе отпечаток Парижа. Била ли она красива? И да и нет. Хорошо ли сложена? Нет, лучше того. Пусть ее талия была слишком тонка, плечи слишком прямые, грудь слишком выпукла, но я предпочитаю таких прелестных пухленьких куколок крупному остову Венеры Милосской.

К тому же они неподражаемо семянят ножками, и одно только подрагивание их турнюра вызывает в нас страстные вожделения. Казалось, будто она мимоходом меня оглядывает. Но в подобных женщинах мало ли что покажется, и никогда нельзя быть ни в чем уверенным...



Однажды утром я увидел, что она сидит на скамье с раскрытой книгой в руках. Я поспешил сесть рядом с нею. Не прошло и пяти минут, как мы подружились. В последующие дни после сопровождаемого улыбкой приветствия: «Добрый день, сударыня», «Добрый день, сударь» – завязывалась беседа. Она рассказала мне, что замужем за чиновником, что жизнь ее уныла, что развлечений мало, а забот много, и так далее.

Я сказал ей, кто я такой; это вышло случайно, а быть может, из тщеславия; она весьма удачно притворилась удивленной.

На другой день она зашла ко мне в министерство и стала затем приходить так часто, что курьеры, узнав, кто она такая, сообщали друг другу при ее появлении имя, которым ее окрестили: «Мадам Леон». Так зовут меня.

Я встречался с ней ежедневно, по утрам, в течение трех месяцев, ни на минуту не пресытившись ею, так умела она разнообразить и обострять свои ласки. Но однажды я заметил в ее глазах страдальческое выражение и блеск от сдерживаемых слез, заметил, что она еле говорит, охваченная какой-то скрытой тревогой.

Я просил, заклинал ее поведать мне причину беспокойства, и в конце концов она, вздрагивая, пролепетала:

– Я... я беременна.

И разрыдалась. О, я скорчил ужасную гримасу и, надо полагать, побледнел, как обычно бледнеют при таких известиях. Вы и не представляете себе, какой неприятный удар в грудь получаешь при сообщении о подобном неожиданном отцовстве. Но рано или поздно вы познаете все это. Я пролепетал:

– Но... но... ведь ты же замужем, не так ли?

Она ответила:

– Да, но муж месяца два как в Италии и еще долго не возвратится.

Я хотел во что бы то ни стало избавиться от ответственности. Я сказал:

– Надо сейчас же ехать к нему.

Она покраснела до корней волос и, опустив глаза, ответила:

– Да... но...

Она не решалась или не хотела договорить.

Я понял и деликатно вручил ей конверт с деньгами на путевые расходы.

Неделей позже она прислала мне письмо из Женевы. На следующей неделе я получил письмо из Флоренции. Затем из Ливорно, Рима, Неаполя. Она писала мне: «Я чувствую себя хорошо, дорогой мой, любимый, но выгляжу ужасно. Не хочу показываться тебе на глаза, пока все это не кончится; ты меня разлюбишь. Муж ничего не подозревает. Командировка удержит его в этой стране еще надолго, и я возвращусь во Францию только после родов».

Приблизительно в конце восьмого месяца я получил из Венеции только два слова: «Это мальчик».



Несколько позже, как-то утром, она стремительно вошла в мой кабинет, свежее и красивее, чем когда-либо, и бросилась в мои объятия.

И наша былая любовь возобновилась.

Я покинул министерство. Она стала приходить в мой особняк на улице Гренелль. Она часто говорила со мной о ребенке, но я еле слушал ее: это меня не касалось. По временам я вручал ей довольно крупную сумму, говоря только:

– Положи это на его имя.

Прошло еще два года, и все чаще и настойчивее заговаривала она со мной о мальчике, о Леоне. Иногда она плакала:

– Ты не любишь его; не хочешь даже повидать его; если бы ты знал, какое горе ты мне этим причиняешь!

Наконец она до того извела меня, что однажды я обещал ей пойти на следующий день на Елисейские Поля, в тот час, когда она поведет гулять сына.

Но в тот момент, когда мне надо было идти, меня удержал страх. Человек слаб и глуп; кто знает, что произойдет в моем сердце? А вдруг я полюблю это маленькое существо, рожденное от меня, моего сына?

Я стоял в шляпе, с перчатками в руках. Я кинул перчатки на письменный стол и шляпу на кресло: «Нет, решено, не пойду, это будет благоразумнее».

Дверь распахнулась. Вошел мой брат. Он протянул мне полученное утром анонимное письмо: «Предупредите графа Л..., вашего брата, что дамочка с улицы Кассет нагло издевается над ним. Пусть-ка он наведет о ней справки».

Я никогда никому не говорил об этой давнишней любовной связи. Я был поражен и рассказал брату все, с начала до конца, добавив:

– Я лично не хочу этим заниматься, но будь ты так любезен, пойди и разузнай.

Когда мой брат ушел, я подумал: «В чем же она могла меня обманывать? Имеет другого любовника? А какое мне дело? Она молода, свежа, красива; ничего большего от нее я и не требую. Она, по-видимому, любит меня и, в конце концов, не слишком дорого мне обходится. Право, ума не приложу».

Мой брат возвратился быстро. В полиции ему сообщили прекрасные сведения о муже. «Чиновник министерства внутренних дел, корректен, на хорошем счету, благонадежен, но женат на очень красивой женщине, издержки которой, кажется, не вполне соответствуют его скромному положению». Вот и все.

Тогда брат мой разыскал ее квартиру и, узнав, что ее нет дома, развязал деньгами язык привратнице.

– Госпожа Д... – прекрасная дама, и муж ее – прекрасный человек; не богаты, но и не мелочны.

Брат спросил, чтобы сказать что-нибудь:

– Сколько теперь лет ее маленькому сыну?

– Да у ней вовсе нет сына, сударь.

– Как нет? А маленький Леон?

– Нет, сударь, вы ошибаетесь.

– Тот, который родился у нее во время ее путешествия по Италии, года два тому назад?

– Она никогда не бывала в Италии, сударь, и не покидала этого дома в течение всех пяти лет, что проживает здесь.

Мой брат, пораженный, продолжал расспрашивать, выведывать, вести дальше свои расследования. Ни ребенка, ни путешествия не оказалось.

Я был чрезвычайно удивлен, но не понимал конечного смысла всей этой комедии.

– Я хочу вполне удостовериться и успокоиться. Я попрошу ее прийти сюда завтра. Прими ее вместо меня; если она меня обманула, вручи ей эти десять тысяч франков, и больше я с ней не увижусь. Да и на самом деле все это начинает мне надоедать.

Поверите ли, всего лишь накануне сознание, что у меня есть ребенок от этой женщины, приводило меня в отчаяние, теперь же я был раздражен, пристыжен, оскорблен тем, что его у меня уже нет. Я оказался свободным, избавленным от всяких обязательств и беспокойств и тем не менее приходил в бешенство.

На другой день мой брат поджидал ее в моем кабинете. Она вошла, по обыкновению оживленная, подбежала к нему с раскрытыми объятиями и остановилась, разглядев его.

Он поклонился и извинился:

– Прошу извинения, сударыня, что нахожусь здесь вместо моего брата, но он поручил мне попросить у вас объяснений, лично получить которые ему было бы тяжело.

Затем, глядя ей в глаза, он резко произнес:

– Нам известно, что у вас не было от него ребенка.

После первого изумления она овладела собой, села, улыбнувшись, взглянула на своего судью и спокойно ответила:

– Да, у меня нет ребенка.

- Нам известно также, что вы никогда не бывали в Италии.
- На этот раз она рассмеялась от всей души:
- Да, я никогда не бывала в Италии.



Мой брат, ошеломленный, продолжал:

- Граф поручил мне передать вам эти деньги и сказать вам, что все кончено.
- Она снова сделалась серьезной, спокойно сунула деньги в карман и простодушно спросила:
- Значит... я больше не увижу графа?
- Нет, сударыня.
- Это, видимо, раздосадовало ее, и она совершенно спокойно добавила:
- Тем хуже: я его очень любила.

Видя, что она так быстро примирилась с судьбой, мой брат, улыбнувшись, спросил ее в свою очередь:

- Скажите мне теперь, для чего вы придумали всю эту долгую и сложную плутню с путешествием и ребенком?

Она удивленно взглянула на моего брата, как будто он задал глупый вопрос, и ответила:

– Ах, это просто хитрость! Уж не полагаете ли вы, что бедная, ничтожная мешаночка, вроде меня, способна была бы в течение трех лет удерживать графа Л..., министра, важного господина, светского человека, богатого и обольстительного, если бы она чем-нибудь не привязывала его к себе? Теперь все кончено. Тем хуже. Вечно так быть не могло. Но в продолжение трех лет мне все же удавалось удержать его. Передайте ему мой искренний привет.

Она поднялась. Мой брат продолжал спрашивать:

- Ну а... ребенок? Он был у вас подставной?
- Конечно, ребенок моей сестры. Она давала его мне на время. Держу пари, что это она вам выдала меня.
- Хорошо, а все эти письма из Италии?
- Она снова села, чтобы вволю посмеяться.
- О, эти письма, это целая поэма. Ведь недаром же граф был министром иностранных дел.
- Ну... а дальше?
- Дальше – это мой секрет. Я никого не хочу компрометировать.
- И, поклонившись, с несколько насмешливой улыбкой, она вышла, ничуть не смущаясь, по-

добно актрисе, роль которой окончилась.

И граф Л... добавил в виде нравоучения:

– Вот и доверяйте подобным птичкам.

Ивелина Саморис

– Это графиня Саморис.

– Та дама в черном?

– Та самая; она носит траур по дочери, которую убила.

– Полноте! Что вы мне рассказываете?

– Самую обыкновенную историю, без всяких злодейств и насилий.

– Что же произошло?

– Да почти ничего. Говорят же, что большинство куртизанок родилось, чтобы быть честными женщинами, а многие так называемые честные женщины – чтобы быть куртизанками, не так ли? Так вот, у госпожи Саморис, прирожденной куртизанки, была дочь, прирожденная честная женщина, вот и все.

– Я что-то плохо понимаю.

– Сейчас объясню. Графиня Саморис – это одна из тех поддельных иностранок, которые ежегодно наводняют Париж. Венгерская или валашская графиня, или что-то в этом роде, она появилась как-то зимой в одном из апартаментов на Елисейских Полях, в этом квартале авантюристов, и распахнула двери своих гостиных перед первыми встречными.

Я пошел туда. Чего ради, спросите вы. Да сам не знаю. Пошел, как ходят туда все, потому что там играют в карты, потому что женщины там доступны, а мужчины бесчестны. Вам известен этот мир проходимцев, украшенных всевозможными орденами: все они благородного происхождения, все титулованные и все неизвестны посольствам, за исключением разве шпионов. Все они по малейшему поводу начинают толковать о чести, перечислять предков, рассказывать о своей жизни. Это хвастуны, лгуны, мошенники, которые обманывают вас, как их имена, и опасны, как их карты, словом – аристократия каторги.

Я обожаю таких людей. Интересно их разгадывать, интересно с ними знакомиться, забавно их слушать, они часто умны и никогда не бывают банальны, подобно чиновникам. Их женщины всегда красивы, с каким-то налетом чужеземного плутовства, с несколько загадочным прошлым, ибо жизнь их наполовину, быть может, прошла в исправительном доме. Обычно у них великолепные глаза и фальшивые волосы. Я их также обожаю.

Госпожа Саморис – типичная авантюристка, элегантная, несмотря на зрелый возраст, все еще красивая, обаятельная, вкрадчивая; чувствуется, что она порочна до мозга костей. В ее доме веселились, играли в карты, танцевали, ужинали... словом, занимались всеми светскими развлечениями.

И у нее была дочь, высокая, великолепно сложенная, жизнерадостная, всегда готовая веселиться, всегда смеявшаяся от души и танцевавшая до упаду. Истая дочь авантюристки. Но это была невинная и наивная девушка; она пребывала в полном неведении, ничего не замечала, ничего не понимала и совсем не догадывалась о том, что происходило в родительском доме.

– Откуда вы это знаете?

– Откуда знаю? Это и есть самое интересное. Однажды утром ко мне позвонили, и мой камердинер доложил, что меня хочет видеть господин Жозеф Боненталь. Я тотчас же спросил:

– Кто он такой?

Слуга ответил:

– Не знаю, сударь, но, должно быть, лакей.

Это был действительно лакей, желавший поступить ко мне на службу.

– У кого вы служили перед этим?

– У графини Саморис.

– А! Но ведь мой дом совсем не то, что ее.

– Я это знаю, сударь, и поэтому хочу поступить к вам, довольно с меня этих людей; туда еще можно иногда заглядывать, но оставаться там нельзя.

Мне как раз нужен был человек, и я принял его.

Месяц спустя таинственным образом умерла м-ль Ивелина Саморис.

Вот подробности этой смерти, которые я узнал от Жозефа, а он – от своей приятельницы, камеристки графини.

Как-то вечером, на балу, двое вновь прибывших гостей разговаривали, стоя за дверью. М-ль Ивелина, только что танцевавшая, прислонилась к этой двери, чтобы подышать свежим воздухом. Они не видели, как она подошла, но она услышала их разговор. Они говорили:

– Кто же отец этой девушки?

– Какой-то русский, кажется, граф Рувалов. Он больше не бывает у матери.

– А кто тут сейчас царствует?

– Вон тот английский принц, что стоит у окна; госпожа Саморис его обожает. Но это обожание никогда не длится больше месяца или шести недель. Впрочем, как видите, персонал друзей многочислен; все званы, и... почти все избраны. Обходится это несколько дорого, по...

– Кому она обязана фамилией Саморис?

– Тому единственному человеку, которого она, быть может, любила, берлинскому банкиру-еврею, его звали Самуил Моррис.

– Так. Благодарю вас. Теперь вы меня просветили, мне все ясно. И я буду действовать напрямик.

Какая буря разразилась в голове молодой девушки, одаренной всеми инстинктами честной женщины? Какое отчаяние потрясло эту простую душу? Какие пытки погасили это непрестанное веселье, этот чарующий смех, эту ликующую жизнерадостность? Какую борьбу вынесло это юное сердце, пока не удалился последний гость? Вот чего не мог сказать Жозеф. Но в тот же вечер Ивелина неожиданно вошла в спальню матери, которая готовилась лечь в постель, отослала горничную, оставшуюся подслушивать за дверью, и, стоя, бледная, с широко раскрытыми глазами, произнесла:

– Мама, вот что я только что услышала в гостиной.

И передала слово в слово разговор, о котором я вам говорил.

Пораженная графиня сначала не нашлась, что ответить. Затем стала решительно все отрицать, придумала какую-то историю, клялась, призывала в свидетели бога.

Молодая девушка ушла от нее растерянная, но не убежденная. И с тех пор начала следить.

Я прекрасно помню, что в ней произошла странная перемена. Сосредоточенная и печальная, она устремляла на нас пристальный взгляд, как бы читая в глубине наших сердец. Мы не знали, чем это объяснить, и решили, что она ищет себе мужа, постоянного или временного.

Однажды вечером она перестала сомневаться; она застала мать врасплох. Тогда хладнокровно, тоном делового человека, излагающего условия договора, она сказала:

– Вот что я решила, мама. Мы уедем с тобой в какой-нибудь городок или в деревню; мы будем жить там как можно скромней. Одни твои драгоценности – уже целое состояние. Если тебе удастся выйти замуж за порядочного человека, тем лучше; еще лучше, если и мне это удастся. Если же ты не согласишься на это, я покончу с собой.

На этот раз графиня приказала дочери лечь спать, запретила ей впредь возобновлять этот неприличный в ее устах разговор.

Ивелина ответила:

– Даю тебе месяц на размышление. Если после этого мы не изменим образа жизни, я покончу с собой, так как никакого иного честного выхода для меня не остается.

И она ушла.

К концу месяца в отеле Саморис все еще плясали и ужинали.

Тогда Ивелина притворилась, что у нее болят зубы, и приказала купить у соседнего аптекаря несколько капель хлороформа. На следующий день она повторила то же самое; да и сама, должно быть, выходя из дому, покупала незначительные дозы этого наркотического средства и собрала целый пузырек.

Однажды утром ее нашли в постели уже похолодевшей. Лицо было покрыто ватой, пропитанной хлороформом.

Гроб утонул в цветах, церковь была затянута белым. Похороны собрали многочисленную толпу.

И, право же, если бы я знал, – но ведь никогда не знаешь, – пожалуй, я и женился бы на этой девушке. Она была чертовски хороша собой.

– А что случилось с матерью?

– О, она долго плакала. Всего неделя, как она снова начала принимать близких друзей.

– Чем же объяснили эту смерть?

– Говорили о какой-то усовершенствованной печке, механизм которой испортился. И так как несчастные случаи с этими печами наделали и раньше немало шуму, никому это не показалось странным: все поверили.

Приятель Жозеф

Они тесно сблизились в течение зимы в Париже. Потеряв друг друга из виду, как всегда по окончании коллежа, друзья встретились однажды вечером в обществе, уже постаревшие, седые, один – холостяк, другой – женатый.

Г-н де Меруль проживал полгода в Париже и полгода – в своем маленьком замке Турбевиль. Женившись на дочери местного помещика, он зажил мирной, здоровой жизнью, с беспечностью человека, ничем не занятого. Наделенный спокойным темпераментом и уравновешенным умом, которому были несвойственны ни смелость идей, ни бунтарская независимость, он проводил время, кротко сожалея о прошлом, жалуясь на современные нравы и учреждения, и постоянно повторял своей жене, которая воздымала к небу глаза, а иногда и руки, в знак полного согласия с ним:

– При каком правительстве живем мы, боже мой!

Г-жа де Меруль складом ума походила на мужа, как сестра на брата. И, по традиции, ей было известно, что надо прежде всего чтить папу и короля!

Она не знала их, но любила и почитала всем сердцем, с поэтической восторженностью, с наследственной преданностью, с умилением женщины знатного рода. Душа ее была преисполнена доброты. У нее не было детей, и она непрестанно сожалела об этом.

Когда г-н де Меруль снова встретил на одном балу Жозефа Мурадур, своего старого товарища, он глубоко и простодушно обрадовался этой встрече, так как в дни юности они очень любили друг друга.

После удивленных возгласов по поводу перемен, произведенных временем в их внешности, они стали расспрашивать друг друга о жите-бытье.

Жозеф Мурадур, южанин, занимал должность генерального советника в своих родных местах. Человек с открытой душой, он говорил живо, несдержанно и высказывал свои мысли целиком, без всяких предосторожностей. Он был республиканец, из той породы республиканцев, добрых малых, которые превращают бесцеремонность в правило поведения и рисуются свободой слова, доходящей до грубости.

Он посетил дом своего друга, и его там сразу же полюбили за сердечность и обходительность, хотя его передовые взгляды не нравились хозяевам. Г-жа де Меруль восклицала:

– Что за несчастье! Такой очаровательный человек!



Г-н де Меруль говорил своему другу доверительно и самым проникновенным тоном:
– Ты и не подозреваешь, сколько зла вы причиняете нашей стране.

Однако он его нежно любил: нет ничего прочнее детской дружбы, возобновившейся в зрелые годы. Жозеф Мурадур, подшучивая над женой и мужем, называл их «моими милыми черепахами» и иногда позволял себе звонкие тирады по адресу отсталых людей, предрассудков и традиций.

Пока он таким образом изливал потоки своего демократического красноречия, супруги, чувствовавшие себя неловко, молчали из приличия и такта; затем муж пытался переменить разговор во избежание столкновений. Жозефа Мурадура они принимали только в тесном кругу.

Наступило лето. Мерули не знали большей радости, как принимать друзей в своем имении Турбевиль. Это была искренняя, здоровая радость добрых людей, сельских помещиков. Они выезжали навстречу гостям, на ближайшую станцию, и привозили их оттуда в своем экипаже, прислушиваясь к их хвалебным отзывам о местности, растительности, о состоянии дорог в департаменте, о чистоте крестьянских домов, о тучности скота, попадавшегося на полях, обо всем, что виднелось кругом.

Они обращали внимание гостей на то, что бег их лошади поразителен для животного, занятого часть года на полевых работах, и с тревогой ждали, что скажет новый гость об их родовом владении, чутко внимая малейшему слову и испытывая признательность за малейший благосклонный намек.

Жозеф Мурадур был приглашен и сообщил, что приезжает.

Супруги прибыли к поезду в восторге от того, что будут принимать у себя гостя.

Как только Жозеф Мурадур заметил их, он выпрыгнул из вагона с быстротой, доставившей им еще большее удовольствие. Он пожимал им руки, поздравлял их, осыпал комплиментами.

В течение всего пути он был очарователен, поражался высоте деревьев, густоте всходов, резвости лошади.

Когда он вступил на крыльцо замка, г-н де Меруль произнес с оттенком дружеской торжественности:

– Теперь ты у себя!

Жозеф Мурадур ответил:

– Спасибо, дорогой мой, я и рассчитывал на это. Впрочем, я не стесняюсь с друзьями. Гостеприимства по-другому я не понимаю.

Затем он поднялся в свою комнату, чтобы, по его словам, одеться по-деревенски, и сошел вниз в костюме из синего холста, в шляпе-канотье и в желтых кожаных башмаках – в полном неглиже развеселого парижанина. И казалось, он стал еще проще, веселее, непринужденнее, ибо, облачившись в сельский костюм, он одновременно напустил на себя некоторую фамильярность и развязность, которые считал приличными случаю. Эта новая манера поведения несколько смуща-

ла супругов де Меруль, которые всегда держали себя строго, с достоинством, даже у себя, в деревне, как будто дворянская частица «де» перед их родовым именем заставляла их соблюдать известный церемониал даже в интимном кругу.

После завтрака пошли осматривать фермы, и парижанин озадачил почтительных крестьян приятельским тоном разговора.

Вечером в замке обедал кюре, старый толстяк, обычный воскресный гость, которого в этот день пригласили в виде исключения, в честь новоприбывшего.

Увидя его, Жозеф скорчил гримасу, затем с удивлением стал его разглядывать, как редкий экземпляр особой породы, никогда им столь близко не виденной. Он рассказывал за обедом нескромные анекдоты, допускаемые в тесном кругу, но казавшиеся Мерулям неуместными в присутствии духовного лица. Он говорил не «господин аббат», а просто «сударь» и смутил священника философскими рассуждениями по поводу различных суеверий, бытующих на земном шаре. Он говорил:

– Ваш бог, сударь, это одно из тех существ, которых надо уважать, но о которых надо и спорить. Моего же бога зовут Разумом: он был всегда врагом вашего.

Мерули в полном отчаянии старались отклонить разговор от этой темы. Кюре ушел домой очень рано.

– Не слишком ли ты далеко зашел в присутствии священника? – осторожно сказал муж.

Но Жозеф тотчас же воскликнул:

– Вот глупости! Чтобы я стал стесняться перед каким-то попом! Впрочем, знаешь ли, сделай мне удовольствие, – не навязывай мне больше в обеденное время этого простака. Общайтесь с ним сами сколько вам угодно, и по воскресеньям и в будни, но, черт возьми, не угощайте им своих друзей!

– Но, дорогой мой, его священный сан...

Жозеф Мурадур прервал его:

– Ну да, конечно, с ними надо обращаться, как с непорочными девицами! Знаем, дружок! Когда эти господа будут уважать мои убеждения, тогда и я буду уважать их убеждения!

В этот день никаких событий больше не произошло.

Когда на следующее утро г-жа де Меруль вошла в гостиную, она вдруг увидела на столе три газеты, от которых так и попяtilась: *Вольтер*, *Републик франсэз* и *Жюстис*.

А на пороге тотчас же появился, по-прежнему одетый в синее, Жозеф Мурадур, углубленный в чтение *Энтрансижан*⁸⁰.

– Тут, в этом номере, – воскликнул он, – превосходная статья Рошфора⁸¹! Этот парень изумителен!

Он начал читать статью вслух, подчеркивая остроты с таким воодушевлением, что не заметил прихода своего друга.

Г-н де Меруль держал в руке *Голуа* – для себя, *Клерон*⁸² – для жены.

Пылкая проза знаменитого писателя, свергнувшего империю, декламируемая с жаром певучим южным произношением, звучала в мирной гостиной, приводя в содрогание ровные складки старинных портьер; она, казалось, так и обдавала градом хлестких, дерзких, иронических, убийственных слов стены, высокие ковровые кресла и всю тяжелую мебель, целое столетие не менявшую своего места.

Муж и жена, один стоя, другая сидя, слушали в полном оцепенении, до того возмущенные, что не могли тронуться с места.

⁸⁰ «Вольтер», «Републик франсэз», «Жюстис», «Энтрансижан» – газеты республиканского направления, чересчур левые в глазах четы Меруль.

⁸¹ Рошфор (1830–1913) – французский публицист, ожесточенный враг Второй империи, падению которой содействовал его памфлет «Фонарь»; в 80-х годах Рошфор был руководителем независимой республиканской газеты «Энтрансижан», бичевавшей оппортунистов и реакцию; позднее стал отъявленным националистом и реакционером.

⁸² «Голуа», «Клерон» – газеты консервативно-аристократического лагеря.

Мурадур метнул заключительную фразу, как ракету, затем заявил торжествующим тоном:

– Ну, что? Здорово он насолил, а?

Но вдруг он увидел обе газеты, принесенные приятелем, и остолбенел от изумления. Затем быстро подошел к нему, спрашивая с яростью:

– Что ты намерен делать с этой бумагой?

Г-н де Меруль отвечал, запинаясь:

– Но... это мои... мои газеты.

– Твои газеты... Да ты смеешься надо мной! Сделай мне одолжение – читай мои газеты. Они освежат тебе голову. А что касается твоих... то вот что я с ними сделаю...

И прежде чем ошеломленный хозяин мог удержать его, он схватил обе газеты и выбросил их за окно. Затем с важностью вручил *Жюстис* г-же де Меруль, передал *Вольтера* мужу, а сам уселся в кресло дочитывать *Энтрансижан*.

Супруги притворились из деликатности, что читают, а затем возвратили ему республиканские газеты, которые они держали кончиками пальцев, как будто те были отравлены.

Тогда он расхохотался и заявил:

– Неделя подобной пищи – и я обращаю вас в свою веру.

К концу недели он действительно уже командовал в доме. Он закрыл двери для кюре, которого г-жа де Меруль навещала теперь украдкой; он запретил доставку в замок *Голуа* и *Клерон*, и один из слуг тайком ходил за ними на почту, а при появлении Мурадура их прятали под подушки дивана; он распоряжался всем, оставаясь все таким же очаровательным, добродушным, веселым и всемогущим тираном.

Предстоял приезд других гостей, людей благочестивых, легитимистов. Хозяева замка сочли встречу их с Жозефом Мурадуром невозможной и, не зная, как поступить, объявили ему однажды, что им необходимо отлучиться на несколько дней по небольшому делу, попросили его остаться. Он ничуть не смутился и отвечал:

– Очень хорошо, это для меня безразлично, я буду ждать вас здесь сколько угодно. Говорил же я вам: между друзьями нет церемоний. Вы вправе заниматься своими делами, черт возьми! Я нисколько не обижусь на это, напротив: это освобождает меня от всякого стеснения с вами. Отправляйтесь, друзья, а я буду вас поджидать.

Г-н и г-жа де Меруль уехали на следующий день.

Он их поджидает.

Сирота

М-ль Сурс когда-то усыновила этого мальчика при весьма печальных обстоятельствах. Ей было тогда тридцать шесть лет, а ее уродство (ребенком она соскользнула с колен няньки, упала в камин, и ее страшно обожженное лицо стало безобразным) привело к тому, что она не вышла замуж: ей не хотелось, чтобы на ней женились из-за денег.

Одна ее соседка овдовела во время беременности, а затем умерла от родов, не оставив ни гроша. М-ль Сурс приняла на себя заботу о новорожденном, сдала его кормилице, воспитала, отправила в пансион, затем в возрасте четырнадцати лет взяла обратно с тем, чтобы иметь наконец у себя в доме кого-нибудь, кто любил бы ее, заботился бы о ней, услаждал бы ее старость.

Она проживала в небольшом поместье, в четырех лье от Ренна, и уже не держала служанки. С появлением сироты расходы увеличились более чем вдвое, и ее трех тысяч франков дохода не хватило бы на содержание трех человек.

Она сама вела хозяйство и стряпала, а за покупками посылала мальчика, который, кроме того, ухаживал за садом.

Он был кроток, застенчив, молчалив и ласков. И она испытывала глубокую радость, новую радость, когда он целовал ее, видимо, не дивясь ее уродству и не пугаясь его. Он звал ее тетей и обращался с ней, как с матерью.

По вечерам они усаживались вдвоем у очага, и она приготавливала ему лакомства. Она согрела вино и поджаривала ломтик хлеба; это был очаровательный маленький ужин перед отходом

ко сну. Она часто сажала его к себе на колени и осыпала его ласками, нашептывая ему нежные слова. Она называла его: «Мой цветочек, мой херувимчик, мой обожаемый ангел, мое божественное сокровище». Он позволял ласкать себя, прижимаясь головой к плечу старой девы.

Ему было теперь почти пятнадцать лет, но он оставался хрупким, невзрачным, болезненным на вид.

Иногда м-ль Сурс возила его в город к своим двум родственницам, дальним кузинам, вышедшим замуж и жившим в одном из предместий, – к своей единственной родне. Обе женщины все еще сердились на нее за то, что она усыновила этого ребенка, они сердились из-за наследства, но тем не менее принимали ее любезно, надеясь получить свою долю – третью часть, конечно, если бы пришлось делить ее наследство поровну.

Постоянно занятая ребенком, она была счастлива, очень счастлива. Она покупала ему книги, чтобы его ум развивался, и мальчик принялся читать с увлечением.

Теперь по вечерам он больше не взбирался к ней на колени, чтоб приласкаться, как бывало прежде, но быстро усаживался на свой маленький стул у очага и открывал книгу. Лампа, стоявшая на краю полки, над его головой, освещала его кудрявые волосы и уголок лба; он не двигался, не поднимал глаз, не делал ни одного жеста, он читал, захваченный событиями, о которых повествовала книга.

Сидя против него, м-ль Сурс устремляла на него жадный, пристальный взгляд, удивленная его сосредоточенностью, испытывая ревность, порою готовая разрыдаться.

Иногда она ему говорила: «Ты утомишься, мое сокровище!» – надеясь, что он поднимет голову и подойдет поцеловать ее; но он даже не отвечал, не слышал, не понимал; он ничего иного не хотел знать, кроме того, что видел на страницах книги.

В течение двух лет он поглотил неисчислимое количество томов. Его характер изменился.

Уже несколько раз он выпрашивал денег у м-ль Сурс, и она давала их. Но требования его все возрастали, и она в конце концов стала ему отказывать, так как отличалась любовью к порядку, силою воли и умела быть рассудительной, когда это было нужно.

После долгих упрасиваний он однажды вечером получил от нее крупную сумму; но когда через несколько дней снова стал кланяться, она выказала себя непреклонной и в самом деле не уступила.

Казалось, он с этим примирился.

Он снова стал спокойным, как прежде, вновь полюбил просиживать неподвижно целыми часами, опутив глаза, отдаваясь мечтам. Он даже не разговаривал больше с м-ль Сурс и еле отвечал на ее вопросы короткими, точными фразами.

Тем не менее он был любезен с ней, угождал ей, но уж больше никогда не целовал ее.

Теперь, по вечерам, когда они неподвижно и молча сидели лицом к лицу, по обеим сторонам очага, он порою внушал ей страх. Ей хотелось растолкать его, сказать что-нибудь, лишь бы прервать это страшное, как лесной мрак, молчание. Но он, казалось, не слышал ее больше, и она, бедная слабая женщина, содрогалась от ужаса, когда раз пять-шесть кряду обращалась к нему и не получала ни слова в ответ.

Что происходило с ним? Что творилось в этом замкнутом уме? Просидев таким образом в течение двух-трех часов напротив него, она чувствовала, что сходит с ума; она готова была бежать, спастись в поле, лишь бы избежать этого молчаливого постоянного пребывания с глазу на глаз, а также той смутной опасности, которую она не предвидела, но предчувствовала.

Она часто плакала, когда была в одиночестве.

Что с ним? Стоило ей изъявить какое-либо желание, и он безропотно исполнял его. Требовалось ей что-нибудь в городе, он тотчас же отправлялся туда. Ей не приходилось жаловаться на него, конечно, нет. А все-таки...

Прошел еще год, и ей показалось, что в загадочном уме молодого человека произошла новая перемена. Она заметила это, почувствовала, угадала. Каким образом? Это не важно. Она была убеждена, что не ошиблась, но не могла бы сказать, в чем именно изменились неведомые ей мысли этого странного юноши.

Ей казалось, что до сих пор он колебался, а теперь вдруг принял какое-то решение. Эта

мысль возникла в ее уме как-то вечером при встрече с его взглядом, неподвижным, необычным, совсем незнакомым.

С тех пор он ни на минуту не спускал с нее глаз, и ей хотелось укрыться, чтобы избежать этого устремленного на нее холодного взгляда.

Целыми вечерами он сидел, пристально глядя на нее, и отворачивался лишь тогда, когда она, доведенная до крайности, произносила:

– Да не смотри же так на меня, дитя мое!

Тогда он опускал голову.

Но как только она поворачивалась к нему спиной, она снова чувствовала на себе его глаза. Куда бы она ни шла, он преследовал ее своим упорным взглядом.

Иногда, прогуливаясь в маленьком садике, она вдруг замечала, что он притаился в чаще, как в засаде; или же, когда она садилась перед домом штопать чулки, а он вскапывал какую-нибудь грядку для овощей, он, не прерывая работы, продолжал исподтишка следить за ней.

– Что с тобой, мой малыш? – допытывалась она. – Вот уж три года, как ты совсем другой. Я не узнаю тебя. Скажи мне, что с тобою, о чем ты все думаешь, умоляю тебя.

Он неизменно произносил тихим, усталым голосом:

– Да ничего, тетушка!

Иногда она продолжала настаивать, упрашивая его:

– Дитя мое, ответь мне, ответь, когда я с тобой говорю. Если бы ты знал, как меня огорчаешь, ты всегда отвечал бы мне и не смотрел бы так на меня. Нет ли у тебя какого-нибудь горя? Поделись им со мной, я утешу тебя...

Но он уходил с усталым видом, бормоча:

– Уверяю тебя, ничего.

Он не особенно вырос и внешне все еще походил на ребенка, хотя черты его лица были как у взрослого человека. Они были грубы и вместе с тем как бы не закончены. Он казался неполноценным, неудавшимся, лишь вчерне набросанным существом, волнующим, как загадка. Это было существо замкнутое, непроницаемое, в котором, видимо, шла непрерывная умственная работа, действительная, опасная.

М-ль Сурс все это прекрасно сознавала, беспокоилась и не могла спать. На нее нападали ужасные страхи, дикие кошмары. Она запиралась в спальне и загораживала дверь, мучимая ужасом.

Чего боялась она?

Этого она и сама не знала.

Она боялась всего: ночи, стен, теней, отбрасываемых луною сквозь белые занавески окон, а в особенности боялась его.

Почему?

Чего ей было бояться? Этого она не знала!

Так жить дальше она не могла. Она была уверена, что ей грозит беда, ужасная беда.

Однажды утром она тайком уехала в город к родственникам. Задыхаясь от волнения, она поведала им все. Обе женщины подумали, что она сходит с ума, и пытались ее успокоить.

Она говорила:

– Если бы вы знали, как он смотрит на меня с утра до вечера! Он не спускает с меня глаз! Иногда мне хочется позвать на помощь, крикнуть соседей, до того мне страшно! Но что могла бы я им сказать? Он ничего мне не делает, только смотрит на меня.

Кузины спрашивали:

– Не бывает ли он груб с вами, не отвечает ли вам дерзко?

Она возразила:

– Нет, никогда; он делает все, что я захочу, он прилежно работает, стал теперь аккуратен, но я не нахожу места от страха. У него что-то на уме, я уверена в этом, совершенно уверена. Я не хочу больше оставаться наедине с ним в деревне.

Испуганные родственницы говорили ей, что это всех удивит, что ее не поймут, и советовали отбросить свои страхи и домыслы; они, впрочем, не отговаривали ее от переселения в город, наде-

ясь этим путем вернуть себе наследство полностью.

Они даже обещали ей помочь продать домик и приискать другой поблизости от них.

М-ль Сурс вернулась домой, но была так взволнована, что вздрагивала от малейшего шороха, и руки ее начинали дрожать при самом незначительном волнении.

Еще два раза возвращалась она сговариваться с родственницами, теперь уже твердо решив не оставаться больше в своем уединенном жилище. Наконец она нашла в предместье маленький флигелек, который ей подходил, и тайком приобрела его.

Бумаги были подписаны во вторник утром, и остальную часть дня м-ль Сурс провела в приготовлениях к переезду.

На обратном пути в восемь часов вечера она села в дилижанс, проходивший в одном километре от ее дома, и приказала остановиться на том месте, где кондуктор обыкновенно высаживал ее; кучер крикнул ей, стегнув лошадей:

– Добрый вечер, мадемуазель Сурс, доброй ночи!

Она ответила, удаляясь:

– Добрый вечер, дядя Жозеф.

На следующий день, в половине восьмого утра, почтальон, доставлявший в деревню письма, заметил на проселочной дороге, недалеко от шоссе, большую, еще свежую лужу крови. Он подумал: «Гляди-ка! Какой-нибудь пьяница разбил себе нос». Но в десяти шагах дальше он увидел носовой платок, также в крови. Он поднял его. Полотно было тонкое, и удивленный почтальон приблизился к канаве, где он, казалось, увидел какой-то странный предмет.

В траве лежала м-ль Сурс; горло ее было перерезано ножом.

Час спустя жандармы, судебный следователь и представители властей высказывали около трупа свои предположения.

Обе родственницы, вызванные в качестве свидетельниц, рассказали о страхах старой девы и о ее предсмертных планах.

Сироту арестовали. Со дня смерти той, которая его усыновила, он рыдал целыми днями и был, по крайней мере с виду, повергнут в жесточайшую печаль.

Он доказал, что провел вечер до одиннадцати часов в кафе. Человек десять видели его и оставались в кафе до его ухода.

А кучер дилижанса показал, что высадил убитую на дороге между половиной десятого и десятью часами. Преступление могло быть совершено лишь на пути от шоссе до дому, самое позднее в десять часов.

Подсудимый был оправдан.

Завещание, давно составленное, находившееся у нотариуса в Ренне, делало его единственным наследником. Он вступил в права наследства.

Долгое время местные жители сторонились его, все еще питая подозрение. На его дом, принадлежавший усопшей, смотрели как на проклятый и старались обходить.

Но он выказывал себя таким добрым малым, таким чистосердечным, таким обходительным, что мало-помалу ужасное подозрение забылось. Он был щедр, предупредителен и беседовал даже с бедняками о чем угодно и сколько угодно.

Нотариус, г-н Рамо, одним из первых изменил о нем свое мнение, покоренный его общительностью. Как-то вечером, за обедом у сборщика податей, он объявил:

– У человека, который так приветливо разговаривает и всегда находится в хорошем расположении духа, не может лежать на совести подобное преступление.

Под влиянием этого довода присутствующие поразмыслили и действительно вспомнили долгие беседы с этим человеком, который почти насильно останавливал их на перекрестках, чтобы поделиться с ними своими мыслями, который принуждал их заходить к нему, когда они проходили мимо его сада, – человеком, чьи остроты были куда остроумнее острот самого жандармского лейтенанта и чья веселость была так заразительна, что, несмотря на внушаемое им отвращение, они не могли удержаться в его обществе от смеха.

И перед ним раскрылись все двери.

Теперь он мэр своей общины.

Комментарии

НАШЕ СЕРДЦЕ

Перевод Е. Гунста

Над романом «Наше сердце» Мопассан начал работать, по-видимому, не раньше лета 1889 года. Первое упоминание о романе в записках Тассара не имеет твердой даты и может быть приурочено либо к последним дням июля 1889 года, либо к первым дням августа, когда Мопассан прибыл из Парижа в Этрета. «Он отложил на неделю начатое уже „Наше сердце“, – пишет Тассар, – и занялся хроникой для „Голуа“ и новеллой, тема которой совершенно внезапно пришла ему в голову».

Работа Мопассана над «Нашим сердцем» шла очень медленно из-за обострившейся болезни писателя, лишившей его прежней работоспособности. В записи Тассара от конца марта 1890 года читаем: «Господин чувствует себя лучше, но все-таки недостаточно хорошо для того, чтобы приступить за последние главы „Нашего сердца“...».

По свидетельству Тассара, роман был окончен во второй половине мая 1890 года.

Современники Мопассана, доктор Балестр и м-ль Рей, основываясь на каких-то словах матери писателя, утверждали в одной статье, что прототипом г-жи Бюрн является приятельница Мопассана г-жа Леконт дю Нуи.

Лумброзо, поместивший в своей книге эту статью, делает к ней следующее примечание: «В тот день, когда помрачилось сознание Мопассана, ему нанесла визит в Канне, за несколько часов до покушения на самоубийство, героиня „Нашего сердца“. Это абсолютно достоверно – согласно указаниям, которые дает мне д-р Балестр. Но можно утверждать, что Мопассан встречался не с г-жой Леконт дю Нуи, которая в этот момент была в Париже. Смешивать этих двух особ было бы ошибкой» (А. Lumbroso, p. 329).

Имя настоящего прототипа г-жи де Бюрн французскими биографами еще не установлено. Возможно, что прав последний исследователь Мопассана, Андре Виаль, считающий, что у образа г-жи де Бюрн могло быть несколько прототипов: ими он считает приятельниц Мопассана, парижских светских дам – украинскую еврейку г-жу Канн, урожденную Варшавскую; итальянку графиню Потоцкую и ту же г-жу Леконт дю Нуи, которая, по его словам, «сама узнала себя в чертах г-жи де Бюрн» (А. Vial. Guy de Maupassant et l'art du roman. P. 1954, pp. 422–424).

В примечаниях к «Нашему сердцу» в издании Конара говорится: «Рукопись „Нашего сердца“ составляет 271 лист форматом in – 8°. По обилию поправок, а также брошенных или переделанных мест видно, что на этот раз для Мопассана процесс писания, кажется, был затруднителен. Из всех рукописей Мопассана, которыми мы располагаем, ни одна не свидетельствует, как эта, о больших колебаниях в отделке фразы».

Первая часть рукописи включает в себе четыре главы, тогда как в печатном тексте (в книге) их оказалось только три: Мопассан переработал начало и объединил две первые главы в одну, значительно их сократив.

«Наше сердце» печаталось в журнале «Ревю де Дё Монд» в мае – июне 1890 года. В письме от 20 мая этого года Мопассан сообщал матери: «О моем романе в „Ревю де Дё Монд“ отзываются как об удаче. Он поражает новизной жанра и обещает мне много хорошего».

В июне 1890 года роман вышел отдельной книгой в издании Оллендорфа.

В одном из июльских писем 1890 года Мопассан жаловался матери на то, что издание романа расходуется плохо. О том же писал он ей и 5 августа: «Продажа почти не подвигается, несмотря на крупный успех этой книги. Дело в том, что появление этой вещи в „Ревю де Дё Монд“ отняло у меня таких покупателей, как весь парижский свет, а в провинциальных городах – мир чиновничества, мир профессуры и должностных лиц, что соответствует, по мнению Оллендорфа и книжных комиссионеров, уменьшению количества покупателей, по крайней мере, тысяч на 25–30. Это имело и свои положительные стороны, как, например, проникновение романа в различные слои обще-

ства. Однако в целом это потеря».

НОВЕЛЛЫ

Сборник «Лунный свет» был выпущен издателем Эд. Монье в самом начале – по-видимому, в январе – 1884 года, о чем свидетельствуют два сохранившихся письма Мопассана (Guy de Maupassant, *Correspondance inédite*, P. 1951, p. 315–316). В этом первоначальном виде сборник состоял из двенадцати новелл. В 1888 году «Лунный свет» был переиздан Оллендорфом, причем Мопассан дополнил книгу пятью новыми новеллами, напечатанными им в прессе 1887–1888 годов: «Дверь», «Отец», «Муарон», «Наши письма» и «Ночь».

Сборник «Мисс Гарриет» был издан Виктором Аваром в конце апреля 1884 года и при жизни Мопассана переиздавался без изменения в составе новелл.

Сборник «Сестры Рондоли» был опубликован в июле 1884 года Оллендорфом и переиздавался без всяких изменений. Дату публикации позволяет уточнить вышеуказанная книга Guy de Maupassant, *Correspondance inédite*; прежние французские библиографы ошибочно считали, что сборник «Сестры Рондоли» вышел раньше сборника «Мисс Гарриет».

Одним из самых трудных вопросов в изучении творчества Мопассана является вопрос о том, какими соображениями мог руководствоваться писатель при конструировании им того или другого сборника новелл.

Разгадывать в данном случае авторский замысел нелегко. Ведь если свою первую книгу, «Заведение Телье», Мопассан вынужден был составить лишь из немногих напечатанных дотоле новелл, то в 1882–1885 годах его новеллистическое творчество достигло изобильнейшей продуктивности. В составлении новых своих сборников писатель уже имел возможность отбирать лучшее из напечатанного в прессе – те новеллы, которые он считал наиболее художественно удавшимися, которые при первом появлении в газете уже обратили на себя внимание публики.

Составляя свои сборники, Мопассан желал придать каждому из них своеобразную физиономию, соблюсти единство идейного замысла, настроения, жанровых тенденций и т. д. Об этом свидетельствует, например, рекламная заметка, составленная Мопассаном для продажи «Рассказов вальдшнепа» и отмечавшая, что «характерной чертой» этой книги «является веселость, забавная ирония», что ее рассказы «представляют собою разнообразные образцы насмешливого юмора писателя»; однако уже и в этом сборнике Мопассан, стремясь к единству замысла, желал избежать жанрового однообразия, и его заметка добавляла, что «два-три рассказа вносят в книгу драматическую ноту».

Начальную и характерную интонацию должна была задавать книге заглавная новелла. Рассказ «Лунный свет» открывал весь сборник некоей меланхолической интонацией, которая в дальнейшем несколько варьировалась, переходя от нежной меланхолии начального рассказа к горькой печали «Королевы Гортензии», к умиротворенной грусти «Ребенка» и «Вдовы». Словно подчиняясь этому господствующему настроению сборника, сатира таких его новелл, как «Государственный переворот» и «Драгоценности», не носит гневно-бичующего характера, а звучит несколько приглушенно и как бы проникнута мыслью о суетности всего земного. Одна лишь «Легенда о горе Святого Михаила» противоречит преобладающей интонации сборника, и ее юмор свидетельствует, что Мопассан не желал сделать книгу чересчур однообразной.

В сборнике «Мисс Гарриет» доминируют пессимистические настроения. Характерные для заглавной новеллы мотивы тягостных открытий, мучительных раздумий, трагических происшествий разрабатываются и в большинстве последующих новелл, обостряясь изображением всякого рода грязи, жестокостей и отвратительной изнанки жизни. Эти настроения так сильны, что Мопассан уже не дополняет сборник ни одной юмористической новеллой, которая прозвучала бы здесь крайне резким диссонансом. Однако такие вещи, как «Идиллия» и особенно «В пути», привносят в книгу некое новое качество, как бы стремясь ослабить ее чересчур сгустившийся безнадежный тон.

От этих сборников резко разнится по своему господствующему тону сборник «Сестры Рондоли». Большинство его новелл – это фривольно-юмористические истории, рассказанные с задор-

ной, веселой жизнерадостностью. Однако и этот сборник не вполне однороден, потому что в иных его новеллах эротический мотив сочетается с грустным настроением («Шали»), а некоторые другие вообще чужды всякой фривольности и отличаются тоном горькой сатиры («Бочонок», «Встреча») или драматического элегизма («Самоубийцы», «Он?»). Мопассан говорил о сборнике «Сестры Рондоли» как о менее хорошем из своих томов (*Correspondance inédite*, p. 187), и, может быть, именно потому, что преобладающие в нем забавные житейские истории обычно довольно поверхностны и лишены подтекста иронических или печальных размышлений, столь свойственного лучшей части мопассановской новеллистики. Неизвестно, к сожалению, какова была роль издателя Оллендорфа в публикации этой книги, не предъявлял ли он каких-либо требований к Мопассану (гораздо более коммерсант и делец по сравнению с Аваром, Оллендорф был заинтересован только в рыночном успехе книги, и он не обманулся в своих ожиданиях, так как в октябре 1884 года выпустил уже 18-е ее издание).

Таким образом, каждый сборник новелл Мопассана всегда имеет свое характерное и своеобразное лицо, определяющееся некоей господствующей интонацией, которая, впрочем, не подчиняет себе все его новеллы. Существует, следовательно, та закономерность, что, стремясь к внутреннему единству сборника, Мопассан отнюдь не желал однообразия, а потому собрание новелл юмористических дополнял или желал оттенить немногими элегическими или сатирическими новеллами, а собрание новелл меланхолических, грустных, проникнутых горьким лиризмом дополнял немногими забавными историями или новеллами более светлого тона.

В настоящее время известны только письма Мопассана к некоторым его издателям, но ответные письма издателей к нему, за редкими исключениями, не появлялись в печати. Когда они будут опубликованы, они, безусловно, помогут прояснить сложный вопрос о том, в чем заключается авторский замысел Мопассана в конструировании того или иного тома новелл и какую роль могли играть здесь те или другие издательские пожелания.

Лунный свет

Новелла впервые напечатана в газете «Жиль Блаз» 19 октября 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Немчиновой

Государственный переворот

Была ли напечатана эта новелла в прессе до появления в настоящем сборнике, французские библиографы пока еще не установили. Действие новеллы происходит в первые дни после падения Второй империи и провозглашения Третьей республики (4 сентября 1870 года). Непосредственным толчком к революции послужило военное поражение Франции при Седане, где император Наполеон III во главе стотысячной французской армии сдался 2 сентября пруссакам.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Волк

Напечатано в «Голуа» 14 ноября 1882 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Ребенок

Напечатано в «Голуа» 24 июля 1882 года. Впоследствии, в 1891 году, новелла эта была переделана Мопассаном (в сотрудничестве с Жаком Норманом) в пьесу «Мюзетта».

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Рождественская сказка

Напечатано в «Голуа» 25 декабря 1882 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Королева Гортензия

Напечатано в «Жиль Блаз» 24 апреля 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Прощение

Напечатано в «Голуа» 16 октября 1882 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Легенда о горе Святого Михаила

Напечатано в «Жиль Блаз» 19 декабря 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Вдова

Напечатано в «Голуа» 1 сентября 1882 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Драгоценности

Напечатано в «Жиль Блаз» 27 марта 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Е. Брук

Видение

Напечатано в «Голуа» 4 апреля 1883 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Дверь

Напечатано в «Жиль Блаз» 3 мая 1887 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Отец

Напечатано в «Жиль Блаз» 26 июля 1887 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Муарон

Напечатано в «Жиль Блаз» 27 сентября 1887 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Наши письма

Напечатано в «Голуа» 29 февраля 1888 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Ночь

Напечатано в «Жиль Блаз» 14 июня 1887 года.

Перевод С. Иванчиной-Писаревой

Дени

Напечатано в «Голуа» 23 июня 1883 года.

Перевод И. Смидович

Осел

Напечатано в «Голуа» 15 июля 1883 года под заглавием «Славный денек» («Le bon jour»).

Перевод И. Смидович

Идиллия

Напечатано в «Жиль Блаз» 12 февраля 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод И. Смидович

Сожаление

Напечатано в «Голуа» 4 ноября 1883 года.

Перевод Г. Еременко

Сестры Рондоли

Новелла печаталась в «Эко де Пари» с 29 мая по 5 июня 1884 года.

Перевод Е. Брук

Хозяйка

Напечатано в «Жиль Блаз» 1 апреля 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Немчиновой

Он?

Напечатано в «Жиль Блаз» 3 июля 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод М. Казас

Во Франции наряду с критическими и историко-литературными трудами о Мопассане имеется и большая литература о нем, принадлежащая перу представителей медицинского мира. Писатель, так стремившийся ограждать свою личную жизнь от всякого постороннего глаза, не раз заявлявший, что публике принадлежат лишь его книги, запрещавший печатание своих портретов и переписки, оказался после своей смерти выставленным на публичное поругание. Малейшие детали его болезни, ее причины, толкуемые вкось и вкривь, причуды и экстравагантности интимной жизни писателя, даже его невинная страсть к шуткам и мистификациям – все это сделалось предметом не только пошлого и грязного любопытства литераторов от медицины, но и самых нелепых их утверждений вплоть до обвинения Мопассана в... людоедстве! Эта «научная» литература совершенно бесполезна для понимания творчества Мопассана, ибо пытается свести все дело к узко-биографическим моментам, главным образом к болезни писателя. Мопассан представляет для нее

интерес не как великий художник слова, а исключительно как психически больной человек, причем начало его психического заболевания она относит еще к 70-м годам и, следовательно, рассматривает все его творчество как документ деятельности душевнобольного. Только болезнью Мопассана объясняет эта «научная» литература фантастические рассказы писателя. Излишне доказывать, что наличие фантастической темы у Мопассана определяется более широкими и объективными причинами: и давлением литературной традиции, и интересом позитивизма к «непознаваемому», и развившейся в европейском обществе в середине XIX века модной страстью к спиритизму и к различного рода «загадочным» явлениям человеческой психики.

Попытка французских биографов Мопассана, историков литературы, объяснить дело теми же биографическими причинами, а именно тем, что Мопассан усвоил от своего деда, Поля Ле Пуатвена, повышенный интерес к сверхъестественным происшествиям, тоже, конечно, слишком узка и не заслуживает серьезного внимания.

Мой дядя Состен

Напечатано в «Жиль Блаз» 12 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.
Перевод М. Казас

Маленькая Рок

Новелла печаталась фельетонами в «Жиль Блаз» с 18 по 23 декабря 1885 года.
Перевод Е. Александровой

На разбитом корабле

Напечатано в «Голуа» 1 января 1886 года.
Перевод Е. Александровой

Отшельник

Напечатано в «Жиль Блаз» 26 января 1886 года.
Перевод Е. Александровой

Жюли Ромэн

Напечатано в «Голуа» 20 марта 1886 года.
Перевод Н. Немчиновой

Отец Амабль

Напечатано в «Жиль Блаз» в номерах от 30 апреля и 4 мая 1886 года.
Перевод Е. Александровой

В весенний вечер

Напечатано в «Голуа» 7 мая 1881 года. Новелла представляет собою один из этюдов к «Жизни» (гл. IV).
Перевод Н. Гарвей

Слепой

Напечатано в «Голуа» 31 марта 1882 года.

Перевод Н. Гарвей

Торт

Напечатано в «Жиль Блаз» 19 января 1882 года.

Перевод Н. Гарвей

Прыжок пастуха

Напечатано в «Жиль Блаз» 9 марта 1882 года под псевдонимом Мофриньёз. Один из этюдов к «Жизни» (гл. X).

Перевод Н. Гарвей

Старые вещи

Напечатано в «Жиль Блаз» 29 марта 1882 года. Новелла входит в круг «Жизни» (гл. XII).

Перевод Н. Гарвей

Магнетизм

Напечатано в «Жиль Блаз» 5 апреля 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Гарвей

Корсиканский бандит

Напечатано в «Жиль Блаз» 25 мая 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Гарвей

Ночное бдение

Напечатано в «Жиль Блаз» 7 июня 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Гарвей

Грезы

Напечатано в «Голуа» 8 июня 1882 года. По теме новелла близка к записи от 10 апреля в «На воде».

Перевод Н. Гарвей

Исповедь женщины

Новелла эта, озаглавленная «L’Affût» («Шалаш»), была напечатана в «Жиль Блаз» 28 июня 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Гарвей

Лунный свет

Напечатано в «Голуа» 1 июля 1882 года.

Перевод Н. Гарвей

Страсть

Напечатано в «Жиль Блаз» 22 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Гарвей

Переписка

Напечатано в «Жиль Блаз» 30 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Гарвей

Плутня

Напечатано в «Жиль Блаз» 12 декабря 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Перевод Н. Гарвей

Ивелина Саморис

Напечатано в «Голуа» 20 декабря 1882 года. Новелла представляет собою первый набросок будущей «Иветты».

Перевод Н. Гарвей

Приятель Жозеф

Напечатано в «Голуа» 3 июня 1883 года.

Перевод Н. Гарвей

Сирота

Напечатано в «Голуа» 15 июня 1883 года.

Перевод Н. Гарвей

Ю. Данилин